16/XI-35

М. БАЛАБАНОВ

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

„Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих".
Г. Плеханов (1889 г.).

ОТ ДЕКАБРИСТОВ К 1905 ГОДУ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1925





Гострест „Киев - Печать“,
2-я типогр, Пушкинск. 4.
Заказ № 1276—10.000 экз.
Р.У.П. № 3059. Киев, 1924.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящая работа, не преследуя задачи самостоятельного исследования прошлого нашего революционного движения, имеет целью помочь читателю ознакомиться с этим прошлым в более или менее обстоятельном и систематическом изложении. Единственная связная история революционного движения в России, принадлежащая перу Туна, обрывается на давно прошедшем времени и во многих отношениях совершенно устарела даже в фактическом своем изложении, прочие же литературные источники, в большинстве недоступные мало подготовленному читателю, посвящены отдельным периодам либо вопросам прошлого революционного движения. Между тем, читатель нуждается в пособии, которое познакомило бы его как с ходом революционного движения в его главнейшем содержании, так и с развитием революционной мысли,—в пособии, прочитав которое, он, если пожелает, мог бы обратиться к дальнейшему изучению вопроса, не рискуя натолкнуться на трудно преодолимые для мало подготовленного читателя препятствия.

Мы хотели дать именно такое пособие. Мы расчитываем на читателя, который имеет некоторую общую подготовку, но которому история нашего революционного движения знакома только в самых общих чертах. Поэтому, мы сочли необходимым познакомить его не только с развитием революционной мысли, но и с фактической стороной революционного движения в прошлом. Нам кажется, что, усвоив предлагаемую книгу, читатель сможет без труда обратиться для пополнения знаний к другим источникам, которые дадут ему более полное и детальное знание.

Чтобы облегчить читателю дальнейшую работу, мы указываем главнейшие пособия, к которым следует обратиться. Более подробные библиографические указания читатель найдет у С. Вознесенского: «Русская история. Указатель литературы» (П. 1923), и, в особенности, у А. А. Шилова: «Что читать по истории русского революционного движения» (П. 1922); для освежения материала

последний источник следует пополнять текущими историческими журналами («Пролетарская Революция», «Красная Летопись», «Красный Архив», «Былое», «Каторга и Ссылка»).

Наша текущая историческая литература почти ежедневно приносит все новые и новые данные по истории революционого движения. Мы старались использовать все оказавшиеся нам доступными литературные источники. К сожалению, несколько ценных изданий появилось к тому времени, когда наша работа уже заканчивалась и когда их привлечь в качестве материала нам удалось лишь частично или совсем не удалось. Так, мы могли для пополнения только некоторых мест нашей работы использовать богатую фактическим содержанием книгу В. И. Невского «Очерки по истории РКП», т. I, и совсем не могли использовать изданный под редакцией Л. Г. Дейча сборник «Группа Освобождение Труда», в котором опубликована чрезвычайно ценная переписка Плеханова, Дейча, Кравчинского и других.

Май, 1924 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ [1]).

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ XVII—XVIII в.в.

«История всего предшествующего общества есть история борьбы классов». Само собой разумеется, что Россия не составляет в этом отношении исключения. История ее общественного развития есть также история борьбы классов. Борьба эта долгое время носила стихийный, не всеми сторонами осознанный, характер, прежде чем она принимала формы открытой и острой революционной борьбы, как и революционное движение прошло длинный и извилистый путь, пока господствующее положение в нем занял рабочий класс в его борьбе против старого самодержавного дворянского порядка.

Из этого прошлого, нас, прежде всего, должны заинтересовать крестьянские восстания XVII—XVIII в.в. не только потому, что в них проявлялись острые моменты классовой борьбы, но и потому, что они сыграли своеобразную роль в последующем революционном движении России.

Крестьянское восстание—детище дворянской России и, как тень, сопровождали дворянство, укреплявшее свое господство в государстве. На рубеже XVII века феодальный порядок находился в состоянии разложения, дал глубокие трещины, которые по старине ничем уже нельзя было заполнить. Натуральное хозяйство сменялось товарным, наступало господство торгового капитализма; крупное феодально-боярское землевладение, целесообразное при натуральном хозяйстве, оказывалось не у места при товарном хозяйстве, еще недостаточно развитом для того, чтобы оправдать существование сколько нибудь крупного сельско-хозяйственного производства, расчитанного на рынок. Более приспособленным к новым условиям было хозяйство среднего размера,

---

[1]) Пособия: *проф. Фирсов*, „Народные движения в России до XIX века", М. 1924; *С. И. Тхоржевский*, „Народные волнения при первых Романовых", П. 1924; *М. Я. Феноменов*, „Разиновщина и пугачевщина", М. 1923; *проф. Готье*, „Смутное время", М. 1921; *М. Покровский*, „Русская история", т. II (гл. IX) и т. III (гл XIV, 5); *Н. Рожков*, „Происхождение самодержавия в России, изд. 2-ое, П. 1923 (гл. II); *его-же*, „Русская история в сравнительно-историческом освещении", т. IV, часть II, М. 1922 (гл. X); *Плеханов*, „История русской общественной мысли", т. II (ч. III, гл. III) и т. III (ч III, гл. VI); *проф. Платонов*, „Очерки по истории смуты в московском государстве XVI—XVII в.в." М. 1899.

каким тогда было неслужилое, дворянское землевладение. Отсюда борьба между дворянством и родовитою феодально-боярскою знатью, борьба, принимающая характер дворянской революции. Дворянство стремилось, прежде всего, заполучить те земли, которыми владели удельные князья, но такого рода революция в земельных отношениях для своего закрепления предполагала господствующее положение дворянства в государстве. Дворянство должно было иметь свою «твердую» власть, которая сокрушила бы властные остатки старины и феодальное государство превратила бы в дворянское: такою властью и явилось самодержавие.

Утверждение господства дворянско-самодержавного порядка привело к двум последствиям, ближайшим образом затрагивавшим интересы крестьянской массы. Получив землю, дворянство должно было обеспечить себя и рабочей силой. Проще всего это достигалось на почве крепостных, подневольных для крестьян отношений. Дворянство в эту именно сторону направило свои усилия, и ко времени утверждения его господства относится окончательное закрепощение крестьянской массы. Фактическое прикрепление отдельных крестьян путем ссуд и договоров завершилось превращением крепостной зависимости в общую норму, отдавшую все крестьянство под власть дворян-землевладельцев.

С другой стороны, рост дворянского государства должен был, в конце концов, столкнуть его с казацкими «вольницами». Уже с'издавна на окраинах государства — по среднему и нижнему течению Волги, Дона и левых притоков их, как и на нижнем Днепре—стали собираться выходцы, искавшие лучшей жизни, уходившие от нищенства и притеснений власти, а впоследствии и от тягостей крепостной зависимости. Поселяясь на новом месте и вблизи от границы, за которой начинались владения чужеземцев, они, естественно, держались общинами, «кругами», создавали свои формы примитивного демократизма, резко отличавшегося от того быта, который они оставили на родине. С московской властью они строили свои отношения, так сказать, от случая к случаю, то верно служа ей, то порывая с ней связи и создавая свою выборную власть. Занимались они охотой, рыболовством, бортничеством, часто грабили проходившие торговые караваны и делали набеги на турецкие, татарские и ногайские поселения с целью получить путем грабежа добычу. Долгое время московское государство не только терпело эту буйную вольницу, с которой оно не могло справиться, но и в существовании последней видело свою выгоду: ведь, это были, в конце концов, пограничные военные поселения, ограждавшие государство от набегов воинственных соседей. Поэтому правительство вступало даже с казаками в соглашения и снабжало их боевыми припасами. Такое своеобразное независимое положение казацких вольниц увеличивало их притягательную силу: всякий убегавший к казакам и ими принятый в свою среду, мог считать себя в безопасности—его не

могли потребовать ни правительство, ни дворянин-крепостник. С течением времени, когда более усиленно пошел процесс государственной централизации и правительство окрепло, отношение к «вольнице» изменилось и ее стали прибирать к рукам. Но и тогда, когда казацкие общины были вольными, как и тогда, когда против вольности их пошло правительство, они представляли собой очаг недовольства.

В этой обстановке казацкой вольности и закрепощения крестьянства, а затем и ликвидации вольного казачества, произошли крупнейшие восстания, связанные с именами Ивана Болотникова, Стеньки Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева.

1. Иван Болотников.

Первое из выступлений крестьянства произошло во время смуты, в разгар борьбы дворянства с боярством. Когда вся страна, в эти годы междуцарствия, была охвачена гражданской войной, неудивительно, что всколыхнулись и низы, враждебно настроенные против боярства. Иван Болотников, холоп князя Телятевского, собрал свои дружины и вместе с дворянином Ляпуновым встал за самозванца, против царя Василия Шуйского. Он призывал боярских холопов убивать бояр, грабить торговых людей, обещая им боярские поместья. Собравшиеся под предводительством Болотникова холопы, посадские люди, стрельцы и казаки сажали по тюрьмам воевод, уничтожали боярские дома и грабили имущество бояр. Переправившись через Оку, Болотников взял Коломну, а затем дошел до Москвы, став в селе Коломенском. В Москве появились его грамоты с воззванием к боярским холопам, которых призывали «побивать своих бояр» и торговых людей, а вотчины, поместья и именья грабить, повстанцам же обещалось «боярство, воеводство, окольничество и дьячество». Для примкнувшего к гражданской войне крестьянства дело было, таким образом, не только в смене царя, но и в социальной борьбе с теми, кого оно считало своими угнетателями; боярство должно было быть уничтожено, а поместья его должны были перейти в руки крестьян и холопов. Само собой разумееется, что такая тенденция не могла быть по душе дворянству, вступившему в союз с Болотниковым, и Ляпунов с товарищами переходят на сторону Шуйского, чтобы общими усилиями придушить общего врага. Ободренный удачей, Шуйский, направляет послов к Болотникову, уговаривает его отстать от самозванца и обещает ему «знатные чины». «Я дал душу свою Дмитрию и сдержу клятву, буду в Москве не изменником, а победителем»,—ответил Болотников Шуйскому. В этом гордом ответе сказывалась не столько преданность самозванцу Дмитрию, сколько настроение тех слоев, на которые опирался Болотников, и которые от Шуйского не могли ожидать ничего, кроме кровавой расправы. Болотников продолжал еще

некоторое время борьбу самостоятельно, но перед об'единившимися боярами и дворянами ему не под силу было устоять. Отряды его были разбиты, сам он исчез бесследно, остальное доделал белый террор. По словам историка, «целая треть государственной территории отдана была на окончательное разорение и узаконенный грабеж». Пленных не щадили, сотнями и тысячами «садили в воду», т. е. топили, расстреливали. Повстанцы знали, что их ожидает, и живыми в руки не давались; при безнадежности положения, они садились на пороховые бочки и взрывали себя вместе с ними. Но мужество отчаяния не могло спасти там, где вся сила была на стороне об'единившихся классовых врагов.

2. Бунт Стеньки Разина.

Самостоятельное выступление крестьянства в годы смуты было только эпизодом: борьба завязывалась между боярством и дворянством, но не между ними и крестьянством. Более ярко сказался антагонизм между крестьянами и господствующими классами в бунте Стеньки Разина, охватившем юго-восточную окраину России в последней трети XVII века.

Бунт Разина явился в результате, с одной стороны, внутреннего расслоения вольного казачества, с другой—окончательного закрепощения крестьянства. Казачество к этому времени уже не представляло собой однородной массы; часть его, более имущая, оседала на месте, теряла постепенно черты казацкого беспокойства; пробавляться по прежнему набегами должна была казацкая беднота («голытьба»). Ряды этой бедноты стали особенно пополняться с момента окончательного закрепощения крестьян, когда последние стали массами убегать на окраины от тягостей крепостного права. Прокормиться на Дону голытьбе становилось все труднее. «Во многие донские городки пришли с украйны беглые боярские люди и крестьяне с женами и детьми, и от того теперь на Дону голод большой»,—об'ясняла царская грамота начинавшееся брожение среди казаков. Когда Разин возвратился из Соловецкого монастыря, куда он ходил на богомолье,—рассказывает Соловьев,—«на Дону тесно, точно в клетке, а искателей зипунов, голытьбы, накопилось множество. Все они, и русские, и казаки, и хохлачи говорили, что им идти на Волгу воровать, а на Дону жить им не у чего», так что иным «прокормиться нечем». Такое острое положение заставляло голытьбу предпринять что-нибудь решительное, а за атаманом дело не стало.

Тому, что называют «бунтом Стеньки Разина», предшествовал обыкновенный, очередной «воровской» поход. Сначала Разин со своей дружиной двинулся Доном к морю, чтобы пограбить басурман, но путь ему загородили сами донцы, вернее более зажиточная часть их, которая была в мире с азовцами. Тогда Разин направился вверх по Дону, а затем по Волге, чтобы, спускаясь

вниз, пробиться к Каспийскому морю и к персидским городам. Удача не покидала смелого атамана: он занял Яицкий городок и, открыв выход к морю, пошел на персидские берега, где разграбил много городов. Затем Разин пришел в Астрахань с повинною: он бил челом перед воеводою, чтобы царь отпустил казаков на Дон, и отправил даже в Москву шестерых выборных, которые должны были вымолить казакам прощение. По царскому указу казаки были прощены и им предложено было отправиться в Астрахань «вины свои заслуживать». Такой счастливый исход об'яснялся тем, что московская власть тогда по слабости своей должна была смотреть сквозь пальцы на казацкие «шалости».

Фактически Разин со своими отрядами был на Дону сильнее власти, и это предрешало дальнейшую возможность «воровского» похода. Но куда идти? К Черному морю—турки не пустят; к Каспийскому—пойти можно, но возвратиться оттуда трудно, так как второй раз прощения уже не получишь. Разин решает пойти вверх по Волге, внутрь России. Если раньше путь его намечался желанием «голытьбы», то теперь в этом намечалась также роль беглых крестьян, которые знали, на кого должна на родине опуститься их тяжелая рука.

С этого времени, с весны 1670 г., начинается «бунт Стеньки Разина». Заняв Царицын и Астрахань, Разин отправляется вверх по Волге и доходит до Симбирска. Чем ближе подходил он к крепостной России, тем больше встречал сочувствия и тем сильнее разгоралось восстание. «Разнесется весть, что воры государевых ратных людей побили — и люди этому радовались; а скажут только, что ратные люди государевы воров побили—и станут люди унылы лицом и печалятся погибели воров»,—рассказывает современник о том, как встречали Разина на новых местах. К осени восстанием были охвачены земли, составляющие ныне губернии: Самарскую, Симбирскую, Пензенскую, Тамбовскую, Казанскую, Нижегородскую. Чем же завоевывал Разин симпатии крестьянства? С какой целью поднимал он восстание?

Разин был выдвинут и поддержан казацко-крестьянской «голытьбой», и ее смутно-примитивные идеалы нес он с собой. Когда, однажды, на Волге задержан был караван, Разин уничтожил хозяев, целовальников, приказчиков, а работникам («ярыжным») сказал: «Вам всем воля, идите себе, куда хотите; силою не стану принуждать быть у себя; а кто хочет идти со мной, будет вольный казак. Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными да простыми готов, как брат, всем поделиться». «Я не хочу быть царем,—говорил он в другой раз,—хочу жить с вами, как брат». Равенство, как его понимала казацкая голытьба, должно было быть положено в основу людских отношений. Когда казаки отправлялись в набег, они делили между собой добычу, и когда им пришлось столкнуться не с «бусурманами», а с крепостной деревней, эти начала равенства нужно было привести в

соответствие с условиями жизни подневольного крестьянства. В своих «прелестных листах» (прокламациях) Разин извещал, что идет истребить бояр, дворян, приказных людей, установить казачество и устроить так, чтобы «всяк всякому был равен». Для того, чтобы в деревне воцарилось равенство, следовало предварительно уничтожить всех угнетателей крестьянства, тех, в руках которых находилась земля и власть над крестьянами. Однако, Разин не отдавал предпочтения и полному безначалию. Если он говорил, что сам не хочет быть царем, то это не значило, что царя вообще не нужно. Крестьянство того времени также не представляло себя без царя, как и без земли. Разин отдавал дань такому общему воззрению своего времени. Он имел при себе покрытое красным бархатом судно, в котором, по его уверениям, находился сын царя Алексея Михайловича, царевич Алексей, незадолго до того умерший. Поднять народ на восстание в то время можно было именем царя—к помощи самозванца обратился и Разин. Конечно, царевич этот был особенный. «Прелестники» (агитаторы) Разина говорили, что царевич приказывает всех бояр, дворян, помещиков, воевод и приказных людей «искоренить», потому, что они народные изменники и мучители, а когда он воцарится, то будет всем воля и равенство. Стрельцам, посланным против Разина, казацкие дружины говорили: «Вы бьетесь за изменников, а не за государя, а мы бьемся за государя». Изменники—бояре и дворяне, воеводы и приказные люди, но не царь. Отсюда лозунг восстания: изменников выводить, а за великого государя стоять. Какую волю и какое равенство получат крестьяне от «великого государя», они едва ли себе представляли. Движущей силой восстания был протест против нестерпимой тяжести крепостного порядка, стремление сбросить с себя дворянских насильников. А о том, что будет дальше, темной массе не дано было понять, разглядеть, потому что тенденция развития общественных отношений того времени не могла привести к крестьянской воле.

Не забыл Разин и других существенных элементов крестьянского мировоззрения: крестьянину нужен был не только царь, но и бог. Рядом с судном, покрытым красным бархатом, плыло другое судно, покрытое черным бархатом, и в этом судне, по уверению «прелестников», находился основатель раскола, низверженный царем патриарх Никон. Разин примирил своего царя с низложенным главою церкви и авторитетом последней оправдывал восстание против изменников и народных мучителей.

Агитация Разина пала на вполне подготовленную почву: ведь, совсем свежо еще было окончательное закрепощение крестьянства. «Воры и мятежники—говорит один из современников—возмутили людей боярских и прельстили их сатанинскою прелестью ненависти к боярам: отец на сына, сын на отца, брат на брата, друг на друга выходили с оружием и бились до смерти». «В селах

крестьяне начали истреблять помещиков и приказчиков их и толпами поднялись в. казаки—пишет историк:—заслышав приближение этих воровских шаек, в городах чернь бросалась на воевод и на приказных людей, впускала в город казаков, принимала атамана вместо воеводы, вводила казацкие устройства; воеводы и приказные люди, облихованные миром, на которых было много жалоб, истреблялись, одобренных не трогали». По затронутой восстанием земле прошел шквал разрушения, за которым последовал другой—белого террора победившей царской власти. Отряды Разина были разбиты, сам он был схвачен и после мучительной пытки казнен четвертованием: отрубили сначала правую руку по локоть, затем левую ногу по колено, и наконец, голову. Царские воеводы с ратными людьми, подавляя восстание, сжигали села и деревни, убивали людей без разбора, так что, по словам современника, погибло до ста тысяч народа, не считая казненных по суду.

3. Булавинское восстание.

Разинское восстание показало правительству, какую опасность для него представляет казацкая вольница. К тому же побеги крепостных учащались, роптать начинали и помещики, лишавшиеся рабочей силы. Помещики жаловались Петру, что от этих побегов они разоряются, что с них требуют уплаты податей, поставки рекрут и работников в Петербург, а «беглые крестьяне живут в казацких городках, государевой службы не служат и податей не платят». Петр пошел навстречу желаниям помещиков и особой грамотой, посланной на Дон, приказал все козацкие городки, которые поселены не по указу и на шляхах, перевести за северный Дон по шляху, и во все городки «беглецов и никаких пришлых и работных людей ниоткуда отнюдь не принимать»; всех пришлых людей, принятых в казацкие общины после 1695 года, приказывалось отослать туда, «откуда кто пришел, потому что работники, будучи у нашего великого государя дел, забрали в зачет работы многие деньги, и не хотя заработать, бегали и бегают всегда в те города». За укрывательство беглецов казакам угрожала вечная каторга, «а пущим заводчикам»—казнь.

Этот грозный приказ означал, что правительство не только переходит к решительной борьбе с бегством крепостных от помещиков, но и намерено положить конец основному казацкому праву—принимать к себе всякого пришлого «без отдачи». Казачество не откликнулось на грамоту, как не откликнулось и на вторую, повторявшую старые требования. Пришлых людей казаки не отсылали, и число их все увеличивалось. Тогда Петр послал в 1707 г. на Дон полковника князя Долгорукого с отрядом войска разыскать беглецов и отправить их в места, откуда они бежали. Это покушение на основное казацкое право возмутило даже более консервативно настроенное казачество, так что сами старшины

склонялись к тому, чтобы оказать сопротивление Долгорукому. В Черкасске, впрочем, они приняли царского посланца с покорностью и дали ему провожатых для розыска беглецов. Но в то же время стала ходить по рукам грамота от имени старшины с приглашением не подчиняться Долгорукому и бить сыщиков. Нашелся и атаман Кондратий Булавин, который принял эту грамоту к исполнению,—напал на Долгорукого и истребил его отряд. Началось восстание, как прямой ответ на вызов правительства, брошенный казацкой вольности. По плану Булавина, нужно было, прежде всего, пойти по казацким городкам и «привораживать» к себе казаков, затем пойти по другим городам, чтобы запастись конями, ружьем и порохом, в Азове и Таганроге освободить «ссылочных и каторжных, которые нам будут верные товарищи», а весною пойти «на Воронеж и до Москвы». В особой грамоте «от Кондратия Булавина и от всего с'ездного войска походного Донского» об'являлось, «в русские города начальным добрым людям, также и в села и в деревни, посадским и торговым и всяким честным людям», чего они могут ожидать от повстанцев. Как и следовало ожидать, все войско, «со всяким раденьем» стоит «за дом пресв. богородицы и за истинную веру христианскую и за благочестивого царя», к чему приглашаются и начальные добрые люди и честные люди — последние никакой обиды от войска не должны опасаться. Больше того: грамота требует, чтобы «между собой добрым начальным, посадским и торговым и всяким честным людям отнюдь бы вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не грабить и не разорять, и буде кто станет кого напрасно обижать или бить, и тому чинить смертную казнь». Но зато «которым худым людям, и князьям, и боярам, и прибыльщикам, и немцам за их злое дело отнюдь бы не молчать и не спущать ради того, что они вводят всех в еллинскую веру и от истинной христианской веры отвратили».

Таким образом, Булавин угрожал только князьям, боярам, крупному купечеству, немцам, да худым людям. С «благочестивого царя» снимается всякое подозрение, виноваты те, которые извращают его волю, в особенности беда в том новом, что привнесено Петром в жизнь—в «немцах», которые отвращают от христианской веры. Никаких социальных зол Булавин не касается; и добрые начальные люди, и посадские, и торговые должны жить в мире, грабить их воспрещается—месть должна направиться только против правящих и командующих верхов—за исключением царя— в которых подозреваются враги казацкой вольности. Движение Булавина остается, таким образом, больше всего актом казацкой самозащиты. Быть может, именно по этой причине восстание, равнодушное к социальным злобам дня казачества и крестьянства, не распространилось широко и скоро было подавлено, тем более, что и центральное правительство при Петре окрепло.

Булавин взял Черкасск, об'явил себя атаманом, но удача его

вскоре покинула: против него восстали его же люди, которые обвиняли его в поражениях, и Булавин, опасаясь жестокой расправы, застрелился. Движение после этого продолжалось еще некоторое время, причем отдельные атаманы пытались, подобно Разину, воскресить идеалы «голытьбы». Атаман Голый в «прелестных письмах» своих говорил: «нам до черни дела нет; нам дело до бояр и которые неправду делают, а вы, голутьба, все идите со всех городов, конные и пешие, нагие и босые. Идите! Не опасайтесь! Будут вам кони и ружья и платье и денежное жалованье; а мы стали за старую веру и за дом пресв. богородицы, и за вас, и за всю чернь, чтобы нам не впасть в еллинскую веру. А вы, стольники и воеводы и всякие приказные люди. Не держите чернь и по городам не хватайте и пропускайте всех к нам в Донские городки, а кто будет держать чернь и не отпускать, и тем людям смертная казнь». Но дело уже было проиграно, Петр собрал достаточно сил, чтобы разгромить восставших казаков.

4. Пугачевское восстание.

Наступила окончательная ликвидация вольностей донского казачества. У него отнято было право выбирать атаманов, кроме станичных, был упразднен обще-казачий круг, была введена обязательная военная служба казаков с 18-тилетнего возраста, причем военную службу они должны были нести все поголовно, а не по рекрутскому набору. Это было фактически не только уничтожением былой вольности, но и закрепощением казаков за государством. Беглым людям путь на Дон уже был закрыт и поток их направился туда, где еще можно было укрыться от власти и помещика—на Урал и в Сибирь. Но насильственная ликвидация вольного казачества и жестокая система борьбы с беглыми дошла и до новых мест. После волнений на Урале и там было уничтожено выборное войсковое правление, с подчинением войска оренбургскому губернатору. Понятно, что это систематическое упразднение былых свобод поддерживало среди уральского казачества дух протеста и недовольство. С другой стороны, ко второй половине XVIII века окончательно сложилось дворянско-крепостническое государство. Крестьянство было прикреплено к земле под властью помещика-дворянина; дворянство, владея землей и крестьянами, было первенствующей и командующей силой в государстве. В особенности тяжело—если уже говорить о каких-либо различиях в этом отношении—было положение крепостного населения на Урале. Здесь дворянство, в особенности родовитое, получало настоящие земельные царства с заводами, к которым многими тысячами приписывались крестьяне. Крупные купцы-фабриканты также стремились в этот богатый край, где они получали для эксплоатации заводы с крестьянами. Приписные крестьяне жили хуже, чем каторжною жизнью. Часто их пригоняли

на Урал за сотни и тысячи верст, отрывали от родной деревни и земли, а на заводах земли не давали, так что крестьяне должны были довольствоваться исключительно заводской работой, которая, как они сами говорили, приводила их в нищенство. В глухих уральских углах самовластные заводчики с нечеловеческой жестокостью угнетали крестьян, и много сохранилось свидетельств неслыханных даже в крепостное время зверств славных представителей российского дворянства и купечества. Крестьянам эта жизнь становилась невмоготу, они протестовали, как умели, и волнения горнозаводского крестьянства не прекращались.

В этих условиях порабощения уральского крестьянства и казачества нашла для себя благоприятную почву пугачевщина. С Урала начал Пугачев. Но пришел он туда не казаком, вождем повстанцев, а самозванцем «императором Петром III». Если не все из приближенных Пугачева верили в его царское происхождение, то все хотели в это верить. «Пусть это не государь—говорил один из помощников Пугачева,—а донской казак, но он вместо государя за нас заступит, а нам все равно, лишь бы быть в добре».—«Ну, ладно,—соглашались другие,—так тому и быть; значит это всему войсковому народу так надобно». Не дождавшись царя—народного заступника, крестьянство готово было его выдумать, и тем более шло за ним, когда он об'явился. Горнозаводские крестьяне и казаки массами стекались к Пугачеву. Заводские работники лили для него пушки, поставляли людей, которые умели с пушками обращаться, составляли особые отряды, окапывались в заводах, которые превращали в крепости. Благодаря этому, Пугачев сначала оказался сильнее правительственных войск и бил царских генералов, но когда последние получили сильное подкрепление, роли переменились—Пугачев потерпел ряд поражений. Тогда он с Урала двинулся к Казани, поднимая крепостных крестьян против помещиков.

Крестьянство и казачество шли за Пугачевым, потому что ожидали от него «быть в добре». Пугачев шел навстречу этим ожиданиям и всем обещал то, чего они жаждали. Казаков он в манифестах своих жаловал «рекою с вершин и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом и хлебным провиантом», заводских работников он обещал пожаловать «крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью». Помещичьи крестьяне жаловались «древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою, вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных платежей». Здесь было все, чего могла жаждать казацкая и крестьянская душа: земля, освобожденная от рекрутчины и податного бремени, легализация раскола церковного, свобода рыбного и соляного промысла, захватываемого капиталом, забота о продовольствии вечно голодавшего

заводского крестьянства, наконец, вольность и свобода. Не следует думать, однако, что свобода на языке пугачевских манифестов означала упразднение крепостных отношений. «Всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещикам быть верноподданными рабами собственной нашей короны»,—говорилось в манифесте Пугачева, обращенном к помещичьим крестьянам. Подданство помещику должно было быть заменено подданством царю, вольность означала переход из помещичьих крестьян в государственные, казенные. Крепостное право оставалось, переменялся лишь владелец крестьянских душ. Ставя так вопрос, Пугачев не расходился с крестьянскими настроениями. Крестьянство того времени еще не доросло до борьбы за волю, но, под помещичьим гнетом, оно могло мечтать о закрепощении государству, как о минувшем золотом веке. Но при сохранении крепостнических отношений единственным движущим началом движения оставалась жгучая ненависть к крепостнику-помещику. И здесь Пугачев нашел наиболее понятный для крестьянства язык: «повелеваем сим нашим именным указом, говорил он: кои дворяне в своих поместьях и вотчинах находятся, оных, противных нашей власти, возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с своими крестьянами; по истреблении которых противников и злодеев-дворян всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, кои до века продолжаться будут». Месть разрушения, истребление дворян-помещиков—такова ближайшая задача, которая должна быть выполнена восставшими крестянами.

И крестьяне дали выход накипевшему гневу. Они жгли усадьбы, вешали помещиков тысячами, несли с собой месть и разрушение. Перед лицом опасности физического уничтожения дворянство сплотилось вокруг Екатерины, и, в свою очередь, с неслыханной жестокостью обрушилось на повстанцев. Карательные отряды, подавляя восстание, уничтожали крестьян деревнями и селами, превращая Поволжье в пустыню. Пугачев был схвачен и, как Разин, казнен четвертованием.

Что представляли собой все эти крестьянские восстания? Их об'единяло, прежде всего, одно: оборона от сперва надвигавшегося, а потом укрепившегося крепостного порядка, как и от вторжения в народную старину разрушительных начал зарождавшегося торгового капитализма. Бунт Стеньки Разина бы ответом на закрепощение крестьянства и на попытки крепостнического государства закрепостить казачество; пугачевское движение нашло для себя почву, как в укрепившемся крепостном порядке, так и в разрушительной работе капитала, подчинившем себе горнозаводское крестьянство и лишившее казачество права на исконную свободу его промыслов. Все эти восстания не могли ставить и не ставили перед собою цели развязать общественные силы для дви-

жения их вперед, для разрешения назревавших задач смены, полностью или частично, старого порядка новым—и потому они не были революционными. Наиболее радикальное движение Разина было направлено к тому, чтобы восстановить первобытное равенство и примитивную демократию казачества, пугачевщина не преследовала и таких задач, оставаясь на почве крепостнических отношений и обращая все острие движения против помещика, как носителя крепостного права, но не против самого крепостного порядка. Все эти крестьянские движения смотрели назад, а не вперед; активность масс, поскольку она имелась, никаких положительных задач не выдвигала, потому что в порядке исторического дня революционные задачи выпадали на долю других классов, а не крестьянства и казачества.

Все это не помешало, однако, тому, что неутихавшее народное движение ускоряло разложение и крушение крепостного порядка, но такого рода воздействие крестьянского движения стало сказываться лишь с того времени, когда крепостной строй начал сам отцветать, разрушаться. Бунт Разина не остановил быстрого процесса закрепощения крестьянства. Бунт Булавина не продлил дней казацкой вольности—складывавшееся крепостное общество и крепостническое государство могли выдержать напор массы без того, чтобы отступить от разрешения своих задач. Со второй половины XVIII века намечается разложение крепостного порядка, и каждый удар по последнему протестующего крестьянства приводит уже к другим результатам. После Пугачевщины правительство делает некоторые уступки горнозаводским крестьянам (нормируется их работа), крестьянские волнения при Павле I приводят к попыткам ослабления крепостного права, непрекращавшиеся волнения крепостных крестьян в первой половине XIX века заставляют Александра II признать, что лучше отменить крепостное право сверху, чем оно будет отменено снизу, силами восставшего крестьянства. Перед крестьянским движением открываются революционные возможности лишь в меру разложения крепостного порядка, а вместе с ним и разложения патриархального строя деревни.



ГЛАВА ВТОРАЯ [1]).

ДЕКАБРИСТЫ.

1. Россия начала XIX века.

К началу XIX века общественные отношения в России существенно и значительно изменяются.

Процесс превращения натурального хозяйства в товарно-денежное уже во второй половине XVIII века все туже сжимал крепостной порядок. Росла внутренняя торговля, завязывались все более тесные торговые отношения с Западом, увеличивалось число фабрик, сельское хозяйство захватывалось мировым рынком. В начале 90-х годов XVIII в. за-границу вывозилось 233 тыс. четв. разных хлебов, в 1802—04 г.г. вывоз их поднялся до 2 мил. четв. Очевидно, столь значительное возрастание вывоза возможно было только потому, что сельское хозяйство стало работать на рынок и выбрасывать для продажи все больше и больше продуктов. Подпав под власть рынка, дворянское хозяйство старается усилить свою продукцию, оставаясь, разумееется, еще в границах крепостнических отношений. С другой стороны, капиталы, накопленные в дворянских руках, начинают приливать в промышленность: дворяне не гнушаются становиться фабрикантами, заводят свои предприятия (винокуренные и сахарные заводы, суконные фабрики), тем более, что это дает возможность усилить эксплоатацию крепостного труда. Проникают товарно-денежные отношения и в среду крестьянства. Крестьяне, по преимуществу из тех, которых помещики переводили на оброк, начинают заниматься тор-

---

[1]) Пособия: *Н. Рожков*, „Экономическое развитие в России в перевой половине XIX в.“ в „Истории. России XIX в.“ изд. Граната, т. I; *Покровский*, „Русская история,“ т III (гл XVI и XVII), *Покровский и Левин*, „Декабристы“. в „Истории России“ Граната т I; *Довнар-Запольский*, „Тайное общество декабристов“ М. 1906; *его-же*, „Декабрьская революция 1825 г“, „Голос Минувшего“, 1917 г., № 7—8; *Семевский*, „Политические и общественные идеалы декабристов“, Спб. 1909; *Павлов-Сильванский*. „Декабрист Пестель перед Верховным Уголовным Судом“, Рост. на Дону, изд. „Донская Речь“; *Герцен*, „Русский заговор 1825 г.“, собр. соч., т IX; *Плеханов*. „14 декабря 1825 г.“ П. 1921; *М. Покровский*, „Декабристы“, „Записки Коммунист. университета им. Свердлова“, т. I, М 1923; *Н. Рожков*, „Декабристы“, „Русское Прошлое“, № I; *К. Пажитнов*, „Развитие социалистических идей в России“, т. I, П 1924 (гл. I); *М. Балабанов*, „Россия и европейские революции в прошлом“, в. I, „Великая французская революция“, 2-е изд К. 1924; *его-же*, „Очерки по истории рабочего класса в России“, ч I, 3-е изд., К. 1924.

говлей, промыслами, процесс накопления дает и здесь свои, по тому времени, разительные результаты: крестьянство, конечно, более зажиточное, становится столь активным купцом, что вызывает ропот со стороны «статейного» купечества. Наконец, и купеческий капитал переливается в промышленность, число купеческих фабрик увеличивается, в особенности с того времени, как купцам было предоставлено право приобретать для фабрик землю с крестьянами.

Сословные перегородки становились все тоньше и сословный строй уступал место классовому капиталистическому обществу. В особенности исторически значителен был процесс социального перерождения части землевладельческого дворянства в буржуазию. Чистоту дворянской кости охраняло родовитое дворянство, дворянская аристократия; наделенная обширнейшими землями, влиятельная при дворе, осыпанная милостями по службе, эта часть дворянства не имела оснований опускаться до низшей породы капиталиста. «Старинное дворянство,—писал современник,—в коем заключалась слава, честь, подпора наших прежних самодержцев, ныне от мутных, несвойственных ему потоков, засорилось, поблекло, едва мерцает, подавленное новыми выходцами». Засорение старинного дворянства современник Александра 1 приписывал «выходцам», т. е. мелко-поместному дворянству, но он не замечал, что имеются и другие «выходцы», т. е. те, которые подсчитывают денежки по своему хозяйству, заводят фабрики, торгуют, службу государеву заменяют службой капиталу в той или иной форме. Навстречу такому классовому расслоению дворянства шло оформление и торгово-промышленной буржуазии. Купец оставался диким, невежественным, но мошной своей приобретал вес и значение в «обществе». Крепостной крестьянин, нажившийся на торговле или промыслах и получавший возможность откупиться от помещика, был уже совсем сродни купцу. Сословные перегородки давали трещины, и если еще держались, то потому, что процесс классового преобразования сословного строя еще не достиг такой силы, чтобы потребовать смены «надстройки».

Это разложение крепостного хозяйства и общества ускорялось международной обстановкой того времени и все возроставшими торговыми сношениями России с Западом. Мировой рынок притягивал к себе Россию и держал ее под своим воздействием. Капиталистические страны—Англия и Франция—стремились занять господствующее положение на русском рынке для сбыта своих товаров и закупки русского сырья. Накануне Великой Французской Революции Франция пытается вырвать Россию из сферы влияния Англии, но это удается сделать только Наполеону, благодаря успехам его оружия. По тильзитскому миру Россия присоединяется к континентальной блокаде Англии с воспрещением ввоза в Россию английских товаров, главным образом, мануфактуры. Запретительная система содействовала небывалому раньше росту

текстильной промышленности: в 1808 году в России была основана первая частная бумагопрядильная фабрика, а в 1812 г. в одной Москве их было 11; шелковых фабрик в 1809 г. было 194, в 1818 г.—число их возросло до 210, писчебумажных фабрик в 1780 г. было 25, в 1814—74 и т. д. Несмотря на разрушительное действие войны 1812 года, промышленность продолжала расти в условиях как роста внутреннего рынка, так и благоприятно сложившейся для капитала международной обстановки.

Усложнение социально-экономической жизни ставило в иное положение, чем раньше, общественные классы, интересы их чаще и более остро приходят в столкновение. Ко времени созыва Екатериной II комиссии по составлению нового уложения (1767 г.) купечество настолько окрепло и осмелело, что стало оспаривать у дворянства монопольное право его владеть крепостными, добиваясь признания этого права за собою и требуя воспрещения крестьянам заниматься торговлей. Континентальная система с ее запретительными тарифами вызывает недовольство со стороны крупного поместного дворянства, терпевшего убытки от высоких цен на фабричные изделия и от невозможности сбывать сырье в Англию, в то время как купечество, напротив, выступает горячим сторонником покровительства промышленности любою ценою. «Патриотическое рассуждение» одного московского купца того времени негодует на то, что «иностранцы присвоили себе, кажется, право приезжать в Россию как в лес и почитать русских за дикарей», а положение русских купцов сравнивает с «состоянием жидов в Германии». «Известно, — пишет купец, — что сих последних утесняют так, как безотечественных, оскорбляют несказано и презирают их, как бы по долгу, и между тем их укоряют, что они не имеют понятия о честолюбии, и все обманщики, мошенники, плуты. У нас были и может быть есть из купечества люди предприимчивые, которые могли бы выйти из частного округа домашней торговли и вступить в сношение с иностранными негоциантами, но непрочность коммерческих постановлений связывает руки». До сознания купечества уже начали доходить некоторые несовершенства крепостнического государства, связывавшие рост производительных сил страны.

Особенно сильный толчек пробуждению сонного крепостного общества дает международная обстановка в начале XIX века и внешние осложнения. Вся Европа жила тогда под впечатлением Великой Французской Революции и наполеоновских войн. Русское правительство не оставалось безучастным к французским событиям конца XVIII века, Екатерина II пылала ненавистью к революции, поощряла европейскую контр-революцию, а Павел пошел походом против европейской «заразы». Наполеон справился с врагами и заставил Александра I вступить с ним в союз против Англии. Уже одно это внесло смятение в умы российских обывателей, которым твердили, что Наполеон враг всего человечества,

и которым теперь приходилось смотреть на него, как на союзника и друга России. К этому присоединились разрушительные последствия войн и международных осложнений. Континентальная блокада с воспрещением ввоза товаров из Англии понизила курс серебряного рубля, подняла цены. «Я вам скажу,—писал гр. Воронцову его сослуживец,—что одним взмахом пера нас обеднели на две трети... Удары власти неограниченной, произвольной и необдуманной уничтожили зарождающуюся промышленность, а нововведения и постоянные перемены окончательно поколебали то небольшое доверие, которое еще сохранялось к мерам правительства». Роптать имело основание не одно крупное дворянство, которому закрыт был вывоз хлеба за-границу и которое должно было за все переплачивать. Когда цена сукна поднялась до 35—50 р. за аршин, а сахару до 100 р. пуд, роптать могли и более широкие круги населения. Государственные финансы пришли в расстройство, что еще больше увеличивало общее смятение. По росписи на 1810 г. расходы превышали доходы «необ'ятным количеством», как выражался Александр I, дефицит достиг 105 мил. руб. (при доходе в 125 мил. руб. и расходе в 230 мил. руб.), так что правительство должно было ввести налог по 50 коп. с ревизской души, приступило к продаже государственных лесов, арендных и некоторых других имений.

Пошел по стране шопот, слухи и толки о государственном банкротстве, растерянности и слабости правительства. «До моего сведения дошло,—писал Александр I московскому главнокомандующему,—что в Москве между торговцами носятся весьма нелепые о правительстве слухи. Утверждаемо было, между прочим, что будто в совете, в моем присутствии, сделано мне от всяких членов оного сильное представление о бедствиях, грозящих России от настоящей политической системы, и что представление сие вынужден был я принять и с ним согласиться». Сперанским было составлено и опубликовано правительственное сообщение, опровергавшее все слухи, «затеи праздных людей». «Тут открывается пространное поле для новостей — говорилось в сообщении: — сегодня выходит запрещение носить всем вообще фраки; завтра выйдет другое утверждение, еще более стеснительное, а 1 сентября сего года непременно последует указ, ниспровергающий все отношения помещиков к поселянам». Однако, нужно думать, что слухи и толки были не совсем невинного характера, если шведский посланник доносил своему королю, что в России повсюду идут разговоры о «перемене династии», а обер-доноситель Магницкий писал Александру I, что из Москвы «гибельная мода порицать правительство переходит в провинцию, тревожит добрых граждан, служит пагубным для злых орудием и благотворную доверенность к правительству, в важных положениях его столь драгоценную, в основаниях ее и повсеместно колеблет». По рукам во многих списках ходило письмо к Александру I, которое приписывалось

разным лицам и обращало внимание царя на «ужасную картину всеобщего расстройства». «Необыкновенная дороговизна в столицах,—писал автор письма,—голод в пограничных губерниях, недовольство людей, похищенных от земледелия рекрутским набором и сбором милиции. От севера к югу во всех губерниях все классы подданных отягощены и разорены податями и налогами; дворянство, духовные, купцы, крестьяне одинаково наполнены чувствами негодования и отчаяния—все ропщут. К единому терпению должно относить спокойствие народа, чем народ русский издревле отличался от прочих. Истощение финансов двумя войнами, от одного невежества несчастными, патриотические пожертвования, собранные уже по окончании войны и истраченные без всякой пользы; чрезвычайное умножение ассигнаций и средства к государственным доходам уничтожаются беспрестанно разорением крестьян». Считает нужным автор письма указать и на «неповиновение уральских казаков и работников на пермских железных заводах», как и на готовность к «бунту» польских крестьян и крестьян в немецких провинциях.

Война 1812 года, когда армия Наполеона дошла до Москвы, могла лишь еще больше усилить общее расстройство. «Пространство от берегов Клязьмы до берегов Немана обратилось в пустыню —писал дворянин-современник,—а ближайшие к театру военных действий губернии Псковская, Рижская, Орловская, Калужская и проч., истощены до крайности. Потери в населении необ'ятны». Крестьянское хозяйство, ослабленное к тому же неурожаями, поражало своим развалом даже на фоне крепостной нищеты. «Ржаной хлеб низкого качества, дурно выпеченный; каша—предмет роскоши, квас—только по названию или вовсе нет его, так же как огородной зелени и овощей. Белье и обувь грубые и грязные; скот неопрятный, мелкий, дурно выкормленный; нет для него стойл; нет и домашних птиц»—таковы наблюдения одного из современников. Но война отразилась не только на крестьянстве. Она сильно подорвала промышленность, купечество разорялось на подрядах, московские фабрики при нашествии французов погибли, торговля уменьшилась, не прекращались банкротства, обороты нижегородской (макарьевской) ярмарки сильно сократились. «Купечество, стесненное гильдиями и затрудненное в путях доставки, потерпело верный урон: многие колоссальные фортуны погибли, другие разорились,—писал декабрист Бестужев.—Дворянство было тоже недовольно за худой сбыт своих произведений, дороговизну предметов роскоши, долготою судопроизводства». Вообще, по словам Бестужева, «во всех углах виднелись недовольные лица, на улицах пожимали плечами, везде шептались—все говорили, к чему это приведет. Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом, одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованной землею».

Мотивов для недовольства, как видим, было достаточно. Но в основе его лежало несоответствие между крепнувшими капиталистическими отношениями и остававшимся в неприкосновенности крепостным порядком,—несоответствие, которое в обстановке военных осложнений начала века вскрылось особенно остро. Один из современников в такой житейской картине ярко рисовал шероховатости старого механизма, работавшего с такими угрожающими перебоями: «Чем чиновнее и богатее человек, тем неприступнее для кредиторов. Мастеровые, булочники, мясники по несколько лет таскаются с расписками в руках в передних у вельмож или в губернских правлениях. Полицейские ходят с указом и повестками понапрасну—никто не повинуется. Купец об'является несостоятельным, когда рассудит, и явно потом располагая мильонами, смеется над уставами и кредиторами. По векселю потерпите убытки, хлопоты; по закладной в десять лет не продадут имения и долготерпение наростает вместе с процентом». «Священная собственность» требовала своего ограждения, более надежного, чем самовластие крепостного чиновничества, капитал притязал на отношение к нему более внимательное, чем своеобразные заботы об «аршинниках» со стороны всесильных городничих.

Недовольство, принимавшее бурные и даже кровавые формы, бывало и раньше. Но, если не считать дворянской революции XVII века, оно захватывало в последующем незначительное меньшинство придворного дворянства. Так наз. дворцовые революции, которыми Россия не была бедна, ничего не изменяли в системе, свергая правителей,—и потому они могли захватить только тех, кто ближайшим образом был заинтересован в дворцовом перевороте. Теперь на очередь становились вопросы, разрешение которых было связано с изменением системы, с основами крепостного общества, и потому они могли захватить более широкие круги. На сцену впервые выступает новая общественность, заново складывающиеся общественные силы, пред'являя свои запросы. Слухи, о которых писали Александр I и Сперанский, действительно широко распространились—многие из них заносил в свой дневник Николай Тургенев, впоследствии примкнувший к декабристам—и показывали, что создается общественная обстановка, благоприятная для роста активности того или иного напряжения. Вместе с тем, впервые намечается разное отношение к разрешению задач, выдвигаемых жизнью: «уступка» власти с целью сохранить старое, тактика мирных и постепенных реформ, и революционная тактика, пытающаяся силою выростающего класса облегчить муки рождения нового общества.

Александр I в начале своего царствования много говорил о своем намерении ввести в России конституционный порядок. Этот «либерализм» молодого царя об'яснялся не столько влиянием свободолюбивых идей, сколько близким участием его в дворцовом перевороте, сопровождавшемся убийством его отца, Павла I. Убе-

дившись на опыте в превратности судьбы российского самодержца, Александр мог предпочесть опереться на что-либо более надежное, чем придворная клика или даже гвардия. Впоследствии к этому присоединились и внутренние осложнения, вызванные как тильзитским миром, так и событиями, ему предшествовавшими, когда Александр мог опасаться печальной участи последовать за отцом. «План» преобразований Сперанского подсказывал Александру выход. Он сводился, главным образом, к созданию «государственной думы», законосовещательной, составленной почти сплошь из землевладельцев путем четырехстепенных выборов. Союз самодержца с средним дворянством должен был успокоить недовольство и сохранить в неприкосновенности царскую власть со всеми ее прерогативами. Но на деле Александр удовольствовался еще меньшей «уступкой»: вместо государственной думы учрежден был вполне бюрократический государственный совет—на большее царского «либерализма» не хватило.

Более широкие дворянские круги такого рода уступкой не удовлетворились, но и сами они были далеки от сколько-нибудь смелых и последовательных выводов. Неизвестный автор письма к Александру, которое мы выше приводили, не идет дальше советов царю устранить «толпу иностранцев» и опереться на «истинных русских», на дворянство. «Положитесь более всего на дворянство,—пишет он,—на свою истинную подпору трона вашего, на то сословие, которое поставляет себе всегда преимущество пролить кровь за отечество, признает государя своим покровителем и гордится его доверенностью». «Кормило правления должно быть в руках героя,—добавляет автор письма,—и таким героем должен быть царь,—а дворянство—его толпою».

Зло крепостного права сознавалось многими, как многие приходили к необходимости его отмены, но и здесь редко давался прямой ответ на вопрос проклятый. Когда в 1819 г. Николай Тургенев получил возможность представить Александру записку по крестьянскому вопросу, он отдал всю дань постепеновщине. «Грешно помышлять о политической свободе там, где мильоны не знают даже и свободы естественной,—пишет он,—всякое распространение политических прав дворянства было бы неминуемо сопряжено с пагубою для крестьян, в крепостном состоянии находящихся». Все это, конечно, верно. Смешно говорить о политической свободе в крепостном царстве, а усиление власти дворянства при крепостном праве ухудшило бы положение крестьян. Но отсюда, казалось бы, можно сделать вывод, что крепостное право должно быть отменено и политические права предоставлены не только дворянству, но и освобожденному крестьянству. Однако, Тургенев делает другой вывод. Так как дворянство, получив политические права, не освободит крестьян, то «в сем то смысле власть самодержавная есть якорь спасения для отечества нашего; от нее и от нее одной мы можем надеяться освобождений наших;

братий от рабства, столь же несправедливого, сколь и бесполезного». Сторонник конституции вообще, Тургенев при соприкосновении с действительностью делает самодержавие вечным: ибо раз только самодержавие может провести столь крупную реформу, как освобождение крестьян, стало быть, говоря словами автора цитированного письма к Александру, в руках такого «героя» и должно остаться «кормило правления».

Такого рода оппозиционное настроение открывало возможность компромисса с властью, примирения с обновленным и совсем не подневольным самодержавием. В воззрениях умеренного дворянского либерализма назревавшая историческая задача социального и политического раскрепощения общества преломлялась через трудно проницаемую толщу классовсго эгоизма господствовавшего сословия и потому не могла дать того разрешения, какое поставило бы Россию в уровень с капиталистическим Западом. Революционное понимание задачи могло быть под силу тому тонкому слою дворянства, который, отрываясь от традиций сословия, связанного с прошлым больше, чем с будущим, выражал настроения той части дворянства, которая становилась буржуазной, и потому мог более непосредственно и остро воспринимать запросы жизни и столь же прямо идти к их разрешению. Такой общественной силой была буржуазно-дворянская интеллигенция.

В этом отношении положение России первой четверти XIX в. также радикально изменилось: буржуазно-дворянская интеллигенция наростала как в результате внутреннего процесса перерождения социальных отношений в стране, так и под влиянием небывало сложной международной обстановки того времени. Великая французская революция вызвала к активности не только контр-революционные силы, но пробудила и общественную мысль. Благодушные «россияне», не видевшие вокруг ничего, кроме дикого крепостника-помещика, вдруг услыхали о великом потрясении Европы, о революции, которая покончила с феодальным порядком и казнила короля, о новых принципах свободы, равенства и братства, брошенных революцией во все владения самодержцев и крепостников. Впечатление получилось потрясающее умы, пробуждающее мысль, двигающее ее, раньше ленивую, к работе и переоценке привычных ценностей. Французский посол Сегюр, наблюдавший Петербург в первые дни французской революции, писал об энтузиазме, вызванном «среди негоциантов, купцов, мещан и нескольких молодых людей из более высшего класса падением этой государственной тюрьмы (Бастилии), этим первым триумфом бурной свободы». Реакционно настроенный Карамзин писал о днях своей молодости: «Я не избежал тогда соблазна от лживых прелестей французского переворота, который не только до губернии нашей, но и до глубины самой Сибири простер свое влияние на молодые умы». Наиболее усердные поклонники революции переводили из иностранных газет статьи о казни Людо-

вика XVI, и статьи эти в виде рукописной книги переходили из рук в руки в качестве первой «нелегальщины». Сочувствие революции было довольно смутным, но, прежде всего, оно связывалось с протестом против крепостного права, наиболее ярким обличением которого была книга Радищева. Последующее развитие европейских событий, все ближе захватывавших и Россию, не давало остановиться работе мысли, раз сдвинувшейся с мертвой точки. Революционные войны, походы Наполеона, выступление Павла I во главе европейской контр-революции, революционный пожар, поднимающийся то там, то здесь от французской искры, союз с Наполеоном России и разрыв с Англией, наконец, война 1812 года—все это не могло не произвести революции в умах, должно было сделать мысль более острой, пытливой, смелой, способной покончить с традициями и прямо подойти к запросам жизни.

Когда следственный комитет поставил перед Пестелем вопрос, каким образом революционные мысли стали укореняться в умах, то наиболее выдающийся из декабристов ответил: «Политические книги у всех в руках; политическая наука везде преподается, политические известия повсюду распространяются. Сие научает всех судить о действиях и поступках правительства: хвалить одно, хулить другое. Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных, и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили ум с революциями, с возможностями и удобствами оные производить». Другой декабрист, Бестужев, оттенил в своем письме к Николаю I пропаганду фактами иного порядка: «Неудачная война 1807 года, и другие многостоющие, расстроили финансы, но того еще не замечали в приготовлениях к войне отечественной... Еще война длилась, когда ратники, возвратясь домой, первые разнесли ропот в массе народа. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Войска от генералов до солдат, пришедшие назад, только и толковали, как хорошо в чужих землях. Сравнение со своим, естественно, произвело вопрос: почему же не так у нас? Сначала, покуда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый».

Под влиянием таких настроений росла дворянская интеллигенция. Когда в 1815 году группа офицеров Семеновского полка устроила артельную столовую, то после обеда, как рассказывает декабрист Якушкин,—«одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе,—такое времяпрепровождение было решительно нововведение».

А еще незадолго до того, «офицеры, сходившись между собой, или играли в карты, без зазрения совести надувая друг друга, или пили и кутили напропалую». Увлечение массонскими идеями, в которых политическое свободомыслие допускалось в меру вольности в религиозных вопросах, уже не удовлетворяло, и зарождались общества, в которых главную роль играли политические и социальные вопросы современности. Сперва собирались для бесед, чтобы дать выход жажде общения, обмена мнений. «Тут— по словам Якушкина,—разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку, вообще. То, что называлось высшим образованным обществом, большею частью состояло тогда из староверов, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением». Преступлением это казалось не только дворянским староверам, но и правительству. «Люди, видевшие худое и желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрытно,— и вот начало тайных обществ», писал Бестужев.

Из этих тайных обществ вышло восстание декабристов.

2. Воззрения декабристов.

Первым возникло в начале 1817 года тайное «Общество истинных и верных сынов отечества», основанное Александром и Никитой Муравьевыми, Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами, Якушкиным и Пестелем. Это общество просуществовало недолго и сменилось другим обществом, «Союзом Благоденствия», которое также закрылось и уступило место двум обществам—Северному и Южному. Северное общество действовало в Петербурге и в Москве, Южное—в районе расположения второй Южной армии (главным образом, Киевская губерния); к Южному обществу близко стояло другое общество—«Соединенных Славян».

В этих обществах собралось лучшее, что было в дворянском офицерстве, в особенности это можно сказать о руководителях. Пестель, стоявший во главе Южного общества, поражал по тому времени своей начитанностью и самостоятельной работой мысли; подготовляясь к революции, он написал «Русскую Правду», в которой разработал план политического и социального преобразования России. В Северном обществе выделялся талантливый поэт Рылеев, вышедший в отставку офицер; Никита Муравьев, составивший обстоятельный проект умеренной конституции; Каховский, преданный до самоотвержения делу революции. На юге выдвинулись Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. Вокруг них десятки других, более или менее известных, составлявших ядро заговора.

Каждое из названных обществ ставило себе целью преобразование России. «Общество Соединенных Славян», кроме того, стремилось к освобождению всех славян от самовластия и к об'единению их в феодальный союз.

Все это постепенное оформление обществ и дробление их показывает, что воззрения декабристов сложились не сразу и что были разногласия, которые мешали установить желательное единодушие. И, действительно, Северное и Южное общества существенно отличались от своих предшественников. Первое по времени общество—««Общество истинных и верных сынов отечества» (его называли также «Союзом Спасения»)—сначала ставило своей целью освобождение крестьян, а затем во главу своей программы выдвинуло установление в России конституционной монархии, причем члены общества должны были стараться подготовить все сословия к представительному правлению. «Союз Благоденствия» считал обязанностью своих членов «распространение между соотечественников истинных правил нравственности и просвещения, споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия»; устав «Союза» одно время предполагалось даже представить на утверждение правительства, и первоначально пропагандировалась мысль привлечь «большую часть дворянства» к подаче Александру I просьбы «даровать свободу крепостным крестьянам». Оба общества были больше мирного, чем революционного характера, склонялись к конституционно-монархическому правлению и даже в области крестьянского вопроса пытались больше смягчить крепостное право, как личным примером, так и изобличением крепостников. Только борьба Пестеля, революционно настроенного, против умеренных течений привела к образованию радикального Южного общества и толкнула северян на революционный путь.

Вокруг чего же велась борьба и к чему стремились члены тайных обществ, будущие участники декабрьского восстания?

Разногласия между декабристами имелись по всем основным вопросам политического и социального преобразования России, но острая борьба велась, главным образом, вокруг вопроса о политическом устройстве России. Разногласиям по крестьянскому вопросу, которые, как мы увидим, были весьма значительны, повидимому, не придавалось такого значения, по крайней мере, не они служили поводом к борьбе и расхождению.

На основных вопросах политической свободы (равенство, личная свобода, свобода печати и вероисповедания и т. п.) все декабристы сходились. Разногласия возникали тогда, когда они подходили к вопросу, чем быть России—республикой или конституционной монархией, и какие слои населения допускать к власти. Северяне в большинстве своем склонялись к конституционной монархии. Наиболее законченный и стройный проект, принадлежащий Никите Муравьеву, строил конституцию по типу монархии

чески-конституционной федерации. Вся Россия разделялась на области (державы); из которых каждая должна была иметь свою двухпалатную представительную систему: палату выборных и думу, которые вместе составляют высший орган—правительственное собрание. Для всей федерации высшей законодательной властью является народное вече, также состоящее из двух палат: верховной думы и палаты народных представителей. Монарх—«верховный чиновник российского правительства», ему принадлежит верховное начальство над армией, он соединяет в себе всю исполнительную власть, ему принадлежит право неутверждения законов, принятых палатами, причем только вторично принятые палатами проекты становятся законами и без утверждения монарха.

Избирательную систему Муравьев строил на имущественном цензе, устанавливая особый ценз и для участия в выборах и для права быть выбранным. Избирательное право предоставлялось тем, кто владеет недвижимым имуществом, оцененным в 5 тыс. руб. или движимым в 16 тыс. руб. сер. Чтобы быть избранным в областные палаты выборных особого ценза не требовалось, но для избрания в областную державную думу требовался ценз при недвижимом имуществе в 15 тыс. р. и при движимом в 30 тыс. р. Точно также ценза не требовалось для избрания в члены палаты представителей народного веча, но для избираемых в члены верховной думы ценз повышался до 30 тыс. р. при недвижимом имуществе и до 60 тыс. р. при движимом. Бывшие крепостные крестьяне избирательного права, вообще, лишались, а прочие крестьяне (удельные, вольные хлебопашцы и пр.) получали избирательное право на началах двухстепенных выборов, избирая выборщиков по одному на каждые 500 жителей мужского пола.

Конституция Муравьева вносила выборное начало также в построение местной административной власти. Во главе уезда должен был стоять тысяцкий (исправник), избираемый гражданами, которые владеют недвижимой собственностью ценностью в 500 руб. или движимой в 1000 р.; но для того, чтобы быть выбранным в тысяткие, нужно было иметь ценз при недвижимом имуществе в 30 тыс. руб. и при движимом в 60 тыс. руб. В каждой области исполнительная власть принадлежала державному правителю, избираемому народным вечем из числа лиц, обладающих цензом при недвижимом имуществе в 30 т. р. и при движимом в 60 тыс. рублей.

Таким образом, конституция Никиты Муравьева характеризуется следующими чертами: она исходила из федеративного устройства России, вводила конституционную монархию, признавала двухпалатную систему и устанавливала высокий имущественный ценз. Не менее половины крестьянского населения лишалось избирательного права, не получало последнего и большинство городского населения как не обладавшее необходимым цензом. Власть должна была перейти в руки крупного и среднего поземельного дворянства.

Пестель возражал против всех основных положений конституции Никиты Муравьева. Он отвергал федеративное устройство, которое казалось ему «пагубным», напоминая древнюю удельную систему, и сам стоял за «единую и неразделимую» Россию, допуская самостоятельность лишь для Польши с присоединением к ней западных губерний. Монархическое начало также встретило в Пестеле горячего противника. По его мнению «народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства» и никто не имеет права «зловластвовать над всеми для выгод единого или нескольких». Опыт других революций поселил в Пестеле недоверие к «истинному согласию» монархов на конституции, ими «принимаемой», и потому он «ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении». Не соглашался он и с цензовой системой Муравьева, в которой видел «ужасную аристократию богатств». Свои предположения о государственном устройстве России Пестель строил на началах централизованной республики, из которой должна быть изгнана «даже тень аристократического порядка». Все граждане каждой волости должны были составить земское народное собрание (нечто вроде волостного схода), на этом земском собрании должны были избираться члены «наместных» собраний (уездных, окружных, губернских). Таким образом, выборы здесь производились прямые и никакого имущественного ценза для избирателей не устанавливалось. Высшее законодательное собрание республики составляло «народное вече», члены которого избирались на окружных наместных собраниях, т. е. путем двухстепенных выборов. Исполнительная власть в республике вверялась «державной думе» (директории) в составе 5 членов, для избрания которых требовались двухстепенные выборы: сперва окружные собрания избирают кандидатов, а затем из их состава народное вече избирает членов державной думы. Высшую контрольную власть в государстве осуществлял «верховный собор», который должен был состоять из 120 «бояр», избираемых пожизненно народным вечем из кандидатов, избранных губерниями. Таким образом, в противоположность конституции Муравьева, Пестель не устанавливал имущественного ценза для избирателей, хотя также допускал двухстепенные выборы. Не устранил он и «тени аристократического порядка»: его «верховный собор» с пожизненными боярами должен был укрепить консервативное начало в республиканском правлении.

Не менее серьезные расхождения намечались в среде декабристов и по вопросу о том переходном состоянии, которое должно предшествовать утверждению нового порядка. Все сходились на том, что переворот должен сопровождаться созданием «временного правления» в составе трех лиц, но в то время, как члены Северного общества предполагали, что реформу государственного строя осуществит земский собор, созванный манифестом сената, Пе-

стель настаивал на диктатуре временного правления и на осуществлении последним реформы. По мнению Пестеля, временное правление должно было сосредоточить в себе всю власть и сохранить ее до завершения полного преобразования страны, в том числе и намеченной аграрной реформы. Он опасался, что если временное правление уступит свою власть народным представителям до окончания реформы, то революция не достигнет своей цели.

Если столь значительные расхождения были между декабристами по вопросу государственного преобразования России, то не могли они не возникнуть и по коренному вопросу современности—крестьянскому вопросу. Большинство декабристов не склонно было поступиться интересами дворян-помещиков в пользу крестьян. Якушкин, задумав отпустить на волю своих крестьян, предоставил им дома, скот, лошадей и их имущество, но всю землю оставил за собой, предполагая половину ее обрабатывать вольным трудом, а половину сдавать крестьянам. Другой декабрист, Тургенев, в записке, составленной для Александра I, также исходил из безземельного освобождения крестьян. Никита Муравьев в первоначальном проекте конституции предлагал освободить крестьян без земли и даже переход крестьян с места на место обусловливал уплатой помещику определенной суммы. «Земли помещиков остаются за ними»,—гласила муравьевская конституция. Земли крестьян экономических, удельных и вольных хлебопашцев передавались им в общинное владение, причем в будущем закон должен был определить условия перехода от общинного к частному владению.

При последующей переработке проекта конституции Муравьев допустил освобождение крестьян с предоставлением им домов, огородов и земледельческих орудий, но землю оставил за помещиками. Впоследствии он пошел дальше и предоставлял освобожденным крестьянам также по две десятины земли на каждый двор «для оседлости их». Таким образом, либерализм Муравьева не шел дальше предоставления крестьянам «нищенского» надела, да и то «для оседлости», т. е., чтобы прикрепить их к помещичьему хозяйству. Самое освобождение крестьян предполагалось об'явить в первом же манифесте об образовании временного правления. Проект манифеста, составленный Трубецким, заключал в себе указание на «уничтожение права собственности, распространяющейся на людей». В своих показаниях на суде Трубецкой пояснил, что манифест избегал говорить о «вольности для крестьян», «чтобы тем не сделать возмущения». Более чем внимательное отношение к дворянским интересам соединялось здесь со страхом перед крестьянским движением, вызванным об'явлением воли.

Пестель и в этом отношении выделялся революционной, по своему времени, постановкой вопроса. Он стоял за освобождение крестьян с землею путем принудительного отчуждения части по-

мещичьей земли. По плану его, изложенному в «Русской Правде», при освобождении помещичьих крестьян в пользу их волости отчуждается половина земли помещика, причем для более крупных поместий (владеющих 1000 душ и более) он устанавливал такой порядок отчуждения: если в имении на крестьянскую душу приходится более 10 дес., то земля отчуждается безвозмездно; если земли приходится от 5 до 10 дес. на душу, то казна возмещает помещика деньгами или землею с тем, чтобы всего земли у помещика было 5 т. десятин; если на душу приходится менее 5 дес., то помещик получает от казны такое же количество земли, какое от него отчуждено. При освобождении казенных крестьян земля каждой их волости делится на две части, из которых одна, в качестве общественной земли передается волости и не подлежит ни продаже ни закладу, другая же часть остается в собственности казны и может продаваться в частную собственность. Иначе говоря, половина земли переходила в общинное владение волости, другая половина могла быть продаваема частным землевладельцам. За общественную землю крестьяне должны были платить оброк в течение 10—15 лет, т. е. в такой форме должны были землю выкупить. Без дальнейших пояснений понятно, насколько проект Пестеля радикально отличался от проектов безземельного освобождения крестьян.

Как видим, по основным программным вопросам в среде дедекабристов определилось два крыла, не считая промежуточных: умеренные, возглавлявшиеся руководителями Северного общества, и радикалы, руководимые Пестелем. Впрочем, воззрения декабристов нельзя считать окончательно сложившимися и мы не знаем, каким было бы их последнее слово, если бы обстоятельства не подвинули их на преждевременное выступление. «Из всех конституций, которые были писаны, или предлагаемы, или о коих было говорено,—показывал на следствии Пестель,—ни одна не была докончена. Иная только до половины доведена, другая в отрывках состояла. Полного ничего не было и общим согласием ни одна еще не была принята, так что общество по справедливости не может сказать, какую конституцию оно имело в виду и в желании решительном». Таким образом, по словам Пестеля, все проекты конституции еще не предрешали ничего определенного и окончательного. О себе Пестель дал следующее признание: «Об'явив, таким образом,—говорил он,—в самом откровенном и признательном изложении весь ход либеральных и вольнодумных моих мыслей, справедливым будет прибавить к сему, что в течение всего 1825 года стал сей образ мыслей во мне уже ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно уже было совершить благополучный обратный путь». Эволюция, которая намечалась у Пестеля в последнее время, имела, стало быть, «обратный путь»; к сожалению, неизвестно почему стал он видеть предметы иначе и как складывались его новые взгляды. Во всяком случае,

вольнодумные мысли его стали «ослабевать», и он приближался, повидимому, к позиции своих умеренных товарищей.

Но как сложился бы социально-экономический строй России в том случае, если бы восторжествовали планы декабристов в том виде, в каком мы их знаем? Конституция Никиты Муравьева, как мы видели, давала господство крупному и среднему дворянству. Крестьянская реформа, как ее проектировал Муравьев, оставляла всю землю в руках помещиков, и, создавая безземельный пролетариат, обеспечивала крупные имения рабочей силой и открывала перед помещичьим капиталом возможность безграничной эксплоатации труда и, стало быть, дальнейшего накопления. Признание общих принципов политической свободы, в связи с освобождением крестьян, привело бы к более быстрому росту капиталистических отношений и, в первую очередь, к укреплению торгового и промышленного капиталов. В общем, осуществление идеалов умеренного крыла декабристов дало бы России умеренную дворянско-буржуазную монархию.

Планы Пестеля предполагали более радикальный переворот в общественных отношениях, но по той же классовой линии. «Пестель, как мы видели, требовал социального переворота в 1825 г.»,— писал Герцен. Как мы увидим, это не верно: Герцен и его друзья мечтали о социалистической революции, перед Пестелем лежал путь к буржуазной революции, и вопреки утверждению некоторых исследователей, ничего социалистического в его построениях не было. Намечая основы крестьянской реформы, он исходил из того положения, что «освобождение крестьян от рабства не должно лишить дворян доходов, ими от своих поместий получаемых». От этого положения своего Пестель не отступил в своей реформе: помещики, владевшие до 5 тыс. дес. земли, при отчуждении половины их земли получали соответствующую компенсацию и, таким образом, крупные (до 5 тыс. дес.) частновладельческие имения сохранялись. С другой стороны, государственная земля, остававшаяся в распоряжении казны, могла продаваться и переходить в руки частных владельцев, как мелких, так и крупных. Осуществление земельной реформы Пестеля не изменило бы в корне аграрных отношений, так как оставляло не только частную собственность на землю, но и крупное частное землевладение. Удар его был направлен, главным образом, против дворянской «аристократии», против земельных магнатов, в собственности которых находилось свыше 10 тыс. дес., но и они лишались всего половины своих обширных земельных владений.

Этот характер земельной реформы Пестеля не меняется от того, что он передавал половину земель в общественную собственность волостей. На общину он смотрел, не как на зародыш будущего социалистического строя—такой взгляд получил распространение позже,—а как на меру предупреждения крестьянской нищеты и пролетариата. «Чем менее будет людей, живущих только

своим трудом, т. е. чем меньше будет поденщиков, тем менее будет несчастных»,—писал Пестель в «Русской Правде». Наемный труд не дает обеспечения—его может дать земля, землевладельческое хозяйство. Поэтому Пестель считает идеальным положение, когда «каждый россиянин будет совершенно в необходимом обеспечен и уверен, что в своей волости всегда клочек земли найти может, который ему пропитание доставит». Иными словами, каждый «поденщик» должен стремиться к своему клочку земли, на котором он будет вести, конечно, свое мелко-собственническое хозяйство, чтобы получить пропитание. Общественная земельная собственность при таких условиях должна была служить своего рода фондом, из которого все «несчастные» могли получить в пользование клочек земли. Если, с одной стороны, когда дело касалось помещичьего землевладения, Пестель принимал во внимание интересы крупного и среднего дворянства, то, с другой стороны, при определении судьбы крестьянского землевладения, он считался с собственническим стремлением крестьян, отдавая предпочтение общинному землевладению, поскольку оно дает возможность дробить землю на «клочки» и давать «пропитание» общинникам. Общинное землевладение, как его представлял себе Пестель, не могло предупредить и появления безземельного крестьянства: крестьяне получали всего половину земли, борьба за последнюю не могла при таких условиях не разгореться, тем более, что по плану Пестеля каждый мог «столько требовать участков, сколько пожелает»,—победа крепкого мужика-общинника была обеспечена.

Планы Пестеля революционным путем развязывали созревавшие силы буржуазного общества. Умеренные декабристы не осмеливались прикоснуться к земле дворянства—Пестель принудительно отчуждал половину этих земель. Умеренные оставляли крестьян без земли—Пестель провозглашал право крестьян на землю. По словам Герцена, Пестель как бы говорил своим единомышленникам: «Мы можем, пожалуй, провозгласить республику, и все-таки будет мало толку, у нас не будет всенародного восстания, доколе мы не коснемся поземельной собственности крестьян. Мужику нужна земля». Дело было, впрочем, не в этом, так как Пестель не хотел ни всенародного, ни крестьянского восстания. Но он признал, что мужику нужна земля, и что ему эту землю нужно дать, чтобы укрепить новый порядок. В своей политической программе Пестель шел еще дальше, стараясь уничтожить даже «тень аристократического порядка» и приближаясь к признанию всеобщего избирательного права. Политическая революция по плану Пестеля, должна была привести к полному крушению крепостническо-феодального государства. Мы можем поэтому признать, что Пестель более последовательно, чем умеренные декабристы, шел навстречу буржуазному порядку, но и сам он не мог отделаться от интересов и традиций дворянства, отражая стремления той части его, которая быстрее перерождалась в буржуазию.

3. Планы декабристов.

Декабристы не только мечтали о преобразовании России. За революционной мыслью их должно было последовать революционное дело.

К революции они шли путем заговора, расчитывая на поддержку войска. Такой путь, избранный декабристами, не должен нас удивлять, если мы вспомним, что сами они принадлежали к офицерству, имели перед собой примеры переворотов, совершенных войсками в Италии, Испании, Португалии, а в прошлом России — дворцовые революции, в которых столь активную роль играла гвардия. Входило в их планы также цареубийство. И этому удивляться не приходится: дворцовые революции не останавливались перед убийством царя и традиции в этом отношении были прочны.

Подробного плана революции выработано не было, но основы его были намечены и о них говорили в тайных обществах много раз. Основной план, с которым, по словам Пестеля, были согласны все члены как Южного, так и Северного обществ, состоял в следующем. Революция начинается в Петербурге восстанием армии и флота. Первым актом ее должен быть арест всех членов императорского дома, причем арестованные увозятся на кораблях за границу. Если бы флот не примкнул к восстанию, то должны быть приняты меры к тому, чтобы, в случае бегства членов императорского дома, они не увезли с собой казны. Затем через сенат должен был быть обнародован манифест о совершившемся перевороте с поручением временному правлению ввести новый порядок или с созывом народных представителей, которые принудили бы сенат принять конституцию. Удобнее всего предполагалось начать революцию после естественной смерти Александра, но, если бы обстоятельства того потребовали, допускалось и убийство императора.

Другой план, который поддерживала часть южан, состоял в том, что восстание должно было начаться не в Петербурге, а на юге в 1826 году, во время предположенного смотра Александром войск 3 корпуса. Первым актом здесь должно было быть убийство Александра, за которым должно было последовать два обращения—к войску и к народу. Предполагалось, что войска 3 корпуса пойдут на Киев и Москву в надежде, что к ним по дороге присоединятся другие войска. Северное общество должно было тем временем поднять гвардию и флот, а часть южных войск занять Киев. Затем, как имелось в виду и при осуществлении первого плана, члены императорского дома должны были быть отправлены заграницу, а сенату предстояло опубликовать манифест о перевороте.

Как видим, второй план, более радикальный, отличался от первого тем, что восстание не откладывалось в долгий ящик в ожидании естественной смерти Александра, а назначалось на определенный срок и необходимо предполагало убийство царя. Наиболее горячим защитником этого плана был Бестужев-Рюмин, который, убеждая членов «Общества Соединенных Славян» присоединиться к Южному обществу, говорил, между прочим: «Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию». Пестель возражал против такого плана, который, по его мнению, не обещал никакого успеха и грешил, главным образом, тем, что переносил инициативу восстания из Петербурга в провинцию, между тем, как революция должна была начаться в столице, в зависимости от готовности Северного общества поднять восстание с надеждой на успех. Что касается, цареубийства, то, по свидетельству Пестеля, все находили его в известных случаях необходимым. «Все говорили,—показывал он,—что революция не может начаться при жизни государя Александра Павловича и что надобно или смерти его обождать, или решиться оную ускорить, коль скоро силы и обстоятельства общества того требовать будут; в сем точно поистине все были согласны». Однако, в осуществление планов о цареубийстве не верил и Пестель—просто потому, что многие говорили об убийстве, но никто на него не пошел бы. «Посему и твердо полагаю,—говорил Пестель своим судьям,—что ежели бы государь император Александр Павлович жил еще долго, то при всех успехах Союза революция не началась бы прежде естественной его смерти, которую бы никто не ускорил, несмотря на то, что все бы находили, что сие ускорение может быть полезным для успеха общества; сию мысль об'ясняю я при полной уверенности в совершенной ее справедливости». Мысль эту Пестель считал настолько справедливой, что распространял ее и на предположение убить Александра во время смотра войскам 3-го корпуса.

Таким представляется план восстания вообще и вопрос о цареубийстве, в частности, по показаниям Пестеля. Но можно думать, что Пестель, желая смягчить участь других, затушевал отношение общества к цареубийству. Весьма вероятно, что в 1825 г., когда стали изменяться его взгляды, он сам мало верил в возможность цареубийства, но, во всяком случае, вопрос этот занимал декабристов едва-ли не больше, чем какой либо другой. Разумеется, не все были сторонниками убийства царя. Большинство северян мысли этой не разделяло. Никита Муравьев, автор конституции, определенно высказывался против цареубийства. Когда на одном из совещаний, Рылеев поставил вопрос, что делать с императором, если он «откажется утвердить устав пред-

ставителей народных», то все, в том числе Рылеев, братья Муравьевы, Тургенев, согласились на том, что в таком случае царя нужно вывезти за границу. В своих показаниях Рылеев признавал, что вопрос о цареубийстве и истреблении всей императорской фамилии его не раз занимал, но, в конце концов, он пришел к тому заключению, что участь царствующего дома должен решить великий собор.

Иные настроения были в Южном обществе. Сам Пестель решительно отстаивал мысль о цареубийстве. Удерживая более нетерпеливых товарищей от скороспелых планов восстания, он заявлял им, что никто не станет действовать, пока существует государь. В переговорах в Петербурге с Трубецким, утверждавшим, что цареубийство подорвет престиж общества в народном мнении, Пестель возражал, что убийство может совершить и лицо, не принадлежащее к обществу, и таким образом, престиж последнего не пострадает. В связи с этой мыслью Пестель стал строить планы о выделении для цареубийства особой группы, не связанной с тайным обществом, и отделял «заговор» от самой «революции». Наиболее пылких сторонников идея цареубийства находила среди членов «Общества Соединенных Славян», где она не встречала сомнений. Во время переговоров Муравьева со «славянами» о соединении Южного и «Славянского» обществ, по вопросу о цареубийстве даже не спорили, а прямо составили список «заговорщиков», готовых убить царя. Как видим, колебались на севере, на юге колебаний не было. Быть может, скептицизм Пестеля, об'яснялся тем, что руководящая роль принадлежала Петербургу. Во всяком случае, трудно допустить, чтобы среди той, по крайней мере, части декабристов, которая оставалась мужественной до конца, не нашлось ни одного, который от слов не мог бы перейти к делу.

Главную опору декабристы надеялись найти в войске, вызвать восстание среди крестьян в их планы не входило, и только, в случае неудачи в Петербурге предполагалось поднять военных поселян. «Наша революция будет подобием революции испанской; она не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею, без участия народа», говорил Бестужев-Рюмин в переговорах с «соединенными славянами». Для народа места в революции не оставалось, и, можно думать, выступления его больше боялись, чем желали. По крайней мере, даже Пестель опасался «беспорядков» и «междуусобия» и мысль о диктатуре временного правления возникла у него в связи с желанием избежать «ужасных происшествий, бывших во Франции во время революции». Пестель понимал, что европейские революции, в особенности Великая французская, были многим шире военного заговора. «Мне казалось,—говорил он,—что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных

основанными», т. е. в борьбе против феодальной аристократии и феодального порядка. Но никаких практически-политических выводов из борьбы «масс народных» Пестель не делал, полагаясь на силу тайных обществ и диктатуру выдвинутого им временного правления. При таком понимании характера революции не было нужды в широкой агитации среди солдат и народной массы. Декабристы расчитывали, что солдаты пойдут за офицерами либо потому, что видят и ценят в них хороших начальников, либо по слепому подчинению дисциплине. Весь успех, стало быть, зависел от офицерства и на него обращалось декабристами преимущественное внимание, их привлекали в общества, с ними завязывали связи.

Для агитации среди солдат делалось значительно меньше. Ближе других подходил к делу Рылеев, писавший народные песни на революционные темы, бичуя произвол царя и властей. Другие находили более целесообразным агитировать на почве религиозности солдат и потому более популярна была идея составить катехизис, в котором «вольномыслие» было бы основано на церковных текстах. Такой катехизис—«православный»—был составлен Сергеем Муравьевым и о характере его может дать представление следующая заключительная часть его: на вопрос «что же, наконец, подобает делать христолюбивому российскому воинству», следовал ответ: «Для освобождения страждущих семейств своих и родины своей и для исполнения святого закона христовского, помолясь теплою надеждою богу, побораюшему по правде и видимо покровительствующему уповающим твердо на него, ополчиться всем вместе против тиранства и восстановить веру и свободу в России. А кто отстанет, тот яко Иуда предатель будет анафема проклят. Аминь». Словом, во имя бога и «веры» должны были солдаты бороться за свободу: «да будет всем один царь на небеси и на земли—Иисус Христос»—проповедывал «катехизис» Муравьева. Между тем, по свидетельству одного из декабристов, солдат интересовали не только вопросы неба: «Какое-то темное желание изменить существующий порядок вещей волновало их умы и сердце; настоящее положение было им тягостно; они хотели перемены, но какой,—они в том не могли себе сначала дать ясного ответа». Но и «катехизис» такого ответа не давал.

Исключения в таком подходе к народной массе были, но не часто. Ближе всего пытались подойти к солдатам члены «Общества Соединенных Славян». Во время переговоров с последними, Муравьев указывал, что солдатам не нужно ничего говорить о целях общества, так как республиканское правление, равенство сословий, избрание чиновников будет для них загадкою сфинкса. Горбачевский, член «Славянского» общества, наоборот, утверждал, что «от солдат ничего не следует скрывать, но стараться с надлежащей осторожностью об'яснить им все выгоды переворота и ввести их постепенно, так сказать, во все тайны общества, разумеется, не

открывая им сего, заставляя их о сем думать и дойти до того, чтобы они сражались не в минуту энтузиазма, но постоянно, за свои мысли и за отыскиваемые ими права». Другой член «Славянского» общества советовал своим членам «войти стараться в доверенность нижних чинов и возбуждать их к ненависти на начальство, осуждая их строгости и муку, которую терпеливо сносят от них нижние чины». Офицеры, действительно, беседовали с солдатами, выбирая старших и более толковых, от которых новые мысли переходили в солдатскую массу. В солдатских школах применялись прописи, в которых говорилось, что человек должен пользоваться «правилами», которыми его одарила «натура». Когда «славяне» обсуждали план восстания, в их предположения входило издать прокламацию об освобождении крестьян. Всего этого, было, конечно, мало для того, чтобы поднять на должную высоту сознательность крестьян. Но, во всяком случае, восстание на юге не было только стоянием у здания сената, как в Петербурге, и в этом сказались плоды более близкого подхода к солдатской массе.

Характерно все же, что для подхода к солдатам избирался окольный путь с помощью бога и веры. О крепостном праве, о земле, даже о тягостях военной службы—тогда каторжной—в «катехизисе» Муравьева нет ни слова. И это не случайность: уничтожение крепостного права можно было, нужно думать, обосновать на церковных текстах не менее убедительно, чем свержение царской власти. Если этого не делали, то потому, что боялись выступления масс и агитацию, собственно, ставили на службу интересам дворянско-буржуазных верхов, а не интересам народных низов. Крестьянство должно было в результате революции получить волю, но в таком виде, как ее проектировало то или иное крыло революционной дворянской интеллигенции, сама масса не имела здесь ни права голоса, ни тем более права действия. Мы видели, что в проекте манифеста, составленном Трубецким, из осторожности не упоминалось о «вольности для крестьян», чтобы не вызвать возмущения. Пестель в своем проекте освобождения крестьян выдвигал категорическое требование: «освобождение сие не должно произвести волнений и беспорядков в государстве, для чего и обязывается верховное правление беспощадную строгость употреблять противу всяких нарушителей общего спокойствия». Классовый интерес поставил грань свободомыслию декабристов; народ должен был безмолвствовать под тягостью крепостного порядка и для голоса недовольства его была готова беспощадная строгость.

Понятно, что не так декабристы подходили к тем кругам, которые им были близки. Здесь нужно было заручиться и сочувствием, и поддержкой, ибо, в противном случае, рухнули бы все расчеты на революцию. Тайному обществу, по мнению Пестеля, нужно было «усилить число своих членов до такого количества, чтобы можно было посредством членов ввести образ мыслей Союза в об-

щее мнение, а намерения Союза как можно более передать в общее желание, дабы общее мнение революции предшествовало». Общественному мнению Пестель придавал столь большое значение, что, в частности, им мотивировал «недопустимость истребления» членов императорского дома: «таковое кровопролитие,—полагал он,—поставит общее мнение против революции, а тем самым отнимет у нее главнейшую подпору». Декабристы заводили, поэтому, связи почти исключительно среди офицерства и в связанных с ним дворянских кругах, одних привлекали в члены общества, на других действовали беседами, личным общением и т. п. Здесь было много точек соприкосновения и только требование соблюдения конспирации не давало развернуться широкой агитации. Мысль, брошенная одним из прикосновенных к движению, устроить тайную типографию для выпуска листков, не встретила поддержки по новизне своей. Но в этих листках декабристы могли бы сказать «общему мнению» многим больше и откровеннее того, что у них было в запасе для солдат и крестьян.

Различие настроений отражалось и на планах революционного выступления. Северяне, как мы видели, склонялись к тому, что революции не следует начинать раньше естественной смерти Александра, а некоторым, как кн. Оболенский, переворот рисовался «в дали туманной, недосягаемой, когда все брошенные семена созреют, и образование общее сделается достоянием для массы народа». На юге, напротив, горели нетерпением и готовы были воспользоваться всяким поводом для того, чтобы начать восстание. Три раза положение было здесь близко к тому, что взрыв должен был произойти. Летом 1823 года в Бобруйске ожидали Александра и этим хотел воспользоваться Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин, чтобы арестовать царя, поднять войска и пойти на Москву. Летом 1824 года предполагался смотр войскам в Белой Церкви и в связи с этим снова составили план убийства Александра и восстания. Когда в 1825 году у одного из членов общества, полковника Швейковского, был отнят полк, в этом увидели достаточный повод для того, чтобы начать возмущение. Пестелю удалось во всех этих случаях убедить своих товарищей по обществу в нецелесообразности задуманного дела. В конце концов, как мы видели, и южане сошлись на том, что готовиться нужно к восстанию летом 1826 года.

4. 14 декабря 1825 г.

Но обстоятельства решили дело иначе. 27 ноября 1825 года в Петербурге получено было известие о смерти Александра I (он скончался в Таганроге), которая явилась неожиданностью. Дело осложнилось еще и тем, что Александр не оставил прямых наследников, так что престол должен был перейти к старшему из оставшихся двух братьев его, Константину. Последний, однако,

отказался от престола, и Александром еще при жизни был составлен манифест о назначении наследником другого брата, Николая. Манифест этот не был опубликован и хранился в глубокой тайне. Когда Александр умер, Николай склонился к тому, что примет престол после формального отречения Константина—поступить так он считал необходимым потому, что опасался настроения гвардии, к нему мало расположенной. Николай, поэтому присягнул сам Константину и приказал привести к присяге войска, а затем начались переговоры его с Константином, продолжавшиеся более двух недель. Только 14 декабря издан был манифест об отречении Константина и о вступлении на престол Николая. Войска должны были снова присягнуть новому императору.

Со смертью Александра, естественно, наступало время для выступления Северного общества: ведь, уже давно именно к этому моменту предполагалось приурочить восстание. Однако, на первых же совещаниях было решено поднять восстание только в том случае, если престол перейдет к Николаю, если же царем станет Константин—общество закрыть, продолжая лишь действовать в его духе. Такое решение было обусловлено тем, что Константин был наместником в конституционной Польше, почему предполагалось, что с его воцарением и Россия станет конституционной, а это удовлетворяло, в общем, более умеренных северян. Окончательное решение выступить было принято после того, как 10 декабря членам общества стало известно об отречении Константина. С этого времени началась спешная подготовка к восстанию: вербовали новых членов, старались выяснить, на какие части войск можно расчитывать, намечали план действий. Сделаны были попытки и агитации среди солдат. Рылеев с Бестужевым решили ходить ночью по городу и распространять в народе и войсках слухи о том, что от народа скрывают завещание Александра, в котором говорилось о вольности крестьян и о сокращении срока солдатской службы до 15 лет. Эта агитация имела успех—агитаторов жадно слушали, но продолжалась агитация не долго, всего две ночи. Принимались меры и к тому, чтобы привлечь на свою сторону моряков, Рылеев мечтал о захвате Кронштадта, нужен был флот и для того, чтобы увезти членов императорского дома заграницу. Больше всего внимания пришлось, конечно, уделить вопросу о том, как привлечь на свою сторону войска. Положение облегчилось несколько тем, что войска уже присягали Константину, а теперь должны были присягать Николаю, а это не могло не порождать среди солдат слухов и подозрений. Основываясь на этом, предполагалось сказать солдатам, что их обманывают, так как Константин от престола не отказывался, почему и присяга, ему принесенная, остается в силе и от сената нужно потребовать об'яснений, на каких основаниях отменяется присяга Константину. Руководители восстания, основываясь на отказе войск от новой присяги, должны были заставить сенат созвать

народных представителей для определения формы правления и избрания императора.

В остальном, в особенности, поскольку дело касалось самого восстания, никакого выработанного плана, повидимому, не было. В показаниях своих некоторые из декабристов говорили, что план действий намечался—напр., по одному предположению, первый из присоединившихся полков должен пойти по другим полкам, увлекая их своим примером,—но скорее всего это были мысли отдельных членов общества, не вылившиеся в определенный план действий. Само восстание сложилось совсем не так, как оно рисовалось его участникам. Причиною тому, помимо отсутствия плана, послужили, как слабость Северного общества, когда далеко не на высоте оказались даже некоторые руководители его, так и в особенности весьма скромные связи его с частями столичных войск.

С утра 14 декабря—дня, назначенного для присяги Николаю,—братья Бестужевы бросились в казармы Московского полка, чтобы увлечь его за собой. После борьбы с противниками выступление это им удалось, и часть полка со знаменем была приведена на сенатскую площадь. Затем к ним подошла часть морского экипажа и позже три роты лейб-гренадеров—всего до двух тысяч человек. Это было не много, но у Николая сначала было войска на площади еще меньше. Хуже было то, что и собравшимися частями некому было руководить, а те, кто оставался с солдатами на площади, не брали на себя ответственности за решительные действия: «с маленькими эполетами и без имени никто принять команду не решился», показывал Бестужев. Трубецкой, которого намечали в главные руководители восстания, не только не явился на площадь, но и скрылся из дому, чтобы его не нашли. Рылеев был сперва на посту, но затем ушел за подкреплениями и больше не возвратился. Якубович, много раз порывавшийся убить Николая, пришел на площадь, но, увидев, что она пуста, ушел.

Пришедшие на площадь части расположились против здания сената. Николай собрал некоторые части из присягнувших ему войск. Обе стороны ничего не предпринимали,—восставшие, потому, что ими некому было распорядиться, правительственные, потому что Николай с небольшими силами ничего не мог предпринять и выжидал подкреплений. Чтобы оттянуть время, Николай пытался воздействовать на солдат словами убеждения. Когда генерал Милорадович начал уговаривать солдат, Каховский пустил в него пулю. Но это было единственное решительное действие за весь день восстания. Кюхельбекер хотел последовать примеру Каховского и пустить пулю в вел. кн. Михаила Николаевича, но был остановлен самими же заговорщиками. Когда конная гвардия пошла в атаку против восставших, Бестужев предотвратил залп со стороны последних, раздалось несколько отдельных вы-

стрелов, которыми был ранен генерал Веллио. Николаевские пушки стояли без зарядов, их легко можно было отнять, но этого не сделали. Ничего не было сделано и для того, чтобы втянуть в борьбу толпу, которая собралась на площади и явно сочувствовала восставшим частям. Рабочие и разночинцы говорили, что солдатам нужно продержаться и все пойдет ладно. Толпа бросала камни в царские войска, сочувственными криками ободряли солдат, набросились на проходившего генерал-ад'ютанта Бибикова, но Кюхельбекер его освободил.

Когда начало темнеть, правительственные войска получили серьезные подкрепления: подвезены были снаряды. Николай решил действовать. Однако первый выстрел должен был сделать офицер, так как команда отказалась стрелять в своих. Картечь сделала свое дело—восстание было подавлено. На площади осталось множество трупов, которые полиция бросила в Неву. Начались аресты лиц, причастных к революции.

Между тем, в Южном обществе еще ничего не знали о петербургских событиях. Но о заговоре на юге Александр узнал незадолго до смерти и распорядился об аресте Пестеля и других. О распоряжении этом дошли сведения до членов Южного общества и еще в конце ноября Пестель имел сведения о том, что заговор раскрыт и предстоят аресты. Полученные затем известия о болеезни Александра ускорили подготовления к восстанию, которое намечалось в начале 1826 года. По предположению Пестеля, восстание должно было начаться, когда Вятский полк, которым он командовал, займет караул в главной квартире Южной армии. Однако, планы эти, к осуществлению которых Пестель уже приступил, были разрушены арестом Пестеля и некоторых других руководителей Южного общества. Все же начались более оживленные сношения между членами общества, и настроение становилось все более повышенным. Известие о внезапной смерти Александра призывало к немедленному восстанию, а затем, 23 декабря, узнали о подавлении в Петербурге революции 14 декабря. Сергей Муравьев поехал по местам расположения частей, чтобы выяснить положение дел, Бестужев собрался в Киев, оттуда в Петербург. Когда на 24 декабря в Черниговском полку назначена была присяга Николаю, члены «Общества соединенных славян» решили действовать. Они хотели собрать свои роты в боевой амуниции и двинуться на Киев, в надежде, что Муравьев, узнав о начале восстания, присоединится к ним. Предполагалось одновременно с началом восстания издать прокламацию об освобождении крестьян. Но отсутствие Муравьева и вестей от него поселяло и здесь нерешительность и сомнения, так что, в конце концов, решили ожидать возвращения Муравьева.

Тем временем получен был приказ об аресте Сергея Муравьева и брата его, и оба они были арестованы. Об этом сейчас же узнали другие члены общества, и так как дело происходило в

глухой деревне, то им не стоило труда отбить арестованных. Арест, а затем освобождение Муравьевых положило конец колебаниям. «Происшествие сие решило все мои сомнения,—говорил в своих показаниях Муравьев.—Видев ответственность, коей подвергли себя за меня четыре сии офицера, я положил, не отлагая времени, начать возмущение». Подняв две роты, Муравьев двинулся с ними к Василькову (под Киевом), который и занял без сопротивления. Здесь Муравьев готовился к дальнейшим действиям, встретив сочувствие, как среди офицеров, так и среди солдат. «Деятельность и усердие членов общества были беспримерны,— рассказывает в своих записках Горбачевский, — они старались одушевить солдат новым мужеством и поддержать бодрость их духа. Чтобы успешнее действовать на них, они всеми силами старались обеспечить их продовольствие. Сами солдаты к приготовлениям к походу показывали не менее ревности: ружья, патроны и вся амуниция были осмотрены с величайшим вниманием, и все недостатки были исправлены». В день выступления в поход священник, по предложению Муравьева, прочел солдатам его «катехизис», а затем Муравьев обратился к солдатам с речью, в которой, об'яснив цели восстания, предложил тем, кто не хочет добровольно следовать за ним, остаться. Но боевых рядов никто не оставил. Во время молебна приехал брат Муравьева, Ипполит, который выехал из Петербурга 13 декабря с поручением от северян примкнуть к восстанию. Это еще более подняло настроение.

Муравьев выступил с отрядом, в составе которого насчитывалось 970 солдат. Перед ним лежало три дороги: на Киев, на Белую Церковь и на Житомир. Муравьев избрал последний путь в надежде, что таким образом он будет на близком расстоянии и от Киева, где он ожидал восстания, и от Житомира, откуда могла придти помощь со стороны соединенных славян. Однако, дойдя до Мотовиловки, он поворачивает на Белую Церковь, полагая поднять там пехотные части. Когда выяснилось, что войска ушли из Белой Церкви в Сквиру, Муравьев снова меняет план и двигается к Житомиру. Все это говорило о том, что определенного плана у него не было, а время, которое должно было многое решить, оказалось не на его стороне. Между д. Устимовкой и Королевской, Муравьева настиг отряд царских войск. Несколько залпов картечью рассеяли восставших, тем более, что первым же выстрелом был ранен Сергей Муравьев, брат его Ипполит и преданный ему офицер Кузьмин, а другой офицер, поручик Щепилло был убит,—этим выбывал из строя почти весь командный состав. Сергей Муравьев, раненый в голову, пытался еще вскочить на коня, но был схвачен. Арестованные, среди которых были Сергей и Матвей Муравьевы и Бестужев-Рюмин, были перевезены в село Трилесы.

Николай мог праздновать победу: в Петербурге, как и на юге, восстание было подавлено. Арестованных свезли в Петербург.

где начался, по существу, первый русский политический процесс. Николай сам допрашивал некоторых, пытаясь вырвать у них показания то угрозой, то под маской доброго к ним отношения. Многие смолодушествовали и давали показания, уличавшие других; более стойких заковывали в железо. Приговор был также продиктован Николаем. Верховный уголовный суд, которому были преданы 121 чел., приговорил: Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Рылеева, Бестужева-Рюмина и Каховского к смертной казни четвертованием, 31 чел.—к казни отсечением головы, 17—к вечной каторге, прочих к разным наказаниям от каторги до отдачи в солдаты с выслугой. Николай заменил 17-ти казнь вечной каторгой, участь же первых пяти предоставил суду, с пожеланием, чтобы казнь состоялась «без пролития крови». Суд заменил им четвертование повешением, «заменив колесо виселицей». В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский были повешены на валу кронверка Петропавловской крепости.

Солдаты, обвинявшиеся в восстании Черниговского полка, были приговорены к наказанию шпицрутенами, некоторые до 12 тыс. ударов. Священник Даниил Кайзер, читавший солдатам «катехизис» Муравьева, был лишен сана, дворянского звания и сослан в рабочие арестантские роты Бобруйской крепости.

Подводя итоги, мы должны признать, что в движении декабристов было несколько течений, отражавших ближайшим образом настроения различных дворянских групп. Северное общество составилось из гвардейских офицеров, связанных больше с родовитым, крупно-поместным дворянством, в Южном обществе эта связь слабее и только в «Обществе соединенных славян» преобладали армейские офицеры, принадлежащие к мелко-поместному дворянству. Давление собственно дворянских интересов уменьшалось с севера на юг—к «славянам», обратное же течение, более последовательно принимавшее начала нового буржуазного порядка, нарастая от «славян», падало по мере приближения к северу. Эту связь классовых группировок со стремлениями декабристов устанавливает один из них, Горбачевский, в своих замечательных записках: «Члены Южного общества,—пишет он,—действовали большей частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием для вступления в общество; они думали произвести переворот одною военною силой без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом, а последних—или теми же средствами, или деньгами и угрозами. Сверх того, так как членами Южного общества были, большею частью, люди зрелого возраста, занимавшие довольно зна-

чущие места, имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было тягостно самое равенство их свободного соединения; привычка повелевать невольно брала верх и мешала повиноваться равному себе, и тем более препятствовала иметь доверенность в сношениях по обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии». «Славяне», по словам Горбачевского, были иного склада: «они были проникнуты обширностью своего плана и для приведения его в исполнение считали необходимым содействие всех сословий; в народе искали они помощи, без которой всякое изменение непрочно; собственным же положением своим убеждались, что частная воля, частное желание ничтожны без сего всемощного двигателя в политическом мире». «Собственное положение» славян—это положение мелко-поместного дворянина-офицера, не обладающего ни богатством, ни связями; воля каждого из них ничтожна и может получить силу только в соединении, в поддержке «всех сословий». То, что Горбачевский сказал о Южном обществе, еще в большей мере применимо было к Северному, где в особенности были и богатства, и связи, и чины, и значительные должности. Отсюда разница не только в программных построениях, но и в настроениях, в тактике, во всем поведении. В Северном обществе преобладают умеренные, нерешительные; солдат для них—человек другого мира, к крестьянам относятся недоверчиво—в лучшем случае обещают нищенский душевой надел, а о «вольности» опасаются громко сказать в манифесте; в день восстания успевают вывести на площадь солдат, которые в нерешительности должны стоять, пока их не разгонит картечь. Славяне—на другом крайнем полюсе. Они больше других стараются связаться с солдатской массой, надеются опереться на крестьян, которым готовят прокламацию о воле, чуть ли не дюжиной записываются в цареубийцы, восстание Черниговского полка, главным образом, их дело. В центре — Южное общество. Здесь главенствует Пестель, больше теоретик, чем практик-революционер, и в практике своей связанный Петербургом, оппозицией умеренных; здесь не расстались еще с нерешительностью, не овладели революционным планом, не дали простора революционной страсти: Муравьев, на избранном им плацдарме проявляет не больше плана и решимости в действиях, чем его северные друзья на Сенатской площади.

Движение декабристов было, в общем, движением передовых отрядов той части дворянства, которая перерождалась в буржуазию. Тогда, как и впоследствии, тенденция выроставшего буржуазного общественного порядка сильнее сказывалась в части поземельного дворянства, чем в промышленной буржуазии. Декабристы в массе своей были первыми провозвестниками буржуазно-помещичьего либерализма. Наряду с этим, в своей мелко-дворянской части, декабристы дали зачатки мелко-буржуазного движения, менее связанного с дворянскими интересами и традициями.

«Славяне»—предтеча отрывающейся от дворянства интеллигенции его, которая впоследствии, вместе с разночинцами, составила первые революционные отряды.

Движение декабристов, впервые выявившее активность передовых слоев нарождавшейся буржуазии, заключало в себе, таким образом, в зародыше начала, оформившиеся позже в буржуазно-помещичье (земское) движение и в революционно-демократическое движение мелкой буржуазии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ТРИДЦАТЫЕ И СОРОКОВЫЕ ГОДЫ [1]).

1. Общественные настроения.

Царствование Николая I прошло под знаком страха перед революцией и борьбы с ее призраком. В начале царствования — восстание декабристов, под конец—европейская революция 1848 г.

Николай, как мы видели, сам руководил следствием по делу декабристов, продиктовал приговор, был весь поглощен заговором, стараясь собрать все его нити и вырвать пущенные им корни. Но мало «пресечь», нужно было и «предупредить», сделать невозможным повторение опыта 14 декабря. «Если явилась бы необходимость, я приказал бы арестовать половину нации ради того, чтобы другая половина осталась не зараженной»,—писал Николай шведскому посланнику, сообщая ему о массовых арестах в связи с 14 декабря. А так как арестовать половину нации нельзя было, да и надобности не представлялось, то тем более настоятельными представлялись меры против заражения еще незараженных. Николай взял твердый реакционный курс, направленный к борьбе со всяким призраком свободомыслия, и, нужно признать, что этим он давал исход не только своему настроению: правительственная реакция нашла поддержку в реакции общественной, тех кругов, мнением которых Николай должен был дорожить прежде всего. Декабрьское восстание испугало не только Николая, но и влиятельные слои дворянства. Это были,—по верному замечанию записок декабриста Лунина,—дворяне, «которые боялись лишиться своих прав и рабов», которые «поняли, что конституционный порядок есть новое вино, которое не держится в старых мехах, что с па-

---

[1]) Пособия: *М. Покровский*, „Русская История“, т. IV (гл. XVIII, 1, 2; *Н. Рожков*, „Тридцатые годы“, „Соврем. Мир“, 1916 г., № 12; *Плеханов*, „Герцен-эмигрант“, в „Истории русской литературы“ (изд. „Мир“) т. III (перепечатано в „сборнике“: Г. В. Плеханов „Очерки по истории русской общественной мысли XIX века“, М, 1923); *Ю. Стеклов*, „А. И. Герцен“, М. 1920; *В. Полонский*, „Бакунин“ т. I, М. 1922; *его-же*, „М. Бакунин в эпоху 40-х—60-х годов (вступительная статья к книге „Исповедь“ Бакунина“, М. 1921); *его-же*, „М. А. Бакунин“, М. 1920; *Ю. Стеклов*, „М. А. Бакунин“, т. I, М. 1920; *Д. Рязанов*, „Карл Маркс и люди сороковых годов“; *К. Пажитнов*, „Развитие социалистических идей в России“, М. 1924 (гл. III и V); *Семевский*, „Петрашевский и петрашевцы“, М. 1922 (см. статьи его в „Голосе Минувшего“ 1915—1917 г.г.); *М. Балабанов*, „Россия и европейские революции в прошлом“, в. II. К. 1924.

дением самодержавия они принуждены будут оставить места, сложить чины и ордена, как актеры после неудачной драмы». Этот страх за социальные привилегии должен был охватить не только крупное, но и среднее дворянство, тех, к кому ближе всего стояло большинство декабристов: сочувствие свободолюбивым замыслам здесь стерто было классовым эгоизмом, стремлением, если не сохранить крепостные отношения, то, в лучшем случае, идти к их ослаблению, к осторожному и постепенному их изживанию— не так, как шли к нему декабристы. Известный историк Карамзин, игравший роль царского просветителя, благославлял бога за то, что он спас Россию «от великой беды» 14 декабря: «Для меня, старика,—писал он,—приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов». При известии о событиях 14 декабря, по словам Герцена, «никто не смел показать участия, произнести теплое слово о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты; напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно». В кругах самых широких,—и в тех, где вращался близкий ко двору Карамзин, и в тех, которые еще вчера жали руку декабристам, — проснулся страх «лишиться своих прав и рабов». Позже к этому присоединялось устрашающее действие европейской революции 1848 года. «Все ходили озабоченные в каком-то неопределенном страхе»,— писал в своих воспоминаниях один из современников-царедворцев, и добавлял: «более всего страшился и, может статься, один имел повод страшиться—класс помещиков перед вечным пугалищем крепостного нашего состояния».

В этих условиях дворянской реакции Николай мог почти три десятилетия держать страну на положении всероссийской темницы. Первым его актом было учреждение особого жандармско-полицейского органа—знаменитого III отделения «собственной его величества канцелярии»—которое должно было установить наружное и внутреннее наблюдение за каждым обывателем. Ближайшей затем мерой было ограничение доступа крестьянских детей к образованию: их можно было принимать только в начальные училища, но не в гимназии, которые остались открытыми для детей дворян и чиновничества. А потом последовали другие меры—взяли под надзор литературу, университеты, все дело просвещения, поощряли сыск, насаждали солдатчину, насаждали произвол в самых диких его формах.

Но, разумеется, вся эта правительственная и дворянская реакция не могла остановить движения жизни. Волновались крепостные низы; крестьянские беспорядки, непрекращавшиеся раньше, в царствование Николая еще усилились: историки насчитывают за это время свыше 500 волнений целыми волостями и деревнями, не считая более мелких, но в действительности их было многим больше, так как не все сведения до нас дошли, да и многое еще

не изучено. Крестьяне, работавшие на земле, на фабриках и заводах, протестовали, как могли, против гнета помещиков, правительство подавляло волнения военной силой. С другой стороны, помещичье крепостное хозяйство, подпавшее под влияние мирового рынка, переживало состояние внутреннего кризиса. Оно не было в состоянии справиться ни с низкими, ни с высокими ценами на хлеб—низкие цены делали убыточным барщинное хозяйство с большими запашками господской земли, высокие цены, побуждавшие к усилению производства, вскрывали малую производительность и убыточность крепостного труда вообще. Правительство Николая, подгоняемое как крестьянскими волнениями, так и положением помещичьего хозяйства, не могло уклониться от той либо иной постановки вопроса о крепостном праве, но опасение всяких новшеств позволяло и царю, и дворянам медлить, пока не грянет гром. Николай создает особые «секретные комитеты», для обсуждения крестьянского вопроса,—открыто говорить о «несовершенствах» крепостного порядка правительство боялось,—но никаких, даже робких шагов к отмене крепостного права сделано не было. Наконец, развивалась и промышленность. В николаевское время можно уже встретить фабрики, насчитывавшие по несколько сот рабочих; широкое распространение получила и капиталистическая домашняя промышленность, когда многие тысячи крестьян работали у себя дома на скупщиков, мелких мастеров и фабрикантов. Наиболее же существенно было то, что в промышленности крепостной труд все больше вытеснялся вольнонаемным: уже в 1825 году больше половины рабочих, занятых на фабриках, работали по вольному найму, а когда в 1840 году фабрикантам разрешено было отпускать на волю своих крепостных рабочих, этим правом воспользовалась половина фабрикантов. Промышленность переходила на «свободные» капиталистические отношения.

Так, под тяжелым николаевским гнетом, Россия медленно перерождалась, в глубине ее наростали новые общественные отношения, шедшие на смену старому крепостному порядку. Крепла и новая культура, приходившая в непримиримое противоречие с крепостным обществом. Достаточно напомнить имена Пушкина, Гоголя, Белинского, Герцена, чтобы увидеть, насколько выростала Россия. Однако, все это новое находилось еще в процессе образования, складывания,—в процессе, протекавшем медленно, как в силу противодействия живучего еще крепостного порядка, так и под давлением мертвящей руки крепостнического самодержавия. Соотношение общественных классов почти во все николаевское царствование не дает еще никаких движущих вперед сил и остается как бы на мертвой точке неподвижности. Промышленная буржуазия, несомненно, растущая, сильна только своей мошной и ею давит на правительство, но никаких запросов высшего порядка не пред'являет, уживаясь долгое время и с николаевским режимом, поскольку он дает ей свободу эксплоатации труда и

накопления. Дворянство крупное, и среднее, как мы видели, из опасения «лишиться прав и рабов» не становится еще в оппозицию Николаю не только за страх, но и за совесть, надеясь, в относительно лучшей своей части, устроиться на началах «обновленного» крепостничества. Процесс перерождения части дворянства в буржуазию, конечно, продолжался, власть денег и рынка делала свое дело, внося разложение в старое дворянство, но с печальным исходом движения декабристов движение дворянства сразу потеряло свой революционный характер и перешло на прозу приспособления, которая осталась уделом буржуазно-помещичьего либерализма и на последующее время.

Преемственность осталась лишь на крайнем левом крыле. Движение декабристов показало, что начался уже процесс отрыва интеллигенции от дворянско-сословной касты. Крайнее левое крыло декабристов—мелко-дворянское—слабее всего было связано с дворянскими интересами, легче порывало с его традициями и потому смело ставило вопросы, перед которыми в нерешительности останавливался не только Никита Муравьев, но и Пестель. Отрываясь от дворянства, эта часть интеллигенции подпадала под влияние настроений новых общественных классов—буржуазии и еще в большей степени мелкой буржуазии. В николаевское время этот процесс продолжался, все увеличивались ряды интеллигенции, откалывавшейся от дворянства, как и интеллигенции, выходившей из не-дворянских кругов, разночинной, как ее впоследствии назвали. Новые складывавшиеся общественные отношения, прежде всего, захватывали эти слои демократической интеллигенции, делали ее выразительницей новых запросов жизни, поддерживали в ней дух протеста и революционности. На темном фоне крепостнической России это были редкие оазисы то одиночек, то групп и кружков, делавших свое большое дело.

Настроения этих передовых отрядов интеллигенции складывались под перекрещивающимся влиянием внутренних отношений в России и европейских событий.

Нестерпимый гнет николаевского режима и общественная реакция—вот с чем, прежде всего, приходилось сталкиваться рвавшейся из пеленок интеллигенции. Если тяжело дышалось в николаевской тюрьме, то еще труднее было примириться с общественной реакцией. «Староверы», о которых писал Якушкин, расплодились, как саранча, и стали еще более злостными. Страх за привилегии крепостного порядка порождал ненависть против всего свободного, нового, смелого, укреплял традиции старого со всею его дикостью и мракобесием. Даже Гоголь, отражая господствовавшие настроения, в лучшую пору своей жизни подходил к крепостному праву с осторожностью, потому что, по словам Семевского, не считал его мерзостью. Когда в конце 30-х годов некоторые тульские дворяне составили проект освобождения крестьян, в московском «английском» (дворянском) клубе их предали ана-

феме. Большинство дворян связывало свою судьбу с судьбою крепостного права и с падением последнего ожидало светопреставления. «Как,—говорили они, по свидетельству современника,—предоставить этих людей (крестьян) самим себе, когда они и под нашей властью не имеют порядочной нравственности, да они все сопьются и пропадут». Какие точки соприкосновения с этой средой могли быть у пробуждавшейся интеллигенции, которая не забыла 14 декабря и сильнее, чем кто-либо, чувствовала на себе последствия разгрома движения декабристов? Эта среда крепостников той или иной масти могла их только отталкивать и тем ускорять процесс окончательного их отхода от господствующей дворянской касты.

Иного рода воздействие шло с Запада. Уже на границе с Европой находилась Польша, насильственно присоединенная к России, и постоянное брожение в ней разразилось в 1831 г. восстанием. С более дальнего Запада не ослаблялось влияние Великой Французской Революции, ряда переворотов начала века, за которыми последовала парижская революция 1830 г. и затем революция 1848 года, воздействие которой на передовую русскую мысль оказалось наиболее сильным. Запад не только развертывал величественную картину потрясающих старый порядок переворотов и связанные с последними заманчивые перспективы, но и нес новые мысли, новые учения. Гегель, Фейербах, великие утописты-социалисты Оуэн, Сен-Симон, Фурье—ко всему тянулись молодые умы, чтобы светом этих учений осветить и то, что происходило на Западе, и что ожидает Россию.

Мы ближе всего подойдем к пониманию этого времени, если ознакомимся с тем, как складывалось миросозерцание Герцена и Бакунина, этих самых блестящих и деятельных представителей эпохи.

2. Герцен.

Настроения Герцена в юности, как и многих его сверстников, складывались под впечатлением движения декабристов. С рассказом о восстании, о казни декабристов,—писал впоследствии Герцен,—«мне открывался новый мир, который становился больше и больше сосредоточением всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победа. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Герцену было тогда всего 14 лет, и он дал клятву «отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тираном». Эти юношеские мечты с поступлением в университет окрепли. Герцен вместе с друзьями—Огаревым, Сазоновым, Сатиным,—в страстном протесте против насилия и жажде свободы проповедуют свои свободолюбивые идеи

среди студенчества. По признанию Герцена, идеи их были смутны: «Мы проповедывали французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу». Все, что оставляло след в их впечатлительной душе, становилось предметом «проповеди». В дни июльской революции 1830 г. они следили «шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами». Они с восторгом встречают весть о польском восстании, радуются поражению русских войск, не верят поражениям поляков. Общение с молодежью и отклик, который находит их пропаганда, захватывают их целиком. «День, в который мы сели рядом, — рассказывает Герцен, — на одной из лавок амфитеатра, и взглянули друг на друга с сознанием нашего обречения, нашей связи, нашей готовности погибнуть, нашей веры в святость дела—и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству—был великим днем в нашей жизни».

Но что же было за кругом этой молодежи, мечтавшей о свободе? Там была глухая стена крепостного быта, застой болота, гниль, способная убить все живое. Об этом контрасте и порожденном им чувстве отчужденности рассказывает нам Герцен. «Тридцать лет тому назад,—писал он,—Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей, а в них было наследие 14 декабря,—наследие общечеловеческой науки и часть народной Руси». Чем больше подростали и мужали «мальчики», тем сильнее в них крепло «глубокое чувство отчуждения от оффициальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое». И далее Герцен поясняет в чем сказывался и к чему приводил этот разлад с окружающей средой, это «противоречие *слов* учения с *былями* жизни вокруг». «Учителя, книги, университет говорили одно, и это было понятно уму и сердцу, отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны предержащие власти и денежные выгоды». «Число воспитывающихся у нас,—продолжает Герцен,—всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали не то, чтоб об'емистое воспитание, но довольно общее и гуманное; оно *очеловечивало* учеников всякий раз, когда принималось. Но *человека* то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось им снова расчеловечиваться—так толпа и делала, или приостановиться

и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить?» Хорошо ли действительно было помещикам? «Засим, для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина; для других—время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило распадение на разные кружки».

И так мыслили все лучшие люди того времени. Белинский писал одному из своих друзей: «Ты не ощущаешь себя в обществе, ибо его нет», и добавлял: «мы сироты, дурно воспитанные, мы—люди без отечества». Салтыков-Щедрин, вспоминая дни своей молодости, также отмечал, что «мысль искала пищи в сферах отдаленных, оставаясь совершенно равнодушной к родным сферам». Дома, в удушливой атмосфере крепостничества, они чувствовали себя чужими, и чем выше поднимались в своем сознании, тем нестерпимее становилась окружающая обстановка. Тысячу вопросов рождала российская действительность—и ни одного не давала ответа. Как уничтожить неправду крепостного порядка, где пути к порядку справедливому? На родной почве с ее крепостниками разной масти не видно этого пути, и мысль обращается к Западу, где бурлит жизнь, где ищут путей к лучшему и, казалось, его находят. А с Запада тогда громче всего был слышен один ответ—утопического социализма.

«Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном»,—писал Герцен о кругах, ему близких. Утопический социализм стал предметом общего увлечения, к нему тянулась мысль наших «сирот, людей без отечества». «Произведения социалистов-утопистов—рассказывает в своих воспоминаниях близкий к Герцену и его друзьям Анненков—были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, порождали, как прежде Шеллинг и Гегель, своих пророков, комментаторов, толкователей, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников». «Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными, и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества»,—вспоминал о конце 40-х годов Достоевский. От социалистов-утопистов, по словам Салтыкова-Щедрина, «лилась к нам вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас».

Почему же таким обаянием пользовалось учение социалистов-утопистов, почему нашло оно таких ревностных последователей среди передовой молодежи крепостной России? Только ли потому, что это была еще не изжитая и на Западе фаза развития социа-

листической мысли? Конечно, не только поэтому. Когда с конца 40-х годов социализм из утопии становился наукой, о чем громким набатом возвестил в 1848 г. «Манифест коммунистической партии» Маркса и Энгельса, русская демократическая интеллигенция не отвернулась от утопического социализма, но оставалась ему верной еще долгое время. Дело, стало быть, не в привлекательности «нового» слова. Утопические социалисты—Сен-Симон, Фурье и др.,—как известно, понимая, что в современном им обществе происходит классовая борьба, шли к преобразованию общественного строя не путем признания этой борьбы, а, напротив, путем ее отрицания, примирения классов. Для осуществления своих планов они обращались к королям, к капиталистам, вообще к высшим классам, потому что думали, что разум должен восторжествовать, что каждый может понять несправедливость существующего порядка, а поняв — отказаться от своего господства, чтобы установить общее счастье. Они отвергали поэтому революционные методы борьбы, не уделяли места самодеятельности масс и всю надежду возлагали на благотворную силу своих реформаторских проектов. Утопический социализм Сен-Симона, Фурье, и других вырос в условиях неразвитых общественных отношений Запада начала XIX века, когда пролетариат еще не выступил в качестве самостоятельной классовой силы и когда, говоря словами «Коммунистического Манифеста», первый, полный предчувствия, порыв пролетариата ко всеобщему преобразованию общества мог довольствоваться фантастическим представлением о положении рабочего класса. Но Россия времени, о котором мы говорим, была страной социально еще более отсталой, крепостной, с только что начавшими развиваться капиталистическими отношениями; рост классовой борьбы в ней задерживался крепостным порядком, а о пролетариате, как о классовой силе, и совсем еще говорить было рано. Учение утопического социализма и здесь могло найти для себя благоприятную почву, оно могло быть понятным и близким тому, кто стремился к борьбе с общественным порядком и мечтал о всеобщем счастьи на земле. Если на Западе торжество социализма может наступить благодаря пропаганде реформаторского плана и не требует продолжительной борьбы, то почему Россия должна составить исключение? Утопический социализм поддерживал эту веру, социальная отсталость страны создавала для нее почву.

Утопический социализм кладется в основу убеждений Герцена. Правда, он не разделяет слепо всех положений своих учителей и сам не строит фантастических планов. Но, оставаясь верным духу учения утопистов, он идет дальше и приспособляет утопический социализм к условиям российской действительности. Эволюция эта происходит не сразу и решительный толчек ей дает более близкое знакомство Герцена с европейской действительностью.

Еще за четыре года до поездки за границу, Герцен приходил к выводу, что утопический социализм не дает «полной отгадки»; после революции 1830 г. необходимость «социального переворота» становится для него очевидной, и он думает, что инициатива этого переворота должна принадлежать Франции, стране Великой Революции. В 1847 году Герцен едет во Францию и здесь еще больше убеждается в правильности этой мысли. Издалека Франция казалась страной великих событий и великих людей, великих возможностей, на деле она была царством Людовика-Филиппа и Гизо, торжествующей плутократии и куртизанок, биржевого ажиотажа и политической спекуляции. Революция 1830 г. разрешила, по мнению Герцена, «экономический вопрос» для буржуазии. «Между тем,—полагал он,—со дна океана народной жизни поднимается тихо, но мощно, тот же экономический вопрос, но *обратно* поставленный, та же замена революционного идеализма вопросом о хлебе, но со стороны неимущих». Борьба за хлеб, за новый экономический переворот будет беспощадна. «Голодный человек свиреп, но и мещанин, защищающий свою собственность,—свиреп. Надежда у буржуазии одна—невежество масс. Надежда большая, но ненависть, зависть, месть и долгое страдание образуются быстрее, нежели думают». И Герцен, наблюдая господство и торжество французской буржуазии, все больше приходит к выводу о неизбежности социального переворота. «Чем пристальнее я всматривался,—писал он,—тем яснее видел, что Францию может воскресить только коренной экономический переворот—93 год социализма», т. е. социалистическая революция столь же решительная, какой была революция 1793 года.

Весть о февральской революции 1848 года застала Герцена в Италии и произвела на него, конечно, сильное впечатление. «Новые силы пробудились в душе,—писал он,—старые надежды воскресли и какая-то мужественная готовность на все снова взяла верх». Он считал изменой своим убеждениям не быть в это время в Париже и поспешил туда. Но вместо «93 года социализма» он снова столкнулся с контр-революционной буржуазией. Учредительное собрание, провозглашавшее буржуазную республику и изгнавшее из состава временного правительства социалистов Луи-Блана и Альберта, подавление восстания 15 мая, а затем кровавые июньские дни, отдавшие диктатуру Кавеньяку,—все это глубоко потрясло Герцена. Он умом и сердцем горит в огне революции, до болезненности остро переносит поражения ее. «Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны; они положили черту в моей жизни»,—писал он впоследствии. Черта эта заключалась в том, что из переживаний, связанных с 1848 годом, Герцен вышел как бы раздвоенным. Революция должна была поставить на очередь «экономический вопрос», привести к социальному перевороту. Но она не привела к торжеству социализма и закончилась реакцией, кровавой расправой с пролетариатом. Отсюда

напрашивался Герцену вывод, что Европа не в состоянии разрешить задачу социального переворота, что она гибнет, что «все горит, как в огне—предания и теория, религия и наука, новое и старое». Поражением революции, победой порядка «определяется весь характер предсмертной болезни дряхлой Европы. Она умрет рабством, застоем, византийской болезнью... Она умерла бы и свободной, но оказалась недостойной этого». Однако, Герцен, вместе с тем, не терял веры в свой социалистический идеал. Он продолжает думать, что перед Европой только два выхода: разложение или социализм. «Никакое перемирие не поможет теперь во Франции,—писал он,—враждебные партии не могут ни об'ясниться, ни понять друг друга: у них разные логики, два разума. Когда вопросы становятся так, нет выхода, кроме борьбы: один из двух должен оставаться на месте: монархия или социализм». И так вопрос стоит не только перед Францией, но и перед всей Европой: «либо коренной переворот, либо коренная гибель». Герцен ставит в вину деятелям революции 1848 года, что они не были революционерами до конца, не были революционерами «в смысле современной эпохи». «Революционеры XVIII века, — писал Герцен,—были велики и сильны именно потому, что они так хохорошо поняли, в чем им следовало быть революционерами, и, однажды понявши, безбоязненно, беспощадно шли своей дорогой. Быть теперь революционером в смысле конвента было почти тоже, что явиться в конвент гугенотом. В XVIII веке достаточно было быть республиканцем, чтобы быть революционером; теперь очень легко быть республиканцем и отчаянным консерватором, социалисту в наше время нельзя не быть революционером». В частных письмах к друзьям Герцен пишет о том, что политические революции больше невозможны: «конец политических революций и восхождение миросозерцания—вот что мы должны проповедывать».

Но как примирить это раздвоение веры? Если Европа одряхлела, идет к гибели,—значит нет места оптимизму. Если Герцен готов держать пари, что восторжествует не монархия, а социализм—значит нет места пессимизму. Внутренняя борьба колеблется между этими крайностями, Герцен мучительно ищет выхода, и в этих исканиях его скрывается, по выражению Плеханова, неумение Герцена разрешить противоречия между указаниями мысли и ходом жизни, между требованиями социалистического идеала и прозаическими данными западно-европейской действительности. Бессилие Герцена разрешить это противоречие коренилось в бессилии утопического социализма, который все свои надежды возлагал на торжество разума. Герцен приближался к правильной постановке диагноза больной Европы, больше чувствовал, чем сознавал, что с революцией 1848 года открывается новая историческая полоса, что грядущие революции не будут повторением прошлых, не будут политическими, но поставят в порядок дня «эко-

номический переворот». Но почему так должно быть, и возможно ли, чтобы Европа одновременно шла и к социализму и к гибели? Чтобы выйти из этого круга противоречий, нужно было обосновать идеал на об'ективном ходе вещей, на развитии скрытых в капиталистическом обществе противоречий, и отказаться от веры в торжество разума. Но такой отказ был бы равносилен отказу от утопического социализма.

Герцен этого шага не сделал: отказ от утопического социализма означал бы для него отказ от социализма вообще. Герцен на это не пошел: «Когда оставалось самоотверженно склонить голову и молча принять довершающие удары», он «не пришел в отчаяние», не поставил креста над своими социалистическими верованиями, не возвел реакции в окончательный удел человечества. Потеряв опору для своего социалистического идеала на Западе, он стал искать ее в России. Это не было отказом от утопического социализма, это было его приспособление к условиям российской действительности. Герцена, по его словам, «спасла вера в Россию».

Эта вера, собственно говоря, не была новостью. Еще до Герцена консервативное крыло дворянства, славянофилы, говорили, что Россия идет своими путями, что Запад ей не пример, что перед нею—особые пути, самобытные. «Когда русское общество стало лицом к лицу с западной наукою, изумленное новооткрытыми сокровищами,—писал один из славянофилов,—оно бросилось к ним со всею страстью, к которой была только способна его несколько ленивая природа. Ему показалось, что теперь началась умственная и духовная жизнь для русской земли, что прежде того она или вовсе не жила, или, по крайней мере, ничего такого не делала, чтобы стоило памяти в роде человеческом. Но действительно было совсем не то. Русский дух создал самую русскую землю в бесконечном ее об'еме, ибо это дело не плоти, а духа; русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; русский дух понял святость семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение неистощимое и полное смирение». С точки зрения «русского духа», «спасительной неподвижности», исцеления от «язвы» европейского пролетариата ценили славянофилы и крестьянскую общину. Герцен до от'езда за границу был близок с некоторыми из славянофилов, спорил с ними, далеко не сходился с ними, однако, и не резко нападал на них, как некоторые из его друзей, напр., Белинский. Он сам находил свое положение странным, каким-то серединным: «перед ними (т. е. славянофилами), я человек Запада, перед их врагами человек Востока». Но все же в основных вопросах он не разделял мнения славянофилов. «Славяне ли, оплодотворяясь Европой, одействорят идеал ее и приобщат к своей жизни дряхлую Европу, или оно нас приобщит к по-

юневшей жизни своей,—писал он в своем дневнике.—Славянофилы разрешают этого рода вопросы скоро, как будто дело давно решенное. Есть указания, но далеко нет полного решения». Не принимал тогда Герцен полностью и взгляда славянофилов на общину: «Наши славянофилы толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей,—заносил он мысли свои в дневник,—все это хорошие зародыши и долею они основаны на неразвитости,—так, у бедуинов право собственности не имеет эгоистического характера европейского; но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса, не его полоса, когда даже жена, дочь, и сын—не его. Какая собственность у раба?»

После 1848 года Герцен как бы возвращается к этим старым сомнениям и разрешает их в пользу особых путей России. Потеряв опору для социалистического идеала на Западе, он находит ее в России, в ее общине. «Общинное владение землей, мир и выборы составляют почву, на которой легко может возрасти новая общественная жизнь,—пишет он,—почву, которой, как нашего чернозема, почти нет в Европе. Вот почему я середь мрачного, раздирающего душу реквиема, середь темной ночи, которая падает на усталый больной Запад, отворачиваюсь от предсмертного стона великого бойца, которого уважаю, но которому помочь нельзя, и с упованием смотрю на наш родной восток, внутри радуясь, что я русский». Община ведет к социализму, и потому не только не беда, но счастье в том, что Россия—страна отсталая. «Какое это счастье для России,—писал Герцен,—что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания». И Герцен много раз возвращается к мысли, что благо России в том, что она так долго оставалась в состоянии застоя. «Россия возрождается к жизни, как последний из всех народов, полный еще юности и энергии, в эпоху, когда другие народы стремятся на покой. Она гордится своей силой, тогда как другие народы чувствуют себя усталыми и престарелыми». Материальные и духовные богатства Европы—балласт, который только мешает движению вперед. «Европа слишком богата, чтобы рисковать всем имуществом на одной карте,—пишет Герцен,—она желает сохранить многое, ее низшие классы слишком отделены от цивилизаций, чтобы они зря могли броситься всем телом в такой коренной переворот». Иное дело—Россия: «Европа идет ко дну от того, что не может отделаться от своего груза драгоценностей, набранных в даль-

нем опасном плавании. У нас—это искусственный балласт, за борт его и на всех парусах в широкое море!»—восклицает Герцен. «Мы должны радоваться, что чужая одежда рвется, и свободно искать более удобную, где бы она ни нашлась. Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее», возвращается еще раз к основной своей мысли Герцен.

Все это должно было подготовить Герцена к тому, чтобы поставить впервые основной вопрос, который долгие десятилетия будет захватывать русскую социалистическую мысль: должна ли Россия пройти капиталистическую стадию развития прежде, чем она перейдет к социалистическому порядку, или она может миновать эту стадию и войти в социализм непосредственно из общины и «общинного духа» крестьянства? «Должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пройдет по иным законам»,—спрашивает Герцен и отвечает: «Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудным и скорбным испытанием исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования». А эти стадии зародышевого состояния Россия уже прошла в развитии ее общественной мысли, в духовном росте ее интеллигенции. «Мы прошли все фазисы политического воспитания, начиная от немецкого конституционализма, от английского канцелярского монархизма, до поклонения 93 году,—пишет Герцен.—Народу русскому не нужно начинать снова этот тяжкий путь, зачем ему проливать кровь свою для достижения тех полурешений, до которых мы дошли и которых вся важность состоит только в том, что мы через них дошли до новых вопросов, до новых стремлений. Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее».

«Мы» за народ проделали всю эволюцию, положенную законами исторического развития. Благодаря тому, что «мы» постигли величие социалистической идеи, общинник-крестьянин также становится социалистом. В этом смысле Герцен говорил, что «без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте». Так как «мы» овладели западной мыслью, то нет никаких препятствий к тому, чтобы величественное здание социализма было возведено полностью.

Таковы воззрения Герцена, как они сложились после потрясения 1848 года. Запад болен, помочь ему трудно, не видно сил, которые могли бы разрешить стоящую перед ними задачу: коренной переворот или коренная гибель. Россия находится в счастливом положении—община обеспечивает торжество в ней социализма, ей не предстоит пройти скорбные пути капиталистического развития. Как видим, «спасение» Герцена сказалось не в отказе от утопического социализма, а в приспособлении последнего к условиям российской действительности. Исходная точка зрения осталась та же, изменились лишь условия времени и места ее

приложения. Обоснование социалистического идеала не на об'ективном ходе вещей, а на вере в силу разума, в спасительность реформаторских планов получило иное выражение. Герцен пытается найти об'ективное оправдание для своего социалистического идеала в русской общине, но общину эту берет не в ее реальной действительности, а в отвлечении, идеализированную и очищенную от всякой житейской скверны. Он готов признать, что, прежде чем дойти до социалистического строя, нужно пройти некоторые «фазы европейского развития», но «спасение» находит в том, что эти фазы уже пройдены «воспитанием» интеллигенции, т. е. развитием ее мысли, силами ее разума.

Герцен, как мы видели, еще до поездки за границу, находил, что утопический социализм не дает «полной отгадки». События 1848 года должны были убедить его в этом еще больше, и, быть может, поэтому он пытался исправить эти недочеты апелляцией к об'ективным фактам, подкрепляя веру в силу разума идеализированной общиной—ничего другого в отсталой России он найти не мог. Но на Западе в это время утопический социализм уже отмирал. Бури 1848 года рассеяли его возвышающий обман, вскрыли всю жестокую правду неизбежной и спасительной классовой борьбы, не знающей ни утопий, ни примирения классов. Обострение классовой борьбы отнимает почву у утопического социализма, превращает его из фактора революционного в фактор реакционный. «В той же самой степени,—читаем мы в «Манифесте коммунистической партии» Маркса и Энгельса, — в какой развивается и принимает более определенный характер борьба классов, лишаются всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания это фантастическое стремление возвыситься над нею, это фантастически - отрицательное к ней отношение. Поэтому, если основатели этих систем были во многих отношениях революционерами, то их ученики образуют всегда реакционные секты». В России для такой печальной участи утопического социализма время еще не наступило. Пролетариат едва еще зарождался в рамках крепостного общества и еще долгое время впоследствии оставался вне поля активной, классовой жизни, классовая борьба еще далеко не принимала определенного характера—в таких условиях утопический социализм мог играть и в действительности играл революционную роль.

Нам еще придется ознакомиться с позднейшими воззрениями Герцена, а пока заметим, что прочно вошли в революционное движение и решающее влияние на развитие русской социалистической мысли оказали именно те воззрения его, которые он вынес после 1848 года и с которыми мы только что ознакомились. Вера в общину, хранящую в себе элементы социализма, вера в то, что, как думал Герцен, «человек будущего в России—мужик, точно так же, как во Франции—работник», вера в особые пути социального развития России—все это составляло основу утопи-

ческого революционного народничества, окрасило целую полосу развития русской революционной мысли. В этом смысле Герцен считается родоначальником народничества, которое впоследствии восприняло некоторые новые черты, изменившие и характер герценовского утопического социализма.

3. Бакунин.

Воззрения Бакунина сложились в общем под влиянием тех же условий, что и воззрения Герцена, хотя друзья и не повторили один другого, и каждый вырос в индивидуально-яркую историческую фигуру.

Среди друзей своих, в числе которых, кроме Герцена, был Белинский, Бакунин выделялся бурной, страстной деятельной натурой. «В моей природе всегда был коренной недостаток,—говорит Бакунин в своей «Исповеди», написанной в крепости для Николая 1,—это любовь к фантастическому, необыкновенному, к неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него, как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние; душа моя находилась в неустанном волнении, требуя действия, движения, жизни». Бакунин находил даже, что ему следовало родиться в каких-нибудь американских лесах,—«там, где цивилизация едва расцветает, и где вся жизнь есть беспрестанная борьба против диких людей, против дикой природы». Эту мятежность сильного духа подметил в Бакунине и ближайший его друг. «Сила, дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движение духа, беспрестанное стремление вдаль, без удовлетворения настоящим моментом, даже ненависть и к настоящему моменту, и к себе самому в настоящий момент, порывание к общему вне частных явлений—вот твоя характеристика», писал Белинский в письме к Бакунину (в 1838 году). «В моих глазах,—пояснял Белинский,—ты есть теперь не что иное, как выражение хаотического брожения элементов. Твое «я» силится выработаться, но как ему суждено выработаться в огромных формах, то естественно, что эта разработка для тебя болезненна: в ней разрушение делается для созидания, гниение для новой производительности».

До от'езда за границу Бакунин, как и друзья его, увлекался философией, в особенности Гегелем. Он нетерпеливо рвался в Берлин, чтобы продолжать свои занятия в более подходящей обстановке, и, слушая лекции берлинских профессоров, настойчиво звал Герцена последовать его примеру: «Приезжай скорей сюда—писал он,—наука разрешит все сомнения или, по крайней мере, покажет путь, на котором они должны разрешиться». Но философия уже скоро не давала Бакунину удовлетворения. «Позна-

комившись ближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье»,—пишет он об этом времени в «Исповеди».

От метафизики Бакунин обращается к политике. Он переселяется из Берлина в Дрезден, где принимается за чтение политических журналов, читает все сочинения французских социалистов. Здесь же он знакомится с революционным поэтом Гервегом и с коммунистом портным Вейтлингом. Пробуждение молодой Германии, прикосновение к социалистическим учениям и к политической действительности Европы поднимает настроение Бакунина. «В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья,»—говорит он в «Исповеди» и Западу противопоставляет Россию, в которой он видит «тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие». Однако, Бакунин не становится социалистом и сам себя называет демократом, а позже говорит о себе, что он был в то время «социалистом лишь по инстинкту». Маркс, с которым Бакунин встретился в 1844 году, называл его «сентиментальным идеалистом», и Бакунин впоследствии соглашался, что такая характеристика была верна.

Бакунин не разделял социалистических учений, хотя смотрел на коммунизм, как на «естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы», видел в нем «юную», элементарную, себя еще не знающую силу, призванную или обновить, или разрушить в конец западные государства». В своей оценке Запада Бакунин оказался весьма близким к Герцену. «В Западной Европе—говорил он в «Исповеди»—куда не обернешься, всюду видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разврат, происходящий от безверия; начиная с самого верху общественной лестницы ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право—все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому, не верит: привилегии, классы и власть едва держатся эгоизмом и привычкой». Бакунин выделял только «грубый, непросвещенный народ, называемый чернью», который «сохранил в себе свежесть и силу», главным образом, впрочем, во Франции.

При таких настроениях неудивительно, что Бакунин и в политике еще не находит удовлетворения. Он едет в Швейцарию, оттуда в Бельгию, затем в Париж, снова в Бельгию, но—говорит он,—«не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем далее жил за границей, тем глубже чувствовал, что я русский и никогда не перестану быть русским». В Брюсселе он знакомится с польским революционером Лелевелем, и беседы с ним о польской революции, о планах в случае победы, еще сильнее пробуждает в нем национальное чувство, он еще больше со-

знает себя не только русским, но и славянином; он готов пойти с поляками за одно, но эта готовность пришла в борьбу с «демократическими понятиями и выводами»: он отрицал, что Украина и Белоруссия должны принадлежать Польше и думал, что Украина в особенности должна ненавидеть Польшу, «как древнюю притеснительницу». Польское восстание в Кракове кладет конец этим колебаниям и открывает простор пробудившемуся революционно-национальному чувству. «Это внезапное пробуждение,—говорит Бакунин в «Исповеди»—это всеобщее движение страстей и умов охватило также и меня своими волнами, я сам как будто проснулся,—и решился во что бо то ни стало вырваться из своего бездействия и принять деятельное участие в готовившихся происшествиях».

Однако и на этот раз из попыток Бакунина приобщиться к революционному делу ничего не вышло: он не сошелся с поляками, главным образом, потому, что национальные понятия их показались ему «тесны, ограничены, исключительны». Поляки ничего не видели, кроме Польши. Бакунин снова оказывается в бездействии, следя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие.

В таком состоянии застала Бакунина в Брюсселе весть о парижской революции. «Лишь только я узнал, что в Париже дерутся,—читаем в «Исповеди»,—взяв у знакомого на всякий случай пашпорт, отправился обратно во Францию. Но пашпорт был ненужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: «La République est proclamée à Paris» [1]). У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие». Революционный Париж произвел на Бакунина потрясающее впечатление: «Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте баррикады, взгроможденные как горы и достигавшие крыш, а на них, между каменьями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с ног до головы; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, épiciers, с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры [2]), торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своей победой. И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоения, все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны,

---

[1]) „Во Франции провозглашена республика".
[2]) Рабочие.

учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже, можно увидеть подобную вещь».

Казалось, Бакунин нашел себя. Месяц, проведенный им в Париже, он называет месяцем «духовного пьянства». «Не я один, все были пьяны,—читаем в «Исповеди»,—одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру, а ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях, одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной гуляющей, бесчисленной толпе; говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия... Казалось, что весь мир переворотился; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное бессмысленным».

Казалось, Бакунин нашел себя. Где же выход его неисчерпаемой энергии, как не в разыгравшейся революционной буре? Но это так только казалось. Уже через две-три недели перед ним встает вопрос: «что же я буду теперь делать?» То, что делал Бакунин в Париже, он делом не считал, и не потому, конечно, что он тяготился «духовным пьянством»; простора для дела он мог найти и в Париже. Но это не было его дело. Революционная буря могла пробудить в нем жажду революционной борьбы, но она не давала еще приложения этой борьбы в какой-либо иной обстановке, чем та, в какой он духовно рос. Революция разбудила в нем чувства не только борца, но и русского, славянина. «Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе—рассуждал он в эти дни;—туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России, там должен быть и я, чтобы действовать в одно и то же время и на русских, и на поляков, для того, чтобы не дать готовящейся войне сделаться войной Европы против России».

Революция 1848 года захватила Бакунина, прежде всего, как русского и славянина. Европейская революция должна привести к революции в России и к славянскому об'единению. Ближайшие события еще более укрепили эти настроения Бакунина. Из Парижа он едет во Франкфурт, затем в Майнц, Мангейм, Гейдельберг, где, рассказывает он,—«был свидетелем многих народных вооруженных и невооруженных собраний, знал лично главных предводителей баденского восстания и о всех предприятиях, но ни в одном не принимал деятельного участия, хотя и симпатизировал с ними и желал им всякого успеха, оставаясь во всем, что касалось собственно до меня и до моих собственных замыслов, в прежнем совершенном уединении». Германские события, сами по

себе, тоже еще не увлекли Бакунина: он «оставался в полном бездействии, скучал, тосковал и жаждал удобного часу».

Если Герцена от отчаяния спасла «вера в Россию», то Бакунина спасла вера в славянство и в Россию. Революция 1848 года пробудила славянское освободительное движение, в особенности, в Австрии; чехи образовали свое правительство и созвали в Праге свой конгресс, который должен был восстановить чешскую государственность. Бакунин, узнав о конгрессе, решил ехать в Прагу, но его надежды еще раз не оправдались. «Славяне в политическом отношении дети», пришел Бакунин к заключению, но он нашел в них «неимоверную свежесть и несравненно более природного ума и энергии, чем в немцах». Здесь, в общении с славянами, пробудилось и в Бакунине славянское сердце. «В Париже я был увлечен демократическою экзальтациею, героизмом народного класса, здесь же увлекся искренностью и теплотою простого, но глубокого славянского чувства,—писал он в «Исповеди»,—во мне пробудилось тогда славянское сердце и новые славянские чувства, заставившие меня почти позабыть весь интерес, связывавший меня с демократическим движением Западной Европы».

Под влиянием таких настроений Бакунин еще более укрепляется в ожидании, что европейская революция приведет к революции в России и к славянскому об'единению.

Почему желал Бакунин революции в России и какой революции он ожидал? В России,—рассуждал он,—больше зла, чем в других государствах, но в то время, как на Западе против зла есть лекарство—публичность, общественное мнение, свобода—в России такого лекарства нет и в ней все держится на страхе и подчинении. «Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души»,—восклицает он в «Исповеди». Больше всего сочувствия возбуждает в Бакунине, «так называемый, черный народ, русский добрый и всеми угнетенный мужик». «К нему,—говорит он,—я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все надежды на возрождение, всю веру в великую будущность России; в нем видел свежесть, широкую душу, ум свежий, не зараженный заморской порчей, и русскую силу: и думал, что был бы этот народ, если бы ему дали свободу и собственность, если бы его выучили читать и писать».

Немногого желал неистовый Бакунин, будущий анархист, а тогда еще «отчаянный демократ»! Весьма смутны и социально-политические его искания. Бакунин желал для России республики, но не парламентской. «Представительное правление,—писал он в «Исповеди»,—конституционные формы, парламентская аристократия, и так называемый экилибр властей, в которых все действующие силы

так хитро расположены, что ни одна действовать не может; одним словом, весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего ожидания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения». Такое отвращение к парламентаризму внушали Бакунину, как он сам признает, плоды парламентских форм в Германии и во Франции—«демократизм» его, очевидно, уже получил из'яны в результате наблюдений в революционной Европе. Но что должно быть вместо парламентской республики? Федерация вольных общин на месте разрушенного государства? От такого анархического решения вопроса Бакунин был еще далек. Он желал «сильной диктаторской власти», диктатуры революционного правительства, которое, однако, напоминало по своей природе «просвещенный абсолютизм». Диктаторская власть должна была заняться исключительно «возвышением и просвещением народных масс», а затем, выполнив свою миссию, за ненадобностью упраздниться: она «должна стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа». Диктатуре должна, разумеется, принадлежать вся полнота власти. Поэтому, это должна быть власть «свободная по направлению и духу, но без парламентских форм, с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания, окруженная единомышленниками, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем». Можно было бы подумать, что Бакунин имеет в виду диктатуру революционной партии, если бы, во-первых, в то время даже его необузданной фантазией допускалась возможность в России революционной партии, и если бы, во-вторых, сам он не признавал, что органически не может быть орудием какого-либо тайного общества. Очевидно, в этих смутных построениях революционной диктатуры сказывался дух разрушения Бакунина, страстное желание уничтожить старое и поднять народные массы на высшую ступень, без ясного понимания целей и путей народного освобождения. «Что будет после диктаторства, я не знал, да и думал, что этого предугадать никто не может»,—писал Бакунин. Можно сказать, однако, что так же мало знал Бакунин и о том, что такое чаемая им диктаторская власть, сверх того, что это должна быть власть, разрушающая старое и возвышающая народные массы. Столь же неопределенны представления Бакунина и о путях и средствах революционной борьбы в России. «Я не имел и не мог иметь определенных надежд—писал он по этому поводу в «Исповеди»,—ибо находился вне всякого прикосновения с Россией, но готов был ухватиться за всякое средство, которое бы мне представилось: заговор в войске, возмущение русских солдат, увлечение русских пленных, если-б такие нашлись, для того, чтобы составить из них начаток русского революционного войска, наконец, и возму-

щение крестьян». Впрочем, в этом отношении едва ли кто-нибудь мог пред'явить тогда больше, чем Бакунин .

Созревали у Бакунина и другие планы, связанные уже, правда, не с Россией, а со славянством. Он замышлял восстание в Богемии, в надежде оживить этим европейское революционное движение и завоевать независимость славян. Центром движения он намечает Богемию, главным образом потому, что особенности социального быта крестьян давали там надежду на легкую возможность их восстания. «Огромная ошибка немецких, да, сначала, также и французских демократов, состояла, по моему мнению, в том, что пропаганда их ограничивалась городами, не проникала в села,—писал Бакунин в «Исповеди»,—города, как бы сказать, стали аристократами и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против нее враждебное расположение». Между тем, пояснял Бакунин, не было ничего легче, как возбудить революционный дух крестьянства в Германии, где сохранилось много остатков феодализма, «удручающих землю». В Богемии же, как нигде, крестьянство склонно к революционному движению, так как феодальный порядок сохранился в ней со всеми его тягостями и притеснениями. Кроме того, в Богемии много фабрик и фабричных рабочих, а «фабричные работники как бы судьбой призваны быть рекрутами демократической пропаганды». Уступки, вырванные в 1848 году, привели к «анархии»: народ перестал ходить на барщину, отказывался платить подати, рекрутские наборы вызывали ропот—«при таком расположении легко было подвинуть его (крестьянство) к восстанию», приходил к заключению Бакунин.

Какой революции желал он? «Решительной, радикальной, одним словом, такой, которая, если бы она и была побеждена впоследствии, однако, успела бы все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте»—отвечает Бакунин. Главное—разрушение старого, смелое, решительное, неудержимое. «Я хотел изгнать всех дворян, все враждебно расположенное духовенство и, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделить их между немецкими крестьянами, для поощрения их к революции, отчасти же превратить их в источник для чрезвычайных революционных доходов». Далее должно было последовать разрушение всех замков, уничтожение всех правительственных, в том числе судебных документов, об'явление поземельных долгов, не превышавших определенной суммы, погашенными. «Одним словом,—пишет Бакунин,—революция, замышляемая мною была ужасна, беспримерна, хотя и обращена более против вещей, чем против людей». «Она бы в самом деле,—повторяет он свою основную цель,—все так бы переворотила, так бы в'елась в кровь и жизнь народа, что, даже победив ее, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы.

что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого, на век разрушенного, порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом». Богемия примером своим должна была заразить других, стать «революционным лагерем», создать силу, которая могла бы действовать наступательно вне Богемии, возмущая все славянские племена и «призывая все народы к бунту»; в итоге и «германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы превратилась в общенародную».

Центром движения намечалась Прага, где должно было заседать революционное правительство с неограниченной диктаторской властью. Предполагая такой характер власти, Бакунин еще раз настаивает на радикальном уничтожении всего старого: «Изгнано дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах австрийская администрация, изгнаны все чиновники, и только в Праге сохранены некоторые из главных, из более знающих для совета и, как библиотека, для статистических справок. Уничтожены также все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все покорены одной диктаторской власти». Мы видели, что и для России, в случае революции, Бакунин предполагал диктаторскую власть. Но теперь его планы становятся более определенными, и он отдает себе больший отчет в том, каким образом должна быть образована эта власть. Революцию в Богемии должно было подготовить тайное общество, состоящее из трех отдельных обществ: одно для мещан, другое для молодежи, третье для сел, причем общества эти должны быть независимы и друг о друге не знать. Общества эти должны были состоять из небольшого числа лиц «талантливых, знающих, энергических и влиятельных», они должны были подчиняться «центральному направлению», состоящему из 3—5 лиц. Это тайное общество, по мнению Бакунина, не должно было расходиться после революции, но, напротив, должно было «усилиться, распространиться, пополняя себя всеми новыми, живыми и действительно сильными элементами», оно же должно было дать тоже людей для различных назначений и мест в революционной иерархии». Таким образом, революционная диктаторская власть должна была принадлежать революционному обществу. Характерно также, что, говоря в «Исповеди» о революционной власти в России, Бакунин утверждал, что совсем не думал о «собственном диктаторстве» и не предусматривал своего участия во власти. Теперь, напротив, он мечтал о том, чтобы быть «тайным предводителем» общества, дабы все главные нити движения сосредоточились в его руках; он оставлял также открытым вопрос о том, примет ли сам в революционной диктатуре явное участие, но участие свое, «непосредственное и сильное», считал несомненным.

Как видим, под влиянием 1848 года революционные настро-

ения Бакунина окрепли. Принимая участие в революционной борьбе, изучая ее не со стороны в качестве наблюдателя, а воспринимая впечатления от непосредственного соприкосновения с революционной действительностью, он сталкивается, прежде всего, с нерешительностью, недостаточной революционностью демократических деятелей, в особенности, славянских, с их склонностью войти в соглашение с реакцией. Бакунин призывает их порвать с контр-революцией и сам строит планы на радикальном уничтожении старого. Дух разрушения пробуждается в нем с особенной силой. Все старое подлежит уничтожению, решительному, основательному, такому, чтобы оно не могло возродиться. Выполнить такую задачу может только революционная диктатура, и Бакунин строит ее на основе тайного революционного общества, на заговоре, на строго проведенной революционной иерархии, возглавляемой несколькими отборными революционерами. Армию для своих разрушительных целей он ищет в крестьянстве, угнетенном остатками феодального порядка. Фабричные рабочие—только «рекруты демократической пропаганды», настоящий революционный элемент—крестьяне, в которых силен дух недовольства и безотчетной злобы против помещиков-угнетателей. В стихии крестьянского движения, готового на местные бунты и уничтожение дворянских замков, Бакунин находит революционно-разрушительную силу.

Нужно ли напоминать, что все планы Бакунина остались несбывшейся мечтой? На «границе России» никто не замышлял идти революционным походом на владения русского царя, славянское движение клонилось к упадку, как и европейская революция. Никаких сколько-нибудь серьезных шагов к подготовке восстания в Богемии Бакунину предпринять не удалось. Он скитается из города в город, заводит знакомства, говорит о революционных своих планах, которым не суждено осуществиться, и по пути, не будучи в состоянии оставаться в стороне там, где происходит борьба, принимает в ней активное участие, давая этим выход своей неистощимой революционной энергии. Когда в Дрездене произошло восстание, Бакунин оказался одним из самых деятельных его участников. В самые критические дни на нем только и держалось дело, обреченное уже на крушение: «Я хлопотал много,—писал Бакунин,—давал советы, давал приказания, составлял один почти все провизорное правительство, делал, одним словом, все, что мог, чтобы спасти погубленную, видимо погибавшую, революцию; не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился со всех сил». Когда поражение было очевидно, Бакунин предложил временному правительству взорвать себя вместе с ратушей на воздух. С отклонением этого предложения, Бакунин благополучно выводит отряд из Дрездена и направляется с ним к границе Богемии, не теряя надежды вызвать в ней восстание. В Хемнице, благодаря предательству, все, в том числе и Бакунин, попали

в руки прусских войск. Из плена можно было вырваться, но для этого уже не хватило сил: «Я был изнеможен,—пишет Бакунин,—истощен, не только телесно, еще более нравственно, и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет». Бакунина два раза судили, два раза приговорили к казни, которая заменена была пожизненным заключением. В Ольмюцкой крепости его приковали к стене темницы и там держали полгода, пока не выдали России.

Русская революционная мысль 40-х годов нашла в Герцене и Бакунин свое полное и крайнее выражение, как и через них наиболее ярко передавалось влияние европейского революционного движения.

Они не во всем одинаково восприняли это влияние. Герцен не только укрепляется на точке зрения утопического социализма, но и перерабатывает его применительно к условиям русской действительности. Бакунин сам себя считает демократом, в лучшем случае, «социалистом по инстинкту»—воззрения его еще не окрепли, но, поскольку они начинают крепнуть, в них преобладает дух разрушения, безотчетного протеста против господствующего порядка. В Бакунине уже можно предугадать будущего анархиста.

Герцен сильно поддается скептицизму, вера его в западное движение исчезает, революционная активность падает. Бакунин чужд скептицизму. Революционная страсть заставляет в нем умолкнуть сомнения разума, от одного революционного предприятия он бросается к другому, в нем пробуждается бунтарь, фантастические планы которого могут смело конкурировать с его революционной энергией.

Герцен, своим приспособлением утопического социализма к русской действительности, положил основу народничества, создал идею, которую десятки лет, в той или иной переработке, жило русское революционное движение. Бакунин привнес в это движение страсть, энергию, размах, проложил пути его к бунтарству, а затем своим анархическим учением стал властителем дум такой же, как он, мятущейся в революционных исканиях интеллигенции...

3. Революционные кружки.—Сунгуровцы.—Петрашевцы.

На Герцене и Бакунине условия времени сказались наиболее ярко и законченно. Это—как бы высоко возведенные вехи, по которым можно было видеть, насколько выросла революционная мысль и окрепло революционное настроение. Но, конечно, ни Герцен ни Бакунин не могут быть отождествлены с прочей русской ин-

теллигенцией. Прежде всего, это—люди исключительного дарования, стоящие многим выше других, а затем, оба они, познав прелести жизни на родине, получили возможность учиться, наблюдать и бороться на Западе.

Что же происходило там, в глубине России?

Время николаевского царствования было временем беспросветной реакции и застоя. Но это не значит, что жизнь замерла и что нарождавшаяся интеллигенция сплошь думала о приспособлении к подлости николаевского режима. Общественная мысль медленно, но развивалась, настроение не было всегда и постоянно покорным. То там, то здесь вспыхивают огоньки, слабо мерцающие и скоро потухающие. О революционном движении, даже в самых скромных его формах, говорить не приходится, но о революционных исканиях, смутных, правда, и робких, говорить можно. Эти искания складываются сперва под впечатлением восстания декабристов, затем—под влиянием западного утопического социализма и революции 1848 года.

Мы видели, какое впечатление на юного Герцена произвела казнь декабристов и как он клялся отомстить. Не все приносили такую клятву, но многие молодые головы мечтали о том, чтобы пойти по стопам декабристов, и еще в более разнообразных кругах восстание 14 декабря находило своеобразный отклик. Когда в апреле 1826 года арестовали некоего гарнизонного фельдшера, который в пьяном виде сказал, что «15-го числа будущего мая будет в России новый император и именно Константин Павлович», то на допросе он должен был открыть, что слыхал это от «рекрут, взятых из людей графа Воронцова», а рекруты новость эту узнали от квартирьеров тех войск, с которыми цесаревич Константин шел на Петербург. В 1836 году в Пермской губернии на заводе Лазаревых организован был служащими и учениками горнозаводской школы кружок приверженцев свободы, выпустивший воззвание, которым, между прочим, признавалось, что «для блага России и потомства не остается более делать, как собрать благомыслящих граждан в одно общество, которое бы всячески старалось о ниспровержении власти присвоивших ее несправедливо и о укоренении свободы»; у первого из подписавших воззвание, Петра Поносова, нашли стихи декабриста Рылеева. В 1827 году в Харькове среди студентов ходило по рукам анонимное произведение «Рылеев в темнице», автором которого оказался студент Розалион-Сошольский, принадлежавший, по его словам, к тем, кто «восчувствовали высокую красоту намерений Рылеева и в сердце которых отдался тот же сладкий глас, который и Рылеева вызывал на страшное и гибельное поприще для ратования за права человека». В 1827 году в Москве возникло дело о студенте Лукошникове и братьях Критских, также непосредственно связанное с событиями 14 декабря. Молодежь эта никакого тайного общества не составляла, заговора не замышляла, ни к какому дей-

ствию не приступала, но разговаривала по душе на темы предосудительные. Петр Критский на дознании признался, что «любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению возбудилось в нем наиболее от чтения творений Пушкина и Рылеева, следствием чего было, что погибель преступников 14 декабря родила в нем негодование. Сие открыл он братьям своим, которые были с ним одинаковых мыслей. В замыслах, не исключая и самого покушения на жизнь государя императора, участвовал, думая, впрочем, что само по себе вшестером они ничего не сделают, а между тем, время откроет им глаза». Михаил Критский восхвалял конституцию Англии и Испании, «представлял несчастным тот народ, который состоит под правлением монархическим и называл великими преступников 14 декабря, говоря, что они желали блага своему отечеству». Вообще, когда заходила речь о тайных обществах декабристов, Критские доказывали, что «люди, находившиеся в тех обществах, истинно добродетельные, желавшие блаженства своей родине, что они заслуживают неоспоримо вечную славу и что наказаны чрезвычайно жестоко». Между прочим, эта молодежь говорила об агитации среди солдат, а у Василия Критского возникла даже мысль устроить подпольную типографию для печатания воззвания — «хорошо было бы устроить или самим сделать буквы для печатания»,—говорил он.

Так от гарнизонного фельдшера до студентов бродила мысль, навеянная движением декабристов. Молодежь больше говорила, хотя и на опасные темы, но, ведь, это были только первые искания интеллигенции, которой трудно было примириться с окружающей действительностью и еще труднее было найти выход к освобождению от этой такой действительности. Наиболее благоприятную почву для таких исканий должно было дать студенчество, учащаяся интеллигенция, молодежь. Уже и тогда—в тридцатых даже годах—студенты не были сплошь сынками крупного, богатого дворянства; не мало попадалось и нуждающихся студентов, живших уроками или при поддержке своих более состоятельных товарищей. Студенчество чувствовало на себе гнет вообще и, в частности, поскольку он проявлялся в университетской жизни. «Недовольство студентов на правительство было сильно и оно могло вызвать их на всякого рода противоборство»,—пишет о московском университете 30-х годов один из современников. Недовольство это вызывалось самыми разнообразными причинами. Студенты возмущались, напр., тем, что в виду холеры университет был закрыт на два месяца и экзамены были отложены. Недовольство вызывало и поведение некоторых профессоров. Так, когда в марте 1831 года московский профессор Малов обозвал на лекции студентов «свиньями», студенты, в числе которых были Герцен и Огарев, ответили на это демонстрацией: стучали по полу ногами до тех пор, пока Малов не вынужден был покинуть аудиторию.

Лучшее студенчество 30-х годов воспламенялось идеями и да-

вало выход своему протестующему чувству в мечтах о возрождении «тайных обществ», смутно представляя себе, что эти общества будут делать. «Я знал историю декабристов,—пишет в своих воспоминаниях Костенецкий, участник сунгуровского процесса, о котором мы сейчас скажем,—и участь их не только меня не пугала, но я всегда, подобно им, рад был пострадать за великое дело введения в своем отечестве правления, которое, по моим понятиям, было бы для него благодетельным и уже во всяком разе лучше тогдашнего сурово-деспотического правления». Этим настроением некоторой части студенчества и воспользовался Сунгуров (1831 г.), сыгравший роль добровольца-провокатора.

Сунгуров, бывший раньше чиновником, вращался среди молодежи и таинственно говорил о существовании какого то тайного общества, намекая на преемственную связь его с обществом декабристов. Личность это была, вероятно, вообще, темная, так что никто с ним в серьезные сношения не вступил и в нем даже заподозрили агента правительства или честолюбца, не брезгующего средствами. По словам одного из привлеченных, в нравственной физиономии своей не уступавшего Сунгурову, последний будто «принадлежал к обществу декабристов, но во время ареста их жил в деревне и прятался на чердаке». На дознании Сунгуров признавал, что преследовал провокационную цель—раскрыть заговор и даже обещал, в случае освобождения, «начать снова разыскания». Сунгуров, однако, ошибся в рассчетах или промедлил, и его предупредил, выдав всех, другой, уже несомненный агент. Неудавшейся провокации Сунгурова было, однако, достаточно, для того, чтобы создано было дело о страшном заговоре. Под пером николаевских жандармов замыслы заговорщиков выросли до настоящего восстания: они-де имели в виду «во время оцепления Москвы от холеры возмутить фабричных и чернь, разбить питейные дома, освободить всех арестантов, захватить артиллерийскую роту и арсенал, заставить генерал-губернатора предписать губернаторам смежных с Москвой губерний выслать депутатов к выслушанию конституции, повесить противящихся, разослать по всем провинциям прокламации к народу для возбуждения ненависти к правительству» и, наконец, «составить шайку тысяч в пять человек, пойти на Тулу и взять орудийный завод». Само собой разумеется, что все это была чистейшая выдумка, так как не только таких планов, но и сунгуровского общества не было, ибо Сунгурову те, которых он хотел вовлечь, не доверяли. Это не помешало, впрочем, тому, что все привлеченные, в том числе Сунгуров, понесли суровое наказание.

Нужно признать, что Сунгуров правильно подметил настроение передовой молодежи, когда выдвинул мысль об образовании тайного общества. Если лучшие из тех, к кому он обращался, не пожелали иметь с ним дела, то сами они действительно мечтали об образовании общества. «Я уж и сам стремился к образова-

нию общества между студентами,—пишет в своих воспоминаниях Костенецкий, а другой из привлеченных к делу, Кашевский, в показании своем писал, что собирался «составить общество», главной целью которого было введение конституции в России», причем начать предполагалось с философского общества—«для того, чтобы лучше узнать людей».

Об организации тайного общества мечтали на студенческой скамье и Герцен с Огаревым. «Здесь совершатся наши мечты, здесь мы бросим семена, положим основу союзу»,—писал Герцен о мыслях своих в те годы. Но никакого общества Герцен не организовал. «Общество, в сущности, никогда не составлялось, но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены»,—писал Герцен. Тем не менее Герцену и Огареву пришлось поплатиться за участие в тайном сообществе. В 1834 году к жандармам поступил донос, что «несколько молодых людей собираются по ночам в разных местах и там, под видом препровождения времени, напиваются до пьяна и поют песни, наполненные гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги». На Огарева было указано, как на участника этих сборищ, а Герцена привлекли к делу «о лицах, певших в Москве пасквильные стихи», на основании найденных у Огарева бумаг. Друзья отделались ссылкой во внутренние губернии.

Как видим, в это время еще только начинаются искания мысли нарождающейся интеллигенции, которая не может примириться с окружающей действительностью, но и не может найти выхода. Молодежь мечтает об образовании «тайных обществ», но дело ограничивается кружками, в которых беседуют на волнующие темы, ищут ответа на проклятые вопросы. Толчек этим исканиям даст движение декабристов, опору находит оно в доходящих и до России учениях утопических социалистов. Пример Герцена показал нам, какое влияние на него и на его друзей оказал сен-симонизм. Со слов Анненкова мы знаем, что учение это нашло своих многочисленных последователей и толкователей. Один из современников свидетельствует, что студенты, увлекаясь сен-симонизмом, отыскивали букинистов, у которых можно было бы купить запрещенные книги. Революция 1848 года еще более усилила интерес и к социально-политическим вопросам и к социализму. Можно без преувеличения сказать, что вся лучшая интеллигенция того времени чутко прислушивалась к европейским событиям, к громовым раскатам, доходившим с Запада. Борьба, разгоравшаяся там, находилась в таком резком контрасте, с мертвящей обстановкой крепостной России. Мы увидим, с каким интересом следил юноша Чернышевский за ходом революции и как складывались под ее влиянием его настроения. Московское студенчество зажило было новой сознательной жизнью. «Это было первое начало, когда в эпоху сороковых годов в массе студентов зарождался интерес к

социальным вопросам,—пишет в своих воспоминаниях об этом времени один из современников.—Устроился студенческий клуб, нанята была особая квартира, где и собиралось до 400 человек, доставая все запрещенные газеты и брошюры, шли оживленные толки». «Можно ли было,—спрашивал Салтыков-Щедрин, вспоминая о 1848 годе,—имея в груди молодое сердце не плениться этой неистощимостью жизненного творчества, которое, вдобавок, отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше. И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства».

Реакция крепла, испуганное европейской революцией правительство набросилось с неслыханной свирепостью на каждое проявление сколько-нибудь свободной мысли. Николай ждал только момента, чтобы вмешательством своим придушить революцию в Европе и, дождавшись, двинул войска на Венгрию. Но чем сильнее нажимали пресс, чем беспросветнее становилась окружающая тьма, тем более острой делалась потребность искания выхода, протеста против гнусной действительности.

Наиболее замечательным из кружков конца 40-х годов был кружок Петрашевского. Собственно говоря, это не был даже кружок и тем более это не было тайное общество. Люди просто собирались по определенным дням у Петрашевского и беседовали на разнообразные темы, причем и собирались не всегда одни и те же. «Единственно явная и неопровержимо общая нам цель,—рассказывал один из участников собраний у Петрашевского,—была, во-первых, убежище от карт и либеральной болтовни, наводящей на душу грусть до изнеможения ума и воли; во-вторых, обмен понятий и кровных убеждений посредством разговора, чтения статей и прения, которые всегда вызывали целые связные речи одного лица из многих; в-третьих, сообщение, как и везде, друг другу городских и других новостей и всех частных сведений... Каждую пятницу сходились обыкновенно от 7 до 10; часто бывало до 15, а раз в год, когда он (Петрашевский) праздновал день своих имении или рождения—до 20 и до 30». Другой участник собрания пишет в своих воспоминаниях: «У нас не было никакого организованного общества, никаких общих планов действия, но раз в неделю у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно все одни и те же люди; иные бывали часто на этих вечерах, другие приходили редко, и всегда можно было видеть новых людей. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания, приносились городские новости, говорилось громко обо всем, без всякого стеснения».

Организатором и душою этих собраний был Петрашевский, который считал долгом пропагандировать свои убеждения, для

чего на собранные деньги организовал библиотеку и устраивал у себя собрания, привлекая самых разнообразных лиц: здесь были и литераторы, и военные, и чиновники, и даже владелец табачной торговли. Сам Петрашевский силою своего ума не поражает, глубокими знаниями не овладел, но идее своей был предан до фанатизма: в показании своем следственной комиссии он говорил, что «обрек себя на служение человечеству, и стремление к общему благу заменило в нем эгоизм и чувство самосохранения».

Петрашевский был сыном врача из мелкопоместных дворян, служил в министерстве иностранных дел, был ходатаем по частным делам, называя себя адвокатом. Еще на лицейской скамье он был заподозрен «в либеральном образе мыслей», а будучи вольнослушателем в университете, считал себя республиканцем. Петрашевский много читал, но особенно увлекался утопическим социализмом, став горячим последователем учения Фурье. С этих пор его всецело захватывает стремление распространить новое учение, собрать вокруг себя возможно большее число сторонников, просвещать и будить мысль других. Собственно говоря, Петрашевский был единственным деятельным членом своего кружка. Он заводит разнообразные связи, устраивает у себя еженедельные собрания, произносит сам речи, ставит на обсуждение разные вопросы, побуждает к чтению, снабжает книгами и т. д. Увлечение фурьеризмом доходит у Петрашевского до того, что он пытается осуществить идеи учителя на русской почве, среди своих крепостных крестьян, которых, впрочем, у него было мало—всего 40 душ. Он убеждает крестьян поселиться в одной общей избе на манер фаланстера Фурье и сооружает для них такую избу. Но малопросвещенные крестьяне не поняли добрых намерений своего барина и, когда изба была уже построена, сожгли ее...

Как и все утописты, Петрашевский верил в силу разума и думал, что с распространением в обществе образования в нем «внедрится» и благосостояние, так как всякий, поняв, что его личные выгоды неразрывно связаны с общественными, будет содействовать введению общеполезных учреждений. Он твердо верил, что «в истине заключается наибольшая сила творчества», и потому говорил, что «наша сила не в числе, но в истине, прямоте наших убеждений». Петрашевский понимал, что, строя тот или другой социалистический идеал, нужно считаться с условиями времени и местности, и потому не уклонялся от постановки трагического вопроса о роли социализма в крепостной России. «Несчастная случайность,—писал он в набросках одной своей речи,—нашего рождения привязала нас к почве русской и сделала представителями социализма в невежествующем и страждущем от невежества нашем отечестве. Вот наше призвание быть социалистами в России, возложенное на нас духом века. Социализм и Россия—вот две крайности, вот два понятия, которые друг на друга волком воют, сказал бы Прудон, и согласить эти две крайности должно быть

нашей задачей». Но как примирить эти крайности, где найти выход? Петрашевский понимает, что «наша mission, как социалистов фурьеристского толка в России, не так легка, как может показаться с первого взгляда». Трудностей, по его мнению, много, и не так страшен открытый враг, как трудности, коренящиеся в самом быту общественном. Но, к счастью, «мы освобождены судьбою от труда изобретательного» и «имеем эту звезду путеводную в учении Фурье», а затем—«если Моисея навел осел на животворный источник, чтобы спасти от смерти от жажды целый народ, ужель философия всех веков и наука Запада для нас, довольно коротко знакомых с нею, останется безответною для нас?» Наука «дала нам те формы, в которых должно совершиться окончательное развитие человечества; три четверти труда сделано нашими предшественниками, нашими старшими братьями по вере в прогресс человечества». Социалистам в России остается труд не малый, но выполнимый—«труд применения тех общих начал, которые выработала наука на Западе к нашей действительности, высших формул быта общественного». Разрешить эту задачу можно, если верить в силу разума, в «руководительственное значение теории в отношении к практике». И как бы обобщая свой вывод, Петрашевский возвещает: «Знания, больше знания, и торжество поборников истины и общечеловеческого счастья несомненно».

Мы имеем здесь яркий образец исканий интеллигентской мысли, не желающей примириться с окружающей действительностью, но не дошедшей до сознания, что только в об'ективном ходе вещей, в тенденции социального развития можно найти надежное обоснование для социалистического идеала. Петрашевский не дошел и до ответа, который дал Герцен. Последний также верил в силу разума, но пытался найти опору в об'ективных фактах русской жизни, в общине. Для Петрашевского все разрешается «трудом изобретательности» Фурье, наукой, теорией, знанием. Утопический социализм во всей европейской невинности владеет им и делает еще излишним другие искания. Он понимает, что социализм и Россия—крайности, что действовать приходится в «страждущем от невежества» отечестве, но не делает и попытки прикоснуться к об'ективной действительности, возлагая все надежды на силу разума, который преодолеет неопреодолимые трудности «невежествующей» страны. Поэтому, как Фурье, его учитель, Петрашевский остается «мирным» социалистом, готовится к длительной пропаганде своих идей («кто ждет мгновенного успеха социализма, тот пусть простудит свой пропагаторский жар», говорит он), и если ждет в России революции, то лишь в результате этой длительной пропаганды, «внедрения» в общество новых идей.

Революционного элемента в настроениях Петрашевского почти не видно. Он не чужд, разумеется, «политики», от которой на русской почве уйти никак нельзя было, но и она удерживает его на скромном уровне. По острому вопросу об освобождении крестьян

Петрашевский полагал, что «самым простым способом может для сего являться прямое, безусловное освобождение их с тою землей, которая ими была обрабатываема, без всякого вознаграждения за это помещика». Такой взгляд не многим отличался от взгляда либералов, из которых некоторые также признавали наделение крестьян землей в размере их надела, без прирезки и без выкупа. В бумагах Петрашевского найден был и другой проект освобождения крестьян, принадлежавший, повидимому, одному из членов кружка петрашевцев и предполагавший, что крестьяне должны получить землю за выкуп. Сам Петрашевский составил к дворянскому собранию Петербургской губ. записку, в которой, указывая, что ценность земель, населенных крепостными крестьянами, ниже ценности земель ненаселенных, предлагал дать купцам право покупать земли с крестьянами, а последним предоставить право выкупаться на свободу за определенную сумму. Этим проектом Петрашевский шел навстречу точке зрения постепенного ослабления крепостного права и охранял интересы дворян, земли которых должны были подняться в цене. На одном же из собраний своих единомышленников, Петрашевский, вообще, доказывал, что реформы нужно начать с преобразования суда и цензуры, а отмену крепостного права можно отодвинуть.

Если сопоставить эту «реальную политику» Петрашевского с его увлечением Фурье, то разноречие получится не меньшее, чем от сопоставления социализма и России. Основоположники утопического социализма едва ли колебались бы, как освободить крестьян, с выкупом или без него, и не приспособлялись бы к дворянским настроениям настолько, чтобы рекомендовать постепенное ослабление крепостного порядка. Все это показывает, что если Петрашевский считал себя «старым фурьеристом», «дошедшим давно к социализму самостоятельно», то в этом был некоторый самообман. Стройности социалистических воззрений у Петрашевского не было и с социалистичсекой выси он часто опускался на путь, если не либерализма, то радикализма. С еще большим основанием это можно сказать о многих других членах кружка Петрашевского. Для них социализм был просто настроением, часто весьма скоро преходящим, которое давало выход протесту против крепостнически-самодержавного порядка. Даже более деятельные члены кружка, как Момбелли, не увлекались идеалами утопического социализма—«в них химеричность и ложность бросается в глаза»,—но сочувствовали им «за то только, что обещали людям лучшую жизнь». Вероятно, не мало было и таких, которые приходили на собрания Петрашевского не для того, чтобы слушать его проповеди, а чтобы отдохнуть от гнетущей обстановки, поговорить свободно, не боясь цензуры, и услышать то, что при цензуре не услышишь. «На собраниях этих,—пишет в своих воспоминаниях один из петрашевцев,—не вырабатывались никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осужде-

ния существующего порядка, насмешки, сожаления о настоящем нашем положении... Наш маленький кружок, сосредоточившийся вокруг Петрашевского в конце 40-х годов, носил в себе зерно всех реформ 60-х годов». Это был своего рода политический клуб, в котором социалистического было меньше, чем думали Петрашевский или николаевские жандармы.

Не следует, однако, думать, что «петрашевцы» представляли собой что-либо однородное, во всем сходное. Социалистические воззрения всех их были в достаточной мере смутны даже с точки зрения утопического социализма, но настроение не у всех было мирное. Левое крыло было и здесь. Ахшарумов, на воспоминания которого мы только что ссылались, пишет, что среди посещавших собрания Петрашевского были «самые отчаянные личности», которые не довольствовались мирным ходом бесед и готовы были «составить свой, решительно действующий кружок».

К таким следует отнести, прежде всего, Спешнева, который прожил несколько лет за границей и называл себя коммунистом. Весьма возможно, что он был знаком с некоторыми заграничными социалистами, имел возможность ближе ознакомиться с социалистическими течениями на Западе и потому отделял себя от прочих «социалистов» кружка Петрашевского. В некоторых отношениях воззрения его, во всяком случае, выделялись. Так, он полагал, что государство «должно заведывать и промышленностью, а если не всею, то, по крайней мере, необходимейшею», т. е. признавал национализацию промышленности; в программу его входила и национализация земли—он признавал за государством «право владения всем пространством земли». Спешнев сочувствовал террору и был сторонником революционного образа действий. Среди бумаг его найдена была подписка, которую должен был давать член проектированного им общества. Эта подписка заключала в себе, между прочим, обязательство, «не щадя себя, принять полное открытое участие в восстании и драке», «явиться в назначенный час в назначенное место» и «вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или и тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке» и вообще «споспешествовать успеху восстания». Если это и были наивные планы, то они все же характерны для настроения Спешнева и могли, действительно, показаться «отчаянными» не только Ахшарумову, но и самому Петрашевскому.

Посещавший собрания Петрашевского чиновник Головинский доказывал, что крестьян можно освободить «без содействия и воли правительства, через восстание их самих». И впоследствии, перед самой крестьянской реформой, Головинский убеждал помещиков той местности, где он жил, освободить крестьян до царского указа, не ожидая, пока «Муравьев и К-о изуродуют основы воли и закрепостят крестьян еще крепче».

Студент Филиппов составил, очевидно, с агитационной целью, пояснения к десяти заповедям Моисея. Третья заповедь, толко-

валась, между прочим, так: «Царь, который забыл свой долг, не хочет заступиться за народ, унять господ и начальников, тот враг богу и людям, и власть его не от господа бога, а от сатаны». По поводу четвертой заповеди Филиппов писал: «Придет праздник господень, и рад был мужик справить его по-христиански, да глядишь, то сено не убрано, то хлеб пора жать, то дров навозить, а дома и холодно, и голодно. Как быть? Нешто, станешь делать! Пошел мужик на работу, и праздник ему не в праздник. А кто причина, что мужик не справляет праздника божия? Господин».

У поручика Григорьева найдена была составленная им «Солдатская беседа». В ней старик, побывавший в походах 1812 года заграницей, рассказывает с восторгом о порядках во Франции: «Нет там графов или господ, все равны. Говорят, после и у них стало, было, жутко. Король, слышь, только деньги мотал, богачей любил, а бедных обижал. Да вот в прошлом году не поддался народ и солдаты, из булыжника в городе сделали завалы, да и пошла потеха-битва страшная. Да куда ты, король с господами едва удрал! Теперь они не хотят царей, управляются как мы в деревне—миром сообща и выборными». Старик рекомендует и русским солдатам последовать примеру французов: «Нас больше, чего бояться чудо-богатырям, залихватским, разудалым, добрым молодцам, удалым братцам солдатикам? Умереть, так умереть, лишь не дать в обиду богачам да нехристям своих кровных и свою волюшку».

Не все, стало быть, думали только о фаланстерах и мирной пропаганде учения социалистов-утопистов. Были и такие, мысль которых направлялась в другую сторону—к солдатской и крестьянской массе, к возможности завоевания воли восстанием крепостных, к организации «тайного общества», не отступающего перед «дракой». Конечно, все это было так же смутно, как смутны были социалистические воззрения Петрашевского и тем более многих из прочих посетителей его собраний. Конечно, это были всего только робкие искания мысли интеллигентов, как исканием был и социализм Петрашевского. Но характерно, что эти искания приводили уже не только к реформаторским планам утопического либо либерального характера, но и к планам революционным, что в итоге начинало складываться революционное настроение, дело для которого нашлось позже.

Но физиономию кружку петрашевцев придавали все же не эти настроения. Собрания Петрашевского носили, в общем, невинный характер. Люди собирались по пятницам, толковали о разных разностях, слушали проповеди Петрашевского. Собрания носили по началу даже беспорядочный характер бесед и только с начала 1848 года, после известий о парижской революции, перешли на доклады и речи. Дело велось почти в открытую, конспирации не соблюдали, о собраниях знали очень многие—если так поступали в самый разгар николаевской реакции, значит сами участники

не видели в своих действиях ничего «преступного». Но не так посмотрело правительство. На собрания проник агент III отделения, который и выдал всех. По приговору 21 человек были присуждены к смертной казни, которая затем была заменена ссылкой в каторжные работы на разные сроки и определением в рядовые. Петрашевскому казнь была заменена бессрочной каторгой, Спешневу—каторгой на 10 лет, Григорьеву—каторгой на 15 лет, Достоевскому—на 4 года с последующим определением в рядовые, и т. д. Не довольствуясь таким жестоким наказанием, правительство подвергло осужденных предсмертной пытке. Их повели на место казни, поставили у столбов, облачили в саваны, священник обратился к ним со своим «пастырьским» словом, солдаты взяли ружья на прицел, раздалась команда к залпу—и только в этот последний момент, за секунду до смерти, осужденным об'явлено было о замене казни другими наказаниями. Николаевские палачи, с венценосцем во главе, были настоящими художниками своего дела...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ [1].

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

1. Пореформенная Россия.

«Крепостная Россия представлялась сверху таким прочным и цельным исторически-бытовым сооружением, что из него, казалось, нельзя было вынуть ни одного камня без того, чтобы не заколыхалось все здание,—пишет в своих воспоминаниях Шелгунов.—Я хорошо помню николаевское крепостное время; в девять лет моего таксаторства мне пришлось побывать и в костромских лесах, и в разных местах по Волге, и в средних губерниях, и в западных, и в Белоруссии и Литве. Везде от крепостного быта веяло вполне организованной устойчивостью и определенностью; каждый знал свое место, отношения были точны, права и обязанности ясны, закон исключал всякие сомнения и скреплял своей санкцией всю громаду тех нехитрых отношений помещиков к крестьянам, которые превращали крепостную Россию в огромную, просторную и односложную машину. Машина была выстроена по типу пчелиных сотов: в каждой ячейке этого всероссийского сота сидел помещик-самодержец, и вся Россия состояла не более, чем из ста тысяч маленьких помещичьих самодержавий. Понятно, что в подобном здании было боязно и рискованно вынимать камни».

Но прочность этого здания-машины была только кажущейся, и когда пришла необходимость вынуть камни, оно затрещало по всем направлениям. Камни, впрочем, и сами выпадали, потеряв скреплявшую их силу. Как ни старалась николаевская реакция задержать движение страны вперед, это движение все же совершалось. Под стройностью крепостной машины скрывалось ее

---

[1]) Пособия: *М. Покровский,* „Русская история", т. IV (гл. XIX); *Сватков,* „Студенческие движения" 1869 г." „Исторический сборник". СПБ. 1907,: *В Козьмин,* „П. Н. Ткачев и революционное движение 1860 х годов"; М 1922; *Плеханов,* „Чернышевский", Спб. 1910; *Стеклов,* „Н. Г. Чернышевский", Спб. 1909; *Ю. Каменев,* „О Герцене и Чернышевском". П. 1916; *Плеханов,* „А. И. Герцен и крепостное право", „Современ. Мир", 1911 г., № 11 и 12 (перепечатано в сборнике „Очерки истории русской общественной мысли XIX века", П. 1923 г.); *М. Лемке,* „Очерки освободительного движения шестидесятых годов". Спб. 1908; *его-же,* „Политические процессы в России 1860-х г.", изд 2-ое П 1923 г.; „Политические процессы шестидесятых годов", т. I, изд. Центрархива, 1923; *А. Шилов,* „Д В. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 г.", П. 1920; *К. Пажитнов,* „Развитие социалистических идей в России" (гл. V—VII); *М. Балабанов,* „Очерк по истории рабочего класса в России", ч. II, к. 1924.

внутреннее разложение. Крепостной труд и крепостнические отношения становились во все большее противоречие с ростом производительных сил страны; на этой старине не могли больше развиваться ни промышленность, ни сельское хозяйство, она, как тяжелая цепь, задерживала всякое поступательное движение капитала промышленного и сельско-хозяйственного. С особенной силой и наглядностью это назревшее противоречие обнаружила крымская война середины 50-х годов, как впоследствии, при иных обстоятельствах, такую же роль сыграла война с Японией в 1905 году и мировая война в начале 1917 года. Россия потерпела жестокое военное поражение, пал Севастополь, несмотря на то, что военные силы России во много раз превышали силы европейской коалиции. Причиной поражения была не только военно-техническая отсталость России. Война показала, что Россия ничего, кроме голой физической силы, противопоставить Западу не может, что она внутри прогнила, с отсталой промышленностью, которая не может обслужить даже армию, с продажной и развращенной администрацией, с диким помещиком, с отсталой культурой. Страна вышла из войны раз'еденной язвами, экономически и социально нищей. Камни выпадали один за другим, и чтобы здание окончательно не рухнуло, нужно было подвести под него новый фундамент, сооруженный по образцу капиталистической Европы.

Об этом настойчиво говорило и настроение крестьянства, отражавшее окончательное отмирание в жизни крепостного права. Крестьянские волнения, не затихавшие во все николаевское время, особенно усилились в годы Крымской войны, причем не оставалось никакого сомнения, в том, что крестьянство не примиряется больше с крепостным положением и стихийно идет к тому, чтобы разорвать крепостные цепи. Манифесты о призыве ополчения в годы Крымской войны вызывают волнения как в центрально-российских, так и в украинских губерниях. Крестьяне толкуют манифесты в том смысле, что, становясь «казаками», они выходят на волю и потому прекращается их зависимость от помещиков. По деревне ползут слухи, каждый из них толкуется как наступление воли, каждый приводит к отказу от выполнения крепостных повинностей. Правительство, с благословения помещиков, подавляет волнения военной силой, но и слепые начинают понимать, что так дальше продолжаться не может. Из среды помещиков все чаще раздаются речи, что крестьяне «тяготят» их—тяготят не только потому, что крепостной труд мало производителен, но и потому, что крестьянские бунты держат крепостников в постоянной осаде. Это сознание формулирует и первый помещик в государстве, Александр II, когда говорит, что лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать того времени, когда оно будет отменено «снизу».

Падение крепостного права открыло перед Россией новые пути капиталистического развития. Накопленные раньше капиталы

могли получить теперь применение в новых наиболее благоприятных для них условиях, раскрепощенное крестьянство доставляло неисчерпаемый запас рабочей силы, крушение крепостного помещичьего хозяйства открывало обширный внутренний рынок для промышленности. Однако, Россия только еще становилась страной капиталистической, но не сразу ею стала, процесс капиталистического развития совершался в ней и при новых условиях постепенно. Первые десятилетия пореформенного времени отмечены глубоким внутренним перерождением социальных отношений, подготовлявших условия для укрепления и роста капитализма. Товарно-денежные отношения, охватывая все народное хозяйство, все больше внедрялись в деревне, расслаивая крестьянство и разлагая его патриархальный быт. Для капитала наступал золотой век первоначального накопления, легкой наживы на дешевом труде и безграничной эксплоатации народной нужды. Капитал направляется туда, где прибыль сама дается в руки без особенных усилий — в торговлю, в спекуляцию, в железнодорожное строительство. Организация торгово-промышленного кредита и парового транспорта—такова главнейшая задача, выдвигаемая временем, задача, без разрешения которой капитализм не мог двинуться вперед. Первые десятилетия пореформенного периода и уходят по преимуществу на разрешение этой задачи, на создание тех предварительных условий, которые необходимы были для капиталистического развития страны.

Соответственно такому характеру экономического развития складываются и отношения общественных классов. Промышленная буржуазия первых десятилетий пореформенного времени мало чем отличается от дореформенной. Купцы и фабриканты, правда, уже не отделены сословно-крепостной стеной от дворянства и бюрократии, не считаются низшей породой, влияние их растет, ими не брезгают в дворянских салонах. Но никаких запросов у промышленной буржуазии, как класса, еще не возникает, ее классовая сила остается больше в возможности, чем в действительности, она—как писал о нашей буржуазии Плеханов в 80-х годах,—еще свободно дышала жабрами вместо того, чтобы упражнять свои легкие, которые, как воздуха, требуют политической свободы. Золотой век первоначального накопления и сила денежного мешка, открывавшая перед капиталом министерские канцелярии и приносившая ему всяческие меры «воспособления», позволяли промышленной буржуазии воздержаться от такой роскоши, как борьба с самодержавием или даже оппозиция ему.

У истоков своего развития находился и рабочий класс. В крепостное время фабрично-заводской рабочий ничем не отличался от крестьянина; интересы его поглощались интересами всего крепостного крестьянства, формы борьбы во всем совпадали с крестьянской борьбой; крепостнические отношения, отношения помещика-господина к крепостному заглушали отношения труда

к капиталу, а от этой обстановки, заглушавшей классовую борьбу, не мог уйти и «вольно-наемный» рабочий. В пореформенное время такие условия не сразу изменились к лучшему. Рабочий стал юридически свободным, но кабальные условия работы и существования держали его в полной зависимости от капитала, не давали рассеяться темноте его, затрудняли классовую борьбу, которая значительное время еще протекает в скрытых формах. Забастовочное движение, за немногими отклонениями, носит оборонительный характер почти вплоть до 90-х годов, пробуждавшаяся активность рабочего класса направлялась еще только в сторону обороны от попытки капитала ухудшить условия труда, но не в сторону наступления для завоевания лучших условий. В это время еще не приходится говорить о рабочем классе, как о самостоятельной силе, оказывающей какое-либо влияние на соотношение общественных классов.

При слабом развитии промышленного капитализма и при преобладающем значении сельского хозяйства, удерживавшем Россию на положении страны по преимуществу земледельческой, общественные отношения определялись, в первую очередь, отношениями землевладельческого дворянства и крестьянства. Последнее, как мы видели, волновалось накануне освобождения, ряд волнений произошел и после реформы 19 февраля 1861 года, когда крестьяне, в простоте душевной, надеялись на волю лучшую, чем та, какую они получили. Подавленное военной силой, крестьянство притихло на долгое время и ушло в себя со своею смутной мечтой о новой «воле». Но пассивность крестьянской массы не помешала тому, чтобы сохранилась легенда об ее активности. Если Герцен возлагал надежды на крестьянскую общину, то последующие поколения демократической интеллигенции не имели, во всяком случае, оснований отказаться от такой надежды. Мы еще возвратимся к характеристике этого нового поколения интеллигенции, а пока заметим, что, она пыталась в своих стремлениях опереться на крестьянство, стать выразителем его интересов. С другой стороны, хотя крестьянство и оставалось пассивным, но настроения в деревне не переставали быть напряженными, угрожая разразиться бурным взрывом и, во всяком случае, побуждая помещиков принимать предупредительные меры с целью держать крестьян в покорности.

В противоположность крестьянству, дворянство остается—или, вернее, снова становится активно-действующей силой, как в своем реакционном, так и в либеральном крыле, как в той его части, которая охраняла свои сословно-классовые интересы, хранила традиции старого, так и в той части, которая, перерождаясь в буржуазию, выступала представителем новых общественных начал. В дворянском движении, в противоположность движению демократической интеллигенции, нет ничего утопического—оно преследует реальные цели на почве реальных своих интересов.

Шестидесятые годы, сохраняя общие черты пореформенного периода, который можно считать продолжавшимся до конца 80-х годов прошлого века, имели и некоторые свои особые черты. Они почти целиком проходят под знаком падения крепостного права. Только что проведенная крестьянская реформа остается неувядающей злобой дня, затрагивающей жизненные интересы различных общественных слоев и всецело их захватывающей. На почве отмены крепостного порядка завязывается борьба в среде дворянства, на этой же почве волнуются в первые годы после реформы крестьяне, из острых вопроссов крестьянского освобождения исходит и революционное движение того времени. С другой стороны, освобождение крестьян, хотя и проведенное «сверху», до глубины потрясло весь общественный строй. Бурно ворвавшиеся в жизнь новые начала впервые поставили некоторые основные вопросы общественного развития России с такой остротой, какая в последующем повторилась не скоро.

2. Либерально-дворянское движение.

Мы только что сказали, что в противоположность крестьянам дворянство сохранило активность как в своем реакционном, так и в либеральном крыле. Чем же вызывалась эта активность вообще и в либеральном крыле, в особенности?

Один из царедворцев писал Александру II в 1855 году, характеризуя положение различных общественных групп: «Относительно дворян-помещиков, то можно почти безошибочно сказать, с малыми только из'ятиями, что те, которые владеют поместьями, не обременены долгами, служат истинной подпорой высшей существующей власти. Всякие утопии, всякая пропаганда едва-ли может коснуться их; они враги всякой могущей произойти перемены в обычном порядке вещей. Этого нельзя сказать о дворянах, коих поместья отягощены долгами; эти дворяне-помещики, по естественному свойству человека стремиться к лучшему, могут преклонить слух к зловредным внушениям». Царедворец правильно подметил настроения различных дворянских групп накануне освобождения крестьян—от хорошей жизни не пожелаешь лучшей, а желать лучшего, «преклонить слух к зловредным внушениям», могли те дворяне, хозяйство которых было разорено, придавлено долгами. Для этой части дворянства было выгодно отдать за выкуп крестьянам часть земли, чтобы, погасив долги, остаться еще в прибыли—вне этого оставалась перспектива еще большего разорения. Напротив, крупно-поместное дворянство, не испытывавшее тягости задолженности, могло еще хорошо себя чувствовать и в крепостной обстановке и не желать «перемены в обычном порядке вещей», т. е. отмены крепостного права.

Правительство, в конце концов, само должно было «преклонить слух к зловредным внушениям» и отменить крепостную зависимость

крестьян. Но оно не могло удовлетворить интересов различных групп дворянства, не говоря уже, разумеется, об интересах крестьян. Если большинство дворян требовало освобождения крестьян без земли, то, из опасения крестьянских волнений, пришлось освободить крестьян с землей; размеры выкупа нельзя было, из опасения крестьянства, поднять до того предела, который дал бы дворянству все, чего оно хотело; чтобы успокоить крепостников, сохранены были временно-обязанные отношения крестьян к помещикам, т. е. по существу частично сохранено крепостное право. Крестьянская реформа создавала, таким образом, почву для недовольства не только крестьян. Она нарушила в существенном также интересы дворянства и притом не только настроенного непримиримо-крепостнически, но и той его части, которая, в своих же интересах, соглашалась на отмену крепостного права.

Создавшееся положение хорошо выяснил в свое время Чернышевский в статье, написанной в 1862 году (не пропущенной цензурой). «Дело было начато с желанием требовать как можно менее пожертвований от дворянства,—писал он.—А бюрократия по самой сущности своей всего более занимается формалистикой. Поэтому и результат оказался такой, что изменены были формы отношений между помещиками и крестьянами, с очень малыми, почти незаметными изменениями существа их прежних отношений. Этим думали удовлетворить помещиков». Но оказалось, что принятое решение никого не удовлетворило. «Предполагалось сохранить сущность крепостного права, отменив его формы—писал далее Чернышевский.—Но без формы нельзя сохранить и сущности. И что же вышло? Помещики увидели себя не в состоянии пользоваться выгодами, которые были оставлены за ними; выгоды эти исчезли без всякого вознаграждения для них, потому что власть и не предполагала, чтобы выгоды эти на самом деле исчезли».

«А между тем,—продолжал Чернышевский,—дворянство видело, что власть старается сделать для него все, что можно. Из этого естественно, следовал вывод; итак, власть не в состоянии ничего сделать для сохранения собственности помещиков или для их вознаграждения. А из этого вывода еще легче следовал другой: итак, помещики должны сами позаботиться о сохранении той части собственности, какая может остаться за ними, и о получении вознаграждения за ту часть, которую теряет. А из этого вывода неизбежно следовал третий: но до сих пор помещики держались не собственной силой, а постороннею опорой; теперь, когда прежняя опора оказывается слишком слаба, надобно им отыскать для себя новые опоры. Выбор тут был не затруднителен».

Словом, дворянство, убедившись в том, что правительство не достаточно ревниво охраняет его интересы, пришло к заключению, что оно должно само о себе позаботиться. Это стремление одинаково сказывается как в реакционных, так и в либеральных кругах дворянства, отличаясь лишь в выборе тех путей, какими должны

были быть охранены интересы дворян-землевладельцев. Крупнопоместное дворянство, близкое к правительственным верхам и составлявшее дворянско-аристократическую касту, могло удовольствоваться тем, что усилило свое давление на власть. Для другой части дворянства, хозяйство которой наиболее потрясено было новыми капиталистическими отношениями, вопрос по необходимости стоял шире. Действительность показала, что одних выкупных платежей мало для того, чтобы не придти к окончательному разорению,—сверх того, нужно было приспособиться к новым условиям, иметь возможность не только приложить капитал к сельскому хозяйству, но также иметь уверенность, что общие условия жизни страны дадут возможность пожать плоды перехода хозяйства на новые начала. Но для этой части дворянства, которая сильнее втягивалась в новые условия буржуазного порядка и потому сама становилась буржуазией, «великие реформы» не ограничивались освобождением крестьян, но должны были привести к «увенчанию здания», к реформе всей системы управления. Еще в то время, когда обсуждалась крестьянская реформа, известный либерал Унковский в поданной им записке жаловался, что «все дело свелось к одним хозяйственным расчетам и никто из членов комиссии сам не начинал и нам не давал начать серьезный разговор об изменении управления, хотя бы только местного». Иначе говоря, хозяйственные расчеты хороши, но их мало, необходимы еще реформы управления, хотя бы местного.

После освобождения крестьян об этом заговорили не отдельные дворяне, но целые дворянские собрания. Особенно выделялось постановление, сделанное тверским дворянским собранием в феврале 1862 года. Постановление это говорило о том, что дворянство, «желая уничтожить всякую возможность упрека в том, что оно составляет преграду на пути общего блага, об'являет перед лицом всей России, что оно отказывается от всех своих сословных привилегий и не считает нарушением свох прав обязательное предоставление крестьянам земли в собственность с вознаграждением помещиков при содействии всего государства». Но тверское дворянство также убеждено в том, что правительство не в состоянии принять необходимые реформы. «Свободные учреждения, к которым ведут эти реформы—говорилось в постановлении,—могут выйти только из народа, а иначе будут только мертвою буквою и поставят общество в еще более натянутое положение. Посему дворянство обращается к правительству с просьбою о совершении этих реформ, но, признавая свою несостоятельность в этом деле, ограничивается указанием того пути, на котором оно должно служить для спасения себя и общества. Этот путь есть собрание выборных от всего народа без различия сословий».

Соответственно этому постановлению был составлен всеподданнейший адрес царю от тверского дворянства. «Вместо действительного осуществления обещанной вами русскому народу воли,—го-

ворилось в адресе,—сановники изобрели временно-обязанное положение, невыносимое, как для крестьян, так и для помещиков. Вместо одновременного и обязательного обращения крестьян в свободных поземельных собственников, ваши сановники изобрели систему добровольных соглашений, которая грозит довести до крайнего разорения и крестьян, и помещиков. Они находят необходимым сохранение дворянских привилегий, тогда как мы сами, более всех заинтересованные в этом деле, желаем их отменения». Тверское дворянство заявляет далее, что оно не берется говорить за весь народ, что все реформы остаются безрезультатными, так как «принимаются без спроса и ведома народа» и что поэтому «собрание выборных всей земли русской представляет единственное средство к удовлетворительному разрешению вопросов, возбужденных, но не разрешенных положением 19 февраля».

Тверское дворянство открыто заявляет, что оно не доверяет бюрократии, находит необходимым созыв собрания выборных, и необходимость эту, в особенности, мотивирует установлением временно-обязанных отношений крестьян и помещиков. Мы только что видели, как Чернышевский об'яснял это недовольство помещиков временно-обязанными отношениями. Последние не упраздняли окончательно крепостных отношений, но и не превращали крестьян в земельных собственников; выкуп не признавался обязательным, так что в общем создавалось положение, при котором оставался нерешенным, как вопрос о праве помещиков на землю, так и вознаграждение их за землю. С другой стороны, крестьяне, не получая ни земли, ни воли, надеялись на то, что в близком будущем будет об'явлена настоящая воля и на этой почве происходили массовые волнения. Вековые привилегии дворянства как бы повисали в воздухе и лишались реального значения. Дворянство, по крайней мере, более дальновидная часть его, готово было отказаться от сословных привилегий, чтобы сохранить свое классовое господство—поступиться старым феодальными отношениями, которые не обещали ничего, кроме разорения и крестьянских бунтов, чтобы обеспечить за собою силу и влияние в новом буржуазном строе. Отсюда эта готовность тверских дворян «перед лицом всей страны» провозгласить отказ от сословных привилегий,—готовность, которую выражали не одни тверичане. В это же время известный славянофил Аксаков писал: «Дворянство должно единодушно заявить правительству и ходатайствовать, чтобы дворянству было позволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя, как сословия». Но что означало это торжественное заявление, напоминавшее знаменитый отказ французского дворянства от феодальных прав в начале Великой Революции? Значило ли это, что дворянство, лишаясь сословных привилегий, теряет вместе с тем и реальную силу в государстве? Дело, разумеется, шло не об этом. Другой известный славянофил Кошелев утверждал—как бы в ответ на по-

ставленный вопрос—что «дворянство, класс самый образованный и как главный землевладелец должно для блага всего края сохранить преимущественный в нем голос», и совершенно такой же точки зрения придерживался либерал Унковский: «Поместное дворянство,—писал он,—просвещенное более всех сельских сословий, одно может руководить и вразумлять народ в исполнении правительственных распоряжений». Откровеннее же всего эта точка зрения была выражена в адресе царю херсонского дворянства (сентябрь 1862 г.): «Имея в виду благо отечества, убежденные, что без слияния в одно целое всего народа никакие перемены невыполнимы, мы отрекаемся от законных наших прав, сохраняя лишь одно из них, законом не определяемое—быть, как сословие более развитое и принесшее сравнительно большие жертвы отечеству, нравственными представителями народа». Иначе говоря, херсонское дворянство было готово отказаться от «законных» прав, но лишь для того, чтобы сохранить неписанное право быть «нравственными представителями народа», т. е. сохранить свое классовое господство. «Слияние в одно целое всего народа» означало лишь уничтожение правовых, сословных перегородок («равенство всех перед законом»), взамен которых должна была быть возведена стена, отделяющая помещиков — «класс самый образованный»—от крестьянства, как класса, который сам не может представительствовать своих интересов и нуждается в «нравственном» представительстве помещиков.

Эта классовая позиция диктовалась как нарушенными крестьянской реформой интересами помещиков, так и, в частности, опасениями крестьянского восстания. «Нравственное» представительство народа помещиками, указание на то, что помещикам должно принадлежать право «вразумлять» крестьян, имело целью удержать крестьян на уровне политически-бесправной и беспомощной массы и этим предупредить ее активность. Кошелев самым опасным считал «согласие между крестьянами и мещанами», т. е. революционной интеллигенцией. «Такое согласие,—писал он в 1862 г.—все уничтожающее и проповедующее равенство не перед законом, а вопреки ему, не народную историческую общину, а болезненное ее исчадие, и власть не разума, которого так боятся некоторые государственные дельцы, а власть грубой силы, к которой они сами так охотно прибегают,—такое согласие, говорю, у нас гораздо возможнее и оно гораздо сильнее, чем умеренная, благомыслящая и самостоятельная оппозиция правительству, которая так противна нашим бюрократам и которую они всячески теснят и стараются удушить». Страх перед народной революцией—тогда совсем неосновательный, потому что для революции не было никаких предпосылок—подсказывал и отказ от дворянских привилегий, и необходимость занять господствующую позицию в складывавшихся буржуазных отношениях, и противопоставление революции—«умеренной, благомыслящей и самостоятельной оппозиции».

Поэтому же, когда показались первые робкие признаки начинающегося революционного движения, «оппозиция» сама собой переходила в недвусмысленную реакцию. На каракозовский выстрел в Александра II земские собрания ответили подхалимскими всеподданнейшими адресами.

Нужно ли пояснять, что из этого «конституционного движения» начала 60-х годов ничего не вышло? Либеральное дворянство, бессильное в своем страхе перед народным движением, не могло выставить ничего, кроме всеподданнейших просьб, да и просьбы эти шли не от большинства дворянсва: более влиятельная часть его сразу стала на сторону реакции. Правительство ответило на адреса репрессиями, а затем усилило реакционный курс. Открывшиеся вскоре земские собрания, в которых руководящую роль играли либеральные помещики, не продолжали дворянской кампании и ушли целиком в «местные дела». Либеральное дворянство замерло почти на два десятилетия и снова обнаружило признаки жизни лишь в связи с усилившимся революционным движением.

3. Студенческое движение.

Со времени ослабления николаевской реакции и с наступлением общественного оживления, после крымской войны, и, в особенности, после крестьянской реформы началось быстрое нарастание интеллигенции, и притом не только, как раньше, дворянской, но, главным образом, разночинной, т. е. выходящей из недворянских кругов. Чиновничество, купечество, духовенство, отчасти богатеющее крестьянство, начинают давать своим детям образование в гимназиях, семинариях, университетах. Учащаяся молодежь, в особенности университетская, радикально изменилась и по составу своему, и по настроениям. «В первый год, как часто и потом,—рассказывает один из современников,—приходилось питаться всухомятку одним ситным или сайкой с рубцом, а то двумя-тремя бутербродами с кружкой пива. Что же касается квартиры, но в первый год ее не было у меня вовсе и первое мое собственное луговище—проходную клетушку с окном, отделенную перегородкой,—нанял я уже в сентябре следующего года за четыре с полтиною в месяц... Собственности у меня, кроме нескольких книг да двух-трех пар белья, не было никакой». «Нищета вопиющая, которая не позволяет отвернуть глаза»—писал о студенческой жизни того времени один из профессоров. И это не было исключением: когда открылась возможность приобщиться к знанию, молодежь потянулась в школу, не думая, разумеется, о нужде. «Каждый способный и энергичный человек,—пишет в своих воспоминаниях Шелгунов,—становился тогда на новую дорогу, создавал себе новое, подходящее к способностям дело, искал своего места в природе. Учащаяся молодежь тоже стремилась в

более широкую область мысли. Семинаристы толпами уходили в университет».

Эта новая интеллигенция, «мыслящий пролетариат», как ее называли, рвалась не только к знанию, но и к условиям свободной жизни. Гнет полицейского порядка она ощущала на каждом шагу—и тогда, когда путем взаимопомощи она пыталась поднять уровень своего материального существования, и тогда, когда она, стремясь к знанию, сталкивалась с университетско-полицейским режимом. Студенческие волнения возникают, поэтому, уже на заре новой России. Волнения вызываются разными поводами: то столкновением с полицией, которая, конечно, не признавала за студентами права на «неприкосновенность личности», то поведением профессуры, порою грубой и бездарной, то реакционными университетскими правилами. Но, будучи академическим, движение это не лишено было вместе с тем и политического характера,—оно неминуемо выливалось в протест против господствующего порядка, хотя бы и оставалось в мирных рамках,—в протест, который имел тем большее общественное значение, что вокруг все молчало и пассивно склоняло голову под градом репрессий. Мы увидим, впрочем, что студенчество волновалось не только в связи с академическими вопросами.

Студенческие волнения начались с конца 50-х годов. В числе первых волнений можно отметить волнения в московском университете в 1857 году, когда полиция ворвалась в квартиру, где происходила студенческая пирушка, и избила студентов. Случай этот возмутил студенчество. Появилась прокламация, в которой студенты призывались смыть с себя позор, начались сходки. Дело закончилось на этот раз для студентов благополучно и виновные полицейские чины были преданы суду. Более крупный характер носили волнения в петербургском университете в 1861 году. Правительство, в ответ на происходившие раньше студенческие волнения, решило ответить пересмотром университетских правил в сторону упразднения студенческих «вольностей», которых, впрочем, на самом деле и не было. Как только открылись осенние лекции, студенчество заволновалось. В университете вывешена была прокламация, в которой, после жалобы, что «теперь нам запрещается решительно все», говорилось: «Мы—легион, потому что за нас здравый смысл, общественное мнение, литература, профессора, бесчисленные кружки свободомыслящих людей, Западная Европа, все лучшее, передовое за нас, нас много, более даже, чем шпионов. Стоит только показать, что нас много. Теперь кто же против нас? Пять-шесть олигархов, тиранов, подлых, крадущих, отравляющих рабов, желающих быть господами, они теперь выворачивают тулупы, чтобы пугать нас, как малых детей». «Главное—продолжала прокламация,—бойтесь разногласия и не трусьте решительных мер. Имейте в голове одно: стрелять в нас не смеют—из-за университета в Петербурге возникнет бунт». Конечно, пылкая

молодежь увлекалась: стрелять то, пожалуй, и не посмели тогда в студентов, хотя и стрельба бунта не вызвала бы, но полицейские шашки в ход пустили. Созванная сходка постановила новым правилам не подчиняться, в ответ на что университет был закрыт. Тогда, после новой сходки в университетском дворе, студенты двинулись по Невскому к квартире попечителя, чтобы потребовать от него об'яснений. Шествие это, как и об'яснения с попечителем, ничем не осложнилось, но депутаты были арестованы. Это вызвало новое возмущение, которое закончилось тем, что собравшихся перед университетом студентов оцепили жандармы и войска, причем произошла свалка: студенты пустили в ход палки, солдаты—приклады и штыки. Арестовано было 320 студентов, которых, за неимением свободных мест в Петропавловской крепости, отвезли в Кронштадт и заключили в Николаевский госпиталь.

Волнения из Петербурга перебросились в Москву, где на бурной сходке прочитана была петербургская прокламация. Новые правила были отвергнуты и здесь, а появившийся на сходке инспектор был освистан. Когда правление ответило исключением всех участников беспорядков и закрыло два первых курса юридического факультета—по свидетельству инспектора, волновался именно этот факультет, «где было много бедняков»,—студенты ворвались в здание университета, поломали мебель в аудиториях. На продолжавшихся сходках студенты обсуждали адрес царю, которого просили о бесплатности лекций, свободе сходок, об особом студенческом суде и т. п. Несмотря на столь лойяльное настроение, студенты все же были избиты полицией не менее жестоко, чем в Петербурге. Развязку приблизили аресты «зачинщиков»: когда студенты отправились к генерал-губернатору просить об освобождении арестованных, полиция набросилась на них и учинила кровавую бойню. «Всюду, на всех улицах студенческий мундир служил достаточным поводом, чтобы быть избитым палашом жандарма или раздавленным его лошадью»,—писали студенты в адресе Александру II, которого просили о защите. Нужно, впрочем, отметить, что на царя не все студенты возлагали надежды. Часть студенчества предполагала устроить общую забастовку до окончательного решения судьбы арестованных.

После некоторого перерыва, крупные волнения произошли в 1869 году в нескольких петербургских высших учебных заведениях. Беспорядки начались с медико-хирургической академии, где студенты протестовали против казарменной дисциплины. Военное начальство меньше всего церемонилось со студентами и после ряда репрессий закрыло академию. Тотчас в университете появилось воззвание, приглашавшее студентов поддержать общее студенческое дело. Заволновался университет, а за ним и технологический институт. Движение происходило на академической почве, студенты требовали разрешения сходок в университете, касс и библиотеки, признания за их выборными права участвовать в рас-

пределении степендий, уничтожения полицейской опеки университетского начальства. Требования эти были приведены также в печатной прокламации, «К обществу», заключительная часть которой говорила: «Начальство на наши требования отвечает закрытием учебных заведений, противозаконными арестами и высылками. Мы апеллируем к обществу. Общество должно поддержать нас, потому что наше дело—его дело. Относясь равнодушно к нашему протесту, оно кует цепи рабства на собственную шею. Протест наш тверд и единодушен, и мы скорее готовы задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших академиях и университетах». Но студенчество не получило активной поддержки, а правительство могло без особенных усилий расправиться с молодежью. Оно закрывало университеты, предавало «зачинщиков» университетскому суду, исключало их, ссылало, держало в тюрьмах, а наряду с этим, усиливало полицейский гнет в высшей школе и брало под подозрение все студенчество.

Благодаря этому, студенческие волнения, хотя и возникавшие на академической почве, поддерживали в студенчестве политическое брожение, толкали его на борьбу не только с университетским начальством, но и с начальством вообще, с властью. Однако, бывали случаи и чисто политических демонстраций, не связанных непосредственно с университетской жизнью. В Москве в 1861 году 300 студентов двинулись из университетского сада к могиле проф. Грановского, друга Герцена, возложили на могилу цветы и произнесли речи; появившийся полицмейстер был прогнан криками: «вон! не мешать!» В том же 1861 году, в Петербурге в костеле была отслужена панихида по убитым полякам, на которой присутствовали и русские студенты, певшие с другими польский национальный гимн. Когда об этой демонстрации началось следствие, несколько сот русских студентов подали заявление, в котором говорили, что участвовали в пении гимна и просили привлечь их к ответственности наряду с поляками.

Больше всего шуму произвела демонстрация казанских студентов в 1861 году по поводу зверского подавления крестьянских волнений в с. Бездне. Эти крестьянские волнения произошли непосредственно в связи с только что об'явленным манифестом 19 февраля 1861 года. Крестьянство, жаждавшее воли, меньше всего доверяло начальству и барам, и толковников своих искало в своей же среде. Когда нашелся толковник—сектант Антон Петров, доказывавший, что крестьянам дана была воля еще по 10-й ревизии, т. е. в 1858 г., и, стало быть, долгожданная реформа скрывалась три года, заволновались крестьяне нескольких уездов. На темную деревню была послана карательная экспедиция, в безоружных крестьян палили залпами, Антона Петрова казнили. Эта зверская расправа происходила под рукоплескания помещиков, которые устраивали банкеты в честь усмирителей. «Главное, что те-

перь высказывается,—писал один из либеральных помещиков своему брату в Петербург—это какое-то канибальское неистовство дворян; я не преувеличиваю, а говорю правду. Как прежде они все боялись бунтов, так теперь не могут скрывать своей неистовой радости, что их взяла... Мечтают только, как будут войска ходить целое лето подвижными колоннами, мужиков вызывать на работу по барабану. Право тошно жить в этой Казани; я никак бы не мог предполагать встретить такую массу чистых плантаторов». Если либеральному помещику тошно становилось от этой дикой пляски плантаторов над трупами расстрелянных крестьян, то тем большее возмущение они должны были встретить в студенчестве. Через несколько дней после расправы несколько сот студентов духовной академии и университета отслужили публичную панихиду по убитым крестьянам. О настроении студенчества может свидетельствовать произнесенная на панихиде речь проф. Щапова, который, между прочим, говорил: «Мир праху вашему, вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу и—свобода всему народу. Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра,—эта земля воззовет народ к восстанию и к свободе... Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу. Да здравствует демократическая республика!»

Студенческие волнения говорили не только о том, что нарастает демократическая интеллигенция, но и о том, что растут в ней активные силы, готовые пойти на борьбу с окружающими условиями. Для руководства волнениями образуются кружки, в кружках обсуждаются и волнующие вопросы современности. Борьба расширяет кругозор, выводит мысль передового студенчества из круга университетских интересов на более широкую дорогу общеполитических задач. Мы видели, что выпущенная в 1869 году, прокламация «К обществу», призывает более широкие общественные слои на поддержку студенческого движения. Но еще многим раньше, в 1861 г., среди студентов московского и других университетов ходила по рукам прокламация, ставившая перед студентами в связи с волнениями вопрос о борьбе с самодержавием. «Деспотизм убил всякую свободную жизнь—говорилось в этой прокламации,—и страшно от него потерян человек,—всего должно ожидать сверху, от высших велений. Деспотизм общий подавил все, весь интерес—и местный, и частный... Надо же подавить его сразу, одним ударом и все построить совершенно на новых началах,—не забудьте, что свобода теперь нисколько не делает шага вперед—она скорее делает его назад и окончательно сосредоточена в правительственной власти. От каких же причин это зависит и при каких условиях совершается?—Опять повторяем: от деспотизма. Студенты! Готовьтесь же к будущим подвигам, принесите вашему делу и пользу, и славную о себе память,

да скажет грядущее поколение, что вы можете послужить примером, по неизменной твердости, достойным подражания».

Волнующаяся молодежь, среди общего застоя, естественно, выдвигалась в первые ряды протестующей общественности. Если правительство обрушилось на нее всею тяжестью жестоких репрессий, то другие связывали с молодежью все надежды освободительной борьбы. «Куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку,—ставил вопрос Герцен в 1861 г. и отвечал: «Прислушайтесь, благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот; это — начальный рев морской волны, которая закипает тревожными бурями после страшного утомительного штиля. *В народ, к народу,*—вот ваше место; изгнанники науки, покажите, что из вас выйдут не *под'ячие*, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского! Хвала вам! Вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальних намеков, запрещенных книг, проходит. Вы *тайно* еще печатаете дома, но *явно* протестуете. Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнее благословение!» Друг и соратник Герцена, Огарев, также звал в это время молодежь к народу. «Молодежь скажет народу,—писал он,—что земля ему отдается, что пришла пора соединиться, чтобы учредить всюду свое управление, выборное и ответственное—на место казенного чиновничьего, самовластного. Молодежь скажет народу, что она приносит ему в помощь все средства, которые дала ей наука, и не пощадит для него ни трудов, ни жизни... Пускай закрывают университеты! Устройте кафедры в городских залах и в волостных избах, в своей комнате и на базарной площади!» С таким же словом обращался к молодежи Бакунин после беспорядков 1869 года. «Итак, молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь и в которых стремились всегда раз'единить вас с народом. Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука».

Призывы эти падали на благодарную почву. Не только в семидесятых, но и в шестидесятых годах, мысль демократической интеллигенции в своих исканиях все ближе подходит к тому, что ставшие перед ней задачи она может разрешить лишь в сближении с народом, вместе с ним. Разумеется, не вся молодежь приходила к такому выводу и еще меньшая часть ее отождествляла слово с делом. Многие после буйных студенческих лет успокаивались и, в лучшем случае, заполняли собою ряды либералов.

Составляя крайнее демократическое крыло буржуазии, разночинная интеллигенция в массе своей образовала тот тонкий слой, который впоследствии получил название буржуазной демократии. Но уже тогда, в шестидесятых годах, не единицами можно было насчитать разночинцев, покидавших точку зрения класса, в усло-

виях которого они росли, чтобы становиться на точку зрения трудящейся массы. Такому переходу как нельзя более содействовала социально-экономическая обстановка того времени. Новые условия пореформенной России, переходившей из крепостнического порядка в буржуазный, ставили перед разночинной интеллигенцией ряд новых вопросов, еще вчера для нее не существовавших. Переоценке подлежали все усвоенные понятия, все, вскормленное проклятым крепостничеством; это старое должно было быть уничтожено до конца и без остатка; вместо старой, крепостной души, господином жизни должна стать свободная личность, смело порвавшая со всем старым. «Что можно разбить, то и нужно разбивать,—писал молодой критик-публицист Писарев,—что выдержит удар, то годится; что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае—бей направо, бей налево, от этого вреда не будет и не может быть». Но под этими ударами должна была также рушиться связь разночинца со *своим* прошлым, с теми классовыми влияниями, какие окружали его до тех пор, и открыть простор другим на него влияниям. Эти влияния шли от крестьянской массы, интересы которой реформой 19 февраля 1861 года были поставлены в центре общественного внимания. Тогда многие думали—и правильно думали,—что условиями освобождения от крепостной зависимости на долгое время определятся судьбы крестьянства и с ним всей России, а в связи с этим вопросы широкой народной массы были поставлены с такой остротой, с какой не стояли никогда раньше. На чьей стороне правда? Такого вопроса у наиболее чуткой части интеллигенции не могло не возникнуть. Конечно, не на стороне поземельного дворянства, которое веками угнетало народ, и, конечно на стороне крестьянства, которое веками рабства купило себе право на волю и на землю. Точка зрения интересов крестьянской массы становится точкой зрения передовой интеллигенции. Она не довольствуется больше тем, что стоит в стороне от народа, как этим довольствовались интеллигентские кружки конца 40-х годов, спорившие о началах, на каких должно произойти освобождение крестьян; они желают быть среди народа и вместе с ним, чтобы крестьянское дело сделать своим делом.

Связь с крестьянством, практическое дело становится центром внимания передовых интеллигентских кружков. По словам одного из современников, вопрос формулировался так: «Наука или труд, т. е. следует ли отдавать себя (хотя и временно) науке, заниматься ею, добиваться дипломов, чтобы потом вести жизнь привилегированных интеллигентных профессионалистов, или же, помня свой долг перед народом, помня, что ты все свои знания приобретаешь на средства каторжно работающего и вечно голодающего народа, мы, учащиеся, должны поступиться своим привелигированным положением, добытым целыми веками несправедливости и эксплоатации, бросить науку, расстаться с высшими учебными

заведениями, заняться изучением ремесла, а затем в качестве простых ремесленников и даже чернорабочих и батраков отправиться в самую гущу народную, слиться с народом, и всем его повседневным обиходом, отказаться от всех своих интеллигентских навыков и привычек, зажить с ним одной общей жизнью, содействуя всеми способами поднятию его умственного уровня, возвышению его культуры и улучшению его материального и духовного благосостояния». Вопрос разрешался в сторону «труда», служения интересам крестьянства. Наиболее последовательные не довольствовались чисто культурной работой, и, переходя на точку зрения крестьянской массы, закладывали начало революционному движению.

4. Чернышевский.

К каким же выводам приходили эти первые отряды интеллигенции? Какими настроениями жили они, какие идеи ими владели? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ознакомиться с учителями их, с теми, кто шел впереди и указывал путь остальным. Это, прежде всего,—Чернышевский и Добролюбов.

Николай Гаврилович Чернышевский происходил из духовного звания, отец его был священником в Саратове. Разночинец по происхождению, он рос и воспитывался в демократической среде и уже этим отличался от великого своего современника Герцена, которого молодость протекала в дворянской обстановке. Иначе сложилась судьба их и в прочем. Герцен рос в самые тяжкие годы николаевской реакции, революцию 1848 года он встретил и наблюдал уже сложившимся человеком. Чернышевский мужал в условиях уже явно разлагавшегося крепостного порядка, революционные бури 1848 года застали его юношей, вступавшим в жизнь в те годы, когда мировоззрение его начинало складываться. Демократическая обстановка в семье и в семинарии, а затем и в университете, сделала его особенно восприимчивым к революционным влияниям, шедшим с Запада, а, заложенное в юности, это влияние осталось в нем прочным и в последующей жизни.

Ко времени 1848 года Чернышевский был студентом, только вступавшим в третий десяток своей жизни. Революционные события пробуждают в нем самые лучшие чувства. С волнением читает он слова, сказанные Кабе: «Убейте меня и покажите мой труп реакционерам, чтобы народ восстал против них» и высказывает в дневнике своем, по этому поводу такие мысли: «Когда хорошенько вздумал об этом и приложил все это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не дорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищенства и порока. Если бы только

был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если бы убежден был, что восторжествуют они, то даже не пожалел бы, что не увижу дня торжества и царства их. И сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден». При таких настроениях, при такой готовности отдать жизнь за торжество дела свободы, все симпатии Чернышевского, само собой разумеется, на стороне «крайних» социалистов. «Страшно, какой я стал человек крайней партии»,—заносит он в дневник 12 сентября 1848 года. Каждая победа революции, каждое движение ее вперед радует Чернышевского, каждое поражение приводит в уныние, наполняет его душу ненавистью к побеждающей реакции.

Казнь Роберта Блюма в Вене произвела на него потрясающее впечатление. «Расстрелять члена собрания, без его, собрания, ведома! Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который бы показал всему миру тщету и безумство злодейства. Да падет на их голову кровь его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть правого дела у таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех! Господи, помилуй раба своего, да воцарится он в руцех твоих. Когда шел от Славинского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам»...

Европейские события ускорили социально-политическое развитие Чернышевского. «Не люблю я этих господ,—пишет он в дневнике,—которые говорят: «свобода, свобода», и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не уничтожают социального порядка, при котором $^9/_{10}$ орда, рабы и пролетарии. Не в том дело, будет король или нет, будет ли конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь из другого». Дело не в политике, а в социальном строе, не в политической, а в социальной революции—таков вывод, к которому склоняется Чернышевский. Поэтому, отмечая победу буржуазии во Франции, он считает хорошим и то, что «она берет верх, как хищница, а не как раньше по закону», т. е. открывает этим возможность дальнейшей революционной борьбы. Но принимая точку зрения господства класса над классом, Чернышевский понимает ее так, как понимали утопические социалисты. «Теперь,—пишет он,—мое коренное убеждение, которое подтверждено еще более красноречивыми словами Луи Блана и социалистов: вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком сильным и слабым, между тем, у кого есть состояние и у кого нет, между тем, у кого развит ум, и у кого не развит? Нет, и если вы допустите борьбу между ними, конечно, слабый, неимущий, невежда станет рабом». Поэтому Чернышевский сперва—еще в 1848 году—допускает республику, как последнюю форму государственного устройства, только для «взрослого человека», но не для низших классов, в

интересах которых, он предпочитает диктатуру или, еще лучше, неограниченную монархию. По его мнению, только монархия, сознательно стоящая вне и выше классовой борьбы, поймет свою задачу быть покровительницей угнетенных земледельцев и рабочих.

Но такая утопическая вера в «социалистическую» монархию продолжалась у Чернышевского недолго. Если она поддерживалась вначале прямым влиянием социалистов-утопистов и тяжелым разочарованием в буржуазной республике, вынесенной из февральской революции, то последующий ход событий разрушил в Чернышевском эту веру. В записях своего дневника в 1850 году он вспоминает о том, что отдавал предпочтение абсолютизму, который должен установить переходное состояние от монархии к демократии. «Видно, — писал Чернышевский, — тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном: монарх, а тем более абсолютный монарх—только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащий к ней». Примиряющую роль монархии он не считает более благодетельной. «Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные узнают, что они угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за них... Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже—и нет между вами никого, кто променяет свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас, и стал бы искренно с убеждением, без своекорыстной цели, который, тотчас же, как достигнет, чего хотел, ломает свои орудия, и развил бы свои убеждения до того, до чего они должны быть развиты, до их крайних последствий». Вместо идеи примиряющей монархии Чернышевский усваивает положение, что между угнетенными и угнетателями нет ничего общего и не может быть иного соприкосновения, как состояние борьбы. Чернышевский применяет эти новые свои настроения и к России, ожидает в ней «близкой революции», хотя знает, что «долго может быть, весьма долго из этого ничего не выйдет, так что, может быть, надолго только увеличится угнетение и т. п.». Но это его не смущает, ибо он знает также, что «мирное, тихое развитие невозможно». Чернышевский склоняется и к тому, чтобы приступить к делу. Ему сперва улыбается мысль отпечатать на тайном типографском станке манифест об освобождении крестьян и разослать его от имени синода. Но затем он отказывается от этой мысли, так как «ложь, во всяком случае, приносит всегда вред в окончательном результате», и по-

тому находит возможным удовольствоваться тем, чтобы просто «демагогическим языком описать положение», т. е. обратиться к крестьянам с воззванием революционного содержания.

В эти же годы Чернышевский знакомится с некоторыми из петрашевцев и, хотя не примыкает к их кружку, но, несомненно, находится под их влиянием. Арест петрашевцев произвел на него глубокое впечатление и в нем окрепло убеждение в необходимости борьбы с окружающей неправдой. Через одного из петрашевцев Чернышевский знакомится с сочинениями Фурье и становится ревностным последователем этого социалиста-утописта. Позже он знакомится с материалистом-философом Фейербахом и воспринимает основы его учения.

Человек громадного ума, больших и разносторонних знаний, Чернышевский самостоятельно воспринимает утопический социализм, относится к некоторым положениям его критически, но все же остается утопическим социалистом. Далекий от того, чтобы накоплять знания ради знания, он несет его другим, на протяжении нескольких лет развивает колоссальную литературную работу, становится руководителем «Современника», лучшего из журналов того времени, учит и проповедует, сам подходит близко к непосредственной революционной работе.

Как и все социалисты-утописты, Чернышевский не отрицал наличности классовой борьбы. «Мы видели,—пишет он в одном месте,—что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом», т. е. вслед за борьбой буржуазии с дворянством возникает борьба между трудом и капиталом. Эта сторона исторического процесса была для Чернышевского ясна. В другом месте он пишет, что во времена Адама Смита «у сословия, которому принадлежал труд, не было ни в Англии, ни во Франции никаких стремлений к самостоятельному историческому действованию и оно было в тесном союзе с средним сословием, с владельцами оборотного капитала, пользовавшимися помощью простолюдинов для своей борьбы с высшим сословием».—Чернышевский понимает, что долгое время «простолюдины» не стремились к самостоятельному историческому действованию и были лишь орудием буржуазии в борьбе ее с дворянством. Но это было раньше, а теперь «в Англии мы видим, что работники составляют между собою громадные союзы для самостоятельного действования в политических и особенно экономических вопросах», теперь «среднее сословие и работники издавна держат себя уже и в Англии как две разные партии, требования которых различны», а «открытая ненависть между простолюдинами и средним сословием во Франции привела к экономической теории коммунизм». Чернышевский возражал при этом тем английским экономистам, которые утверждали, что в Англии

нет «коммунизма»: «В практике промышленные союзы работников,—писал он,—представляют очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими». Понимал Чернышевский и то, что пролетариат является продуктом нового, капиталистического общества, что раньше его не было. «До XIX столетия,—писал он,—бедных, нуждающихся в общей помощи было, может быть, больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он плод новой истории».

Но, как и другие социалисты-утописты, Чернышевский из факта классовой борьбы не делает соответствующих выводов и не с развитием классовой борьбы связывает судьбу пролетариата. Сильная струя материалистического воззрения заглушается в нем еще более сильной струей идеалистической веры в силу мнения, разума, мысли. «Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западно-европейский простолюдин,—пишет он,—в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и сообразны с нынешним положением знаний. При незнакомстве с этими понятиями он принужден учиться по книгам или положительно дурным, или устарелым, оставаться под влиянием ошибочных мнений, господствующих в так называемой образованной публике, в которой достигает господства только то, что уже отжило свое время в науке, принужден истощать свои силы на борьбу с предрассудками, уже разоблаченными истинно-современной наукой, еще не дошедшей до него, или подчиняться этим предрассудкам, переходить от гнева на них к покорности им, вместо того, чтобы холодно отстранить их, как разоблаченную ложь, которая стала бы для него неопасна, как скоро он понял бы, что она чистейший вздор». Итак, вся беда заключается в том, что до «простолюдина» не дошла «наука», что он отстал в своих «мнениях»; Чернышевский не ставит вопроса о том, под влиянием каких условий растет сознание рабочих, требуется ли надлежащая социальная обстановка для того, чтобы «наука» могла стать достоянием рабочего—для него все предрешается одною силою знания, разума, убеждения. Поэтому, создавая, в противовес буржуазным теориям, свою «теорию трудящихся» он видит последнюю не в борьбе труда против капитала, но, как утописты, строит своего рода реформаторский план, напоминающий фаланстер Фурье: в основу общественного преобразования должно быть положено «товарищество трудящихся», промышленно-земледельческое, возникающее при поддержке государства, обслуживающее все нужды товарищества, сооружающее по особому плану дома для своих членов и т. д. Чернышевский отдавал дань фантастическим планам, потому что в пролетариате, подобно всем утопистам, говоря словами «Коммунистического Манифеста» Маркса, он не видел «никакой исторической самодеятель-

ности, никакого, свойственного ему политического движения». Он пишет о том, что на Западе «при переходе почти всей земли в собственность частных лиц, явилось множество людей, не имеющих недвижимой собственности; таким образом возникло пролетариатство» и в споре с либеральным экономистом берется доказать, «почему пролетариатство считается всеми без исключения экономистами за язву, более тяжкую для народной жизни, нежели простая бедность». Если просто бедность—язва, то «пролетариатство—язва еще большая, и большая, очевидно, потому, что под «простою бедностью» Чернышевский разумеет бедность земледельца, обладающего землею,—пролетариат же ничем, кроме рабочих рук, не обладает. Роль пролетариата определяется размерами его «бедности», нищеты, и ничем больше. Исторически революционная миссия пролетариата, определяемая самым положением его в капиталистическом обществе, как продавца рабочей силы, остается для Чернышевского скрытой. Но говорить о «болезни пролетариатства», по замечанию Плеханова, мог лишь тот, кто в пролетариате видел лишь болезнь и еще не научился смотреть на него, как на источник самого великого из всех исторических движений, какие только знает история. Именно такова была судьба социалистов-утопистов.

Как и другие утописты, Чернышевский не придавал значения политическим условиям, при наличности которых могут осуществиться его реформаторские планы или, что то же, думал, что эти планы могут осуществиться при разнообразных условиях. Демократы,—так он называл социалистов,—«имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой—дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно». «Для демократа,—продолжал Чернышевский,—наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду». Политическое устройство, условия политической свободы не имеют значения для осуществления социального преобразования. Социализм не связывается с политической борьбой.

Можно было бы думать, что при таких воззрениях Чернышевский усвоит и общие для своего времени взгляды на общину и на пути социального развития. Однако, в этих именно вопросах он придерживался более реалистических воззрений, чем, напр., Герцен. Правда, Чернышевский остается до конца сторонником общинного землевладения, крестьянской общины, в последней он также видит преимущество, которым история наделила Россию. «Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад,—писал он,—еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта. Существо-

вал некогда он и на Западе, по крайней мере, во многих странах Запада, но утрачен там в одностороннем стремлении к полновластной собственности отдельного лица». Чернышевский соглашается с славянофилами, поскольку они защищают общину, и, полемизируя с Герценом, который во всем противопоставлял Россию Западу, доказывает, что, если Россия действительно отличается чем-либо от Запада, то единственно тем, что сохранила общину. Вместе с тем Чернышевский ставит вопрос о том, должна ли Россия обязательно пройти через стадию разрушения общины, прежде, чем перейдет в высший социалистический порядок, и отвечает отрицательно, допуская, что община может при известных условиях непосредственно привести к социализму: «Под влиянием высокого развития,—писал он,—которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей ступени прямо на высшую, минуя средние логические моменты». Уже последним замечанием взгляд Чернышевского отличается от взгляда Герцена, который не ставит переход общины в высший порядок в зависимости от каких-либо условий. Однако, в общем, до сих пор Чернышевский остается на утопической точке зрения, и в этом нет ничего удивительного—таково было заблуждение его времени. Замечательно то, что он не остается непоколебимо на этой точке зрения, и, допуская в отвлеченном построении, что Россия может миновать капиталистическую стадию развития, допускает вместе с тем также исход противоположный и даже намечает пути капиталистического развития России и разрушения общины. Критическая мысль его подсказывает необходимую осторожность при построении планов лучшего будущего. «Нельзя скрывать от себя,—пишет он,—что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влияниям тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции». И Чернышевский показывает, что Россия уже вступает на путь капиталистического развития, которое вносит радикальные изменения в народный быт: строятся железные дороги, растет внешняя торговля, цены на хлеб растут. «Достоверно—продолжает он,—что развитие экономического движения, заметным образом начинающееся у нас пробуждением духа торговой и промышленной предприимчивости, постройкою железных дорог, учреждением компании пароходства и т. д., необходимо изменять наш экономический быт, до сих пор довольствовавшийся простыми формами и средствами старины. Волею или неволею, мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы. До сих пор семейство наших поселян покупало только соль, колеса, вино,

сапоги, кушаки, серьги и проч., и проч., все остальное производилось домашним хозяйством: и сукно, и ткань для женского платья и для белья, и обувь, и мебель, и самая изба с печью. Скоро будет не то: домашнее сукно сменится на поселянине покупным фабричным (мы не знаем, будет ли он покупать фабричное сукно лучшего сорта, нежели покупает теперь, но в том нет сомнения, что его жена разучится ткать сукно,—льняные и посконные ткани домашнего изделия сменятся хлопчато-бумажными), которые, очень может быть, будут не выше их добротою, но все-таки вытеснят их своею дешевизною, и т. д., и т. д. Все это совершится еще на глазах нашего поколения в селах, как до сих пор совершалось только в больших городах. Мы говорим это только для примера, чтобы раз'яснить мысль о том, что неизбежны перемены в экономическом быте нашем, не решая того, каковы именно будут они».

В этих замечательных строках Чернышевский показал всю глубину своего аналитического ума и силу провидения, построенного на анализе экономической действительности и тенденций ее развития. Для него ясна неизбежность дальнейшей перемены в экономическом быту, раз Россия уже двигается по пути «торговой и промышленной предприимчивости», т. е. по пути капитализма. Чернышевский констатирует эти перемены, происшедшие уже в городах, и предвидит неизбежность таких же перемен в селе. Простые формы и средства старины отходят в прошлое в городах—отойдут они туда и в деревне. Крестьянское полунатуральное хозяйство сменится товарно-денежным, крупная промышленность разрушит «народные» кустарные, домашние промыслы. Процесс идет быстро и разложение первобытной деревни произойдет еще на глазах живущего поколения. Устоит ли община? Чернышевский понимает, что опасность угрожает и ей, и потому горячо призывает: «Но каковы бы ни были эти преобразования (в экономическом быту), да не дерзнем мы коснуться священного, спасительного обычая, оставленного нам нашею прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием,—да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землями—на это благо, от приобретения которого теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной Европы. Их пример да будет нам уроком». Однако, Чернышевский не остался и при такого рода защите общины. Подняв в литературе вопрос об общине, он вскоре писал, что вопрос этот возбуждает в нем чувство «отвращения и негодования», потому что разрушены надежды, при которых спор был начат. Чернышевский ставил вопрос об общине, в частности, в связи с предстоящим освобождением крестьян, но когда стало выясняться, что крестьяне получают не всю землю, и за ту, что получат, должны платить выкуп, энергия в защите общины, пала: при такой постановке крестьянской реформы увеличивались шансы разрушения общины и вме-

сте с тем исчезала вся прелесть «спасительного обычая». «Как я был глуп—восклицал Чернышевский,—что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях». Отвлеченное допущение непосредственного перехода общины в высшую стадию все более тускнело в условиях российской действительности, на которые Чернышевский никогда не закрывал глаз. Он не расстается, правда, окончательно, с точкою зрения идеализации общины, но вводит свои надежды в ограниченные пределы. В полемике с Герценом, он пишет: «У Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитой, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится нам, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка». Европе не приходится с завистью смотреть на русскую общину: последняя при европейских потребностях и технике—форма, довольно первобытная. Отсюда Чернышевский мог бы сделать и тот вывод, что при неизбежных переменах в экономическом быту России община и у нас своей спасительной роли не сыграет. Но на такой последовательный вывод он не решается, допуская, что «пока» община еще хороша, да и на будущее может пригодиться.

Как видим, Чернышевский отдал обильную дань своему времени. Оставаясь сыном своей социально-отсталой родины, он воспринял социализм в его утопическом учении и в этом отношении продолжал дело Герцена. Но в то же время в его воззрениях было и новое. Материалист по философским воззрениям, он пытается подойти с материалистическим об'яснением и к условиям общественного развития. В вопросе о путях развития России и общине он резко отклоняется от точки зрения Герцена, отчетливо намечая неизбежность и капиталистического развития страны, и разложения общины. Но тот же дух времени, та же социальная отсталость России умертвили то новое, что заключалось в учении Чернышевского. Молодежь, которая его читала, и те, кто хотели быть его продолжателями, взяли у него все старое, утопическое, и мертвым капиталом лежало то, что должно было подлежать дальнейшему развитию в его учении. На последующем народничестве ни в какой мере не сказалось благотворное влияние критического ума Чернышевского, но зато в полной мере им воспринято было то подкрепление, которое своим авторитетом давал Чернышевский утопическому социализму.

Но Чернышевский влиял не только своим учением—он был учителем и воспитателем целых поколений. На протяжении своей непродолжительной литературной деятельности он приковал внимание читателей ко всем острым вопросам современности: крестьянский вопрос, политическая борьба на Западе, и, в особенности, задачи интеллигенции в новых условиях русской жизни—вот преимущественно область практически-политических вопросов, в которой вращался Чернышевский. Главнее всего, он неустанно следил за разрешением крестьянской реформы, за судьбою крестьянской массы и звал интеллигенцию на служение народу. Он утверждал, что «никаких особенных штук» для сближения с народом не требуется: «Говорите о мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие». Но речь идет не о каком-нибудь сантиментально-слащавом отношении к народу, как к «меньшему брату». Сближение с народом—добавляет Чернышевский—«дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ,—любит не на словах, а на деле». И любит при этом народ таким, каков он есть, без прикрас: Чернышевский протестует против «пресной лживости, усиливающейся идеализировать мужиков», смеется над теми, которые «идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергичными». Мужик таков, как и все прочие люди, берите его каким он есть и выводите на широкую дорогу борьбы—вот чего требует Чернышевский. Но чтобы посвятить себя этой борьбе, нужно самому измениться, отказаться от старых воззрений, пересмотреть все понятия, которые породила крепостническо-дворянская общественность. И Чернышевский призывает к такой работе интеллигенцию, рисуя перед нею образ «новых людей». Теперь трудно себе представить, какое значение имел, напр., его роман «Что делать» в продолжении почти трех десятков лет. Еще на рубеже 90-х годов этот роман, запрещенный цензурой, ходил по рукам в истрепанных страницах «Современника», а то и в переписанном виде, и не одна юная голова, склонившись над книгой, духовно перерождалась и крепла в мужестве. Вопросы социалистического идеала, любви и семейных отношений, служения народу и революционной борьбы трактовались здесь в простой, увлекательной и ясной форме. Герои романа—«новые люди», усвоившие новые демократические воззрения, но на короткое время Чернышевский выводит фигуру «особенного человека», Рахметова,—революционера, отдавшего себя делу. Рахметов прозрел юношей, он только поступил в университет; здесь он узнал, что «есть между студентами особенно умные головы, которые думают не так, как другие, и узнал с пяток имен таких людей,—тогда их было еще мало». Один из таких студентов посоветовал Рахметову, что читать, и он на другой день уже с утра дежурил у немецких или французских книжных магазинов, выжидая, ка-

кой из них первым откроется. Скоро он уже «приобрел соответствующий образ мыслей в том духе, принципы которого он нашел справедливыми», и, решив, что с этой стороны готов к жизни, готовился к другому делу. Он отправился в странствование, был пахарем, плотником, перевозчиком и работником «всяких здоровых промыслов», а раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска. Для чего это делалось? «Это дает уважение и любовь простых людей,—говорил Рахметов,—это полезно, может пригодиться». Возвратившись в Петербург, он отдался делу,—какому, об этом, по правилам конспирации, «кружок не знал». «Видно было только, что у него множество хлопот. Он мало бывал дома, все ходил и раз'езжал, больше ходил». Когда он по несколько дней не бывал дома, приходивших к нему принимал один из приятелей его, преданный ему душой и телом, и, разумеется, «молчаливый, как могила». Подготовляясь к «делу», Рахметов старался себя закалить во всех отношениях: ограничивал свои потребности в пище, не ел того, чего не едят крестьяне, отказывался от удовольствий, приучал себя к личным страданиям и, допуская, что станет жертвой пытки, спал на войлоке, в который втыкано было много мелких гвоздей. Изображая все эти чудачества Рахметова, Чернышевский, как бы предвидел, что от революционера в условиях русской действительности потребуется подлинное самоотвержение, полное пренебрежение к личной судьбе, готовность жертвовать жизнью...

Чернышевский пояснил, для чего он показал читателю фигуру «особенного человека»—для того, чтобы в героях его романа, в «новых людях», которые «обыкновенно порядочные люди», читатель не увидел действительных героев. Рахметов—выше других, не всякий может стать Рахметовым, это—идеал, а «новыми людьми» может стать всякий. И Чернышевский призывает: «Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их—их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь—наблюдение интересно, думайте—думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается—их не нужно. Желайте быть счастливыми—только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии: в нем счастье. О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует, как жертву, он чувствует, как удовлетворение себе, как наслаждение, и для радостей им открыто его сердце и как много их у него. Попробуйте:—хорошо!»

Этот призыв был тем, в чем нуждалась выроставшая передовая интеллигенция. Порывая с крепостническим прошлым, воспринимая новые впечатления от новой жизни, сталкиваясь с впер-

вые остро ставшим вопросом о судьбе крестьянства в новых условиях его освобождения, готовая покинуть точку зрения своего класса, чтобы принять точку зрения трудящейся массы, — она нуждалась в помощи учителя, чтобы стать на ноги.

5. Добролюбов.

Николай Александрович Добролюбов, как и Чернышевский, был разночинцем. Вот что писал он о себе в своем дневнике: «Сын священника, воспитанный в строгих правилах христианской веры и нравственности, родившийся в центре Руси, проведший первые годы жизни в ближайшем соприкосновении с простым и средним классом общества, бывший чем-то в роде оракула в своем маленьком кружке, потом собственным рассудком, при всех этих обстоятельствах, дошедший до убеждения в несправедливости некоторых начал, которые внушены были мне с первых лет детства; понявший ничтожность и пустоту того кружка, в котором так любили и ласкали меня,—наконец, вырвавшийся из него на свет божий и смело взглянувший на оставленный мною мир, увидевший все, что в нем было возмутительного, ложного и пошлого,—я чувствую теперь, что более, нежели кто-нибудь, имею силы и возможности взяться за свое дело... Сам я был тем, чем вы, господа, скажу я своим жалким собратьям... Вот история моей жизни».

Действительно, такова история его так рано оборвавшейся жизни: 22 лет начал он писать в «Современнике» на правах одного из редакторов, а 25 лет скончался от чахотки. Так рано свела его в могилу не только болезнь—«его убивала гражданская скорбь», писал о своем друге Чернышевский. Если бы не самодержавно-дворянский порядок—это проклятие русской жизни,—жил бы еще Добролюбов и не отдал бы Чернышевский 20 лет своей жизни каторге и ссылке...

Пробуждение Добролюбова к сознательно-общественной жизни началось с поступления его в Петербурге в педагогический институт. Он участвует в студенческих беспорядках конца 50-х годов, издает рукописную газету «Слухи». В одном из первых номеров этой газеты, он рассказывает о студенте Розентале, призывавшем киевских крестьян к восстанию, и предается таким размышлениям: «Нужно заметить, говорят мыслящие люди, что теперь нужно не только вымести Россию, этого мало... Нужно сломать все гнилое здание нынешней администрации, и здесь, чтобы стряхнуть верхнюю массу, нужно сильно расшатать, потрясти основание. Если основание составляет именно класс народа, нужно действовать на него, раскрыть ему глаза на настоящее положение дел, возбуждать в нем спящие от века богатырским сном силы души, внушать ему понятия о достоинстве человека, об истинном добре и зле, о естественных правах и обязанностях. И только

лишь проснется и повернется русский человек—стремглав полетит в бездну усевшаяся на нем немецкая аристократия, как бы ни скрывалась она под русскими фамилиями».

Все это еще достаточно смутно, но революционное настроение крепнет. Добролюбов, читает, между прочим, Герцена и находится под его влиянием; он рассказывает в дневнике, как, не отрываясь всю ночь, зачитывается «Полярной звездой» и любуется на портрет Герцена. В это время Добролюбов считает уже себя социалистом. Сравнивая себя с приятелем Щегловым, он пишет в дневнике: «Я—отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов, а он—революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества». По сравнению с таким «революционером», Добролюбов считает себя социалистом. Социализм этот был, как видим, утопический: мерилом его была готовность вступить в любое «небогатое общество», в любую социалистическую «коммуну». Добролюбов пытается разобраться во множестве вопросов, которые рождаются его новыми настроениями, требуют ответа на вопрос, в чем должна заключаться свобода, каков должен быть государственный строй, на каких началах будут устроены крестьяне, и т. д. Его интересует и другое: каким должно быть отношение к браку и семье—должен ли семейный долг умолкать перед долгом гражданским,—каким должно быть отношение к религии—дать ли народу новую религию или оставить его совсем без религии,—отношение к женщине, к преступлениям и т. д.

Знакомство с Чернышевским дает Добролюбову возможность разрешить все эти вопросы. «С Николаем Гавриловичем—пишет он в письме к приятелю,—я сближаюсь все более, и все более научаюсь ценить его... Знаешь ли, этот один человек может примирить с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности к стремлениям и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине—я не только не находил, но и не предполагал найти». Добролюбов рассказывает, что проводит у Чернышевского целые дни, беседует с ним о литературе, и философии и о многом другом, о чем в письме передать «не так удобно». Добролюбов разделяет мнение Чернышевского. От этого он не перестает быть, конечно, утопическим социалистом.

Добролюбов, как и Чернышевский, понимал зависимость «сознания» от «бытия», близко подходил к материалистическому об'яснению исторического процесса, но, в конце концов, оставался во власти идеалистических воззрений. «Идеи и их постепенное развитие,—писал он,—только потому и имеют свое значение, что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют

изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности». Таким образом, идея рождается из «фактов», она отражает назревшую в жизни потребность и только в меру такой связи получается фактическая перемена в жизни. Однако, вместе с тем Добролюбов говорит о «естественных стремлениях», о естественных правах, о природе человека, как о факторе самодовлеющем. Как бы ни заглушались «естественные стремления», они ищут своего удовлетворения—и «в этом состоит сущность истории».

Добролюбов видит классовую борьбу и порою изображает ее не менее ярко, чем Чернышевский. «Если рассмотреть дело ближе—пишет он,—то и окажется, что между грубым произволом и просвещенным капиталом, несмотря на их видимый разлад, существует тайный, невыговоренный союз, вследствие которого они и делают друг другу разные деликатные и трогательные уступки, и щадят друг друга и прощают мелкие оскорбления, имея в виду одно: общими силами противостоять рабочим классам, чтобы те не вздумали потребовать своих прав... Самая борьба городов с феодализмом была горяча и решительна только до тех пор, пока не начала обозначаться перед тою и другою стороною разница между буржуазией и работниками. Как только это различие было понято, обе враждующие стороны стали сдерживать свой порывы и даже делать попытки к сближению, как бы в виду нового, общего врага». Добролюбов отчетливо видит происходящую классовую борьбу. Он видит и ее неизбежность до победы работников. «Милостыней не устраивается быт человека, тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды и сделают уступку работникам и фермерам, так—или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже выгодна... Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ—все права ставятся ни во что, и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная будут в их руках... И пролетариат понимает свое положение гораздо лучше, нежели многие прекраснодушные ученые, надеющиеся на великодушие старших братьев в отношении меньших... Пройдет еще несколько времени, и меньшие братья поймут его еще лучше». Как видим, Добролюбов близко подходит к истине: эксплоатация труда продолжится до тех пор, пока власть будет находиться в руках буржуазии, пролетарии начинают понимать это, а скоро поймут это еще лучше и станут, очевидно, бороться за власть. Но видеть и понимать классовую борьбу еще не значит принять ее за движущую силу исторического процесса и, в особенности, положить ее в основу практической политики. Добролюбов, как и Чернышевский и прочие утописты, такого вывода не делает, и возвра-

щается на идеалистическую точку зрения, усматривая «сущность истории» в «естественных стремлениях» человека. «В истории всех обществ, где существовало рабство,—пишет он,—вы видите род спиральной пружинки: пока она придавлена, держится неподвижно, но чуть давление ослабело или снято—она немедленно выскакивает кверху. По прямому закону ее устройства она естественно стремится к расширению, и только постоянная сила может ее сдерживать. Так и людская воля и мысль могут сдерживаться в положении рабства посторонними силами; но как бы эти силы не были громадны, они не в состоянии, не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нее способность к расширению, точно так же, как не в состоянии, не истребивши народа, уничтожить в нем наклонность к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению». Благодаря историческим трудам последнего времени,—поясняет далее Добролюбов свою мысль,—и еще более новейшим событиям в Европе, мы начинаем немножко понимать внутренний смысл истории народов, и теперь менее, чем когда-нибудь, можем отвергать постоянство во всех народах стремления—более или менее сознательного, но всегда проявляющегося в фактах,—к восстановлению своих естественных прав на нравственную и материальную независимость от чужого произвола». Словом, стремление к удовлетворению естественных прав заложено в природе человека, оно присуще всем народам—стало быть, правда разума восторжествует, какие бы силы не давили на «пружинку». Так как, с другой стороны, сознание определяется бытием, то Добролюбов допускает, что жизненные факты воздействуют на мысль даже темного народа, ибо «нет общества, которого нельзя было бы вывести из терпения». Даже неоформленное, неосознанное страдание—все-таки страдание: «Пусть оно таится, пусть не принимает определенного выражения, это не должно обманывать нас—есть предел, за которым оно может ярко обозначиться, и тогда без всяких книг, без всяких отвлеченных соображений, не говоря никаких фраз, даже не принимая особого имени для себя, оно проявится на самом деле». Отсюда—вера Добролюбова в народную массу, даже в крепостное крестьянство: ибо что же может пойти в сравнение со страданием крепостных, и можно ли найти более убедительный «жизненный факт», чем крепостное право? Но что страдание страданию рознь, что страдание крестьян в крепостном обществе и страдание рабочего в обществе капиталистическом порождает разного содержания сознание, что, в силу различия общественного бытия, порождающего то или иное страдание, рождается также сознание того или иного содержания, что, если в одном случае сознание выхода не дает, а в другом дает его,—все эти вопросы, естественно возникающие при последовательном материалистическом мировоззрении, для Добролюбова не существовали, заглушаясь его идеалистическими воззрениями. Но построения Добролюбова давали именно то, что нужно было

разночинной интеллигенции: веру в народ, признание необходимости сближения с ним, чтобы помочь ему осознать его страдания и поднять его мысль.

Точно также, как Чернышевский, Добролюбов смотрел на вопрос о путях социального развития России более трезво, чем Герцен и в последующем народники. Он считал несомненным, что Россия должна пройти пути развития народов Запада и не видел в этом ничего прискорбного. «Мы желаем,—писал он,—чтобы Европа без всяких жертв и потрясений шла теперь неуклонно и быстро к самому идеальному совершенству,—но мы не смеем надеяться, чтобы это совершилось так легко и весело. Мы еще более желаем, чтобы Россия достигла хоть того, что теперь есть хорошего в Западной Европе, и при этом убереглась от всех ее заблуждений, отвергла все, что было вредного и губительного в европейской истории; но мы не смеем утверждать, что это так именно и будет». Словом, пути европейского развития вовсе не закрыты перед Россией и можно даже серьезно сомневаться в том, что она избегнет всех «ошибок» Запада. Добролюбов с осторожностью утверждает, что «наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно проходило оно в Западной Европе», т. е. «фазисы» необходимы, и вопрос может идти только о темпе развития. Однако, из этого правильного представления Добролюбов делает выводы утопические, подталкиваемый своими идеалистическими воззрениями. На Западе все-таки дело шло скверно, и это потому, что там «история делается и всегда делалась не мыслителями и всеми людьми сообща, а некоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшего требованиям высшей справедливости и разумности». Этого рода ошибки нужно исправить и можно их исправить, если руководствоваться высшей разумностью. «Мы еще только готовимся вступить на тот путь, который прошла Европа; мы еще недавно и глядеть-то стали на ее путешествие и едва начинаем различать дорогу. От этого идем мы робко, неровно, как бы ощупью... Но мы чувствуем необходимость идти, хотя бы до первой станции; нам нельзя оставаться на одном месте, нельзя и остановиться на дороге. Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо с большею решимостью, спешностью и твердостью, нежели продолжение пути, которое мы видим теперь у других народов. Наши нужды настоятельные, без удовлетворения их труднее прожить, нежели без удовлетворения того, к чему стремятся теперь европейские народы». Оказывается, таким образом, что крепостная Россия,—Добролюбов писал приведенные строки до отмены крепостного права,—дает какую-то возможность торжества справедливости и разумности. Критерием разумности Добролюбов избирал интересы крестьянской массы, но он не мог их сочетать с тенденциями общественного развития. Поэтому и получилось, что Запад может волноваться вопросами избирательной реформы или свободы

печати, а для нас с этими вопросами «еще время терпит, они далеко не так существенны и настоятельны, как законное обеспечение гражданских прав и материального быта миллионов народа, до сих пор более или менее терпевших от тяжелого влияния произвола». Но каким образом можно отделаться от произвола, обеспечить гражданские права и, в особенности, материальный быт крестьянства при отсутствии политических прав народа и условий политической свободы в стране? Для Добролюбова и этот вопрос остался в тени. Он отдавал дань общему духу времени—утопическому представлению о путях освобождения трудящихся.

Сила и значение Добролюбова заключались, однако, не в пропаганде социалистического учения—эта задача принадлежала Чернышевскому. Добролюбов посвятил себя, по преимуществу, другой пропаганде—пропаганде великой миссии нарождавшейся демократической интеллигенции, перерождению последней, приобщению ее к революционному делу.

Мы видели, что в дневнике своем Добролюбов писал о том, как он порвал с окружавшей его средой, поняв ее ничтожность и пустоту, и, вырвавшись на свет божий, смело взглянул на этот оставленный им мир и почувствовал в себе силу взяться за свое дело. Добролюбов сам порвал со своей средой, покинул точку зрения того класса, из которого вышел, и, точно просветленный, получил возможность проникнуться интересами трудящихся, крестьянской массы, стать на точку зрения ее интересов. К этой работе он прежде всего призывал и интеллигенцию. В русских людях, «даже действительно искренно сочувствующих угнетенным и готовым даже на борьбу для их защиты», Добролюбов видит только бесполезное и смешное. Они говорят об освобождении крестьян от произвола помещиков, не поднимая вопроса об упразднении крепостного права, толкуют о неправедности крепостных судей, не касаясь всего крепостного порядка. И это оттого, что они «не понимают общего значения той среды, в которой действуют», а понять не могут, потому что сами связаны с этой средой. «Как им понять,—спрашивает Добролюбов,—когда они сами в ней (в этой среде) находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве?» «Русский герой,—продолжает Добролюбов,—являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восстать». Отсюда его смешная беспомощность даже в том случае, когда он хочет помочь угнетенным. Можно допустить, что и турок вздумает освободить Болгарию от турецкого ига, но для этого он, по мнению Добролюбова, должен предварительно отречься «от всего, что его связывало с турками—и от веры, и от национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения». Чтобы стать на точку зрения угнетенных, нужно порвать со средой угнетателей, порвать с влиянием образованных, т. е. дворянских, классов и воспринять влияние, иду-

щее со стороны угнетенных, трудящихся. «Вот отчего у нас—приходит к выводу Добролюбов,—симпатичные, энергичные натуры и удовлетворяют себя мелкими ненужными бравадами, не достигая до настоящего, серьезного героизма, т. е. до отречения от целой массы понятий и практических отношений, которыми они связаны с общественной средой». Героизм заключается в том, чтобы отказаться от своей среды, порвать с нею.

Но возможны ли такие герои в России? Не погибнут ли они от бездействия? Добролюбов отвечает на этот вопрос отрицательно: «*Теперь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям»,—пишет он. В лучшей части общества чувствуется «любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро». Нужны «новые люди», которые показали бы, как делать. А дело есть. «Разве мало у нас врагов внутренних,—спрашивает Добролюбов.—Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой борьбы? А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно—или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появление так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе».

За убеждением, за идеей должно следовать дело, борьба. Для такой борьбы и нужны «новые люди»; без «новых людей» невозможна борьба. Добролюбов смеется над «благородными юношами», которые получают «свои возвышенные стремления довольно быстро и без больших хлопот»—на лекциях прекрасных профессоров или в кружках прекрасных молодых людей—но которые в сущности «никуда не идут и сидят все на одном месте»—у них нет бодрости и силы побороть препятствие к борьбе. «По нашему мнению,—писал Добролюбов,—убеждение и знание только тогда и можно считать истинным, когда оно проникло в глубь человека, слилось с его чувством и волею, присутствует в нем постоянно, даже безсознательно, когда он вовсе о том не думает. Такое знание, если оно относится к области практической, непременно выразится в действии, и не перестанет тревожить человека, пока не будет удовлетворено. Это своего рода жажда незаглушаемая, неотлагаемая».

К выработке такого убеждения и через него—к отказу от интересов привычной среды и к борьбе за интересы трудящихся, к самоотверженному служению народной массе призывал Добролюбов молодое поколение 60-х годов. Эти призывы уже давно потеряли свою свежесть неотразимого действия. Отказ от точки зрения своего класса и переход на точку зрения трудящихся, с усложнением общественных отношений, являлся для части ин-

теллигенции результатом не только подобных призывов, но, и, главным образом, непосредственного воздействия той новой общественной обстановки, которая создавалась обострявшейся классовой борьбой, пробуждением активности в самой массе трудящихся. В том же направлении сильнее слова убеждения действовал и пример других, уже отдавших себя на борьбу, принявших мученичество эшафота, каторги, ссылки. Но тогда этих условий еще не было. Только что освобожденные от крепостных цепей общественные отношения оставались примитивными; традиции прошлого обрывались на декабристах; впереди—загадочное будущее новой неизведанной жизни. Проповедь Чернышевского и Добролюбова была светочем, который указывал путь, новым словом, которое давало убеждения, моральной поддержкой, которая закаляла,—она звала к активности, к мужеству, к борьбе. Вызванная запросами разночинной интеллигенции, рождавшейся в новых общественных отношениях, она содействовала выделению из этой интеллигенции лучшей ее части, становившейся на точку зрения трудящейся массы и отдававшей себя борьбе за интересы этой массы. Дело Чернышевского и Добролюбова не осталось бесплодным: оно подготовило появление «новых людей»—активных руководителей и участников революционного движения.

6. Герцен и революционное движение 60-х годов.

Мы ознакомились с теми идейными влияниями, под воздействием которых складывались настроения и воззрения революционной интеллигенции 60-х годов. Однако, мы не получим полного представления об идейных течениях и идейной борьбе того времени, если не примем также во внимание влияния, шедшего от Герцена.

Мы расстались с Герценом в критическую для него пору 1848 г., когда в результате европейских событий складывались окончательно его воззрения. Деятельная политическая жизнь его на Западе, знакомство с вождями революционного движения, литературные выступления отрезали ему возможность возвращения в Россию. Да и сам он находил, что в николаевской России ему делать нечего. Россия нуждалась в свободном, бичующем слове, и не было человека, который с таким блеском мог бы выполнить роль первого свободного, смелого, яркого публициста, как Герцен. Он поселяется в Лондоне, где ставит свой вольный станок, и приступает вместе с другом своим Огаревым к выпуску сборников «Полярная Звезда» и газеты «Колокол» (1857 г.).

В первые годы «Колокол» пользовался в России чрезвычайной популярностью. Его читали молодежь, дворянство, при царском дворе. Смелые, обличительные корреспонденции и статьи, вскрывавшие зло русской жизни и не щадившие сильных людей, чита-

лись одними с увлечением, другими—со злобой и страхом за свою судьбу взяточников и насильников. Энергичнее всего Герцен боролся, конечно, с крепостным правом и страстно требовал его отмены. Когда, после Крымской войны, были сделаны первые шаги к освобождению крестьян, Герцен отнесся восторженно не только к близкой крестьянской воле, но и к царю Александру II. На первые рескрипты последнего, поставившие в порядок дня отмену крепостного права, Герцен откликнулся такими словами по адресу Александра: «Ты победил, Галилеянин! И нам легко это сказать, потому что у нас в нашей борьбе не замешано ни самолюбие, ни личность... Имя Александра II отныне принадлежит истории, если бы его царствование завтра окончилось, если бы он пал под ударами каких-нибудь крамольных олигархов, бунтующих защитников барщины и розог—все равно. Начало освобождения крестьян сделано *им*, грядущие поколения этого не забудут». В ответ на царский манифест 19 февраля 1861 года Герцен писал: «Александр II сделал много, очень много: его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их. Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки, — мы приветствуем его именем *Освободителя*».

В этих словах Герцена не было, разумеется, рабо́лепной лести—он искренно писал о том, о чем думал, и думал он так потому, что был утопическим социалистом, в представлении которого переворот мог быть совершен и царем, если бы он только понял необходимость такого переворота. До чего крепка была эта утопическая вера в то время, показывает, между прочим, пример Берви-Флеровского, старого народника и автора популярных среди интеллигенции 70-х годов книг «Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук». Утопическая вера юных лет так прочно вошла в мировоззрение Флеровского, что при ней он остался и на склоне жизни, повторяя в своих воспоминаниях, что при освобождении крестьян «можно было создать такую социальную реформу, которая бы сразу поставила Россию во главе социального движения в западной цивилизации», а «неограниченный монарх, осуществляющий социальную идею в таких обширных размерах», был бы для Европы «поразительным и назидательным зрелищем». О том, может ли неограниченный монарх осуществить какую-нибудь другую идею, кроме той, которая отвечает интересам поземельного дворянства,—об этом Флеровский не задумался ни в 60-х, ни в 90-х годах. Печальную дань общему заблуждению отдал и Чернышевский, который писал: «Уже одно только дело уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славою, высочайшею в мире. Благословение, обещанное

миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных».

Чернышевский скоро, однако, отделался от этих иллюзий и, убедившись, как проводится реформа и в чьих интересах она проводится, решительно стал на сторону крестьянства. У Герцена это отрезвление проходило более медленно. Характерным показателем эволюции взглядов наших лондонских изгнанников может служить позиция, занятая Огаревым в связи с «конституционным» движением дворянства, о котором мы говорили выше.

Чрезвычайно заинтересованный этим движением, Огарев занялся составлением проекта дворянского адреса царю. Первый проект главное внимание сосредоточивал на созыве земского собора и весьма осторожно касался поземельных отношений дворян и крестьянства. Адрес указывал, что «вместо пособия дворянству» правительство отняло у него помощь «казенного кредита» и этим лишило доверия народа, «потому что никто не идет работать по найму к помещикам, которые не в состоянии заплатить за работу». С другой стороны, крестьянство молчит «в недоумении» и «затаенная сила немого множества втихомолку выростает до взрыва». Однако, подробно говоря об условиях созыва земского собора, адрес не говорил ничего определенного об основах разрешения крестьянского вопроса, и лишь глухо упоминал о том, что земский собор должен постановить «права поземельного владения и всякой собственности, вознаграждение дворянства, смотря по уступке земель». Совершенно очевидно, что этот первый проект огаревского адреса всецело считался с мнением дворянства и, поддерживая его политические домогательства, затушевывал остроту земельного вопроса, для дворянства самого жгучего.

Проект Огарева обсуждался Герценом, Бакуниным, Тургеневым. Он встретил возражения и в правых, и в левых кругах, но чем больше выяснялась решающая роль правительства и дворянства в проведении реформы, тем дальше отходил Огарев от своего первоначального проекта. Переработанный им проект адреса существенно отличался от первого, как более резкой постановкой вопроса о правительстве, так и более отчетливой формулировкой начал аграрной реформы. «Если, вы, государь, будете поддерживать чиновничий порядок, народ быстро утратит веру в царя,—говорилось в проекте адреса.—Для того, чтобы народ имел доверие к чиновникам, составляющим управление и творящим суд, надо, чтобы правители и судьи его были выборные люди. Для того, чтобы дворяне-помещики перестали возбуждать народное недоверие и озлобление, надо, чтобы они перестали быть и дворянами, и помещиками. Для того, чтобы царь не утратил народного доверия, надо, чтобы он был царем земским, а не чиновничьим». Мало уничтожить дворянство, как сословие: «если дворянство сохранит право на особую от народа частную поземельную собственность, то различие особого от крестьянства землевладель-

ческого сословия ничем не сотрешь». Народ смотрит на землю как на свое достояние, он владеет землею миром, производя переделы по числу душ. Новое, полу-дворянское купеческое сословие землевладельцев «устремится уничтожить мирской обычай, мирскую межу и завладеет землею, скупаемой у небогатых и бедных крестьян, а их самих возьмет в батраки». Необходимо «отдать народу народную землю, как того требует справедливость и самый смысл и склад народный». Но признать землю народной «иначе нельзя, как признать ее для народа *даровою* (курсив Огарева), за которую нечего платить выкупа, ни приобретать ее покупкой, и, кроме обычных податей и повинностей на государственные нужды, ничего нельзя с народа требовать». «Мирские земли,—формулирует Огарев свой вывод,—неот'емлемо принадлежат миру, а когда население выростет так густо, что неминуемо выселит выселок, то этот выселок имеет право на даровое занятие из незаселенной народной земли стольких десятин, сколько по числу душ для выселка необходимо».

Словом, земля должна принадлежать народу, без выкупа и с правом дальнейшей нарезки земли на началах передела свободной земли. И Огарев влагает дворянству в уста готовность отказаться и от сословных прав и от земли: «Мы, нижеподписавшиеся,—гласит проект его адреса,—отрекаемся не только от наших сословных, дворянских прав перед законом, но отрекаемся и от той доли земли, которая нам следует по положению, и возвращаем ее в мир, которому она принадлежит; а себе предоставляем из общей мирской земли только тягольные паи, какие причтутся нам по числу тягол в наших семьях, и желаем оставаться в крестьянстве при тех деревнях, где мы, по ошибке и несправедливости ваших предшественников, государь, числились помещиками». При таком отказе от прав и земли адрес полагает, что и крестьянство признает для себя необидным «дать бывшим помещикам денежное пособие или вознаграждение, однако, только из общих государственных средств, без наложения новых податей, превышающих размер нынешних податей государственных крестьян». В соответствии с общими началами реформы адрес требовал в заключение, чтобы созван был земский собор, на котором бы «земля была признана народной собственностью, и было бы определено право владения и право найма, и вознаграждения дворянству за потрату, вместе с уничтожением сословных прав и частной земельной собственности».

Итак, Огарев требовал уничтожения частной собственности на землю, национализации земли, уравнения помещиков с крестьянами в праве на душевой надел; выкуп допускался им под видом «денежного пособия» дворянству, но за счет казны без повышения крестьянских податей. Нужно ли пояснять, что этим центр тяжести передвигался с веры в царя к вере в дворянство, и что поэтому адрес, в этом окончательном своем виде получивший

распространение, оставался всецело на утопической точке зрения, вполне понятной для утопических социалистов, возлагавших свои надежды также на «разум» господствующих классов. Огарев верил, что дворянство может не только отказаться от своих сословных привилегий, но и слиться с крестьянством—и сделает это за «денежное пособие». Разумеется, дворянство на это не пошло, от души посмеявшись над сочиненным для него проектом адреса. Мы видели, что либеральное дворянство торжественно заявляло об отказе от сословных прав, но лишь для того, чтобы сохранить за собою право опекать народ и над ним господствовать в другой форме, а об отказе от земли или выкупа не хотело и думать.

По мере того, как выяснялась тщета надежды на дворянство, «левели» и Герцен с Огаревым. Если раньше Герцен обращался к правительству, к передовому дворянству и к дворянской интеллигенции, то теперь он стал обращаться к разночинной интеллигенции. Эта эволюция взглядов совершилась у Герцена медленнее, чем у молодого поколения, потому что он рос в дворянской обстановке и дольше оставался во власти «дворянских» иллюзий, в то время, как новое поколение шло из разночинной среды, которой верить в дворянство не давала вся окружающая жизнь. «Новые люди,—писал Добролюбов,—с детства, неприметно и постоянно, напитывались теми понятиями и стремлениями, для которых прежде лучшие люди должны были бороться, сомневаться и страдать в зрелом возрасте». Но пока Герцен двигался вперед, пока «Колокол» его обличал чиновников, не касаясь царя, пока он поддерживал веру в правительство и дворянство, росла его рознь с теми новыми людьми, которые вошли в жизнь с новыми настроениями.

Первое выражение этим разногласиям дал Чернышевский в письме, напечатанном им в «Колоколе» в начале 1862 года за подписью «Русский человек». Чернышевский возражал против надежд Герцена на самодержца и дворянство и вообще на возможность разрешить крестьянский вопрос мирным путем. «Надежда в деле политики, по мнению Чернышевского,—золотая цепь, но ее легко обратить и в кандалы. В России «все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою». Между тем, крестьяне и либералы идут в разные стороны. «Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный процесс и, кто их знает, что еще,—писал Чернышевский.—Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае, если народ без руководства возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее, но вместе с Собакевичами и Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевши пристать к народному дви-

жению и руководить им?» О гибели либералов Чернышевский не жалеет, но первый исход считает ужасом. И он упрекает Герцена в том, что тот поддерживает иллюзию, веру в царя, в мирное развитие. «Не увлекайтесь,—пишет он,—толками о вашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания, безыменную гласность; но чуть дело коснется дела—тут и прихлопнут... Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет». «Вы все сделали,—заканчивал Чернышевский письмо,—что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь! Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царя. Не вам ее поддерживать».

Герцен не оставил письмо Чернышевского без ответа. «Мы расходимся с вами *не в идее*, [1])—писал он в «Колоколе»,—а в средствах, не в *началах*, а в образе действования. Вы представляете *одно из крайних* выражений *нашего* направления; ваша односторонность понятна нам, она близка нашему сердцу; у нас негодование так же молодо, как у вас, и любовь к народу русскому так же жива теперь, как в юношеские лета. Но к топору, к этому ultima ratio (последнему доводу) притесненных, мы звать *не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора*». Герцен поясняет, что «отвращение от кровавых переворотов» он вынес после июньских парижских дней и с тех пор «воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности». Кровавые перевороты бывают, по его мнению, иногда необходимы—они вызываются последствиями вековых ошибок, бывают делом мести, ими общественный организм отделывается от старых болезней. Но в России Герцен не видел этих «стихий» и считал в этом отношении положение России «беспримерным». Царское правительство ломало прошлое и не создавало ничего нового, прочного; дворянство сильно только тем, что идет заодно с правительством,—словом, ломать в России нечего. «Где же та среда, которую надо вырубить топором,—спрашивает Герцен. Я не знаю в истории примера, чтобы народ с меньшим грузом переправлялся на другой берег». Во всяком случае, призыв к топору—последнее, а не первое. «Восстания зарождаются и вырастают, как все зародыши, в тиши и тайне материнского чрева, им надобно много сил и крепости, чтобы выйти на свет и громко кликнуть клич. Что же у вас готово?.. Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию,

---

1) Курсив здесь и дальше Герцена.

надобно иметь план, силы и готовность лечь костьми не только схватившись за рукоятку, но и схватив за лезвие, если топор слишком расходится. Есть ли все это у вас?» «Одно вы мне можете возразить—кончал Герцен свой ответ:—а что будем делать, если народ, увидя, что его надувают освобождением, сам бросится к топору? Это будет великое несчастье, но оно возможно благодаря бесхарактерности правительства и характерности помещиков. Тогда рассуждать нельзя, тут каждый должен поступать, как его совесть велит, как его *любовь* велит... Но, наверное, и тогда не из *Лондона* звать к топорам. Будемте стараться всеми силами, *чтобы этого не было*».

Итак, по мнению Герцена, программных разногласий у него с Чернышевским нет, имеются только разногласия тактические. В идее, в началах, оба они солидарны; Чернышевский представляет лишь крайнее выражение этих общих для них начал, и крайность эта сказывается именно в вопросах тактики. Присмотримся к этим схождениям и расхождениям—они помогут уяснить коечто в течениях революционного движения 60-х и 70-х годов.

Когда Герцен говорит о своей солидарности с Чернышевским—это не случайность. Одно время, именно тогда, когда он обращался к дворянской интеллигенции, ему опасным казалось то, что Чернышевский опирается на «образованный пролетариат», т. е. на городскую разночинную интеллигенцию, оставляя в стороне крестьянство с его общиной. Но вскоре и сам Герцен связал себя с разночинной интеллигенцией. «Подымается и растет на свет—писал он в 1864 году—*новая Россия,* крепко подкованная на трудный путь, закаленная в нужде, горе и униженьи, тесно связанная жизнью с народом, образованием—с наукой... Ей достается великое дело развития народного быта и неустроенных элементов его зрелой мыслью и чужим опытом... Для этой новой среды хотим мы писать и прибавить наше слово далеких странников к тому, чему учит их Чернышевский с высоты царского столба, о чем им говорят подземные голоса из царских кладовых, о чем денно и нощно проповедует царская крепость—наша святая обитель, наша печальная Петропавловская лавра на Неве». Герцен хочет работать для этой новой России, для революционной молодежи, которая заполняет царские тюрьмы. И позже, решая прекратить издание «Колокола» (тогда он издавался на французском языке для Европы), Герцен писал Огареву (1868 г.): «Что касается большей части наших самых дорогих убеждений, то мы уж сто раз высказывали их и повторяли; вокруг них образовалось неизменное ядро. Есть молодежь, так глубоко, так бесповоротно преданная социализму, столь богатая смелой логикой, столь сильная наукою, реализмом и отрицанием во всех областях клерикального и правительственного формализма, что бояться нечего—*идея не погибнет*». Герцен был социалистом, когда с ним полемизировал Чернышевский и когда на него еще более горячо нападали неко-

торые представители революционной интеллигенции, социалистом он и остался, и притом таким же социалистом, какою была эта молодежь и каким был Чернышевский, т. е. социалистом-утопистом. Оба они, и Герцен, и Чернышевский смотрели на интеллигенцию, как на ту силу, которая должна «развить народный быт», вывести общину на путь социалистического развития, оба смотрели на общину, как на зародыш социализма, оба предрекали России особый путь развития. Правда, мы видели, что Чернышевский по некоторым вопросам расходился с Герценом, доказывал, что Запад не гниет и заимствовать ему у России нечего. Но и Герцен не оставался слепым к урокам жизни. «Ясно видим мы,—писал он в 1869 г.,—что дальше дела не могут идти так, как шли, что, наконец, исключительному царству капитала и бесцельному праву собственности также пришел конец, как некогда пришел конец царству феодальному и аристократическому. Как перед 1789 г. отмирание мира средневекового началось с сознания несправедливого подчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников». Герцен с сочувствием ссылается при этом на первый рабочий Интернационал. «Международные работничьи с'езды,—писал он,—становятся ассизами, перед которыми вызывается один социальный вопрос перед другим; они получают больше и больше организующий склад, их члены-эксперты и следопроизводители. Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее «своего устройства и своих прав, помимо капиталистов и собственников, составят первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырости в Авентинскую гору à l'intérieur (в недрах буржуазного мира). Отступая на нее, мир рабочий, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, и он, отлученный, nolens volens (волей-неволей) пойдет на сделки. А не пойдет, тем хуже для него, тогда гибель его отстранится только настолько, насколько у нового мира нет сил». А еще годом раньше, возражая «нашим врагам», которые утверждали, что времена социализма прошли, Герцен писал: «И это на другой день после брюссельского конгресса, женевской забастовки, в двух шагах от движения немецких рабочих, среди под'ема с удесятеренной силой социальных вопросов во всей Европе, не исключая и Англии». К Герцену возвращалась утерянная им в 1848 году вера в Запад и возвращалась она к нему в связи с под'емом рабочего движения: силу, которая приведет Запад к социализму он начинал видеть в пролетариате, который об'единяется в Интернационале.

Таким образом, при всех разногласиях, основы позиции Герцена и Чернышевского были родственны, равно, покоясь на утопическом социализме. Родство это было и тогда, когда Герцен отставал от Чернышевского в анализе современности, и тогда, когда он делал шаги вперед.

Тем меньше имели оснований считать Герцена человеком отсталым представители революционной интеллигенции того времени. Между тем, один из них, Александр Серно-Соловьевич, писал в брошюре, направленной против Герцена, выражая не только свое мнение: «Молодое поколение давно опередило вас целой головой в понимании вещей и событий, а вы, не замечая, что отстали от него, что позади его, машете из всех сил ослабевшими крыльями». Несерьезность такого мнения о Герцене свидетельствуется уже тем, что, как мы увидим, молодое поколение, полагавшее, что оно на целую голову переросло Герцена, жило, по преимуществу, его идеями.

Если, таким образом, в области идей и начал не было разногласий, во всяком случае, основного порядка, то по вопросам тактики разногласия были. Разногласия эти, однако, не исчерпывались, как можно думать, вопросом о топоре, кровавом перевороте, восстании. Вопрос этот, вообще, был обострен без видимой нужды. Герцен писал в 1865 году о споре с Чернышевским: «Сколько мы ни смотрели и ни разглядывали, мы не видели в России 1862 г. ни одного элемента достаточно крепкого и зрелого, ни одного вопроса достаточно разработанного и общего, чтоб во имя его могла собраться мощь, и мощь достаточная, чтоб бросить перчатку правительству с уверенностью, что ее поддержат в борьбе». Возражая Чернышевскому, он также, между прочим, указывал, что не видит ни сил, ни организации для восстания. Так оно, конечно, и было в действительности, и мы увидим, что революционное движение того времени было далеко не только от восстания. За спором о топоре скрывался спор о методах революционного действия, вообще, и, возражая против кровавого переворота, Герцен возражал, вообще, против революционной тактики: сам он был сторонником по преимуществу мирного развития и, если допускал революционный путь, то лишь на *худой* конец. Мы приводили только что его слова о «работничьих с'ездах», на которые он возлагал такие надежды. Добавим теперь, что Герцен особенно ценил в этих с'ездах (т. е. в Интернационале) то, что «они самую стачку и остановку работ допускают как тяжелую необходимость», как средство сосчитать свою силу, как боевую организацию. «Серьезный характер их поразил врагов,—писал Герцен,— Сильное *их покоя* испугало фабрикантов и заводчиков. Было бы огромное несчастие, если бы они преждевременно вышли из этого строя». В об'единившемся европейском пролетариате Герцена всего больше восхищает его внутренняя сила, которую он хранит в состоянии покоя. Если он считает несчастьем преждевременное нарушение этого покоя, то не потому, что боится преждевременного выступления пролетариата, но потому, что опасается этого выступления, вообще. Исход из состояния покоя ему рисуется в виде отступления рабочих на «Авентинскую гору», когда старый мир должен будет пойти на уступки. Схватки, боя, войны между

трудом и капиталом Герцен не предвидит: он не приемлет классовой борьбы, как не принимал ее утопический социализм. По отношению к России, он также не только предпочитает мирный ход развития, но и верит в него. В ответе Чернышевскому, он, опираясь на свою утопическую веру в особые пути развития России, доказывает, что в ней нет ни почвы для насильственного переворота, ни нужды в нем, так как правительство беспомощно, а дворянство сильно только поддержкой власти. При таких условиях перед Россией лежит путь «стройного развития», с которого только политика правительства может ее свернуть на путь «общего восстания». «Пуль нам не нужно, — писал Герцен после выстрела Каракозова. — Мы в полной силе идем большой дорогой; на ней много капканов, много грязи, но в нас еще больше надежды; на ногах тяжелые колодки, в сердце колоссальные не низлагаемые притязания. Остановить невозможно, можно только своротить с одной большой дороги на другую, с пути стройного развития на путь общего восстания». Герцен предпочитал первый путь, на него возлагал надежды, к нему призывал. Если он сам и примыкал к революционному движению, то делал это без обычной страстности, поддаваясь тяжелой необходимости. И здесь, как и в неприятии классовой борьбы, тактика его определялась утопическим характером его социалистических воззрений: мы знаем, что на мирный ход развития возлагали надежды многие из основоположников утопического социализма.

С этой тактикой не мирился Черныешвский и, в особенности, не мирилась революционная молодежь. Когда порвалась «цепь великая», ударившая со всею силою по мужику, когда возобновился разгул реакции уже в условиях новой России, когда разбитой оказалась вера, что с освобождением крестьян начнется полоса свободной жизни и социальных преобразований, мысль передовой молодежи, естественно, искала выхода в революционном деле. Призывы Добролюбова к делу, его горячая проповедь о том, что убеждение мертво без дела, находила свой отклик и звала на борьбу. Если молодежь пыталась подойти к народу в воскресных школах—школы закрывали, если она пыталась пустить свежий воздух в университетские аудитории—закрывались университеты. Призыв Герцена «в народ» мог быть воспринят молодежью только как призыв к революционной работе в народе. Проповедь мирного хода развития в условиях самодержавно-полицейского дворянского порядка обрекала на покой тех, кто рвался и не мог не рваться на борьбу. Тактические разногласия Герцена с революционно-демократической интеллигенцией 60-х годов были слишком остры, чтобы они могли сгладиться. Но это не значит, чтобы между ними лежала какая-нибудь непроходимая пропасть. Мы будем иметь случай убедиться, что, восприняв революционную тактику, наши революционеры не переставали быть утопистами, как оставался утопистом Герцен, когда он предпочитал мирный ход развития.

7. «Великорусс»—Прокламации Шелгунова и Чернышевского.—Общество «Земля и Воля».

Когда говорят о революционном движении 60-х годов, то понимать это нужно весьма условно. Никакого сколько-нибудь широкого революционного движения в то время не было, потому что не было в наличности общественного класса, который мог бы быть его носителем. Крестьянство, правда, в первые годы после освобождения волновалось, но волнения эти, порою внушительные по размерам, скоро утихли, да и не крестьянству, только что вышедшему из рабства, темному и несознательному, по плечу были какие-либо революционные задачи—оно и впоследствии еще долгое время оставалось в хвосте революционной борьбы. Рабочий класс также еще только складывался, не оторвался от крестьянства и представлял собою революционную силу не более крепкую, чем крестьянство. Промышленная буржуазия «дышала жабрами», довольная хорошими прибылями и милостями правительства; помещичьи-либеральная буржуазия, в страхе перед крестьянским движением, после недолгой оппозиции начала 60-х годов, также успокоилась. Оставался тонкий слой мелко-буржуазной интеллигенции и, в особенности, отрывавшейся от своей среды передовой молодежи, которой трудно было примириться с окружающей действительностью и которой ближе были нужды раскрепощенного крестьянства. На этом тонком слое и держалось движение. Если последнее заслуживает изучения, то не потому, что оно было значительно и широко, но потому, что, ознакомившись с ним, мы увидим, как складывались идейные течения последующего движения, и потому, во-вторых, что революционное движение развивалось преемственно и слабые ростки 60-х годов имели свое значение в общем ходе революционной борьбы.

После всего, сказанного выше, не требуют особого пояснения те влияния, в условиях которых складывается движение того времени. Вопросы крестьянского освобождения и ожидания крестьянского восстания в первую очередь, и затем либерально-дворянское движение, движение студенчества, учение утопических социалистов с тактическими его разветвлениями по линий мирного развития и революционной борьбы—таково общественно-идеологическое «окружение» движения. Кадры его — по преимуществу учащаяся молодежь, но первые его отряды составляют также немногие вожди интеллигенции—Чернышевский, Шелгунов, вскоре ставший известным публицистом, Михайлов, талантливый поэт, и некоторые другие с именами более скромными. Не остаются в стороне и Герцен с Огаревым.

Первое проявление движения относится к июню 1861 года, когда появился нелегальный листок «Великорусс», получивший распространение в Петербурге и Москве. Кто составлял и печатал этот листок, стояла ли за ним какая-нибудь организация,—в точ-

ности неизвестно. Правительству тайны раскрыть не удалось; скудны воспоминания и современников. Имеются косвенные указания, что к изданию «Великорусса» имел отношение Чернышевский, но с уверенностью этого сказать нельзя. Правительство получило возможность расправиться только с распространителями листка. Чего же хотел «Великорусс»?

Всего под этим названием вышло три листка, в которых программа изложена довольно подробно. Листки указывали, прежде всего, что крестьянство недовольно реформой и правительство своей политикой по крестьянскому вопросу ведет Россию к пугачевщине. Поэтому «образованным классам», т. е. дворянству, нужно взять реформу в свои руки, чтобы «спасти народ от истязаний». Переходя к тому, на каких началах нужно освободить крестьян, «Великорусс» отмечает, что среди помещичьих крестьян имеются «две партии»: одна требует перехода в руки крестьян всей помещичьей земли и без выкупа, другая «умеренная» — довольствуется переходом к крестьянам только той земли, которой они пользовались до освобождения, но также без выкупа. Первая партия, по словам «Великорусса», «очень многочисленна» и «неизбежно возьмет верх, если нынешнее положение дел продолжится», но можно надеяться, что умеренная партия усилится, если вопрос будет разрешен в ее духе, тем более, что для общего восстания крестьяне не организованы. Сам «Великорусс» склоняется к требованиям умеренной партии и находит, что крестьянам должна быть предоставлена без выкупа земля, которой они пользовались до освобождения. Далее «Великорусс» выдвигает острый по тому времени вопрос о Польше и требует признания за польским народом права на самоопределение: «Если он захочет отделиться совершенно, пусть отделяется». Так как нет надежды на то, чтобы правительство могло выполнить все эти требования, то нужно требовать конституции и притом не дарованной царем, а составленной представителями народа. «Великорусс» требует, поэтому, «созвания депутатов» для «свободного» составления конституции; временный избирательный закон должен быть составлен «популярными лицами», которых укажет «голос публики». Особо ставится вопрос о «династии», т. е. о республике. «Великорусс» указывает по этому поводу, что, по мнению одних, низложение династии дело легкое «при настоящем раздражении простого народа, озлоблении помещиков, недовольстве образованных классов и расстройстве финансов», другие находят, что «просвещенные классы» не поддержат требования республики. «Великорусс» с своей стороны, рекомендует, «для блага науки» дать возможность «проверить свои мысли» тем, кто стоит за конституционную монархию, сделать же это тем легче, что «истинно-конституционная монархия мало отличается от республики». Впрочем, «Великорусс» уверен, что законность и нынешняя династия вещи несовместимые, но все же «убеждает передовых патриотов» пойти на уступки умеренным,

«сделать такую пробу». Действовать при этом нужно мирными средствами и осторожно. «Великорусс» предлагал текст адреса царю, который нужно проводить на собраниях, предварительно, однако, ведя пропаганду среди знакомых и не подавая адреса, пока публика не будет к этому подготовлена. «Великорусс» уверен в благоприятном исходе всей этой кампании: «в нас стрелять нельзя», заявляет он. Ну, а если «образованные классы» не согласятся обратиться к царю с требованием? Тогда, пишет «Великорусс», «нам не остается выбора: мы должны будем действовать на простой народ, и с ним принуждены будем говорить уже не таким языком, не о таких вещах. Долго медлить решением нельзя: если не составят образованные классы мирную оппозицию, которая вынудила бы правительство до весны 1863 года устранить причины к восстанию, народ неудержимо поднимется летом 1863 г. Отвратить это восстание патриоты не будут в силах и должны будут позаботиться только о том, чтобы оно направилось благотворным для нации образом».

Как видим, «Великорусс» в сильной степени пропитан тем настроением, какое преобладало в широких кругах интеллигенции тотчас по освобождении крестьян. Здесь нет уже веры в царя, но сохранилась вера в «образованные классы», в дворянство, которое пойдет на оппозицию правительству. Сохранилась также вера в мирный ход развития, и «топор» фигурирует в качестве угрозы, как средство поселить страх перед восставшим крестьянством. Очевидно, что все это выступление строилось в расчете на начавшееся движение либерального дворянства, которое «Великорусс» пытался организовать и направить в сторону более решительную. Такую тактику одобрили бы Герцен с Огаревым, и весьма возможно, что с мнениями их считались авторы «Великорусса». По крайней мере, «Колокол» сообщал о том, что «Великорусс» произвел в Петербурге «сильное впечатление», а после ареста прикосновенных к листкам лиц Огарев настаивал на образовании новой организации, которая продолжала бы дело «Великорусса».

Нужно думать, однако, что к «Великоруссу» имели отношение только более умеренные элементы. Позиция «Великорусса» встретила критику Михайлова на страницах «Колокола», а вскоре сделаны были попытки более резкого выступления.

Осенью 1861 года Шелгунов написал прокламацию «К молодому поколению», которую он с Михайловым решил напечатать в Лондоне. Михайлов поехал к Герцену, но тот отнесся к прокламации отрицательно, однако, она все же была отпечатана в типографии «Колокола». Затем, в то же время, Шелгунов написал другую прокламацию «К солдатам», а Чернышевский—«Барским крестьянам». Из этих прокламаций распространены были только прокламация «К молодому поколению», которую Михайлов привез из Лондона в количестве нескольких сот экземпляров, и «К солдатам», отпечатанная в России.

Прокламация Чернышевского попала в руки жандармов в рукописи и напечатана не была. Дело провалилось благодаря предательству Всеволода Костомарова, племянника известного историка: арестованный, он выдал Михайлова, у которого при обыске были взяты экземпляры прокламации «К молодой России», а в руках жандармов оказалась находившаяся раньше у Костомарова рукопись «К русским солдатам», исправленная рукою Михайлова, и рукопись «К барским крестьянам». Михайлов приговорен был к 12½ годам каторжных работ, но, по «милости» Александра II, срок этот был сокращен до шести лет. Впоследствии очередь дошла и до Чернышевского. Жандармы перехватили письма к нему Герцена, и, хотя в письмах этих не было ничего предосудительного, правительство решило отделаться от Чернышевского, за которым давно следили и которого ненавидели за его «революционную» литературную работу. На этот раз снова пригодился предатель Костомаров. По уговору с жандармами, он составил на имя какого-то своего приятеля письмо, в котором рассказывал, что Чернышевский написал и дал ему для напечатания прокламацию «К барским крестьянам», а Шелгунов—«К русским солдатам»; для большей верности, Костомаров подделал записку к нему Чернышевского, в которой последний просил об исправлении в прокламации ошибок. Разумеется, оба эти документа оказались в руках жандармов. Так как Шелгунов отрицал свою вину и улик против него никаких не было, то его освободили. Против Чернышевского также никаких улик не было, была только заведомо для правительства подложная записка, да показания предателя Костомарова, но его приговорили к 14-ти годам каторжных работ. По «милости» царя и этот срок был сокращен на половину. Михайлов умер в Сибири 2 августа 1865 года. Чернышевский, отбыв срок каторги, был сослан в Вилюйск, в 150 верст от Якутска, и получил разрешение вернуться в Россию только в 1883 году, отдав каторге и ссылке 20 лет своей жизни. Таковы первые великие жертвы возрождавшегося революционного движения,—жертвы, отомщенные только теперь, победой революции...

Возвратимся, однако, к прокламациям. Взятые вместе, они дают довольно цельное отражение революционных настроений начала 60-х годов.

Весьма пространное воззвание «К молодому поколению», написанное Шелгуновым, ставит основные общие вопросы, волновавшие передовую интеллигенцию того времени. Прежде всего, конечно, дается характеристика только что проведенной крестьянской реформы: царь «обманул ожидания народа—дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна». Между тем, «освобождение крестьян,—говорит прокламация,—есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастью, к благосостоянию политическому и экономическому, или

к экономическому и политическому пролетариату. От нас самих зависит избрать путь к тому или другому». Какой же путь должен быть избран? Прокламация отвечает на этот вопрос не только мыслями, но почти и словами Герцена. «Неудача 1848 года если что-нибудь и доказывает, так доказывает только одно—неудачи попытки для Европы; но не говорит ничего против невозможности других порядков у нас в России. Разве экономические, земельные условия Европы те же самые, что и у нас? Разве у них существует и возможна земледельческая община? Разве у них каждый крестьянин и каждый гражданин может быть земельным собственником? Нет. А у нас может. У нас земли столько, что достанет ее нам на десять тысяч лет. Мы народ запоздалый, и в этом наше спасение. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастья, ее безвыходное положение—урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала, ее императорской власти». Никто не идет так далеко в отрицании, как русские, и это опять-таки потому, что «у нас нет политического прошлого, мы не связаны никакими традициями, мы стоим на новине»—словом, как говорил Герцен, у русских нет, как у Европы, тяжелого груза, и они могут смело двинуться в открытое море. Однако, необходимости социального переворота прокламация прямо не провозглашает. Прокламация Шелгунова требует «полного обновления страны», то есть, прежде всего, «полного уничтожения следов крепостного права», уничтожения «неравенства в землевладении», уничтожения сословий и затем—республики (власти «выборной и ограниченной»), свободы печати, гласного суда, уничтожения тайной полиции, амнистии и т. д. Наряду с другими требованиями, подробно излагаются требования аграрной реформы: «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало; чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту; чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины, т. е. или приписаться к общине существующей, или несколько граждан могли бы составить новую общину. Мы хотим сохранения общинного владения землей с переделами через большие сроки... Мы хотим уничтожения переходного состояния освобожденных крестьян; мы хотим, чтобы выкуп всей земельной собственности состоялся немедленно». Идеализация общины, которая Герценом была поставлена в центре обоснования «русского социализма», впервые кладется в основу революционной программы: община должна быть не только сохранена, но и стать господствующей формой землевладения, земля должна принадлежать не лицу, а стране, т. е. должна быть проведена национализация земли с предоставлением ее в пользование (а не в собственность, так как земля продаже не подлежит) существующим и новым общинам. Однако, харак-

терно, что на отмену выкупа прокламация не посягает и требует только его немедленного проведения.

Какие же пути рекомендует прокламация для достижения выставленных ею целей? «Мы хотели бы, разумеется,—говорится в ней,—чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказываемся от него, но мы зовем охотно революцию на помощь к народу». «Если для осуществления наших стремлений,—читаем в другом месте прокламации,—для раздела земли между народом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно»,—прибавляет прокламация, указывая, что крымская война стоила 300 тысяч жизней и не принесла стране ничего, кроме разорения. Революция может быть осуществлена, прежде всего, молодежью,—«народной партией из молодого поколения», — а затем всеми угнетенными — чиновниками этими «фабричными» канцелярий, войском и крестьянством, которому—иронически заключает прокламация—«19 февраля 1861 г. открыта широкая дорога к европейскому пролетариату». Но главную свою надежду прокламация возлагает на молодежь. «Мы обращаемся к вам,—говорит она молодежи,—потому что считаем вас людьми, более всего способными спасти Россию, вы настоящая ее сила, вы вожаки народа, вы должны об'яснить народу и войску все зло, сделанное нам императорской властью». «Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихомолку... Пора приступить к делу, теперь же, не теряя ни минуты,—призывает прокламация, обращаясь к молодежи.—Говорите чаще с народом и солдатами, об'ясняйте ему все, чего мы хотим и как легко всего этого достигнуть; нас тысячи, а злодеев сотни. Стащите с пьедестала в мнении народа всех этих сильных земли, недостойных править нами, об'ясните народу всю незаконность и разврат власти, приучите солдат и народ понять ту простую вещь,—что из разбитого генеральского носа течет такая же кровь, как и из носа мужицкого. Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к той роли, которую вам придется играть; зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут они вас на великое дело, а если нужно и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!»—такими словами заканчивалось это воззвание, написанное Шелгуновым.

Воззвание, составленное Чернышевским и озаглавленное «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», было посвящено выяснению того положения, какое создано для крестьян их освобождением. Написанное чрезвычайно популярно и доступно пони-

манию каждого крестьянина, оно подробно выясняло, что временно-обязанные отношения фактически сохраняют крепостную зависимость крестьян. «Так вот оно к чему по царскому-то манифесту, да по указам дело поведено—делает вывод воззвание—не к воле, а к тому оно идет, что в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней». Сделал это царь с помещиками, потому что и сам царь—помещик. «Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они—все одно. А сами знаете, собака собаку не с'ест. Ну, царь и держит барскую сторону». Этому обману воззвание противопоставляет европейские порядки, в особенности, швейцарские, где «царь значит для всего народа староста, и народ, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует», где «народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, просто зовется народным старостою, а по ихнему, по иностранному, президентом». Эти иностранные порядки показывают, «какая в исправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный и ровный всем был бы суд, а бесчинствовать над мужиком никто не смел, чтобы пачпортов не было, и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит и воли нет, а все одно обольщенье в словах».

Но, как же добыть такую волю? Можно добыть и «не очень трудно»: «надо только единодушие между собою иметь мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись». Особо воззвание указывает на солдат, которые должны быть на стороне своего брата-мужика («когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля об'явится») и на «добрых офицеров», которые «за народ стоять будут». Главное, надо мужикам иметь согласие и быть за одно, когда придет время действовать. «А покуда пора не пришла—вразумляет воззвание—надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит спокойствие сохранять, и виду никакого не показывать. Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит, только дело портить, да себя губить. А когда все готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй, да подговаривай его, чтоб дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уже увидим, когда пора будет, и об'явление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленость будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое об'явление, что пора, люди

русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя идет».

Воззвание Шелгунова к солдатам приглашало последних не стрелять «в народ, когда тот восстанет, чтобы облегчить свою горькую долю, а присоединиться к нему, чтоб ему помочь, да и свое житье поправить».

Таковы эти три воззвания. В каких отношениях они стояли к господствовавшим тогда течениям? Мы видели, что воззвание «К молодому поколению» в своей программной части принимало точку зрения Герцена, но в тактической части, допуская революционный путь и призывая к подготовке к нему, отклонялось от позиции Герцена, почему и встретило его возражения. С другой стороны, и Чернышевского это воззвание не могло удовлетворить, так как резкое противопоставление Запада России им не разделялось; в составленном им воззвании к «барским крестьянам», Чернышевский, разумеется, этой темы не мог затронуть, но свою тактическую линию развил последовательно. Как помнит читатель, в письме в «Колокол» Чернышевский заявил себя сторонником революционного образа действий, находил необходимым призывать к «топору», но в то же время мыслил крестьянское восстание как организованное интеллигенцией, а не как стихийный бунт, на который он смотрел как на «несчастье». Воззвание «К барским крестьянам» стоит именно на такой точке зрения—оно зовет крестьян к восстанию, но вразумительно поучает их предварительно организоваться, подготовиться и ждать сигнала от руководящего центра, который, будучи в курсе подготовки народных сил, сам определит, когда начать «доброе дело». Некоторая разноголосица между авторами воззваний показывает, что они сами на себя не смотрели, как на организованную группу, выработавшую общее мнение. Так оно и было в действительности. Шелгунов рассказывает в своих воспоминаниях, что, когда Костомаров, будущий предатель, появился в Петербурге, втерся в редакцию «Современника» и рассказал, что у него имеется станок для печатания, Чернышевский окружил его участием и вниманием. «Больше всего,—добавляет Шелгунов,—нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать, у нас же оказалась готовность писать». По словам Шелгунова, о прокламации «К молодому поколению» не знал никто, кроме него и Михайлова, т. е. не знал и Чернышевский, составление же двух других воззваний—«К барским крестьянам» и «К солдатам»—не составляло в их кругу тайны, так как обе эти прокламации были переданы для печатания Костомарову. Ничего организованного, никакой организации, таким образом, пока не было, а была лишь готовность писать, свободно высказаться, бросить в массу свои мысли и для этого использовать станок Костомарова.

Но это не значит, что и Чернышевский, и Шелгунов, и Михайлов были вообще далеки от мысли создать организацию и могли удовольствоваться случайно подвернувшейся возможностью использовать свободный станок. Сказанное ими слово, будучи само по себе делом, а по тем временам очень большим делом, необходимо предполагало и другое дело. Воззвание «К молодому поколению» говорило о «народной партии из молодого поколения всех сословий», Чернышевский в своем воззвании предполагал необходимой организацию, которая подготовила бы и руководила народным восстанием. Мысль о создании организации была, таким образом, брошена, к ней приходили первые прокламации, она естественно вытекала из первого же свободно сказанного слова. И потому, когда была сделана попытка положить основание такой организации, она встречена была сочувствием со стороны, как Чернышевского, так и Герцена и Огарева.

Такой первой организацией, основанной осенью 1862 года, было общество «Земля и Воля». Инициатива основания его приписывается Огареву, который, после провала кружка, издававшего «Великорусс», настаивал на создании нового общества. Ядро «Земли и Воли», действовавшее в России, составляли братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Слепцов, Николай Обручев, писатель Курочкин, к ним примыкал Лавров, сыгравший впоследствии большую роль в революционном движении, известный сотрудник «Современника» Елисеев и др. Чернышевский не примкнул активно к обществу, так как, со смертью Добролюбова, считал обязанным посвятить себя «Современнику», но живо интересовался обществом и помогал ему советами. За границей представительство общества принадлежало «Колоколу», и оно пользовалось поддержкой Герцена и в особенности Огарева.

Уже попытка об'единить вокруг одной программы Герцена и Чернышевского показывает, что платформа общества строилась на компромиссе, на выделении того общего, что могли бы принять разно-настроенные круги. И действительно, так именно формулировал задачу общества журнал его «Земля и Воля». Отметив, что целью общества является собирание «рассеянных революционных элементов», журнал писал: «Пусть все любящие свою родину, готовые разделить с нами труды и случайности борьбы соединятся около одного знамени «Земля и Воля»: в деле народного освобождения должны сглаживаться спорные оттенки одной и той же свободолюбивой партии». Иначе говоря, все острые углы, все спорные вопросы должны быть сглажены, и об'единение должно быть достигнуто на основной формуле. «Земля и Воля». Но такова природа всякого компромисса, что притупление становится участью более острого, более левого уклона и с наименьшим уроном выходят более умеренные течения. Этой участи не избежала наша первая «коалиция» революционных элементов.

Платформу «Земли и Воли» составил листок «Что нужно на-

роду», написанный Огаревым. На поставленный им вопрос Огарев в самом же начале листка отвечал: «Очень просто, народу нужны земля да воля». Как и все программные декларации того времени, листок Огарева исходит из резкой критики освобождения крестьян и затем переходит к изложению своих требований крестьянской реформы. Последние сводятся к тому, что крестьяне должны быть освобождены с тою землею, которою теперь владеют, те же из них, которые совсем не имеют земли или имеют не в достачу», «должны получить прирезки из помещичьих земель», так, «чтобы ни один из крестьян без достаточного количества земли не оставался». Общинное владение землей должно остаться, а впоследствии предвидится нарезка общинных участков из свободных земель, конечно, с их переделом. За пользование землей крестьяне должны платить подати в общую государственную казну, и из этих податей помещики должны получить вознаграждение за отчужденную от них землю. «Хотя помещики триста лет и владели неправо землей, однако, народ их обижать не хочет,—заявляет листок.—Пусть им казначейство выдает ежегодно, в пособие или вознаграждение, сколько нужно, примерно хоть шестьдесят миллионов в год, из общих государственных податей. Лишь бы народу оставалась вся земля, которую он теперь на себя пашет, на которой живет и которой кормится и отапливается, с которой скот свой кормит и поит, да лишь бы подати ни в каком случае не повышали, а то народ на отсчитывание вознаграждения помещикам из податей согласен».

Мы ознакомились выше с проектом дворянского адреса, составленным Огаревым несколько позже (в 1862 г.), и видели, что тогда Огарев требовал многим большего: национализации земли, уничтожения частной собственности на землю, перехода всей земли к крестьянам, наделения помещиков душевым наделом. Теперь он остается еще на умеренной позиции, и эту последнюю принимает «Земля и Воля». К крестьянам переходит не вся земля помещиков, а только та, которою они пользовались при крепостном праве; в будущем, при земельной тесноте, предусматривается также не отчуждение помещичьих земель, а прирезки «на выселок» из земель пустопорожних; о национализации земли и уничтожении права земельной собственности нет и речи. Неизменным остается только отношение к выкупу: последний признается в виде уплаты помещикам вознаграждения из общих государственных средств без специального повышения крестьянских платежей.

В области политической листок Огарева требует созыва для утверждения бюджета выборных народных представителей, не выдвигая, однако, прямо требования земского собора. Листок также не говорит, что выборы должны быть произведены на началах всеобщего избирательного права, но устанавливает их многостепенность: села посылают выборных в волость, волостные собрания выборных в уезд, уездные собрания—выборных в губернию, гу-

бернские собрания—выборных в столицу. О царской власти, о свержении ее Огарев прямо не говорит. Царь—«не друг, а первый враг народа»—«пусть же народ подождет молиться за него, а своим чутьем да здравым смыслом поищет себе друзей понадежнее, друзей настоящих, людей преданных». Такими друзьями народа могут быть, прежде всего, солдаты—«отец ли, мать ли—снаряжают сына в рекруты, не забывай народной воли, бери с сына клятву, что по народу стрелять не будет»,—а затем и офицер—«пусть научит солдат, что стрелять по народу грех смертный»,—и помещик, отпустивший крестьян на волю с землей, и купец, который «не пожалеет своих рублей на освобождение», и вообще всякий, «кто всю жизнь и думал, и учился, и писал, и печатал только для того, как бы лучше устроить землю мирскую, да волю народную». В осторожных выражениях призывает Огарев крестьян и к борьбе: «Шуметь без толку и лезть под пулю в разбивку нечего; а надо, молча, сбираться с силами, искать людей преданных, которые помогали бы и советом, и руководством, и словом, и делом, и казной, и жизнью, чтобы можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстоять, против царя и вельмож, землю мирскую, волю народную, да правду человеческую».

На умеренной, хотя и больше развернутой, программе стоит выпущенный «Землей и Волей» первый номер листка «Свобода». «Организация наша,—говорится в этом листке,—составилась из людей, непоколебимо убежденных, и по слишком очевидным данным, что, при неспособности правительства, революция в России неизбежна, что она неминуемо разразится в восстании ограбленного и подавленного народа и что, при жестокости и тупоумии правительства, она может получить исполинские размеры кровавой драмы, если все, или, по крайней мере, большинство способное и честное из образованных классов не станет на сторону доведенного до восстания народа и не обессилит тем самым окончательно правительства, лишив его какой бы то ни было пользы в диком упорстве».

Таким образом, выступая на борьбу с правительством за права народные, организация—продолжает листок—«в настоящее время ставит себе одною из задач—привлечение образованных классов на сторону интересов народа, и, значит, их собственных», чтобы этим «предотвратить, или, по крайней мере, ослабить то кровопролитие, которое правительство вызовет своим дальнейшим существованием». Главная задача «Земли и Воли» сводится, стало быть, к организации «образованных классов», к привлечению их на сторону народа, чтобы свержением царского гнета предупредить кровавое восстание народа. Иначе говоря, «Земля и Воля» предполагала опереться на «образованные» классы, а не на народные массы, расчитывала на активность первых, но не последних. Поэтому и программа развивается в той либо иной ее части, смотря по тому, к кому приходится обращаться. Воззвание Огарева «Что нужно народу» много места уделяет крестьянской реформе и земельному

вопросу; листок «Свобода» об этом не говорит ничего. Политические требования в воззвании Огарева сильно затушеваны, так что нелегко даже постигнуть, чего, собственно, предлагается добиваться крестьянам—республики или ограничения царской власти правом народных выборных утверждать бюджет; «Свобода», обращаясь к «образованным классам», называет вещи своими именами: организация «будет неуклонно и постоянно вести дело к предположенной цели, к разрушению императорского самодержавия и к торжеству народных интересов, которые должны выразиться, прежде всего, в созвании народного собрания из выборных представителей всего народа. Собрание это само определит новый общественный строй нашего свободного отечества и последним моментом деятельности общества «Земля и Воля» будет гарантия свободных выборов в Народное Собрание и ограждение собрания от всяких насильственных влияний и от притязаний имущественных и сословных привилегий». Цель здесь сформулирована ясно: речь идет о созыве народного собрания, которое само определит новый общественный строй, т. е. о созыве учредительного собрания. Однако, принимая такой радикальный лозунг, «Земля и Воля» сама не высказывает своего мнения о будущем строе, оставляет вопрос этот открытым, делая этим, очевидно, уступку умеренным течениям.

Характерны также для выяснения политического лица «Земли и Воли» положения проекта инструкции, выработанной для общества Огаревым и Герценом. Инструкция рекомендует проповедывать «паче всего земский собор», причем молодым пропагандистам рекомендуется сугубая осторожность и умеренность: «Мы просим университетскую молодежь,—говорится в инструкции,—не проповедывать никаких абстрактных понятий о свободе и противоцаризме, а только необходимость земского собора, который бы основал поземельное народное владение, сельское, волостное и областное самоуправление, свободу веры и (попозже проповедывать) избранного земского царя. Если первый земский собор будет иметь силу заменить это имя другим, тем лучше, а если не будет—беда не велика, лишь бы избрание было на ограниченное число лет».

Таким образом, сглаживая «спорные оттенки одной и той же свободолюбивой партии», «Земля и Воля» между различными течениями революционной мысли выбирала путь компромисса. Если более крайние течения—мы видели это на примере воззваний Шелгунова и Чернышевского и увидим ниже на других примерах—обращались к крестьянству или призывали молодежь к революционной работе среди крестьянской массы, а более умеренные течения предполагали опереться на «образованные классы», то «Земля и Воля», обращаясь к «образованным классам» с более определенной политической программой, в то же время не забывает и о крестьянах, но к ним идет с умеренной программой. Можно с уверенностью предположить, что, несмотря на попытки сгладить острые углы, в обществе «Земля и Воля» единодушия достигнуто

не было и борьба течений, в той или иной форме, не прекращалась. По крайней мере, некоторые намеки на этот счет имеются. Так, в марте 1863 г., т. е., когда «Земля и Воля» еще существовала, Огарев в согласии со Слепцовым, одним из наиболее деятельных членов «Земли и Воли», составил воззвание «Всему народу русскому», которое было распространено в России, но говорил не от имени «Земли и Воли». В этом воззвание острые вопросы ставились перед крестьянами прямо, без затушевывания. «Не пеняй же государь-батюшка, Александр Николаевич,—обращалось воззвание к Александру II,—если народ и без твоего соизволения сам свою землю и волю возьмет, сам свой земский собор созовет». «А придет великий, ослушный час,—призывает воззвание крестьян,—не выдайте правого дела, все вместе, и солдатушек всех с собою возьмемте и двинемтесь за землю и волю народную и да воскреснет бог и расточатся враги его». Очевидно, под давлением слева, Огарев отказывался от своих же советов в инструкции воздержаться от пропаганды «противоцаризма» и счел возможным призывать крестьян готовиться к восстанию против царя за землю и волю. Однако, этот призыв делается не от имени «Земли и Воли», потому что не все землевольцы могли поддержать такого рода тактику.

Само общество «Земля и Воля» составилось из слияния разных существовавших уже раньше кружков—офицерских, студенческих и т. д.—и потому насчитывало довольно много членов, разбросанных по различным городам. По мысли Чернышевского, Россия была разделена на несколько округов, в которых должна была вестись работа общества: северный, южный, северно-южно-поволжский, московский и приуральский; в каждом из этих округов были комитеты общества, которые об'единялись центральным комитетом. «Всю силу организации—рассказывает в своих воспоминаниях Слепцов—мы видели прежде и больше всего в пропаганде, исходя из ужасной темноты народной массы, немногим меньшей начавшего оформляться рабочего и минимального политического развития чиновничества и служилого класса вообще. Пропаганда была нужна широкая, хотя бы и менее глубокая, чем нам хотелось по моменту и задачам не только очередного дня и его злобы». Когда после одной из поездок Слепцов вернулся с Волги, то центральный комитет, заслушав его сообщение о положении дел, пришел к заключению, что, по соображениям осторожности, должна быть временно приостановлена всякая работа, вроде выпуска прокламаций, устройства типографий и пр., а на первое место выдвинуть устную пропаганду; таким образом, деятельность организации сводилась к распространению прокламаций, а затем к устной пропаганде. Повидимому, «Земля и Воля» больше всего действовала среди офицеров и студенчества, но пыталась проникнуть в рабочую и крестьянскую среду. Воспоминания Слепцова глухо говорят о том, что члены общества пропагандировали «по фабрикам,

особенно подмосковным и около Тулы, в больших селах на ярмарках и на сельских сходах, под видом переговоров об открытии школ или о столкновениях с помещиками на почве уставных грамот». Этого рода пропагандой занималась, по преимуществу, молодежь, и притом настроенная более радикально. К широкой агитации «Земля и Воля» отношения не имела, и если такая агитация велась, то опять-таки радикальной молодежью, отступавшей от тактики организации. В этом смысле показательно отношение «Земли и Воли» к плану поднять в Казанской губернии крестьян в связи с польским восстанием.

Польские революционеры, подготовляя восстание, пытались заручиться содействием русских революционных кругов, для чего вступили в переговоры с центральным комитетом «Земли и Воли». Однако, последний отклонил предложение поляков о поддержке их на том основании, что «Земля и Воля» сама еще находится в периоде собирания сил и ничего сделать не может. Тогда поляки решили действовать самостоятельно. По плану их, следовало поднять восстание крестьян в Казанской губернии, чтобы отвлечь войска, которые предназначались для усмирения поляков. С этой целью составлен был подложный манифест от имени Александра II, который, даруя крестьянам все вольности, предлагал им избрать депутатов и прислать в Москву для образования государственного совета. Вместе с тем поляки попытались сами завязать сношения с казанской молодежью. Казанский комитет «Земли и Воли» отклонил предложение об активном выступлении, но не все с таким решением согласились. Среди последних был поручик Черняк, который, выйдя из организации, все же продолжал действовать в качестве землевольца, агитируя среди молодежи. Поляки вступили в сношения с Черняком, а через него—с кружком казанской молодежи. Характерно, что в своей агитации Черняк действовал от имени левой части «Земли и Воли». «Я должен признаться вам,—говорил он на одном совещании,—что в комитете нашем (т. е. в комитете «Земли и Воли»), образовались теперь собственно две партии. Одна думает, что нужно год или два вести пропаганду и только ею одной ограничить свои действия; другая же партия убеждена в необходимости как можно скорее начать восстание. Первая партия никак не хочет верить донесениям агентов, что народ повсеместно недоволен своим положением и что он восстанет тотчас, как только дан будет толчек. Я принадлежу ко второй партии, партии необходимого начатия дела, и нахожу, что всего лучше начать в Казанской губернии». В другой раз Черняк говорил: «Я должен признаться вам, господа, что мы приготовляем дело восстания независимо и тайно от той партии, которая хочет ограничиться только одной пропагандой. Ее не дождаться. Она, пожалуй, десять лет будет вести пропаганду и все станет говорить, что еще не время». Эти речи Черняка показывают, что тактика «Земли и Воли» разделялась не всеми ее чле-

нами, что не все готовы были довольствоваться одной пропагандой. Однако, и среди тех, к кому обращался Черняк, также не оказалось единодушия. Одна группа студентов, с которой он вел переговоры, скоро прервала их, так как нашла, что Черняк резко разошелся с позицией «Земли и Воли». Другие поддержали инициативу Черняка, и могли это сделать тем легче, что независимо от него собирались агитировать в крестьянской массе, и потому, наряду с прочими воззваниями, распространяли и подложный манифест, не принимая, однако, других мер к тому, чтобы вызвать восстание. Один из студентов, Уланов, составил и отпечатал прокламацию, которая особенно распространялась молодежью. Она начиналась словами: «Долго давили нас, братцы» и явно подражала воззванию Чернышевского «К барским крестьянам». Она призывала крестьян надеяться только на самих себя и самим добывать себе волю, но не торопиться и раньше времени, пока силы не собраны, не выступать. «Только не торопитесь, братцы, чтобы не испортить дело,—говорилось в прокламации.—Прежде пообдумайте, да соберитесь с силами. Знайте, братцы, что и между кафтанниками есть такие, у которых болит сердце за вас, которые всем, чем могут, готовы помочь вам. Они то и посылают вам этот листок; они же вам и напишут, когда все будут готовы подняться за святое дело, за волю вольную». Этот как и другие листки, распространялись среди крестьян, причем некоторые из молодежи шли в деревню и под разными предлогами раздавали листки крестьянам, учителям, священникам.

«Казанский заговор», как его называют, был раскрыт и дело не дошло до восстания, шансы которого были, вообще, более, чем сомнительны. Из множества арестованных лиц, пять были казнены (в том числе Черняк, который, сперва скрывшись, принимал участие в польском восстании 1863 г., но затем был арестован), и 18 приговорены к каторжным работам.

«Земля и Воля», как отмечено, к казанскому делу причастна не была. Движением этим была захвачена только часть молодежи, находившаяся под влиянием «Земли и Воли», но и она не стояла на точке зрения немедленного восстания и действовала независимо от планов Черняка. Само общество «Земля и Воля», просуществовав год, умерло естественной смертью, ликвидировалось по постановлению своего комитета. Очевидно, дела не оказалось. И не оказалось не только потому, что в то время вообще трудно было расчитывать на сколько-нибудь широкое движение, но и потому, что самый характер организации не обещал ей успеха: умеренная программа, вышедшая из компромисса, не удовлетворяла наиболее живую часть молодежи, силами которой тогда только и могло держаться движение. Да и эти силы, как и силы тех, кто готов был полностью принять программу «Земли и Воли», были чрезвычайно слабы.

8. „Молодая Россия“ Зайчневского.

Мы только что видели, что наиболее значительная из организаций первой половины 60-х годов, «Земля и Воля», была построена на компромиссе, включая в себе элементы, готовые пойти дальше компромиссной программы. Эта, более радикально настроенная молодежь пыталась организоваться и выступить также самостоятельно, как до возникновения «Земли и Воли», так и в последующее время.

Наиболее видным из кружков этой молодежи был кружок студентов московского университета Агрипопуло и Зайчневского, действовавший в 1861 г. Кружок обзавелся типографией, которую называл «первой русской вольной типографией», в подражание лондонской типографии Герцена, и печатал в ней, главным образом, произведения Герцена и Огарева. Литература эта предназначалась для студенчества, среди которого кружок занимался социалистической пропагандой. По словам Зайчневского и Агрипопуло, социалистические воззрения студентов, даже тех из них, которые считали себя социалистами, были весьма смутны. «Большинство товарищей, с которыми я встречался,—показывал Зайчневский следственной комиссии,—имеют весьма смутные социалистические убеждения по небольшому знакомству с произведениями западных социалистов». Агрипопуло также говорил о том, что не знает ни одного студента, «который бы был достаточно знаком с сочинениями писателей тех школ, которые обыкновенно обозначаются общим названием социализма». Углублению социалистического воззрения и должен был служить вольный станок, на котором, помимо Герцена, печатались также сочинения материалистов Фейербаха и Бюхнера. Попутно Зайчневский с Агрипопуло выработали и свои социалистические убеждения.

В особенности выдавалась фигура Зайчневского, тогда 19-тилетнего юноши. В одном из писем к Агрипопуло, он пишет, что они, как социалисты, должны проповедывать свои убеждения всюду—«перед дворянами в клубе, на дому у них, и перед мужиками, и. вообще, везде, где есть общество». Зайчневский так и поступает: когда ему приходится сталкиваться с крестьянами, он призывает их на борьбу за землю и волю, на панихиде по убитым в Варшаве он произносит речь об об'единении поляков с русским революционным кружком для борьбы с правительством. Перед следственной комиссией он не отрицает этих выступлений, но прямо заявляет: «Я ставил себе задачею распространение мнений, составляющих мое убеждение».

Воззрения Зайчневского складывались под влиянием Герцена, Чернышевского и революционного крыла западных утопистов. Наиболее полно эти воззрения Зайчневским формулированы в составленной им прокламации «Молодая Россия», которая была отпечатана в 1862 году, когда он уже сидел в тюрьме.

Прокламация эта выделяется из ряда других того времени, между прочим, тем, что старается оттенить свое расхождение с другими течениями. «Молодая Россия» делает это, прежде всего, по отношению к Герцену. «Несмотря на все наше глубокое уважение к А. И. Герцену, как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние,—говорилось в ней,—как к человеку принесшему России громадную пользу, мы должны сознаться, что «Колокол» не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их». Герцену ставится в вину, что он потерял в 1848 году веру в насильственные перевороты, а затем опустился до роли конституционалиста; не забыт и его «близорукий» ответ на письмо Чернышевского. «Совершенное незнание современного положения России, надежда на мирный переворот, его отвращение от кровавых действий, от крайних мер, которыми одними можно только что-нибудь сделать»—все это окончательно уронило Герцена в глазах «республиканской партии». Так же мало удовлетворителен и «Великорусс», который отвечал только желаниям «нашего либерального общества, т.-е. массы помещиков, стремящихся хоть чем-нибудь нагадить правительству и опасающихся в то же время даже тени революции, грозящей поглотить их самих». «Великорусс» не мог «составить около себя партии», а своими «невинными адресами» только вызывал улыбку революционеров.

Всем существующим течениям «Молодая Россия» противопоставляет свое понимание положения России и свою программу. В России—две партии: с одной стороны «все имущие, все у кого есть собственность родовая или благоприобретенная», которые вместе с царем образуют «партию императорскую», и с другой стороны—«всеми притесняемая, всеми оскорбляемая партия, партия—народ». Между этими партиями идет борьба, которая почти всегда оканчивается не в пользу народа. Но «народная партия», несмотря на поражения, все же продолжает борьбу: «сегодня забитая, засеченная,—она завтра встанет вместе с Разиным за всеобщее равенство и республику русскую, с Пугачевым за уничтожение чиновничества, за надел крестьян землей». И борьба эта не прекратится, «пока будет существовать современный экономический порядок, при котором немногие, владеющие капиталами, являются распорядителями участи остальных». Прокламация видит выход только в одном—«революция, революция кровавая и неумолимая,—революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». То обстоятельство, что на Западе революции 1848 года закончились поражением, не должно смущать, так как они там «кончались худо от непоследовательности людей, поставленных во главе ее». «Мы изучили историю Запада и это изучение не прошло для нас даром—заявляет «Молодая Россия»:—мы будем последовательнее не только жалких революци-

неров 1848 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах».

К чему же стремится «Молодая Россия», какова ее программа? Прокламация не оставляет читателя в неведении и подробно излагает свои требования. Деспотическое правление должно быть заменено республиканско-представительным союзом областей с переходом всей власти в руки национального и областных собраний. Все судебные власти должны выбираться самим народом; народным собраниям должно принадлежать и распределение податей, с обложением богатых, а не бедных, на началах прогрессивного дохода. Срок военной службы должен быть сокращен, а постоянная армия по возможности распущена и заменена национальной гвардией. Каждой области должно быть предоставлено право голосованием решать, желают ли они войти в состав «федеративной республики русской»; Польше и Литве, как заявившим о своем нежелании остаться в составе России, должна быть предоставлена полная независимость. Монастыри, куда стекаются «бродяги, дармоеды, люди ничего неделающие», должны быть упразднены, а имущество их, как и церквей, должно быть конфисковано в пользу государства и употреблено на уплату государственных долгов.

Такой революции политической должна соответствовать и революция социальная. Частная земельная собственность уничтожается; каждый человек приписывается к какой-либо земледельческой общине, получая землю в пожизненное пользование, на определенное число лет, по истечении которых производится новый передел; получивший надел может отказаться от него или сдать в наем, но обязан платить подати. Все остальное имущество членов общины остается в собственности их лишь в продолжении их жизни и по смерти делается достоянием общины. Таким образом, наследование упраздняется. Далее требуется устройство «общественных фабрик», управляемых выборными лицами, и кооперативных лавок. Воспитание детей должно стать делом общественным и до конца учения дети должны содержаться на счет общества. Женщины должны быть уравнены во всех правах с мужчинами, брак должен быть уничтожен, как упразднена должна быть и семья.

Требуя федеративного устройства России, прокламация предвидит, что революционной партии, которая станет во главе правительства, придется на некоторое время сохранить единство государственной власти, чтобы «при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени». Поэтому, революционная партия «должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем». В особенности, выборы в национальное собрание «должны происходить под влиянием правительства, которое должно позабо-

титься, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка (если они только останутся живы)».

Какими силами может быть произведена революция? «Мы надеемся на народ,—отвечает прокламация,—он будет с нами, в особенности, старообрядцы, а ведь их несколько миллионов. Забитый и ограбленный крестьянин станет вместе с нами за свои права, он решит дело, но не ему будет принадлежать инициатива, а войску и нашей молодежи». И «Молодая Россия» призывает офицеров вспомнить «славные действия в 1825 году», и в особенности призывает молодежь, которая должна стать во главе движения, готовиться к славной деятельности. «Скоро, скоро наступит день,—читаем дальше в прокламации,—когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком: да здравствует социальная и демократическая республика русская, двинемся на зимний дворец истребить живущих там». Возможно, что дело кончится «одним истреблением императорской фамилии», но возможно, и даже более вероятно, что на защиту царя станет вся «императорская партия». «В этом последнем случае, с полною верою в себя, в свои силы, в сочувствии к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик «в топоры», и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против нас; кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Но не забывай при каждой новой победе во время каждого боя повторять: да здравствует социальная и демократическая республика русская!»

Читатель видит, что прокламация Зайчневского резко выделяется среди всех прочих, с которыми мы ознакомились, последовательным развитием воспринятых начал. Не трудно догадаться, из каких элементов сложились воззрения Зайчневского. От «уважаемого» Герцена, несмотря на суровую его критику, взяты основы «русского социализма», вера в общину и в то, что России суждено первой осуществить социализм. Но Зайчневский не довольствуется общим требованием социалистических преобразований, но идет дальше и требует общественного воспитания детей, уничтожения брака, семьи и наследства; как и все утописты, он придает первенствующее значение кооперации, и его «общественная фабрика»—артельная, кооперативная фабрика, а не форма национализации или обобществления промышленности. От Чернышевского идет призыв «к топору», к восстанию, но Зайчневский и здесь не довольствуется общим лозунгом и требует поголовного истребления всех имущих («императорской партии»), с чем едва-ли согласился бы Чернышевский. Вера в интеллигенцию, которая при-

звана развить «зародыш» общины в социалистический порядок,—вера общая у Чернышевского и Герцена,—принимается Зайчневским, но он строит на ней дальнейшие выводы: переворот должна произвести молодежь, опираясь на войска, народу же инициатива принадлежать не будет, на него возлагается лишь «надежда», что он будет с «революционной партией», поддержит ее и этим «решит дело». Вместе с тем, мы видели, что Зайчневский обещает быть последовательнее якобинцев, «великих революционеров 92 года»; он принимает их тактику, которую собирается лишь исправить. Исправление это он берет у революционеров-утопистов (Бланки, напр.), с деятельностью и учением которых он, повидимому, был знаком. Отсюда идея захвата власти «революционной партией», диктатура ее, с помощью которой «в наивозможно скорейшем времени» должны быть произведены изменения в экономическом и общественном строе.

Многие из положений, выставленных Зайчневским, не составляли новости в прокламационной литературе того времени. Мы видели, что вышедшее почти одновременно с «Молодой Россией» воззвание Шелгунова к молодежи, также настаивало на решительном перевороте и решительных действиях. Воззвание Шелгунова требовало уничтожения частной собственности на землю и нисколько не смущалось тем, что для раздела земли придется вырезать сто тысяч помещиков. Пути революции для многих были смутными—в отдалении ожидалось крестьянское восстание, но инициатива должна была принадлежать молодежи и активная роль уделялась войску, в особенности; отсюда частые воззвания к солдатам и офицерам, исходящие и от Огарева, и от Шелгунова, и от Чернышевского, и от «Земли и Воли»; каждое воззвание к крестьянам говорит и о солдатах. Зайчневский дал крайнее выражение этим революционным настроениям, наметил более отчетливо и пути, и цели революции: через захват власти и диктатуру революционной партии к социальной и демократической республике.

Но и при таком понимании целей и путей революции, Зайчневский, конечно, не переставал быть утопическим социалистом, составляя лишь крайнее, революционное крыло его. Кружок Зайчневского отражал настроения наиболее революционных элементов молодежи, которые не довольствовались позицией не только Герцена и Шелгунова, но отчасти и Чернышевского. Они спешили от слов перейти к делу, от воззваний к народу—к непосредственной революционной работе в народе.

9. Кружок „ипатинцев“.—Каракозов.—Нечаев.

Активное настроение части молодежи, отражением которого был кружок Зайчневского, продолжало шириться и крепнуть. Во второй половине 60-х годов делаются попытки сближения с крестьянской массой и непосредственной в ней агитации. Лопатин

напр., рассказывает, что по почину Волховского было организовано «Рублевое общество», члены которого собирались стать кочующими сельскими учителями («рублевым» оно было названо потому, что средства его составлялись из рублевых взносов). Обучая крестьянских детей, члены общества должны были беседовать со взрослыми на исторические и политические темы, и в частности выяснить, насколько крестьянство подготовлено к революционной пропаганде; попутно предполагалось изучить также экономическое положение крестьян. Приблизительно такие же задачи по началу ставил себе московский кружок «ипатинцев», образовавшийся в 1863—1864 г. и затем превратившийся в общество «Организация», с которым связано покушение Каракозова на жизнь Александра II.

Среди «ипатинцев» (они назывались так по фамилии Ипатина, в квартире которого собирались, но руководителем общества был Ишутин), была сильная тяга «в народ». Они готовились отправиться в деревни, собирать сведения о положении крестьян, устраивать земледельческие артели и, завязав связи с крестьянством, агитировать за даровой переход земли к крестьянам. Ишутин предполагал сделаться извозчиком и таким образом получить возможность вести пропаганду. Никакой выработанной программы общество не имело—дело шло о создании революционного ядра, из которого могла бы развиться организация для борьбы за экономическое и политическое освобождение народа. Твердо выяснилось лишь решение перейти от пропаганды среди студенчества к пропаганде в широких массах крестьянства и беднейших слоях городского населения. Цели общества, поскольку они намечались, складывались, повидимому, не без влияния традиций, шедших от кружка Зайчневского. Предполагалось, после свержения самодержавия, захватить власть в свои руки, уничтожить крупных землевладельцев и капиталистов и построить общество на социалистических началах, организовав государство по системе соединенных штатов Америки,—иначе говоря, ипатовцы принимали, по примеру Зайчневского, захват власти «революционной партией», истребление «императорской партии» и образование республиканско - федеративного социалистического государства. Впрочем, нужно иметь в виду, что здесь не было не только выработанной программы, но и общего настроения. Среди членов общества было не мало и таких, которые верили в мирное развитие, возлагали надежду на организацию артелей и т. п. Революционно настроенных и принимавших радикальную программу и решительные действия было меньшинство.

Среди этого меньшинства созрела мысль и о необходимости цареубийства, мысль, о которой никто не говорил со времени декабристов. Однажды Ишутин на собрании «Организации», сообщив, что в Женеве образовался «Европейский комитет», который среди революционных средств не отвергает и убийства правящих

лиц, сказал: «Вот бы и нам следовало бы предпринять что-либо решительное, более полезное, не ограничиваться одними разговорами, а примкнуть к Европейскому комитету, совершить что-нибудь, что расшевелит молчащую толпу, привлечет к нам многих, произведет влияние на народ, т.-е. цареубийство». Под Европейским Комитетом Ишутин разумел, вероятно, образовавшееся к тому времени Международное Общество рабочих (первый Интернационал), и свое предложение о цареубийстве прикрывал авторитетом Интернационала, который, однако, не стоял на точке зрения террора. Среди членов «Организации» предложение Ишутина не встретило поддержки. Тогда Ишутин образовал группу, которую назвал «Ад» и которая должна была взять на себя цареубийство; вместе с тем группа была наделена и более широкими полномочиями: она должна была следить за членами «организации» и убивать тех, кто изменял обществу, деятельность ее должна была продолжаться и во время революции, причем в последнем случае на обязанности ее лежало следить за правительством, направлять его деятельность и карать членов его, если они не будут исполнять принципов «Ада». Таким образом, террор возводился в более или менее длительную систему, цареубийство же должно было разбудить спящее общество и привлечь к революционерам симпатии народа.

Цареубийство было поставлено в порядок дня и выполнить его взялся Каракозов, двоюродный брат Ишутина, студент московского университета, раньше исключенный из казанского университета за участие в студенческих беспорядках. Все знавшие Каракозова отзывались о нем, как о человеке стойком и решительном, у которого слово не расходилось с делом.

4-го апреля 1866 года, когда Александр II, после прогулки в Летнем саду, направлялся к карете, Каракозов выстрелил в него из револьвера на близком расстоянии. Царь остался невредим. По одним рассказам, его спас мастеровой Комиссаров, ударивший по руке стрелявшего Каракозова, по другим—Каракозов просто промахнулся. Передают, что, когда его схватили и подвели к Александру II и последний спросил, почему он стрелял, Каракозов ответил: «Потому что ты обманул народ—обещал ему землю, да не дал». Говорили также, что когда темные люди Каракозова связывали, он крикнул им: «Дурачье! Ведь я для вас же, а вы не понимаете».

При Каракозове нашли порох, пули, яд и рукописное воззвание «Друзьям-рабочим». В воззвании этом Каракозов об'яснял мотивы, побудившие его на цареубийство. Он пишет о тяжелом положении крестьян, которых царь обманул своей волей. От помещичьей земли отрезали крестьянам малый кусок, да и за него нужно платить, и стало крестьянам еще хуже прежнего: «за неплатеж откупных денег в казну, за недоимки у крестьян отнимают последнюю лошаденку, последнюю корову, продают скот с

аукциона и трудовыми мужицкими деньгами набивают царские карманы». Виноват царь-помещик, окруживший себя чиновниками-дворянами, и его надо уничтожить—тогда струсят все помещики, и крестьяне добудут себе землю и волю. «Удастся мне мой замысел,—пишет Каракозов,—я умру с мыслью, что смертью своей принес пользу дорогому моему другу—русскому мужику. А не удастся, то все же я верю, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось—им удастся».

И то, что говорит Каракозов крестьянам, он говорит и царю. Из крепости, приговоренный к казни, он пишет Александру II о том, что побудило его на покушение. Он пошел на это, «чтобы сделать счастливыми огромное большинство людей, жизнь которых проходит в постоянных тяжелых трудах, почти без всякого вознаграждения за эти тяжелые труды, в постоянном невежестве, болезнях и всевозможных лишениях, страданиях физических и моральных, преступлениях, грабеже, воровстве». Положение это сохранится до тех пор, «пока не падет совершенно ныне существующий экономический порядок и установятся прочные земельные отношения, основанные на равном разделе земель и равномерном вознаграждении за труд». Каракозов верит, что «скоро придет время, когда никакие в мире законы, ни государи не будут в состоянии удержать порыв народного гнева и злобы», что «где бы ни вспыхнуло рабочее движение—в Англии, Франции, или Германии или, наконец, у нас в России, оно, как пламя, охватит всю Европу пожаром». «Относительно же себя,—пишет Каракозов царю,—я могу сказать, что, если бы у меня было сто жизней, а не одна, и если бы народ потребовал, чтобы я все сто жизней принес в жертву народному благу, клянусь, государь, всем, что только есть святого, что я ни минуты не поколебался бы принести такую жертву».

Каракозов сперва назвал себя вымышленным именем, показывал, что у него нет сообщников и что покушение—его единоличное дело. Случайность привела жандармов на след Ишутина, а затем раскрыли и личность Каракозова. Его казнили 3-го сентября 1866 года. Ишутину казнь была заменена вечной каторгой; из прочих членов организации восемь было сослано в Сибирь, остальные заключены в крепость.

Каракозовский выстрел произвел сильнейшее впечатление на революционно настроенную молодежь. «Тот, кто не прожил в среде русской молодежи это многозначительное время, тот едва-ли поймет теперь ее стремления,—читаем в первом номере «Народной Расправы», вышедшем летом 1869 года.—«С этой поры,—продолжает листок,—начинается в молодежи сознание своих революционных сил. Быстро разносились рассказы об этих людях и, охватывая душу огнем, быстро развивали крепость, энергию и готовность безраздельно отдаться делу освобождения... Мощные образы ишутинцев крепко запечатлелись в головах юношества и сделались образцами».

Эти слова принадлежат Нечаеву, с именем которого связана попытка на почве студенческого движения создать организацию, имеющую целью непосредственное революционное дело. Как видно из приведенных только что суждений «Народной Расправы», Нечаев сам считал себя прямым продолжателем дела каракозовцев. «Почин сделали ишутинцы. Пора начинать и нам, пока не остыли их горячие следы»,—писала «Народная Расправа».

Все знавшие Нечаева отзывались о нем, как о выдающейся личности, и таков он был на самом деле. Фанатически преданный делу революции, он жил только ее идеей и ради нее готов был на все. Задумав создать на почве студенческих волнений 1869 г. революционную организацию, он неожиданно уезжает за границу, пустив слух, что был арестован и бежал из крепости. За границей он сближается с Бакуниным, которому выдает себя за руководителя большой революционной организации. Такие, далеко не похвальные приемы, зная теперь всю мученическую жизнь Нечаева, можно об'яснить только его фанатизмом: желая заручиться содействием Бакунина для своих революционных замыслов, никому неведомый учитель приходской школы думал, что лучше всего он достигнет свой цели, если явится к Бакунину в качестве уже известного революционера. Сначала Нечаеву удается добиться своей цели. Бакунин выражает готовность содействовать ему, но затем между ними происходит разрыв, когда Нечаев задумал заняться в Швейцарии экспроприацией, чтобы раздобыть денег для своих революционных планов.

По возвращении в Россию, Нечаев организует общество «Народная расправа», и, когда он пришел к заключению, что один из членов этого общества готов расстроить планы, он убивает его. Все это — и мистификация Бакунина, и попытка экспроприации, и убийство члена организации — проявление одного и того же настроения, которое не знает преград и устраняет препятствия любою ценою. Нечаев вторично бежит за границу, но по настоянию русского правительства швейцарские власти выдают его России, как уголовного преступника, обвиняемого в убийстве. Праведный царский суд приговорил Нечаева к 20-летней каторге, которая фактически была заменена заключением в Петропавловской крепости, где он и пробыл с 1873 года по день своей смерти (1883 г.). Но и здесь Нечаев оставался верен себе: он тщетно, при самых тяжких условиях, добивался пересмотра своего дела, доказывая, что должен быть судим как политический преступник, завладел доверием крепостной стражи, через которую установил связи с «Народной Волей», посылая из крепости свои советы действовавшим на воле революционерам.

Чего же желал Нечаев? Он считал, что единственным революционным элементом является учащаяся молодежь и потому нужно расширить студенческое движение до движения обще-революционного. «Программа революционного действия», исходившая от од-

ного из нечаевских кружков, все бедствия приписывала «дурному экономическому строю», который допускает господство сильного над слабым, богатого над бедным. Этот строй должен быть уничтожен, и его уничтожит народ, когда сознает, что право и сила на его стороне. «Полная свобода обновленной личности лежит в социальной революции,—говорила «программа»,—но пока будет существовать настоящий политический строй общества, экономическая реформа невозможна; единственный выход—это политическая революция, истребление гнезда существующей власти, государственная реформа. Итак, социальная революция, как конечная цель—и политическая, как единственное средство для достижения этой цели».

В этой программе—знакомые нам настроения наиболее радикальных революционных кружков 60-х годов. Но Нечаев не только продолжал старые настроения. Еще до поездки за границу он был знаком со статьями Бакунина, который, как мы увидим, был тогда анархистом; побывав за границей и поближе познакомившись с учением Бакунина, он возвратился в Россию анархистом. Основанное Нечаевым общество «Народная расправа» всецело принимает анархическую программу. Устав этого общества заявлял, что оно не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху, так как «будущая организация несомненно выработается из народного движения и жизни». «Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и классы России», гласил другой параграф устава. Изданный Нечаевым листок «Народная Расправа» писал: «Мы находим только один отрицательный, неизмеримый план общего разрушения. Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий как несовместимой с нашей деятельностью, и потому считаем бесплодной всякую теоретическую работу ума... Мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя; созидать не наше дело, а других, за нами следующих».

Мы увидим, что таковы были в общем и воззрения Бакунина, первым проводником которых в России был Нечаев.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО 70-х ГОДОВ.[1])

Как ни скудно было революционное движение 60-х годов, какие бы младенческие формы оно ни носило, все же нельзя сказать, что оно прошло бесследно. Напротив, в эти именно годы заложены были основы движения, получившие развитие в последующее время. Можно сказать, что революционная мысль как бы нащупывала почву, искала места для приложения революционной активности интеллигенции. Пропаганда среди молодежи и образование из нее революционного кадра, попытки сближения с крестьянством и пропаганда в его среде, переход от мелких кружков к более крупным организациям, из которых должны были получиться «революционные партии» («Земля и Воля» и ишутинская «Организация»), идея народного восстания, приобретавшая все большую популярность, применение террора, как средства пробудить революционные силы в народе — все это, позже сложившееся в систему, составило то наследство, которое приняли революционеры 70-х годов.

С другой стороны, складывались и основы революционного учения. Вера в крестьянскую общину, как в «зародыш» социализма, и в особые пути социального развития в России, шедшая от Герцена, в 60-е годы не только не ослабела, но окрепла. Мы видели, что ее принимают все течения революционной мысли, и кри-

---

[1]) Пособия: Для понимания движения 70-х годов в особенности со второй их половины дает больше всего *Плеханов,*—см. „Русский рабочий в революционном движении“ (собр. сочин. т. III), предисловие к „Истории революц. движения“ Туна (есть несколько изданий), „Социализм и политическая борьба“ и „Наши разногласия“ (собр. сочин. т. II),—„Неудачная история партии“ „Народная Воля“ („Совр.Мир“. 1912 г. № 5), „О былом и небылицах“ („Пролет. Революция“, 1923 г. № 3 (15); *М. Покровский,* „Русская история“ т. IV (гл. XX); *Мартов,* „Общественные и умственные течения 70-х годов“ в изд. „История русской литературы“, т. IV; *его-же,* „Развитие крупной промышленности и рабочее движение в России“, М. 1923 (гл. II); *Стеклов,* „Историческое подготовление русской социал-демократии“ в сборн. „Борцы за социализм“; *Б. Горев,* „М. А. Бакунин“, 3-ое изд.; *Б. Горев,* „Лавров и утопич. социализм“; „Под Знамен. Марксизма“ № 67; *К. Пажитнов,* „Развитие социалистических идей в России“ (гл. IX—XI); *Аптекман,* „Общество „Земля и Воля“ 70-х годов“. П. 1924; *его-же,* вступительная статья к сборнику „Черный Передел“, П. 1923; *В. Фигнер,* „Запечатленный труд“, т. I, 1922; *Л. Дейч,* „За пол века“, ч. I и II; *М. Балабанов,* „Очерки по истории рабочего класса в России“, ч. II. К 1924 (гл. VIII и XV); *Богучарский,* „Активное народничество 70-х годов“, М. 1912.

тическое отношение к этой вере Чернышевского не оказывает никакого влияния на склад революционных воззрений.

«Русский социализм», как он сложился в 60-х годах, был утопическим социализмом. Но это не была простая копия западноевропейского утопизма. Мы видели, что Герцен переработал учение западных утопистов применительно к русской действительности, пытаясь найти опору для своих социалистических стремлений в об'ективных формах русской жизни—в общине, которая заключает в себе элементы социалистического порядка. Но дело не ограничилось только этим. Основоположники утопического социализма, как известно, стояли на точке зрения примирения классов, а не борьбы их, были сторонниками мирного развития. Однако, мирно были настроены не все утописты-социалисты. Во Франции, например, Бланки, оставаясь утопическим социалистом, был сторонником весьма решительной революционной борьбы; в Германии Вейтлинг обращался к «людям труда и заботы», и в известных случаях готов был обращаться и к «босяцким элементам городского населения», а другой утопист Бюхнер призывал к восстанию крестьян. То обстоятельство, что утопический социализм местами искал для себя опоры не только в торжестве разума, но и в движении народных масс, предпочитая бунт мирному развитию, находит себе об'яснение, конечно, в особенностях социальных условий отдельных стран. Вполне естественно, что русские условия должны были предопределить также и характер русского утопического социализма. В России, которая только что вырвалась из крепостного порядка, с господством дворянства и самодержавно-полицейской реакции, трудно было мечтать о мирном развитии — необходимость борьбы здесь диктовалась всей жестокой прозой окружающей действительности. Поэтому, даже Герцен не стоял до конца исключительно на точке зрения мирной тактики, а все революционные кружки, с которыми мы ознакомились, связывали так или иначе свои надежды с революционной борьбой и с народным восстанием. Утопический социализм приобретал яркие черты революционности, бунтарства.

Революционное движение было все еще движением исключительно интеллигенции. Мы видели, что такая роль ее в революционном движении вызывалась положением, которое создано было для нее новыми, капиталистическими отношениями. В борьбе за освобождение интеллигенция, сама по себе бессильная ищет поддержки в массе, в движении классов. Если одни идут по «мирному» пути, сливаясь с либеральными кругами, то другие становятся на точку зрения русского крестьянства, составляя собственно революционное ядро «русского социализма». Но стать на точку зрения крестьянина, значить сделаться выразителем его стремлений, крестьянство же не составляло революционной силы вообще и такой силы, в особенности, которая ведет к победе социализма. Общинное земле-

владение нисколько не мешало торжеству в крестьянстве собственнических стремлений, уклада мелко-буржуазного. Стихийное недовольство крестьянства, разоряемого новыми капиталистическими отношениями, направлялось против помещика, но не против буржуазного порядка, как недовольство его гнетом чиновничества не распространялось на царя: собственность и царская власть оставались священными. Чтобы найти опору для своих социалистических стремлений в крестьянской массе, революционной интеллигенции приходилось, поэтому, идеализировать эту массу, наделять ее такими чертами, какими она в действительности не обладала. Крестьянин становился «коммунистом по духу», показавшим свою революционную мощь в бунтах Разина и Пугачева, крестьянство—не только подготовленным к переходу в социалистический порядок, но и способным бороться за торжество социализма.

Эти основные черты революционного учения сложились к началу 70-х годов и нашли свое выражение, главным образом, в воззрениях Бакунина, Лаврова и Ткачева.

1. Бакунин—анархист.

Мы покинули Бакунина в тот момент, когда австрийские власти выдали его русскому правительству. В мае 1851 г. Бакунина привезли в Петербург и заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Здесь месяца через два Николай I предложил Бакунину написать ему обо всем, что с ним произошло, как «духовному отцу». Бакунин написал тогда «Исповедь», с которой мы выше познакомили читателя. «Я рассказал Николаю всю свою жизнь за границей,—писал впоследствии об этом Бакунин Герцену,—со всеми замыслами, впечатлениями, чувствами, причем не обошлось для него без многих поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего, повидимому, безвыходного положения, с другой же—на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело и именно потому ему очень понравилось». Бакунина продержали три года в Петропавловской крепости и еще три года в Шлиссельбургской. После смерти Николая I родные Бакунина, пользуясь большими связями, добились замены дальнейшего заключения ссылкой его в Сибирь. В начале 1857 г. он поселяется в Сибири, заводит здесь знакомства, пользуется покровительством местной власти. Долгие годы заключения не сломили бурной натуры Бакунина. «Я не рожден для спокойствия, отдыхал поневоле несколько лет, пора опять за дело»,—пишет он из Сибири лондонским друзьям, Герцену и Огареву, и сообщает, что занимается пропагандой среди ссыльных поляков и мечтает о поездке в Россию, «чтобы искать людей, вновь познакомиться со старыми и открыть новых, чтоб ознакомиться живее с самою Россиею и постараться угадать,

чего от нее ожидать можно, нельзя». Планы его, однако, изменяются, и в 1861 г. он бежит из Сибири в Японию, оттуда через Америку—в Лондон.

По словам Герцена, «Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен... В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Моросейки». Эту неувядаемость революционной энергии Герцен об'яснял, между прочим, тем, что Бакунин не пережил непосредственно впечатлений от лет европейской реакции, последовавшей за 1848 г., события этого года были для него свежи, звенели еще в ушах, мелькали перед глазами. Возвратившись в Европу, Бакунин начинает с того, чем кончил в 1848 г.—снова бросается в «славянское дело», поддерживает польское восстание, за которым видит торжество славянской федерации, сближается с революционными деятелями, строит революционные планы.

Разумеется, с поля зрения его не исчезает и Россия. Бакунин раньше Герцена и Огарева приходит к признанию необходимости революционной тактики применительно к русским делам. Сначала он поддерживает кампанию «Колокола» в пользу созыва земского собора, принимает вместе с Огаревым участие в выработке проекта дворянского адреса, отдает дань этим, по его словам, «нелепым надеждам», когда «дворянство еще не успело выказать всей, таившейся в нем подлости». Вскоре он совершенно расходится с точкой зрения своих друзей и проповедует для России те же решительные действия, какие он признает необходимыми для Запада. Те зародыши анархических воззрений, которые мы могли наблюдать в нем в 1848 году, теперь созревают окончательно. К впечатлениям, которые Бакунин вынес из революции 1848 г. и которые толкали его в сторону крестьянско-бунтарской стихии, присоединились свежие впечатления от России, которые были впечатлениями не только от крепостных казематов. В Сибири Бакунин не сидит без дела, заводит знакомства с ссыльными, наблюдает жизнь и чутко к ней прислушивается. Но тяжелый склеп николаевской империи мог только укрепить в Бакунине с новой силой дух его разрушения; то, что он в нем увидел и пережил, могло лишь усилить в нем страсть разрушения не только николаевского государства, но и государства вообще; в глухом брожении крепостного крестьянства, казалось, готового в стихийном порыве разнести царство помещиков, он хотел почерпнуть новую веру в революционную силу крестьянской массы.

Бакунин становится анархистом, на знамени его—уничтожение государства, буржуазной цивилизации, вольный союз общин, областей, наций. «Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно, и рабство,—пишет Бакунин,—государство без рабства, открытого или маскированного, немыслимо—вот почему мы враги государства». «Тот, кто желает вместе с нами учреждения свободы, справедливости и мира, кто хочет торжества человечества,

кто хочет полного и совершенного освобождения народных масс, должен пожелать вместе с нами разрушения всех государств»,—пишет он в другом месте. На развалинах разрушенных государств отдельные лица получат возможность по своему желанию свободно об'единяться в общины, общины—в области, области—в нации, нации—в единое человечество; за каждым должна быть сохранена «абсолютная свобода» соединяться или не соединяться в свободные союзы, как и свобода всегда выйти из такого соединения. Разрушение государства и создание возможности свободной федерации предполагают революцию решительную, радикальную, уничтожающую все старое до основания. Смутные, стихийно-разрушительные планы Бакунина 1848 г. превращаются в продуманную систему: нужно распустить армию, чиновничество, упразднить суд и право, прекратить взимание налогов и податей, освободить всех от обязанностей платить долги, сжечь все документы судебные и нотариальные, и т. д. «Мы понимаем революцию,—говорил Бакунин,—в смысле разнуздания того, что теперь называется дурными страстями, и разрушения того, что на том же языке называется естественным порядком». Бакунин не только не боится анархии, но призывает ее, так как, по его мнению, только из «полного выражения разнузданной народной жизни» может родиться новый порядок. И этот порядок будет строится по «принципу свободы», а не «по способу власти»—Бакунин отрицает всякую власть, все равно, называется ли она монархией, буржуазной республикой или революционной диктатурой. Как противник всякого государства, Бакунин выступил ярым врагом «социалистов-государственников», т.-е. тех социалистов, которые требовали разрушения *классового* общества и государства, но признавали социалистическую власть (диктатуру пролетариата), опирающуюся на волю рабочего класса, свергнувшего классовое господство буржуазии.

С точки зрения анархической смотрел Бакунин, конечно, и на русские дела, и эта сторона его воззрений представляет для нас наибольший интерес. Уже в 1866 г. он упрекает Герцена и Огарева в том, что своим обращением к Александру II они поддерживают иллюзию, будто «от государства вообще и в особенности от всероссийского государства» можно ожидать для народа чего-либо доброго. «Ты—социалист,—пишет Бакунин Герцену,—поэтому ради последовательности должен быть врагом всякого государства, несовместимого с действительным, широким, вольным развитием социальных интересов народов... Или ты социалист государственник, готовый помириться с самой гнусной и опасной ложью, порожденною нашим веком: с казенным демократизмом, с казенным бюрократизмом?»—спрашивает он своего друга. С этой точки зрения Бакунин не во всем соглашается с Герценом и во взгляде на крестьянскую общину. Как и Герцен, он общину идеализирует, видит в ней «зародыш» социализма, который действительно таится «в недрах рус-

ского крестьянского общества», но и к общине подходит со своей анархической точки зрения. Современная община его не удовлетворяет: она неподвижна, не обнаруживает признаков развития, в ней «совершенное бесправие патриархального деспотизма и патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы». Но, что же мешает развитию общины? «Государство, московское государство, которое убило в русском мире все живые зачатки народного просвещения, развития и преуспеяния», отвечает Бакунин. По его мнению, развитие общины несовместимо с государством и потому он, как «решительный социалист», думает, что, «первая обязанность нас, русских изганцев, принужденных жить и действовать за границей—это провозгласить громко необходимость разрушения империи». Освобожденная от гнета государства, община получит возможность развить заложенные в ней «зародыши». Залог этого освобождения хранит в себе сама община, в которой наряду с тем, что придушено государством, имеется и другая сторона: «бунтовская, Стенько-Разиновская, пугачевская, раскольничья,—единственная сторона, от которой должно, по моему мнению, ждать морализации и спасения для русского народа. Ну, да это, добавляет Бакунин, сторона уже не мирно развивающаяся, не государственная, а чисто революционная, революционная даже и тогда, когда она пробуждается «с призывом царского имени». Иначе говоря, община, разрушив государство, освободит и себя.

Как же может произойти это освобождение, каковы предпосылки, условия, делающие возможной революцию? Бакунин отвечал, что для этого, прежде всего, требуется, чтобы народные массы выработали свой идеал и чтобы этот идеал их столкнулся с нищетой их, доводящей до отчаяния. Он утверждал, что народное развитие совершается не путем «книжного образования», а путем «естественного наростания опыта и мысли», тяжелыми и горькими уроками жизни; народный идеал также вырабатывается «всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и просвещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов»; к этому «нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право». «Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетой, доводящей его до отчаяния, тогда социальная революция неотвратима, близка и никакая сила не может ей воспрепятствовать». По мнению Бакунина, народные массы всех европейских стран дошли до «сознания, что им от привилегированных классов и от нынешних государств, вообще от политических переворотов, ждать нечего, и что они могут освободиться только собственными усилиями своими, посредством социальной революции»—этим определяется «всеобщий идеал, ныне в них живущий и действующий».

Но если эти предпосылки имеются, тогда «народное дело состоит единственно в осуществлении народного идеала»—в том, чтобы самому народу предоставить реализовать свой идеал. Народные массы имеют готовый идеал, которого не могут им дать «самые прославленные гении»,—сами народные массы должны и делать свою революцию. Поэтому, Бакунин настаивает на том, что революцию нужно в массах вызвать, но не навязывать ее им, поэтому декретам революционной власти он противопоставляет революционное дело. Пропаганда делом— «наиболее народная, наиболее могучая и наибоее неотразимая пропаганда», она создает ту «логику вещей», на основе которой может быть широко организован «настоящий социализм». К этому и ведет «разнуздание» народной жизни.

Как же может обстоять дело с социальной революцией в России? Говорят, что народу нужна земля и воля. Но, рассуждает Бакунин,—если народу нужна вся земля, стало быть, надо уничтожить дворянство, и притом не одно дворянство, но и всех, вообще, помещиков, хотя бы они не были дворянами. Если народу нужна воля и настоящая воля, значит, нужно уничтожить армию и бюрократию, т. е. государство. Может ли народ выполнить эту задачу? И, прежде всего, выработал ли он свой идеал, как предпосылку революции? Бакунин отвечает на этот вопрос утвердительно: «Нет сомнения, что существует и нет даже необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты». «Идеал» русского народа сводится к следующему: «Первая и главная черта, это всенародное убеждение, что земля, вся земля принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собственным трудом. Вторая столь же крупная черта—что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами. Третья черта, одинаковой важности с двумя предыдущими, это—quasi-абсолютная автономия, общинное самоуправление и, вследствие того, решительно враждебное отношение общины к государству».

Таким образом, в основу народного идеала Бакунин кладет общину и в этом отношении повторяет Герцена. Но он наделяет вместе с тем общину ценным в его глазах качеством—враждебным отношением к государству. Вся прошлая история России представляется ему, как «бунт нескончаемый чернорабочего люда» против государства. Эти народные движения, в особенности Разина и Пугачева, доказывают, что «сознании нашего народа живет действительно идеал, к осуществлению которого он стремится». Если народные бунты заканчивались неудачей, то это показывает, что в народном идеале «есть существенные недостатки, которые местами и мешают успеху». Эти недостатки, по мнению Бакунина, заключаются в патриархальности, в поглощении лица миром и в вере в царя. Если помочь народу преодолеть отрицательные черты его

идеала, то ничто не помешает торжеству последнего. Обязанность оказать помощь народу и лежит на молодежи, которая тем более может ее оказать, что сам народ борется со своими недостатками.

Как помочь? Конечно, не словом, не просвещением, а делом, и делом таким может быть только стремление вызвать в народе революцию, бунт, который разрушит государство и на развалинах его откроет перед народом возможность строить жизнь по своему идеалу. «В бунт—пишет Бакунин,—мы верим и только от него ждем спасения. Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако, частных вспышек недостаточно. Надо поднять все деревни». Готовиться здесь не к чему, так как народ уже готов: «он выработал свой идеал, в нем крепка вера в свое право, он может похвастать чрезмерной нищетой, а также рабством примерным», а мы знаем, что, по мнению Бакунина, этих сочетаний достаточно, чтобы социальная революция стала близкой и неотвратимой. Поэтому остается лишь вызвать в народе революцию, организовать ее. «Надо,—говорил Бакунин,—связать лучших крестьян всех деревень, волостей и, по возможности, областей, передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского мира, между собою, и там, где это возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством... Надо убедить, прежде всего, этих передовых людей из крестьянства, а через них, если не весь народ, то, по крайней мере, значительную и наиболее значительную часть его, что для целого народа, для всех деревень, волостей и областей в целой России, даже и вне России, существует одна общая беда, а потому и одно общее дело. Надо их убедить, что в народе живет несокрушимая сила, против которой ничто и никто устоять не может, и что если она до сих пор не освободила народа, то это только потому, что она могуча только, когда собрана и действует одновременно, везде, сообща, заодно, и что до сих пор она не была собрана. Для того же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, волости, области связались и организовались по одному общему плану и с одной целью всенародного освобождения».

Вот эта задача организации бунта и ставилась Бакуниным перед революционной молодежью. Требуется агитация действием, бунтом, организация «боевых дружин», путем об'единения «естественных революционеров русского крестьянского мира» всех деревень, волостей, областей, для того, чтобы вызвать общее народное восстание. С этой целью молодежь должна итти в деревню, в народ. Но «русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своею молодежью,—пишет Бакунин,—когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как

свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая, соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких. Надо, чтобы, действуя сама по строго обдуманному и положенному плану и подвергая в этом отношении все свои действия самой строгой дисциплине для того, чтобы создать то единодушие, без которого не может быть победы, она сама воспиталась и воспитала народ не только к отчаянному сопротивлению, но также и к смелому нападению».

Анархическая программа и тактика Бакунина питалась стихийным недовольством крестьянской массы, экспроприированной помещиками и разоренной вторжением в деревню капиталистических отношений. Старый патриархальный крестьянский «мир» разрушался, а новый еще только складывался; крестьянская мысль еще не была в состоянии разобраться в новых отношениях и завоевать в них свое место. Выработка крестьянского «идеала» оставалась делом будущего, того будущего, когда при достаточно глубоком расслоении деревни, батрацкая часть крестьянства пошла бы за пролетариатом, а крепкохозяйственная его часть стала бы на точку зрения мелкой или даже крупной помещичьей буржуазии. Но тогда процесс расслоения деревни еще только развертывался, крестьянские идеалы успокаивались на старине полунатурального хозяйства, которое могло бы сойти за золотой век, если бы последовала нарезка земли, не душили подати и налоги, да вся хозяйственная обстановка не заставляла выколачивать деньги, попадать в лапы к скупщику, ростовщику и прочим мирским паукам. А так как в действительности и по наступлении воли земли не прибавилось, подати увеличивались и разорение крестьянского хозяйства росло, то росло и стихийное недовольство, которое, за отсутствием всякого положительного идеала, находило выход в разрушении—в «бунте», поджоге помещичьего имения, погроме и т. д. Бакунин, как полагается утописту, идеализировал, конечно, крестьянские настроения и в содержании, и в форме. Крестьяне вовсе не были противниками государства, они не были даже противниками царской власти; бунты их, носили, так сказать, местный характер и далеко не легко возникали в любой деревне, не говоря уже о волостях, областях и т. п., стихийное недовольство, если бы оно вылилось тогда в массовое движение, смотрело бы, как при Пугачеве, не вперед, а назад, не к тому, чтобы расчистить перед страною путь к новой и высшей стадии развития, а к тому, чтобы удержать ее на положении примитивной, полунатуральной земледельческой страны.

Революционной интеллигенции Бакунин дал все, что ей нужно было, у него она находила прямолинейные ответы на все волнующие вопросы. Народные массы подготовлены к социальной революции, которая и близка, и неотвратима, революцию нужно только вызвать, организовать, связать революционные очаги. Уже одно это должно было создать среди молодежи настроение энтузиазма—

смутные искания ее находили теперь авторитетное подтверждение от человека, имя которого, отдавшего себя с 40-х годов делу европейской революции, готово было стать легендарным. Но молодежь получила и большее: организовать революцию призывалась она, на нее возлагалась историческая миссия поднять народ на всеобщее восстание. Если Бакунин призывал молодежь к самоотвержению, к тому, чтобы она была с народом и в жизни его, и в беде, и в отчаянном бунте, то к этому молодежь была подготовлена. Еще Герцен звал ее «в народ», а Чернышевский и Добролюбов укрепили ее в убеждении, что слово не должно расходиться с делом, что освобождению народа нужно посвятить себя целиком—до лишений, до жертвы. О служении народу и сближении с ним говорили ей и революционные воззвания, исходившие от первых революционных кружков. Проповедь Бакунина падала на подготовленную почву—она обобщала настроения, давала им выход, звала к революционному делу, которое обещало немедленный и верный успех. Для молодежи, блуждавшей в потемках социально-отсталой России, это было настоящим откровением, тем более родным и близким, что и бакунизм был плодом той же социальной отсталости страны.

2. Лавров.

Лавров, в противоположность Бакунину, не создал учения стройного, простого, проникнутого единством. Он был эклектиком, т. е. соединял в своем учении положения вне их внутренней связи, несоединимые, часто противоречивые. Однако, и в эклектизме Лаврова преобладали черты того же утопизма, которым было проникнуто учение Бакунина.

Лавров был профессором в артиллерийской академии и, как мы знаем, примыкал к обществу «Земля и Воля». Во время массовых арестов в связи с каракозовским делом он был арестован и сослан в Кадников, откуда в 1870 г. бежал за границу, при содействии известного впоследствии революционера Германа Лопатина. В дни Парижской Коммуны Лавров жил в Париже, принимал близкое участие в делах Коммуны, ездил в Лондон к Марксу, чтобы заручиться помощью Коммуне со стороны генерального совета первого Интернационала. Жизнь за границей, личное знакомство с Марксом и его учением наложили свой отпечаток на воззрения Лаврова, как, с другой стороны, его социально-политические взгляды складывались под воздействием условий русской действительности.

Еще находясь в ссылке, Лавров написал «Исторические письма», книгу, которая оказала в свое время чрезвычайное влияние на выработку революционных воззрений молодежи. Если Бакунин в центре своей пропаганды ставил крестьянскую массу, ее «идеалы» и стихийное движение, то Лавров выдвигал на первый план

интеллигенцию, искание ею идеала, выработку в ней идеалистических убеждений. Интеллигенцию ставил он в центре исторического процесса. «Прогресс,—по мнению Лаврова,—есть процесс развития в человечестве сознания и воплощения истины и справедливости путем работы критической мысли личностей над современной им культурою». Иначе говоря, прогресс является результатом не развития общественных отношений, об'ективного хода вещей, определяющего и «работу критической мысли», а наоборот, «мысль» перерабатывает общественные отношения соответственно усвоенным ею началам истины и справедливости. Культура должна быть переработана мыслью, рассуждал Лавров, а так как мысль реальна только в личности, то личность и остается единственным реальным деятелем прогресса. Если человек сознал в себе стремление к правде, то он не должен отрекаться от выработанного им убеждения, невзирая на исторические формы общества, потому что «разум, польза, право» на его стороне. «Критически мыслящая личность», усвоив идеал истины и справедливости, должна бороться за их осуществление, и залогом ее победы служит сознание ею правды и справедливости дела. Долг каждого бороться за торжество прогресса: «всякий, кто не стремится всеми своими силами к осуществлению прогресса в том смысле, как он его понимает, борется **против** него»,—говорил Лавров. Но для того, чтобы добиться этого торжества, каждая личность должна прежде всего подготовить себя к борьбе, порвать «с теми самыми недостатками общественного строя и общественной мысли», с которыми она хочет бороться, победить в самом себе старые «привычки мысли и жизни». Затем, каждая критически-мыслящая личность должна стремиться уяснить другим то понимание прогресса, которое она усвоила, приобрести сторонников этому пониманию: ибо «лишь коллективная сила может иметь историческое значение». Личностям, критически продумавшим положение дела, «приходится отыскивать друг друга; им приходится соединяться и придать нестройным элементам народившейся исторической силы стройность и согласие». Если это достигнуто, тогда «сила организована, ее действие можно направить на должную точку», «ее задача чисто техническая: с наименьшей тратою сил совершить наибольшую работу». Критически мыслящая личность овладевает историческим процессом и может двигать им согласно усвоенным ею началам истины и справедливости.

Такова в кратких словах философия истории, развитая Лавровым. Она давала опору той части демократической интеллигенции, которая склонна была порвать с окружающей ее буржуазной средой, но не находила классовой силы, с которой ей было бы по пути в борьбе с окружающей неправдой. Лавров говорил ей, что она-то и есть настоящая сила, что «критически» мыслящий интеллигент—единственный реальный двигатель процесса, что историческая миссия воплощения в человечестве начал истины и справед-

ливости принадлежит только ей и никому больше. Впадать в пессимизм нет поэтому никаких оснований. Напротив, нужно бодро смотреть в будущее, поработать над собою, выработать в себе убеждения, усвоить идеал лучшего будущего, соединиться с другими, организоваться и выступить на борьбу, успех которой несомненен, ибо на стороне критически-мыслящей личности и разум, и польза, и право. Это была исключительно идеалистическая точка зрения, делавшая значительный шаг назада по сравнению с тем, чему учили Чернышевский и Добролюбов, которые развитие самой личности ставили в зависимость от окружающей ее среды.

Какие же начала «истины и справедливости» проповедывал сам Лавров, какие пути намечал он для борьбы?

Мы уже отметили, что Лавров был эклектиком, т. е., не выработал цельного и стройного учения, не примкнул полностью ни к одному из социалистических направлений. Жизнь за границей и знакомство с научным социализмом оказали свое влияние на выработку его воззрений, но не дали им цельности и последовательности. Нужно, впрочем, иметь в виду, что в то время, в особенности в первую половину 70-х годов, научный социализм далеко еще не получил своего торжества и путаница царила в головах многих европейских и даже немецких социалистов, — тем более простительны шатания нашего соотечественника. Однако, в этих шатаниях сказывался определенный уклон, определявшийся трудностью для Лаврова примирить успехи европейского социалистического движения и мысли с условиями русской действительности. Если усвоенные им положения научного социализма он не был в состоянии применить к России, то и к оценке европейского движения он мог подойти только с той точки зрения, которая складывалась в нем под влиянием неразвитых общественных отношений в России. В издававшихся им журнале и газете «Вперед» Лавров внимательно следил за рабочим и социалистическим движением в Европе, знакомил с ним русского читателя и этим оказывал неоценимую услугу русскому движению, не давая ему окончательно окостенеть в условиях российской «самобытности». Но цельной точки зрения он сам не усвоил и не давал другим. Наблюдая, например, острую борьбу в Первом Интернационале между сторонниками Маркса и анархистами, Лавров не сумел стать на сторону какой-либо из враждующих сторон и выход находил в том, чтобы закрыть глаза на характер разногласий, угрожающих самому делу пролетариата. «Существенным делом в рабочем движении, — писал он по этому поводу, — остается все-таки развитие и расширение борьбы пролетариата с капиталом в какой бы форме эта борьба ни происходила, и солидарность рабочих разных стран в этой борьбе, под какими бы девизами не стояли разные их группы». Лавров не был в состоянии понять, что в анархистском и марксистском понимании задач рабочего движения заклю-

чаются не только формы и девизы, но и содержание этого движения; к оценке европейских дел он подходил с точки зрения неразвитой русской общественности, где форме движения еще не придавалось значения, потому что и содержание его было примитивно, где всякие формы борьбы хороши, потому что почвы для широкой борьбы вообще не было.

Лавров понимал, что развитие капиталистических отношений ведет к крушению капиталистического общества и к замене его обществом социалистическим. «Вследствие самой сущности буржуазного строя,—писал он,—чем больше будет развиваться капиталистическое производство, тем быстрее и сильнее будет итти разрушение принципа частой собственности». Разрушение это «есть историческая необходимость, вытекающая из всего развития экономической жизни человечества, и совершает это разрушение сама буржуазия, самый ход буржуазной жизни». Однако, с другой стороны, оказывается, что «социализм есть высший фазис нормального исторического развития борьбы за существование... Его история началась с первого момента социальной солидарности людей во имя общей идеи, во имя нравственного идеала». Таким образом, социализм является развитием идеи, заложенной в «нормальном стремлении человека к нравственному идеалу». Марксистское понимание исторического процесса борьбы за социализм у Лаврова мирно уживается с идеалистической точкой зрения.

Естественно, что столь зыбкая «марксистская» почва немедленно исчезает, как только речь заходит у Лаврова о России: если развитые общественные отношения Запада позволяли ему воспринять в эклектических комбинациях некоторые положения научного социализма, то на родине он всецело поддается влиянию неразвитых общественных отношений России и остается во власти утопического социализма.

Лавров ставит вопрос о путях социального развития России и, с одной стороны, склонен признать, что пути эти не могут отличаться от тех, какие пройдены другими странами. «Социальный переворот,—писал он,—сам собою подготовляется в России, как во всем «цивилизованном» мире, самыми успехами капиталистического строя», капиталистические же условия наступили в России «с освобождением крестьянства и с нарезкой ему наделов, которые недостаточны для обеспечения его существования при увеличившихся налогах». Таким образом, казалось бы, этим вопрос и разрешается: раз капиталистические отношения развиваются и «социальный переворот» этим развитием подготовляется—стало быть, иная, прямо противоположная, точка зрения исключается. Но, с другой стороны, оказывается, что возможна и другая постановка вопроса: «В России,—писал Лавров,—как и во всем «цивилизованном» мире, убежденные социалисты должны употребить все свои усилия, чтобы этот переворот совершился при наименьших страда-

ниях народа и с наибольшими шансами быстрого установления того именно порядка, который заключает наибольшее число элементов, составляющих сущность рабочего социализма». В чем же залог того, что «убежденным социалистам» удастся добиться успеха? «Для русского социализма почва, на которой может развиться будущность большинства русского населения в том смысле, который указан общими задачами нашего времени, есть крестьянство с общинным землевладением,—отвечает Лавров.—Развить нашу общину в смысле общинной обработки земли и общинного пользования ее продуктами, сделать из мирской сходки основной политический элемент русского общественного строя, поглотить в общинной собственности частную, дать крестьянству то образование и то понимание его общественных потребностей, без которого оно никогда не сумеет воспользоваться своими легальными правами, как бы широки они ни были, и никак не выйдет из под эксплоатации меньшинства, даже в случае самого удачного переворота—вот специальные русские цели, которым должен содействовать всякий русский, желающий прогресса своему отечеству». В отличие от других народов, русский народ «сохранил единственный действительный элемент политической жизни, который существует в России: он и в крепостном подчинении сохранил солидарность и самоуправление мира, живую общественную единицу мелкой поземельной общины, живую общественную единицу подвижной рабочей артели».

Таким образом, после признания капиталистического пути развития России Лавров возвращается к герценовской постановке вопроса. Крестьянство сохранило общину, артель, самоуправляющийся мир—на этой основе, если ее развить, может быть построен социалистический порядок. В том же, что развить общину в смысле общинной обработки земли и общинного пользования ее продуктами можно, несмотря на развивающиеся капиталистические отношения,—Лавров не сомневается. Отсюда, снова в отступление от признанной им общности начал развития всех «цивилизованных» народов, Лавров приходит к выводу, что социальная революция в России пойдет не от города, а от деревни, и пытается нарисовать детальную картину этого переворота. Революция произойдет под руководством организованных членов социально-революционного союза, состоящего в огромном большинстве из крестьянства, и эта организованная народная группа «сознательных представителей программы рабочего социализма», составляет естественное зерно нового строя. «Им нечего будет создавать что-либо новое, искусственное,—поясняет Лавров,—они члены существовавших и народом исторически усвоенных групп, общин и артелей. Эти группы продолжают существовать, только на мирской сходке умолкли голоса кулаков, богачей, которые держали общину в экономическом рабстве; на сход не может уже иметь влияние кабат-

чик-ростовщик; близ деревни не раздастся колокольчик станового; в ней не остановится коляска посредника; в артели нет места подрядчику-предпринимателю; все амбары с их добром, скотные дворы с их «животами», составляют достояние всех, готовых работать на общую пользу; вся земля, насколько видит глаз, с хуторами и рощами, стала «неделенной» землей рабочего люда; на всех заводах и фабриках остались хозяевами рабочие; все орудия труда стали общей собственностью рабочих». Больше того. Лавров не допускает даже временного сосуществования социалистического строя и частной собственности и потому признает возможным немедленное упразднение всякой крестьянской собственности (скота, орудий труда, запасов и т. п.) и перехода ее в общую собственность. Словом, как видим, Лавров приближается к точке зрения Бакунина, с его «народными идеалами», которые нужно освободить только от гнета государства, чтобы на их основе восторжествовал социалистический порядок. Лавров также полагает, что нового ничего создавать не придется, потому что крестьянский мир и крестьянская община служат основой социалистического строя, сами составляют «зародыш» социализма, который остается только развить.

Если Россия на почве народных идеалов (Лавров называет их «традициями») может непосредственно перейти к социалистическому порядку и отпадает необходимость пройти капиталистическую стадию, стало быть, отпадает и необходимость борьбы за политическую свободу, за свободные формы буржуазного государства. И Лавров прочно стоит на такой точке зрения. «Все политические партии,—пишет он,—с их конституционными идеалами, более или менее либерального свойства, всякая попытка заменить централизованную и буржуазную империю централизованной и буржуазной республикой—все это нам враждебно в своем основном строе». Только для Запада «вопрос об участии рабочих в современном политическом движении» Лавров оставлял «открытым»,—для России при возможности перехода к социализму от общины, политическая борьба отрицалась. «Мы лишь тогда признали бы земский собор,—писал Лавров,—правомерным органом и деятелем русского общественного переворота, когда он состоял бы в большинстве из представителей крестьянства, сознательно выбранных этим крестьянством с целью произвести общественное преобразование, согласное с потребностями крестьянства, преобразование одновременно экономическое и политическое, и в котором экономические задачи обусловливали бы политические формы»,—т. е., земский собор пригоден лишь на тот случай если он приведет непосредственно к социальной революции, на все же прочие случаи демократический орган народного представительства представляется, по меньшей мере, бесполезным.

Отсюда недалеко и до того, чтобы отрицать и государство вообще, даже в качестве переходной, временной формы. «В борьбе

политических партий с полицейским произволом,—писал Лавров,—мы будем постоянно обращать внимание на расширение элемента свободного союза на счет государственности». «Нельзя и не должно ждать постепенного ослабления и вымирания политического элемента, но следует разом путем самой радикальной социальной революции, не только разрушить существующий порядок, но и устранить всякую форму восстановления государственной принудительной власти». Предусматривая ход социальной революции в России, Лавров утверждал, что «требование проведения в общественную жизнь начал рабочего социализма предполагает и подготовление будущего строя, вполне осуществляющего эти начала, следовательно, заменяющего во всех общественных сферах элемент государственной власти элементом свободной федерации личностей и групп для каждого отдельного дела». В этом отношении вопрос для Лаврова стоял не иначе, чем для Бакунина, который также говорил о разрушении всякого государства и о замене его свободным союзом отдельных лиц, общин и т. п.

Но, в отличие от Бакунина, Лавров не находил, что крестьянство в любой момент готово к восстанию и к социальной революции; он думал, что нужна подготовка крестьянства—подготовка, разумеется, путем пропаганды, раз'яснения социалистического учения, так как в об'ективную подготовленность крестьянства к социализму верил и он. Эта обязанность пропаганды лежит на революционной молодежи, которая должна «связать готовые элементы народной политической силы в солидарное целое для социальной революции помощью пропаганды требований рабочего социализма и помощью социально-революционной агитации». «В одном народе,—писал Лавров,—есть достаточно силы, достаточно энергии, достаточно свежести, чтобы совершить революцию, которая улучшила бы положение России. Но народ не знает своей силы, не знает возможности низвергнуть своих экономических и политических врагов. Надо его поднять. На живом элементе русской интеллигенции лежит обязанность разбудить его, поднять его, соединить его силы, повести его в битву». Революция должна быть произведена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа. Революция должна быть народной, произведенной самим народом—революционной интеллигенции принадлежит организация народного движения. Предполагая первым условием подготовки социальной революции организацию революционного меньшинства, Лавров настаивал на том, что это должна быть революционно-крестьянская организация, черпающая свои силы в среде общинных и артельных центров крестьянства. «Убежденные социалисты интеллигентного класса,—писал он,—должны найти себе товарищей среди рабочего народа, действующего в общине и артели и сами должны стать членами общин и артелей, чтобы пропаганда, распространяющая число более или менее понимающих

задачи рабочего социализма, чтобы агитация, увеличивающая число сочувствующих практическим требованиям социальной революции, шла не извне первичных центров народной солидарности жизни, а извнутри их». Эти народно-революционные группы должны связаться между собою по всей стране, и из них должна разливаться «волна пропаганды, уясняющая начала рабочего социализма, волна агитации, возбуждающей массы, неуверенные в своих силах против порядка, который обрек их на страдания и на гибель». Эти группы «составят основную народную федерацию русских революционных общин и артелей», которая и станет строителем нового порядка на основе народных «традиций». Таким образом, в противоположность Бакунину, Лавров не думал, что революция может произойти в любой момент, без предварительной подготовки, путем местных бунтов. В его представлении революционному взрыву должно было предшествовать создание широкой народно-революционной организации, охватывающей всю страну, а созданию такой организации должна была, в свою очередь, предшествовать длительная пропаганда начал «рабочего социализма», которая и должна была привести к собиранию революционных сил народа. Впрочем и Лавров не растягивал пропаганды на неопределенно долгое время. Напротив, он думал, что революцию «можно приготовить систематической пропагандой в небольшое число лет», и, путем цифрового расчета, допускал, что сто пропагандистов в 6 лет создадут социально-революционный союз в 10 тысяч членов, не считая сочувствующих, а с такой армией уже можно было сказать: теперь время действовать.

Мы видим, что воззрения Лаврова в достаточной мере пропитаны эклектизмом. Он признает, с одной стороны, что социалистический порядок в России может явиться в результате капиталистического развития, но, с другой стороны, видит в общине «зародыш» социализма, требует ее «развития» и отвергает необходимость для России пройти через стадию капитализма. Выдвигая непосредственной и ближайшей задачей социалистический переворот и отвергая для России политическую борьбу и формы буржуазной государственности, он для Запада эту необходимость допускает. Противопоставляя тактике бунтов подготовку революции пропагандой и организацией народно-революционных сил, Лавров сам допускает, что вся эта подготовка может потребовать нескольких лет, примыкая к тем, которые находили, что народ, в сущности, уже готов для социальной революции. Эклектизм, позволявший Лаврову позаимствовать кое-что из учения Маркса, ни в какой мере не ослабил утопической основы его социализма. и, таким образом, только по недоразумению некоторые последователи его 70-х годов могли называть себя «марксистами». Многими сторонами своего учения Лавров приближался к Бакунину. уступая ему в той последовательности, стройности и непосредственно-революционной ак-

тивности, которая, в особенности, подкупала молодежь. Последняя не имела, поэтому, оснований предпочесть Лаврова Бакунину,—«бакунисты» в ее среде решительно преобладали над «лавристами».

3. Ткачев.

Ткачев—талантливый публицист, привлеченный по делу Нечаева, затем эмигрировавший и издававший за границей журнал «Набат»,—явился представителем особого течения нашей революционной мысли.

В вопросе о путях социального развития России Ткачев в общем разделял господствовавшие тогда в революционной среде взгляды. Социальная отсталость России и сохранение в ней общины делает ее, по мнению Ткачева, более близкой к социализму, чем Запад. Община,—писал Ткачев,—«краеугольный камень того будущего общественного строя, о котором все мы мечтаем». Русский народ «проникнут принципами общинного владения,—он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции», поэтому «народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада». Городского пролетариата в России нет, но зато в ней нет и буржуазии, так что русские рабочие «должны будут бороться лишь с политической силой—сила капитала находится у нас только в зародыше». Но и государство, с которым русским рабочим и крестьянам приходится иметь дело,—сила призрачная: «она не имеет корней в экономической жизни; она не воплощает в себе интересов какого-либо сословия»; высшие сословия в России не представляют собой силы ни экономической, ни политической; они обязаны свим существованием государству, которое «само не имеет ничего общего с существующим социальным порядком».

Эти взгляды Ткачев развивал в открытом письме к Энгельсу, на которого они, разумеется, не могли произвести сильного впечатления своею убедительностью. «Когда г. Ткачев уверяет нас,—писал Энгельс,—что русское государство не имеет корней в экономической жизни народа», что оно «не воплощает в себе интересов какого-либо сословия», что оно «висит в воздухе», то нам представляется, что «в воздухе висит» не русское государство, а скорее сам г. Ткачев». И Энгельс вразумительно поучал Ткачева, что в существовании русского государства заинтересованы и помещики, эксплоатирующие крестьян, и промышленники, и торговая буржуазия, и чиновничество,—что, словом, русское государство не составляет исключения и является классовым государством. Но Ткачев, как и другие русские утописты, недоразвитость общественных отношений в России принимал за невозможность дальнейшего их развития и на этом строил свои планы. Если русский народ—«коммунист по инстинкту», а буржуазии в России нет—стало быть, ничто не мешает торжеству социализма, слабость же государства, с кото-

рым только и приходится иметь дело, еще больше облегчает борьбу. Но Ткачев не возлагал надежд и на «забитую, невежественную массу трудящегося люда». «Ни в настоящем, ни в будущем,—писал он,—народ, сам себе предоставленный, не в силах осуществить социальную революцию». Отсюда вывод: «осуществить эту великую задачу могут, конечно, только люди понимающие ее и искренно стремящиеся к ее разрешению, т. е., люди умственно и нравственно развитые, т. е., меньшинство».

Мы знаем, что и Лавров, и Бакунин, возлагали большие надежды на меньшинство, т. е., на революционную интеллигенцию, но, по их мнению, революцию должны были совершить народные массы. Ткачев всю активную роль отводит исключительно меньшинству, предусматривая лишь поддержку со стороны народа. Меньшинство должно «делать» революцию и «в силу своего более высокого умственного и нравственного развития всегда имеет и должно иметь умственную и нравственную власть над большинством». Как по праву стоящее над большинством народа, меньшинство должно совершить революцию для него и за него, и для этого должно получить в свои руки государственную власть. В отличие от Лаврова и Бакунина, Ткачев не стоит на точке зрения отрицания государства, но, наоборот, государственной власти придает решающее значение в деле осуществления задачи социальной революции: «Социалистические идеалы,—писал он,—несмотря на всю свою истинность и разумность, до тех пор останутся несбыточными утопиями, пока не будут опираться на силу, пока их не прикроет и не поддержит авторитет власти». Поэтому он выдвигает задачу не уничтожения государства, а превращения государства консервативного в революционное, путем захвата власти революционной партией. Истинная революция, по его мнению, «может совершиться только при одном условии: при захвате революционерами государственной власти в свои руки; иными словами, ближайшая, непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное консервативное государство в государство революционное».

Захват власти является только вступлением к революции. В дальнейшем революционная власть, с одной стороны, уничтожает консервативные элементы общества, выполняет задачу революционно-разрушительную — и, с другой стороны, вводит в жизнь новый порядок—выполняет задачу революционно-устроительную. В разрушительной работе Ткачев рекомендует крайние террористические меры: «Русская революция, как и всякая другая революция, не может обойтись без вешания и расстрела жандармов, прокуроров, министров, купцов, попов». Устроительная деятельность должна заключаться в ряде реформ, которые революционная власть проводит с целью осуществить переход к социалистическому порядку. Реформа эта, по плану Ткачева.

должна состоять: в постепенном преобразовании крестьянской общины, допускающей теперь частное владение землей, в общину-коммуну, основанную на общем пользовании орудиями производства, в постепенной экспроприации орудий производства с передачей их в общее пользование, в постепенном введении общественных учреждений, вводящих в жизнь принципы «братской любви и солидарности», в постепенном упразднении семьи и т. д. Ткачев проводит при этом различие между разрушительной и реформаторской деятельностью революционной власти: первая опирается на насилие, вторая на силу нравственную, на народную волю и на народный разум. Поэтому, революционная власть, чтобы не впасть «в утопию» и «дать жизненную силу своим реформам», должна укрепить себя органом народного представительства, «Народной Думой», воля которого должна санкционировать реформы. Однако, и эта предупредительная мера не спасает Ткачева от утопии. Мы упоминали, что он не уделял активной роли народной массе. «Само собой понятно, — писал он, — чем менее существует в народе революционных элементов, чем ничтожнее размеры его революционной силы, тем незначительнее должна быть его роль в деле осуществления «социального переворота», и тем большим значением, тем большею властью и влиянием должно пользоваться революционное меньшинство. Точно также и наоборот: участие народа в революции должно быть тем больше, чем больше количество революционных элементов он в себе содержит». Что касается России, то «положительные идеалы нашего крестьянства еще не революционны» и «даже и в деле разрушения революционная сила нашего народа может иметь лишь относительное значение». Поэтому, революционной власти приходится преобразовывать общественный порядок, «пользуясь своею силою и своим авторитетом», она не должна расчитывать на активную поддержку народа и может предполагать лишь его поддержку пассивную. А в таком случае Ткачев неизбежно приходил к диктатуре революционного меньшинства, осуществляющего свою власть независимо от «народной воли» и «народного разума». Необходимо выбрать одно из двух, — писал он, — или интеллигенция должна захватить после революции власть в свои руки, или она должна противодействовать, задерживать революцию до той блаженной минуты, когда «народный взрыв» не будет более представлять опасностей, т. е. когда народ усвоить результаты мировой мысли, приобретет недоступные ему знания». Ткачев отдавал предпочтение первому, т. е. захвату власти меньшинством, независимо от того, подготовлены народные массы к революции или нет.

Ткачев считал Россию вполне подготовленной для социалистической революции и потому не допускал никакой отсрочки борьбы за ее победу. «Всякая революционная партия, — писал он, — считает и должна считать ренегатом и отступником чело-

века, который, принадлежа к ней, в то же время проповедует невозможность и бесполезность революции в настоящем, при данных условиях данной общественности». Придавая положительное значение социальной отсталости России, он опасался, что момент для революции может быть упущен, так как капитализм начал свою работу и в России. Он указывал на то, что «нарождаются новые формы—формы буржуазной жизни, развивается кулачество, мародерство, воцаряется принцип индивидуализма, экономической анархии, бессердечного, наглого эгоизма... Огонь подбирается и к нашим государственным формам. Сегодня мы сила... Сегодня наши враги слабы, раз'единены. Против нас одно правительство со своими чиновниками и солдатами... Но что будет завтра?». «Теперь или очень не скоро, быть может, никогда!»—таков был его лозунг, в точности соответствовавший его позиции.

Ткачев называл себя «якобинцем», т. е. последователем решительной революционной тактики якобинцев времен Великой Французской Революции. Но ближе всего по своим воззрениям он стоял к французскому социалисту-утописту Бланки который также выдвигал заговор с целью захвата власти революционным меньшинством и осуществление последним ряда переходных мер, облегчающих переход к социализму. Воззрения Бланки Ткачев пытался применить к условиям социально отсталой России и этим только еще с большей силой оттенил их утопический характер.

Подведем некоторые итоги нашему знакомству с учением Бакунина, Лаврова и Ткачева.

Бакунин возлагал надежды на движение народной массы, которая выработала свои «идеалы» и готова восстать, чтобы воплотить их в жизнь; революционеры не призваны учить народ, они должны только помочь его бунту. Лавров выдвигал вперед инициативную революционную интеллигенцию, которая должна нести в массы социалистическую пропаганду, но вместе с тем также полагал, что революция должна быть делом сорганизованной и распропагандированной массы. Ткачев шел дальше и в центре движения ставил революционное меньшинство, силами которой может быть совершена революция и которая, в лучшем случае, может расчитывать лишь на пассивную поддержку народа.

Бакунин отрицал всякое государство и звал к его разрушению, идеал его — анархическая вольная федерация свободных общин, которая не знает никакой принудительной государственной власти и покоится на добровольном участии в общем союзе. Лавров, в конце концов, склонялся к такой же точке зрения и отдавал преимущество перед государством вольным союзам общин. Ткачев в своем конечном идеале признает «анархию», но думает, что установлению ее должно предшествовать утверждение начал

«братства и равенства». Он признает государство и государственную власть, но лишь постольку, поскольку она призвана выполнить, так сказать, предварительную революционную работу, разрушить старое и заложить начала нового: задача революционной власти должна заключаться, по его мнению, в «постепенном ослаблении и упразднении центральных функций государственной власти», за которым должна последовать, очевидно, «анархия».

Тактика Бакунина — «бунтарство», для которого почва всегда и везде подготовлена; поднять можно «любую деревню»—стало быть, это и нужно делать, стараясь вызвать всеобщее восстание. Тактика Лаврова — в длительной пропаганде, в сплочении «критически мыслящих личностей», в создании народно-революционной партии; когда эта предварительная работа закончена, настает время революции. Тактика Ткачева — захват власти революционной партией, не требующий предварительной пропаганды; по его мнению, захват власти партией должен быть поддержан народным восстанием, но «при крайне благоприятных обстоятельствах» можно обойтись и без народного восстания. «Боевая организация революционных сил, дезорганизация и терроризация правительственной власти»—такова тактическая линия Ткачева, по его собственной формулировке.

При всех этих расхождениях, воззрения Бакунина, Лаврова и Ткачева имеют, однако, в основе своей много общего. Все они исходили из того, что путь развития России — особый, отличный от Запада, что ей не предстоит пройти через стадию капиталистического развития, но она может непосредственно при данных ее экономических отношениях перейти к социализму. Все они залог этой счастливой особенности видели в крестьянской общине, которая является «зародышем» социализма, в народных «идеалах», которые делают крестьян коммунистами по духу. Предстоящую России революцию все они мыслили, как социалистическую, которой ни в каком смысле не должна предшествовать буржуазная революция; они отвергали, поэтому, необходимость предварительной политической борьбы, борьбы за политическую свободу, за замену самодержавного порядка конституционным, буржуазно-демократическим; по их представлениям, новые общественно-политические условия, сближающие Россию с Западом, принесут лишь одно зло, разрушат общину, уничтожат народные «идеалы» и тем отдалят наступление социалистического порядка. Все это общее, что было в основе учения Бакунина, Лаврова и Ткачева, вошло в народничество в котором бакунизм, лавризм и «якобинство» составляли отдельные течения, в различное время пользовавшиеся различным влиянием.

И Бакунин, и Лавров, и Ткачев были утопистами, только разной окраски: Бакунин — анархической, Ткачев — бланкистской, Лавров — «эклектической». Но и в утопизме роднила их, в осо-

бенности, вера в немедленную возможность в России социалистической революции ,вера которая сохраняла всю свою обаятельность в отсталой России и вызывала лишь иронию на Западе. «У нас, на Европейском Западе, — писал Энгельс в середине 70-х годов по поводу этой веры,—всем этим ребячествам был бы положен конец таким ответом: «если ваш народ во всякое время готов к революции, если вы во всякое время присваиваете себе право призывать его к революции, и если вы положительно не можете ждать, чего же ради вы надоедаете нам своей болтовней, почему же вы, черт возьми, не начинаете!» Но то, что было видно Энгельсу, который в полемике с Ткачевым раньше, чем кто-либо из русских социалистов, разбил народнические иллюзии, еще долгое время оставалось непонятным для очень и очень многих: утопический социализм крепко держался на почве неразвитых общественных отношений в России.

4. Общая характеристика движения.—Кружки Чайковского и Долгушина.—„Хождение в народ".

Революционное движение 60-х годов, как мы видели, было тесно связано с тем положением, которое создано было непосредственно крестьянской реформой. Многие ожидали, что реформа 19 февраля 1861 года приведет крестьян, недовольных условиями своего освобождения, к восстанию. Эта вера, ни на чем, конечно, не основанная, поддерживала несколько пассивное настроение интеллигенции: несмотря на разговоры о восстании и неизбежности его, мы почти не знаем случаев агитации среди крестьянства с целью поднять его на восстание, за исключением «казанского заговора», инициатива которого исходила, однако, от поляков и связана была с планами польского восстания. Проходили все сроки, а крестьянство не восставало, волнения в первые годы после освобождения были подавлены и продолжения не получили. Однако, если крестьянство молчало, то не потому, что благоденствовало. Условия освобождения и быстрое проникновение капиталистических отношений в деревню делали свое дело пролетаризации крестьянской массы. Низкие арендные цены на землю в первое время еще облегчали несколько положение крестьян и ослабляли остроту земельного голода. Но как необходимость прибегать к аренде помещичьих земель, так и условия самой аренды, ставили крестьян в зависимость от помещиков и создавали для них условия кабального существования. С другой стороны, вторжение в деревню товаро-денежных отношений разлагало старые формы крестьянского быта, делало крестьянское хозяйство подвластным рынку, расслаивало крестьян на богатых и бедных, вносило в крестьянскую жизнь новые начала, разрушавшие все старое и привычное. Словом, крестьянская реформа, не оправдавшая надежд на неизбеж-

ное восстание крестьян, обнаружила другую свою сторону: явно обозначавшееся разорение крестьянства, к которому ближайшим образом приводили как малоземелье и налоговые тягости, так и, в особенности, вторжение в деревню капиталистических отношений. Условия крестьянского освобождения теряли свою злободневную остроту и в центре внимания народолюбивой интеллигенции становились вопросы разрушаемого крестьянского хозяйства, крестьянской нищеты, возможной гибели народных «идеалов» — вся та новая обстановка крестьянской жизни, которая не устраняла почвы для недовольства крестьян и, казалось, сохраняла неизбежность народного восстания, при том, однако, условии, что энергия крестьянства должна быть теперь поддержана инициативой революционной интеллигенции.

Те же условия укрепления в стране капиталистических отношений, которые так существенно изменили положение крестьянства, не менее значительно отразились на судьбе русской интеллигенции. Разрушение остатков крепостнического порядка и перестройка народно-хозяйственных и общественных отношений на началах капиталистических, содействовали наростанию тех мелкобуржуазных слоев, которые, с одной стороны, выходили из более крепкого крестьянства, купечества, чиновничества, духовенства, с другой—из той части дворянства, которую не спасли от разорения новые условия. Золотой век первоначального накопления капитала помогал одним подниматься вверх, других, напротив, сбрасывал вниз, из старых барских усадеб — в мещанский быт городов. Но то же время первоначального накопления отмечено неразвитостью общественных отношений — старое разрушается быстрее, чем создается новое. Эта неразвитость общественных отношений в особенности отражается на положении разночинной интеллигенции, выходящей из рядов мелкой буржуазии и дворянства. Запросы ее растут, но удовлетворения не находят; в общественной и политической жизн она, прежде всего, сталкивается со старым дворянско-самодержавным порядком, который не дает простора ни интеллигентному труду, ни общественно-политической деятельности. Вынужденное на отмену крепостного права крестьянскими волнениями, правительство на дальнейшие реформы не шло, так как не было силы, которая его на это толкнула бы. С дворянской оппозицией оно быстро справилось, а на первые шаги революционной борьбы, не представлявшей ничего грозного, ответило усилением реакции. После выстрела Каракозова началась полоса дворянской реакции — укрощение нового суда и земства, преследование печати, усиление полицейщины в университетах и т. д. На первое выступление новых общественных сил, рожденных новыми, пореформенными, капиталистическими отношениями, правительство ответило своим контр-наступлением, направленным к тому, чтобы удержать господство старых общественно-политиче-

ских форм. Противоречие между этими формами и новыми производственными отношениями начинало давать себя знать, но пока более остро лишь в движении мелко-буржуазной интеллигенции, на положении которой это противоречие сильнее всего сказывалось. Разночинная масса пытается насильственно раздвинуть рамки, сдерживающие ее развитие,—она ищет поддержки в народной массе, переходит от протестов и мелко-кружковой организации на путь революционной борьбы.

Эти крепнувшие к 70-м годам революционные настроения, находит поддержку в новых, бодрящих веяниях, шедших с Запада. Полоса подавленности после поражения революции 1848 г. проходила и сменялась на Западе полосой под'ема рабочего движения. В Германии развертывалась блестящая агитация Лассаля, во Франции наростала революционная борьба против режима Наполеона III, возник Интернационал, как первая попытка об'единения международного пролетариата, вслед за франко-прусской войной пришли короткие дни Парижской Коммуны. Теперь, в противоположность тому, что было в 1848 г., Россия уже не была отделена от Запада китайской стеной. Если в конце 40-х годов только немногие кружки жили под впечатлением европейских событий, то теперь воздействию революционной борьбы на Западе стали доступны широкие круги интеллигенции. Особенно сильное впечатление должна была произвести, конечно, Парижская Коммуна, этот первый порыв труда к окончательному освобождению. «Для меня лично, — писал Лавров, — сотни мелких фактов и впечатлений сливаются в несомненное убеждение, что русское социалистическое движение 1873 года и последующих годов было косвенно вызвано впечатлением, произведенным и на русские умы событиями Парижской Коммуны». Аптекман передает в своих воспоминаниях о сильном впечатлении, которое произвела Коммуна на харьковскую, например, интеллигенцию и о спорах, какие велись тогда в обществе приказчиков. Правда, судя по рассказу Аптекмана, большинство в этих спорах стало на «патриотическую» точку зрения и, отдавая симпатии французской республике перед прусской реакцией, склонны были упрекать рабочих в том, что они восстали, когда пруссаки стояли у стен Парижа. Но все же не все так смотрели, да и те, которые осуждали рабочих, должны были изменить свое мнение после того, как выяснился характер борьбы рабочих и, в особенности, когда Коммуна была подавлена и правительство Тьера обнаружило природу буржуазной контрреволюции. Не подлежит сомнению, что пример парижских рабочих, об'явивших борьбу буржуазному порядку, должен был воодушевить нашу революционную молодежь того времени, которая сама, ведь, думала, что социалистическая революция — дело завтрашнего дня.

Изменились в некоторых отношениях и пути европейских ре-

волюционных влияний. В 1848 г. влияние это передавалось непосредственно, главным образом, через Герцена и Бакунина, которые сами были в вихре революции, как бы на разведку туда посланные. Теперь за границей была не только политическая эмиграция, насчитывавшая в своих рядах Бакунина и Лаврова, но и много молодежи, в особенности, женщин, поступивших в иностранные университеты. Молодежь эта ближайшим образом испытывала на себе влияние роста революционных настроений на Западе и передавала это влияние на молодежь, оставшуюся в России. «Надо было быть совсем слепым и глухим, — рассказывает в своих воспоминаниях о жизни в Цюрихе Вера Фигнер, — чтобы не заинтересоваться; начались посещения рабочих совещаний, банкетов в честь Коммуны, собраний швейцарских рабочих союзов и секций Интернационала. Интерес к изучению социализма, как теоретического, так и практического, который выражался в организации рабочих, достиг сильной степени. Для удовлетворения такой потребности сложились отдельные кружки. Одним из таких кружков был кружок «Фричей», названный так по имени хозяйки дома, в котором жило большинство его членов; в него входило человек 12, все женщины. Кружок ставил задачей: 1) изучение развития социалистических идей, начиная с Томаса Моруса до последнего времени; сюда входили Фурье, С.-Симон, Кабе, Луи Блан, Прудон, Лассаль; 2) изучение политической экономии; 3) изучение народных движений и революций; 4) ознакомление с практической постановкой рабочего вопроса на Западе, изучение английских тред-юнионов, истории Интернационала, истории всеобщего германского рабочего союза, основанного Лассалем и пр. Насколько серьезно было отношение ко всем этим вопросам показывает то, что на осуществление этой программы было употреблено два года систематического чтения и занятий». Впоследствии члены этого кружка вернулись в Россию и приняли деятельное участие в революционном движении.

Таким образом, и обстановка внутри России, и веяния, шедшие с Запада, складывались для революционного движения более благоприятно, чем это было в 60-х годах. В общем, уже с начала 70-х годов можно было наблюдать впервые под'ем движения, которое, оставаясь все еще движением интеллигенции, принимает небывалый раньше широкий характер.

Движение началось с собирания сил революционной интеллигенции. Кружки, которые в 60-х годах были незначительны по составу и не имели еще определенной цели и размаха в работе, становятся многочисленными, охватывают все большее число молодежи и постепенно вырабатывают план и программу революционной деятельности.

Первым таким кружком, сыгравшим крупную роль в движении начала 70-х годов, был т. н. кружок чайковцев, основанный

в 1869 году Н. В. Чайковским. Целью этого кружка было создать среди молодежи кадры революционно-социалистической, или, как тогда говорили, «истинно-народной» партии, для чего предполагалось вести среди молодежи пропаганду, устраивать кружки самообразования, землячества и «коммуны», сплачивавшие уже связанных между собою товарищей. Работать чайковцам в этом направлении приходилось на подготовленной почве, так как всякого рода кружки взаимопомощи и самообразования уже существовали среди учащейся молодежи, так что можно было производить некоторый отбор и повести работу по углублению пропаганды и организации более широкого ядра. Члены кружков и даже руководящая группа не были об'единены каким-либо общим революционным учением и в теоретических взглядах царило значительное разногласие. Дело шло пока еще о подготовке к серьезной работе мысли, о выработке устойчивости, твердости характера, готовности жертвовать всем для революционного дела. Кружок пополнялся, поэтому, медленно и с подбором. Для вступления в центральный кружок требовалось согласие всех его членов и одного возражения достаточно было, чтобы кандидат не был принят. И, нужно сказать, что в кружках чайковцев об'единялось все, что было лучшего в революционной молодежи того времени, и основное ядро их дало богатое собрание имен, прочно связавших себя с историей нашего революционного движения. Достаточно напомнить, что к чайковцам принадлежали Софья Перовская, Желябов, Кропоткин, П. Б. Аксельрод, Клеменц, Кравчинский, Фроленко, Морозов, Шишко, Саблин, Натансон и др., о которых нам придется упоминать не один раз.

Чайковцы начали свою деятельность с содействия самообразованию путем распространения лучшей литературы легальной, как и нелегальной. Они закупали у издателей книги и распространяли их по кружкам как Петербурга, так и провинции; пытался кружок и сам издавать книги. Распространялись таким образом сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, «Исторические письма» Лаврова, первый том «Капитала» Маркса и первый том сочинений Лассаля, вышедшие тогда в русском переводе, «Положение рабочего класса в России» Флеровского, лучшая беллетристика того времени и т. п.

Однако, этого рода работа скоро уже не давала полного удовлетворения наиболее энергичному и деятельному ядру кружков. Естественно ставился вопрос, что делать дальше и на что двинуть накопившиеся силы. Так как мысль о работе в народных массах созрела еще раньше и пропаганда среди молодежи имела целью подготовить таких работников, то в эту сторону и направились теперь искания. Выход подсказала сама окружающая обстановка: так как молодежь концентрировалась в городах, а «народ» здесь фигурировал в лице фабричных рабочих, то в эту сторону и на-

правились первые пропагандисты. Революционное движение в России готово было, таким образом, начаться с рабочего движения, но скоро уже пошло по иному пути: в центре внимания стояло крестьянство, а не рабочие, в крестьянах видели прирожденных бунтарей и социалистов. Дальнейшее развитие пропаганды среди рабочих рисовалось чайковцам, по словам Шишко, «в форме все более и более расширяющихся и об'единяющихся между собой революционных групп среди городских рабочих, причем эти городские рабочие служили бы проповедниками революционной агитации в народе». Этот взгляд на рабочих, как на посредников между революционной партией и крестьянами, прочно утвердился и на будущее время.

Пропаганда приспособлялась к уровню рабочего. Среди «фабричных», т. е. «серых» рабочих, занятия носили, обыкновенно, сперва элементарный характер, напоминая занятия в вечерней школе, а затем дело переходило на социалистическую пропаганду. С «заводскими», т. е. квалифицированными рабочими, сразу начинали с серьезной постановки кружковых занятий. Кравчинский читал им, напр., лекции по истории, излагал первый том «Капитала». Кропоткин знакомил с европейским рабочим движением и с деятельностью первого Интернационала. Зимою 1872 г. кружком был нанят на Выборгской стороне небольшой домик, куда по вечерам собиралось несколько десятков рабочих. В начале 1873 года члены кружка рассеялись по всем фабричным районам Петербурга, все больше расширяя связи с рабочими. Иногда они наряжались в полушубки и отправлялись в квартиры рабочих артелей, где читали рабочим книжки и вели пропаганду. «Часто после обеда в каком-нибудь богатом доме или даже в Зимнем дворце, куда я нередко заходил повидаться с кем-нибудь из приятелей,— рассказывает в своих воспоминаниях Кропоткин, — я брал извозчика, спешил на квартиру какого-нибудь бедного студента на окраине города, переменял там свое платье на холщевую рубаху, лапти и крестьянский полушубок, и перешучиваясь со встречными мужичками, отправлялся в какую-нибудь трущобу на свидание со своими друзьями-рабочими. Я рассказывал им о рабочем движении, которое мне приходилось видеть за границей. Они с увлечением слушали меня, стараясь не проронить ни одного слова. Затем возникал вопрос: «что же можно сделать в России?» — «Агитируйте, организуйтесь: иных путей нет», — был наш ответ. Повидимому, скоро приходилось на вопросы рабочих давать более определенные ответы. Уже в начале 1874 г. между ткачами Выборгской стороны шла речь о подготовке к стачке, причем среди рабочих, примыкавших к кружку чайковцев — между ними был эстонец Вилли Прейсман, руководитель крупной забастовкой на Кренгольской мануфактуре в 1872 г.—говорили о необходимости запастись оружием на тот случай, если бы во время стачки

полиция стала избивать рабочих. Из этих кружков вышло много выдающихся рабочих (Обнорский, один из основателей «Северного Русского Рабочего Союза», и др.), игравших затем видную роль в революционном движении.

Одновременно с кружком чайковцев возник в Москве кружок долгушинцев, который собственно и был непосредственным продолжением революционных кружков 60-х годов. Кружок этот, к которому, кроме Долгушина, принадлежали Дмоховский, Панин, Плотников, Гамов и рабочий Васильев, сразу поставил перед собой задачи революционной пропаганды. Долгушин начал с пропаганды среди рабочих, и затем скоро пришел к мысли о необходимости непосредственной агитации среди крестьян. На даче, приобретенной Долгушиным в московской губернии, а затем в Москве, на ручном типографском станке долгушинцы печатают прокламации, обращение к крестьянам и к интеллигенции. В прокламации, озаглавленной «К интеллигентным людям», интеллигенция приглашалась «итти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства». «Да, нигде, нигде вы не будете так полезны, как в роли народного пропагандиста новой лучшей жизни,— говорилось дальше в прокламации... Неужели мы не представим в один прекрасный день новое зрелище людей убежденных и непреодолимых в своих верованиях, вместе с тем решительных и постоянных в своем предприятии? Докажем, что мы искренни, что наша вера горяча—и наш пример изменит лицо земли. И не думайте, чтобы русский народ не мог понять вас и грубо оттолкнул бы вас от себя—если это говорят иногда, то говорят только на основании фактов, которые всегда доказывают только неумение действовать, а чаще всего—отсутствие искренней преданности делу. Кто не знает, как русский человек любит сочувствие и как он умеет ценить того человека, который страдает его страданиями, лишь только подметит эту симпатию? Но если он видит, что с ним только бобы разводят, то он справедливо раздражается и дарит презрением. Так пусть люди, которым дорога правда, для которых проводить истину в жизнь стало органической потребностью, пусть эти люди идут в народ, не страшась ни гонений, ни смерти...» Долгушинцам не пришлось самим «пойти в народ»—кружок вскоре был разгромлен,—а прокламации их не получили широкого распространения, в особенности, в крестьянстве. Но брошенный ими лозунг—«в народ!»—сказался в ближайшем повороте революционного движения.

К выводу, сделанному долгушинцами, приходили и чайковцы. Занятия в рабочих кружках продолжались с несомненным успехом, росло число кружков и завязывались все новые связи. Осенью 1873 г. был поставлен на очередь вопрос о выработке программы кружка. Это было вполне естественно, так как под основательно налаженную пропагандистскую работу нужно было подвести фун-

дамент и наметить более ясно цели дальнейшей работы. Столь же естественно, что при выработке программы физиономия кружка, до того времени неопределенная, должна была приобрести черты, соответствующие господствовавшему среди революционной молодежи настроению, т. е., стать бакунистской, как, с другой стороны, должны были быть сделаны выводы из ранее усвоенного положения, согласно которому пропаганда среди рабочих не имеет самостоятельного значения и преследует лишь цель сделать рабочего посредником между революционной организацией и крестьянством. Дальнейший шаг мог заключаться только в том, чтобы перейти к непосредственной работе среди крестьян и для этой работы использовать распропагандированных рабочих.

Кропоткин, которому поручено было составить программу, наметил все эти выводы. Совершенно в духе бакунизма, Кропоткин на вопрос «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя» (так назывался доклад, который он сделал кружку), отвечал отрицательно, доказывая, что государство должно быть разрушено и выработка будущего строя должна быть предоставлена самому народу. Для подготовки социального переворота должна быть образована революционная организация, которая, прежде всего, стремится увеличить число своих единомышленников в среде крестьянства и городских рабочих: последние признаются наиболее надежными революционерами. Для подготовки таких агитаторов из народа члены партии должны поселяться между крестьянами и вести постоянную пропаганду, сближаясь с народом. Из учащейся молодежи допускаются в организацию только те, которые, бросив науку, отправятся в народ для пропаганды, отрешившись от всей своей прежней жизни, оставив все свои привычки и поставив себя вполне в положение рабочего. Особенное внимание Кропоткин уделял пропаганде среди городских рабочих, которые, возвращаясь в деревню, могут нести с собой в крестьянство революционную пропаганду.

Таким образом, прежняя задача выработки отдельных сознательных личностей среди учащейся молодежи и рабочих сменялась новой—непосредственной пропагандой в крестьянской массе, и место кружков городских рабочих должно было занять «хождение в народ», пропаганда и агитация в деревне. Движение из кружкового и просветительного пыталось стать массовым и революционным. Если лозунг «в народ» был не нов и раздавался еще в 60-х годах, то лишь теперь он начинает претворяться в дело.

Настроение, которое прежде всего сказалось у долгушинцев, а затем и у чайковцев, охватило широкие круги революционной интеллигенции и к весне 1874 г. приняло характер массового «хождения в народ». «Ничего подобного не было ни раньше, ни после,— писал об этом движении Кравчинский, один из самых деятельных его участников.—Казалось, тут действовало скорее какое-то откро-

вение, чем пропаганда. Сначала еще мы можем указывать на ту или другую книгу, ту или другую личность, под влиянием которых тот или другой человек присоединяется к движению, но потом это становится уже невозможным. Точно какой-то могучий клич, исходивший неизвестно откуда, пронесся по стране, призывая всех, в ком была живая душа, на великое дело спасения родины и человечества». Ничего подобного, действительно, раньше не было, но бесплодно было бы вслед за Кравчинским искать об'яснения массового «хождения в народ» в влиянии отдельных книг или личностей. Мы говорили выше о причинах, вызвавших усиление движения в начале 70-х годов, и видели, что причины этого были сложнее, чем влияние отдельных книг и личностей.

«Весною 1874 г. волна революционно-пропагандистского движения в Петербурге достигла своей крайней высоты,—рассказывает Аптекман о подготовительной стадии «хождения в народ».—Кружки и сходки прекратились. Они теперь уже не нужны. Все вопросы решены. Время уже итти в народ. Надо приготовить все необходимое для этого. Но прежде всего нужно научиться физическому труду. И работа закипела. Одни отправляются на заводы, фабрики, где, с помощью спропагандированных рабочих, устраиваются и приступают к работе... Другие—таких было, если не ошибаюсь, большинство—бросаются на изучение ремесл—сапожного, столярного, слесарного и проч... Во многих частях Петербурга,—на Выборгской, Петербургской сторонах, в Измайловском полку, на Васильевском острове и проч.—открываются такие мастерские, в которых выучка, под руководством опять-таки рабочего-революционера, идет довольно успешно... Мастерские, устраиваемые молодежью, были все почти на один манер. Мастерские были одновременно и «коммунами». Зайдем в такую мастерскую-коммуну. Небольшой деревянный флигель из трех комнат, с кухней, на Выборгской стороне. Скудная мебель. Спартанские постели. Запах кожи, вара бьет в нос. Это—сапожная мастерская. Трое молодых студентов сосредоточенно работают. Один особенно занят прилаживанием двойной толстой подметки к ботфортам. Под подошву надо спрятать паспорт и деньги—на всякий случай. У окна, согнувшись, вся ушла в работу молодая девушка. Она шьет сорочки, шаровары, кисеты для своих товарищей, собирающихся на-днях итти в народ. Надо торопиться—а иголка так и мелькает в воздухе. Лица—молодые, серьезные, бодрые, ясные. Говорят мало, потому, что некогда. Да и о чем разговаривать? Все уже решено, все ясно, как день».

Приучив себя к физическому труду и «опростившись», революционеры шли в деревню—одни, как Кравчинский, пильщиками, другие, как Дейч, сельскими батраками, третьи, как Брешковская, в качестве разносчицы полотен или мастерихи, прочие же в качестве мастеров, продавцов и т. д. В некоторых местах для прикрытия устраивали мастерские (сапожные, кузнечные, столярные, бон-

дарные), которые служили и конспиративными квартирами. Движение охватило, по жандармским данным, 37 губерний, и когда начались аресты, захвачено было свыше тысячи человек—это показывает, что движение было массовым, хотя, конечно, основное, подлинно-революционное ядро было многим, многим меньше. Движение не было вместе с тем распыленным: кружки стремились связаться, поддерживать друг друга, оказывать поддержку друг другу и одиночкам. Из Петербурга большинство двинулось в Поволжье, из Киева и Одессы—по югу России. В Москве действовала типография Мышкина, печатавшая нелегальщину, которая рассылалась на места и раздавалась крестьянам.

«Как бы кто из революционеров ни смотрел на значение пропаганды,—рассказывает Ковалик, один из деятельных участников движения,—все они в большей или меньшей степени ею занимались. Одни из пропагандистов предпочитали переходить из села в село по избранному ими более или менее обширному району, другие действовали набегами из занятых ими позиций, третьи старались занять какое-нибудь определенное положение в деревне, или проживали у лиц, занимающих такое положение и круг своей деятельности ограничивали сравнительно небольшими пределами». Чаще всего применялась «летучая пропаганда» при переходе с места на место, имевшая целью внести революционное брожение в массу крестьянства. «Пропагандист не считал потерянным время,—рассказывает Ковалик,—если ему удавалось возбудить в своих случайных собеседниках-крестьянах или рабочих, какую-нибудь отдельную революционную мысль или даже только усилить существующее у них недовольство своим положением. С этого положения обыкновенно и начинались разговоры; отсюда легко было перейти к эксплоатации крестьян помещиками, к притеснениям купцов, к злоупотреблениям чиновников. Если все эти стадии беседы проходили удачно, то пропагандист переходил к оценке верховной власти и доказывал, что она в лице царя является покровителем всех тех, кто угнетает народ. В результате собеседники призывались к самодеятельности, к борьбе всем миром с кулаками, помещиками, чиновниками».

Само собой разумеется, что пропаганда имела целью вызвать восстание крестьян. «По нашему мнению,—читаем в воспоминаниях Дебогория-Мокриевича,—на Волге, Дону, Днепре, сохранилось в народе более революционных традиций, чем в средней России, так как самые крупные народные движения происходили на окраинах: пугачевщина была на Волге, бунт Стеньки Разина на Дону, гайдамачина—на Днепре... По нашему плану одни должны были действовать на Днепре, другие на Волге. Вызывая стычки и местные бунты, во время которых выдвигаются, обыкновенно, из массы более смелые и энергичные личности, мы думали таким образом намечать годных для дела людей и привлечь их в революционную

организацию. А раз вспыхнуло бы восстание в одной местности, мы надеялись, что оно, подобно пламени, распространится и охватит всю Россию». Фроленко и Шишко отправились на Урал, где они надеялись организовать боевой отряд из тех, кто бежал из Сибири.

Но все это были предположения и надежды, а дело ограничивалось социалистической пропагандой. Если бакунисты (бунтари) отправлялись в народ, чтобы поднять его на восстание, а последователи Лаврова (лавристы) имели в виду более длительную пропаганду, то и те и другие одинаково ограничивались пропагандой. «Пропагандист-анархист и пропагандист-государственник, попав в народ и начав в нем свою деятельность, походили один на другого, как одно куриное яйцо на другое»,—писал в своих воспоминаниях Лонганс. «Определенной практической программы мы все-таки не выработали, да и не могли выработать,—пишет Дебогорий-Мокриевич.—Большинство «бунтарей», признававших в теории бунтовскую программу, потом, когда двинулись в народ, на практике, в своей деятельности, ничем не отличались от «пропагандистов», и подобно им занимались распространением революционных брошюр в народе, быть может, лишь с той разницей, что делали это с большим жаром и с меньшей осмотрительностью, чем «пропагандисты». К такому же выводу приходит в своих воспоминаниях и Аптекман: «Пропагандистская волна, унесшая такую массу молодежи в народ, перетасовала там в народе все направления, уничтожив практически все различия и оттенки революционных фракций: революционеры, точно сговорившись, делали в народе одно дело—пропагандировали идеи социализма. И вышло, что все были тогда пропагандистами: и «бунтари» и «лавровисты». Мы увидим еще, что если «хождение в народ» свелось к пропаганде с целью поднять революционное настроение крестьянства, и если такая цель не достигалась, то об'яснялось это причинами более глубокими, чем идейные настроения революционной молодежи.

Столь широко развившаяся революционная пропаганда была сравнительно скоро раскрыта правительством. К осени 1874 года большинство ушедших в народ было арестовано. Всего было арестовано, как сказано, свыше тысячи человек, но суду было предано 193 человека. Суд над ними особого присутствия сената продолжался свыше четырех месяцев, с 18 октября 1877 по 23 января 1878 года. Многие из обвиняемых до суда находились по 3—4 года в предварительном заключении, до 70 человек в тюрьмах умерли и сошли с'ума. Даже царский суд принял во внимание эту варварскую пытку и постановил одним засчитать предварительное заключение, а о смягчении участи других ходатайствовать перед Александром II, но царь на «милость» не пошел. Приговор был в общем чрезвычайно суров: Мышкин, Войнаральский, Ковалик, Рогачев и Муравский были приговорены к 10 годам каторги, Синегуб, Стаховский, Добровольский, Квятковский, Ливанов, Чарушин, Шишко,

Зарубаев, Союзов и Чернявский—к 9 годам, Макаревич, Сожин, Чудновский, Брешковская—на 5 лет и т. д. Из 90 оправданных около 80 были арестованы и сосланы в административном порядке.

Вскоре после приговора осужденные, за полными своими подписями, послали из Петропавловской крепости в заграничный журнал «Община» обращение к «товарищам по убеждениям», в котором, между прочим, писали: «Мы по прежнему остаемся врагами действующей в России системы, так как в экономическом отношении она эксплоатирует трудовое начало в пользу хищного тунеядства и разврата, а в политическом—отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого гражданина на произвол «личного усмотрения». Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям итти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха».

5. Революционное народничество.—„Земля и Воля".

Мы только что видели, что все революционеры, шедшие в народ, невзирая на свои программные и тактические воззрения, стали на деле пропагандистами, и что дело «бунта» отступило на задний план. Практика хождения в народ показала, однако, и большее. крестьянство не было восприимчиво не только к «бунтарской» пропаганде, но и к пропаганде социалистической вообще.

К такому выводу путем тяжелого разочарования пришли сами революционеры. «Активные крестьяне, готовые стать в ряды борцов, встречались очень редко,—пишет Ковалик, один из крайних «бунтарей».—Чаще лица, с которыми беседовали пропагандисты, выражали свои пожелания, более или менее отвечавшие тому, что проповедывали пропагандисты, но на призыв к активной борьбе подавали реплики, свидетельствующие, что они лишь поддержат тех, кто начнет борьбу, причем одни ожидали начала от царя, другие от революционеров». Один из участников хождения в народ, Аронзон, писал с Поволжья своему товарищу: «Действовать в известной тебе форме я советую обождать пока. Да и сама форма не приносит хороших результатов, почти никаких». Аронзон ссылается на беседу свою с приятелем, который «жалуется на это самое; он говорил, что слушают-то слушают, но сами слышанное не распространяют, разговоры остаются разговорами; глубоко в грудь они не западают, в одно ухо вошло, а в другое вышло». Приблизительно в таких же выражениях пишет об итогах хождения в народ видный участник движения 70-х годов М. Р. Попов: «Надежда на то, что пропаганда вызовет деревенский народ на активную борьбу или, по крайней мере, вдохнет в крестьянство веру в то, что такая борьба даст плодотворные результаты,—такие надежды не оправдались. Крестьянин слушал революционера точно так же, как он

слушал батюшку, проповедывающего ему царствие небесное, и после прослушанной проповеди, как только переходил порог церкви, жил точно так же, как он жил и до проповеди». Аптекман рассказывает, что, перебирая в памяти свои впечатления о ходе работы в деревне, он припоминал, «как холодно относился народ к социализму и, наоборот, с какой горячностью и страстностью дебатировались те вопросы, которые касались его неотложных нужд и потребностей, которые не выходили из обычного круга его представлений и понятий о лучшей крестьянской жизни, о лучшей доле». «Легче восстановить крестьян против царя, чем убедить их в том, что не надо частной собственности»,—говорил на одной из революционных сходок о своих впечатлениях Боголюбов, который был, по словам Плеханова, очень опытным и умелым пропагандистом. А другой пропагандист рассказывал, что один крестьянин, убежденный им в необходимости поголовного народного восстания и отобрания земли у помещиков, воскликнул с восторгом: «Вот будет хорошо, как землю-то мы поделим! Тогда я принайму двух работников, да как заживу-то!»

Словом, крестьяне, как того и следовало ожидать, не воспринимали ни бунта, ни социализма, и на проповедь революционеров откликнулись с точки зрения своих представлений о «лучшей доле», т.-е. с точки зрения мелких собственников. «Крестьянин,—писал об этом времени Плеханов,—охотно и внимательно слушавший рассказы пропагандиста на тему о малоземельи, о тяжести податей, о произволе администрации, о бессердечии помещиков и жадности попов, о хищничестве купцов и т. п., в массе оказывался глух к проповеди социализма. Социалистические идеалы не только не влекли его к себе, но прямо не укладывались в его голову, потому что в идеалах, подсказываемых ему его собственными производственными отношениями, было очень много буржуазного индивидуализма».

Такие итоги «хождения в народ» не удовлетворяли более активную часть молодежи, которая занималась пропагандой. В начале 1876 года, т.-е. тогда, когда под влиянием предыдущего революционного опыта искания эти стали особенно острыми, Кравчинский писал Лаврову: «Ваша партия была и остается до сих пор партией «слова», которая не хочет «дела». Кравчинский резко порицал лавристов-пропагандистов, и о тактике «левой» писал: «Мы хотели непосредственного восстания, бунта. Наша деятельность будет заключаться в организации бунта... «Бунт», вот слово, которое стояло на знамени всех фракций более крайней партии, о которой я говорил. Разница была только в частностях». Кравчинский приходил к выводу, что если вся революционная работа свелась к пропаганде, то причина тому—в отсутствии революционной организации. «Каждый действовал совершенно в одиночку,—писал он о времени «хождения в народ».—Ну, а в одиночку возможно либо ничего не делать,

либо вести только пропаганду. Поэтому даже самые ярые последователи Ковалика, так называемые «вспышечники», в сущности вовсе не бунтовали, а вели пропаганду, потому что бунт без организации такая же невозможность, как строй без шеренг, рычаг без коромысла. Это случилось роковым образом и совершенно противно их убеждениям и целям, но случилось. Вот почему вся деятельность нашей революционной партии ограничивалась одной пропагандой». Кравчинский, как и многие, думал, что предстоявший процесс 193 побудит революционную молодежь пересмотреть старые пути и наметить новые. По его мнению, прекрасный урок уже дан и доказана «необходимость организации», так как бунт нельзя пропагандировать, его нужно организовать. «Вот к чему,—писал Кравчинский,—тяжелым путем личного опыта дошел и я, и многие из моих друзей, которые сами были действующими лицами в последней драме, когда она совершалась еще в городах и деревнях».

Опыт сводился, таким образом, к необходимости выйти из тесных рамок пропаганды на путь «бунтарства», от социалистической пропаганды перейти к агитации и, как предварительное условие, приступить к организации революционных сил. Но вынужденные пересмотреть некоторые из своих позиций, революционеры не покинули старой утопической точки зрения. Равнодушие крестьянства к вопросам социализма они об'ясняли не господством среди крестьян мелко-собственнических интересов, чуждых социализму, а тем, что община еще не достигла надлежащей высоты своего развития, и отсюда делали вывод, что, во-первых, стремление крестьян к социализму вырастет из самих условий крестьянской жизни, как только община достигнет желательной высоты развития, и что, во-вторых, задачи революционеров сводятся к тому, чтобы облегчить общине ее развитие, или иначе, уничтожить все, препятствующее этому развитию. Говоря словами Плеханова, они отступали перед трудностями социалистической пропаганды и агитации в крестьянстве и, совершая это отступление, утешали себя верой в будущее «социалистическое» развитие общины. Но отступая перед трудностями социалистичской пропаганды, они должны были, естественно, изменить свою тактику. Если крестьяне не воспринимают социалистической пропаганды, но весьма внимательно прислушиваются ко всем разговорам об их текущих нуждах, то и агитацию надо вести, исходя из насущных злободневных вопросов крестьянской жизни. Один из наиболее видных бунтарей, Стефанович, видел причину неудачи движения первой половины 70-х годов том, что революционеры «игнорировали местные условия и интересы, непосредственно задевающие крестьян». Организационная деятельность, по его мнению, «может быть успешной только при знании местных особенностей народной жизни, при понимании причин местного недовольства». «Опираясь на созданные данной местностью условия, приспособляясь к ним в своих приемах,—пи-

сал Стефанович,—мы станем на твердую почву, как организаторы крестьянства». Таким образом, требовалось более близкое знакомство с крестьянскими нуждами, которого не давала прежняя летучая пропаганда, для чего необходимо было более прочно оседать в деревне, чтобы таким образом стать ближе к крестьянству, знать его повседневные нужды и на основе их вести агитацию.

В таком направлении и начался пересмотр программных и тактических положений с начала 1876 года, когда революционеры, уцелевшие от разгрома, собрались в Петербурге. К осени 1876 года выработка программы была закончена и на основе ее была создана новая организация, «северная революционно-народническая группа», которая с 1878 года получила название «Земля и Воля»,—первая в России революционная партия, так как раньше существовавшие кружки не имели ни самостоятельно выработанной программы, ни сколько-нибудь определенных организационных форм. Землевольцы издавали свой орган—«Земля и Воля»,—на страницах которого была подробно развита программа организации.

Наиболее обстоятельно подошел к обоснованию этой программы Плеханов, который был одним из редакторов «Земли и Воли». Плеханов ставит основный вопрос, должна ли Россия пройти, по примеру других более передовых стран, стадию капиталистического развития и за исходную точку берет известное положение Маркса о том, что «когда какое-нибудь общество напало на след естественного закона своего развития, оно не в состоянии ни перескочить через естественные формы своего развития, ни отменить их при помощи декретов, но оно может облегчить и сократить мучения родов». Плеханов соглашался, что раз общество напало на след естественного развития, то оно не может перескочить через естественные стадии этого развития. Но отсюда он делает и обратный вывод: пока общество еще не напало на след закона своего развития, прохождение стадий этого развития для него необязательно. Весь вопрос сводится, таким образом, для Плеханова к тому, напала ли Россия на след капиталистического развития или нет. На Западе, по его мнению, новая стадия развития началась с разрушения общины, вслед за которым началось разрушение феодализма и торжество «индивидуализма», капитализма, который, сплачивая большие массы рабочих на фабриках и создавая общие им всем интересы, сам роет для себя могилу, так как воспитывает «в людях социальные привычки, которые были забыты со времени падения общины». Поэтому на Западе капитализм—действительно, естественный предшественник социализма. Но Плеханов полагает, что ход развития социализма и на Западе был бы иной, если бы «община там не пала преждевременно», ибо сам принцип общинного землевладения не носит в себе элементов разложения, но, напротив, заключает в себе возможность общинной обработки земли, т.-е. перехода в высшую стадию. В России община еще не разрушена—

стало быть, говорит Плеханов, «пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства, мы не можем считать наше отечество вступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимой стадией на пути его прогресса». Поэтому и социалистическая пропаганда в России вовсе не преждевременна, но только ее исходная точка и практические задачи не те, что на Западе. Запад не знает коллективного владения землею и орудиями труда, там капиталистическое производство подготовляет условия для коллективного труда, из которого разовьется и коллективное владение. Поэтому на Западе перед революционерами стоит задача пропаганды коллективного труда и владения. В России общинное владение не нуждается в пропаганде, так как оно составляет для крестьянства «завет всей его истории», а коллективный труд может развиться только из коллективного владения, т.-е. при дальнейшем развитии той же общины. Русским революционерам не приходится, поэтому, пропагандировать ни коллективного владения, ни коллективного труда—первый существует в общине, второй утвердится при дальнейшем развитии общины. Перед революционерами в России стоит другая задача—устранить все то, что мешает развитию общины, т.-е. «развращающее влияние современного государства». А оно, добавляет Плеханов, может быть устранено только окончательным разрушением государства и предоставлением нашему освобожденному крестьянству возможности устраиваться «на всей своей воле». «Таким образом,—заканчивает Плеханов,—мы a priori пришли к тем же практическим задачам, которые ставили себе титаны народно-революционной обороны: Болотников, Булавин, Разин, Пугачев и другие. Мы пришли к «Земле и Воле».

В другой статье, принадлежавшей перу Кравчинского, «Земля и Воля», писала: «Революция—дело народных масс. Подготовляет их история. Революционеры ничего исправить не в силах. Они могут быть только орудиями истории, выразителями народных стремлений. Роль их заключается только в том, чтобы, организуя народ во имя его стремлений и требований и поднимая его на борьбу с целью их осуществления, содействовать ускорению того революционного процесса, который, по непреложным законам природы, совершается в данный период. Вне этой роли, они—ничто; в пределах ее, они—один из могущественных факторов истории. Поэтому основанием всякой истинно-революционой программы должны быть народные идеалы как их создала история в данное время и в данной местности. Во все времена, где бы и в каких бы размерах ни поднимался русский народ, он требовал земли и воли. Земли—как общего достояния тех, кто на ней работает, и воли,—как общего права всех людей самим распоряжаться своими делами. Отнятие земель у помещиков и бояр, изгнание, а иногда поголовное истребление всего начальства, всех представителей государства и учреждение «ка-

зачьих кругов», т.-е. вольных автономных общин с выборными, ответственными и всегда сменяемыми исполнителями народной воли—такова была всегда неизменная «программа» народных революционеров-социалистов: Пугачева, Разина и их сподвижников. Такова же, без сомнения, остается она и теперь для громадного большинства русского народа. Поэтому ее принимаем и мы, революционеры-народники».

Как видим, Плеханов выдвигает на первый план «самопроизвольное» развитие общины, Кравчинский развивает положение, что освобождение народа может быть делом только самого народа. Плеханов требует уничтожения государства, которое задерживает развитие общины, Кравчинский развертывает анархический идеал «вольных автономных общин», и оба разделяют «народные идеалы» как их выявили «титаны народно-революционной обороны»—Разин, Пугачев и их сподвижники.

В других статьях «Земли и Воли» обосновывались другие стороны программных и тактических построений. Так, в одной из статей указывалось, что крестьянин сам знает, что ему нужно, и «вопрос о каких бы то ни было социалистических идеалах не имеет для него жгучего интереса». Но крестьянин не знает, что делать, как бороться, и перед этим вопросом—посылает упрек статья пропагандистам—«пропагандист пасовал, потому что нельзя же считать сколько-нибудь серьезным ответом—рекомендацию дальнейшей пропаганды или голые указания на бунт, без об'яснения средств обеспечения бунту успеха». Исправлению подлежали, стало быть, как методы пропаганды, так и «бунтовской» тактики. Что касается первых, то требуется, прежде всего, чтобы «революционер в народе становился мирским человеком, мирским радетелем, агитатором на почве всех крестьянских интересов». Желает ли крестьянин отстоять клочек земли, леса, покоса, отсрочить платеж повинности, отделаться от черезчур бессовестного урядника—все это и «тысячи подобных мелких вопросов» должны быть близки революционеру и на их почве нужно вести агитацию. «Пять лет тому назад—говорилось в другой статье «Земли и Воли» на эту же тему—мы сбросили немецкое платье и оделись в сермягу, чтобы быть принятыми народом в его среду. Теперь же видим, что этого мало, пришло время сбросить с социализма его немецкое платье и тоже одеть в народную сермягу». Вызвать «могучую, истинно-мужицкую революционную организацию» можно только «исходя из местных крестьянских интересов».

Но такого рода агитацией на почве непосредственных крестьянских нужд дело, конечно, не может ограничиться. Для агитатора «революция составляет его конкретную цель, которую он желает осуществить при первой возможности». Поэтому нужна и «более яркая бунтовская деятельность». Во многих случаях агитации «вмешательство вооруженной силы необходимо». Если протест кре-

стьян вызывает, напр., репрессии со стороны правительства, то революционер, чтобы крестьяне не отступились от него, как от нового источника своего несчастья, должен, если не отстоять крестьян, то отомстить за насилие над ними. «Что делать с неисправимым упорным помещиком, урядником, становым?—спрашивает «Земля и Воля» и отвечает: революционерам постоянно придется или сознаваться в полном бессилии помочь народу, или устранять эксплоататоров, отомщать обидчикам и т. п.—вооруженной рукой». Таким образом выдвигалась и принималась идея аграрного террора. Но все это предполагает необходимость боевой организации или, как говорит «Земля и Воля», «вооруженных банд». Боевая организация необходима и для подготовки всенародного восстания. «Всякая пропаганда должна быть поддержана фактами, примером, делом,—писала «Земля и Воля»,—и это особенно имеет значение в таком рискованном, опасном деле, как восстание. Проповедуя восстание, революционная партия должна первая поднять его знамя. Организуя вооруженные банды, мы фактически осуществляем революцию, противопоставляем силе силу и даем народу лучший образчик способа действия».

«Земля и Воля» признает также террор, но лишь как вынужденную меру обороны, а не как орудие политической борьбы. «До тех пор,—писала газета,—пока остается в действии нынешняя система, основанием которой служит произвол отдельной личности, начиная от царя и кончая будочником, произвол всевозможных размеров, оттенков и видов, произвол, регулируемый, усиливаемый, ослабляемый опять же произволом,—до тех пор врагами нашими, врагами человечества, интересы которого олицетворяет социализм, являются отдельные личности. Поэтому мы будем вести самую беспощадную войну против этих личностей». Но, добавляет «Земля и Воля», «не этим путем мы добьемся освобождения рабочих масс. С борьбою против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Против класса может восстать только класс; разрушить систему может только сам народ. Поэтому, главная масса наших сил должна работать в среде народа. Террористы—это не более, чем охранительный отряд, назначение которого оберегать этих работников от предательских ударов врагов».

В землевольчестве мы имеем вторую, вслед за хождением в народ, стадию революционного движения 70-х годов,—т. н. революционное народничество (землевольцы назвали себя «революционерами-народниками»). В основных своих чертах революционное народничество является прямым продолжением бакунизма, бунтарства. Бакунин, как мы видели, исходил из того, что община может развиться в социалистическое общество, но развитию этому мешает государство, которое и должно быть поэтому разрушено,—место государства должна занять свободная федерация вольных общин, и революцию произведет только само крестьянство путем восстания,

бунта. Все эти основные черты бакунизма воспринимаются революционым народничеством, но подвергаются дальнейшему развитию. По Бакунину, крестьянство всегда готово к социальному перевороту и бунт можно вызвать в «любой» деревне—социалистическая революция не требует никакой подготовки, нужно итти в народ и поднимать его на восстание. Но опыт хождения в народ показал, что дело обстоит многим сложнее, что крестьянство не готово бунтовать по всякому поводу. Революционное народничество не закрывало глаз на то, что крестьянство не отзывается на социалистическую пропаганду, но отсюда делало тот вывод, что стремление крестьян к социализму скажется со всей силой тогда, когда община получить свое дальнейшее развитие, которому препятствует государство. Такой вывод предрешил усиление революционной борьбы против государства, так как только ниспровержение, прежде всего, нынешнего государства, может открыть перед общиной свободный путь развития. С другой стороны, так как крестьянство не откликается на каждый призыв к бунту, то революционную агитацию нужно вести на почве непосредственных местных нужд крестьянства, постепенно революционизируя крестьянскую массу и подготовляя ее к восстанию. Для того, чтобы вести такого рода агитацию, нужно стать к крестьянству еще ближе, изучить его нужды, жить и работать в крестьянской среде. Таким образом, в отличие от предшествующего периода хождения в народ с его надеждами на полную подготовленность крестьянства к социалистической пропаганде и к восстанию, теперь революционеры отступили перед трудностями пропаганды в деревне, как социализма, так и непосредственного, немедленного восстания. Если отказ от социалистической пропаганды заменялся верой в «самопроизвольное» развитие общины, т.-е. укреплял утопическую сторону бакунизма, то отказ от мысли немедленно вызвать восстание крестьянства, приводя к агитации на почве непосредственных крестьянских нужд, открывал больший простор революционной работе среди крестьянства. Перестраивая свою деятельность в крестьянской массе в направлении большего сближения с последней, революционное народничество прочно усваивало вместе с тем положение, что освобождение народа может быть делом самого народа—обстоятельство, которое сыграло свою крупную роль в дальнейшей эволюции русской революционной мысли.

6. Деревенские поселения.—Чигиринское дело.

Главной своей задачей революционеры-народники считали агитацию в крестьянстве, а так как агитация эта должна была вестись на почве местных крестьянских нужд, то, прежде всего, следовало организовать в деревне свои «поселения», чтобы войти в курс жизни крестьян и сблизиться с ними.

По сравнению со временем хождения в народ революционная работа в деревне теперь существенно изменилась и должна

была протекать в другой обстановке. Деревенские поселения имели в виду длительную агитацию на почве разнообразных местных нужд крестьянства и потому требовали сближения с крестьянами в таких формах, которые обеспечивали доверие деревни. Опыт хождения в народ показал, что и с этой стороны не все обстояло благоприятно. Крестьяне, по словам Аптекмана, привыкли почитать «материальную личную самостоятельность, домовитость и хозяйственность», а революционеры часто скитались по деревням под видом бездомных батраков, не внушавших крестьянам никакого доверия. Поэтому теперь «настоятельной необходимостью считалось занять такое положение, в котором революционеру, при полной материальной самостоятельности, открывалась широкая возможность прийти в наибольшее соприкосновение с жителями данной местности, входить в их интересы и пользоваться влиянием на их общественные дела». Революционеры стали устраиваться в деревнях хозяйственным образом, заводили фермы, мельницы или занимали должности сельских писарей, учителей, фельдшеров, врачей.

Судя по всему, деревенские поселения не получили сколько-нибудь широкого развития. Операционной базой, как и при хождении в народ, было избрано Поволжье и Дон, где, предполагалось, еще живы традиции Пугачева и Разина. Поселения были организованы в губерниях Саратовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Астраханской, на Дону и Кубани. В деревню было двинуто основное ядро землевольцев, к которому присоединились местные группы. Из видных землевольцев в поселениях участвовали Плеханов, Александр Михайлов, Аптекман, Вера Фигнер, Попов, Квятковский и др. «Весною 1877 года,—рассказывает Плеханов,—с разных концов России члены общества «Земля и Воля» двинулись в Поволжье для устройства «поселений». Пространство от Нижнего до Астрахани принято было за операционный базис, от которого должны были итти поселения по обе стороны Волги. В одном месте устраивалась ферма, в другом—кузница, там появлялась лавочка, здесь приискивал себе место волостной писарь. В каждом губернском городе был свой «центр», заведывавший делами местной группы. Саратовская и астраханская группы непосредственно сносились с членами кружка, жившими в Донской области, а надо всеми этими группами стоял петербургский «основной кружок», заведывавший делами всей организации». О Михайлове, избравшем пропаганду между раскольниками и поселившимся в одном семействе раскольников, Плеханов рассказывает: «Живя в комнате, отделенной от хозяйского помещения лишь тоненькой перегородкой, Михайлов не мог скрыть ни одного своего шага от подозрительного глаза хозяев, и должен был взять себя в ежовые рукавицы, чтобы окончательно отделаться от столичных привычек. С поразительным терпением и аккуратностью молился он богу, расстилал на

полу какой-то «плат» и надевал на руку какой-то удивительный кожаный треугольник, висевший на длинном ремне. Помолившись и повздыхавши о своих грехах, он принимался за чтение священных книг и по целым дням назидался рассуждениями о пришествии Ильи и Еноха, о двуперстном сложении, о кончине мира и т. п.». Скоро Михайлов так освоился с учением раскола, что рисковал принимать участие в церковных диспутах, а затем для расширения агитации среди раскольников, собирался организовать особый кружок и сам, находясь в Петербурге, усердно изучал богословскую литературу в публичной библиотеке. Сам Михайлов в автобиографии писал, что в расколе его «сильно манили тайники народно-общинного духа, область исканий народной жизни и народного творчества». «К деятельности среди раскольников,—писал Михайлов,—я относился чрезвычайно любовно и решился побеждать великие трудности. Мне пришлось сделаться буквально старовером, пришлось взять себя в ежевые рукавицы, ломать себя с ног до головы. Я должен был во всем подделаться под эту среду, чтобы, стоя на одной ноге с нею, иметь возможность влиять на нее». Эта вера в раскол, в сокрытые в нем революционные возможности, была у Михайлова столь велика, что, по некоторым сведениям, он собирался даже основать среди раскольников новую секту с задачами боевого характера.

Несмотря на неистощимую энергию, вложенную в дело, агитация и в новых ее формах подвигалась медленно. О первых впечатлениях, вынесенных из поселений, Аптекман писал: «Деревенская действительность много сложнее, чем схематически набросанная программой картина. Предстоит большая еще предварительная работа подготовительного характера. А такая работа, т. е. подготовительная, требует людей, а их немного, считая даже местных, революционно-народнического направления. Для прямой же агитации, повидимому, пока еще нет благоприятной почвы. Приходится ждать, выжидать: искусственно агитация в деревне не создается». Таким образом, организацию боевых дружин, подготовку бунта приходилось снова откладывать и заниматься общей революционной пропагандой, агитацией. «Каждый раз,—рассказывает о своей работе в деревне Вера Фигнер,—приходилось говорить об условиях крестьянской жизни, о земле, об отношениях к помещику, к власти, входить в крестьянские нужды, выслушивать их сетования, надежды; сочувствовать их горю, разделять симпатии и антипатии». «Мы учили народ,—пишет в своих воспоминаниях Аптекман,—и при том не как пришлые, чуждые ему люди, а как свои—лечащие его, учащие его радеющие о нем люди,—в амбулаториях, в сельских и народных школах, на базарах, площадях, в трактирах и мастерских,—учили его, как он должен освободиться от вековечного гнета. Мы будили дремлющее в нем чувство протеста, мы бросали лучи света в темное еще тогда сознание его. Это не была простая культурная работа,

как иные изображают ее весьма наивно, это была работа подготовительно-революционная, так как, повторяю, верховным принципом нашей многосторонней культурной деятельности была революция: освобождение народа самим народом». К такому же выводу приходил и Плеханов, когда писал о поселившихся в деревне революционерах: «Эти верные своей идее люди, конечно, не осуществили программы «бунтарей», не вызвали социальной революции—об этом нечего и говорить! Но справедливость требует признания того, что их самоотверженная и негромкая... деятельность все-таки не осталась совершенно бесплодной в смысле развития крестьянского сознания. В этом должны были убедиться те нео-народники (т.-е. социалисты-революционеры.—М. Б.), которые в начале текущего столетия направлялись в местности, более других привлекавшие к себе усилия «землевольцев» семидесятых годов».

Но нужно признать вместе с тем, что и эта «подготовительно-революционная» работа не приняла широких размеров. Причиною тому было, по словам Аптекмана, неподготовленность масс в революционном отношении, с одной стороны, и слабость сил революционеров, с другой. Что касается наличных революционных сил, то они были более чем скромны. По подсчету Аптекмана, в 1876—1877 г.г. основное ядро «Земли и Воли», если присоединить к нему все силы харьково-ростовского кружка, состояло максимум из 50 человек, в поселениях же, по словам Фигнер, «новых людей почти не было, а были нелегальные из предшествующего периода». Черпать силы приходилось из ограниченного круга революционеров, которых к тому же нельзя было всех отправить в деревню, потому что была работа и в городе. «Я прожила в Петровском уезде 10 месяцев, — пишет Фигнер, — мои ближайшие товарищи в Вольском уезде немного более, и утверждаю, что к ним за все время не присоединился ни один человек, хотя устроиться на местах при уже заведенных связях было чрезвычайно легко. Можно было прийти в отчаяние от революционного одиночества, в котором мы жили. Можно было удивляться, как мы, живые, энергичные люди, так долго терпели это положение: только глубокая вера в народ, чаяние, что он и без усилий интеллигенции проснется, поддерживали нас». Фигнер прибавляет, что, живя в 1877 г. в Петербурге, она тщетно искала людей, которых можно было бы направить в деревню—таких не нашлось. Очевидно, массовое увлечение хождением в народ прошло, масса интеллигенции отхлынула от революционного движения; а те революционные силы, которые остались, предпочитали по тем или иным причинам работать в городе — мы увидим, что такие причины, действительно, были. В общем, поселения скоро отцвели, не успевши расцвесть. Основная причина крушения и этой новой стадии революционного движения 70-х годов заключалась, конечно, в том, что крестьянство вообще не представляло собою тогда революционной силы. Как ни подходили революционеры к кре-

стьянству—хождением в народ или поселениями—вызвать крестьян на восстание или бунт не удавалось потому, что распыленная, темная, собственнически настроенная масса пассивно ждала лучшей доли, не проявляя и пока не будучи в состоянии проявить активность, а тем более активность революционную, направленную к политическому или социальному перевороту.

Это подтвердили и те единичные случаи, когда, как на юге, революционерам удавалось ближе подойти к осуществлению своей заветной цели—поднять крестьян на восстание. На юге настроение среди революционеров было, вообще, более «бунтарское», чем на севере — в особенности, выделялась киевская группа, в которую входили Стефанович, Дейч, Дебогорий-Мокриевич, Засулич, Фроленко и др. Об'ясняется это, быть может, не личным составом группы и не особыми идейными влияниями, а особенностями социальной обстановки на Украине. Здесь как известно, не было общинного владения, крестьяне владели землей на правах личной собственности, а потому и крестьянская жизнь складывалась многим сложнее ,чем в общинной России. На Украине быстрее развивался антагонизм между помещиками, владельцами обширных поместий, и крестьянами, которые при земельном голоде должны были арендовать помещичьи земли или продавать свою рабочую силу, идти на наемную работу. С другой стороны, обострялись отношения и в среде самого крестьянства, так как различия между богатыми и бедными крестьянами не затушевывались общинной формой землевладения, но, при господстве частной земельной собственности, выступали остро. На этой почве часто происходили крестьянские волнения и сама крестьянская жизнь давала много горючего материала. Естественно, что южные бунтари возлагали на эти крестьянские настроения большие надежды и строили самые фантастические планы. Фроленко, напр., рассказывает, что у некоторых явилась мысль снять в аренду обширную степь и устроить на ней маленькую сечь на подобие Запорожской, нечто в роде аванпоста будущих повстанцев; послали даже снимать покос, но он оказался сданным другим и с мыслью об организации сечи пришлось расстаться. Не менее фантастическим оказался и план Стефановича организовать восстание чигиринских крестьян.

В Чигиринском уезде (Киевской губернии) крестьяне давно волновались. При освобождении крестьяне получили здесь те же участки, которыми они владели раньше, как государственные крестьяне. Наделы эти были явно недостаточны, и потому на почве распределения их обострилась борьба между более состоятельными крестьянами и беднотой. Многосемейные дворы требовали разверстки земли по душам, а не по участкам, так как тогда земля была бы распределена более равномерно, малосемейные, наоборот, добивались сохранения разверстки по участкам. Отношения между этими враждующими группами все более обострялись, и дело дохо-

дило до открытых столкновений. Само собой разумеется, пошли слухи о том, что царь на стороне «душевиков», а министры и чиновники держат руку сильных. Обманутые чиновниками душевики решили послать ходока к царю-заступнику и выбрали в ходоки своего более толкового человека Фому Прядко, а к нему еще нескольких. Когда противная партия донесла об этом начальству, пошли репрессии и аресты. Зимой 1875—6 г. в Киеве по участкам уже сидело не мало чигиринских крестьян.

Вот этими-то волнениями и задумал воспользоваться Стефанович, чтобы вызвать восстание крестьян. Назвавшись крестьянином Дмитрием Найдой, он завел сношения с некоторыми из арестованных крестьян, которым сказал, что он также избран ходоком к царю и предлагал продолжать дело совместно. Через новых знакомых Стефанович получил возможность завязать непосредственно связи с волновавшимися деревнями. В чем же состоял план Стефановича? «Я задался целью, — рассказывает он, — прежде всего, внести в этот тупой протест революционный элемент: возбудить сознание необходимости активного образа действий, внушить надежду не на постороннюю помощь, а единственно на свои собственные силы. Короче, на значительно уже подготовленной почве я задумал попытаться создать революционную организацию, на знамени которой были бы начертаны желания народа — «Земля и Воля», желания, к которым нам пока нечего прибавлять». Конечною целью тайного крестьянского общества должно было быть восстание. При этом следовало, по мнению Стефановича, приноравливаться в своем образе действий к характеру крестьянского миросозерцания, не вносить ничего такого, что переворачивало бы вверх дном те основы, с которыми сжился и к которым привык народ, быть, так сказать, радикалом постольку, поскольку им может быть крестьянин».

Так как крестьяне связывали свои надежды с именем царя, то к этому «характеру крестьянского миросозерцания» приурочил и Стефанович свой план действий. Он добился того, что крестьяне послали его ходоком с прошением к царю. Но что же делать дальше? Какой ответ принести от царя? Стефанович отвечал на это: «Все мои наблюдения утвердили меня в той мысли, что только авторитетное начало может гарантировать принятие задуманной мною организации, а таковым в данном случае могло быть только имя царя Александра II». Иначе говоря, крестьяне не проявляли ни малейшего революционного рвения и если могли пойти против дворянско-помещичьего порядка, то только по призыву царя. Поэтому Стефанович решил принести крестьянам от царя в ответ на их прошение план революционной организации. Так он надеялся убедить крестьян в том, что они должны полагаться «единственно на свои собственные силы!».

Отправившись якобы в Петербург к царю, Стефанович спустя некоторое время возвратился к крестьянам, которым показал дол-

гожданный манифест от царя. Это была — «высочайшая данная грамота» от самого Александра II. Грамота об'ясняла крестьянам, что царская воля при освобождении состояла в том, чтобы «оставить помещикам только усадьбы и такое же количество земли и леса, какое придется бывшему их крепостному по равному подушному разделу». Но дворяне, во главе с наследником царским, Александром Александровичем воспрепятствовали выполнению царской воли, «хитростью и обманом» захватили крестьянские земли и наложили на крестьян выкуп. «Непрестанная 20-летняя борьба наша за вас с дворянством,—обращается царская грамота к крестьянам, — убедила нас, наконец, что мы единолично не в силах помочь вашему горю ,и что только вы сами можете свергнуть с себя дворянское иго и освободиться от тяжелых угнетений и непосильных поборов, если единодушно с оружием в руках восстанете против ненавистных вам врагов и завладеете всей землей. Руководясь сим убеждением, всем вам, крестьянам, а также и мещанам, верным нам, а не недостойному наследнику нашему, Александру Александровичу с его союзниками дворянами и великими князьями, повелеваем: соединяйтесь в тайные общества, именуемые «Тайные Дружины», с тем, чтобы подготовиться к восстанию против дворян, чиновников и всех высших сословий. Всякий, кто готов положить жизнь свою за великое дело, обязан дать присягу на верность обществу «Тайной Дружины». Сии общества,—поучает крестьян царская грамота, — должны держать себя в самой строгой тайне от дворянского начальства и попов, этих, по большей части, шпионов панских, а не достойных пастырей стада божия. Изменников не должно щадить, и каждый, кто умертвит предателя, совершит доброе и благотворное дело». Когда окончится «священная борьба», с дворянами, тогда, — говорит грамота,— «вся земля, с лесами и сенокосами станет таким же бесплатным достоянием вашим, как вода, свет солнечный и всякий другой дар божий, созданный для человека; не будет ненавистного вам дворянского начальства, незнающего сострадания к вам, и воцарится тогда свобода и благоденствие на земле русской». «Итак,— заканчивала грамота,—осени себя крестным знамением, православный народ, и призови благословение божие на святое дело твое. Помни, како заповедь, сии слова, сказанные тебе царем-доброжелателем твоим!»

К грамоте был приложен «Устав крестьянского общества «Тайная Дружина, высочайше утвержденный его императорским величеством государем императором Александром Николаевичем», и текст присяги. Последней Стефанович придавал особенное значение. «При отсутствии у крестьян идейного отношения к делу,— писал он,—как к средству, закрепляющему каждого члена будущего тайного общества за своей организацией, я обратился к присяге, обряд которой, при известной обстановке, должен был дей-

ствовать на крестьян внушающим образом». Текст присяги, скрепленный царским «быть по сему», заключал в себе, между прочим, следующее: «Клянусь, по приказу Александра Николаевича, бороться с оружием в руках с помещиками, чиновниками и всякими моих собратий и моего государя Александра Николаевича врагами, погубившими нашу волю и отнявшими у нас землю, врученную нам самим богом и государем Александром Николаевичем в вечное бесплатное пользование... Ежели нарушу сию мою клятву, то призываю гнев господа бога и всех святых его на меня и на все мое потомство, и да поразят меня всякие беды и несчастья, и да не щадит меня рука брата-дружинника. Аминь». Что касается тайных дружин, то, по уставу, они состояли «под покровительством» царя, управлялись «советом комиссаров», получающих грамоты от царя и т. д.

Крестьяне такого царского подарка совсем не ожидали. По рассказу Стефановича, на первом сходе, когда крестьян ознакомили с грамотой, они не дали никакого ответа; затем ему удалось склонить троих, но, смущаемые другими, они снова стали колебаться; некоторые видели в этом дворянский подвох, а один высказал даже предположение, не польская ли это штука. Однако, в конце концов, крестьяне уверовали и начали приносить присягу. Потребовали крестьяне присяги и от Стефановича и его товарищей. «Я с товарищами охотно согласились, — рассказывает Стефанович. — В клуню принесли стол, покрыли его скатертью, положили икону и зажгли восковую свечу, не забыли также воткнуть крестообразно два ножа. Мы прочли такст присяги, проверяемой по печатному листу атаманом. Все были, очевидно, довольны: «От тепер ми своїми очима бачимо, що ви такі-ж дружинники, як і ми», — заявляли нам.

Несмотря на предупреждение Стефановича действовать осмотрительно, запись в дружины приняла широкие размеры. Один из крестьян собрал в степи 300 человек и при свете фонарей, ночью, привел их к присяге; по деревням пошли слухи, что желающие освободиться от панско-чиновничьей неволи должны записываться в какое-то общество, а затем один из дружинников в пьяном виде разболтал тайну отставному солдату, который доложил обо всем начальству. Начались аресты. Задержан был и Стефанович с товарищами Дейчем и Бохановским, но им удалось бежать из тюрьмы при содействии Фроленко, который, поступив в тюрьму надзирателем, устроил побег.

Неудачу всего плана Стефанович об'яснял тем, что он с товарищами не могли руководить созданной ими организацией. «Единственным средством направлять внутреннюю жизнь общества,— писал он,—представлялось поселение в местах, где существовали дружины, нескольких интеллигентных революционеров в качестве простых дружинников. Мы прекрасно понимали необходимость

этой меры и стали искать подходящих людей. К сожалению, это нам не удалось, потому что осуществление плана замедлилось». Таково было мнение Стефановича вскоре после затеянного им дела — и мнение это характерно для настроений того времени. Так думал, конечно, не один Стефанович. Плеханов подтверждает, что значительное большинство землевольцев отнеслось к плану Стефановича вполне одобрительно, и нужно полагать, что большинство это причину неудачи также видело в недостаточной организованности дела. Между тем, весь план был фантастичен и утопичен. Реальна в нем была лишь надежда на то, что темное крестьянство, которое верит в то, что земля стоит на трех китах и в лесу воют ведьмы, поверит и в призыв царя выступить с оружием в руках против дворянства. Крестьяне как будто в это поверили, но восстания не последовало и не последовало потому, что в России второй половины 70-х годов XIX века для пугачевщины больше места не было.

Отсюда можно было сделать только один вывод. Если, как думал Стефанович, «только имя царя Александра II» могло подвинуть крестьян на восстание и если и из такого способа ничего не вышло, стало быть, нужно пересмотреть самые основы «бунтарства» и поискать других путей революции. Но вывод этот сделан был не скоро. Чигиринское дело прежде всего подверглось критике лишь с точки зрения допустимости для революционера действовать именем царя. Большинство землевольцев, как мы видели, такой образ действий допускали. Но несколько лет спустя, революционно-народнический «Черный Передел», печатая статью Стефановича о чигиринском деле, писал: «Мы понимаем всю натянутость положения социалиста, делающего народу такое заявление от имени царя. Мы не можем не указать на необходимость избегать подобных положений и стараться подкопать веру народа в помощь и благосклонность царя. Какие бы ни были практические результаты чигиринского дела, мы никогда не отступим от убеждения, что уничтожение веры в царя есть одно из необходимых условий народного освобождения». Таким образом, «Черный Передел» готов был пересмотреть «чигиринскую» тактику, но был еще далек от того, чтобы подвергнуть пересмотру самые основы тактики бунтарства.

7. Революционное народничество и рабочее движение.

Работа в деревне составляла главную, но не единственную задачу землевольцев. Они уделяли силы и внимание также городу, где вели пропаганду среди учащейся молодежи и рабочих.

Мы выше познакомились с пропагандой чайковцев среди городских рабочих и видели, что на эту работу пропагандисты начала 70-х годов смотрели как на подсобную: из рабочих предпола-

галось подготовить агитаторов для деревни, своего рода посредников между революционной организацией и крестьянством. Добавим теперь, что соответственно такой задаче пропаганды среди рабочих, предпочтение отдавалось «фабричным» рабочим, т. е. более «серым», преимущественно текстильным рабочим, перед «заводскими», т. е. более квалифицированными рабочими. Первые еще сохраняли свою связь с деревней и потому были более пригодны для работы в деревне, между тем как вторые превратились в постоянных городских жителей. «Мои симпатии, — рассказывает Кропоткин, — влекли меня преимущественно к ткачам и фабричным рабочим вообще. В Петербург сходятся тысячи таких работников, которые на лето возвращаются в свои деревни пахать землю. Эти полу-крестьяне, полу-фабричные приносят в город мирской дух русской деревни».

Такое отношение к пропаганде среди рабочих вполне соответствовало общему утопическому мировоззрению революционной интеллигенции. Ведь, она верила в то, что Россия может миновать стадию капиталистического развития и сразу поставит в порядок дня социалистичскую революцию, а в таком случае, все значение придавалось крестьянству, но не промышленному пролетариату. О последнем, как говорил Плеханов, революционеры могли только сказать: «Ты—испорченное цивилизацией дитя русского народа, и лучше было бы, если бы тебя совсем не существовало». Однако, поскольку промышленный пролетариат существовал, его можно было «использовать» и притом серую, отсталую массу предпочтительнее, чем более сознательную.

Но достойно внимания, что несмотря на это работа среди фабричного пролетариата не прекращалась и велась довольно усердно. В период хождения в народ сделана была даже попытка расширить эту работу и повести ее более организованно. В конце 1874 года в Москву переселились некоторые члены петербургских рабочих кружков, среди которых был, между прочим, рабочий Петр Алексеев, который приобрел потом громкую славу своей речью на суде. Вскоре к ним присоединились приехавшие из Цюриха студентки, члены кружка «Фричей», Софья Бардина, Лидия Фигнер, Бети Каминская, Евгения Субботина, Ольга и Вера Любатович и др. Руководящую роль в этой группе играл Джабадари, усилиями которого была образована «Всероссийская социально-революционная организация», как назвал себя кружок. Главной задачей своей эта организация поставила пропаганду среди рабочих. Скоро установлены были связи на 20 московских фабриках, на мастерских курско-харьковской ж. д. и на многих мелких предприятиях. Когда в Москве работа наладилась, признано было необходимым основать кружки в других городах—в Иваново-Вознесенске, Серпухове, Шуе, Киеве, Одессе и т. д. Однако провал положил конец всей организации и только часть членов женского

кружка отправилась в Иваново-Вознесенск, где также скоро были произведены аресты. Многие члены кружка были преданы суду и судились по т. наз. процессу 50-ти.

Московский кружок поставил работу на новых началах, применяя к пропаганде среди рабочих методы «хождения в народ». Не довольствуясь занятиями в рабочих кружках, члены организации поступали рабочими на фабрику, чтобы таким образом завязать более прочные связи с рабочими. Работницами поступали на фабрики Бардина, Каминская, Ольга Любатович и др. Такое сближение с рабочими естественно должно было привести к тому, что пропаганда приспособлялась к интересам рабочих данной фабрики. Вот что читаем мы, напр., о характере пропаганды, какую вела Бети Каминская: «Она пользовалась всевозможными предлогами, чтобы свести разговор на желательную тему. Вот, напр., она видит в руках одного парня рабочую книжку, выдаваемую от хозяина, где содержатся правила, определяющие обязанности в отношении к нему. Каминская читает ее вслух, разбирает значение каждого правила и указывает рабочим, как все эти правила клонятся к их ущербу и к пользе одних только хозяев. Она указывает им факты из жизни западных рабочих, на солидарность и борьбу с хозяйской эксплоатацией, и мало-по-малу, увлекаясь, вдается в историю, рассказывает из революций Франции и других стран и т. д.». Таким образом, хотя пропагандисты шли на фабрику вовсе не для того, чтобы толковать о рабочих книжках, все же им по необходимости приходилось начинать с непосредственных нужд рабочих; игнорируя классовую борьбу, они все же должны были отдать должное отношениям труда к капиталу и на этих отношениях строить свою пропаганду. Но этим самым они, вопреки своим намерениям, содействовали росту именно классового сознания рабочих.

Непосредственное соприкосновение с рабочей массой в ее повседневной жизни должно было заставить пропагандистов попытаться сделать и еще шаг вперед—к организации самой рабочей массы. Такая попытка в 1875 году была сделана в Одессе Евгением Заславским и его кружком. По инициативе кружка Заславского рабочими завода Гулье-Бланшард была организована ссудо-сберегательная касса, к которой примкнули и рабочие некоторых других заводов. На собраниях кассы Заславский вел с рабочим беседы, раздавал им литературу, так что задачи собственно кассы постепенно отходили на задний план. Когда число участников кассы возросло, Заславский сообщил, что в Ростове на Дону образовалась такая же организация и предложил присоединиться к ней, организовав «Южно-Российский Союз Рабочих». Мысль эта была принята, был выработан устав Союза, который предусматривал существование двух обществ—одесского и ростовского, причем каждое из них образуется из групп в 15—20 человек; каждая

группа избирает своего депутата, а депутаты, собираясь еженедельно, составляют центральный орган Союза. В Одессе было образовано 6—7 групп, в каждой из них было 5—6 преданных делу рабочих; всего Союз насчитывал 150—200 членов. Союз развил пропагандистскую работу, но уже в конце 1875 года был ликвидирован мерами жандармерии.

Общая цель Союза была формулирована в уставе в следующих выражениях: «Сознавая, что установившийся экономический и политический порядок не соответствует истинным требованиям справедливости, что этот порядок может быть изменен только посредством насильственного переворота, который уничтожит всякие преимущества и привилегии и поставит труд основой личного и общественного благосостояния, что этот переворот может совершиться только после сознания рабочими их безвыходного положения и после полного их об'единения,—мы, рабочие южно-российского края, соединяемся в союз под названием «Южно-Российский Союз Рабочих», ставя себе целью: а) пропаганду освобождения рабочих из-под гнета капитала и привилегированных классов; б) об'единение рабочих южно-российского края, в) будущую борьбу с установившимся экономическим и политическим порядком». Как видим, программа ничего не говорит об особых задачах рабочего класса и вообще не заключает в себе ничего такого, что не могло бы быть отнесено и к крестьянам. Исходя из господствовавших тогда утопических представлений о социализме, она об'являет установившийся общественный порядок несоответствующим «истинным требованиям справедливости» и уничтожение его ставит в зависимость от «сознания» рабочими их безвыходного положения. Но совершенно то же самое программа могла бы сказать и о крестьянах. Точно также Союз, не принимая точки зрения классовой борьбы, не ставил перед рабочими никаких особых задач борьбы, вытекающих из особого положения рабочего класса, но имел в виду исключительно цели пропаганды. Поэтому одесский союз не был еще новой формой рабочего движения, но был лишь новым выражением старых методов пропаганды: последняя велась теперь, вместо отдельных, разрозненных кружков, в рабочем союзе.

Эти попытки расширения пропаганды среди рабочих, скромные по содержанию и по форме, были, разумеется, отражением фактического положения рабочего движения того времени. Мы не удивимся тому, что первые пропагандистские кружки начала 70-х годов уделяли так много внимания работе среди фабричного пролетариата, если вспомним, что первые крупные стачки имели место в России именно в начале 70-х годов. В 1870 году бастовали рабочие Невской бумагопрядильной фабрики в Петербурге, в 1872 г. произошла забастовка на Кренгольмской мануфактуре в Нарве, недалеко от Петербурга. Обе эти забастовки и потому, что они были первыми, и по последствиям своим, произвели в свое время боль-

шое впечатление. С забастовкой на Невской бумагопрядильне связаны первые судебные преследования рабочих за стачку—рабочих судили на гласном суде, в газетах печатались полные отчеты; кренгольмская забастовка сопровождалась крупными волнениями рабочих, вызвавшими вмешательство военной силы. Эти первые проявления активности рабочего класса, естественно, не могли не привлечь к себе внимание революционной молодежи и не подсказать ей, что здесь она может найти благоприятную почву для социалистической пропаганды. Но вместе с тем эти первые выступления рабочих были робкими, слабыми и не осознанными самими же рабочими. В массе своей рабочие не оторвались еще от земли и от деревни, не сознали еще общности и особенности своих классовых интересов, разделяли многие предрассудки крестьянского мировоззрения, не обнаруживали еще силы, способной опрокинуть кабальные условия существования рабочего. Все это поддерживало утопические представления о рабочем, как о том же крестьянине, только занятом временно фабричной работой, и приводило к тому, что пропаганда среди рабочих ставила перед собою те же цели, что и пропаганда среди крестьянства.

Но все же рабочая масса имела свои, в отличие от крестьянства, жизненные интересы. Процесс образования рабочего класса, его отрывания от деревни и классового обособления тогда еще далеко не закончился, но он совершался, подвигался вперед и, в меру своего продвижения, обнаруживал некоторые особенности борьбы рабочих, с которыми вынуждены были считаться пропагандисты. Забастовки постепенно распространяются во всю первую половину 70-х годов; они носят, по преимуществу оборонительный характер,—рабочие оказывают сопротивление ухудшению условий труда,—но это не мешает, конечно, тому, что во всем рабочем движении все более отчетливо начинают выступать особые интересы рабочих, именно как фабричных рабочих, хотя бы еще и связанных с землей. Тот самый «полу-рабочий, полу-крестьянин», о котором говорил Кропоткин, поскольку он работал на фабрике и сталкивался с капиталом, вынужден был защищать свои интересы, как рабочий, а не как крестьянин; злобу дня его приобретали вопросы не о земле, а о заработной плате, штрафах, рабочем дне и т. д. Как ни хотели пропагандисты видеть в рабочем «мирской дух русской деревни», они должны были видеть в нем и рабочего, стоящего в особых отношениях к капиталу, считаться с его интересами, как фабричного, и к этим интересам применять свою пропаганду. При всей своей слабости, рабочее движение не укладывалось в рамки утопического подхода к рабочему классу. И мы видели, что московский кружок Джабадари, расширяя связи с рабочими, агитирует на почве их непосредственных нужд, а в Одессе Заславский задумывает более широкую организацию рабочих, начиная с ссудо-сберегательной кассы, с первичной формы материальной взаимопомощи.

Вторая половина 70-х годов приносит новое свидетельство новых запросов, пред'являемых рабочим классом революционному движению. К этому времени, в особенности в Петербурге, замечаются проблески роста классовой солидарности рабочих. В 1878—1879 г.г. здесь происходит ряд крупных забастовок, охватывающих несколько фабрик,—явление до того небывалое. В феврале 1878 г. бастовали 2000 рабочих Новой бумагопрядильной фабрики, в конце того же года произошли забастовки на прядильной фабрике Кенига и на двух табачных фабриках, в начале 1879 года снова забастовали рабочие Новой бумагопрядильни и фабрики Шау. Замечательной особенностью этих забастовок, о которых, между прочим, рассказывает Плеханов в своих воспоминаниях «Русский рабочий в революционном движении», было не только то, что забастовки вызвали живой отклик среди рабочих многих фабрик, собиравших деньги для поддержки стачечников, но и то, что в руководстве забастовками близкое участие принимали землевольцы, как содействием рабочим при выработке требований, так и выпуском печатных воззваний. Руководили забастовкой Плеханов, Попов, Н. Лопатин, деятельно помогал им, в особенности по сбору денег, Ал. Михайлов. «С самого начала стачки рабочие заметили,—рассказывает Плеханов,—что каждый раз, когда они собирались большой толпой, между ними появлялись какие-то незнакомые люди, одетые не совсем по-фабричному, пожалуй даже вообще смахивавшие на «студентов», но неизменно тянувшие их руку. Эти люди подали уже не мало дельных советов. Они говорили, что незачем ходить ни к приставу, ни к градоначальнику. Их не послушались, а вышло по ихнему. Семейным стачечникам, на которых в особенности тяжело отзывалось приостановление работы, а следовательно и прекращение заработка, раздавались денежные пособия, раздавались, правда, своими же фабричными, но откуда у тех возьмуться деньги? Догадаться не трудно. Деньги дают те же таинственные люди. Доверие к революционерам росло с каждым днем». Землевольцы влияли на ход забастовки через кружок передовых рабочих, с которым у них были прочные связи.

Забастовки эти произвели на землевольцев сильное впечатление. Это был первый случай, когда они столкнулись с массовым движением рабочих, с открытой борьбой труда против капитала. Перед ними вставал ряд новых вопросов, тесно связанных с судьбой революционного движения, и на них попытался дать ответ Плеханов в замечательной во многих отношениях статье, напечатанной в «Земле и Воле». Уже с самого начала Плеханов заявляет, что коснуться вопроса о рабочих его «заставляют волнения фабричного населения, постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня». Постановка пропаганды среди рабочих, как она велась до тех пор, Плеханова не удовлетворяет. «В прошлом,—пишет он,—не без некоторого основания, мы обращали все свои надежды, упо-

требляя все усилия на деревенскую массу. Городской рабочий занимал второстепенное место в расчетах революционеров, ему посвящалась, можно сказать, только сверхштатная часть сил. В городе пропаганда велась между делом в минуту, когда деревня почему-либо была недоступна для пропагандиста, и велась при том исключительно с целью выработать из городского рабочего пропагандиста для деревни же. Такое отношение к делу, естественно, исключало возможность как настойчивой, систематической пропаганды, так, в особенности, организации городских рабочих, и в настоящее время дает себя чувствовать очень плачевными результатами». Эти печальные результаты сказываются как в слабом участии революционеров в стачках, так и в недоверчивом отношении к ним рабочих, и причина этого лежит в неправильном подходе к рабочей массе. «Надо было относиться к городским рабочим,—пишет Плеханов,—как к целому, имеющему самостоятельное значение, надо было изыскивать средства влияния на всю их массу, а это было невозможно до тех пор, пока в городских рабочих видели только материал для вербовки отдельных личностей». Требуется иное: «Конкретный ум рабочего плохо поддается на отвлеченные логические соображения, для него гораздо понятнее пропаганда фактами, тем более, что эта пропаганда фактами по необходимости должна стать на почву обыденных и осязательных его интересов... Эта агитационная деятельность может вестись ежедневно и ежечасно на самых мелких даже фактах жизни рабочего, но особенный смысл и значение приобретает она во время стачек». «Каждый раз,—продолжает Плеханов,—когда рабочие той или другой фабрики сговариваются действовать заодно, вопрос об отношении к ним различных классов общества, до верховной власти включительно, ставится ребром. Рабочая масса на деле узнает своих друзей и врагов... Совместная борьба рабочих с хозяевами развивает в них способность к согласному, единодушному действию... Идея солидарности интересов всего рабочего сословия и противоположность их интересам привилегированных классов имеет превосходную иллюстрацию в каждой стачке рабочих, в каждом столкновении их с нанимателями». И Плеханов призывает своих товарищей: «Организуйте массу для борьбы, путем борьбы и во имя борьбы; только таким образом создадите вы в ней самодеятельность, самоотверженность и стойкость, каких она не имела до сих пор, и благодаря отсутствию которых десяти городовых бывает часто достаточно, чтобы разогнать и навести ужас на целую толпу рабочих». Все это не исключает привлечения отдельных лучших рабочих—«влияйте на них,—пишет Плеханов,—развивайте сколько позволит ваше время и ваше собственное развитие,—это даст вам агитаторов более выработанных, ораторов более убедительных, но помните, что это только средство для лучшего достижения вашей цели—агитации в массе».

Это был новый подход к деятельности среди рабочих, готовый перевернуть вверх дном вчерашнюю тактику. Ведь раньше пропаганда имела в виду отдельных рабочих, теперь Плеханов рекомендует завоевание массы, агитацию в массе; раньше, когда имели в виду отдельных рабочих, можно было игнорировать интересы рабочей массы, теперь рекомендуется в агитации исходить именно из повседневных нужд рабочего. Но не следует думать, что этот новый подход диктовался новой точкой зрения Плеханова. Это было лишь применением общих положений революционного народничества к рабочему движению, применение, попытку которого, под влиянием выступления рабочей массы, Плеханов впервые делал. Если агитация среди крестьян ведется на почве их непосредственных нужд, то на таких же началах должна быть построена и агитация среди рабочих; если нужно завоевать влияние на крестьянскую массу, то речь должна итти о завоевании и рабочей массы. Мысли Плеханова замечательны не потому, что они устанавливают новую точку зрения, а потому, что Плеханов пытается их развить последовательно, поскольку это доступно народнику. Анализ особых интересов и особого положения фабричных рабочих приводит его к отчетливой постановке вопроса о классовой борьбе и о классовом сознании, которое развивается в процессе этой борьбы. Но дальнейших выводов Плеханов не делает: чтобы сделать их ему нужно было подвергнуть пересмотру самые основы народничества, а не ограничиваться только новым применением их к рабочему движению. Плеханов же всецело продолжает оставаться на старой точке зрения и потому в дальнейшем повторяет то, что говорили народники и раньше. Рабочие, по его словам, те же крестьяне, фабрика для них является только видом отхожего промысла, не отрывая их от деревни, и потому вопрос общинной самостоятельности. земли и воли одинаково близки как рабочим, так и крестьянам. Словом—рабочие «не оторванная от крестьянства масса, а часть того же крестьянства». Поэтому они снова превращаются у Плеханова в «союзников» крестьян, которые разойдясь по селам и городам, сыграют роль «воровских прелестников», оказавших столько услуг разиновскому и пугачевскому движению. Завоевание рабочей массы в глазах Плеханова, таким образом, остается задачей подсобной — поле зрения его все еще занято крестьянством.

Сдвиг, который делал Плеханов, пока приводил только к одному выводу: нужно усилить агитацию в рабочей массе, завоевать ее, чтобы в случае крестьянского восстания рабочие могли его поддержать. Никакого понимания особых задач рабочего класса не было еще и следа. Тем более замечательно, что дальнейший вывод, под влиянием тех же петербургских стачек, был сделан самими передовыми рабочими.

Петербургская рабочая масса выдвинула к тому времени уже

не мало таких рабочих. Плеханов в своих воспоминаниях рассказывает, напр., о рабочем Митрофанове: «Ему знакомы были сочинения Чернышевского, Бакунина, Лаврова, и он умел отнестись к ним критически. Журнал и газета «Вперед» казались ему недостаточно революционными». О другом рабочем Плеханов вспоминал: «Я был поражен разнообразием и множеством осаждавших его теоретических вопросов. Чем только не интересовался этот человек, в детстве едва научившийся грамоте! Политическая экономия и химия, социальный вопрос и теория Дарвина одинаково привлекали к себе его внимание, возбуждали в нем одинаковый интерес, и, казалось, нужны были десятки лет, чтобы, при его положении, хоть немного утолить его умственный голод». Если не все достигали такой высоты, то многие уже заполнили ряды новой, рабочей интеллигенции. Медленно развивавшаяся и тяжело протекавшая в условиях неразвитых капиталистических отношений, классовая борьба выделяла из рабочих во все большем числе эти передовые отряды; сказывалась здесь и вся предыдущая работа пропагандистов среди рабочих, пропустившая через кружки не одну сотню рабочих.

К таким передовым рабочим, уже прошедшим свою революционную школу, принадлежали основатели «Северного Русского Рабочего Союза», слесарь Виктор Обнорский и столяр Степан Халтурин. Обнорский успел побывать за границей, где имел возможность наблюдать борьбу рабочих. Халтурин, в сравнении с землевольцами, был, по словам Плеханова, крайним западником, мало ценившим «самобытность» русской действительности: «Ум его до такой степени исключительно поглощен был рабочими вопросами, что ему едва-ли когда случалось заинтересоваться пресловутыми «устоями» крестьянской жизни». Удивлению интеллигентов-землевольцев, вероятно, не было конца, когда они узнали, что Халтурин принялся даже за изучение европейских конституций—вопросы политической свободы, которую отвергали народники, интересовали его не только теоретически.

У обоих этих выдающихся рабочих под влиянием, в частности, петербургских стачек созрела мысль создать рабочую организацию, и они довели эту мысль до осуществления. В декабре 1878 г. было положено основание «Северному Русскому Рабочему Союзу», который во многом существенно отличался от Южного Союза Заславского. В программе своей Союз заявлял, что примыкает по своим задачам «к социал-демократической партии Запада», а далее в формулировке ближайших требований программа гласила: «Так как политическая свобода обеспечивает за каждым человеком самостоятельность его убеждений и действий, и так как ею прежде всего обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственными требованиями Союза должны быть: 1) свобода слова, печати, право собраний и сходок, 2) уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступлениям, 3) уничтожение сословных прав и

преимуществ, 4) обязательное и бесплатное обучение во всех школах и учебных заведениях, 5) уменьшение количества постоянных войск и полная замена их народным вооружением, 6) право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как то: размера податей, надела земли и внутреннего самоуправления, 7) уничтожение паспортной системы и свобода передвижения, 8) отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно доходу и наследству, 9) ограничение числа рабочих часов и запрещение детского труда, 10) учреждение производительных ассоциаций, ссудных касс и дарового кредита рабочим ассоциациям и крестьянским общинам».

Этой частью своей программы «Союз» радикально расходился с воззрениями революционного народничества. Последнее, как мы знаем, расчитывая на непосредственную социалистическую революцию, отвергало борьбу за политическую свободу, считая последнюю даже вредной, так как буржуазный свободный порядок разрушил бы общину и с ней все крестьянские «устои». «Союз», напротив, требовал политической свободы, которая обеспечивает решение социального вопроса, т.-е. является необходимой предпосылкой борьбы за социальный переворот. Этим самым авторы программы впервые становились на ту точку зрения, что всякая классовая борьба есть борьба политическая и что, следовательно, противопоставление социализма «политике», борьбы за социализм—борьбе за политическую свободу не только не приближает, но отдаляет «разрешение социального вопроса», не облегчает, но осложняет борьбу рабочего класса за освобождение. Понятно, поэтому, что такое понимание «Союза» должно было встретить отпор со стороны народников. И, действительно, в «Земле и Воле» появилась статья, специально посвященная «Союзу», в которой программе посылается упрек в том, что она заимствует свои положения из «катехизиса немецких социал-демократов». «Вопросу о влиянии политической свободы в деле борьбы эксплоатируемых с эксплоататорами,—заявляла «Земля и Воля»,—посвящается слишком много времени и решается он в программе слишком категорически в утвердительном смысле,—а положения революционной программы о значении пропаганды фактами, об активной борьбе, даже не дебатируются». Иначе говоря, «Земля и Воля» желала бы, чтобы программа «Союза» не говорила о политической борьбе, но дебатировала бы вопросы «бунтовской тактики».

Авторы программы «Союза» не только не смутились этими упреками, но и напечатали в «Земле и Воле» свои возражения. Они заявляют, что ожидали порицания за смешение «социалистических требований с конституционными», но сами не видят в таком смешении ничего нелогичного. «Разве мы сами не знаем,—пишут они,—что лучше быть сытым и мечтать о свободе, чем, сидя на пище св. Антония, добиваться свободы? Но что же делать, если логика желаний и помыслов уступает перед нелогичностью истории, и если политическая свобода является прежде социального удовлетворе-

ния». «Наша логика в данном случае коротка и ясна,—продолжают они,—нам нечего есть, негде жить—и мы требуем себе пищи и жилищ; нас ничему не учат, кроме ругательств и подневольного подчинения—и мы требуем изменения этой первобытной системы воспитания. Но мы знаем, что наши требования так и останутся требованиями, если мы, сложив руки, будем взирать «с умилением», как наши «державные» и другие хозяева распоряжаются нашими животами и пускают деревенских собратий по миру. И вот мы сплачиваемся, организуемся, берем близкое нашему сердцу знамя социального переворота и вступаем на путь борьбы. Но мы знаем также, что политическая свобода может гарантировать нас и нашу организацию от произвола властей, дозволить нам правильно развить наше мировоззрение и успешнее вести дело пропаганды,—и вот мы, ради сбережения своих сил и скорейшего успеха этой свободы, требуем отмены разных стеснительных «положений» и «уложений». Такое требование тем более выполнимо, что оно по вкусу говорунов—этих деятелей будущей всероссийской говорилки—следовательно на осуществление его расчитывать не так трудно». Таким образом, эта полемика дала возможность «Союзу» сформулировать свою мысль еще более ясно. Рабочие должны добиться политической свободы, чтобы получить возможность более успешно вести борьбу, она нужна им для сбережения сил и скорейшего успеха. Не зараженные «мирским духом», они не боятся свободы, но уверены, что в условиях более свободного существования они лишь более энергично и с большим успехом поведут борьбу за свое освобождение. Они думают даже, что в борьбе с самодержавием им временно будет по пути с «говорунами», т.-е. с той частью буржуазии, которая враждебна самодержавному порядку.

Но, как говорил Плеханов, в те времена трудно было уберечься от «прилипчивой болезни» народнических утопий. Программа «Союза» отдает дань и этой утопии. Она требует учреждения «свободной народной федерации общин, основанных на полной политической равноправности и с полным внутренним самоуправлением на началах русского обычного права», т. е. выдвигает анархический идеал и в основу своих социалистических надежд кладет все ту же крестьянскую общину. Недоразвитость общественных отношений мешала организаторам «Союза», как и Плеханову, вместе с переоценкой некоторых старых позиций подвергнуть пересмотру самые основы народничества с его верой в самобытные пути развития России, без чего не могла быть воспринята со всею последовательностью классовая точка зрения. Благодаря этому и программа «Союза» получила только социал-демократическую окраску, но не была социал-демократической. Но историческое значение «Союза» тем не менее велико: в программе его впервые было выставлено требование политической свободы, и это требование впервые исходило от рабочих.

«Союз» быстро вырос в стройную организацию. «Уже с первых недель своего существования,—рассказывает Плеханов,—он насчитывал не менее 200 членов, а вокруг него группировалось по крайней мере столько же сочувствующих, но еще не посвященных в организационную тайну рабочих. Большинство членов его принадлежало к «заводским». В каждом значительном рабочем квартале Петербурга были особые кружки, составлявшие местную ветвь Союза. Каждая ветвь имела свою кассу и свою «конспиративную» квартиру. Для заведывания ее делами выбирался небольшой комитет. Члены местного комитета были в то же время членами центрального кружка, который собирался через известные промежутки времени по общим делам Союза. В распоряжении центрального кружка находилась особая касса, а также союзная библиотека. Центральная касса, как и местные кассы, пополнялась членскими взносами». Ко времени второй стачки на Новой бумагопрядильне в кассе было руб. 150—200, которые все ушли на поддержку стачечников.

Союз развил особенно широкую деятельность во время петербургских стачек, о которых рассказано выше, выпустил ряд прокламаций, поддерживал стачечников материально и т. д. Союз поставил свою типографию и приступил к изданю своей газеты «Заря Рабочего». Однако, скоро Союз был ликвидирован: в марте 1880 г. была арестована типография вместе с набором первого номера газеты, еще раньше арестован был Обнорский, а Халтурин отошел от Союза и отдался делу террора.

Преемников и продолжателей своих «Северный Русский Рабочий Союз» нашел не скоро. Народническая пропаганда среди рабочих не прекращалась и в последующее время, но она, не принимая классовой точки зрения, не могла влить в рабочее движение классового содержания и потому не могла придать ему ни прочности, ни размаха.

8. Революционное народничество, „политика“ и террор.

Революционеры-народники относились отрицательно к политической борьбе. Они, как казалось им, ставили перед собою более широкую задачу — борьбы с государством вообще, которое должно быть разрушено и заменено свободной федерацией вольных, социалистических общин. Но агитация, которую они вели в городе и деревне, сталкивала их не с каким-то отвлеченным государством, а с данным самодержавно-полицейским государством. Каждый созданный ими рабочий кружок, каждое деревенское поселение, каждая попытка агитации — все это было, хотели они того или нет, актом политической борьбы, направленной против того государственного порядка, в котором они действовали. Больше

того: желание широко развернуть агитацию прямо приводило к политической демонстрации. Так произошла 6 декабря 1876 г. демонстрация рабочих у Казанского собора в Петербурге, во время которой Плеханов выступил с речью об участи Чернышевского и о политических репрессиях, а молодой рабочий Потапов выбросил красное знамя с надписью «Земля и Воля». На этой демонстрации никто не кричал: «долой самодержавие», но кто же может сомневаться, что демонстрация, прежде всего, была направлена против самодержавного порядка?

С другой стороны, если революционеры отказывались от политической борьбы, то правительство от борьбы с ними не желало отказываться. Оно их арестовывало, держало годами в тюрьмах, судило, ссылало на каторгу. Судебные процессы 50-ти и 193-х были прямым вызовом революционному движению, об'явлением ему войны. Ответить ли на этот вызов? Такой вопрос сомнений не вызывал, а самый ответ подсказывался всеми условиями революционного движения. Это движение не было массовым, оно было интеллигентским, по преимуществу, и притом охватывавшим даже не массу молодежи, как это было при «хождении в народ», а ограниченные, отборные, наиболее стойкие и решительные круги. Активно-действующая горсть самоотверженных людей, не имевшая поддержки в движении народной массы, при таких условиях могла, прежде всего, думать о самозащите, о борьбе теми средствами, которыми она сама могла располагать. Таким средством был террор, который назывался тогда дезорганизацией правительства и который, как мы видели, «Землей и Волей» был принят.

Летом 1877 г., по распоряжению петербургского градоначальника Трепова, был наказан розгами содержавшийся в доме предварительного заключения революционер Боголюбов, осужденный на каторгу за казанскую демонстрацию. Эта зверская расправа могла возмутить каждого, в ком не угасло человеческое чувство, но в особенности глубоко потрясла она Веру Засулич, о которой Кравчинский писал, что в ней — «душа, полная высочайшей поэзии, глубокая и могучая, богатая любовью и негодованием». Она решила приковать внимание всех к этому надругательству над личностью пленника. 24 января 1878 г. Засулич стреляла в Трепова в приемной комнате градоначальника, нанеся ему тяжелую рану. «Я решилась, — говорила Засулич на суде, — хоть ценою собственной гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью, я не нашла, я не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие... Я не видела другого способа... Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать». Суд присяжных оправдал Засулич, и такой приговор произвел не меньшее впечатление, чем выстрел в Трепова.

Это был первый акт террора, револьвер впервые ставился в порядок дня. А за ним последовали другие.

30 января 1878 г. в Одессе жандармы ворвались в квартиру, где хранилась тайная типография и где собирался кружок Ковальского. Последний принадлежал к горячим сторонникам «дезорганизации». В составленном им воззвании он писал: «Теперь последовал целый ряд убийств шпионов-предателей,—было несколько случаев открытого сопротивления с оружием в руках и много отчаянных побегов, из под стражи. Все это свидетельствует, что уже теперь не тот дух времени, как был прежде, что уже настала фактическая борьба социал-демократической партии (?!) с этим подлым правительством русских баши-базуков». Когда жандармы, заняв силою квартиру, приступил к опросу задержанных, Ковальский решил убить руководившего обыском жандармского офицера, но револьвер дал осечку. В общей свалке Ковальский нанес офицеру удар кинжалом. Ковальский был связан, остальные после оказанного ими вооруженного сопротивления, также были взяты. Всех передали военному суду для суждения по законам военного времени. Ковальский был повешен.

Это вооруженное сопротивление послужило как бы переломом в тактике, и террору, как способу самозащиты революционеров и дезорганизации правительства, уделяется все больше внимания. 23 февраля 1878 г. Валериан Осинский покушается на жизнь товарища прокурора киевского окружного суда Котляревского, 25 мая 1878 г. в том же Киеве Попко убивает жандармского офицера Гейкинга. «Дезорганизаторская» группа «Земли и Воли» к этому времени преобразуется, получает фактическую независимость от общего центра, выпускает свои воззвания от имени «Исполнительного Комитета». Организуются побеги арестованных товарищей. В мае 1878 г. Фроленко освобождает из тюрьмы Стефановича, Дейча и Бохановского, в Харькове делается попытка отбить Войнаральского при отправке его в тюрьму. Правительство отвечает новыми репрессиями, казнью Ковальского. Тогда Кравчинский 4 августа 1878 года убивает кинжалом шефа жандармов, главного руководителя политической полиции Мезенцова.

Так, на протяжении нескольких месяцев расцветала тактика террора, достигнув в акте Кравчинского, наивысшего напряжения. По об'ективному смыслу своему это была не «самозащита» только, а наступательная борьба против правительства, акт политической борьбы. Но сами народники все еще отрицали «политику». В прокламации «Смерть за смерть», написанной Кравчинским по поводу убийства Мезенцова, говорилось по адресу правительства: «Вы— представители власти; мы — противники всякого порабощения человека человеком, поэтому вы наши враги и между нами не может быть примирения. Вы должны быть уничтожены и будете уничтожены! Но мы считаем, что не политическое рабство порождает экономическое, а, наоборот. Мы убеждены, что с уничтожением экономического неравенства, уничтожится народная нищета

и с нею вместе невежество, суеверие и предрассудки, которыми держится ваша власть. Вот почему мы, как нельзя более, склонны оставить в покое вас, правительствующие. Наши настоящие враги— буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной, хотя и ненавидит вас, потому что и ей вы связываете руки. Так посторонитесь же! Не мешайте нам бороться с нашими настоящими врагами и мы оставим вас в покое. Пока не свалим мы теперешнего экономического строя, вы можете мирно почивать под тенью ваших обильных смоковниц». Далее, прокламация, обращаясь к правительству, выставляет такие требования: «1) Мы требуем полного прекращения всяких преследований за выражение каких бы то ни было убеждений как словесно, так и печатно; 2) мы требуем полного уничтожения всякого административного произвола и полной ненаказуемости за поступки какого бы то ни было характера иначе, как по свободному приговору народного суда присяжных; 3) мы требуем полной амнистии политических преступников без различия категорий и национальностей—что логически вытекает из первых двух требований. Вот чего мы требуем от вас, господа правительствующие. Большего от вас мы не требуем, потому что большего вы дать не в силах. Это большее в руках буржуазии, у которой мы и вырвем его вместе с жизнью. Но это уже наши счеты. Не мешайтесь в них. Точно также мы мешаться не станем в ваши домашние дела. До вопроса о разделении власти между вами и буржуазией нам нет решительно никакого дела. Давайте или не давайте конституции, призывайте или не призывайте выборных, назначайте их из землевладельцев, попов или жандармов — это нам совершенно безразлично. Не нарушайте наших человеческих прав — вот и все, чего мы хотим от вас».

Продиктованное утопизмом воздержание от «политики» приводит к поразительной слепоте и к не менее поразительной наивности. На деле правительству пред'являются требования, правда, скромные, но определенно политические; террором предполагается добиться амнистии, свободы слова и печати, уничтожения произвола. Большего от правительства не требуют, потому что большего оно дать не в силах, но все же сохраняется надежда, что меньших уступок, политических, добиться можно. Политическая борьба на деле начата, но она густо затушевывается утопической верой в социальный переворот, который можно произвести без предварительной борьбы за политическую свободу и свержение самодержавия. Поэтому, допускалось, что правительство может самоустраниться и не мешать борьбе революционеров с буржуазией, как и революционерам нет никакого дела до конституции.

Все это говорило о том, что в головах революционеров начинала царить все большая путаница. Логика революционной борьбы в данных условиях самодержавной России и при данном соотношении общественных сил толкала в сторону политиче-

ской борьбы, устранения полицейского государства, которое мешает развернуться борьбе за социальное освобождение трудящихся масс. Политическая борьба могла бы быть плодотворна в том лишь случае, если бы она опиралась на народные массы, но перед этими массами, еще не подготовленными к такой борьбе, ставилась задача непосредственной социалистической революции, задача, находившаяся в полном противоречии со всей окружающей обстановкой неразвитых общественных отношений. Революционная мысль беспомощно путается в этих противоречиях; она не находит удовлетворения в старой тактике агитации в народе, которая в данных политических условиях не приводит к желательным результатам, но и не идет на то, чтобы перестроить эту тактику по линии политической борьбы силами народной массы.

Эволюция настроений и взглядов на этом не заканчивается. Если часть землевольцев, верная традициям народничества, не возражая против «дезорганизации», возражает против увлечения террором, потому что он отвлекает революционные силы от деревни, то другая часть, напротив, все больше склоняется к тому, чтобы признать террор одним из главных средств борьбы с самодержавием. Мы видели, что в первом номере «Земли и Воли» (октябрь 1878 г.) Кравчинский, признавая «систему самосуда и самозащиты», предостерегал «от слишком сильного увлечения этого рода борьбой» и настаивал на том, что на первом месте должна стоять работа в народе, так как «разрушить систему может только сам народ». Но уже через полгода, в марте 1879 г., в «Листке Земли и Воли» сторонник террора Морозов доказывал, что террор не только акт мести, единственное средство самозащиты и лучший агитационный прием. «Политическое убийство, — писал он, — это осуществление революции в настоящем. «Неведомая никому» подпольная сила, вызывает на свой суд высокопоставленных преступников, постановляет им смертные приговоры — и сильные мира чувствуют, что почва колеблется под ними, как они с высоты своего могущества валятся в какую-то мрачную неведомую пропасть... Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов». «Вот почему,—заявляла «Земля и Воля»,— мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом».

Все это было, конечно, во-первых, признанием террора не только орудием самозащиты, но и средством политической борьбы, и, во-вторых, возводило политический террор в систему, которой организация должна посвятить свои силы. Если политическое убийство— одно из главных средств борьбы с деспотизмом, то естественно, что это средство нужно применить до конца и направить его против деспота-царя. Такая мысль ставится в порядок дня. Вера Фигнер рассказывает, что к ней в деревню приехал Соловьев, чтобы

посоветоваться о своем плане убить Александра II. Почва для перехода к террору была уже подготовлена и в этом деревенском поселении. Фигнер передает, что ее группа пришла тогда к решению внести в деревню «огонь и меч, аграрный и полицейский террор», причем решение это было продиктовано, между прочим, тем, что молодежь не видела результатов от работы в деревне, и лучшие порывы замирали, не находя себе исхода. Очевидно, нужно было чем-нибудь поднять революционное настроение. Соловьев этим именно и мотивировал цареубийство. «Смерть императора,— говорил он, — может сделать поворот в общественной жизни; атмосфера очистится, недоверие к интеллигенции прекратится; она получит доступ к широкой и плодотворной деятельности в народе; масса честных молодых сил прильет в деревню, а для того, чтобы изменить дух деревенской обстановки и действительно повлиять на жизнь всего российского крестьянства, нужна именно масса сил, а не усилия единичных личностей, какими являлись мы». Для Соловьева террор вообще и цареубийство в частности оправдывался еще не задачами политической борьбы; пока это лишь средство привлечь к революции новые силы, средство агитации.

Получив одобрение своего плана, Соловьев поехал в Петербург с твердым намерением привести его в исполнение и заручился там одобрением «дезорганизаторской группы». Но вопрос был все же поставлен на обсуждение совета «Земли и Воли», хотя решение последнего ничего изменить не могло, так как решение Соловьева оставалось непоколебимым. Обсуждение вопроса в совете впервые со всею остротой вскрыло разногласия, назревшие в рядах «Земли и Воли». «Я не припоминаю такого бурного заседания, как это,— пишет Аптекман. — «Деревенщина» пересыпала свои возражения массою сарказма и шпилек. Террористы держались очень сдержанно, хотя, очевидно, были сильно возбуждены». Особенно энергично выступал против террора Плеханов. В своих воспоминаниях он передает, что собрание стало в особенности бурным «после того, как выяснилось, какие препятствия поставят на пути нашей деятельности попытки Соловьева. Так, напр., решено было, что, в виду неизбежного белого террора, наша типография должна будет временно перестать функционировать и что все нелегальные должны будут уехать из Петербурга, а это последнее решение означало, что должны будут прекратиться наши «занятия» в петербургской рабочей среде. Это решение подействовало на нас очень тяжелым образом. Я помню, что я сказал: «Под влиянием ваших затей наша организация вынужденна покидать одну за другой наши старые области деятельности, подобно тому, как Рим покидал одну за другой свои провинции под напором варваров». Как народник, более последовательный, чем другие, Плеханов возражал против террора, потому что последний наносит удар самому главному делу— агитации в массах,—отвлекая силы от деревни. В другом месте

Плеханов подтверждает, что именно такова была точка зрения последовательных «народников». Они видели, что, с одной стороны, мысль об агитации в массах совсем перестала увлекать революционную интеллигенцию, а, с другой — террор обещал еще больше отвлечь силы от деревни, и потому даже те из них, которые раньше горячо сочувствовали террору, стали столь же горячо против него возражать. Но доводы эти были малоубедительны для тех, которые как раз в терроре видели «осуществление революции в настоящем», т. е. покидали уже позицию народничества, усматривавшего единственное «осуществление» революции в восстании народной массы. Во всяком случае, заседание совета «Земли и Воли» показало, что в организации имеются два враждебных течения, которые примерить трудно. «Мы, народники,—рассказывает Плеханов об этих итогах совещания, — шли по домам, унося с собой убеждение, что старое, некогда образцовое единство общества «Земли и Воли» было разрушено и что теперь каждое направление пойдет своей дорогой, не заботясь, да уже и не имея нравственной возможности заботиться об интересах целого».

И Плеханов не ошибся. 2 апреля 1879 года Соловьев неудачно стрелял в Алксандра II, был схвачен и затем казнен. Неудавшееся покушение еще больше сплотило сторонников террора, которые решают довести до конца начатое дело: цареубийство становится их ближайшей задачей. Это еще больше обостряет отношения внутри «Земли и Воли», в рядах которой назревает раскол. Близится время разложения революционного народничества, естественной кончины утопического социализма.

19. Воронежский с'езд.—Раскол „Земли и Воли".

Разногласия были, разумеется, глубже, чем просто спор о целесообразности террора с точки зрения отвлечения революционных сил от работы в деревне. Обе стороны были одинаково не удовлетворены деятельностью среди крестьян, но в то время, как «деревенщики», т. е. верные основам народничества, не предусматривали никаких изменений, в тактике и настаивали на привлечении новых сил для работы в деревне, те, кто склонялся к террору, проделывали значительную эволюцию в своих взглядах.

Мы коснемся ниже в другой связи земско-либерального конституционного движения того времени и попытки либералов столковаться с революционерами. Последние отвергли соглашение, но к вопросам политической борьбы и к конституции не оставались попрежнему равнодушны. По словам Фроленко, мысль о конституции не пугала южан (киевлян), как пугала северных народников: «Напротив, конституция, — говорили южане, — нам сильно облегчит только работу, развязав руки, дав возможность добиваться многого на чисто легальной почве, без всяких жертв». Но и на севере

некоторые рассуждали не иначе, чем на юге. Ширяев показывал на судебном процессе, что когда его приглашали на воронежский с'езд и он задал вопрос, какие изменения предположены в программе «Земли и Воли», последовал такой ответ: «Старая программа, выработанная еще приблизительно в 1876 году, обращает исключительное внимание на экономический быт, игнорируя политические вопросы; но некоторые из лиц, принадлежащих к этой организации, пришли к сознанию недостаточности одной экономической деятельности и к необходимости внести в программу требования политической реформы с целью передачи политической власти народу в виде организации учредительного собрания. К этой мысли склонен был и я, — добавил Ширяев, — а потому и выразил желание участвовать на этом с'езде». Фроленко к приведенным выше словам своим добавляет, что те революционеры, мнение которых он излагает, не выставляли конституции на своем знамени и вообще говорили о ней только тогда, когда им приходилось защищаться от обвинений, что они сознательно работают на ее пользу. Но, во-первых, это мало изменяет дело, а во-вторых, отсюда не далеко было и до того, чтобы требование политических свобод выставить на своем знамени. Это очень скоро и сделала «Народная Воля».

Однако, требование политической свободы резко расходилось с основами воззрений народничества. Программа последнего предпочитала прямой путь к социализму, без всякого отклонения в сторону европейских «стадий», без необходимости буржуазных свобод и конституции, которые признавались даже вредными, так как должны были разрушить «мирской дух» и всякие «устои» крестьянской деревни, и, прежде всего, общину, самопроизвольному развитию которой препятствует всякое государство, в том числе и конституционное. Террор отвергался, стало быть, «деревенщиной» не только потому, что он отвлекал силы от деревни, но и, главным образом, потому, что он ставил на очередь переход к политической борьбе, вовлекал в «политику», от которой нужно было стоять подальше.

Все эти разногласия вносили столько раздора и осложнений в жизнь «Земли и Воли», что решено было созвать с'езд, для того чтобы разрешить спорные вопросы. Сторонники террора и здесь проявили более настойчивости и организованности. Еще до с'езда, назначенного в Воронеже, они собрались на предварительное совещание в Липецке, где обсуждали очередные вопросы, столковались и наметили основы будущей программы своей деятельности, которая, по словам Фигнер, сводилась к ниспровержению самодержавного строя и завоеванию политических свобод, а средством признавалась вооруженная борьба; устроила несколько предварительных совещаний и другая сторона. По словам Аптекмана, здесь общее настроение было таково, что соглашение будет достигнуто и целость организации сохранена.

Воронежский с'езд состоялся в конце июня 1879 года. На нем присутствовали наиболее активные и выдвинувшиеся землевольцы. Плеханов, Ал. Михайлов, Перовская, Вера Фигнер, Ошанина, Попов, Аптекман, Желябов, Морозов, Тихомиров, Фроленко и др.

Наиболее острым вопросом был, конечно, вопрос о терроре вообще и о цареубийстве в частности. Выразителями крайних точек зрения выступили: с одной стороны—Желябов, с другой—Плеханов; большинство принадлежало к «примиренцам», что с наибольшим правом можно сказать о «деревенщиках». Наиболее бурный момент прений Аптекман излагает таким образом: «Чего добиваетесь вы,—обратился он (Плеханов) прямо с вопросом к террористам,—на что вы рассчитываете?»—«Мы получим конституцию,—неожиданно, в пылу спора, выпалил Желябов,—мы дезорганизуем правительство и принудим его к этому». Но действительно ли Желябов заговорил о конституции только в пылу спора и неожиданно? Повидимому, нет. По словам Плеханова, Желябов доказывал, что революционеры должны сблизиться с либералами для борьбы за политическую свободу, т. е. за ту же конституцию, и даже утверждал, что, для того, чтобы облегчить себе дело сближения, они должны на время оставить всякую мысль о борьбе классов. Желябов, по словам Плеханова, стремился «к об'единению всех противников самодержавия, вследствие чего классовые интересы «крестьянского и даже рабочего сословия» потеряли в его глазах всякое самостоятельное значение; принцип борьбы классов сделался неудобным для него принципом, потому что мог помешать указанному об'единению». Когда Желябову напомнили, что во время петербургских стачек землевольцы деятельно помогали рабочим и, что, стало быть, если он требует отказа от классовой борьбы, то должен возражать и против помощи стачечникам, Желябов ответил, что в России стачки есть также и факт политический и что, не сочувствуя борьбе рабочих с предпринимателями, можно поддерживать борьбу стачечников с полицейским государством. Фигнер приводит, с своей стороны, такого рода указания, которые сделал Желябов на с'езде в связи с обсуждением вопроса об аграрном терроре: «На кого думает опираться революционная партия?—спрашивал он.—На народ или на либеральную буржуазию, которая сочувствует ниспровержению абсолютизма и водворению политической свободы? Если первое, то уместен и фабричный и аграрный террор,—говорил он.—Если же мы хотим искать опоры среди промышленников, земцев и деятелей городского самоуправления, то подобная политика оттолкнет от нас этих естественных союзников». Фигнер замечает, что на вопрос Желябова все ответили, что нужно опираться на народные массы и сообразно с этим строить свою программу. Однако, вопрос Желябова предполагал, повидимому, не столь прямолинейный ответ: напоминание о том, что фабрично-аграрный террор оттолкнет «естественных» союзников, дает основание думать, что и в данном

случае Желябов, стремясь к об'единению всех противников самодержавия, склонен был отказаться от классовой борьбы также в деревне. Во всяком случае, все это показывает, что вопрос о политической борьбе ставился на с'езде достаточно остро и притом с такой последовательностью, которая говорила о быстрой эволюции взглядов части его членов. В то время как Плеханов и те, кто к нему примыкал, старались сохранить чистсту народнических позиций и по прежнему ориентировались на крестьянство, Желябов склонен был ориентироваться на либеральную буржуазию. Мы увидим, что последнего рода тенденция знаменовала собою перерождение народовольчества вообще.

Нужно полагать, что Плеханов возражал Желябову с той точки зрения, с какой мог возражать старовер-народник, доказывая пагубность «политики» и конституций. В своих рассказах о с'езде Плеханов оттеняет другую сторону возражений. «Крайне ошибочно было бы думать,—пишет он,—что участники воронежского с'езда спорили между собой только о «политике» и об ее отношении к борьбе классов. Они были практиками по преимуществу и их больше всего интересовал вопрос о «практических последствиях террора». В этом смысле точка зрения Плеханова, изложенная им в особой записке с'езду, сводилась, по его словам, к следующему. Если «Земля и Воля» усвоит новый прием борьбы, а особенно поставит своей целью цареубийство, то неумолимой логикой фактов она вынуждена будет посвятить ему все силы и средства. Уже теперь, когда террор еще не сделался систематическим, «Земля и Воля» должна была значительно сузить круг своей агитации, вследствие чего приток новых сил уменьшился. Кроме того, террор дезорганизует не правительство, а самих революционеров, а в случае даже полного успеха цареубийства, приведет к перемене лица, но не политической системы, так как террор ровно ничего не изменяет в соотношении общественных сил. Плеханов сознавал, что доводы его не подействуют на сторонников террора, так как тактика их была сильна своей односторонностью. Что касается деревенщиков, настроеных примирительно, то их убедить в решительной борьбе с террором было еще труднее, потому что они, по словам Плеханова, эклектически принимали и террор, и агитацию в крестьянстве. На убеждения Плеханова Перовская отвечала, что она против террора, но раз начатые предприятия надо закончить. А другой деревенщик, на опасения Плеханова, что в случае победы сторонников террора придется отказаться от агитации в крестьянстве, ответил: «Напрасно ты беспокоишься. Как можно нам отказаться от наших старых задач? Вали валом по прежнему, вот и все!» При таких настроениях Плеханов, по его словам, думал не о большем, как о том, чтобы свести до минимума затрачиваемые на террор силы и средства.

С'езд сошелся на компромиссном решении: политический тер-

рор был признан, как форма борьбы лишь в качестве крайней меры для данных специальных случаев. Сторонники террора с таким решением могли согласиться, так как этим открывался простор толкованию специальных случаев, а главное потому, что политический террор был признан. Поэтому, когда речь зашла о том, может ли печатный орган «Земли и Воли», как это случалось раньше, возводить террор в систему, большинством голосов было признано, что это право ему, принимая во внимание особенности данного момента, принадлежит. Плеханов правильно понял это решение, как одобрение террора не только для «специальных» случаев, и покинул с'езд, заявив о выходе из организации.

Остальные рассмотренные с'ездом вопросы острых споров не возбуждали. Раз признан был террор для «специальных» случаев, то решили предоставить средства и людей для подготовки цареубийства. Программу «Земли и Воли» сохранили неизменной, но включили в нее применение аграрного террора, который допускали и деревенщики, в том числе Плеханов. Избрали руководящий центр и редакцию печатного органа—и все уехали со с'езда, по словам Аптекмана, «успокоенные и примиренные».

Дело закончилось как будто благоприятно и до раскола не дошло. Тяга к единству была еще сильна. «Ни террористы, ни народники не хотели разбрестись врозь в эту тяжелую годину существования революционной партии», пишет Аптекман. «Союз, единение всех сил признавалось всеми», подтверждает Фроленко. Но скоро действительность показала, что одного желания для сохранения единства мало. Разногласия в существе своем устранены не были, а на практической работе сказались с новой силой. Спорили из-за денег—на что их употребить, на террор или на агитацию в деревне, спорили из-за типографии—что печатать. В конце концов, произошел разрыв. Осенью 1879 г. «Земля и Воля» раскололась. Народники образовали «Черный Передел», террористы—«Народную Волю».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

„НАРОДНАЯ ВОЛЯ“.—„ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ“.—РАЗЛОЖЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА [1].

1. Программные и тактические воззрения „Народной Воли“.

На протяжении всего нескольких лет (1873—1879 г.г.) русский утопический социализм получил ряд тяжелых жизненных уроков. «Хождение в народ», начавшееся при таком романтическом настроении, заставило пересмотреть вопрос о подготовленности крестьян к «бунтарской» агитации. Революционное народничество, с увлечением принявшееся за деревенские поселения, также скоро оказалось у тупика, и притом даже не у одного. Прежде всего, оказалось, что и при новых предпосылках «бунтарская» тактика, чтобы привести к восстанию, требует длительной подготовки и притока все новых революционных сил в деревню, а сил этих притекало все меньше: разночинная, мелко-буржуазная интеллигенция в массе своей успевала приспособиться к буржуазному порядку и не проявляла прежнего революционного рвения. С другой стороны, чем шире развертывалась революционная агитация и чем более глубокие задачи она перед собой ставила, тем чаще сталкивалась она с обстановкой полицейского государства, которое мешало агитации развернуться. «Политика» и раньше давала о себе знать, но народническая интеллигенция утешала себя тем, что свобода обязательно явится в результате «экономического переворота», а последний также обязательно наступит в скором будущем, так как к этому неизбежно приводит развитие общины. Но чем дальше, тем все труд-

---

[1]) Пособия: Статьи *Плеханова*, указанные в качестве пособия в примечании к предыдущей главе; *Стеклов*, „Историческое подготовление русской социал-демократии“ в сб. „Борцы за социализм“; *Аптекман*, вступительные статьи к сб. „Черный Передел“. П. 1923; *М. Покровский*, „Русская история“ т. IV (гл. XX) *В. Фигнер*, „Запечатленный труд“, т. I, П 1922; *Пажитнов*, „Развитие социалистических идей в России“ (гл. XI) *Богучарский*, „Из истории политической борьбы в 70 и 80 г.г. Партия „Народной Воли“, М. 1912 (об этой книге см. *Плеханов*, „Неудачная история партии „Народной Воли“, „Совр. Мир“, 1912 г., № 5); *Дейч*, „У начала легенды“, „Совр. Мир“, 1913 г. № 11 и 12; *Балабанов*, „Очерки по истории рабочего класса в России“, ч. II (гл. XV); *Степняк*, „Подпольная Россия“ (есть несколько изданий).

нее становилось довольствоваться подобного рода утешениями, и наоборот, все более властно тянула к себе «политика». Началось с убийства шпионов и предателей, с сравнительно скромных форм «самозащиты», закончилось соловьевским покушением на цареубийство. «Политика» вступала в свои права—революционное народничество получило еще один, на этот раз наиболее чувствительный и роковой удар.

На вопросе об отношении к политической борьбе раскололся и воронежский с'езд. Собственно, обе спорящие стороны признавали небходимость свободы. Но в то время как народники думали, что эта свобода явится и может явиться только в результате экономического преобразования общества, террористы говорили, что политическая и социальная революция должны совпасть. Расхождение, таким образом, на первых порах не было еще принципиально-глубоким. И ту, и другую сторону сближала еще вера в близкую возможность в России социалистической революции, осуществляющей «идеалы крестьянства», и та, и другая сторона противопоставляли социализм политической борьбе и потому беспомощно блуждали в потемках утопического социализма.

«Народная Воля» приняла террор не как акт самозащиты или «дезорганизации», но как метод политической борьбы, а отсюда уже было недалеко до более основательного пересмотра некоторых старых позиций революционного народничества. Поставив своей задачей борьбу с правительством, народовольцы должны были поставить на очередь и борьбу за власть в государстве. Этим они покидали анархическую точку зрения, шедшую от Бакунина, и становились «государственниками». Бакунисты-народники требовали уничтожения всякого государства, народовольцы говорили об уничтожении современного им самодержавного государства и о замене его государством, которое осуществляло бы народную волю. По их воззрениям, государство может быть не только фактором угнетения, но и фактором революционным, смотря по тому, кому принадлежит власть в государстве. Все это означало полное признание политической борьбы.

Орган народовольцев «Народная Воля» считал одним из важнейших вопросов вопрос о государстве и прямо заявлял, что «анархическая тенденция долго отвлекала и до сих пор отвлекает наше внимание от этого важного вопроса». «Непосредственным источником народных бедствий, рабства и нищеты является государство», пишет «Народная Воля», и подчеркивает, что речь идет не о государстве вообще, а именно о «современном российском государстве»: «Поэтому, как только мы задаемся целью освободить народ, наделить его землей, просветить его, ввести в его жизнь новые принципы или восстановить в их первобытной чистоте старые традиционные основы народной жизни, словом, какою бы целью мы ни задавались, мы, если только эта цель ставится в интересах массы, волей-

неволей должны столкнуться с правительством, которое видит в народе своего экономического и политического раба. Для того, чтобы сделать что-нибудь для народа, приходится прежде всего освободить его из-под власти этого правительства, сломить самое правительство, отнять у него его господскую власть над мужиком. Таким образом, наша деятельность принимает политический характер». Эта политическая деятельность должна быть направлена на государственное переустройство России: «Россия должна стать государством, существующим для народа и посредством народа, вот органическая потребность ее. Правительство должно перестать быть органом эксплоатации целого народа одною семьей, а также трудящегося большинства праздным меньшинством». Программа «Народной Воли» останавливается, поэтому, особо на характеристике политического рабства народа: «Вся русская действительность не только не соответствует воле народа, но он даже не смеет ее выказать и формулировать, он не имеет даже возможности думать о том, что для него хорошо и что дурно, и самая мысль о какой-то воле народа считается преступлением против существующего порядка». Поэтому программа считает «ближайшей задачей»—«снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот, с целью передачи власти народу». Так как народная воля «была бы достаточно хорошо высказана и проведена Учредительным Собранием, избранным свободно всеобщей подачей голосов», то программа ставит целью партии «отнять власть у существующего правительства и передать ее Учредительному Собранию».

Как видим, от народнической позиции пройдена дистанция значительных размеров. Там «политика» отвергалась и в политической свободе усматривалась лишь новая опасность закабаления народа буржуазным государством—здесь принимается борьба за политическую свободу, задачей ставится политический переворот с целью передать власть народу. Значит ли это, однако, что народовольцы обрели возможность примирить социализм с политической борьбой и отошли также далеко от прочих народнических позиций? Нет, не значит. «По основным своим убеждениям мы—социалисты и народники», заявляет программа «Народной Воли», и далее говорит: «В самом народе мы видим еще живыми, хотя всячески подавляемыми, традиционные принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, зачатки федеративного устройства, свободу совести и слова. Эти принципы получили бы широкое развитие и дали бы совершенно новое направление, в народном духе всей нашей истории, если бы только народ получил возможность жить и устраивать так, как он хочет, сообразно своим собственным наклонностям». Таким образом, основная народническая утопия остается в неприкосновенности: начала нового общественного порядка заложены в народе и нужно лишь дать им возможность развиться.

Но сохранение одной утопии ведет за собой сохранение и другой: политический и экономический переворот могут и должны совпасть, так что и народная воля признается постольку, поскольку она дает торжество «народным идеалам». В одной из своих статей «Народная Воля» полемизирует как с якобинцами (ткачевцами), которые, путем захвата власти, стремятся провести сверху в жизнь народа социалистические принципы, так и с чернопередельцами, которые считают бесполезной и даже вредной политическую борьбу, возлагая все надежды на экономический переворот. Сама «Народная Воля» полагает, что политическая революция может использовать государственную организацию для совершения экономического переворота, т. е. политический переворот может совпасть с экономическим переворотом, однако, в том лишь случае, если этот переворот подготовлен историей, фактическим соотношением экономических сил. Но так как в России эти условия имеются налицо в виде «народных идеалов», выработанных прошлой историей, то политическая революция может непосредственно привести к социальной.

Произойти это может весьма просто. Собирается Учредительное Собрание, а в нем, по предположению «Народной Воли», 90% депутатов будет от крестьян, или, если народовольческая партия «действует с достаточной ловкостью»—от партии. «Что может постановить такое собрание?—спрашивает «Народная Воля», и отвечает, что оно дало бы полный переворот всех экономических и государственных отношений: «мы знаем принципы, которые развивал в своей жизни народ на Дону, на Яике, на Кубани, на Тереке, в сибирских раскольничьих поселениях, везде, где устраивался свободно, сообразуясь только с собственными наклонностями; мы знаем великий лозунг народных движений. Право народа на землю, местная автономия, федерация—вот постоянные принципы народного миросозерцания. И нет в России такой силы, кроме государства, которая имела бы возможность с успехом становиться поперек дороги этим принципам. Устраните государство, и народ устроится, может быть, лучше, чем мы даже можем надеяться». Иначе говоря, достаточно получить народу власть,—и он осуществит свои «идеалы», т. е. социальный переворот. Уклон в сторону политической борьбы оправдывался, таким образом, тем, что последняя прямо ведет к социалистической революции в духе «народных традиций», с примесью даже анархического идеала. Мост, соединяющий с народнической утопией, еще не был разрушен. Но так ли прочен был этот мост?

Революционное народничество исходило из того положения, что освобождение народа есть дело самого народа, оно возлагало надежды на самодеятельность крестьянства, которое, восстав, произведет экономический переворот. Народовольцы же не предполагали опереться на крестьянство. Они полагали, что деятельность в на-

роде «слишком затруднена» и является «наполнением бездонных бочек Данаид»—в данных условиях подвинуть крестьянство на восстание невозможно: «самые условия жизни народа отнимают у него возможность организоваться для борьбы», писала «Народная Воля». Поэтому, народовольцы прямо заявляли, что «организация крестьянских сил не входит в наши рассчеты» и что свою деятельность в сторону крестьянства они направляют «лишь настолько, чтобы уяснить народу истинный смысл» своих требований. Программа «Народной Воли» в тактической ее части (т. н. «Подготовительная работа партии») прямо заявляла: «В отношении крестьянства следует занимать места, где возможно близкое соприкосновение с массами, заслуживать их уважение своим поведением, помогать им, защищать их интересы, опираясь на содействие чиновных и влиятельных лиц партии. Н е в е д я м а с с о в о й п р о п а г а н д ы, должно, однако, сходиться с л у ч ш и м и из крестьян, обращая их по возможности в сознательных сторонников партии, знакомя их с ее целями». Таким образом, речь шла только о привлечении в партию отдельных крестьян и о том, чтобы получить влияние в крестьянстве и действовать на него со стороны. Что касается рабочих, то и здесь допускалась рабочая организация, как часть партии—рабочая масса также оставалась в стороне, на нее можно было расчитывать, как на силу, которая может поддержать, но не осуществить революцию. Но, если устранялась в качестве активной революционной силы рабочая и крестьянская масса, то на кого же выпадала задача произвести переворот? Больше никого не оставалось, как сама «социально-революционная партия», т. е. «Народная Воля». Придя, на основании предшествующего революционного опыта, к заключению, что крестьянство не представляет собой революционной силы, народовольцы, вместо того, чтобы пересмотреть основы народничества и поискать те силы, которые в данных общественных отношениях являются носителем революции и борьбы за освобождение труда, возвращались к утопии, приняв положение, что переворот может быть произведен силами революционной партии.

Утопию эту народовольцы пытались конкретизировать в определенном плане. Наиболее удобным моментом для переворота «Народная Воля» считала народные бунты, сами собой возникающие, неудачную войну, государственное банкротство, словом, всякие осложнения в жизни государства, которыми партия может воспользоваться для того, чтобы начать действовать. Но и наиболее неблагоприятное стечение обстоятельств не должно смущать, так как «партия должна иметь силы создать сама себе благоприятный момент действия». Создать же этот благоприятный момент может во всякое время—террор. «Искусно выполненная система террористических предприятий, одновременно уничтожающих 10—15 человек—столпов современного правительства, приведет правительство в панику,

лишит его единства действия и в то же время возбудит народные массы, т. е., создаст удобный момент для нападения». Террор дезорганизует правительство, возбудит народные массы—нападать же будет партия. Соответственно этому, главнейшие задачи подготовительной работы формулируются в следующих пунктах: «1) Создание центральной боевой организации, способной начать восстание; 2) создание провинциальной революционной организации, способной поддержать восстание; 3) обеспечить восстанию поддержку городских рабочих; 4) подготовить возможность привлечения на свою сторону войска или парализования его деятельности; 5) заручиться сочувствием и содействием интеллигенции—главным источником сил при подготовительной работе; 6) склонить на свою сторону общественное мнение Европы». О каком восстании идет речь? Начинает восстание центральная боевая организация, поддерживает его—провинциальная революционная организация. Из шести пунктов только один говорит о рабочих, да и то о поддержке с их стороны—об активном участии масс, о подготовке их, ничего не говорится. В центре планов—заговор, как путь к перевороту, и захват власти партией, как ближайшая цель его. Уже после убийства Александра II, т. е., после того, как следовало бы призадуматься над целесообразностью тактики заговора, «Народная Воля» продолжала оставаться на прежней позиции: «Теперь наша непосредственная задача—организация заговора с целью ниспровержения существующего государственного строя»,—писала газета.— «В настоящее время работа партии «Народной Воли» направлена, главным образом, к тому, чтобы соединить все активно-действующие силы, сплотить их в крепкую централистическую организацию, способную взять на себя инициативу восстания в решительный момент, а до той поры—успешно вести заговорщическую деятельность, несмотря ни на какие преследования правительства. Успешное выполнение этой задачи возможно при концентрации боевых сил лишь в тех пунктах, где каждый шаг приближал бы нас к цели, каждое действие имело бы значение в ближайшем, а не в отдаленном будущем. Поэтому-то мы и группируем активные, сознательно-революционные силы в правительственных центрах, не исключая и окраин, по степени их важности и ведем организованную работу только среди тех элементов, которые примут непосредственное участие в самом перевороте». Здесь тактика заговора доведена до своего логического конца: организации подлежат только те силы, которые примут непосредственное участие в перевороте, все внимание сконцентрировано на самой партии. А если мы примем во внимание, что в самый расцвет деятельности Народной Воли ее активно-деятельное ядро,—а кроме него ничего другого почти не было—не достигало и сотни человек, то, несмотря на весь свой героизм, тактика народовольцев остается до конца утопической.

Но если переворот может произвести социально-революцион-

ная партия, если она собирается захватить власть, то как будет обстоять дело с экономическим переворотом? Мы видели, что «Народная Воля» отвергала точку зрения «якобинцев», предполагавших вводить социализм декретным порядком, сверху, и предполагала, что экономический переворот может и должен совершить сам народ. «Когда революционная организация будет в силах произвести политический переворот,—писала «Народная Воля,—народ сумеет совершить переворот в экономической системе, а захватившему власть временному революционному правительству придется лишь санкционировать экономическое равенство, отвоеванное народом у вековых угнетателей и эксплоататоров». В этом наиболее благоприятном случае политический переворот совпал бы с экономическим, причем последний был бы произведен самим народом. Но «Народная Воля» предусматривала и другой случай. «Если обстоятельства сложатся менее благоприятно,—писала она,—в таком случае временное революционное правительство, рядом с политическим освобождением народа, рядом с установлением новых политических учреждений, произведет экономический переворот: уничтожит право частной собственности на землю и на орудия крупного проиводства. Тогда на созванный Земский Собор явятся истинные представители народа, освобожденные политически и экономически, и народная жизнь станет регулироваться неподтасованною народною волею». Таким образом, при неблагоприятном стечении обстоятельств, т.-е. очевидно, в том случае, когда сам народ не совершит революции в экономических отношениях, эту революцию совершит революционное правительство, т.-е. социально-революционная партия, захватившая власть. Мы имеем здесь последовательное торжество «якобинских» взглядов Ткачева.

Однако приведенными случаями не исчерпываются все возможности. Как быть, например, в том случае, если народная воля, выраженная в учредительном собрании, совсем не пожелает совершить экономический переворот? Программа отвечала, что тогда необходимо «вполне» подчиниться народной воле, т.-е. отказаться от немедленного социалистического переворота. Правда, последний случай несколько противоречит тому, которым предусматривалась возможность переворота, произведенного по инициативе революционной власти, но, тем не менее, оба эти протиречивые выводы допускались.

Впрочем, мы не должны этому удивляться. Наряду с утопизмом в Народной Воле складывалась тенденция особого сорта «реализма». По свидетельству Плеханова, наблюдательного и вдумчивого современника, в народовольческой организации «были радикалы в западно-европейском смысле, но были и чистокровные народники, пришедшие к тому убеждению, что только низвержение нынешнего нашего государственного порядка проложит сво-

бодный путь для развития старинных «устоев» народной экономической жизни; были в ней, наконец, и такие люди—и эти составляли, кажется, большинство,—которые одновременно склонялись и к западно-европейскому радикализму и к российскому народничеству, вследствие чего их воззрения делались в высшей степени запутанными». Преобладание такого большинства не могло, понятно, благотворно отразиться на стройности взглядов всей партии. Исключительный интерес представляют, поэтому, взгляды такого выдающегося и влиятельного человека в организации, как Желябов, которого Плеханов причисляет к радикалам в западно-европейском смысле.

«Этот мужик по своему происхождению,—писал в биографии Желябова Тихомиров,—никогда не отвертывался от «общества», как делало большинство отправлявшихся в народ. Русская революция представлялась ему не исключительно в виде освобождения крестьянского или даже рабочего сословия, а в виде политического возрождения всего русского народа вообще». Мы видели, что при таком понимании,—как впоследствии говорили,—«общенародных» задач революции, Желябов на воронежском с'езде предлагал отказаться от классовой борьбы, чтобы не мешать об'единению всех противоправительственных сил. Но при усвоенных взглядах на революцию Желябову приходилось делать и другие неожиданные для него выводы. «Социально-революционная партия не имеет своей задачей политических реформ,—излагает Тихомиров точку зрения Желябова.—Это дело должно бы всецело лежать на тех людях, которые называют себя либералами. Но эти люди у нас совершенно бессильны и, по каким бы то ни было причинам, оказываются неспособными дать России свободные учреждения и гарантии личных прав. А между тем эти учреждения настолько необходимы, что при их отсутствии никакая деятельность невозможна. Поэтому русская социально-революционная партия принуждена взять на себя обязанность сломить деспотизм и дать России те политические формы, при которых возможна станет «идейная борьба». В виду этого мы должны остановиться, как на ближайшей цели, на чем-нибудь таком, достижение чего давало бы прочные основания политической свободе и стремление к чему могло бы об'единить все элементы, сколько-нибудь способные к политической активности». Желябов, таким образом, думал, что революционной партии нет дела до «политики», и что добиваться политических реформ—задача либералов. Но так как политическая свобода необходима, а либералы бессильны, то революционная партия должна сама взять на себя почин борьбы за политическую свободу и для этой цели об'единить все элементы, т. е. и либеральные. Отступление на этом не кончается. Чтобы добиться ближайшей цели, нужно об'единить все элементы, способные к политической активности, т.-е- также и либералов, а это предполагает дальнейшие

уступки. «Таково положение вещей,—писал Желябов в 1880 году украинскому радикалу Драгоманнову,—что, исходя от реальных интересов крестьянства, признаешь его экономическое освобождение за существеннейшее благо, а ставишь ближайшей задачей требования политические, видишь спасение в распадении империи на автономные части и требуешь Учредительного Собрания. Не велики заслуги перед отечеством аскета хранителя общественного идеала. Мы, по крайней мере, предпочли быть мирянами».

Таким образом, Желябов—и не только он, так как в письме к Драгоманову он пишет не только о себе—пришел к отказу от экономического освобождения крестьян, т.-е. от социализма, во имя политического раскрепощения России. «Можно ли,—спрашивает он Драгоманова,—в программу ближайших требований вносить такие, за которыми нет реальной поддержки?» А так как за социалистическими требованиями такой поддержки, в особенности, в «обществе» нет, то народовольцы предпочитают быть «мирянами», а не аскетами-хранителями идеала. Желябов—и не он один—пришел к радикализму в западно-европейском смысле, требующему демократического переустройства государственного порядка России, т.-е. к требованиям радикальных элементов мелкой буржуазии.

Мы возвратимся еще к тому, что означала эволюция народнических взглядов в народовольчестве, а теперь посмотрим, к чему сводилась деятельность народовольцев и как сложилось, в связи с этой деятельностью, соотношение общественных классов.

2. Террористическая деятельность Народной Воли.

Плеханов был прав, когда в споре с будущими народовольцами доказывал, что, став на путь террора, они отдадут ему все силы. Действительно, террор и, в особенности, цареубийство, поглотило все внимание, все силы и все средства Народной Воли. Морозов, напр., для оправдания террора, создал даже свою «философию» революции. В изданной им брошюре он доказывал, что новая форма революционной борьбы—это «террористическая революция», которая непобедима своей... «непроницаемой тайной». Сила штыков, армий, шпионов страшна только для явного врага—«против тайного они совершенно бесполезны». Массовое революционное движение сопровождается гибелью многих людей—террор казнит только отдельных лиц: «террористическая революция представляет поэтому самую справедливую из всех форм революции», заключает Морозов. Она в то же время самая удобная форма, потому что с незначительной силой дает возможность обуздать непобедимую тираннию: «не бойтесь царей, не бойтесь деспотизма правителей, говорит она человечеству, потому что все они бессильны и беспомощны против тайного, внезапного убийства» и т. д., и т. д.

Это была, разумеется, крайняя точка зрения, но она характерна для общих настроений. Террору должны быть отданы все силы. Вся прочая деятельность, поэтому, либо сокращается, либо приспособляется к террористической тактике. Работа среди крестьянства заглохла. Пропаганда среди рабочих велась, но и она подчинялась задачам террора: среди рабочих намечались лица, которых можно было бы привлечь к террористической деятельности, а в некоторых случаях, как в Киеве, когда создавался «Южно-Русский Рабочий Союз», вся деятельность его сводилась к пропаганде фабричного террора. Вне террора задачи Народной Воли, главным образом, сосредоточивались на образовании боевых групп среди офицерства, рабочих, но и эти группы строились по типу заговорщических.

После неудачного покушения Соловьева главные усилия народовольцев направляются на цареубийство. В течение 2½ лет против Александра II направляются восемь террористических актов. За ним следят, узнают, куда он должен поехать и где проехать, его подстерегают, чтобы нанести ему смертельный удар. Эта полная героизма и самоотвержения борьба ведется, в конце концов, небольшим кружком—«Исполнительным комитетом партии «Народной Воли».

Осенью 1879 года Александр II должен был возвращаться из Крыма в Петербург через Одессу. Первое покушение организуется, поэтому, в Одессе. Здесь Фроленко, при содействии Веры Фигнер и Златопольского, получает место железнодорожного сторожа и поселяется в железнодорожной будке вместе с Лебедевой. Из будки начинают делать подкоп под полотно железной дороги, чтобы заложить мину. Тем временем приходит известие, что Александр II через Одессу не проедет, но направится в Петербург другой дорогой—на Александровск. Работа в Одессе прекращается.

В Александровск, под видом купца Черемисова, едет Желябов. Городская управа отводит ему участок земли под постройку кожевенного завода. Под видом жены Черемисова поселяется в Александровске Якимова, к работе привлекаются рабочие Тихонов и Окладский. Желябов искусно разыгрывал роль заводчика, завел знакомство с обывателями, пил с ними, ел, но в то же время занимался, конечно, и своим делом. Работа по закладке мин под полотно дороги велась в течение двух ночей. Наполненные динамитом цилинды были заложены на 4-й версте от Александровска по дороге в Лозовую, недалеко от д. Софиевка. Для наблюдения за Александром II был отправлен в Симферополь Пресняков, который, возвратясь в Александровск, сообщил, что царь проедет 18 ноября. В этот день Желябов, Тихонов, Окладский и Пресняков поехали в телеге, в которой находилась гальваническая батарея, к месту, где были заложены мины. Когда царский поезд приблизился, по команде Преснякова «жарь», Желябов сомкнул цепь.

Однако, взрыва не последовало и Александр II благополучно проехал, не подозревая, что был на краю гибели. Покушение не удалось и все участники его покинули Александровск.

Тем временем в Москве подготовлялось новое покушение. Сюда приехал Ал. Михайлов, который недалеко от полотна жел. дор. купил дом на имя Гартмана, жившего под фамилией Сухорукова. В доме под видом жены Гартмана поселилась Софья Перовская. Выселив, под предлогом необходимого ремонта, всех жильцов, начали рыть подкоп, причем в работах участвовали Гартман, Перовская, Михайлов, Исаев, Морозов, Ширяев, Баранников, Гольденберг и Арончик. Когда работы были закончены, все уехали, за исключением Перовской и Ширяева. Мины были заложены на третьей версте от Москвы по Московско-Курской ж. д. 19 ноября 1879 года был произведен взрыв царского поезда, но в нем находилась царская свита—багажный вагон перевернулся вверх колесами, восемь вагонов сошли с рельс, но никто из пассажиров не пострадал. Еще раз отделался благополучно Александр II, который проехал раньше в другом поезде.

Таким образом, в ноябре 1879 года удар готовился одновременно в трех местах. Но тогда же задуманно было и еще одно предприятие, казалось, более верное.

Мы упоминали выше, что Степан Халтурин, основатель «Северного Русского Рабочего Союза», примкнул к террористам. Когда летом 1879 года какому-то из членов Союза предложено было занять во дворце место столяра, Халтурин, после некоторых колебаний, решил занять это место, чтобы убить Алексндра II. Смерть царя, рассуждал он, принесет с собой политическую свободу, а при свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Поступить во Дворец Халтурину было не трудно, так как он раньше служил на царской яхте и зарекомендовал себя прекрасным столяром. Жил он, разумеется, по фальшивому паспорту, на имя крестьянина Степана Баташкова. Познакомившись с расположением комнат, Халтурин убедился, что подвал, в котором он жил вместе с другими столярами, находится как раз под царской столовой. С этой стороны все благоприятствовало удаче покушения, и Халтурин постепенно принялся за работу. О подкопах и прочной укладке мины не приходилось думать, поэтому динамит складывался в сундук, а для воспламенения динамита нужно было воспользоваться особыми трубками. Динамит приносился небольшими горстями и в первое время хранился Халтуриным под подушкой,—всего принесено было динамита до трех пудов. Сношения с Халтуриным поддерживал сперва Квятковский, а после ареста его—Желябов. Они встречались на площади, в темноте, и здесь Халтурин должен был сообщить, все ли готово, так как нужно было выждать для взрыва удобный момент. Несколько дней подряд Халтурин, мрачный, проходил мимо Желябова и шопотом произносил: «нельзя было..., ничего не вышло».

5-го февраля 1880 г. в царской столовой должен был состояться обед в честь приехавшего принца Гессенского. В этот день Халтурин привел к концу свой план. Встретившись на Дворцовой площади с Желябовым, он спокойно бросил фразу: «готово». Через секунду страшный грохот подтвердил его слова. Взрыв разрушил помещение главного караула и смежной с ним части дворца и повредил паркетный пол царской столовой. Убито было 11 солдат, ранено до 56 человек, но Александр II снова уцелел: в момент взрыва он встречал принца Гессенского, прибывшего во дворец.

Все эти неудачи заставили Исполнительный Комитет еще больше сосредоточиться на плане цареубийства. Решению во что бы то ни стало и в короткий срок покончить с Александром II предшествовали, однако, еще две попытки. Осенью 1880 года, когда в Одессе ожидался царь, туда приехали Перовская и Саблин, которые при содействии Исаева, Фигнер и Якимовой начали подкоп под Большую Итальянскую улицу. Однако, Александр II приехал в Одессу значительно раньше, и план этот пришлось оставить. Безрезультатными оказались и приготовления к покушению в Петербурге летом 1880 г., когда, при ближайшем участии Желябова, Преснякова, Тетерки и Баранникова, были заложены мины под Каменный мост через Екатерининский канал по Гороховой улице.

Осенью 1880 года созрел план решительных действий. Под руководством Перовской была организована группа из пяти человек, которые должны были наблюдать за выездами Александра II. Вместе с тем решено было нанять на одной улице, по которой проезжает царь, лавку, и из нее делать подкоп так, чтобы произвести взрыв в момент царского проезда. Несколько позже план этот был дополнен: если бы взрыв из лавки оказался неудачным, то в царя должны были бросить бомбы назначенные метальщики, а при неудаче последних Желябов должен был броситься на Александра и приколоть его кинжалом.

Лавка была нанята на углу Малой Садовой улицы и Невского, в районе Михайловского манежа, куда царь ездил обыкновенно по воскресеньям. Под видом мужа и жены Кобозевых, торговцев сырами, в лавке поселились Богданович и Якимова. Подкоп под середину улицы велся Желябовым, Сухановым, Колоткевичем, Фроленко, Баранниковым, Исаевым, Саблиным, Лонгансом, Дегаеым и Меркуловым. Работу нужно было производить чрезвычайно осторожно, чтобы не навлечь подозрений, и сопряжены они были с техническими трудностями, так что велись медленно. Между тем, начались аресты некоторых членов Исполнительного Комитета. В конце февраля арестован был Желябов, что наносило делу тяжкий удар, так как в подготовляемом покушении он должен был играть руководящую роль. Лавку Кобозевых,

находившуюся в месте частого проезда царя, стала навещать полиция, осматривая ее, как и другие лавки. Можно было ожидать удара и с этой стороны, а тогда снова пришлось бы отложить покушение.

28-го февраля члены Исполнительного Комитета собрались, чтобы обсудить положение. «Когда Перовская поставила основной вопрос,—передает об этом совещании Вера Фигнер,—как поступить, если завтра, 1-го марта, император не поедет по Малой Садовой, не действовать ли тогда одними разрывными снарядами? Все присутствовавшие единогласно ответили: действовать. Завтра, во что бы то ни стало, действовать. Бомбы должны быть к утру заряжены, и наряду с миной или независимо от нее должны быть пущены в ход». Исаеву было поручено ночью же заложить мину на Малой Садовой. Метальщиками бомб должны были быть Гриневецкий, Рысаков, Тимофей Михайлов и Емельянов, которыми должна была руководить Перовская: если бы взрыв не удался, царь должен был быть убит бомбами. Метательные снаряды за ночь были приготовлены Кибальчичем, Сухановым и Грачевским и доставлены в условленное место.

К утру 1-го марта 1881 года все было готово. На Малой Садовой была заложена мина и сомкнуть батарею здесь должен был Фроленко по сигналу Якимовой, которая должна была следить за проездом царя. На углах с бомбами стали Гриневецкий, Рысаков, Емельянов и Тимофей Михайлов, здесь же была и Перовская. Александр II по Садовой не проехал, так что все подготовительные работы по подкопу снова оказались бесцельными. Тогда, по знаку Перовской, метальщики направились к Екатерининскому каналу, по которому, как предполагалось, проедет царь. На этот раз план был расчитан верно. Когда в третьем часу Александр II, возвращаясь из Михайловского манежа, повернул с Инженерной улицы на Екатерининский канал, под карету его Рысаковым была брошена бомба. Раздался страшный взрыв, которым были ранены казак и мальчик. Александр II вышел из кареты и направился к задержанному Рысакову, который на вопрос царя, назвал себя мещанином Глазовым. Когда царь возвращался к карете, раздался второй взрыв от бомбы, брошенной Гриневецким. Взрывом смертельно были ранены и царь, и Гриневецкий.

Двухлетняя напряженная борьба Народной Воли привела, наконец, к цели: Александр II был убит. Но цель эта поглотила все силы партии. На протяжении всего времени и во всех террористических актах, принимала участие ограниченная группа лиц, общей численностью не превышавшая 25—30 человек: это был Исполнительный Комитет и несколько лиц, к нему не принадлежащих. Этими лицами исчерпывалось основное ядро партии, по крайней мере, отдавшее себя главной задаче партийной деятельности—террору. Притока свежих сил к ядру не было—растрачи-

вался старый капитал. И в конце концов он был растрачен. Благодаря предательству Окладского, Меркулова и Рысакова, а раньше и Гольденберга, организация вскоре после 1-го марта была в руках правительства почти целиком. 1-го марта на месте взрыва был задержан один Рысаков. Но спустя несколько дней раскрыта была конспиративная квартира, в которой жили Геся Гельфман и Саблин (последний при набеге жандармов застрелился), при засаде в этой квартире был задержан пришедший туда Тимофей Михайлов, на улице была арестована Перовская, позже, в апреле, был взят по указанию Меркулова Емельянов, а затем в течение еще некоторого времени наступила очередь и для прочих.

Всех судили в различное время, по нескольким процессам. Желябов, арестованный до цареубийства, потребовал, чтобы его присоединили к делу 1-го марта и был казнен вместе с Перовской, Кибальчичем, Тимофеем Михайловым и Рысаковым. Из участников покушений казнены были Пресняков раньше (в ноябре 1880 года), Халтурин позже, по делу об убийстве Стрельникова. Прочие погибли на каторге или в Шлиссельбургской крепости, за исключением немногих, которых возвратила на свободу революция 1905 года.

3. Террор и правительство.

К каким результатам приводила террористическая тактика «Народной Воли»?

Не подлежит сомнению, что на некоторое время цели «дезорганизации» правительства в известной степени были достигнуты. Настойчиво повторявшиеся покушения на царскую жизнь породили панику, которая продолжалась, однако, только до тех пор, пока правительство не убедилось в слабости врага и в возможности его подавить.

Влиятельный бюрократ, министр Валуев, писал в своем дневнике после покушения Соловьева: «Мне кажется, что все-таки по частям все крушится и рушится—и я бессилен крушению и обрушению ставить преграды». Наблюдая жизнь дворца, он писал в то же время: «Чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение, но обыватели как будто не замечают этого,—а хозяева смутно чувствуют недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу». Были и другие, более убедительные свидетельства тревожного настроения. В начале 1880 года в государственном совете обсуждался проект закона, который должен был значительно ухудшить положение фабричных и сельских рабочих. И вот при обсуждении этого проекта министр вн. дел заявляет государств. совету, что таких проектов «необходимо избегать в настоящее тревожное время, когда злоумышленники, стремящиеся к ниспровержению суще-

ствующего государственного и общественного строя, постоянно возбуждают рабочих против нанимателей, об'ясняя первым отношения их к хозяевам в совершенно превратном смысле». Положение складывалось таким образом, что приходилось уже считаться с настроением рабочих и с «злоумышленниками». А дальше, под непосредственным влиянием участившихся покушений, эта необходимость становилась еще более понятной.

Для правительства на первом плане остается, конечно, задача самосохранения и в связи с этим борьба с «крамолой». Не довольствуясь отдельными репрессиями, правительство создает в 1880 г. особую «верховную распорядительную комиссию», во главе с Лорис-Меликовым, для борьбы с «крамолой» и вместе с тем для выяснения создавшегося в России положения. Путь репрессий ясен. Но не призвать ли на помощь еще что-нибудь, что придало бы силу самой репрессии и укрепило бы существующий порядок? Так стоял перед комиссией вопрос, и ответ напрашивался сам собой, всей окружающей обстановкой. Нужно опереться на «благомыслящие», прежде всего помещичьи-дворянские элементы, нужно дать более определенное выражение классовой природе государства, не поступаясь правами самодержавия. Капитулировать самодержавной власти не приходилось, потому что никто на нее серьезно не нападал; не было еще речи о серьезном компромиссе, потому что буржуазная оппозиция, как мы увидим, была в высокой мере слаба. Речь шла о предохранительных мерах, об использовании господствующих классов, поскольку это не угрожало основам самодержавного порядка, о формальном закреплении союза с этими классами перед лицом общего врага—возможной революции.

Так возникли проекты, которые либералы называли конституционными, хотя в них конституцией и не пахло. Мотивы предполагаемых реформ проглядывали вполне отчетливо. Уже тотчас по вступлении в должность Лорис-Меликов обратился с воззванием к жителям столицы, в котором говорил, что, стремясь к борьбе с «крамолой», он желает также оградить законные интересы благомыслящей части общества. «На поддержку общества,—писал он,—смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества». В записке, поданной Александру II, Лорис-Меликов писал об этой руководящей своей мысли: «Твердо убежденный, что только в тесной связи с людьми благомыслящими, при их сочувственной помощи, возможно достижение успеха, я в первый же день вступления в новые обязанности обратился к жителям столицы, приглашая их оказывать мне поддержку». Усматривая признаки сочувственного отношения общества к его призыву, Лорис-Меликов еще раз указывал, что «чувствам этим должно быть дано удовлетворение,

насколько это в настоящее время возможно, иначе проникшая в государственный организм язва будет все более и более захватывать здоровые его части, тесно связаные между собою». Эта основная цель борьбы с крамолой остается руководящей и в наиболее радикальном из предположений Лорис-Меликова. «Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолой», пишет он в другой записке Александру II. Что же, быть может, речь идет в самом деле о конституции? Нет, конечно, и Лорис-Меликов определенно заявляет, что «для России немыслима никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с Запада», он убеждает царя, что вывести Россию из кризиса «всего доступнее твердой самодержавной воле прирожденного государя». Не конституция нужна, а «необходимы, рядом с мерами непоколебимой строгости к злоумышленникам, и меры, которые отнимали бы почву из-под вредных лжеучений и укрепили бы ее для законного порядка». А в таком случае можно, разумеется, обойтись и без конституции.

Мера Лорис-Меликова, о провале которой либералы воздыхали четверть века, сводилась к тому, что нужно, с некоторыми исправлениями, повторить опыт подготовки крестьянской реформы, когда в редакционные комиссии приглашались представители дворянства. Прежде всего, образуются особые «подготовительные комиссии» в составе представителей ведомств и приглашенных сведущих лиц; эти комиссии составляют законопроекты по намеченным вопросам, поступающие затем в «общую комиссию», в которую входят представители и члены подготовительных комиссий, а также выборные представители по два от земских собраний и некоторых значительных городов. Одобренные «общей комисией» проекты переходят в государственный совет, в который могут быть призваны 10—15 представителей от общественых учреждений. Лорис-Меликов подчеркивал, что значение проектируемых им комиссий «исключительно совещательное» и заниматься они могут только теми вопросами, какие будут предуказаны правительством.

Никакой конституции, таким образом, Лорис-Меликов не предлагал, напротив, настаивал на сохранении самодержавия в полной неприкосновенности. Но расчитал он верно: либеральная буржуазия в то время о большем и не говорила. Участие в совещательных комиссиях дало бы ей возможность оказать влияние на разрешение ряда вопросов, которые намечал Лорис-Меликов и среди которых были такие, как крестьянский, в ее интересах. А это привело бы к достижению главной цели правительства, как ее формулировал Валуев—«положить предел пассивности добронамеренного большинства», т.-е. добиться его активного содействия в борьбе с «крамолою».

Александр II, после долгих колебаний и при сильной оппози-

ции реакционных кругов, одобрил проект Лорис-Меликова и в марте 1881 г. должно было быть об этом об'явлено. 1 марта царь был убит. Что же, поспешило ли правительство осуществить меру, которую оно раньше признавало единственно годной для подавления террора? Весьма возможно, что оно это сделало бы, если бы цареубийство вызвало движение каких бы то ни было общественных сил. Но то «добронамеренное большинство», которое, главным образом, имелось в виду реформой, в громадном большинстве его спешило выразить теперь свою верноподданническую покорность и само отдавалось в руки правительству. Кроме того, правительство уже располагало некоторыми нитями, которые подавали надежду на более успешную борьбу с террористами. Стало быть, не только не было надобности спешить с реформой, но можно было, наоборот, попытаться взять твердый курс, опираясь на раболепную трусость «общества». «Смею думать, ваше императорское величество,—писал в эти дни вдохновитель реакции обер-прокурор синода Победоносцев новому царю Александру III,—что для успокоения умов в настоящую минуту необходимо было бы от имени вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия. Это ободрило бы всех благомыслящих прямых людей». «Ради бога—умоляет в другом письме Победоносцев царя,—в эти первые дни царствования, которые будут иметь для вас решительное значение, не упускайте ни одного случая заявлять свою личную решительную волю, прямо от вас исходящую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу» или «я не хочу этого». Когда великий писатель земли русской Лев Толстой пытался в эти дни переслать царю через Победоносцева просьбу о неприменении казни к цареубийцам, Победоносцев отказался передать письмо царю и сам писал Александру III: «Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет—этого быть не может, чтобы вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийцу отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабленных умом и сердцем), требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется... Ради бога, ваше величество, да не проникнет в сердце ваше голос лести и мечтательности». Но новый венценосец вовсе не был натурой мечтательной и не нуждался в таких горячих убеждениях остаться в роли палача. «Будьте спокойны,—отвечал он Победоносцеву,—с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь».

Вот какие настроения господствовали в правительстве, и Победоносцев был только запевалой, чуявшим, что для каких-либо

уступок время еще не настало. 29 апреля 1881 года был опубликован составленный Победоносцевым манифест, в котором, между прочим, говорилось: «Посреди великой скорби глас божий повелевает нам стать бодро на дело правления, с упованием на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Проект Лорис-Меликова был сдан в архив—в подлинном смысле этого слова,—и истребован оттуда Николаем II лишь в 1905 году. Чтобы вспомнили об умеренном и аккуратном проекте Лорис-Меликова подправить самодержавие, потребовалась революция 1905 года—в этом наглядное свидетельство того, почему его сдали в архив весною 1881 года...

Если с реформой было покончено, то задача борьбы с крамолой оставалась в полной силе. Репрессии продолжаются, но вместе с тем делаются в этом отношении попытки, которые, как мы увидим, приобретают особый интерес в связи с судьбой Народной Воли. В руках правительства еще не было всех нитей к раскрытию народовольческой организации, с другой стороны—предстояла коронация Александра III, можно было опасаться новых террористических актов. В разных кругах рождается мысль проникнуть в среду революционеров, морально разложить их изнутри или на худой конец—отвлечь их внимание от возможных приготовлений к покушению в дни коронации. На допросах начинаются совсем необычные разговоры. Арестованной Ольге Любатович товарищ прокурора сказал однажды: «Я уполномочен сообщить вам, что мы можем освободить вас на честное слово, если возьметесь переговорить с Народной Волей и узнать, на каких приемлемых условиях она может приостановить свои террористические действия. Так, например, удовлетворилась ли бы она широкой амнистией. «Если требования не будут чрезмерны, государь удовлетворит их»,—добавил товарищ прокурора, когда Любатович выразила сомнение, достаточна ли общая амнистия. В то же время такие же попытки делаются с другой стороны. Из лиц придворных и «высшего» общества образуется тайное общество «Священная Дружина», которая занимается шпионством, выслеживает революционеров, делает доносы, берет на себя охрану царя и т. д. Вместе с тем, некоторая часть «Дружины» пытается также войти в переговоры с народовольцами о прекращении террора на определенных условиях, причем не подлежит сомнению, что в данном случае преследовались те же охранные цели. Мы увидим ниже, как отнеслись к этим предложениям ответственные лица из Народной Воли, а пока посмотрим, каковы были настроения в это время либеральной буржуазии и как, с другой стороны, складывалась общественная обстановка в годы расцвета деятельности народовольцев.

4. Земско-либеральное движение начала 80-х годов.

Мы покинули дворянско-либеральное движение, когда оно, в первую половину 60-х годов, после непродолжительной оппозиции, смирилось и отступило перед окриком правительства. После того до конца 70-х годов о либеральной оппозиции ничего не слышно. Оживление снова начинается здесь лишь к концу 70-х годов под влиянием роста революционного движения и, главным образом, террора народовольцев.

Буржуазное движение, как и раньше, сосредоточивается в помещичьих кругах. Промышленная буржуазия упивалась первоначальным накоплением и находила достаточное ограждение своих интересов в самодержавном порядке. Правительство давало полный простор наживе и эксплоатации труда, охраняло промышленность от иностранной конкуренции, самые же капиталистические отношения были еще недостаточно развиты, чтобы капитал мог почувствовать себя стесненным формами полицейского государства и стал домогаться исправления этих форм в своих интересах: он еще мог довольствоваться старыми формами. Иначе складывались отношения для помещиков, для некоторой их части. Вторжение капиталистических отношений в сельское хозяйство затрагивало помещичьи интересы самым живым образом. Товарным должно было стать не только крестьянское, но и помещичье хозяйство, которому нужно было приспособиться к новым условиям. Хлебные цены стали падать на внешнем, а затем и на внутреннем рынке; с другой стороны, конкурентом помещичьему хлебу все более становился хлеб крестянский: на рынок все больше хлеба выбрасывало крестьянство, и притом более крепкое, хозяйственное. Община разрушалась, причем наиболее хозяйственные мужики собирали земли однообщинников, прикупали земли у помещиков, брали их в аренду. Малоземельное, пролетаризованное крестьянство беднело все больше и не переставало мечтать о помещичьей земле. Помещикам, в особенности тем, хозяйство которых под влиянием всех этих условий разорялось, было от чего стать в оппозицию правительству, которое беспомощно плыло по воле волн и все больше занималось борьбою с «крамолою». В земстве либеральные помещики снова начинают говорить о политических реформах.

Впрочем, говорили они весьма робко. По свидетельству историка русского земства, за три года, с осени 1878 г. и до осени 1881 г., лишь 9 губернских земств и 3 уездных сделали те или иные заявления о необходимости «привлечь общество к решению государственных дел», да и среди этого меньшинства лишь ничтожная группа земцев проявляла слабые признаки политического радикализма, не выходившие из области мечтаний.

Сперва делается попытка добиться соглашения с революционерами. Когда усилился террор, два земских деятеля Черниговской

губернии, И. И. Петрункевич (в будущем лидер конституционно-демократической—кадетской—партии) и Линдфорс, решили вступить в непосредственные сношения с террористами, с целью убедить их приостановить террор и дать «действовать» «обществу». Переговоры эти состоялись в декабре 1878 г, в Киеве, причем, кроме Петрункевича и Линдфорса, в них принимали участие со стороны землевольцев Валериан Осинский, Дебогорий-Мокриевич, Ковалевская и некоторые другие. Земцы доказывали, что политическая свобода необходима для всех, в том числе для социалистов, почему и предлагали всем группам соединиться для завоевания конституции. Для этого нужно использовать мирные средства—подачу петиций, мирные демонстрации и т. д. Необходимым условием для соглашения ставился отказ от террора, который опасен с точки зрения гражданской свободы и запугивает не толко правительство, но и общество. Участвовавшие в этом совещании революционеры не пошли на отказ от террора и на этом переговоры окончились.

В дальнейшем «общество», в лице ограниченных кругов земского либерализма, продолжает действовать самостоятельно. Как же оно действовало? Конечно, так, как предполагалось на тот случай, если бы соглашениее с революционерами состоялось и те отказались бы от террора, с тем лишь дополнением, что так как террор не прекратился, то наши либералы не отказывались оказать содействие правительству в борьбе с ним.

В ноябре 1878 г. Александр II обратился в Москве к представителям сословий с речью, в которой просил о содействии, «чтобы остановить заблудшуюся молодежь на том пути, на который ее стараются завлечь люди неблагонадежные». Многие земские собрания откликнулись на эту просьбу, в том числе и черниговское, одно из наиболее либеральных. Свидетельствуя «глубокие верноподданнические чувства к нашему государю», проект адреса, составленный комиссией, указывал, что борьба с разрушительными идеями была бы возможна лишь в том случае, когда бы общество располагало соответственными орудиями; эти орудия: слово, печать, свобода мнения и свободная наука». А так как этими орудиями общество не располагает, то земство, «с невыразимым огорчением, констатирует свое полное бессилие принять какие-либо практические меры к борьбе со злом и считает своим гражданским долгом довести об этом до сведения правительства». Ответ этот считался до того радикальным, что председатель собрания не допустил его обсуждения. А между тем, не намекая даже на необходимость народного представительства, он не говорил определенно даже о свободе печати и слова и весь был построен на том положении, что борьба с революционным движением необходима, но одних репрессий недостаточно, а другими средствами общество не располагает.

После покушения на жизнь харьковского губернатора Кропоткина, в 1879 г., с адресом к царю обратилось тверское земство, также

одно из наиболее либеральных. И этот адрес исходил из невозможности при данных условиях борьбы с террором. «Неблагоприятные условия нашей общественной жизни,—говорилось в адресе,—особенно тягостно чувствуются теперь, когда русское общество пришло к убеждению в совершенной невозможности для него борьбы с внутренним злом в том случае, если все упомянутые условия... не будут устранены правительством, имеющим к этому полную возможность». Однако, тверское земство уже настолько при этом осмелело, что намекает на конституцию, ссылаясь на... пример Болгарии, которой после русско-турецкой войны Александром была «дарована» конституция. «Государь император,—говорилось в адресе,—в своих заботах о благе освобожденного от турецкого ига болгарского народа, признал необходимым даровать этому народу истинное самоуправление, неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати... Земство Тверской губернии смеет надеяться, что русский народ... воспользуется теми же благами, которые одни могут дать ему возможность выйти... на путь постепенного, мирного и законченного развития». Если бы не Болгария, тверскому земству не привелось бы просить и для России «истинного самоуправления»... Впрочем и на этой точке зрения тверское земство оставалось недолго, и в 1881 г. ходатайствовало «о созыве народных представителей в особое *совещательное* учреждение, при содействии которого только и могут быть успешно выработаны и проведены в жизнь необходимые законодательные меры», т. е. поддерживало бюрократический проект Лорис-Меликова.

Убийство Александра II 1-го марта 1881 г. вызвало несколько новых земских и дворянских адресов либерального толка. Тверское земство указывало, что «когда беда поражала отечество,—в непосредственном единении земских людей и верховной власти русский царь и народ всегда обретали могучую неодолимую силу», но не говорило, однако, ничего о том, в какой форме должно быть это «единение». В адресе черниговского дворянства говорилось: «Веруя безусловно в силу и истину самодержавной власти, черниговское дворянство убеждено, что эта истина сделается осязательнее и очевиднее для всего нашего отечества, когда ты, государь, войдешь в непосредственное общение с землей, через излюбленных ее людей»—здесь «общение» имело в виду еще и укрепить самодержавие. Новгородское земство приняло адрес, в котором умоляло царя «даровать земству возможность принять участие в борьбе с врагами русского народа» и «выслушать свободный голос русского народа». Адрес рязанского земства говорил: «Царь и народ издревле составляют одно... соберите нас вокруг себя, а мы всегда готовы по вашему велению делить с вами и труды и опасности». А подавляющее большинство земских собраний и до и после 1-го марта 1881 года вопило лишь о готовности подавить «крамолу». Адрес харьковского земства в 1878 г. обещал «вести мирную, но успешную борьбу с

социально-революционными стремлениями». Тамбовские земцы после 1-го марта «вопияли к престолу... о беспощадном искоренении крамолы» и т. д., и т. д.

Петрункевич, наиболее деятельный и радикальный из земцев, писал в изданной им за границей брошюре, что требования земств в 1880 г. выражались с «весьма большой сдержанностью и осторожностью: земство верило и сочувствовало правительству и как бы боялось забежать вперед, обращаться к нему с чрезмерными просьбами». Все это совершенно правильно для всего периода этого «конституционного» движения 1878—1881 гг. Земские либералы «боялись забегать вперед» и столь же неизменно оставались на запятках самодержавной колесницы. Ни одного сколько-нибудь смелого конституционного требования заявлено не было. Весьма возможно, что где-нибудь в земском «подпольи» несколько либеральных голов и мыслили смело, но стоило этим мыслям выйти за пределы задушевных бесед в политическое дело, и они быстро теряли всю свою силу, придушенные боязнью забежать вперед. Один из земцев в изданной за границей брошюре так формулировал задачи земского движения: «В настоящую минуту земство должно написать на своем знамени три положения: свобода слова и печати, гарантия личности и созыв Учредительного собрания», и, относясь отрицательно к выражаемой земцами готовности бороться с «крамолой», спрашивал: «Какие конституционные блага мы посулили русскому народу, когда наперед обязуемся душить идеи и истреблять людей, ими живущих?» Таков был голос из «подполья». Когда 25 москвичей, среди которых были видные профессора, обратились с запиской к Лорис-Меликову, они писали: «Единственное средство вывести страну из ее настоящего положения заключается в создании независимого собрания из представителей земств и в предложении этому собранию участия в управлении нацией и в выработке необходимых гарантий для прав личности, свободы мысли и слова». В этом случае, как видим, Учредительное Собрание превращается в собрание земских представителей, которое должно быть допущено к «участию» в управлении страной. А когда дело доходит до последней стадии—заявления требований царю—земские пожелания все более тускнеют. Драгоманов, близко стоявший к земскому движению этих лет, находил, что после всех земских заявлений, правительство, сколько-нибудь дальновидное, должно было принять такую программу: исправить закон о земстве, созвать представителей от губернских земских собраний для выработки изменений в законах о земстве, административных реформ и «для изложения правительству дальнейших нужд страны», распространить земские учреждения на губернии, в которых земство не было введено. Такова минимальная программа, рядом с которой Драгоманов ставит: ограждение законом неприкосновенности личности, свободы печати и совести и амнистию политическим осужденным. Последние дополнительные пункты программы

Драгоманов как бы выделяет из ряда общих земских пожеланий, и правильно, так как такие требования высказывались и робко, и редко. Существо земских пожеланий действительно сводилось к тому, чтобы представители земств были допущены к обсуждению предположенных реформ, не изменяющих основ самодержавного порядка, на правах совещательных: Лорис-Меликов своим проектом шел навстречу этим желаниям. Но и для поддержки таких скромных требований земские либералы не имели за собой никакой силы, ослабляя в корне все свои требования готовностью поддержать правительство в борьбе с революционным движением, которое имелось исключительно в виду правительством в его политике. Когда вопрос был поставлен так: пойти на уступки и бороться с «крамолой» или бороться с ней без уступок «обществу», правительство избрало последний путь.

5. Распад ,,Народной Воли“.—После 1 марта.—,,Народная Воля“ и ,,Священная Дружина“.

Убив Александра II, Народная Воля выполнила свою главнейшую цель. Предполагалось, что акт этот приведет к чрезвычайным последствиям. По теории Морозова,—«террористическая революция» не могла потерпеть поражения—на ее стороне все силы природы. Но убийство царя не всколыхнуло стоячего болота России. Либеральная буржуазия трусливо лепетала об «увенчании здания» (реформ), а на деле создала общественную атмосферу, благоприятную для борьбы правительства с революционерами и для торжества реакции. Молчало крестьянство. Молчали рабочие.

В первой схватке с самодержавием народовольцы оказались разбитыми: из 23 старых членов Исполнительного Комитета на свободе после 1-го марта оставалось всего 8 человек. Но дело было не только в численном уроне. Разгром организации роковым образом отразился на ее настроении—оно пало и сразу приобрело черты безнадежности. Вера Фигнер рассказывает любопытную подробность: в первые же дни после 1-го марта окончательно еще не разгромленный центр народовольцев (на свободе оставались Перовская, Кибальчич, Исаев) узнали, что Александр III проедет по Малой Садовой улице, где лавка с заложенной миной еще не была ликвидирована. Возникла мысль убить Александра III, когда он проедет по этой улице. На совещании это предприятие отстаивала одна Вера Фигнер, все прочие высказались против. «У меня,—рассказывает Вера Фигнер,—вырвался возглас: «Это трусость!». Тогда Тихомиров и Лонганс, стоявшие рядом со мной, с гневным жестом подняли крик: «Вы не имеете права говорить так!» Остальные молчали, и дело было снято с очереди». После этого, добавляет Фигнер, «даже

самый вопрос о цареубийстве не подымался». И не по трусости, конечно,—мужество этих людей было безгранично,—а потому, что чувствовался уже тупик, к которому приходило народовольчество.

«Исполнительный Комитет, по существу, кончил свое бытие и в данный момент центр партии Народной Воли уже не был в состоянии играть прежней роли,—подводит итоги Фигнер. Вместе с утратой людей боевая способность Исполнительного Комитета исчезла. Оставалась пропагандистская и организационная работа; надо было думать о набирании сил во что бы то ни стало. Но условия деятельности сильно усложнились: шпионаж и сыск усовершенствовались, появлялись виртуозы этого дела, люди честолюбивые, способные и с широким размахом, как Судейкин, а революционные требования к личности, сравнительно с семидесятыми годами, повысились. В интеллигенции и в рабочей среде надо было искать элементы более зрелые, но именно их-то и было мало». В этих словах Фигнер, одной из замечательных русских женщин, скрывается весь трагизм Народной Воли. Появился Судейкин со своей системой усовершенствованного полицейского сыска—и условия деятельности существенно изменились. Погибли лучшие—и заместителей им найти было негде. Такого трагического исхода не было бы, если бы «террористическая революция» не была революцией группы заговорщиков. Партия, опирающаяся на революционную активность масс, не пассовала бы перед шпионской системой, а героев родила бы сама масса...

Как бы то ни было, от удара, который нанесла Народной Воле ее же победа, она уже не оправилась. Вопрос ликвидации группы заговорщиков был, действительно, вопросом совершенствования сыска. Провалы следовали один за другим. Народной Воле в годы сумерек ее удалось совершить еще два крупных акта—убийство военного прокурора Стрельникова и известного жандармского офицера Судейкина.

Киевский военный прокурор Стрельников, получивший особые полномочия по ликвидации революционных организаций в Одессе и Киеве, арестовывал массами лиц, причастных и непричастных к движению, издевался при допросах, прибегал ко всяческим угрозам и т. д. Исполнительный Комитет постановил его устранить. 18 марта 1882 г., когда Стрельников, совершая послеобеденную прогулку, сидел на одном из одесских бульваров, неизвестный человек, подойдя близко к нему, вынул револьвер, прицелился и спустил курок. Произошло это столь быстро и неожиданно, что публика, находившаяся на бульваре, замерла на месте. Неизвестный бросился бежать к белой лошади с пролеткой, которая ждала его у спуска. Многие из публики погнались за ним, чтобы преградить ему дорогу. Тогда другой неизвестный, ждавший у пролетки, бросился к товарищу на помощь. Обоих схватили и через два дня судили в военном суде. Оба отказались назвать себя, были осуждены на казнь и повешены, как «неизвестные». То были—Желваков и Степан Халтурин; первый стрелял, второй ждал у пролетки.

Убийство Судейкина по мотивам своим и обстановке было многим сложнее и отчасти связано с попытками народовольцев иметь своих людей во вражеском стане, чтобы знать о тайнах жандармской полиции. В годы расцвета Народной Воли в Третьем Отделении с одобрения партии долго служил Клеточников, который держал организацию в курсе жандармских тайн. Но и Клеточников был, в конце концов, арестован. Тогда сделана была попытка заменить его другим. К народовольцам близко стоял Сергей Дегаев, артиллерийский офицер, а затем студент института путей сообщения. Его не вводили в Исполнительный Комитет, но все же настолько доверяли ему, что привлекли перед 1 марта к подкопу на Малой Садовой улице. Как-то младший брат Дегаева, Владимир, был арестован, и Судейкин предложил ему стать агентом. Юноша, после колебаний и по совету с одним из членов Исполнительного Комитета, согласился, предполагая, что он заменит Клеточникова. Однако, молодой Дегаев, по неопытности своей, оказался неподходящим для роли «агента», и Судейкин от услуг его отказался. Тогда возникло предположение убить Судейкина, для чего через брата должен был свести знакомство с Судейкиным Сергей Дегаев. Знакомство это, под предлогом предоставления Дегаеву службы чертежника, состоялось, но ближе с Судейкиным Дегаев не сошелся и дело кончилось впустую. Трудно сказать, в это ли время зародился у Дегаева план предательства и тогда ли еще он вступил в сношения с Судейкиным. Дегаев был вообще натурой неуравновешенной и морально неустойчивой. Во всяком случае, арестованный в Одессе в декабре 1882 г. он стал предателем. А рассказать Судейкину он мог многое, если не все, так как стоял в центре организации, знал членов военной группы, поставил в Одессе тайную типографию и т. д. Судейкин устроил Дегаеву побег, разумеется, фиктивный, и Дегаев, продолжая связи с оставшимся центром партии, выдал все, что мог, организовывал кружки и предприятия, которые затем сам же предавал, и т. п.

Эта темная история остается загадочной и до сих пор. В мае 1883 г., когда вся почти народническая организация была ликвидирована, Дегаев сам явился в Париж и рассказал о своем предательстве находившимся там членам Исполнительного Комитета. По его словам, устрашенный грозившей ему казнью, он, чтобы спасти себя и партию, решил ценою предательства войти в доверие к Судейкину и затем нанести правительству решительный удар. Когда же планы его, кроме предательства, не удались, а Судейкин, выведав все, что нужно, держал его на положении мелкого агента, он, мучимый угрызениями совести и опасаясь, что его позорная роль будет раскрыта, решил отдаться на суд Исполнительного Комитета. Таковы ли были действительные мотивы Дегаева или он догадывался, что есть люди, которые подозревают его в предательстве и от которых ему снисхождения ждать не приходится, — сказать трудно. Исполнительный Комитет постановил, как было сказано в

его сообщении, «казнить самого Судейкина, но непременно руками самого Дегаева, ибо этот неутомимый сеятель разврата должен был, по мнению Комитета, погибнуть в той самой яме, которую он рыл другим, оставив собственной гибелью вечный памятный урок о том, как ненадежно все, основанное на предательстве». Дегаев медлил с выполнением этого приговора, но прибывший из-за границы в Петербург Лопатин ускорил развязку. 16-го декабря 1883 г. Судейкин пришел на конспиративную квартиру для свидания с Дегаевым и здесь был убит последним, при участии Стародворского и Конашевича.

Предательство Дегаева было последним ударом, нанесенным Народной Воле. По его указанию была арестована Вера Фигнер, единственная представительница былого Исполнительного Комитета, разгромлена военная организация, им переданы были в руки Судейкина все пути к разгрому партии, после которого осталось одно пустое место. О том, что представляла собой народовольческая организация после Дегаева, рассказывает в автобиографии Герман Лопатин, вступивший в это время в Исполнительный Комитет и приехавший в Петербург восстанавливать организацию. «Перед ним [1]) стала здесь чудовищная для единичной личности задача: «собирать рассыпанную храмину», отделять «пшеницу» от «плевел», т. е., удалять немалочисленные продукты политического разврата последних годов, вторгнувшиеся в революционную среду—особенно в студенческие и рабочие кружки—в форме лиц, ведших двойную игру, с революцией и полицией, затем отбирать «чистых от нечистых», т. е. многочисленных лиц, оговоренных Дегаевым и оставленных Судейкиным «на развод», от—увы!—очень немногочисленных лиц, оставшихся неизвестными полиции или защищенных своей нелегальностью; нужно было открывать и присоединять к центру сохранившиеся обломки старых местных организаций, примирять возникшие во время безначалия разногласия и ссоры, изыскивать денежные средства на постановку новых дел, основывать заново или поддерживать только что возникшие опять типографии, спешить выпуском хоть одного № «Народной Воли», стараться поставить хоть одно полезное и эффектное террористическое дело, как наилучшее агитационное и вербовочное средство для данной минуты и т. п. При этом, при отсутствии честных и опытных людей, выкошенных долговременным предательством, ему приходилось, конечно, исполнять самолично, поочередно и даже одновременно, все роли, от старшего офицера партии до носильщика». Конечно, это была Сизифова работа, тем более безнадежная, что ее пришлось вести одному человеку, хотя и таких выдающихся организаторских талантов, каким был Лопатин. В октябре 1884 г. он был арестован, и с ним сошел со сцены последний из народовольческих могикан.

---

[1]) Т. е. перед Лопатиным.

Каковы же были настроения Народной Воли в это время ее распада? Какие надежды связывала она с цареубийством и какова была ее тактическая линия после этого акта?

Мы знаем, что в общем плане действий недостатка не было. Несколько удачных террористических актов должны были расстроить ряды правительства, вызвать народные волнения, бунты, партия захватывает власть, созывает учредительное собрание и т. д. Фактически же дело свелось к тому, что все силы были отданы террору. Усвоенная партией тактика не всех удовлетворяла даже в Исполнительном Комитете—одни возражали против идеи захвата власти, другие требовали большего внимания агитации в массах, третьи стояли за систему террора, доводимого до конца. Возобладало последнее течение, которому все служили одинаково самоотверженно, не взирая на различие мнений. Но чем сильнее захватывал всех террор, тем более терялась перспектива будущего. «Что будет после покушения, удачного или неудачного?»—так ставился, по словам Оловянниковой, одной из выдающихся членов Исполнительного Комитета, вопрос в последнем незадолго до 1-го марта. «Ни на какие серьезные перемены в политическом строе Желябов не рассчитывал,—рассказывает она далее.—Максимум чего он, да и другие, ждали—это, что нам будет легче продолжать свою деятельность: укрепить организацию и раскинуть сети во всех сферах общества. Но и это при условии, что уцелеет хоть часть людей, способных и привыкших вести дело общей организации. Желябов боялся, что и этого может не быть». Итак, в самый разгар террористической деятельности настроение было довольно пессимистичное. Верили—да и то весьма наивно,—что без «серьезных перемен в политическом строе» революционная партия каким-то чудом получит возможность легче продолжать свою работу. Очевидно, о том, что будет и что делать на следующий день после цареубийства, представления были смутные. И, действительно, Вера Фигнер рассказывает о совещании, которое было созвано незадолго до 1-го марта и должно было решить вопрос о возможности одновременно с покушением сделать попытку восстания. Доклады делегатов с мест дали ответ неблагоприятный. «Подсчет членов групп и лиц, непосредственно связанных с нами,—пишет Фигнер,—показал, что наши силы слишком малочисленны, чтобы уличное выступление могло иметь серьезный характер... От выступления пришлось отказаться. Революция рисовалась в то время еще в неопределенных чертах и в неопределенном будущем». Нужно думать, что последние слова Фигнер относятся именно к моменту совещания, ко времени акта 1-го марта, ибо раньше, после раскола в Воронеже, когда все силы отдавали террору, настроения были как раз иные: революция ожидалась в ближайшем будущем и рисовалась в определенных чертах.

Но эти настроения полной неуверенности в том, что последует на завтра после покушения, не предвещали уверенности и в буду-

щем, и еще менее обещали тактическую линию, которая соответствовала бы первоначальным планам.

Тотчас вслед за цареубийством Исполнительный Комитет Народной Воли, естественно, обратился с рядом воззваний—к крестьянам, к рабочим, к казакам, к офицерам. К чему же призывали народовольцы?

Воззвание «к честным мирянам, православным крестьянам и всему народу русскому», между прочим, гласило: «Великий грех на душе царя, когда он не заботится о своем народе. Великий грех и на его советниках, министрах да сенаторах: окружили они царя и не допускают до него мужицких слез. Ныне вступает на престол новый царь, Александр Третий. Он должен загладить грех отца своего и облегчить несносную народную тяготу. Православные крестьяне! Подавайте все миром государю прошение, посылайте к нему ходатаев, откройте государю, как на Руси мужик мается, хуже, чем в татарской неволе. Собирайтесь всем миром и пишите прошения. Прошения такие: 1) пусть государь прикажет новую нарезку земли без всякого выкупа, 2) пусть уменьшит подати, 3) пусть в мирские дела не вступаются ни чиновники, ни полиция, 4) пусть государь призовет в сенат для совета и указания выборных мирских людей от деревень и от всего народа, чтобы впредь царскими советниками были не господа, а крестьяне; и пусть без совета этих выборных царь ничего не делает—ни податей не назначает, не ведет войн. Православные! Когда царь уважит эти ваши прошения, воссияет правда на земле, исчезнет кривда и горе».

Итак, что же предлагается делать крестьянству, которое, по представлениям народников, должно было решить судьбу революции восстанием и революционным путем реализовать свои «идеалы», конечно, социалистические? Крестьянству рекомендовалось обращаться к царю с прошениями о прирезке земли и о созыве советников царских. Вместо восстания—прошения, вместо отнятия земли у помещиков—прирезка, вместо учредительного собрания—царские советники. И ко всему этому—приспособление к крестьянской вере в царя, доходящее до того, что крестьянам внушается мысль «раскрыть» царю мужицкую нужду, как будто он о ней не знает. Конечно, весьма возможно, что и при таком приспособлении программа, как она изложена в воззвании, могла показаться крестьянам слишком радикальной. Но характерно не это приспособление, а то, что в такой решительный момент Народная Воля ничего другого сказать крестьянам не могла, что, как раньше она отказалась—по необходимости, конечно,—от попытки восстания в Петербурге, так теперь она не только отказывалась от крестьянского восстания, но и сама тушила возможные «бунты» рекомендацией «петиционной кампании».

Не сразу нашлись слова и для рабочих, а когда нашлись, то столь же безнадежно пассивные. В прокламации «От рабочих» (2-го

марта 1881 г.) говорилось: «Помните, братья, что покоряться мучителям—тяжкий грех. через это терпит горе весь народ. Братья-рабочие! Довольно мучилась вся русская земля. Настала пора, когда правда воцарится на земле. Нужно только, чтобы рабочий народ действовал смело, как действовали Петр Алексеев, Пресняков, Тихонов. Ширяев. Окладский. Все эти наши братья—социалисты—из крестьян и мещан, не убоялись никакой муки, ни каторги, ни самой смерти, стоя за правду. Так и все должны делать, и тогда все выйдет хорошо и не будет на русской земле ни нищеты, ни слезного горя». Никакого непосредственного отклика рабочих на 1-е марта не предлагалось и не предполагалось. В прокламации «К русскому рабочему народу», от 24-го августа 1881 г., звучит несколько более определенная нота: «...Рабочие, знайте: как только мы начнем бунт, идите к нам на помощь. Исполнительный Комитет известит вас заранее, а вы будьте наготове. Сговаривайтесь между собой. Соединяйтесь в дружные кружки: запасайтесь оружием. Раз'ясняйте своим товарищам и деревенским рабочим. что бунт идет на пользу народу» и т. д. Если читатель припомнит воззвание Чернышевского «К русскому народу» 1861 г., то увидит, что через двадцать лет повторяются старые слова при старом настроении: готовьтесь, комитет известит о начале бунта, «мы» начнем. Как у Чернышевского, так и здесь голый лозунг, на реализацию которого никто не надеется, активности нет и у тех, кто призывает. Такой же характер носит воззвание к «Славному казачеству войска донского, уральского, оренбургского, кубанского, терского, астраханского, сибирского и иных войск», с тем еще отличием, что «вольное казачество» об'является «колыбелью русской свободы», а казаки—«народными витязями», славными потомками Стеньки Разина.

Во всех этих воззваниях общая черта—потеря веры в собственное дело. Казалось бы, после того, как достигнута цель, для которой положено столько жизней и сил, должны были найтись слова пламенные, лозунги действенные. Но их не нашлось, потому что не было прежней веры и не было уверенности. Настроения, о которых писала Оловенникова, после 1 марта понижались еще больше.

Одновременно с изложенными воззваниями, Исполнительный Комитет обратился с письмом к Александру III. Это письмо и было, собственно, формулировкой требований, изложением оценки Народной Волей создавшегося положения. Из этого положения Комитет видел два выхода, о которых писал: «Или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предупредить никакими казнями, или—добровольное обращение верховной власти к народу. В интересах родной страны, во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех страшных бедствий. которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный Комитет обращается к вашему величеству с советом избрать второй путь. Верьте, что как только верховная власть перестанет быть произвольной, как только она твердо решится осу-

ществлять лишь требования народного сознания и совести—вы можете смело прогнать позорящих правительство шпионов, отослать конвойных в казармы и сжечь развращающие народ виселицы». И далее выставляется два общих требования: амнистия и «созыв представителей всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями»; для гарантии же правильности выборов требуется всеобщее избирательное право, свобода избирательной агитации при свободе печати, слова и собраний. «Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно, перед лицом родной страны и всего мира, что наша партия, с своей стороны, безусловно подчинится решению народного собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству, сконструированному Народным Собранием. Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути. От вас зависит выбор. Мы же можем только просить судьбу, чтобы ваши разум и совесть подсказали вам решение, единственно сообразное с благом России, с вашим собственным достоинством и обязанностями перед родною страною».

Здесь мы снова встречаемся с тем, чего как будто трудно было ожидать. Требование Учредительного Собрания затушовано, если не уничтожено совсем, требованием созыва народных представителей «для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни». Вместо захвата власти—«обращение верховной власти к народу». Во всех требованиях этих нет ничего, под чем не мог бы подписаться последовательный земский либерал. В Народной Воле победил «радикализм в западно-европейском смысле», мелко-буржуазный радикализм, и победил потому, что утопическая программа еще раз пришла в противоречие с общественными отношениями.

А за этим должно было последовать и другое. Мы видели, что товарищ прокурора Добржинский предлагал Любатович взять на себя посредничество в переговорах правительства с Исполнительным Комитетом о прекращении террора на условиях некоторых уступок. Как отнеслась к этому продложению Любатович? «Я понимала,—пишет она,—что из этих переговоров может выйти очень благодетельный результат для исстрадавшейся родины нашей и мне страстно захотелось попытать все возможное». Любатович настолько серьезно отнеслась к предложению обер-охранников, что попросила разрешения на свидание с товарищем по заключению Романенко, которого убедила продолжать переговоры. «Не знаю—пишет Любатович далее,—моя ли то вина, что я не умела об'яснить суть моих разговоров с Добржинским и Плеве, или Романенко, как человек в деятельности еще не очень опытный, слишком резко поставил большие требования, или стал играть на угрозах, но переговоры сейчас же порва-

лись, а почему, я не знаю; Добржинский отвечал мне уклончиво». Однако, и после того, как Добржинский не желал больше разговаривать, Любатович написала о переговорах Кравчинскому за границу, «в надежде, что, может быть они (переговоры) возобновятся и что-нибудь из них выйдет».

Мы говорили выше о «Священной Дружине», задавшейся целью борьбы с «крамолой», и упоминали о том, что «Дружина» также пыталась вступить в переговоры с народовольцами о прекращении ими террора. Один из видных членов «Дружины», граф Шувалов, добился того, что посредничество взял на себя небезызвестный публицист Николадзе, человек с революционным прошлым и близко стоявший к народническим литературным кругам. Николадзе передал о предложении Шувалова известному народническому писателю, одному из редакторов самого популярного журнала «Отечественные Записки», Н. К. Михайловскому, который отнесся очень сочувственно к посредничеству Николадзе и сам поехал в Харьков, где тогда находилась Вера Фигнер, единственный оставшийся в России член Исполнительного Комитета. В октябре 1882 г. произошло свидание Михайловского с Фигнер. Михайловский передал, со слов Николадзе, предложение правительства прекратить террор, взамен чего ко дню коронации издан будет манифест, об'являющий полную амнистию, свободу печати и свободу мирной социалистической пропаганды. Когда Вера Фигнер отнеслась скептически к предложению правительства, Михайловский стал ее убеждать, что раз партия не в силах продолжать борьбу с правительством в прежней форме, и. вместо террора, должна заняться накоплением сил, то ее обязанность воспользоваться случаем, который посылает судьба в форме предложения правительства, тем более, что терять нечего, а получить что-нибудь можно. «Мы решили так,—рассказывает об этом свидании Михайловский:—партия, которая, повторяю, и без того бессильна, обещает воздержаться от действий во время коронации, но мы с своей стороны боялись в виду этого бессилия пред'явить какие-нибудь очень большие требования, тем больше. что не были уверены, что нас не надуют. Поэтому, не определяя ближайшим образом тех реформ, которые должно произвести правительство после коронации, мы потребовали в виде задатка и в удостоверение добрых намерений правительства, исполнения к 19 февраля двух проектов: освобождения Чернышевского и расследования бесчинств, произведенных незадолго перед тем на Каре».

По указанию Фигнер, Николадзе отправился за границу для переговоров с членами Исполнительного Комитета—Тихомировым и Оловенниковой. Переговоры эти привели к тому, что Исполнительный Комитет принял предложение правительства, с своей стороны выставив требования, которые сводились к следующему. Террор будет прекращен до коронации, если последует освобождение Чернышевского и расследование насилий на Каре. Что ка-

сается, вообще, террористической деятельности, то она может быть прекращена, если правительство будет искренно соблюдать свободу слова, печати, собраний и обществ, т. е. при возможности свободного развития народа. Если же правительство вступит на на путь социальных реформ, то партия его поддержит.

Приблизительно в это же время сделана была другая попытка вступить в переговоры с Народной Волей, исходившая также из кругов «Священной Дружины», которая на этот раз выступила под видом несуществовавшей «Земской Лиги». Революционеры (Лавров, Оловенникова и др.) отнеслись и теперь серьезно к предложению, а так как новое предложение исходило от «либералов», то и требования были пред'явлены более повышенные, чем правительству. В проекте договора, составленном Лавровым, предлагалось за основание переговоров принять письмо Исполнительного Комитета Александру III. «Земская Лига» должна предварительно сообщить, в какие сроки она может подготовить амнистию, доставить печати и обществу возможность свободно подготовиться к земскому собору и, наконец, подготовить созыв земского собора, который должен быть всенародным и иметь права учредительного собрания. Если предварительные условия будут приняты, то Александр III до коронации будет огражден от покушений; если правительство серьезно приступит к выполнению условий соглашения, то против Александра III ничего не будет предпринято, пока правительство будет добросовестно выполнять условия; и, наконец, «если русским социалистам будет обеспечено право мирно распространять свои идеи, то Исполнительный Комитет решительно откажется от всякой террористической деятельности». Вместе с тем, составлен был и проект прокламации, с которой должен был выступить Исполнительный Комитет в том случае, если бы соглашение состоялось. «Пусть Александр III, — говорилось в проекте прокламации, — выразит в определенном заявлении и осуществит в решительных мерах свой переход к либеральной внутренней политике. Пусть друзья политической свободы и экономического улучшения положения русского народа приобретут влияние на дело, путем ли господства в советах императора, путем ли организации сильной партии и политической оппозиции произволу самодержавия, и опасность для личности императора совсем исчезнет». Таким образом, в конце концов, для отказа от террора требовался не созыв даже народного представительства, а участие либералов в «советах правительства», а самая возможность царского правительства добросовестно пойти на либеральные реформы, очевидно, допускалась.

Само собой разумеется, что из всех этих переговоров ничего не вышло. Пока они продолжались, Народная Воля подверглась столь сильному разгрому, что царь мог спокойно короноваться, не опасаясь покушений. Одна сторона могла быть довольна резуль-

татами, у другой должен был остаться скверный осадок, который Михайловский в своих воспоминаниях называет одним словом: «стыдно». В самом деле, какой политической наивностью нужно было обладать, чтобы серьезно возлагать какие-либо надежды на переговоры с правительством Александра III! А, между тем, и Любатович, когда слышит предложение, исходящее от Плеве, и Михайловский с Тихомировым, когда от имени правительства к ним приходит Николадзе, и Лавров с Оловенниковой, когда с ними вступает в переговоры никому неведомая «Земская Лига», от которой они сами требуют доказательства ее существования,—все готовы обсудить, выработать условия, вступить в соглашение. По словам Дейча, и Тихомиров, и Оловенникова, и Лавров в переговорах с «Земской Лигой», «ни на минуту не сомневались в том, что предложение о прекращении террора исходит от «придворной либеральной партии», так как посредник «Лиги» все называл имена придворных особ, князей и графов». Когда Дейч высказал подозрение, нет ли во всем этом руки Судейкина, они отвергли это подозрение с негодованием. Да и много лет спустя видный член Народной Воли Прибылева, оправдывая своих товарищей от подозрений в легкомыслии, писала, что, ведя переговоры с «Лигой», они думали, что косвенно переговоры ведутся и с частью правительства. Но была ли это только политическая наивность? Плеханов отметил как-то, что отрицаемая утопическим социализмом *политика* логически вела их к *политиканству*. Народовольцы, пришли к такому концу. Признав необходимость политической борьбы, но сохранив утопические представления о социализме, они беспомощно стояли перед сложностью общественной обстановки без той веры, которая спасала народничество, по крайней мере, от такого рода ошибок. Потеряв веру в близкий социалистический переворот, и не будучи в состоянии подвергнуть критической оценке самые основы народничества, оценке, которая заменила бы веру знанием непреложных законов общественного развития, ведущих к победе социализма, они оставались без почвы, готовы были ухватиться за всякую соломенку, от политики пришли к политиканству. Перед ними был тупик, из которого выхода на прямую дорогу старыми путями не было.

6. „Черный передел".

Обратимся теперь к другой организации, созданной после воронежского раскола,—к «Черному Переделу».

По словам Аптекмана, «Черный Передел», как организация, просуществовал недолго, несмотря на то, что в него вошло много выдающихся землевольцев: Плеханов, Засулич, Дейч, Аксельрод, Игнатов, Стефанович, Попов, Аптекман и др. Все складывалось для «Черного Передела» неблагоприятно. Деревенских поселений к

концу 1879 г. уже не было—все они распались. Приостановился и приток свежих сил в организацию: неудача агитации в деревне отражалась и на пропаганде среди молодежи, которую уже трудно было вдохновить на деревенскую работу. Не лучше обстояло и дело с городскими рабочими. Перед покушением Соловьева, многие из наиболее активных революционеров должны были на время покинуть Петербург, а когда они вернулись, то оказалось, что связи с рабочей средой ослабели, в особенности с «Северным Русским Рабочим Союзом». Нужно было снова наладить дело и за это взялся Плеханов. На созванном совете чернопередельцев, он горячо убеждал товарищей направить свои силы в среду рабочих. «В живой, яркой и сильной речи обрисовал Плеханов наше тогдашнее положение—рассказывает Аптекман.—Мы—народники, но в народе у нас теперь точек опоры нет, фактически нет. Деревня—вне нашего революционного воздействия. Мы в этом не виноваты. Нас так мало, а новые силы не прибывают к нам... Настроение наличных революционных сил молодежи не в пользу систематической работы в деревне. Настроение толкает молодежь на другой путь, на путь террористической деятельности. Но мы не должны падать духом. Есть работа и для нас, работа народническая. Нас зовут городские рабочие. Разве они не те же крестьяне? Для этой работы у нас хватит своих сил, а за ними в этой работе пойдет и молодежь».

Но поправить положение становилось все более трудно. Степан Халтурин отошел от «Северного Русского Рабочего Союза», отдав себя делу террора, и связи с рабочими становились все слабее. «Когда чернопередельцы стали заводить связи с Союзом, через Союз с прочими рабочими,—рассказывает Аптекман,—союз, как рабочая организация, висел уже на волоске: гибель его уже была близка, а с его гибелью рушились и все наши начинания среди петербургских рабочих». Усилившийся белый террор заставил в начале 1880 г. выехать за границу Плеханова, Засулич, Дейча и Стефановича, так что «Черный Передел» сразу лишился наиболее крупных своих руководителей. В начале же 1880 г., благодаря предательству одного рабочего, была арестована типография «Черного Передела». Организация фактически была разгромлена и в сколько-нибудь значительном размере больше не возрождалась.

С другой стороны, как ни хотели чернопередельцы быть староверами революционного народничества, это им не удавалось: и они должны были сдать некоторые свои существенные позиции. Однако, радикального сдвига они не сделали и основ народничества их критика не коснулась. Поэтому, попадающиеся в нашей литературе указания на то, что чернопередельчество заключало в себе некоторые элементы марксизма, так же не верны, как причисление к марксистам последователей Лаврова середины 70-х годов. Правда, Плеханов, как и другие чернопередельцы, принимает некоторые основы учения Маркса, но принимает их не как мар-

ксист, а как бакунист, и выводы из них делает не марксистские, а народнические; эти некоторые стороны учения Маркса принимаются эклектически, т. е. они мирно уживаются с другими воззрениями, радикально с марксизмом расходящимися. Бакунин считал материалистическое об'яснение истории одной из главных научных заслуг Маркса, но, принимая это учение, делал из него анархические выводы. Вслед за Бакуниным в таком же виде «марксизм» принимает чернопеределец Плеханов и другие. «Экономические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренной причиной не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов», — писал Плеханов в первом номере «Черного Передела». Об этом же писал в том же номере «Черного Передела» Аптекман в своем открытом письме к товарищам, т. е. к народовольцам: «Критика современного общества убедила людей науки, что в основе его лежат, главным образом, отношения экономические, которыми по преимуществу и определяются остальные отношения — государственные, юридические, нравственные и пр.». Однако, из положения этого делается лишь то употребление, что им подкрепляется народническая утопия об экономическом перевороте, который, в качестве первопричины, поведет и к политическим переменам. Принимая экономические отношения за основание всех остальных, Плеханов делает тот вывод, что «экономическая поземельная революция неизбежно поведет за собой переворот во всех других общественных отношениях», Аптекман, с своей стороны, из того же положения делает вывод, что «каждая живая партия должна избрать точкою приложения своих сил, базис данного общества—его экономические отношения», и на этом основании заявлял, что, в противоположность народовольцам, которые на первом плане ставят политическую борьбу, чернопередельцы ставят «экономическую» борьбу. Иначе, это означало, что так как экономические отношения лежат в основе всех остальных, то экономическая революция должна предшествовать или, в худшем случае, совпасть с революцией политической. Таким образом, материалистическое понимание истории служило лишь к оправданию народнической утопии. «Марксизм» принимался чернопередельцами в бакунистской обработке, или, другими словами, он шел к ним не от Маркса, а от Бакунина.

Поэтому, мысль о том, что экономические отношения лежат в основе всех прочих общественных отношений, нисколько не мешала чернопередельцам оставаться при старом существе народнических воззрений. «В настоящее время только общинное землевладение и артельная организация народной промышленности составляют практически осуществляемую в России часть социалистической доктрины», писал Плеханов в «Черном Переделе», усматривая по старому в общине и в артели «зародыш» социализма. И как в

«Земле и Воле» Плеханов призывал к «идеалам» Разина и Пугачева, так и теперь он приходит «к необходимости агитации во имя тех же начал, за которые уже боролись Разин, Пугачев и др.» Оставаясь верным основному положению революционного народничества, что освобождение народа должно быть делом самого народа, чернопередельцы находили необходимым по прежнему уделять все силы работе среди крестьянства: говоря об условиях и способах социалистической деятельности в России, Плеханов подчеркивал, что имеет в виду главным образом крестьянство. «В настоящее время,—писал Плеханов в конце 1880 г.,—промышленное развитие России ничтожно и понятие «трудящиеся массы» почти покрывается понятием «крестьянство». Плеханов не отрицает и «значения революционной работы в наших промышленных центрах», отказываясь «определять заранее, из каких слоев трудящегося населения будут вербоваться главные силы социально-революционной армии, когда пробьет час экономической революции в Росии». Но это признание остается таким же неуверенным и несвязанным с общими воззрениями, каким было признание необходимости агитации в рабочей массе, изложенное Плехановым в известной нам статье «Земли и Воли». В своих статьях в «Черном Переделе» Плеханов, как и раньше, доказывает, что агитация среди крестьян должна вестись на почве их непосредственных нужд, стараясь обобщать и расширять их требования в социалистическом духе.

Многое основное, таким образом, в воззрениях чернопередельцев сохранилось, но не все, проделали и они эволюцию. Как ни спорили они с народовольцами, по вопросу о политической борьбе и о терроре, но, в конце концов, признали и то, и другое, с теми или иными оговорками, в том или ином понимании.

«Не думайте, пожалуйста, товарищи—писал Аптекман в своем открытом письме к народовольцам,—что я вообще против конституции, против политической свободы. Я слишком уважаю человеческую личность, чтобы быть против политической свободы... Говорить, что идея политической свободы для народа вещь непонятная, ненужная—не резон. Она для него такая же необходимая потребность, как и для интеллигенции». «Крупный террористический поступок в городе в известный момент может быть очень кстати», писал тот же Аптекман, имея в виду цареубийство. «Мы знаем цену политической свободы,—писал Плеханов,—и можем пожалеть лишь о том, что русская конституция отведет ей недостаточно широкое место. Мы приветствуем всякую борьбу за права человека, и чем энергичнее ведется борьба, тем более мы ей сочувствуем. «Света, больше света»—на этом требовании сойдутся все честные и уважающие себя люди в России». Но это признание политической борьбы сопровождается рядом оговорок. Прежде всего, Плеханов правильно указывает, что в борьбе этой партия должна опираться на народные массы и потому не должна прекращать своей работы

в крестьянстве. «Было бы печально,—писал он,—если бы, увлеченные политической борьбой, мы предоставили народным волнениям совершаться без нашего участия, воздействия и влияния... Социалистическая «партия» без почвы и влияния в народе, без заботы о их приобретении—это nonsens, «штаб без армии», мнимая величина, не имеющая значения в ходе общественной жизни страны». С другой стороны—и это для Плеханова наиболее существенно—политическая борьба не должна упускать из виду главной цели—экономической революции—и потому остается задачей второстепенной. «Выступая активно в моменты общественных кризисов, пишет он,—народ преследует именно цель своего экономического освобождения. Вопросы политические имеют для него второстепенное значение, если не игнорируются им совершенно». Поэтому и для партии «всякое ее отклонение с пути экономической революции будет наказываться ослаблением ее связи с народом, потерей ее значения, падением ее влияния в народной среде». А потому—заканчивает Плеханов,—«при всем нашем сочувствии политической борьбе, на которую устремилось уже не мало сил, когда-то работавших вместе с нами, мы говорим, что борьба эта имеет лишь второстепенное значение».

Обобщить этот сдвиг в воззрениях чернопередельцев пытался Аксельрод в составленной им программе «Северно-русского общества «Земля и Воля», которое должно было заменить «Черный Передел». Программа признает, что крестьянство составляет в России «коренную силу в экономическом и численном отношении», что община при переходе земли в руки народа обеспечивает уничтожение частного землевладения, и замену его коллективным, что артельная организация промыслов является следствием «общинных привычек» народа,—иначе программа признает крестьянские «идеалы» и «общинные привычки» зародышем грядущего социализма. Поэтому, «скорейшее совершение ожидаемой народом аграрной революции было бы весьма существенным, как переходная ступень для нового переустройства общества на социалистических основаниях, в связи с чем главной задачей остается сосредоточение всех сил в деревне с целью агитации на почве требований земельного передела и организации народно-революционных сил. Что касается рабочих, то по своей малочисленности они «не могут даже начать борьбы за свои интересы помимо союза с крестьянством», и потому деятельность в среде промышленных рабочих является лишь «необходимым дополнением к революционной деятельности в деревне». До сих пор никаких отступлений от народничества нет, но они следуют дальше. «В виду того,—говорится в программе,—что всякая форма государственной организации, основанной на различии классов, является воплощением и поддержкой интересов эксплоатирующего меньшинства, что современное российское государство является самым беззастенчивым и самым грубым выразите-

лем этой тенденции—общество «Земля и Воля» признает необходимость непосредственной борьбы с его представителями, т.-е. необходимость так называемого террора политического. Однако, общество «Земля и Воля» признает, что сосредоточение на этой борьбе не только всех, но даже и главных его сил поставило бы его в противоречие с указанными выше задачами аграрной революции». Наконец, допуская возможность конституционного движения в России, программа предвидит возможность использования партией в такой момент возбуждения умов, «чтобы ослабить веру народа в значение мирных легальных реформ», и предусматривает участие в избирательной кампании партийных кандидатов с социально-революционной программой.

Как видим, стройности и последовательности в этой программе мало, как мало их вообще в воззрениях чернопередельцев. Старая программа потерпела столь значительный урон, как признание политической борьбы и даже политического террора, но полностью сохранила все народническо-утопические настроения; готовность считаться с возможностью конституционного движения мирно уживается с ожиданием «экономической революции», движущей силой которой остаются «народные идеалы». Эволюция Черного Передела, происходила под влиянием тех же причин, что и эволюция народовольцев, приведшая к расколу на воронежском с'езде. Насыщенная политической борьбой атмосфера заставляет чернопередельцев, вслед за народовольцами, признать «политику» и даже террор. У тех и у других—у чернопередельцев как и у народовольцев,—признание «политики», не сопровождается переоценкой отношения политической борьбы к борьбе за социализм. И те и другие не делают дальнейшего шага вперед к пересмотру основ народничества с его верой в особые пути развития России, но пытаются признание «политики» примирить со *старым*, приспособить его к утопическим предрассудкам. Такое примирение, конечно, не удается, новое поверхностно связывается со старым, а такая связь не может быть прочной. Народовольцы, отдав себя целиком политической борьбе в том виде, в каком они ее приняли на основе старого народничества, оторвались от работы в крестьянской массе и превращались в радикалов. Чернопередельцы, приняв политическую борьбу с меньшей решительностью и последовательностью, чем народовольцы, при фактически ничтожной работе в крестьянстве, остались обреченными на бессилие. В конце концов, и те и другие оказались у тупика, к которому были приведены общим для них предшествующим процессом разложения народничества.

7. Утопический социализм на русской почве.

Мы должны теперь подвести некоторые итоги, так как находимся на рубеже нового периода нашего революционного движения.

Революционное народничество, как и предшествовавшие ему течения, было русским изданием утопического социализма, который, как всякий утопический социализм, покоился на неразвитых капиталистических отношениях. «Незрелому состоянию капиталистического производства,—писал Энгельс,—незрелому классовому положению соответствовали и незрелые теории... Утописты были утопистами потому, что они не могли быть ничем иным в ту эпоху, когда капиталистическое производство было так слабо развито. Они принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в самом старом обществе; набрасывая план нового общества, они были принуждены ограничиваться обращением к разуму, ибо они не могли еще апеллировать к современной им истории». Но, намечая элементы нового общества из своей головы, утописты и в этом были связаны современными им общественными отношениями, так или иначе отражая последние в своих реформаторских планах. Русские утописты, начиная с Герцена, об'ективное обоснование своих социалистических стремлений находили в крестьянской общине, в крестьянских «идеалах», т.-е. в отсталых формах народной жизни. Это же искание об'ективного оправдания социалистических стремлений в крестьянской общине приводило к вере в особые пути социального развития России, которые избавляют от необходимости пройти капиталистическую стадию развития и открывают пред страной прямой путь к социализму. Отсюда отрицание политической борьбы и политической свободы, очевидно бесполезных, раз для торжества социалистических «идеалов» народа требуется разрушение государства. Однако, отрицание «политики» сразу же получило сильную брешь, благодаря особенностям русских общественных отношений, непрестанно ставивших политику в порядок дня. Герцен был представителем «*мирного*» течения в утопическом социализме, которое находилось в полном противоречии не только с крепостным, но и с пореформенным самодержавно-полицейским порядком, не оставлявшим места для иллюзий «мирного» развития. Отсюда отчужденность Герцена от современного ему движения, которое, оставаясь также утопическим, апеллировало к крестьянской массе и становилось на путь *революционной* борьбы.

Утопические настроения, питаясь неразвитостью общественных отношений, владели умами передовой интеллигенции несколько десятилетий. Но капиталистические отношения неуклонно, хотя и медленно, развивались и в меру своего развития разбивали одну за другой иллюзии утопизма. Прежде всего, была разбита вера в подготовленность крестьянства к социалистической революции: когда пропагандисты дошли до деревни, оказалось, что это уже не старая деревня первобытного коммунизма, а деревня, окрашенная «индивидуализмом», пропитанная собственническими интересами. Тогда разбитую веру заменили другой—верой в возможность под-

готовки крестьянской революции агитацией на почве непосредственных нужд крестьянства. Но и здесь должно было ждать разочарование, потому что от этих непосредственных нужд и даже от черного передела земли до социализма оставалась дистанция огромного размера. В то же время развивавшиеся капиталистические отношения выдвигали вперед рабочий класс, который вступал в борьбу с капиталом, то обороняясь, то наступая на него, и становился все более восприимчивым к революционной пропаганде. Народники много говорили о работе среди крестьян, но наиболее плодотворно работали среди фабричного пролетариата. Однако, встретившись с этим новым общественным классом, они оценили его со своей утопической точки зрения, рассматривая рабочих как полукрестьян, полу-фабричных, способных лишь нести службу связи с крестьянством. Жизнь разбивала и эту утопию, показав на примере «Северного Русского Рабочего Союза», что рабочее движение, говоря словами Плеханова, переростало на целую голову революционное учение, но даже Плеханов не был еще в состоянии сделать из этого наблюдения все выводы. Все эти удары по утопическим воззрениям обобщались в противоречии, с которым народники сталкивались каждый день и которое показывало, что политическая борьба для дела социализма вещь совсем не безразличная. Ведя борьбу с государством вообще, народники на деле вели борьбу с самодержавно-полицейским государством; отрицая «политику», они должны были все же уделять ей все больше внимания и сил, потому что полицейские условия на каждом шагу мешали какой бы то ни было революционной работе. Народники, принимая «политику», выдвигали новые утопии— то веру в совпадение экономического и политического переворота, то веру в осуществление социализма сверху путем захвата власти. В этом отступлении утопического социализма с одной позиции на другую сказывалось воздействие развивавшихся общественных отношений, все более отходивших от тех примитивных отношений, в обстановке которых зародился утопизм. Под напором новых общественных отношений замечается дифференциация в самом народничестве: народовольчество перерождается в мелкобуржуазный радикализм, в то время как чернопеределъцы пытаются оставаться хранителями социалистических традиций народничества, продолжая искать опору в трудящихся массах. Таким путем, став в противоречие с новыми общественными отношениями, революционное народничество пришло, в конце концов, в состояние разложения, показанное нами выше.

Плеханов, всякий раз, когда ему приходилось говорить об утопическом социализме, неизменно повторял, что слово «утопический» в данном его применении совсем не имеет смысла порицания. Это слово, писал в одном месте Плеханов, «просто на просто характеризует под нашим пером *ту точку зрения*, с которой смотрел

на общественную жизнь социализм в первой фазе своего развития. Эта точка зрения стала неудовлетворительной с тех пор, как социализм перешел, благодаря Марксу и Энгельсу, на точку зрения науки. Но в свое время утопический социализм оказал огромные услуги делу развития общественной мысли». Эти замечания Плеханова можно применить и к нашему утопическому социализму, принимая, конечно, во внимание все существенное отличие последнего от западного утопизма. В чем же услуга, оказанная утопическим социализмом делу развития социалистической мысли? Маркс и Энгельс в учении великих утопистов в особенности ценили «критический элемент». Они писали: «Положительная сторона их учений о будущем обществе, например, уничтожение противоположности между городом и деревней, уничтожение семьи, частной собственности, наемного труда, провозглашение общественной гармонии, превращение государства в простое управление производством,—все эти положения их выражают лишь необходимость устранения того антагонизма классов, который только что начинает тогда развиваться и известен лишь в его первичной, бесформенной неопределенности; поэтому и положения эти имеют еще совершенно утопический характер». Этот критический элемент был силен и у наших утопистов, начиная с Герцена и кончая чернопередельцем Плехановым. Революционеры-народники, критикуя государство вообще, критиковали классовое государство; требуя «свободного развития» общины, они требовали уничтожения частной собственности на землю; требуя перехода фабрик в руки рабочих—требовали уничтожения наемного труда и т. д. К критике классового общества они подходили со своей утопической точки зрения, но это была критика, отрицавшая основы классового общества и расчищавшая этим путь для более плодотворной критики с точки зрения научного социализма.

С другой стороны, революционное народничество, составлявшее *революционное* крыло утопического социализма, обращаясь к народу, стояло на той точке зрения, что освобождение народа должно быть делом самого народа. Вера в революционную силу крестьянства и в особые пути социального развития России помешала народникам сделать из этого положения правильные практически-революционные выводы. Но их обращение к народу, к его революционной самодеятельности значительно облегчило возможность другим в новых условиях сделать эти выводы, приняв положение, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса.

Революционное народничество было определенной стадией развития нашей социалистической мысли. Но сохранить положительное свое значение наш утопический социализм мог лишь до определенного момента. «В той же самой степени—писали Маркс и Энгельс об утопическом социализме,—в какой развивается и при-

нимает более определенный характер борьба классовая, лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания это фантастическое стремление возвыситься над нею, это фантастически-отрицательное к ней отношение. Поэтому, если основатели этих систем были во многих отношениях революционерами, то их ученики образуют всегда реакционные секты». Иначе говоря, утопический социализм, оставаясь на определенной стадии общественного развития революционным, в других общественных условиях теряет эти революционные черты и становится реакционным. Революционен он до тех пор, пока общественные отношения остаются неразвитыми, а общественные противоречия недостаточно отчетливо выявленными. Реакционным он становится тогда, когда капиталистическое развитие подвинулось значительно вперед и классовая борьба принимает все более определенный характер. Не избежал этой участи и русский утопический социализм. Отстаивать «самобытные» пути развития России перед лицом все более развивавшегося капитализма, поддерживать веру в «общинный» дух крестьянства, когда последнее в действительности все больше проникалось духом мелко-буржуазным, возлагать надежды на революционную роль крестьян, когда налицо был пролетариат, складывавшийся в особый класс, всем ходом общественного развития предназначенный к роли могильщика капиталистического порядка,—значило стать на реакционную точку зрения, искать идеала не впереди, не в дальнейшем развитии противоречий капиталистического порядка и классовой борьбы, а позади, в старых разлагавшихся общественных отношениях. Такой именно характер, как мы увидим, носили попытки воскресить в той либо иной форме старое народничество.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ. [1])

1. Правительственная и общественная реакция 80-х годов.—Пробуждение рабочего класса.

Мы уже знаем, что вслед за убийством Александра II правительство взяло твердый реакционный курс. Реакция железным кольцом охватила все проявления общественной самодеятельности. Не прекращались аресты «неблагонадежных», свирепствовала цензура, закрывались лучшие газеты и журналы, усилился полицейский режим в университетах, преграждался доступ в учебные заведения не-дворянским детям, и т. д., и т. д.

В этой реакции правительство опиралось на общественную реакцию, убедительным свидетельством которой были отклики подавляющего большинства дворянских и земских собраний на призыв правительства оказать ему поддержку в борьбе с «крамолой». Но дворянство и промышленная буржуазия не оказали этой поддержки совершенно бескорыстно. Если красный призрак революции поселили в них тревогу, то и паника правительства открывала перед ними возможность усилить свое влияние и добиться надлежащего ограждения своих интересов. Правительство пошло навстречу этим стремлениям, потому что взамен и оно получило сильную поддержку.

Дворянские круги доказывали, что «катастрофа» 1 марта 1881 г., произошла потому, что в России нет твердой власти, а последней нет потому, что ослабела связь дворянства с правительством, утратились служебные привилегии дворянства и в силу этого пал авторитет дворянства в населении. Задача, поэтому, сводилась к тому, чтобы восстановить значение дворянства, как господствующего со-

[1]) Пособия: *Рязанов*, „Плеханов и „Группа Освобождения Труда", П. 1918; *Лядов*, „История Рос. Соц.-Дем. Раб. партии", СПБ. 1906 (об'явлено о новом издании); *В. И. Невский*, „Очерки по истории РКП (большевиков), т. I, Лен. 1924 (гл. IV и V); *Дейч*, „Г. В. Плеханов", в. I, М. 1922; *М. Ольминский*, „Из прошлого", М 1919 (ст. „Золотой век народничества и Марксизма"; *Ваганян*, „Г. В. Плеханов", „Под Знаменем Марксизма", № 8—9; *Дейч*, „О сближении и разрыве с „Народной Волей", „Пролетарская Революция", № 20; „От группы Благоева к „Союзу Борьбы", изд. Истпарта, Ростов на Дону, 1921; Федосеев, Николай Евграфович, изд. Истпарта, М. 1923; *Николаевский*, „Программы первого в России с.-д. кружка", „Былое", 1918, № 13; *Н. Сергиевский*, „О кружке Точисского" „Красн. Летопись", № 7.

словия, усилив его власть, главным образом, над крестьянством. В 1885 г. был учрежден особый дворянский банк для выдачи ссуд дворянам на льготных условиях. Но значение этой меры выходило за пределы исключительно материальной поддержки дворян. Сохранение дворянского землевладения с помощью государственной казны должно было укрепить материальную базу, на которой могла бы быть сохранена власть дворянства: эту материальную силу, как основу власти, давала дворянам земля. Цель учреждения банка, как об этом заявлялось в особом манифесте, состояла в том, чтобы дворяне сохранили первенствующее место «в делах местного управления и суда, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования». Эта обширная задача, поставленная перед дворянством, была в дальнейшем благополучно разрешена. В 1889 г. создана была «близкая к народу власть» в лице земских начальников, набираемых из дворян; земским начальникам, подчиненным губернаторам, предоставлена была широкая власть над крестьянством, административная, как и судебная. В 1890 г. подвергнут был пересмотру закон о земстве, в результате чего крестьяне были фактически лишены участия в земстве, так как гласные от них назначались губернатором из избранных в крестьянской курии кандидатов, а представительство дворян было значительно усилено. Таким образом, все местные дела и власть над крестьянством была отдана в руки дворянства. Крестьянство было поставлено в новое подневольное положение, была произведена частичная реставрация крепостнических отношений. Эта основная черта реакционной политики правительства нисколько не ослаблялась некоторыми мерами, принятыми якобы в интересах крестьян. Так, отмена подушной подати сопровождалась одновременно сильным повышением земельных податей, так что крестьянские платежи в общем не понизились. В 1889 г. был учрежден крестьянский банк для выдачи ссуд крестьянам, но услугами его могли пользоваться только состоятельные крестьяне. Утверждение дворянской диктатуры над деревней, в конце концов, только ускорило и усилило обнищание крестьянской массы.

Промышленная буржуазия в такого рода диктатуре не нуждалась, ей нужна была другая диктатура—господство на внутреннем рынке, над потребителем и рабочим, возможность широко использовать все возможности накопления. И она такую возможность получила. С начала 80-х по начало 90-х годов не проходит года без того, чтобы не повышались таможенные пошлины. В 1882 г. повышаются пошлины на ряд товаров, в том числе и на текстильные, в 1884 г.—на каменный уголь и чугун, в 1887 г.—снова на уголь, и т. д. Все эти покровительственные меры обобщаются в тарифе 1891 г., который повысил обложение по многим привозным товарам на 100 и даже 300% и более. Прочная таможенная стена, отделявшая русский рынок от иностранных товаров, создавала для

промышленников монопольное положение, ускоряла процесс накопления и роста капиталов, обеспечивая промышленникам высокую и твердую прибыль. С другой стороны, вынужденное под давлением рабочих волнений пойти на некоторые изменения в рабочем законодательстве, правительство, под давлением требований фабрикантов, всецело принимает точку зрения последних и стремится всячески оградить их интересы. Закон 1886 года, регулировавший в самых скромных пределах отношения рабочих и хозяев, был вскоре же по требованию фабрикантов, пересмотрен и ухудшен во многих отношениях. На фабрике капитал мог чувствовать себя в такой же мере господином, как и на рынке, а большей «конституции» ему и не нужно было.

Дружными усилиями правительства, дворянства и буржуазии в России воцаряется покой кладбища. Это было в некотором роде наступлением контр-революции против революционной атаки народовольцев на самодержавно-дворянский порядок, попытка спасти старый строй от разложения и крушения. Но развитие общественных отношений неуклонно шло своим чередом и под внешним покровом реакции зрели новые силы, подрывавшие старый порядок в самом его основании.

К 80-м годам процесс внутреннего перерождения деревни достиг значительных размеров и давал уже вполне характерные симптомы. Расслоение деревни подвинулось вглубь и вширь, община распадалась, крестьянство выделяло крепкие, кулацкие хозяйства и еще в большей мере пролетаризированную бедноту. Повышение земельных арендных цен ставило в особенно тяжелое положение маломощных крестьян, которые при крайне недостаточном своем наделе должны были отказываться от непосильной для них аренды помещичьей земли. На этой почве в 80-х годах, после значительного перерыва, возобновляется крестьянское движение, хотя еще в слабых формах. В целом ряде губерний происходят столкновения на почве земельного утеснения. Крестьяне заводят тяжбы с помещиками из-за спорных земель, усиливаются потравы, так как собственых выгонов оказывается недостаточно, учащаются случаи самовольной рубки леса, увоза хлеба с помещичьих полей, поджога помещичьих строений, доходит дело и до столкновений с властями. Все это служило признаком глубокого внутреннего кризиса крестьянского хозяйства, массового обнищания крестьянства и его пролетаризации. Старая «самобытная» деревня всецело отходила в область предания, и вместе с тем радикально изменялись в ней социальные отношения. К моменту реставрации дворянской власти над крестьянством, о которой мы только что говорили, в действительности, эта власть теряла под собой всякую почву: помещики-дворяне имели перед собой не однородно-покорную и беспомощную крестьянскую массу, но, с одной стороны, деревенскую мелкую буржуазию, завсевавшую самостоятельность своей хозяйственной

устойчивостью, а с другой стороны—обнищавшую массу, которая близка была к стихийной борьбе за землю. Дворянское господство над деревней, как основа всего самодержавно-дворянского порядка, раз'едалось изнутри, в крестьянстве начинали тлеть искры, из которых пожар разгорелся многим позже.

Вместе с тем неуклонно подвигалось вперед и промышленное развитие страны. К 80-м годам, со времени крестьянской реформы, промышленный капитализм сделал несомненные и прочные успехи. С 1865 по 1890 год количество переработанного на фабриках хлопка увеличилось почти в 5 раз, добыча угля возросла более, чем в 10 раз, выплавка чугуна повысилась в три раза, число фабрично-заводских рабочих поднялось в два раза (с 706 тыс. до 1432 т. чел.). Если в 1866 году фабрик, имевших 100 и более рабочих каждая, насчитывалось 644, то в 1890 г. число их увеличилось до 951, т. е. возросло в полтора раза, а общее число занятых в них рабочих поднялось в два раза (с 231 т. до 464 т.). Рост промышленного капитализма сказывался и в том, что на крупных фабриках сосредоточивалось все больше рабочих. Так, в 1866 г. на фабриках, имевших каждая 1.000 и более рабочих, занято было 27% всего числа рабочих крупных фабрик, а в 1890 г. их занято было 46%, т. .е концентрация производства приводила и к концентрации рабочих на крупнейших фабриках.

С другой стороны, обнищавшая деревня выбрасывала все большее число крестьян в города, на фабрики. Процесс образования рабочего класса подвигался вперед сильнее, чем было раньше. Ряды фабричного пролетариата пополнялись все новым элементом, и вместе с тем быстрее пошел процесс окончательного отрывания рабочих от деревни и от земли. Разорение крестьянского хозяйства создавало в деревне излишек рабочих сил и фабричным рабочим незачем было уходить с фабрики в деревню для полевых работ—они во все большем числе оседали в фабричных центрах, превращались в фабричных рабочих, которые кроме фабрики и интересов наемного рабочего никаких других интересов не знали. Этот переломный момент в процессе образования рабочего класса совпадает с затяжным промышленным кризисом 80-х годов. Усиленное покровительство промышленности, отчасти вызванное также этим кризисом, облегчая положение фабрикантов, дает им возможность возместить потери на усиленной эксплоатации труда. Рабочие массами выбрасываются из фабрик, образуются тысячные кадры безработных, заработная плата уменьшается, усиливаются штрафы и т. д. На рабочий класс впервые обрушивается удар, какого он раньше не знал, и он стихийно переходит к массовой активной обороне. Стачки, не составлявшие и раньше редкого явления, теперь все учащаются; в столицах, как и в глухих фабричных селах, рабочие пытаются дать отпор капиталу. Стачки носят часто бурный характер, сопровождаются разгромами и поджогом фабрик и т. д., сви-

детельствуя этим не только о темноте рабочих, но и о стихийной силе пробуждавшегося в рабочей массе протеста. Высшего напряжения это стачечное движение нашло в известной морозовской забастовке начала 1885 г., которая вместе с тем показала, что далеко не прошла бесплодно пропаганда народников среди рабочих. На фабрике Морозова (в Никольском, близ Орехово-Зуева, Владимирской губ.) рабочие, как и в других местах, забастовали в ответ на ухудшение условий их работы в связи с кризисом. Но здесь, в отличие от других мест, забастовкой руководили рабочие, Мосеенко и Иванов, работавшие раньше в Петербурге, участвовавшие в петербургских стачках 1878—79 г.г. и побывшие в ссылке. Они не только придали забастовке организованный характер, но и расширили требования морозовских рабочих до общеклассовых требований: в Никольском рабочие впервые выставили требования законодательного регулирования взаимоотношений фабричного труда и капитала. Рабочие требовали, чтобы условия найма могли изменяться лишь «по изданному государственному» закону и чтобы штрафы налагались также только по закону. Забастовка была подавлена военной силой, рабочие были преданы суду, но все это сделало выступление морозовских рабочих еще более популярным в рабочей среде.

Морозовская стачка имела громадное значение, составив поворотный исторический момент в нашем рабочем движении. Она показала, что выступает общественная сила, которая до того накоплялась где-то в невидимой глубине. Она говорила о том, что рабочая масса не мирится больше с жестокой эксплоатацией, но активно выступает на защиту своих интересов. Она бросила свет на предшествовавшие ей стачки, в которых раньше видели одно «буйство», но которые были стихийным проявлением пробуждения рабочего класса, его первыми попытками сбросить с себя тяжелое ярмо фабричной кабалы. Она двинула дальше забастовочную волну, которая с того времени не затихала, но поднималась все выше и выше.

В мрачные годы реакции 80-х годов, когда все кругом притихло и молчало, рабочий класс как раз приходил в движение. Рабочие волнения—единственная светлая точка на этом темном фоне. Не все замечали эти огоньки, светившие во тьме, но кто их видел и понимал их значение, в том могла крепнуть вера, что недолговечна реакция и что близко возрождение революционной борьбы в новых формах и с новой силой.

2. Эволюция взглядов Плеханова.—Группа „Освобождение Труда".

Реакция 80-х годов в сильнейшей степени отразилась на настроениях интеллигенции. По характеристике историка русской литературы, это были «годы отказа от наследства отцов, терпели-

вого искания новых слов и путей, годы тоски и приниженности и в то же время годы наглого глумления над святыней прежних идеалов». В широких кругах интеллигенции, под впечатлением неудач и разгрома Народной Воли, началось разочарование в революционных методах борьбы и столь же решительно стало преобладать «мирное» настроение, приспособление к сложившимся условиям. Отброшенная от старых идеалов, интеллигенция теряла последние следы социалистической окраски и приобретала все черты ничем не прикрытых мелко-буржуазных настроений. Одни, отказываясь от борьбы, проповедывали «малые дела», служение народу культурной работой; место былого хождения в народ заняло стремление «опроститься», селиться в деревне колониями и жить по образу и подобию крестьянскому, добывая хлеб свой в поте лица своего. Другие увлекались толстовством и его непротивлением злу, считая главнейшей задачей спасение личности праведной жизнью. Третьи спешили развенчать недавних кумиров интеллигенции—Чернышевского, Добролюбова, Писарева, глумились над святыней прежних идеалов, выдвигали новых богов, никем не признанных ни тогда, ни позже. Под этими разного рода формами происходил, в сущности, процесс перехода части народнической интеллигенции в лагерь буржуазии, которой она ревностно служила и идеалы которой она признала своими идеалами.

Намечался перелом в настроении и передовой части учащейся молодежи, принимавшей участие в революционном движении. «Многое делалось как-то вяло, будто по обязанности,—рассказывает один из современников,—люди точно старались, чтобы только не совсем погасла искра, которая могла разгореться лишь со временем, в иную более благоприятную эпоху. Было очень мало самоотверженных деятелей, вполне посвятивших себя делу. Я почти не встречал профессиональных революционеров, не встречал нелегальных. Громадное большинство деятелей были студенты, занимавшиеся, прежде всего, своей наукой, уроками и т. п. и свободное время отдававшие политической деятельности. Почти никто не думал, например, бросить университет для того, чтобы итти в народ и вообще вполне отдаться революции. Все имели в виду по возможности кончить курс и потом жить вполне легально. Те, кому это удавалось, в большинстве случаев уезжали в провинцию и часто совершенно сходили со сцены». Студенчество в массе своей, по словам того же автора, было «слишком подавлено глухой реакцией»: «Студенты того времени,—пишет он,—больше отличались на счет пьянства: празднование годовщины университета стало превращаться в какую-то дикую оргию, после которой участники чуть-ли не на четвереньках расползались по домам, учиняя на улицах разные скандалы. Те, кто не принимали участия в безобразном пьянстве, выглядели какими-то пай-мальчиками или будущими столоначальниками».

Если в широких кругах интеллигенции происходила своего рода дифференциация, перерождение ее в буржуазных либералов или радикалов, то революционные ряды ее переживали не менее глубокий кризис. Здесь мысль страстно искала выхода из тупика, в котором оказалось революционное движение, пыталась так или иначе подойти к пересмотру старых позиций, наметить новые пути и методы работы. Особенно плодотворной и исторически значительной оказалась в этом отношении работа, произведенная небольшой группой чернопередельцев, во главе которой стоял Плеханов, основоположник русской социал-демократии и великий учитель многих последующих поколений социал-демократов.

Мы знаем уже, что в январе 1880 года, спасаясь от неминуемого ареста, уехали за границу Плеханов, Засулич, Дейч и Стефанович, к которым вскоре присоединился Аксельрод. Здесь этой группой, главным образом, Плехановым, начата была работа по пересмотру старых народнических воззрений. Какими же путями шел и дошел Плеханов до социал-демократии?

На этот вопрос напрашиваются, прежде всего, два ответа. Плеханов, еще будучи народником, мог усвоить некоторые стороны Марксова учения, которые ему оставалось лишь развить. С другой стороны, возможно, что, оставаясь в России народником, Плеханов за границей познакомился с сочинениями Маркса и Энгельса, наблюдал европейское рабочее движение и таким образом пришел к социал-демократии. Оба эти предположения не дают однако правдивого ответа. Мы уже говорили о том, что «марксизм» народника и чернопередельца Плеханова шел не от Маркса, а от Бакунина; некоторые стороны учения Маркса Плеханов принимал лишь постольку, поскольку они допускались общим его народническим мировоззрением, и потому они не привносили в воззрения Плеханова ничего *нового*, ничего такого, что требовало бы от него радикального пересмотра народнических позиций и замены их новыми: «марксизм» Плеханова совершенно спокойно уживался со всеми народническими предрассудками. Поэтому Плеханов сам говорил о себе, что в конце семидесятых годов он был «народником до конца ногтей», а на свой «марксизм» того времени смотрел, как на законное наследие Бакунина. С другой стороны, еще до окончательной эмиграции Плеханову приходилось бывать за границей и знакомится с сочинениями Маркса, но социал-демократом он тогда не стал. Напротив, по свидетельству Дейча, после первого своего пребывания за границей Плеханов возвратился еще более ярым народником: «Все мы,—пишет Дейч,—возвращались из этих поездок, повидимому, еще более решительными противниками взглядов и тактики немецких социал-демократов, еще более твердокаменными бакунистами, чем какими мы были раньше». Это и понятно, так как воззрения русских революционеров складывались больше под влиянием русских, чем европейских общественных отношений, и,

сколько бы они не путешествовали по «заграницам», это обстоятельство само по себе не могло поколебать их воззрений.

Сам Плеханов, всякий раз, когда ему приходилось говорить об эволюции своих воззрений, подчеркивал, что «это не было ни развитие, ни сочетание одних только «идей». В частности он возражал против того, что мировоззрение социал-демократов было будто бы сшито из клочков других мировоззрений, раньше существовавших: русская социал-демократия,—писал он,—никогда не была гоголевской невестой, мысленно приставлявшей усы одного из своих многочисленных женихов к носу другого. Прислушаемся поэтому, к тому, что говорил о себе сам Плеханов—это послужит для нас лучшим путеводителем.

Говоря о «наследстве», которое было получено русскими социал-демократами от революционеров 70-х годов, Плеханов писал: «Это наследство было очень важно—и даже совершенно незаменимо—в смысле *практического опыта* (курсив здесь и дальше Плеханова), частью приобретенного нами самими во время нашей *народнической деятельности,* частью завещанного нами социалистами первой половины того десятилетия. Этот опыт лег в основу всей нашей критики старых русских программ и теорий... *За границей только были подведены итоги тому, что было сделано и узнано нами в России.* И во всем нашем проекте программы русских социал-демократов, написанном в 1884 году и напечатанном в 1885 году, нет ни одной строчки, которая не имела бы в виду того или другого «проклятого вопроса» нашей революционной практики и которая не опиралась бы прежде всего на указания этой практики. Но в *теоретическом* отношении семидесятые годы давали нам чрезвычайно мало, так как «наследство» завещанное нам ими, оставляло совершенно незаполненной ту пропасть, которая отделяла «*русский социализм*» бакунистского или лавровского оттенка от *научного социализма* Западной Европы, и которую, однако, необходимо было заполнить, для того чтобы вывести нашу революционную мысль из тупого переулка». В другом месте Плеханов так резюмирует эти свои мысли: «Мы не сшивали своих взглядов из кусочков чужих теорий, а последовательно вывели их из *своего революционного опыта,* освещенного ярким светом учения Маркса».

Таким образом, в основу критики старых теорий был положен революционный опыт; не усвоение той или иной теории, а усвоение уроков этого опыта, или иначе — уроков жизни, в которых сказывался рост капиталистических отношений в стране,— толкали мысль на пересмотр устаревших позиций. Мы видели, что революционный опыт 70-х годов давал много поучительного. Все усложнявшиеся общественные отношения разбивали одну народническую иллюзию за другой. От пропаганды пришлось перейти к агитации, от призыва к немедленному бунту — к длительной его подготовке путем агитации на почве экономических

нужд и требований крестьянства, от отрицания политики — к ее признанию. Сила поистине гениальной мысли Плеханова сказалась в том, что он—не только один из немногих, но и единственный—уже на первых порах своей революционной деятельности подметил то новое, что дает опыт, и в своеобразной обстановке отсталой русской действительности отмечал зародыши новых отношений. В эти годы, когда «герои», а не «толпа», выдвигались вперед и теорией и практикой, Плеханов горячо и до конца отстаивает положение, что освобождение народа должно быть делом самого народа. Он первый, и опять-таки единственный, принял уроки опыта, как они сказались в стачках 1878—79 г.г. и в образовании «Северно-Русского Рабочего Союза», выдвигая, в качестве очередной задачи, агитацию в рабочей массе, вовлечение в борьбу не отдельных рабочих, а всей массы. Когда тот же революционный опыт ставит перед революционной мыслью необходимость признания политической борьбы, Плеханов—и он один, как среди народовольцев, так и чернопередельцев,—не отрывает, как мы сейчас увидим, этого признания от массовой борьбы, народно-революционной самодеятельности. Сделав выводы из заново складывающихся отношений, Плеханов оставался им верным до конца и в те моменты, когда тот же опыт других толкал совсем в иную сторону; провидя тенденцию развития, он допускал также дальнейшее развитие усвоенных им выводов, но не отказ от них. Когда на воронежском с'езде примирение с народовольцами могло быть куплено ценою отказа от работы в народной массе, Плеханов предпочел порвать со старыми товарищами. Возвратившись в Петербург, уже в атмосфере разлагавшегося старого землевольчества, он настаивает на продолжении агитации в крестьянстве и, в особенности, среди городских рабочих.

Конечно, все эти уроки революционного опыта Плеханов принимает с точки зрения утопического социализма. Но и эта точка зрения оставалась только до тех пор, пока ее можно было так или иначе примирить с опытом, пока была надежда на движение вперед. Когда от прежней революционной деятельности в народе не осталось почти ничего, а все силы наиболее активно-революционного отряда всецело были поглощены террором, настало время радикального пересмотра не только всего прошлого опыта, но и самой точки зрения, с которой до того времени этот опыт подвергался оценке. Пребывание за границей, возможность более близкого знакомства с научным социализмом и наблюдения европейского рабочего движения, дали Плеханову только возможность правильно учесть опыт прошлого, ибо лишь при свете научного социализма теряли всю свою обаятельную силу народнические предрассудки и давал свои полезные урок прошлый опыт. Сила гениальной мысли Плеханова сказалась и здесь в том, что он пошел на путь пересмотра, когда другие еще крепко держались за прошлое, и не только

ярким светочем учения Маркса осветил весь прошлый опыт русского революционного движения, но и бросил столь же яркий сноп света далеко, на целые десятилетия вперед.

Однако, все это совершилось не сразу, и в эту «критическую» полосу своей деятельности Плеханов, хотя и быстро, но все же только постепенно приходил к новому мировоззрению. Так, за границей возобновились сношения Плеханова и его товарищей с народовольцами. Это сближение, прежде всего, вызывалось героической борьбой народовольцев и естественным стремлением поддержать их, облегчить им эту борьбу. Поэтому Стефанович уже скоро возвращается в Россию и становится в ряды борющихся, а Дейч склоняется к тому, чтобы примкнуть к народовольцам. Но Плеханова этого только рода соображения не могли удовлетворить. С одной стороны, он уже определенно переходил на точку зрения марксизма, а с другой—он и раньше отвергал террор, предусматривал, что террор приведет к смене лиц, но не к смене системы, а потому, заглядывая вперед, видел необходимость воссоздания революционной партии для борьбы на новых началах. Поэтому Плеханов сближается с народовольцами, соглашается вместе с Лавровым и Тихомировым редактировать общий журнал, не покидая мысли о слиянии, в надежде, однако, как он сам признавался, что народовольцы примут точку зрения марксизма. Эта надежда, разумеется, не имела под собой никаких реальных оснований, и то обстоятельство, что Плеханов, становясь уже марксистом, питал ее, показывает, что он еще не делал всех последовательных выводов из усвоенной им новой точки зрения.

В этом отношении любопытна первая попытка Плеханова восстановить единство «социал-революционной» партии. Это—письмо его в редакцию «Черного Передела», писанное в январе 1880 года. «Социализм есть теоретическое выражение, с точки зрения интересов трудящихся масс, антагонизма и борьбы классов в существующем обществе,—писал Плеханов.—Вытекающая из него практическая задача революционной деятельности заключается в организации рабочего сословия, в указании ему путей и способов его освобождения. Исполнение этой задачи невозможно помимо деятельности не только для народа, но и в *среде* его». Установив это положение, Плеханов утверждает, что низвержение самодержавия еще не устранит важнейших причин порабощения народа. Чтобы достигнуть своего освобождения, «народ должен представлять собою сознательно организованную силу, способную дать отпор эксплоататорам всех исторических формаций, всех фазисов развития страны». Плеханов доказывает далее, что вслед за свержением самодержавия утвердится господство буржуазии, борьба с которой для народа неизбежна. Но чем разрозненнее будут его силы, чем менее он будет подготовлен к пониманию социальных отношений в буржуазном бществе, тем труднее будет борьба его

против новых своих господ, тем долее отсрочена будет его победа. Стало быть, уже теперь нужно возлагать надежду не на «общество», которое состоит в огромном большинстве из эксплоататоров народа, а на народные массы. Приблизить час падения буржуазии «могут только успехи социально-революционной пропаганды, агитации и организации в народе». «Поэтому,—пишет далее Плеханов,—задача «Черного Передела» может считаться оконченною лишь тогда, когда вся русская социалистическая партия признает главною целью своих усилий создание социально-революционной организации в народной среде, причем требование политической свободы войдет как составная часть в общую сумму ближайших требований, пред'явленных этой организацией правительству и высшим классам. Другую часть этих требований составят насущные экономические реформы, в роде изменения податной системы, введения правительственной инспекции на фабриках, сокращения рабочего дня, ограничения женского и детского труда и т. д., и т. д.». Устанавливая эту «неразрывную связь» между экономическими и политическими требованиями, одинаково исходящими из «народной среды», Плеханов выражает надежду, что при «общем признании такой постановки вопроса существующее ныне разделение между русскими социалистами лишается своего основания, и «Ч. П.», как орган одной из фракций, уступит место органу слившейся в одно целое социалистической партии».

Письмо это замечательно во многих отношениях. Плеханов открыто принимает требование политической свободы, но понимает его, во-первых, как требование народа, и, во-вторых, как борьбу, которую ведет сам народ. Выдвигая это требование, он впервые пытается примирить «политику» с «экономикой», политическую борьбу связывает с дальнейшей борьбой за освобождение народа, борьбу за социализм —с борьбой за политическую свободу. Вместе с тем он принимает точку зрения классовой борьбы и на социализм смотрит как на выражение борьбы классов в современном обществе. Все это—новая для Плеханова постановка вопроса. Но она еще далека от сколько-нибудь последовательной социал-демократической точки зрения. Настаивая на том, что народ должен представлять собою сознательно организованную силу, способную дать отпор эксплоататорам, Плеханов писал: «Иначе, на место представителей абсолютной монархии, явятся представители конституционного режима, выразители экономических интересов буржуазии». Выходило, таким образом, что если народ представит собой организованную силу, то за свержением самодержавия не последует господства буржуазии. Хотя в дальнейшем Плеханов указывает, что сочетание выдвигаемых им политических и экономических требований послужит гарантией того, что «предстоящий политический переворот совершится в интересах не одних только высших классов», но характер предстоящего переворота и следующего за ним

пути социального развития России остается в достаточной мере темным. Поэтому же Плеханов все время говорит о «народе», не выдвигая рабочего класса, как ту революционную силу, которая вырастает на почве борьбы классов.

Выступая с такого рода программой, Плеханов питал надежду, что на ней могут сойтись все русские социалисты, т.-е. и народовольцы. Но в своих предположениях Плеханов ошибся. Даже редакция «Черного Передела» в том же номере, в каком было напечатано письмо Плеханова, заявляла о своей полной солидарности с программой «Земли и Воли» и предостерегала партию от излишнего увлечения вопросами чисто политического свойства. Что же касается народовольцев, то, отдавшись целиком политическому террору, они вовсе не склонны были подвергнуть сколько-нибудь основательному пересмотру свои старые позиции.

Продолжительные переговоры Плеханова с народовольцами об общих литературных предприятиях послужили для него новым опытом, из которого он не замедлил сделать соответствующие выводы. В письме к Лаврову (1882 г.) Плеханов пишет, что разногласия его с народовольцами «вовсе уже не так незначительны, как это может показаться». Если до сих пор разногласия не подчеркивались, то, по об'яснению Плеханова, это делалось потому, что «мы надеялись и надеемся мирным путем повернуть «народовольцев» на надлежащую дорогу». Но Плеханов уже начинает сомневаться в том, чтобы такая надежда могла оправдаться. Он указывает, в частности, на разногласия свои с Кравчинским: последний—«что-то в роде прудониста, я—не понимаю Прудона; характеры наши тоже не совсем сходны: он человек, относящийся в высшей степени терпимо ко всем оттенкам социалистической мысли, я готов создать из «Капитала» прокрустово ложе для всех сотрудников «Вестника Народной Воли». Разногласия намечались, таким образом, отчетливо: Плеханов—марксист и требует, чтобы марксистскую точку зрения приняли и те, с кем он готов вступить в соглашение, последние же—остаются на мелко-буржуазной позиции. К этому времени относится первая социал-демократическая работа Плеханова «Социализм и политическая борьба», написанная им сперва для «Вестника Народной Воли».

В этой первой своей работе, как и в несколько раньше написанном предисловии к переводу «Манифеста Коммунистической Партии», Плеханов определенно становится на социал-демократическую точку зрения и—что многим важнее—применяет эту точку зрения к анализу русской действительности и к переоценке народнических взглядов на пути социального развития России. В предисловии к «Манифесту» он указывает на то, что «рациональное отношение наших социалистов к особенностям русского экономического строя возможно лишь при правильном понимании западноевропейского общественного развития», понимание же это требует

усвоения учения Маркса и Энгельса. С другой стороны, «Манифест», по мнению Плеханова, может предостеречь русских социалистов как от отрицательного отношения к политике, так и от забвения будущих интересов партии. Статья «Социализм и политическая борьба» и была посвящена, главным образом, приложению точки зрения марксизма к уяснению отношения «политики» и «экономики», политической борьбы—к социализму. «Угнетенный класс,—писал Плеханов,—лишь постепенно уясняет себе связь между своим *экономическим* положением и своею *политической* ролью в государстве. Долгое время он не понимает во всей ее полноте даже своей экономической задачи. Составляющие его индивидуумы ведут тяжелую борьбу за свое повседневное существование, не задумываясь даже о том, каким сторонам общественной организации обязаны они своим бедственным положением. Они стараются избегать наносимых им ударов, не спрашивая себя, откуда и кем направляются в последнем счете эти удары. В них нет еще классового сознания, в их борьбе против отдельных угнетателей нет никакой руководящей идеи. Угнетенный класс еще не существует *для себя;* он будет современем передовым классом общества, но он еще не *становится* им».

Однако, мало-по-малу «угнетенные начинают сознавать себя классом. Но они еще слишком односторонне понимают особенности своего классового положения: пружины и двигатели общественного механизма в его целом остаются еще скрытыми от их умственных взоров. Класс эксплоататоров представляется им просто совокупностью отдельных предпринимателей, не связанных нитями политической *организации*». На этой ступени развития предполагается, что государственная власть стоит выше борьбы классов, и угнетенный класс, относясь к ней с доверием, приходит в большое удивление, когда просьбы его о помощи остаются без ответа. Только на следующей и последней ступени развития угнетенный класс всесторонне выясняет свое положение. «Он знает, что государство есть крепость, служащая оплотом и защитой его притеснителям, крепость, которою можно и должно овладеть, которую можно и должно перестроить в интересах своей собственной защиты, но невозможно обойти, полагаясь на ее нейтралитет. Расчитывая лишь на самих себя, угнетенные начинают понимать, что «*политическая* самопомощь есть, как говорит Ланге, важнейший из всех видов *социальной* самопомощи. Они стремятся тогда к политическому господству, чтобы помочь себе путем изменения существующих социальных отношений и приспособления общественного строя к условиям своего собственного развития и благосостояния». Разумеется, угнетенный класс не сразу приходит к господству; он долго добивается сперва уступок, реформ. «Только пройдя суровую школу борьбы за отдельные клочки неприятельской территории, угнетенный класс приобретает настойчивость, смелость и развитие, необ-

ходимые для решительной борьбы. Но раз приобретя эти качества, он может смотреть на своих противников, как на класс, окончательно осужденный историей; он может уже не сомневаться в своей победе. Так называемая революция есть только последний акт в длинной драме революционной классовой борьбы, которая становится сознательной лишь постольку, поскольку она делается борьбой *политической*».

Так, вслед за Марксом, Плеханов усвоил разрешение вопроса об отношении «политики» к «экономике», над которым билась русская революционная мысль со времен Герцена. Это был настоящий переворот в народническим мировоззрении, которое не принимало точки зрения классовой борьбы, и потому не видело, что всякая классовая борьба есть борьба политическая. Разрушение одного из основных предрассудков народничества неизбежно вело за собою разрушение и других. Плеханов подвергает суровой критике все программные и тактические положения народничества и народовольчества. «Русские революционеры,—приходит он к заключению, — должны стать на точку зрения социальной демократии Запада и разорвать свою связь с «*буржуазными*» *теориями* так же, как они уже несколько лет тому назад отказались от «бунтарской» *практики*, вводя новый, *политический* элемент в свою программу. Сделать это им будет не трудно, если они постараются усвоить правильный взгляд на политическую сторону учения Маркса, и захотят подвергнуть пересмотру приемы и ближайшие задачи своей борьбы, прилагая к ним этот новый критерий». С этой точки зрения Плеханов отвергает и то понимание захвата власти, в какой его принимали народовольцы. По его мнению, захват власти является последним и совершенно необходимым выводом из политической борьбы, котрую ведет на известной ступени своего развития, пролетариат: «Достигший политического господства революционный класс только тогда и сохранит за собой это господство, только тогда и будет в совершенной безопасности от ударов реакции, когда он направит против нее могучее орудие государственной власти». Но—утверждает Плеханов,—«диктатура класса, как небо от земли, далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев». «Это, в особенности, можно сказать о диктатуре рабочего класса, задачей которого является в настоящее время не только разрушение политического господства непроизводительных классов общества, но и устранение существующей ныне анархии производства». «Одна мысль о том,—продолжает Плеханов,—что социальный вопрос может быть на практике разрешен кем-либо, помимо самих рабочих, указывает на полное непонимание этого вопроса, без всякого отношения к тому, держится ли ее «железный канцлер» или революционная организация... До тех пор, пока рабочий класс не развился еще до решения своей великой исторической задачи, обязанность его сторонников заклю-

чается в ускорении процесса его развития, в устранении препятствий, мешающих росту его сил и сознания, а не в проделывании социальных экспериментов и вивисекций, исход которых всегда более чем сомнителен».

В последних словах заключается и ответ на то, что должны делать социалисты в России. «Единственною не фантастическою целью русских социалистов,—писал Плеханов,—может быть теперь только завоевание свободных политических учреждений, с одной стороны, и выработка элементов для образования будущей *рабочей социалистической партии* России—с другой». В своей политической борьбе социалист должен «надеяться прежде всего на рабочий класс». Социалистическая интеллигенция «должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов, должна подготовить его к самостоятельной роли в общественной жизни России. Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы в первый же период конституционной жизни России наш рабочий класс мог выступить в качестве особой партии с определенной социально-политической программой».

Само собой разумеется, что, при такой постановке вопроса, Плеханов считал утопической надежду на то, что политическая революция совпадет в России с социалистической. «Связывать в одно два таких существенно-различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития *совпадут* в истории нашего отечества—*значит отдалять наступление и того и другого*. Но от нас зависит *сблизить эти два момента*». «Современное положение буржуазных обществ и влияние международных отношений на социальное развитие каждой цивилизованной страны,—поясняет Плеханов последнюю мысль,—дают право надеяться, что социальное освобождение русского рабочего класса последует очень скоро за падением абсолютизма. Если немецкая буржуазия «*пришла слишком поздно*», то русская запоздала еще больше, и господство ее не может быть продолжительным. Нужно только, чтобы русские революционеры, в свою очередь, не «слишком поздно» начали дело подготовки рабочего класса, дело, теперь уже ставшее вполне современным и насущным».

Столь же решительно расходится Плеханов с народниками во взглядах на работу среди крестьянства. Он не отрицает возможности отдельных случаев пропаганды и агитации в крестьянстве, но настаивает на том, что главная задача состоит в работе среди фабричного пролетариата, воздействие же на крестьянство будет плодотворным лишь тогда, когда рабочий класс организуется в самостоятельную партию. «Промышленные рабочие,—пишет он,—обладающие большим развитием, более высокими потребностями и более

широким кругозором, примкнут к нашей революционной интеллигенции в ее борьбе с абсолютизмом и затем, добившись политической свободы, организуются в рабочую социалистическую партию, которая и должна будет начать систематическую пропаганду социализма в среде крестьянства».

Как видит читатель, статья Плеханова переворачивала вверх дном все программно-тактические положения народничества, и вполне естественно, что Тихомиров соглашался дать ей место в «Вестнике Народной Воли» лишь с редакционным примечанием, которое должно было позволить редакции отмежеваться от Плеханова. Народовольцы вообще не были так наивны, как предполагал Плеханов, и не только не были склонны отказаться от своей точки зрения, но и допустить сколько-нибудь сильного влияния Плеханова и его товарищей на народовольческую организацию. Поэтому они соглашались принять в свою среду лишь отдельных лиц, но не всю группу бывших чернопередельцев, а это сделало отношения еще более натянутыми. В конце концов переговоры о слиянии были прерваны, и каждая из сторон пошла своей дорогой. 25 сентября 1883 г. бывшие члены группы «Черного Передела» об'явили, что, «изменяя ныне свою программу в смысле борьбы с абсолютизмом и организации русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политической программой», они образуют «новую группу «Освобождение Труда» и окончательно разрывают со старыми анархическими тенденциями». В эту первую русскую социал-демократическую организацию вошли: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч и Игнатов.

Группа «Освобождение Труда» развила широкую деятельность по пропаганде социал-демократических взглядов. Вслед за брошюрой «Социализм и политическая борьба» она издала большую работу Плеханова «Наши разногласия», посвященную, главным образом, анализу социально-экономической эволюции России. На основании богатого для того времени материала, Плеханов доказал, что община разлагается, кустарные промыслы разрушаются, что происходит процесс пролетаризации крестьянства, с одной стороны, и развития капиталистических отношений с ростом рабочего класса, с другой, что, словом, Россия пошла не какими-то «самобытными» путями развития, а теми же путями, какими шли другие цивилизованные народы. Не следует думать, что все слова, сказанные Плехановым, были новыми: и до него в нашей литературе—либеральной и народнической—некоторыми констатировался рост капитализма и разложение общины. Заслуга Плеханова состояла не только в том, что он показал картину развития капитализма в целом и обосновал ее на богатом материале, но, главным образом, в том, что он установил тенденцию неизбежного дальнейшего развития капиталистических отношений и связанные с ними изменения всех социальных отношений, на основе которых начинает обостряться классовая борьба и в первую очередь революционизируется рабочий класс.

Задача, которая стояла теперь перед группой «Освобождение Труда», заключалась не только в том, чтобы установить общие положения. Поставив целью борьбу с самодержавием и организацию русского рабочего класса в особую партию, нужно было наметить программные и тактические линии, или иначе—общие положения марксизма применить к данной российской обстановке. В этом отношении взгляды Плеханова, а за ним и всей группы, не сразу определились с должной отчетливостью и последовательностью. Мы лучше всего уясним себе это, если сравним две первых программы группы «Освобождение Труда», из которых одна была составлена в 1883 г., а другая в 1885 г.

Прежде всего следует отметить, что первая программа не совсем отчетливо выдвигает ту роль, какую призван сыграть рабочий класс в деле борьбы за политическую свободу. Народнические пережитки сохранялись в ней в том отношении, что она склонна была в центре движения ставить «социалистическую интеллигенцию» и на нее возлагать особенные надежды. Указав на то, что социальная отсталость России приводит в неразвитому состоянию буржуазии, которая неспособна взять на себя инициативу борьбы с самодержавием, программа говорила: «Социалистической интеллигенции пришлось поэтому стать во главе современного освободительного движения, прямой задачей которого должно быть создание свободных политических учреждений в нашем отечестве, причем социалисты, со своей стороны, должны стараться доставить рабочему классу возможность активного и плодотворного участия в будущей политической жизни России». Таким образом, главной активной силой революционного движения программа считала социалистическую интеллигенцию; возможность участия в будущей политической жизни России должен завоевать себе не сам рабочий класс, но эту возможность должна «доставить» ему интеллигенция. Правда, в дальнейшем программа возлагает на социалистическую интеллигенцию также «обязанность организации рабочих и посильной подготовки их к борьбе, как с современной правительственной системой, так и с будущими буржуазными партиями», но все же эти два положения остаются между собою несвязанными и, в конце концов, трудно сказать, как представляла себе программа роль в борьбе с самодержавием социалистической интеллигенции и рабочего класса. Эта неясность выступает особенно отчетливо при сопоставлении первой программы со второй. Программа 1885 г. о «социалистической интеллигенции» не говорит, но вполне определенно выдвигает в качестве революционной силы рабочий класс. «В лице этого класса,—говорит программа,—народ наш впервые попадает в экономические условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только через посредство этого класса он может принять участие в передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом основании русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязан-

ностью образование революционной рабочей партии». Но борьба с самодержавием должна составить уже теперь задачу рабочего класса. Борьба эта «обязательна даже для тех рабочих кружков, которые представляют собою теперь зачатки будущей русской рабочей партии, — заявляет программа.—Низвержение абсолютизма должно быть их первой политической задачей. Главным средством политической борьбы рабочих кружков против абсолютизма русские социал-демократы считают агитацию в среде рабочего класса и дальнейшее распространение в нем социалистических идей и революционных организаций. Тесно связанные между собой в одно стройное целое, организации эти, не довольствуясь частными столкновениями с правительством, не замедлят перейти в удобный момент к общему на него нападению». Таким образом, вторая программа, в отличие от первой, в центре революционной борьбы с самодержавием ставит не «социалистическую интеллигенцию», а рабочий класс, который, через рабочие кружки, сплачивается в рабочие революционные организации.

В качестве другого народнического пережитка, первая программа сохраняла признание террора. Группа «Освобождение Труда» «признает необходимость террористической борьбы против абсолютного правительства и расходится с партией Народной Воли лишь по вопросу о так называемом захвате власти революционной партией и о задачах непосредственной деятельности социалистов в среде рабочего класса», заявляла программа 1883 г. Иначе говоря, группа «Освобождение Труда» полностью принимала народовольческую точку зрения на террор. Программа 1885 г. предусматривала, что рабочие революционные организации в своей борьбе с правительством «не остановятся и перед так называемыми террористическими действиями, если это окажется нужным в интересах борьбы». Впоследствии Плеханов писал, что, признавая террор, он имел в виду социалистическую интеллигенцию, которая только к этому способу борьбы была склонна. Плеханов, по его словам, обращался «к тому большинству, которое свысока смотрело на «занятия с рабочими» и видело в «терроре» самый верный прием борьбы с царизмом. «Я прекрасно знал,—писал Плеханов,—что это большинство, взятое в его целом, никогда не перейдет на точку зрения пролетариата, и что, поэтому, если бы оно отказалось от увлечения террором — на что расчитывать тоже тогда было совершенно невозможно,—то оно сосредоточило бы свою деятельность на совершенно уже бесплодных попытках «захватить власть». При таком их настроении нельзя было не считать «террор наиболее производительной затратой сил этой части нашей тогдашней «социалистической» партии». Из этих об'яснений Плеханова, однако, видно, что, составляя программу для *социал-демократической* партии, он считался с предрассудками *народовольческой интеллигенции* и тем самым отдавал дань этим предрассудкам.

Сохранился в первой программе (1883 г.) и примитивный взгляд на революционную роль крестьянства. Программа заявляла, что группа «Освобождение Труда» не игнорирует крестьянства, но полагает, что при современных условиях работа интеллигенции должна быть направлена, прежде всего, на более развитой слой, каким являются рабочие, с тем, что когда интеллигенция заручится поддержкой рабочих, она сможет распространить свое влияние и на крестьянство. При этом программа допускала, что такое распределение сил социалистов должно будет измениться, если в крестьянстве обнаружится самостоятельное революционное движение. Программа 1885 г. вместо такого упрощенного понимания выдвигает анализ социально-экономической эволюции крестьянства в условиях развивающихся капиталистических отношений. «Патриархальные общинные формы крестьянского землевладения,—говорится в программе,—быстро разлагаются, община превращается в простое средство закрепощения государству крестьянского населения, а во многих местностях она служит также орудием эксплоатации бедных общинников богатыми. В то же время, приурочивая к земле интересы огромной части производителей, она препятствует их умственному и политическому развитию, ограничивая их кругозор узкими пределами деревенских традиций. Русское революционное движение, торжество которого послужило бы прежде всего на пользу крестьянству, почти не встречает в нем ни поддержки, ни понимания. Главнейшая опора абсолютизма заключается именно в политическом безразличии, умственной отсталости крестьянства». Такой анализ не предрасполагал, конечно, к тому, чтобы в каком бы то ни было смысле ставить работу среди крестьянства на-ряду с работой среди пролетариата.

Не останавливаясь на других пережитках программы—к ним относится, между прочим, требование государственной помощи производительным ассоциациям рабочих и крестьян, требование, позаимствованное у Лассаля,—отметим, что вторая программа (1885 г.) вообще выгодно отличается от первой, как общей своей частью, дающей анализ движущих сил революции, так и некоторыми отдельными своими положениями. «Теперь уже можно предвидеть международный характер предстоящей экономической революции,—говорится в программе.—При современном развитии международного обмена, упрочение этой революции возможно лишь при участии в ней всех или, по крайней мере, нескольких цивилизованных обществ». Этим провозглашается международный характер пролетарской революции. Вместе с тем, программа определенно принимала точку зрения диктатуры пролетариата: «Так как освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих, так как интересы труда, в общем, диаметрально противоположны интересам эксплоататоров, и так как, поэтому, высшие классы всегда будут препятствовать указанному переустройству общественных отношений—то неизбеж-

ным предварительным его условием является захват рабочим классом политической власти в каждой из соответствующих стран. Только это временное господство рабочего класса может парализовать усилия контр-революционеров и положить конец существованию классов и их борьбе».

Мы видим, таким образом, что взгляды Плеханова и группы «Освобождение Труда» не сразу сложились в стройное социал-демократическое учение и положения последнего воспринимались с некоторой постепенностью. Мы упоминали уже, что уклонения эти Плеханов считал уступками, на которые он шел в надежде, что народовольцы воспримут точку зрения марксизма. Не подлежит сомнению, что уступки, и при том весьма существенные, делались. Но были ли это только уступки? Уже после прекращения переговоров с народовольцами, в составленном Плехановым заявлении об издании «Библиотеки современного социализма», которое было вместе с тем заявлением об образовании группы «Освобождение Труда», все разногласия с Народной Волей сводились к вопросу о так называемом «захвате власти», а также к некоторым практическим приемам тактики революционной деятельности, вытекающей из этого пункта программы. «Обе группы,—говорилось в заявлении,—имеют, однако, теперь так много общего, что могут действовать, в огромном большинстве случаев, рядом, пополняя и поддерживая друг друга». Какая же была необходимость уменьшить значение разногласий, когда уже последовал разрыв и, казалось, никаких надежд не оставалось на возможность соглашения? Очевидно, здесь были не только уступки. Об этом писал и сам Плеханов в предисловии к «Нашим разногласиям»: «Дело в том, что ни я, ни мои товарищи, не имеем пока окончательно выработанной и законченной от первого до последнего параграфа программы. Мы только указываем нашим товарищам *направление*, в котором нужно искать решения интересных им революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибочный критерий, с помощью которого они могут, наконец, сорвать с себя лохмотья революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами; мы только доказываем, что наше революционное движение не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами и новая высшая точка зрения примирит все существующие у нас фракции». На первые свои работы Плеханов сам смотрел, как на «первый опыт применения данной научной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений», и потому допускал, что вырабатываемая им программа заключает в себе много недостатков. Так оно и было в действительности. Плеханов не только указывал другим, но и сам усвоил сперва общий критерий, каким служило учение Маркса. Применение же этого критерия к анализу сложных общественных отношений, в особенности, русских, дава-

лось не сразу. Плеханову приходилось самому преодолевать в себе старые народнические предрассудки, и, поскольку последние еще сохранялись, постольку он считал возможным итти на уступки и сохранял надежду на соглашение с народовольцами.

Надежда эта скоро рухнула, и, освободившись от иллюзий, Плеханов в первые же годы нового периода своей деятельности, дал блестящий анализ многих сторон, действительно, чрезвычайно сложных и запутанных общественных отношений в России. К началу 90-х годов не только вконец разрушено народническое учение, но и созданы все элементы социал-демократической программы и тактики, созданы, главным образом, Плехановым, при содействии, в особенности, Аксельрода. Мы не станем здесь излагать всего того богатства, которое внес уже в эти годы Плеханов в сокровищницу русской социал-демократической мысли — сочинения Плеханова каждый должен прочесть в подлиннике, не довольствуясь знакомством с ними со вторых рук. Мы остановимся только на некоторых его мыслях, высказанных им в то время, поскольку это необходимо для понимания последующих судеб нашего революционного движения, с которым имя Плеханова связано так же неразрывно, как с разработкой основных проблем марксизма.

Русскому рабочему классу и рабочему движению в России Плеханов придавал чрезвычайное историческое значение. «В нашем отечестве образование этого класса имеет еще большее значение,—писал Плеханов в 1889 г.—С его появлением изменяется самый характер русской культуры, исчезает наш старый, *азиатский* экономический быт, уступая место новому, *европейскому*. Рабочему классу суждено завершить у нас великое дело Петра: довести до конца процесс европеизации России. Но рабочий класс придаст совершенно новый характер этому делу, от которого зависит самое существование России, как цивилизованной страны. Начатое когда-то сверху, железной волей самого *деспотичного* из русских *деспотов*, она будет закончена *снизу*, путем *освободительного* движения самого *революционного* из всех классов, какие только знала история... В лице рабочего класса в России создается теперь *народ* в европейском смысле этого слова. В его лице трудящееся население нашего отечества впервые встает во весь рост и позовет к ответу своих палачей. Тогда пробьет час русского самодержавия». К этой исключительной роли рабочего класса, призванного дать торжество революционному движению и европеизировать Россию, Плеханов возвращался много раз. «Политическая свобода будет завоевана рабочим классом, или ее совсем не будет»,—писал он в 1888 году. И ту же мысль он высказал в известной речи на международном рабочем конгрессе в Париже летом 1889 года: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционое движение рабочих. Другого исхода у нас нет и быть не может!»

В такой перспективе рабочего движения роль революционной

интеллигенции может определиться лишь в зависимости от того, как отнесется она к борьбе рабочего класса. «В общем ходе русской истории этот слой,—писал Плеханов об интеллигенции,—был слоем «лишних людей». Он весь представлял собою какую-то «умную ненужность», как выразился Герцен о некоторых из принадлежавших к нему разновидностей. С разрушением старой экономической основы русских общественных отношений, с появлением у нас рабочего класса, дело изменяется. Идя в рабочую среду, неся науку к работникам, пробуждая классовое сознание пролетария, наши революционеры из «интеллигенции» могут стать могучим фактором общественного развития—они, которые нередко в полном отчаянии опускали руки, напрасно меняя программу за программой, как безнадежный больной напрасно бросается от одного медицинского снадобья к другому. Именно в среде пролетариата русские революционеры найдут себе ту «*народную*» поддержку, которой у них не было до последнего времени. *Сила* рабочего класса спасет русскую «революцию» от *обессиления*». «Движение, ограниченное тесными пределами интеллигенции,—писал Плеханов в 1890 г.,—ни в каком случае не может быть названо социалистическим. Оно способно служить только преддверием и предвестием настоящего социалистического движения, т.-е. *движения рабочих.* Забывши эту простую истину, наша революционная интеллигенция, какими бы кличками она ни тешила свое самолюбие, на деле тотчас же перестала бы быть социалистической и превратилась бы в левое крыло либеральной буржуазии».

Исключительная роль, которую отводил Плеханов рабочему классу в деле борьбы за политическое раскрепощение России, позволяла ему не преувеличивать значения нашей буржуазии в ходе революционной борьбы. Мы уже приводили мнение, высказанное в брошюре «Социализм и политическая борьба», что «социальное освобождение русского рабочего класса последует очень скоро за падением абсолютизма». Об этом же Плеханов писал и в «Наших разногласиях»: «Не только развитие русского капитализма не может быть так же медленно, как было оно, например, в Англии, но и самое существование его не может иметь такой продолжительности, какая выпала на его долю «в западно-европейских странах». Наш капитализм отцветет, не успевши *окончательно* расцвесть, за что ручается нам могучее влияние международных отношений». Отсюда Плеханов между прочим, делал тот вывод, что и в предварительной борьбе за политическую свободу рабочий класс должен рассчитывать, главным образом, на свои силы. «Мы не можем расчитывать на прочную поддержку буржуазии,—писал он в 1890 г.—Если немецкая буржуазия, как выражается Энгельс, поздно пришла, то русская буржуазия еще более опоздала. Кроме буржуазии и пролетариата мы не видим других общественных сил, на которые могли бы у нас опираться оппозиционные или революционные комбинации». Но на дви-

жение либеральной буржуазии Плеханов возлагал в те годы слабые надежды. «Уже теперь,—писал он в 1891 г.,—при всем разнообразии революционных взглядов, ясно, что только два направления могут у нас расчитывать на будущее: либеральное и социал-демократическое». Каковы могут быть шансы либерального направления? «Опираясь на народ и преимущественно на рабочее население крупных центров,—отвечал Плеханов—либеральные члены общества приобрели бы огромную силу, без поддержки же рабочего населения они все равно, что несколько нулей без единиц впереди: ничтожество, полнейшее ничто. И наши либералы даже и не задумываются о необходимости выйти из своего ничтожества, у них нет даже и помышления о распространении своих политических взглядов в народе. Можно ли расчитывать на таких людей? Помилуйте, да ведь они сами никогда на себя не расчитывали!» Но, допуская, что либеральная буржуазия может стать силой, если будет опираться на «рабочее население», Плеханов, конечно, ни на минуту не допускал мысли, что борьба рабочих будет происходить под руководством либералов. Напротив, мы видели, что руководящую роль в борьбе с самодержавием он отводит рабочему классу, а в соответствии с этим полагает, что, если либералы хотят бороться за политическую свободу, то они должны «пристать к социалистам», т.-е. поддерживать борьбу рабочего класса. Социалисты, с своей стороны, подобно немецким коммунистам 40-х годов, должны поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. «Но—добавляет Плеханов,—ни одно из них, какие бы размеры оно ни приняло, не заставит нас спрятать свое собственное знамя. И лишь в той мере будем мы реальными и сильными союзниками других, более или менее революционных партий, в какой сумеем распространить среди русского пролетариата наши социал-демократические идеи». Отсюда настоятельная необходимость при поддержке всякого революционного или оппозиционного движения сохранить полную самостоятельность рабочей партии. «Самая первая, самая настоящая, в то же время самая очевидная и самая бесспорная из всех ближайших задач русских социалистов—писал Плеханов в 1889 г.,—заключается в поддержании своего существования, как особой социалистической партии, рядом с другими либеральными партиями, образующимися или имеющими образоваться для борьбы с абсолютизмом».

Намечая складывающиеся отношения общественных классов в их борьбе со старым порядком, Плеханов доказывал, что наличные социал-демократические силы должны перейти от усвоения революционной Марксовой идеи к революционной практике и, вместе с тем, устанавливал основные вехи предстоящей работы. «Несколько лет тому назад,—писал Плеханов в 1890 г.,—ближайшей и важнейшей задачей русских социалистов являлись теоретическая выработка и распространение их взглядов в среде революционеров-

идеологов. Теперь эта предварительная работа может считаться законченною. Теперь русские социал-демократы уже могут и должны взяться за практическую деятельность в среде рабочих. Почва для нашей деятельности достаточно подготовлена историей, нам нужно лишь энергически взяться за ее возделывание». Как же и в каком направлении должна вестись работа? Основной путь, который ведет социалистов к их великой цели—содействие росту классового сознания пролетариата. «Кто содействует росту этого сознания, тот социалист,—пишет Плеханов,—кто мешает ему, тот враг социализма». «Содействовать росту классового сознания пролетариата—значит ковать оружие, наиболее опасное для существующего строя». Пропагандируя с особенной настойчивостью эти мысли, Плеханов имел в виду не только указать единственно правильный путь к завоеванию политической свободы, но и предохранить русскую социал-демократию от уклонения в сторону от классовой чистоты и последовательности пролетарской политики. «Нам, русским социалистам,—писал он,—нужно найти такой способ действия, держась которого мы, во-первых, ни на минуту не переставали бы способствовать росту классового сознания пролетариата, т. е. быть социалистами, а во-вторых, скорее победили бы царизм». И Плеханов с уверенностью утверждает, что «никакой другой способ не приведет так скоро к победе над абсолютизмом, как именно тот, который соединяет в себе, связывает в одно неразрывное целое борьбу за политическую свободу с содействием росту классового сознания пролетариата». Но так широко понимаемая задача не может быть разрешена социалистической пропагандой в кружках: необходимо содействовать росту классового сознания не отдельных рабочих, а всего рабочего класса. «Пока «спропагандированные» нами *личности* не имеют прямого революционого влияния на *массу*, они являются ее руководителями только в *возможности*,—пишет Плеханов.—Чтобы стать *действительными* ее руководителями, они должны влиять на нее в революционном смысле». А это значит, что в права свои должна вступить не только пропаганда, но и агитация в массе. «Чем натянутее становится положение, чем более шатается старое общественное здание, чем быстрее приближается революция, тем важнее становится агитация. Ей принадлежит главная роль в драме, называемой общественным переворотом». Отсюда следует, что «если русские социалисты хотят сыграть деятельную роль в предстоящей русской революции, они должны уметь быть агитаторами».

К агитации надо готовиться, и самое главное в этой политике—создание революционной организации, «сплочение уже готовых революционных сил». Если кружковой пропагандой еще могут заниматься люди, ничем между собой не связанные, то в эпохи общественного возбуждения «только организованные общественные силы могут иметь серьезное влияние на ход событий, отдель-

ная личность становится тогда бессильной, революционное дело оказывается по плечу только единицам высшего порядка *революционным организациям*» «Организация, — пишет Плеханов, — это первый и неизбежный шаг. Как бы ни были незначительны готовые революционные силы современной России, они сразу удесятеряются, благодаря организации. Сосчитав свои силы и распределив их как следует, революционеры принимаются за дело. Там, где масса еще не созрела для понимания их проповеди, они дают ей, так сказать, предметные уроки. Они являются всюду, где она протестует, они протестуют вместе с нею, они уясняют ей смысл ее собственного движения и тем увеличивают ее революционную подготовку». Куда же и как вести массу? Плеханов набрасывает отчетливую основную линию: «Не довольствоваться никакими уступками со стороны высших классов; всегда ставить перед народом максимум тех революционных требований, до которых он дорос в настоящее время; неустанно вести его вперед и вперед на завоевание неприятельской территории; не класть меча в ножны до тех пор, пока она не будет занята вся до последней пяди,—что может быть определеннее такой программы?... Коротко, решительно и ясно указывается в ней не только окончательная цель — *полное экономическое освобождение трудящихся*, но и ведущее к ней средство—*непрерывная и непримиримая борьба классов*. Партия усвоившая эту программу не потеряется ни при каких обстоятельствах: она всегда сумеет формулировать соответствующие данной минуте экономические требования, а главное, она никогда не даст массе успокоиться на этих требованиях, она научит ее ставить новые, все более и более широкие требования, она заразит ее духом борьбы, духом революции...»

К началу 90-х годов Плеханов и его товарищи по группе «Освобождение Труда» установили основные программы и тактические положения революционной социал-демократии. Народничество покоилось на вере в «самобытные» пути развития России, избавляющие ее от необходимости пройти через капиталистическую стадию развития и ведущие ее к социализму через крестьянскую общину. Основоположники русской социал-демократии, и среди них в первую очередь Плеханов, доказывали, что Россия уже вступила на путь капиталистического развития, что революционная партия, если она не желает быть мертворожденной, должна считаться с неизбежностью дальнейшего развития капитализма и возлагать свои надежды не на разлагающуюся общину, а на пролетариат, рост которого связан с ростом капиталистических отношений. Народничество не принимало точки зрения борьбы классов и потому пути грядущей революции рисовались ему в утопическом очертании—то крестьянского восстания, дающего торжество «народным идеалам», то захвата власти революционной партией, декретирующей социализм. Наши первые социал-демократы твердо

стали на точку зрения классовой борьбы, пути революции видели в непрерывной и непримиримой борьбе самого революционного из классов—рабочего класса, которому принадлежит руководящая роль в борьбе с самодержавием, а затем в борьбе за окончательное освобождение трудящихся. Народники не были в состоянии примирить борьбу за социализм с борьбой за политическую свободу, они думали, что борьба за социализм несовместима с борьбой за свободу, так как свобода послужит только на руку буржуазии. Социал-демократия признала, что борьба за социализм не только не противоречит борьбе за политическую свободу, но, напротив, необходимо ее предполагает, так как только в свободных политических условиях и в непрестанной политической борьбе со своими классовыми врагами пролетариат может развить свою силу и сознание в такой мере, в какой это необходимо для низвержения буржуазного порядка и социалистического переустройства общества Народовольчество, став на путь политической борьбы, выдвинуло идею захвата власти партией, диктатуру партии, Плеханов, вслед за Марксом, этой утопической идее противопоставил захват власти рабочим классом, диктатуру пролетариата. Народовольцы в своей политической борьбе апеллировали к «обществу», готовы были вступить на путь соглашения с либералами, а затем опустились до политиканства, примеры которого мы приводили выше. Социал-демократия, правильно оценив соотношение сил в борьбе с самодержавием, готова была поддержать всякое движение против абсолютизма, но в то же время настаивала на том, что рабочий класс не должен забывать о своей основной задаче—борьбе за социализм—и потому должен сохранить самостоятельность своей классовой политики, а партия его не только не должна сливаться с другими партиями, но должна оставить за собой руководство освободительной борьбой. Народники смотрели на работу среди пролетариата, как на подсобную, подчиненную работе среди крестьянства. Социал-демократия в основу своей революционной деятельности ставила пробуждение классового сознания пролетариата и его организацию. Принимая от народничества традиции кружковой пропаганды, Плеханов и Аксельрод уже к концу 80-х годов выдвигают задачу массовой агитации, сплочения наличных революционных сил, создания революционных организаций, приспособленных к задачам революционной агитации и к задаче образования рабочей партии.

Этот радикальный переворот в революционных воззрениях составляет тем большую историческую заслугу Плеханова и его товарищей, что он был произведен в то время, когда над умами революционной интеллигенции еще всецело господствовало народническое учение. Проповедь наших первых социал-демократов была встречена насмешкой и злобой. Плеханов рассказывает, что, прочитав «Наши разногласия», один из видных народников принял его

за человека, продавшегося царскому правительству. И этот наивный народник, конечно, не составлял печального исключения. Революционная мысль медленно сдвигалась с мертвой точки и оставалась во власти старых предрассудков еще и тогда, когда рядом с нею расцветало и крепло новое учение. Наши первые социал-демократы не смущались этим, шли своей дорогой, бросая в упорные головы все новые и новые идеи, близкое торжество которых было обеспечено глубоким внутренним процессом социального перерождения России. И уже в это первое десятилетие своего существования социал-демократия дала рабочему классу то знамя, с которым он мог уверенно итти к победе.

3. Социал-демократические кружки в России 80-х годов.

Если группа «Освобождение Труда», во главе с Плехановым, за десятилетие 80-х годов проделала громадную теоретическую работу, то о революционных кружках в России этого отнюдь сказать нельзя—здесь революционная мысль подвигалась вперед чрезвычайно медленно. Этому не нужно удивляться. Мы видели, что даже Плеханову приходилось постепенно приходить к окончательному и последовательному усвоению научного социализма,—конечно, еще более трудным должен был быть путь для тех, кто не обладал данными и возможностями, которые были в распоряжении основоположников российской социал-демократии. Первым социал-демократическим кружкам в России приходилось зарождаться в обстановке не только общественной реакции и апатии, но и в полном, так сказать, народническом окружении, преодолеть которое было не всегда легко, в особенности, поскольку все еще слабое рабочее движение не давало толчка энергичной и смелой работе мысли.

Народная Воля умирала и попытки воскресить ее закончились неудачей. Мы уже говорили о Германе Лопатине, который пытался восстановить народовольческую организацию, но сам был арестован и увлек за собою многих других. В 1887 г. группа народовольцев во главе с А. И. Ульяновым, братом В. И. Ленина, подготовляла покушение на жизнь Александра III. По свидетельству Ольминского, террористическое настроение этих лет не может быть названо иначе, как настроением отчаяния. Идея террора носилась в воздухе, смысл его резюмировался словами: «Лучше погибнуть на эшафоте, чем влачить нынешнее существование. Авось, хоть наша смерть встряхнет общество». «Мужество людей в роде Ульянова и его товарищей,—писал Плеханов в 1890 году,—напоминает нам мужество древних стоиков: вы видите, что при данных взглядах на вещи, при данных обстоятельствах и при данной высоте своего нравственного развития, эти люди не могли действовать иначе. Но вы видите в то же время, что их безвременная гибель

способна лишь оттенить бессилие и дряхлость окружающего их общества, что их мужество есть мужество отчаяния».

Тщетны были и попытки сохранить цельность народовольческой идеологии. В этом отношении царил полный разброд, который свидетельствовал о том, что Народная Воля окончательно теряет под собой почву. Выходивший после разрыва с Плехановым под редакцией Лаврова и Тихомирова, «Вестник Народной Воли», воскрешал идеи захвата власти, «самобытных» путей развития России и социалистической революции по инициативе революционного правительства, но в условиях распада народнического движения такая постановка вопроса вызывала возражения в среде самих же народовольцев. Образовавшаяся в конце 1883 г. группа молодых народовольцев (молодая партия «Народной Воли») доказывала, что нужно вести одновременно социалистическую пропаганду и политическую борьбу, разумея под последней политический террор и подкрепляя первую фабричным и аграрным террором. В 1885 г. Оржику удалось создать народовольческую группу и выпустить даже отпечатанный в нелегальной типографии номер «Народной Воли», заняв особую позицию. «Нападки социалистов на западно-европейские конституционные учреждения,—писала «Народная Воля»,—и проповедь всемирной социальной революции была одной из важнейших причин, почему вопрос о политической свободе стыдливо игнорировался в надежде непосредственною пропагандой в народе добиться социального и политического переворота одновременно. Жизнь разбила надежду самым беспощадным бразом». В противоположность другим, группа Оржика полагала, что социалистический переворот не произойдет непосредственно за политическим и наступит еще длительный период организации и пропаганды в рабочем классе.

В таких условиях разброда мысли уцелела лишь одна кружковая работа среди рабочих. То там, то здесь возникают небольшие группы, которые продолжают занятия с рабочими, не порывают связи с рабочей средой, несут в нее свет знания и социалистической пропаганды. Но и здесь царит какая-то трагическая немощь мысли. Уцелевшие одиночки и группы точно боятся поднять основные вопросы современности и миросозерцания, чтобы совсем не потерять под собой почвы, и крепко держаться за практическое дело, которое одно давало удовлетворение. «Мы были практики,—рассказывает Голубев,—и даже сознательно уклонялись от обсуждения программных и теоретических вопросов, не видя возможности решить такие, напр., из них, как вопрос об общине, о судьбах капитализма, об отношении к крестьянству и т. п... В стремлении делать практическое дело, мы доходили в отрицании партийных программ до крайности и теряли общие политические перспективы». «Вместо цельной программы, хотя бы и ошибочной, в отдельных кружках стали выдвигаться отдельные кусочки программы»,—передает о том же времени Ольминский.

Одни не возражали, когда их называли социал-демократами, хотя сами себя такими не считали, другие не причисляли себя к народовольцам, но и не протестовали, когда их называли сторонниками Народной Воли. Разграничение шло по общей и достаточно грубой линии. Социал-демократами считали себя те, которые отвергали террор и признавали необходимость самостоятельной организации рабочего класса, хотя бы не были в состоянии решить таких вопросов, как вопрос об общине, о судьбах капитализма в России, об отношении к крестьянству. Естественно, что при таком упадке революционной мысли дело пропаганды среди рабочих качественно понижалось по сравнению с прошлым. Народники имели цельное, хотя и ошибочное мировоззрение, знали, чего они хотят, и с этим шли к рабочим. Теперь такой определенности не было, и чуть ли не каждый вел пропаганду, так сказать, по своему образу и подобию, применительно к той растерянности мысли, в какой он сам обретался. Принципиальным спорам практического значения не придавалось, — рассказывает один из современников:—«Как бы я ни решил этих вопросов, я все равно завтра пойду в рабочий кружок и буду там рассказывать из истории культуры или о прибавочной стоимости—смотря по тому, что лучше знаю». Поэтому, и в кружках, — как передает тот же источник,—«систематических занятий не было; начал я было краткий курс русской истории, но так и не удалось довести до конца. Читали отдельные вещи из нелегальной литературы, *не разбирая направлений*, а больше вели разговоры на разные темы».

Как ни значителен был этот распад революционной мысли, все же пробивалась свежая струя, на развалинах старого складывались новые воззрения. Откуда шел толчек, какими путями намечались новые выводы?

Конечно, прежде всего, к этому вела та же критическая оценка прошлого революционного опыта, с какой мы ознакомились на эволюции взглядов Плеханова. Стараясь выбраться из тупика, в котором оказалось революционное движение, естественно, обращались к учету прошлого, к тому, чтобы осмыслить пройденный путь и сопоставить его с заново складывающимися условиями. С другой стороны, этой критической работе уже тогда шла на помощь группа «Освобождение Труда», расчищавшая дорогу новому мировоззрению: Кольцов (Б. А. Гинсбург), напр., по собственному опыту передает, что часть членов центральной народовольческой группы в Петербурге в середине 80-х годов двинулась в сторону социал-демократии и «эволюция эта совершалась всецело под влиянием изданий группы «Освобождение Труда». Но влияние женевцев могло быть плодотворным в том лишь случае, когда пробуждалась критическая мысль, когда на пересмотр старых позиций ее толкало что-либо более властное, чем счастливо попавшая в руки марксистская книга. Влияние пробуждающейся

рабочей среды и в особенности передовых рабочих—таков в это время едва-ли не самый значительный фактор движения вперед революционной мысли.

Мы видели, какое влияние рабочее движение и запросы рабочей массы оказывали на революционеров-народников. Последние вовсе не склонны были признавать какие-то особые, отличные от крестьянства, интересы рабочих—и тем не менее должны были в своей пропаганде и агитации применяться именно к этим интересам: они руководили стачками, агитировали на почве местных фабричных нужд, организовывали «союзы» рабочих. Вопреки своим намерениям, народники содействовали росту классового сознания рабочих, недостаточно отчетливого, но все же такой силы, что оно могло развиваться дальше, преодолевая тормозы народнического утопизма. Содействовали народники росту классового сознания и в рабочих кружках, когда несли к работникам науку, просветляли их головы, давали в их руки новую силу—знание. Из кружков выходили выдающиеся рабочие, которые в своем здоровом классовом сознании перерабатывали народнические идеи, оттачивая в них то, что пригодно для дела рабочих—лучший пример тому Обнорский и Халтурин, создавшие «Северный Русский Рабочий Союз». Вот этот рост классового сознания рабочих, выделение рабочей интеллигенции и, в частности, работа народников, сказались в 80-х годах, ко времени распада революционной мысли. Общая реакция не коснулась рабочей массы, которая как раз тогда приходила в движение; морозовская стачка, наряду со многими другими, говорила о том, что рабочая масса переходит к активной защите своих интересов; отдельные передовые рабочие не терялись бесследно в массе, но продолжали свое просветительное дело, образуя сами кружки и привлекая к ним интеллигентов. Если запросы рабочей массы оказывали воздействие в годы даже расцвета революционного народничества, то тем более значительным оно должно было быть теперь, когда в революционной среде царила путаница взглядов и неуверенность в собственных силах. Влиянию рабочей среды теперь не приходилось преодолевать крепости народнического утопизма, которые и без того теряли один форпост за другим. Потому-то и происходило теперь так, что пропагандист шел к рабочим учить их, но сам у них учился; прикладываясь к источнику живой воды, он сам преобразовывался.

Превосходную иллюстрацию такого влияния мы находим в воспоминаниях В. Перазича, относящихся к харьковским рабочим кружкам конца 80-х годов. «Члены нашего кружка,—рассказывает Перазич, воззрения которого тогда представляли смесь из Лаврова, Маркса и Лассаля,—не разделяли моих иллюзий насчет прочности социалистических убеждений у учащейся молодежи, моего преувеличенного представления о возможности широкого распространения среди интеллигенции того воодушевления идеями социализма, ка-

кое я знал за собой и несколькими моими товарищами. Такую же трезвость мысли проявляли они и по вопросу о роли крестьянства в революционном движении, двумя-тремя указаниями на факты опровергая мои теоретические построения. Впрочем, вопрос этот для них стоял на далекой очереди и возникавшие иногда у нас на эту тему разговоры быстро заканчивались. Таким образом, остаток народнических взглядов в моем тогдашнем мировоззрении попросту не находил здесь той почвы для своего развития, какая имелась для них перед этим в кружках студенческого молодняка, дававших внимательную аудиторию для моего изложения этого рода мыслей. Здесь мои слушатели требовали и брали у меня лишь то, что я мог дать из того небольшого марксистского багажа, который был накоплен у меня к тому времени. Таким образом, не я на них, а они на меня оказывали воспитывающее влияние, производя на меня прямо-таки давление в сторону развития начатков моего марксизма, с жадным вниманием поглощая мою передачу марксистско-лассалевских идей».

Как видим, молодой Перазич, удовлетворявшийся смесью народничества с марксизмом, не во всем удовлетворял рабочих, которые брали у него именно то, что им нужно, и отвергали народнические предрассудки. Всякий вдумчивый и преданный делу рабочих пропагандист должен был, естественно, поддаться этому влиянию, в запросах отдельных рабочих понять запросы всего рабочего класса, выдвигаемые всеми условиями борьбы,—а поняв, пойти более решительно на пересмотр остатков своего народнического мировоззрения. Не подлежит сомнению, что такое влияние испытал на себе не один Перазич, что не на него одного оказали рабочие кружки воспитательное воздействие. В том же Харькове группа интеллигентов выработала программу, которая ставила задачей «добиться экономической революции, которая в то же время есть и политическая революция в России», и признавала террор, как «средство самозащиты и борьбы». Когда программа эта была предложена рабочим, они ее не приняли и противопоставили свою программу, которую один из авторов программы, Велецкий, излагает в таких выражениях: «Они придавали преимущественное значение экономическому перевороту перед политическим, видя экономический переворот в постепенном ряде экономических реформ, которые, улучшая в общем и в частностях народный быт, расчищали бы путь политическим реформам, к которым вообще наш народ и наше общество признавались в настоящее время не подготовленными. Пути, которыми предполагалось достижение этих целей, должны были заключаться, насколько я их понял, в постепенном, но возможно более широком, воздействии на народ, рабочих и интеллигенцию, путем широкой пропаганды, устной и литературной». Точка зрения рабочих изложена Велецким довольно туманно, но, судя по тому, что рабочие отвергали также террор, видно, что в то время, как программа отдавала еще дань

утопизму, рабочие требовали более длительной агитации и народнической «экономической революции» противопоставляли реальную задачу борьбы за улучшение положения наемного труда. О петербургских рабочих кружках конца 80-х годов Голубев рассказывает, что на одном из собраний центрального кружка в Петербурге рабочие в упор поставили вопрос к чему готовить рабочих и, не довольствуясь одной просветительной пропагандой, настаивали на организации кружков, кассы и даже на активных действиях против администрации и властей. По словам Голубева, представитель интеллигенции в кружке решительно воспротивился боевому настроению рабочих и те, в конце концов, признали его правым, т. е. умерили свой пыл. Но и здесь характерно давление рабочих, стремление их как-нибудь двинуться вперед, прорваться через заграждения общественной реакции.

Уже из этих примеров видно, что в нашем рабочем классе накоплялись самостоятельные силы, которые не могли не оказать влияния на развитие революционной мысли. Распропагандированные в народнический период рабочие продолжали дело классового просветления своих товарищей, постепенно к ним присоединялись свежие силы, образуя еще тонкий, но активный слой рабочей интеллигенции. Этот передовой слой рабочих часто не ждет инициативы со стороны, но сам приступает к организации кружков, к более широкой постановке дела пропаганды и агитации. Наиболее яркий образец этого дают знакомые уже нам рабочие Моисеенко и Иванов, которые, заброшенные после ссылки в Никольское, принимаются здесь за пропаганду и руководят знаменитой морозовской стачкой. Но пример этот далеко не был единственным. Когда подвинется вперед изучение прошлого нашего рабочего класса и революционного движения, мы узнаем о многих передовых рабочих, рассеянных по фабрикам и заводам разных концов России и проявлявших свою инициативу в деле сплочения рабочего класса. Но кое-что мы знаем уже и теперь.

Один из ветеранов движения рабочий Н. Д. Богданов передает в своих воспоминаниях, что в середине 80-х годов «отдельными, уцелевшими от разгрома рабочими, велась очень осторожная и в очень ограниченных размерах пропаганда народовольческих идей». От одного из таких рабочих Богданов, которому тогда было 15 лет, получил стихотворения Некрасова, роман «Новь» Тургенева и несколько нелегальных брошюр. «С этим скромным арсеналом и уже без всякой помощи со стороны—рассказывает Богданов,—я начал осторожную пропаганду среди своих сверстников в мастерской и живущих со мною в одном из огромных домов в районе Измайловского полка». В 1886 г. Богданову удалось составить небольшой кружок для совместной покупки книг, и таким образом составилась солидная библиотека. «Наш кружок рабочей молодежи,—читаем далее в воспоминаниях Богданова,—работал как над своим само-

образованием, так и над привлечением новых членов. Занимались мы одни, без руководства извне и потому без программы и без направления». Только осенью 1888 г. Богданов сталкивается с руководителями других кружков, тоже рабочими, и через них устанавливает связи со студентами, находившимися под влиянием группы «Освобождение Труда». Кружок пригласил одного из этих студентов, и занятия пошли более планомерно. «С этого времени—рассказывает Богданов—у нас пошли систематические занятия, которые посещались очень усердно... Таких кружков было уже в это время несколько, но организационной связи между ними не было». В 1889 г. решено было положить начало организации и выработан был устав. Всех кружков тогда было десять и в каждом по 5—8 членов; кружки были разбиты по районам и от каждого района избирался один член комитета. «Это было время так называемой кружковщины, когда мы, забившись в подполье, занимались там исключительно пропагандой,—пишет Богданов,—о широкой агитации тогда еще не было и речи. Мы организовали несколько порядочных библиотек по районам, а научные книги у нас пользовались спросом и уважением. Книги мы давали читать не только членам кружков, но и широким слоям рабочих. Очень многие из этих кружков сами вышли прекрасными пропагандистами и часто заменяли недостающих интеллигентов».

В это же время, в том же Петербурге, организуют кружки рабочие Шелгунов и Афанасьев, Норинский и Тимофеев. а затем идут тем же путем, что и Богданов—заводят связи с революционерами-интеллигентами. «Мы знали,—пишет в своих воспоминаниях Норинский,—что сеть таких кружков раскинута во всех частях Питера, что всюду ведется работа. Представители от районов собираются периодически. Связь между районами установлена».

Во всем этом в особенности достойно внимания, что инициатива организации кружков исходит не только из среды интеллигенции, но и от самих рабочих. К рабочим, побывавшим в народнических кружках, присоединяется молодежь, которой часто, как это видно из рассказа Богданова, достаточно небольшого толчка, чтобы она самостоятельно продолжала дело сплочения передовых рабочих в кружки. Не подлежит, поэтому, сомнению, что революционерам 80-х годов приходилось работать не только на почве, подготовленной народниками, но и иметь дело с рабочими, проявлявшими большую самостоятельность и мысли и организационного навыка. Конечно, и передовые рабочие отдавали еще свою дань народническим предрассудкам, но в них эти предрассудки, вообще менее прочно заложенные, разрушались быстрее, обнаруживая свою несостоятельность в повседневной практике рабочей жизни, в каждом столкновении с капиталом и правительством. Все нароставшее здоровое классовое сознание передовых слоев рабочих создавало ту благоприятную обстановку, которая ускоряла самокритику революционной мысли и облегчала переход ее от народничества к марксизму.

4. Группы Благоева и Бруснева.

После всего сказанного читатель не станет ожидать от наших первых социал-демократических кружков определенности и стройности программных воззрений. Все эти группы и кружки—дети переходного времени, поглощенные исканием новых путей в обстановке развала народничества и мрака реакционных 80-х годов. В них прочно лишь одно сознание—негодности старых путей, критическая переоценка которых протекает медленно, в противоречиях, не сразу поддающихся устранению, в усвоении отдельных положений марксизма наряду с сохранением пережитков народнического мировоззрения.

Зимою 1883—1884 г. в Петербурге возникла первая такая организация, связанная с именем Благоева. Болгарин по происхождению, Благоев в 1880 г. поступил в Петербурге в университет и завел знакомство с чернопередельцами и народовольцами. В это время шли переговоры о соглашении между этими партиями, и Благоев принял участие в сходках. «Споры на этих собраниях и сходках,—рассказывает Благоев,—чтение общей литературы по общественным вопросам и специально по революционному движению убедили меня, что ни народовольчество, ни народничество во всех его разновидностях не могут научно быть доказаны. Тогда я обратился к изучению «Капитала» Маркса и сочинений Лассаля. Целый 1883 г. я употребил на штудирование этих произведений... Еще к концу 1883 г. я начал пропаганду нового мировоззрения». В результате организована была группа, в которую вошли студенты и рабочие, примыкавшие к чернопередельцам. Одним из первых дел новой организации было составление в 1884 г. программы. На свое начинание благоевцы смотрели широко, как на дело, которое должно положить начало рабочей партии в России, а не только отдельному рабочему кружку. Приступив к изданию газеты «Рабочий», они назвали ее газетой «партии русских социал-демократов», а составленную программу послали за границу для отзыва группе «Освобождение Труда» и народовольцев, и до получения ответа не считали ее принятой окончательно. Все это несомненно свидетельствует не только о широко поставленной цели, но и о вдумчивом к ней отношении.

Каковы же были программные воззрения группы Благоева, этой первой в России организации, признавшей себя социал-демократической?

На социализм программа смотрит, как на «логический вывод из исторического хода вещей», но вслед за Лассалем признает чрезвычайное значение в этом «ходе» за государством. «Нельзя ждать, сложа руки, того времени,—говорит программа,—когда железные законы конкуренции сорганизуют рабочее сословие и поставят его противу кучки капиталистов, того времени, когда будет

возможен полный и радикальный переворот социальных отношений». В этих словах, как не трудно заметить, заключается скрытая полемика с той общей картиной крушения капитализма, которую дал Маркс в «Капитале», когда он писал об экспроприации экспроприаторов. Этой точке зрения все расширяющейся и углубляющейся классовой борьбы программа противопоставляет «вмешательство государственной власти в экономические отношения». «Остановить развитие крупного производства и нет возможности, и не зачем,—говорится в программе.—Задача государства должна заключаться в том, чтобы заменить капитализм индивидуальный производительными ассоциациями рабочих, земледельческих и промышленных, оставляя за собою верховное право собственности на землю и орудия производства». Беспомощность такой точки зрения полностью сказалась, как только программа перешла к оценке положения дел в России. «Капитализм у нас уже зародился и растет»,—заявляет программа, но далее рисует перед русским капитализмом печальные перспективы. Так как Россия вступила на путь капиталистического развития позже других стран, то ей трудно конкурировать с ними на внешнем рынке, а внутренний рынок, благодаря бедности населения, весьма ограничен; поэтому развитие капитализма встречает у нас больше затруднений, чем на Западе, процесс обобществления труда пойдет еще более медленно, отношения классов определяются слабо, а крестьянство, в частности, разбросано на огромном протяжении и трудно доступно для организации. Отсюда, казалось бы, следует, что в таких условиях тем меньше простора для государственного вмешательства с целью перехода к высшим формам общественности. Но программа делает как раз обратный вывод: «поэтому,—говорится в ней,—государственное вмешательство у нас является еще более необходимым для облегчения процесса формирования нового общественного строя».

Таким образом, по основному вопросу о путях развития капитализма в России точка зрения благоевцев приближалась не к марксистской, а к народнической точке зрения. Таких же приблизительно взглядов как раз в то время придерживался известный народник-экономист В. В., который также доказывал, что капитализм не имеет шансов на развитие в России, так как наша страна позже вступила на путь капиталистического развития и потому лишена внешнего рынка, а внутренний рынок, в виду бедности крестьянства, ничтожен. В отличие от благоевцев, предполагавших демократическое государство, В. В. возлагал надежды на самодержавную власть, приводя народничество к реакционному тупику. Очевидно, благоевцы не были в состоянии прервать народническое окружение их мысли и в поисках выхода предпочли Марксу Лассаля с его проповедью государственного вмешательства и поддержки производительных товариществ, и на этом вмешательстве

основывая свою веру в возможность «нового общественного строя» вне дальнейшего развития капитализма.

При исходной народнической точке зрения и выводы делаются близкие к народничеству. «В настоящее время,—читаем в программе,—в среде русского народа революционные элементы уже существуют и растут: это безземельный пролетариат. Благодаря прогрессивному развитию кулачества и капитализма, пролетариат будет расти и умножаться; с другой стороны, затруднения для развития русской промышленности, закрывая ему поле труда, будут вызывать в его среде постоянное брожение. Нельзя еще предсказать, в какие формы выльется это народное движение, но наше дело урегулировать, по мере возможности, ход революции, направить ее материальную силу путем наиболее продуктивным, путем сочетания *крестьянской революции* с политическим движением рабочих и интеллигенции в центрах». Таким образом, под безземельным пролетариатом программа разумеет, главным образом, безземельное, пролетаризированное крестьянство и на него, во всяком случае, возлагает главную надежду: революционные перспективы складываются из «*крестьянской революции*» в сочетании с «*политическим движением*» рабочих и интеллигенции. И даже больше. Эта надежда на крестьянство связывается с народнической его идеализацией: «Главную массу населения составляет у нас крестьянство,—продолжает программа. В его среде существует взгляд на землю, как на достояние государства (земля божья да царская), и идет аграрное движение в смысле борьбы с частным землевладением». Получается, стало быть, что, если крестьяне и не «коммунисты по духу», то—противники частной земельной собственности во всяком случае. Естественно, что программа не отказывается от задачи «упрочить связь интеллигенции социализма с народом» путем «организации местных групп из интеллигенции и подготовленных к этому в городах рабочих, которые, вместе с наиболее подходящим элементом из крестьян, ставят дело «самостоятельной народной пропаганды».

Какое же место во всем этом построении занимают рабочие? Отчасти мы это видели на противопоставлении крестьянской *революции политическому движению* рабочих. Программа говорит и более ясно: «В среде городских рабочих, проводя те же идеи, что и среди крестьян, мы должны обратить особенное внимание на их политическое воспитание, так как они представляют для этого элемент наиболее подходящий». Оказывается, таким образом, что одни и те же идеи пригодны и для рабочих и для крестьян, никаких особых задач пропаганде среди рабочих не ставится, и, если обращается внимание на их политическое воспитание, то лишь потому, что они представляют элемент для этого наиболее подходящий. Программа совершенно обходит классовые интересы рабочих и классовую их борьбу и особо указывает, что на стачки и волне-

ния рабочих смотрит так же, как на подобные явления в крестьянской среде, т.-е. расценивает их исключительно с точки зрения проявляющегося недовольства, которое нужно поддержать, если «оно справедливо и потому имеет воспитательное значение». Родство точки зрения народничества и благоевской группы совершенно отчетливо выступает в обращении группы к редакции «Вестника Народной Воли» и группе «Освобождение Труда», которым сопровождалась отсылка им программы для отзыва. «Какая непосредственная задача революционной деятельности среди городских рабочих с вашей точки зрения?—спрашивают авторы программы редакцию «Вестника Народной Воли».—Если имеется в виду популяризация идеи демократического переворота и подготовки боевых дружин для инициативы восстания, то разницы в деятельности рабочих групп, наших и народовольческих, почти нет». Группе «Освобождение Труда» авторы программы писали: «Мы вели переговоры с рабочей группой «Народной Воли», причем выяснилось, что во взглядах на деятельность среди рабочих нет ровно никакого различия, и рабочая группа «Народной Воли» вполне согласна вести дело сообща, как относительно средств, так и относительно библиотечного дела». В этом наиболее важном вопросе сами благоевцы не усматривали ничего, чтобы их отличало от народовольцев.

В остальной своей части программа требует постепенной демократизации государства и перехода экономического и политического влияния из рук привилегированных классов в руки народа. В качестве «ближайших требований выдвигается»: созыв земского собора «с действительным представительством от крестьян и рабочих», гарантия личной неприкосновенности, уравнение прав национальностей, государственная помощь крестьянским обществам и рабочим союзам «для приобретения в пользование земли, фабрик и заводов», государственное регулирование рынка (устройство складов для хлеба и продуктов крестьянского производства), государственная организация переселений и отхожих промыслов и т. д. В качестве мер перехода к социалистическому порядку намечаются: отмена частного землевладения с переходом земли в собственность государства и фабрик и заводов—в руки рабочих союзов, организация государства на началах федерации, замена постоянной армии милицией, свобода совести, слова, печати, собраний и т. д. Захват власти признается лишь в том случае, если он «является завершением общенародной революции рабочих и крестьян». Что касается политического террора, то он допускается лишь в следующих случаях: 1) когда само население намечает жертвы из среды администрации, 2) когда жертвы намечаются партией из лиц высшей администрации и их гибель не может вооружить против себя общественного мнения и недовольства народа и 3) в случаях самозащиты от шпионов.

Что же заключает в себе программа социал-демократического и почему благоевцы называли свою группу «партией русских социал-демократов»? На этот вопрос возможен лишь один ответ: программа благоевцев не давала им оснований считать себя социал-демократами. Программа их представляла собой дальнейшую эволюцию народничества, которая облегчала переход на точку зрения марксизма, но пока такого перехода еще не обозначала. Эволюция эта состояла в том, что вполне определенно принимались задачи политической борьбы и грядущая политическая революция не отождествлялась с социалистической; программа не стоит на точке зрения совпадения политической революции с экономической и формулирует особо как ближайшие требования, так и требования переходных мер к осуществлению социализма. Но в остальном и не менее существенном программа оставалась на старых народнических, точнее—чернопередельческих, позициях, и Благоев был прав, когда писал, что программа его группы «чрезвычайно отличалась от современных социал-демократических программ и взглядов». Он был только неправ, когда думал, что программа представляла собою смесь научного социализма с лассальянством и лавризмом: скорее всего, это была смесь лассальянства с новейшей фазой чернопередельчества, поскольку последняя выразилась в составленной Аксельродом для общества «Земля и Воля» программе, о которой мы говорили выше. Прямой уклон в сторону политической борьбы и признание наличности в России капитализма выгодно отличали программу благоевцев от программы Аксельрода и открывали возможность дальнейшей эволюции в сторону марксизма. Но отрицание за русским капитализмом перспектив развития, преимущественное значение, признаваемое за крестьянством, смутное представление о классовых задачах пролетариата и о классовой борьбе вообще—все это составляло те народнические пережитки, которые еще оставалось преодолеть благоевцам, чтобы совершить действительный переход от народничества к социал-демократии.

Вполне естественно, поэтому, что группа «Освобождение Труда» не одобрила программы благоевцев, которые, в конце концов, после высылки Благоева за границу и переговоров его с группою, отказались от своей программы и приняли программу группы. В этом присоединении к программе группы «Освобождение Труда» и состоит историческая заслуга благоевцев, как первой действовавшей в России организации, не только назвавшей себя социал-демократической, но и принявшей социал-демократическую программу. Благоевцы вступают вообще в связь с группой «Освобождение Труда» и во втором номере их газеты «Рабочий» печатают письмо Плеханова к петербургским рабочим о задачах русских рабочих и статью Аксельрода о западно-европейском рабочем движении. В своем письме Плеханов доказывал, что социал-демо-

кратическая партия должна быть по преимуществу рабочей партией, хотя это не означает, что она должна отталкивать от себя людей из других классов. Это значит, что революционная интеллигенция должна итти с рабочими, а крестьяне должны итти за ними. Рабочие, доказывал далее Плеханов, должны бороться за свое освобождение от экономической эксплоатации хозяевами и во имя политической свободы, причем обе эти задачи тесно связаны. «Без экономической независимости,—писал Плеханов,—вы никогда не будете в состоянии воспользоваться во всей полноте вашими политическими правами. Без политических прав вы никогда не добьетесь экономической независимости». Эти задачи могут быть разрешены силой, а сила рабочего класса состоит в его сознательности, в его сплоченности и в его тактике. Таким образом, уже летом 1885 г.—в это время вышел «Рабочий» со статьями Плеханова и Аксельрода—петербургские рабочие могли услышать настоящее социал-демократическое слово. Правда, еще в первом номере «Рабочий» писал о том, что рабочие «должны образовать из себя рабочую партию с определенной программой требований и определенным планом действий». Но это была только смутная, неоформленная и непродуманная мысль, почему следов ее и не видно в программе благоевцев.

Благоевская группа развила довольно большую работу. К концу 1884 года была поставлена нелегальная типография и приступлено было к изданию газеты «Рабочий», была составлена библиотека, организовано около 15 кружков среди рабочих за Невской заставой, на Выборгской стороне, на Васильевском острове и т. д. Группа ставила своей целью развить дело агитации возможно шире, захватив не только рабочих и крестьян, но и другие общественные круги. «Отличительная и особенно важная для практики дела черта нашей группы,—писали благоевцы группе «Освобождение Труда»,—есть воззрение, что следует утилизировать все наличные силы для предстоящей революции, поставить дело как можно шире, чтобы оно пустило корни вглубь общества, чтобы немыслимо было даже временное оскудение сил и средств, как это всегда бывает и будет у замкнутой в самой себе тайной партии». Однако, в этом смысле группе удалось только создать организацию среди военной учащейся молодежи. Достойно внимания также, что благоевцы считали весьма важным установить постоянную связь с группой «Освобождение Труда». В случае соглашения в программных воззрениях—благоевцы имели в виду подробно условиться о том участии, какое женевцы примут в делах группы. Задача эта была отчасти выполнена и мы видели, что группе удалось привлечь к сотрудничеству в газете Плеханова и Аксельрода. Большего, однако, благоевцам не суждено было свершить. В начале 1887 года Благоев был арестован и, как иностранец, выслан за границу, а в конце того же года последовал полный разгром группы.

Следующей по времени социал-демократической группой в Петербурге была группа, связанная с именем Бруснева, одного из ее руководителей. В нее входило несколько групп рабочих, в том числе те, которые были образованы усилиями Богданова, Норинского и других, а также организованные интеллигентами, среди которых был Голубев, на воспоминания которого мы выше ссылались. Сначала эта группа не имела программы и физиономия ее была довольно неопределенной. Голубев рассказывает, что руководители группы не были народовольцами, так как отрицали террор и считали необходимым образование самостоятельной рабочей партии, но в то же время они не были и социал-демократами, хотя их так называли в отличие от народовольцев. Бруснев также пишет: «Сначала в этом обществе была тенденция итти в тесном единении с народовольцами, которые тоже намеревались вести пропаганду среди рабочих, но вскоре в бесконечных спорах обнаружилось, что этим течениям не по пути, так как народовольцы, идя с пропагандой социализма к рабочим, преследовали особую цель—вербовать из этой среды смелых и самоотверженных террористов, тогда как мы, социал-демократы, шли к рабочим с целью приготовить из них преданных и сознательных руководителей рабочего движения, так как основою наших взглядов на рабочее движение было то, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». За составление программы группа Бруснева принялась только к концу своего существования, причем несомненно, что воззрения группы складывались отчасти под влиянием группы «Освобождение Труда». Об этом говорит то обстоятельство, что при обыске у Бруснева было взято несколько изданий женевской группы: программа группы «Освобождение Труда», книги Плеханова «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия», «Русский рабочий в революционном движении», «Всероссийское разорение», «Письмо к русским рабочим» Аксельрода, сборник «Социал-демократ», издававшийся группой «Освобождение Труда» и др. Впрочем, знакомство с женевскими изданиями не произвело на программу такого влияния, какого следовало ожидать.

«Последователи научного коллективизма, — заявляет программа,—мы убеждены, что социалистический идеал может целостно воплотиться в общественных формах лишь в мучительном процессе экономического развития... Признавая рабочий пролетариат, как экономическую категорию, верховным носителем идей социализма, мы приложим все старания к возможно более широкой постановке пропаганды и агитации среди фабрично-заводских рабочих с целью непосредственного создания элементов будущей рабочей партии». Принимая такое положение, группа определенно становилась на точку зрения социал-демократии, чего нельзя усмотреть в программе благоевцев. Но наряду с этим программа в значительной своей части посвящена обоснованию и защите террора.

«Мы глубоко убеждены,—читаем в программе,—что, при современном соотношении общественных сил в России, политическая свобода в ближайшем будущем может быть достигнута лишь путем систематического, в форме политического террора, воздействия на центральное правительство со стороны строго централизованной и дисциплинированной партии при дружном содействии всех живых сил страны». Что касается рабочего класса, то и он, «идя рука об руку с демократической интеллигенцией, может и должен в ближайшем будущем бороться за свое освобождение путем политического террора». Говоря о широкой пропаганде идей социализма, программа подчеркивает, что эта пропаганда должна вестись «в связи с пропагандой идей политического террора». Таким образом, задача организации рабочего класса оказалась совершенно поглощенной террором и никаких выводов из марксистских положений в смысле признания классовой борьбы—программа не делает. И брусневская группа, со своими зародышами социал-демократических воззрений, не могла еще вырваться из народнического окружения.

Группа Бруснева также развила довольно широкую работу. В различных частях Петербурга было организовано до 20 рабочих кружков, в которых велись занятия; Голубевым была сделана попытка выпустить рукописную газету; принимала участие группа и в руководстве стачкой на фабрике Торнтон. Брусневские кружки первыми в России отпраздновали в 1891 году день 1-го мая, устроив за городом собрание, на котором четырьмя рабочими (Богдановым, Прошиным, Афанасьевым и Климановым) были произнесены речи.

К брусневской группе по своему характеру приближалась харьковская группа, о которой мы приводили выше воспоминания Перазича и к руководителям которой принадлежал Ювеналий Мельников, сыгравший видную роль в рабочем движении Харькова и Киева. О Мельникове Перазич говорит, что мысль его все время двигалась в марксистском фарватере. Это не мешало, однако, тому, что он признавал фабричный террор и в спорах защищал программу группы, в которой социал-демократического было так же мало, как в программе благоевцев и брусневцев. Требуя созыва учредительного собрания для организации «нового государственного и общественного строя», харьковская программа намечает следующие ближайшие задачи: 1) приобрести как можно более сознательных сторонников среди крестьян и рабочих, 2) распространить по возможности более рационально-критическое отношение к существующему государственному и экономическому строю среди тех же классов, 3) сделать среди крестьян и рабочих популярными социалистов в смысле защитников народных интересов и этим установить связь и понимание между революционерами-социалистами и массою и, таким образом, обеспечить поддержку требова-

ний социалистов со стороны массы. Программа обещает, с другой стороны, содействие террористической борьбе против правительства, ставя для такого содействия условием солидарность борющихся с требованиями группы и продуктивность террористического акта с точки зрения рабочей организации. Признает программа также аграрный и фабричный террор. И в данном случае, стало быть, мы имеем более решительный уклон в сторону политической борьбы, но не имеем и намека на социал-демократические воззрения.

Нужно думать, что такой облик носили и прочие кружки и группы 80-х годов, которые причисляли себя к социал-демократическим. Так, в Петербурге в 1885 г. образовался кружок, руководителем которого был Павел Точисский, впоследствии коммунист, погибший в 1918 г. Один из участников этого кружка Брейтфус передает, что Точисский высказывался против террора, единственной революционной силой считал пролетариат, к интеллигенции же относился скептически, считая ее лишь временным попутчиком рабочего класса. Точисским выработан был устав общества, целью которого было поднятие умственного и морального уровня рабочих путем организации библиотек, лекций, кружков саморазвития и общения с революционной интеллигенцией; предусматривалось также организация касс взаимопомощи, устройство стачек и организованных протестов против фабричной администрации и т. д. Сам Точисский, личность, бесспорно, выдающаяся, поступил рабочим на завод, непрестанно работал в кружках, неохотно подпуская к рабочим интеллигентов. Повидимому, мы имеем здесь дело с попыткой самостоятельно выработать программу действий. Однако, насколько воззрения Точисского были на самом деле социал-демократическими—сказать трудно. Весьма возможно, что он возлагал исключительные надежды на рабочих и полагал, что революционеры должны отдать все силы делу пропаганды в рабочей среде. Но принял ли он вместе с тем точку зрения классовой борьбы и в связи с ней строил перспективы пропаганды среди рабочих,—ниоткуда не видно. Что же касается других членов кружка, то, по словам Брейтфуса, они об'единены были одной общей идеей—ненавистью к существующему политическому строю. На этом основании причислить их к социал-демократам никак еще невозможно.

Другой выдающейся фигурой на общем сером фоне 80-х годов был Абрамович, положивший начало социал-демократическому кружку в Киеве, куда он приехал из Минска. О времени пребывания Абрамовича в Минске Гурвич рассказывает, что в середине 80-х годов Абрамович был выдающимся по способностям и образованию юношей, но социал-демократом не был. В 1887 году в Минске была получена из Швейцарии брошюра, представлявшая собою беспристрастное изложение разных программ. Кружок Гурвича в течение полугода обсуждал все программы и, в конце кон-

цов, большинство его, в том числе Абрамович, приняло «по всем программным вопросам социал-демократические формулы». К сожалению, у нас не может быть уверенности, что эти формулы, как и прочие программы 80-х годов, не страдали столь распространенной и прилипчивой болезнью эклектизма.

Но если мы и признаем, что по исключению отдельные кружки и лица принимали социал-демократическую позицию, то по общему правилу социал-демократические кружки 80-х годов были детищем переходного времени, времени «смут» и исканий. Ни об одном из этих кружков нельзя сказать, что он является народническим или марксистским: это—смесь того и другого в той либо иной пропорции. Все они находятся по пути к социал-демократии и в этом, разумеется, большой шаг вперед по сравнению с прошлым—но до социал-демократии они еще не дошли. Характерно, что критическая мысль направляется по преимуществу в сторону «политики», признания необходимости политической борьбы. В этих вопросах старое народничество терпит окончательный крах, и здесь эволюция взглядов сказывается прежде всего и наиболее ярко. Этим направлением мысли, критически пересматривающей старые программы, об'ясняется то, что новые программы не решаются порвать с террором и с теми либо иными оговорками его принимают: в то время политическая борьба мыслилась, главным образом, в виде политического террора, и отказ от последнего казался отказом от политической борьбы. Значительно слабее обстояло дело с критикой других сторон народничества. По таким основным вопросам, как признание классовой борьбы, выяснение судеб капитализма в России, отношение к общине и к крестьянству—представления царят еще довольно смутные.

Деятельность кружков носила исключительно кружковой пропагандистский характер. Каждый кружок старался обзавестись библиотекой, снабжавшей рабочих книгами. Любопытно, что Точисский давал рабочим только легальные книги; «нелегальщина», по его словам, только будоражит голову и не приучает рабочих к серьезному чтению. В группах велись занятия, часто систематические, по определенной программе. Такие программы были в кружках Бруснева и Абрамовича; программа Бруснева предусматривала первоначальное обучение грамоте, а затем переходила к знакомству с начатками естествознания, истории культуры и цивилизации, политической экономии, положения рабочих и крестьян, истории общественых движений и т. д.; программа Абрамовича, подробно разработанная, давала основательные сведения по истории, политической экономии, истории и теории социализма. Среди источников по политической экономии программа рекомендовала «Капитал» Маркса с указанием глав и страниц.

За пределы пропаганды деятельность кружков выходила редко. В исключительных случаях кружки руководили стачками,

еще реже прибегали к каким-либо выступлениям рабочих. По инициативе членов брусневского кружка рабочих, находившемуся при смерти писателю Шелгунову был поднесен рабочими адрес, в котором указывалось, что благодаря таким людям, как Шелгунов, рабочие поняли, что им «нечего расчитывать на какую-нибудь внешнюю помощь, помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы». На похоронах Шелгунова также приняла участие группа рабочих, возложив венок с надписью «Указателю пути к свободе и братству». Эти первые выступления произвели на рабочих сильное, бодрящее впечатление. «Эта демонстрация,—пишет в своих воспоминаниях Норинский,—лучше долгой подготовки кружковой спаяла нас, выучив многому и в то же время еще более убедила в необходимости вести борьбу до конца».

Наконец, мы уже отметили, что брусневцы впервые организовали в 1891 году празднование дня первого мая; в том же году первомайское собрание было устроено в Москве.

Как ни скромна была деятельность кружков 80-х годов, значение ее, разумеется, громадно. В мрачные годы реакции и общественного застоя в этих рабочих кружках по разным городам России не угасали революционные «огоньки». В каждом кружке ковалась рабочая интеллигенция, тот передовой отряд, который разносил по рабочей среде свет классового и социалистического сознания. В отличие от народнического периода, эта работа была гораздо более плодотворна, так как велась она уже на расшатанной почве народнических иллюзий, с ясным пониманием политической борьбы, с более отчетливым представлением о революционных задачах пролетариата. Накопленные в кружках силы, умножив наследство, полученное от народников, составили ту основу, на которой в ближайшем периоде упрочилось господство социал-демократии в рабочем движении.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ГОДЫ ПЕРЕЛОМА [1].

1. Промышленный под'ем 90-х годов.

Девяностые годы отмечены настоящей промышленной революцией в России и с этого времени наша страна вступает в новый период своего существования, вместе с чем совершенно новые формы и размах принимает революционное движение.

Предшествующий период произвел глубокие изменения в социально-экономическом строе России. Время первоначального капиталистического накопления, с его жестокой эксплоатацией труда, привело к увеличению обращавшегося в промышленности и торговле капитала, который, естественно, искал все нового приложения с целью извлечения все большей прибыли. Наши «чумазые» фабриканты начали сознавать себя экономической силой, которая требует большого простора для своего развития и может стать прочно на ноги, перейдя к более совершенным промышленным формам. В то же время процесс капиталистического развития в его ранней стадии, поскольку он захватывал сельское хозяйство, приводил, с одной стороны, к разорению «дворянских гнезд», с другой—к хищническим формам капиталистически-земледельческого хозяйства. Когда-то обширные дворянские поместья закладывались и распродавались, переходя частью в руки крестьян, частью—к купеческому капиталу. Крупное сельское хозяйство только по исключению прогрессировало, переходило к более совершенным приемам обработки земли и эксплоатации земледельческих продуктов; в большинстве случаев оно одновременно покоилось на хищническом истощении почвы и столь же хищнической эксплоатации наемного

---

[1]) *Пособия: Лядов,* „История Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии"; *В. Невский,* „Очерки по истории РКП", т. I (гл. VII—XI); *Мартов,* „История Рос. Соц.-Дем. рабочей партии", М. 1921; *его-же* „Развитие крупной промышленности и рабочее движение в России" (гл. Ш); *Б. Д. (Эйдельман),* „К истории возникновения Рос. Соц.-Дем. рабочей партии" „Наша страна", исторический сборник, Спб. 1907; *его-же,* „К истории возникновения Рос Соц.-Дем. рабочей партии". Пролет. Рев.", № 1; Сборник „К 25-ти летию первого с'езда", М. 1923; *И. Л. Тучапский,* „Из пережитого", Од., 1923; *Лепешинский,* „На повороте", п. 1922; *Ленин,* „Что делать", Лен., 1924; *В. Астров,* „Экономисты" предтечи меньшевиков" м. 1923; *Плеханов,* Собр. сочинений, т. XII.

крестьянского труда. Но наиболее сильно предшествующее капиталистическое развитие сказалось на крестьянском хозяйстве. Втянутое в капиталистические отношения, крестьянство не только расслаивалось на «крепких» хозяев и бедноту, но в подавляющей массе своей разорялось, нищало. Малоземелье, непосильные подати, необходимость сбывать хлеб кулакам и скупщикам, техническая примитивность земледельческого хозяйства, невозможность, по недостатку скота, даже унаваживать землю и т. п.—все это подрывало силы крестьянского хозяйства, увеличивало число не только безземельных и безлошадных, но и малопосевных хозяйств, не только пролетаризировало крестьянство, но и разрушало земледельческое хозяйство.

В итоге, к началу 90-х годов народное хозяйство России оказалось на переломе. В промышленности рост капитализма происходил еще на хищнической основе, не переходя в высшие формы господства крупного и технически-совершенного производства, в сельском хозяйстве разрушительные силы преобладали над созидательными. Оставаясь, главным образом, земледельческой страной, Россия в сельском хозяйстве теряла опору для дальнейшего роста производительных сил. Все эти противоречия, созданные процессом первоначального капиталистического накопления, с особенной силой и яркостью вскрыл голод 1891—92 г.г. Голодовки бывали у нас и раньше, еще со времен крепостного и более давнего времени, но никогда еще разрушительное действие голода не проявлялось с такой силой. Голод охватил длинный ряд земледельческих губерний, сея в подлинном смысле смерть по лицу русской земли. Крестьяне питались всякими суррогатами, тысячами умирали от голодного тифа, распродавали последнюю скотину, разбирали крыши соломенные, чтобы кормить скот, забрасывали родные деревни и шли побираться по городам и селам. На широкие общественные круги, придушенные реакцией 80-х годов, все это произвело потрясающее впечатление, точно обухом по голове ударило спящих, звало на помощь погибающим. Прежняя стена, отделявшая городского интеллигента от деревни, как-то сразу рушилась, на «борьбу» с голодом двинулись многие отряды сердобольных людей.

Но, разумеется, благотворительностью и «сердечным» отношением к голодающему мужику здесь дело не могло ограничиться. Голод не только показал всю глубину развала крестьянского и всего сельского хозяйства, но и намечал самые мрачные переспективы неизбежности дальнейшего развала страны, если все останется по старому. В сознании буржуазных и дворянских кругов это приводило к необходимости думать не только о «хлебе насущном», как единственном продукте отечественного народного хозяйства. Министр финансов Витте в своих докладах по государственной росписи доказывал, что «никакого иного благосостояния,

кроме происходящего на почве капиталистического развития, экономическая жизнь еще не видела» и что «переустройство экономического уклада огромного государства вновь по типу сельско-хозяйственной страны было бы равносильно экономической катастрофе». Такая постановка вопроса, всецело отвечая интересам промышленной буржуазии, удовлетворяла и поземельное дворянство, которое могло надеяться, что с ростом промышленности часть голодающего крестьянства будет отвлечена в города, что общее оздоровление экономической жизни страны улучшит положение на хлебном внутреннем рынке, а укрепившееся, благодаря этому, международное положение России создаст благоприятные условия для русского хлеба и на внешнем рынке.

Непосредственным результатом голода 1891—1892 г. г. был сдвиг в экономической политике правительства, которое перешло к разнообразным способам «воспособления» промышленности, принялось энергично за постройку железных дорог, расширило сеть кредитных учреждений, стало более настойчивым при заключении торговых договоров, повышало таможенные тарифы и т. п. Наиболее крупное значение имела реформа денежного обращения с переходом на золотую валюту, так как бывшие до того в обращении бумажные деньги обесценивались и затрудняли международный оборот. Введение золотой валюты и всякие другие льготы привлекли в Россию иностранный капитал, который деятельно принялся за эксплоатацию русских рабочих и природных сил России. В промышленность стали приливать и русские капиталы, образовавшиеся в процессе первоначального накопления. Быстрая пролетаризация деревни, выбрасывавшая в промышленные центры все большее число безземельных крестьян, обеспечивала капиталу вполне достаточную постоянную и резервную рабочую армию.

Под влиянием всех этих условий промышленность России буквально за несколько лет изменилась до неузнаваемости. Это была подлинная капиталистическая революция, сразу и решительно подвинувшая вперед рост крупного производства и радикально изменившая соотношение общественных сил.

Чтобы читатель мог получить представление о силе промышленного развития России в эти годы, достаточно привести следующие немногие цифры. В 1890 г. сумма капиталов, вложенных в акционерные предприятия, составляла 580 мил. р., к 1900 г. она поднялась до 1742 мил. р., т.-е. возросла в три раза; иностранного капитала к концу 90-х годов было вложено в русскую промышленность на сумму до 800 мил. р., причем в то время, как в 1894 г. было допущено к деятельности в России всего три иностранных акционерных общества, в 1899 г. это число поднялось до 70. Но характерно не только увеличение притока капиталов в промышленности, но и распределение их по различным отраслям производства. Если раньше капиталы направлялись, главным образом, в текстильную

промышленность, то в 90-х годах они стали вливаться, прежде всего, в горную промышленность, т. е. в те отрасли промышленности, которые являются основными для капиталистической страны и развитие которых наиболее показательно для развития промышленного капитализма,—с 90-х годов Россия получает свое крупное горнозаводское и металлургическое производство, наряду с одновременным ростом прочих отраслей промышленности. Если за предыдущие 25 лет добыча чугуна увеличилась в три раза, то теперь она во столько же раз увеличилась за одно десятилетие 90-х годов; добыча угля, давшая за предыдущее 25-тилетие увеличение в 10 раз, для 90-х годов дает увеличение в 15 раз; количество переработанного на текстильных фабриках хлопка возросло за десятилетие 90-х годов в 100 раз, и т. д. И опят-таки показателен не только рост производства сам по себе: этот рост есть именно рост крупного производства. Число крупных предприятий (1000 и более рабочих в каждом) за время 1890—1902 г.г. увеличилось на 141,5%, средних (500—999 рабочих)—на 97,2%, мелких (100—499 рабочих)—на 54,3%—в то время, как для периода 1879—1890 г. г. соответственный прирост составит: 25,5%, 10,9%, 15,5%. Это значит, что в промышленности начало все более господствовать крупное производство.

Одновременно с ростом промышленного капитализма происходил захват им все новых районов страны, образование все новых промышленных областей и центров. Для России, с ее обширной территорией и разнообразием природных богатств, это расширение промышленного капитализма имело особенное значение, так как вовлекало в преобразовательный процесс до того слабо затронутые капитализмом районы. Достаточно напомнить, что в 90-х годах расцвел Донецкий Бассейн, в степях которого, раньше пустынных и глухих, залагались крупные шахты, строились громадные заводы, возникали новые промышленные центры. Данные о движении акционерных предприятий показывают, что со второй половины 90-х годов капитал стал энергично притекать также на Урал, в Сибирь и на Кавказ, преобразуя и здесь экономические отношения. Этот рост промышленного капитализма вообще и распространение его по новым областям, в частности, приводит к быстрому росту городского населения и городов. С 1885 года по 1897 г. прирост городского населения составил 33,8%, превысив почти в три раза прирост сельского населения. В конце 80-х годов Ростов на Дону, Екатеринослав, Баку были небольшими городами с двумя и даже менее десятками тысяч жителей—в 1897 г. это уже крупные центры с населением свыше 100 тыс. в каждом. К началу 900-х годов насчитывалось также 458 внегородских промышленных центров с рабочим населением свыше одного миллиона человек. О России уже нельзя было говорить, как о стране соломенных крыш и «заштатных» городов.

«Я решительно не вижу, чтобы результаты промышленной революции, совершающейся на наших глазах в России, отличались в чем-нибудь от того, что мы видим или видели в Англии, Германии, Америке», писал в 1892 г. Энгельс известному русскому народнику Николаю—ону. И, действительно, по силе и быстроте промышленного развития этих лет Россия не уступала, если не превосходила, Англии начала XIX века и Германии 70-х годов. Промышленный капитализм на расчищенной предыдущим развитием почве, торжествовал в ней победу и нес с собой все те последствия, какими сопровождается рост крупного капиталистического производства в каждой стране.

2. Массовое рабочее движение.

Быстрое промышленное развитие России приводит к ускорению и углублению процесса образования рабочего класса. Пролетаризация крестьянства, значительная и раньше, принимает все более широкие размеры и образовавшееся в деревне избыточное население во все большем числе отправляется в отход, на поиски заработков, в том числе фабрично-заводских. Для фабричного отхода условия складываются более благоприятно, чем в прежние времена, так как рост промышленности вызывает спрос на рабочие руки. Оскудение крестьянского хозяйства и возможность получить работу на фабрике содействует отрыванию фабричных рабочих от земли. По данным 90-х годов, в среднем не меньше 85—90% фабричных рабочих не уходят в деревню на полевые работы, т.-е. в той или иной мере порывают с деревней. Но процесс этого отрывания идет теперь и глубже. Статистическое обследование некоторых фабричных районов Владимирской губернии показало, что 80,6% рабочих не посылают в деревню денег из своего заработка, т.-е. не имеют уже совсем никакой связи с деревней. Вместе с тем все увеличивается число постоянных фабричных рабочих, таких, которые ничего, кроме фабричной работы, не знают, работают на фабрике из поколения в поколение. В общем можно принять, что таких преемственно, не в первом поколении, занятых на фабриках рабочих было до 40% всего числа рабочих. Не редкостью были и семьи, в которых фабричною работой были заняты не только отец или мать, но и дети.

В общей массе наемных рабочих, таким образом, решительно преобладали порвавшие связь с землей и деревней и образовывалось значительное ядро постоянного фабричного пролетариата. Фабрики требовали постоянного рабочего, который должен думать о фабрике и забыть о деревне,—фабричный рабочий такому требованию капитала поневоле подчинился, так как фабричная работа, а не земля становилась источником его существования. Оставаясь из года в год на фабрике, рабочий, даже сохранивший еще связь с

деревней, все больше подпадал под власть новых отношений, тех, которые царили на фабрике. Вопросы заработка, штрафов, притеснений и эксплоатации—вот те вопросы, которые стали, прежде всего, его интересовать. Работая вместе с сотнями таких же, как он, вынужденных продавать свою рабочую силу, он приучался связывать свои интересы с их интересами, действовать сообща, общими силами противостоять натиску капитала. Чем больше втягивался рабочий в эти новые отношения, тем тоньше становилась его связь с деревней, тем скорее он порывал с крестьянским мировоззрением и тем глубже проникался сознанием общности классовых интересов пролетариата.

Это основное ядро рабочего класса, однако, облегалось все новыми притекавшими из деревни свежими рабочими силами. Серая «деревенщина», связанная еще всеми корнями с деревней, приносила с собой и крестьянские настроения и примитивно-крестьянские формы борьбы. Она поддавалась, конечно, обработке в новых отношениях, постепенно меняла свой облик, поскольку длительно оставалась на фабрике, но постоянный приток этой свежей силы расслаблял однородность рабочего класса и осложнял его борьбу. Однако, не следует преувеличивать значение этого обстоятельства. Прошлое рабочего движения всех стран показывает, что руководящую роль в этом движении играет основное ядро постоянных фабричных рабочих, хотя бы в таком руководстве ему и приходилось преодолевать пассивность и отсталость свежих отрядов рабочего класса. Осложнения здесь могут быть только временные, так как и отсталая масса, по необходимости втягиваясь в борьбу, ею еще не осознанную, перерабатывается в процессе этой же борьбы, на следующем уже этапе легче поддаваясь руководству основного пролетарского ядра, для которого фабричный труд и борьба давно уже составляют одно неразрывное целое. Процесс переработки свежей рабочей силы, находится, таким образом, в зависимости также от общей социально-экономической обстановки, вызывающей социальную борьбу того или иного напряжения.

Обстановка эта для роста рабочего класса складывается благоприятно как на внутри-российском, так и на международном фронте. Промышленный под'ем порождает ускорение пульса общественно-политической жизни России, в движение приходят различные общественные слои, наряду с рабочим классом быстрее подвигается рост и других классов. С другой стороны, пробуждение русских рабочих к активной жизни совпадает с под'емом рабочего движения на Западе. В 1889 году оформляется международное об'единение рабочих (второй Интернационал), вслед затем падает в Германии исключительный закон против социалистов, после длительного застоя повсюду на Западе поднимается волна экономической и политической борьбы рабочих, крепнут рабочие

партии. Отзвуки этой борьбы доходят и до России, не только заражая рабочих новой энергией, но и подавая им пример классовой организации.

Рост промышленного капитализма и рабочего класса в первые же годы занимающего нас теперь десятилетия, привел к усилению борьбы рабочих, которого Россия раньше не знала. Небывало быстрый темп промышленной жизни пред'являл неослабевающий спрос на рабочую силу, а становившаяся все более призрачной связь с деревней, в которой не оставалось ничего другого, кроме безнадежной переспективы голода, заставлял рабочего не только крепче держаться фабрики, но и стремиться улучшить свое положение, как фабричного рабочего, обреченного на постоянную связь не с деревней, а с фабрикой. Борьба развертывается, конечно, не сразу, как не сразу она от оборонительной переходит в наступательную. Оживление намечается уже в первое пятилетие 90-х годов, но только со второго пятилетия активность рабочего класса определенно повышается.

Борьба выражается, конечно, в стачках, нередко еще осложняемых разгромами фабрик, фабричных лавок и т. п. В 1892 г. происходят стачки на фабриках Залогина и Прохорова (Тверской губ.) и беспорядки в Юзовке. В 1893 г. бастуют рабочие фабрики Хлудова (Рязанск. губ.), железнодорожных мастерских в Ростове на Дону, нескольких фабрик Петербурга и Харькова; особенно выделяется летняя стачка этого года четырех ткацких фабрик в г. Шуе, Владим. губ., когда рабочие добились сокращения рабочего дня с 13 часов до 12 ч. с отменой сверхурочных работ и с сохранением прежней платы. В 1895 г. происходят забастовки в Петербурге на Путиловском заводе, на фабрике Торнтона, на табачной фабрике Лаферм, на Ярославской Большой мануфактуре, на нескольких фабриках в Москве, в Иваново-Вознесенске, в Тейкове и т. д.

Со второй половины 90-х годов число бастующих рабочих почти из года в год увеличивается. Так, в 1895 г., по оффициальным даным, бастовало 31,195 рабочих, в 1896 г.—29.527, в 1897 г.—59.870, в 1898 г.—43.150, 1899 г.—57.498. В действительности бастовало многим больше, так как в оффициальные данные включены сведения о забастовщиках лишь в заведениях, подотчетных фабричной инспекции, так что в расчет не принимались многие горные предприятия, железнодорожные, ремесленные заведения и т. п. Вместе с тем стачечная борьба рабочих определенно переходит из оборонительной в наступательную. Так, из всего числа бастовавших рабочих бастовало в связи с требованием *повышения* заработной платы: в 1895 г.—17,8%, в 1896 г.—5,6%, 1897 г.—10,3%, в 1898 г.—16,0%, в 1899 г.—47%, и в связи с *противодействием уменьшению платы*—в 1895 г.—49,7%, в 1896 г.—12,7%, в 1897 г.—13,9%, в 1898 г.—13,8%, в 1899 г.—10,8%. В то время, как число оборонительных забастовок уменьшается, число наступательных, при ко-

лебаниях, все же ростет. Новой чертой стачечного движения является также групповой или коллективный характер стачек, когда бастует не одно, а несколько предприятий: в 1895 г. в коллективных стачках участвовало 41% всех бастовавших рабочих, в 1896 г.—47%, в 1897 г.—73%, в 1898 г.—76%, в 1899 г.—54%.

Высшего напряжения стачечная волна девяностых годов достигла весной 1896 и зимой 1897 г., когда одновременно бастовало в Петербурге до 30—35 тысяч текстильных рабочих. Стачка 1896 г. возникла по сравнительно мелкому поводу: петербургские фабриканты пожелали отпраздновать коронацию Николая II за счет рабочих, приостановив работу 14 мая с оплатой этого дня и «разрешив» рабочим не являться на фабрики 15 и 16 мая, но уже без оплаты этих дней. Так как на некоторых фабриках работы не производились все три дня, то рабочие потребовали уплаты и за эти дни. Дальнейший ход событий так был изложен в докладе, представленном русскими социал-демократами международному социалистическому конгрессу в Лондоне в 1896 г.: «Почтенные представители русской промышленности,—по крайней мере многие из них,—наотрез отказались удовлетворить требования рабочих, настаивавших на получении платы за коронационные дни, которые они «прогуляли» не по своей воле. Такой отказ получили, между прочим, рабочие так называемой Екатерингофской мануфактуры, расположенной на одной из окраин Петербурга. Рабочие этой мануфактуры обратились за помощью к другим бумагопрядильням и послали к ним своих делегатов. Рабочие целого ряда бумагопрядилен горячо отозвались на этот призыв; было постановлено представителям разных фабрик собраться на сходку и формулировать общие всех бумагопрядилен требования. В конце мая состоялось в Екатерингофском парке собрание делегатов, присутствовало на нем человек сто—явление совершенно необычайное для Петербурга и поражающее всякого, хоть немного знакомого с политическим режимом русского государства. На этой сходке под открытым небом были выставлены общие требования для всех занятых в бумагопрядильнях рабочих». В числе других требований (повышение расценок, регулярная выдача заработка и т. п.) на первое место выдвигалось требование сокращения рабочего дня с 13 час. до 10½ часов в сутки и окончание работы по субботам в 2 часа дня.

Рабочие стойко держались свыше 3-х недель. Несмотря на широкие денежные сборы рабочими, забастовавшие долго продержаться не могли, тем более, что правительство начало применять жестокие репрессии. 18 июня стачка прекратилась. Некоторые требования рабочих были удовлетворены, другие, в их числе сокращение рабочего времени, было обещано рассмотреть. Так как последнее обещание выполнено не было, то в январе 1897 года борьба возобновилась ,рабочие ряда фабрик забастовали. На этот раз забеспокоились фабриканты и правительство. На некоторых фабриках

было обещано с апреля сократить рабочий день, правительство также ускорило работу по выработке закона об уменьшении продолжительности рабочего времени. Тем временем стойкость рабочих решено было сломить локаутами и полицейскими репрессиями. Отчасти цель эта была достигнута и рабочие стачку прекратили. Но победа осталась на стороне рабочих—2 июня 1897 года был опубликован закон о сокращении рабочего дня до 11½ часов в сутки.

Мы расскажем ниже об участии в руководстве этими стачками петербургской социал-демократической организации. Замечательно, однако, то, что стачки возникали, так сказать, самопроизвольно, без воздействия со стороны, и что рабочие проявляли не только стойкость, спокойствие и выдержку в борьбе, но и достойную удивления организованность. «Приятной неожиданностью оказалось для нас то открытие,—пишет в своих воспоминаниях участник движения того времени Б. Горев,—что к началу забастовки у рабочих совершенно независимо от нашего «Союза», уже была какая-то самочинная организация, что у них появился зародыш боевой стачечной кассы, и что самая забастовка распространилась так быстро и организованно по всему Петербургу, благодаря специальным ходокам-агитаторам, посылавшимся рабочими с одной фабрики на другую». «Хотя замечались признаки пробуждения сознательности рабочих,—пишет другой участник движения Шаповалов,—увеличивалось требование на листки, на фабриках усилилось недовольство, однако никто не предполагал, что ткачи и прядильщики окажутся способными проявить такую выдержанность, стойкость, какие небходимы для проведения массовой стачки. Знакомые мои прядильщики и ткачи уверяли, что у забастовщиков есть свой подпольный стачечный совет представителей от фабрик, который организовал и об'явил забастовку».

Стачки 1896—1897 г.г. составили поворотный момент в истории рабочего и революционного движения России. Петербургский социал-демократический «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» имел все основания писать в первомайской прокламации 1897 г., подводя итоги прошедшему году борьбы: «Мы с гордостью можем сказать, что нам его стыдиться нечего. Этим годом начинается новая пора в жизни русского рабочего класса, этот год борьбы есть первый блеснувший луч после долгих мрачных лет каторжного труда и скотской, рабской жизни. Целый ряд почти непрерывных волнений и стачек, особенно же две огромные стачки ткачей и прядильщиков, следовавших одна за другой, распространили славу о петербургских рабочих далеко за пределы России».

Русский рабочий класс открыто вступил в борьбу. Массовое рабочее движение стало фактором, определяющим дальнейшее развитие революционного движения.

3. Эволюция народничества.

Резко менявшаяся социально-экономическая обстановка ставила в новые условия развитие общественной мысли, предопределяя ее новое направление. Капиталистическая революция, которою отмечены 90-е годы, существенно изменила соотношение общественных классов, внося в него значительно большую ясность. Если буржуазия, в это время промышленного расцвета и умелого использования щедрот правительства, не испытывала потребности менять свои позиции, то этого нельзя сказать о пролетариате и различных мелко-буржуазных группах. Развивавшийся капитализм нес с собой пролетариат, который, выростая не по дням, а по часам, выступал, как класс, в защиту своих интересов против капитала и самодержавной власти. Выступление пролетариата, как *класса*, отрывало его от бесформенной массы «народа»; занимая особое положение в капиталистическом обществе, он приобрел *свои* интересы и практиковал *свои* методы борьбы. Если раньше революционная мысль отрицала существование в России рабочего класса, то это в значительной мере об'яснялось тем, что сам рабочий класс не напоминал о своем существовании. Теперь на этот счет не могло быть сомнений, по крайней мере, для тех, кто способен был понять смысл происходящего. Революционная мысль, блуждавшая с 80-х годов между марксизмом и народничеством, могла получить точку опоры, чтобы разрушить остатки старых воззрений и всецело принять учение, которое является выражением революционно-исторических задач пролетариата.

С другой стороны, бурный рост капиталистических отношений лишил разные слои мелкой буржуазии, и, в первую очередь, в крестьянских массах, всякой устойчивости. На развалинах общины водворилось частновладельческое хозяйство, а часть мелких собственников крестьян превращалась в пролетариев. Сильные и раньше собственнические стремления крестьянства, теперь в нем господствовали безраздельно, как безраздельно господствовало над деревней товарно-денежное, капиталистическое хозяйство. Пытаться в этих новых условиях, перед лицом развивающегося капитализма и роста рабочего класса, сохранить народническое учение значило оправдать слова Маркса и Энгельса, что утопический социализм, имеющий в одних общественных условиях революционный характер, при других условиях превращается в реакционную систему.

Подобную эволюцию некоторые народнические течения начали переживать уже с начала 80-х годов. Мы уже упоминали, что в это время один из теоретиков легального народничества В. В. возлагал надежды на то, что экономическая устойчивость крестьянства последует в результате правительственных реформ. Глухая пора реакции

с ее проповедью «малых дел» и быстрое разрушение крестьянской «патриархальности», содействовали укреплению такого рода реакционно-утопических надежд. Все труднее становилось верить в «развитие» общины и народных идеалов» в какие-то высшие общественные формы, все чаще приходилось думать о спасении старых «устоев» крестьянской жизни, беспощадно разрушаемых экономическим развитием. Но и спасать, ведь, в сущности нужно было не мифические «устои», давно уже отошедшие в область исторического прошлого, а собственнические интересы мелкого производителя, погибающего под ударами капитализма, и не мистические «народные идеалы», устремленные вперед, к исканию социалистических путей, а консервативные настроения того же мелкого производителя, который видел рай земной в прошлом, когда никакая катастрофа не угрожала его благополучию собственника, хотя бы и живущего общиной, миром, артелью. Народничество и становилось выразителем интересов этого мелкобуржуазного крестьянства. А так как мелкий производитель-собственник враждебно настроен к капитализму только тогда, когда его эксплоатируют, но не тогда, когда он сам эксплоатирует других, то и народники в своих построениях желали товарного хозяйства без капитализма, а капитализма без эксплоатации труда и без экспроприации мелкого собственника. Утопия революционного народничества вырождалась в реакционную утопию мещанства.

Вместо стройного, хотя и утопического, учения народничества 70-х годов, теперь получилось эклектическое учение и притом также утопическое. Народники уже не могли не видеть глубоких изменений в строе всего народного хозяйства и крестьянского, в частности, они вынуждены были эти изменения признать, но в то же время продолжали верить, что дальнейшего развития в России капитализм не получит, твердили по старому о «народных идеалах» и сочиняли проекты, которыми можно было бы эти идеалы спасти.

«Изучение,—писал В. В.,—обнаружило в народной среде наличность таких форм быта и таких воззрений, которые лучше других, доселе осуществлявшихся в жизни, соответствуют требованиям, какие можно пред'явить обществу с точки зрения идеальных представлений о праве и справедливости». Таким образом, старые «народные идеалы», оказывается, сохранились во всей своей неприкосновенности и по прежнему могут выдержать самую строгую проверку с точки зрения самых современных представлений о праве и справедливости. Что же, продолжал ли В. В., как народники 70-х годов, думать, что для свободного развития этих народных идеалов нужно разрушить государство? Конечно, нет: он довольствуется много меньшим и для практического осуществления народнических пожеланий требует «умственного под'ема массы», который и принимается им «как главная задача переживаемого момента». А в та-

ком случае не удивительно, что, содействия торжеству «народных идеалов», В. В. готов был ждать от «общества» и от царского правительства.

В таком же беспомощном положении оказывался и другой, более вдумчивый народник, Николай—он, как только пытался воскресить старую веру в «развитие» общины. «Община в теперешнем ее виде,—писал Николай—он, община первобытная, несовместима с теми усложняющимися отношениями общественно-хозяйственного существования, которые соединяют все народы земного шара в одно общественно-хозяйственное целое. Пределы компетенции ее слишком узки; они должны быть расширены в смысле приобретения ею возможности приспособить свое существование к усложняющимся условиям общественности». В противоположность В. В., Николай—он, таким образом, не думал, что в общине все обстоит благополучно, напротив, община остается, по его мнению, еще первобытной и потому несовместимой со сложной обстановкой русского и мирового хозяйства. Но, быть может, Николай—он желал в таком случае скорейшей социальной революции на Западе, которая создала бы для общины более благоприятную обстановку? Конечно, нет. Мы видели, что он ждет приспособления общины к усложняющимся условиям общественности и требует развития «общинных начал», а не одной только земледельческой техники. Словом, скептическое отношение к «первобытной» общине нисколько не исцеляло Николая—она от утопии.

Третий народник Кривенко, сотрудник «Русского Богатства», полагал, что, если на Западе классовая борьба, быть может, и необходима, чтобы дойти до более совершенного общественного порядка, то все-же, «если есть возможность получить тот же результат без борьбы, то это будет лучше». Конечно, Кривенко думал, что в России можно избежать классовой борьбы. «Для обобществления производства,—писал он,—у нас только три общественных союза, из которых каждый очень важен и без которого нельзя обойтись; это — община, земство и государство». «Обобществить» производство должны были, таким образом, не только община, но и помещичье земство и дворянское государство.

Если к такому явно утопически-реакционному тупику приводили попытки сохранить в чистоте традиции старого народничества, то на практике все сводилось к старательной разработке системы мероприятий, с помощью которой можно было бы спасти крестьянство от разорения. Расширение мелкого землевладения, организация кредита, артелей, помощи кустарям и переселенцам и т. д.—такова система этих мер, которая, если и могла комунибудь помочь, то более состоятельному слою крестьянства, но она, конечно, не остановила бы разорения тех, кто не мог, по бедности, воспользоваться ссудой, кто не мог взять лишнего надела земли, так как у него не было рабочего скота и т. п. Дело, в лучшем слу-

чае, сводилось к исправлению мелких винтиков испорченной народно-хозяйственной машины. Программа правого крыла народников была, по существу, программой либеральной и потому со стороны русских либералов не встречала серьезных возражений. Либералы оспаривали «философию» народничества, отвергали его утопическое обоснование, но практически-политические выводы его принимали.

В другой своей части народничество намечало эволюцию в несколько другую сторону. Она пошла от старых революционеров-народников и народовольцев и была как бы продолжением той эволюции народовольчества, которая наметилась с начала 80-х годов.

В легальной литературе выразителем этого течения был Н. К. Михайловский. Виднейший теоретик народничества, близко стоявший к революционным народническим кругам, Михайловский еще в 70-х годах занимал особую позицию. Как и другие народники, он верил в особые пути развития России, но в то же время признавал, что капитализм делает уже у нас некоторые успехи; он не верил в близкое торжество социализма, в совпадение политической революции с социальной и потому был сторонником борьбы за политическую свободу, когда другие в этом вопросе еще колебались. «Вы боитесь конституционного режима в будущем, потому что он принесет с собой ненавистное иго буржуазии,—писал Михайловский в № 2 «Народной Воли». — Оглянитесь: это иго уже лежит над Россией в царствование благочестивейшего, самодержавнейшего императора божией милостью... Россия только покрыта горностаевой царской порфирой, под которой происходит кипучая работа набивания бездонных приватных карманов жадными приватными руками. Сорвите эту, когда-то пышную, а теперь из'еденную молью порфиру, и вы найдете вполне готовую деятельную буржуазию». Михайловский доказывал, что пора уже понять, что самодержавие выгодно только врагам народа. «Конституционный режим есть вопрос завтрашнего дня в России,—писал он.—Этот завтрашний день не принесет разрешения социального вопроса. Но разве вы хотите завтра же сидеть сложа руки? Разве вы устали бороться?» Отсюда Михайловский делал вывод, что не следует «жертвовать сегодняшней борьбой ради завтрашней», что нужно бороться за политическую свободу, за конституционный режим. Михайловский не во всем разделял мысли В. В., старался отмежеваться от него и даже отклонял от себя название народника. Но, разумеется, он был народником, потому что признавал особые пути развития России и верил, что ее минет чаша капитализма. Отличие его от народников типа В. В. и прочих состояло в том, что он не в такой мере склонен был идеализировать крестьянство и наделять его всеми теми превосходными качествами, какими наделяли его прочие народники. Полемизируя с В. В., он доказывал, что община нисколько не мешает

существованию женобойства, жестокого кулачества и других мерзостей, всего меньше похожих на альтруизм. Поэтому Михайловский, как он признавал в своей статье в «Народной Воле», не верил в крестьянское восстание. Но в таком случае, при признании необходимости борьбы за политическую свободу, оставался один вывод: эту борьбу должна вести интеллигенция в союзе с либеральным обществом. Михайловский принимал такой вывод, который был вместе с тем выводом, к которому приходили и народовольцы в начале 80-х годов.

Это течение народничества встречалось с таким же течением, шедшим от старых революционеров-народников. Показательны в этом отношении, прежде всего, настроения Кравчинского, какими они сложились к началу 90-х годов, настроения, несомненно, обозначившие сдвиг народнической мысли. Эмигрировав после убийства Мезенцева за границу, Кравчинский на родину больше не возвращался, но продолжал близко стоять к революционному движению. Он не примкнул ни к народовольцам, ни к группе «Освобождение Труда», поддерживая и с теми и с другими товарищеские отношения. Плеханов, как мы видели, считал Кравчинского последователем Прудона, сам Кравчинский причислял себя к социал-демократам, к «эволюционному», но не революционному крылу социал-демократии. Вся его статья «Что нам нужно», написанная в 1891 году, с содержанием которой мы сейчас познакомим читателя, содержит в себе скрытую полемику с группой Плеханова и открытую защиту той точки зрения, которая впоследствии получила название реформизма.

Кравчинский ставит в этой статье основной вопрос революционного движения: как расширить революцию, в чем искать ее поддержки, чтобы сдвинуть борьбу с мертвой точки. Кравчинский склонен думать, что опору можно было бы найти в крестьянстве, настроения которого со времени 70-х годов изменились. Но, ожегшись на крестьянской пропаганде, революционные партии не склонны повторять старые опыты и пока нет еще партии, которая ставила бы перед собою задачу работы среди крестьян,—хотя, делает оговорку Кравчинский, такая партия «не замедлит возникнуть при естественном росте движения или при первом широком признаке народного шевеления». Таким образом, революционное движение опирается еще исключительно на городские элементы — на рабочих, но преимущественно на интеллигенцию, на учащуюся молодежь, «на образованный класс, вообще». Кравчинский признает, что рабочие представляют в высшей степени благоприятную почву для восприятия политических и социальных идей, но отказывается видеть «в деятельности среди рабочих главный рычаг, которым может быть опрокинуто самодержавие». «Несомненно, — пишет он, — что численная сила рабочего класса не велика, а при незначительности образования, крайней разбросанности и полном отсутствии

классового сознания невозможно серьезно говорить в настоящее время об его самостоятельной политической роли, а тем паче руководительстве движением. Если капиталистический строй продержится в России еще несколько десятков лет, городские рабочие станут действительно первостепенной силой в государстве и опорой всякого прогрессивного движения. Для настоящего же движения они могут быть только подспорьем».

Если отпадают, таким образом, крестьяне и рабочие, то естественно, что главной опорой революционного движения остается «образованный класс». Но как привлечь его к делу революции? Кравчинский доказывает, что формула одной политической свободы утратила свою волшебную силу над сердцами, и сила эта принадлежит социализму. Сама энергия борьбы интеллигенции стоит в зависимости от отношения ее к социализму, и затишье движения Кравчинский об'ясняет ослаблением свежего притока социалистических идей. Ни о каком отказе от социалистической пропаганды, стало быть, не может быть речи. «Социализм,—пишет Кравчинский,—величайшая нравственная сила современного общества, и упрятать ее под спуд или так или иначе ослабить в России значило бы добровольно убивать то, что составляет душу и жизнь нашего движения». Но не помешает ли это сохранение верности социализму привлечению к делу борьбы «образованных классов», т. е. либеральных слоев «общества»? Кравчинский такой опасности не видит. Прежде всего, большинство наших либералов—«сторонники весьма радикальных экономических реформ, значительная доля сочувствует в принципе социализму», так что «запугать» их социализмом нельзя. А затем возможны различные пути к социализму. Кравчинский отказывается видеть какую-либо логику в соединении революционного социализма с борьбою за представительное правление и рекомендует признать точку зрения «эволюционного социализма», с которым он отождествлял тактику германской социал-демократии. «Мы предлагаем, — писал он, — прямо стать на сторону эволюционного социализма, признав свободное слово и печать и свободное голосование достаточными и, пока они гарантированы законом, единственными орудиями в будущей социальной борьбе». Все это дает Кравчинскому основание сделать вывод, что «социализм не стоит и не стоял препятствием для об'единения русской оппозиции». Препятствия эти возможны в политической программе, но и их можно преодолеть. Развивая свою политическую программу, Кравчинский пытается соединить конституционную монархию с демократическим строем, обеспечив свободу всем классам и партиям. «В современной России,—пишет он,—политическая свобода может осуществиться лишь в форме конституционной монархии», так как за республику пока не раздавалось голосов. «Нам дороги,—заявляет он,—с другой стороны, интересы свободы всех русских, без различия партий, и мы готовы

защищать ее во имя того общего внеклассового чувства гражданской солидарности, которое существует во всех передовых странах в тем большей степени, чем они культурней». Если так, то «в вопросе политическом, составляющем у нас злобу дня, наша программа есть именно программа передовой фракции русских либералов»,—заявляет Кравчинский,—и устранив это последнее препятствие, призывает к об'единению эппозиции—социалистической интеллигенции с либералами.

Как видим, Кравчинский одно за другим сжигал старые верования. Сначала отпали крестьяне и рабочие, как опора революционного движения; затем на место «революционного социализма» стал «эволюционный» с отказом от тактики, предусматривающей обострение классовой борьбы в условиях политической свободы; наконец, выдвигая на первый план политическую борьбу, Кравчинский останавливается на конституционной монархии и обещает либералам такую же защиту их прав, как и прав трудящихся масс. Старый революционер-народник приходил к идеологии буржуазной демократии.

Что это не был результат каких-либо личных переживаний Кравчинского, но что это было общей эволюцией определенного крыла народничества, показывает то обстоятельство, что очень близкие настроения охватили и часть народников, живших в России. Как раз к этому времени возвратились из ссылки некоторые из народников и застали на родине печальную картину. «Веруя по прежнему в «народ»,—рассказывает о царивших тогда настроениях Аптекман,—народники девяностых годов воздерживались, однако, от постройки каких-либо народническо-*революционных* программ, не пытались также делать опыта революционно-народных организаций в деревне. Трагический пример семидесятников, как memento mori, живо еще стоял перед их глазами. Народники 90-х годов больше тяготели к мирной культурной деятельности в деревне. Деятельность эта, правда, обставлена была всякими приказными рогатками и заставами. Но что делать? Всякие же революционные опыты, пока масса еще не пробудилась, только приведут к вящшей правительственной реакции, к большему угнетению. Теперь не время великих подвигов. Теперь время творчества, органического строительства, накопления и сохранения энергии. Придет пора—и народ скажет свое слово: тогда годами накопленная энергия найдет себе выход по линии наименьшей траты сил, тогда и наша тихая работа учтется народом, тогда и мы выступим сомкнутыми рядами. А пока надо подождать...»

Вернувшиеся в родную обстановку старые революционеры, среди которых были такие выдающиеся деятели 70-х годов, как Натансон, Аптекман, Тютчев и др., пытались разбудить и расшевелит эту застывшую в апатии народническую интеллигенцию. Но на деле оказалось, что и сами они потеряли под собой почву и преем-

ственности со старым народничеством возродить не могут. Разбираясь в собственных настроениях и в окружающей действительности, они приходили к заключению, что силы их ничтожны и потому развернуть свою революционно-народническую программу в полном ее об'еме они не могут. Необходимо, поэтому, сосредоточить внимание на том, чего безусловно требует исторический момент—на борьбе за политическую свободу. Когда же силы окрепнут, тогда можно будет и полностью развернуть знамя. «Поступая таким образом,—поясняет Аптекман,—мы ничуть не погрешаем против основных принципов нашего революционного народничества. Мы только не делаем *второго* шага, не сделав первого. Наш первый шаг, это—*первый* этап на длинном и трудном пути освободительного движения».

Эта цепь рассуждений приводила и к другому заключению: чтобы успешно вести борьбу за политическую свободу, нужно опереться на какие-нибудь общественные классы. Слабость свою эти народники видели в том, что не могли опереться на крестьянство, а отсюда они делали вывод, что нужно об'единить все оппозиционные элементы, т. е. интеллигенцию с «обществом»—либералами.

Так, летом 1893 года возникла партия «Народного Права», в которую вошли многие старые народовольцы и к которой близко стояла редакция «Русского Богатства», с Михайловским во главе. Брошюра «Насущный вопрос», в которой обосновывалась программа новой партии, направила острие своей критики против правого народничества, с его идеализацией крестьянства и отказом от политической борьбы. «Пора стряхнуть с себя гнет обветшалых идей народничества, культурничества, проповеди малых дел. Пора также отрешиться от благоговейного преклонения перед мифическим «богоносительным» народом, с его какой-то никому неведомой особливой правдой, якобы отличной от общечеловеческой. Пора стать, наконец, на почву действительности. Ведь, это абсурд—ожидать, что разные архаические формы народной жизни, навеявшие нам это мифическое представление о народе, скорее процветут под охраной чиновников самодержавия, чем под щитом свободных учреждений». Далее доказывалось, что социализм и политическая свобода не только не исключают друг друга, но, напротив, неразрывно связаны; социализм усиливает стремление к политической свободе, политическая свобода—необходимое условие осуществления социализма. Однако, это указание на связь социализма с политической свободой преследовало лишь цель борьбы с правым народничеством, но не вело за собой включения в программу наряду с требованиями политической свободы каких-либо социалистических стремлений. И брошюра «Насущный вопрос», и «Манифест Партии Народного Права» выдвигают исключительно вопросы борьбы за политическую свободу. Цель партии

формулировалась в «Манифесте» таким образом: «Соединить все оппозиционные элементы страны и организовать деятельную силу, которая добилась бы при помощи всех нравственных и материальных средств, акими она располагает, уничтожения самодержавия и обеспечения каждому прав гражданина и человека». «Насущный вопрос» к этому добавлял, что причиною поражения народовольчества были не ошибки революционеров и не косность народных масс, а «холопство, отсутствие гражданского мужества и политическая незрелость тогдашнего русского общества». Задача, поэтому, должна состоять в том, чтобы воздействовать на это незрелое «общество».

Народоправцы, как и Кравчинский, выдвигали исключительно требование политической свободы, вокруг которого должны об'единиться все оппозиционные элементы; как и Кравчинский, они успех своей программы видели в отказе от социализма; как и он, они приходили к буржуазному демократизму. Отказ программы от социализма означал на деле отказ от апелляции к тем угнетенным классам, которые должны вести борьбу, хотят или не хотят того авторы разных программ. Об'единение всех оппозиционных элементов, при отказе от социализма, означало капитуляцию народнической интеллигенции перед либеральным «обществом», т. е. переход ее на точку зрения буржуазной демократии.

Партия «Народного Права» просуществовала недолго—едва ли около года—и не оставила после себя никаких следов. Но заключавшаяся в этой попытке тенденция дала свои плоды позже, когда народническая интеллигенция различными путями, в том числе через «эволюционный социализм», пришла к буржуазной демократии. В 90-х годах, во всяком случае, определенно наметилась следующая стадия разложения народничества—сближение правого его крыла с либерализмом, левого—с буржуазной демократией.

4. Марксизм против народничества.

На этом фоне разложения старого «русского социализма» тем ярче выделялись успехи молодой социал-демократии. То, что разлагало народничество, укрепляло почву и расширяло горизонты марксистской идеологии. Бурное развитие капитализма, глубокие изменения в народном хозяйстве, вскрытые голодом 1891 года, быстрое оформление рабочего класса и первые шаги его массового выступления—все это не только оправдывало то, что было сказано русской социал-демократией в первые же годы ее зарождения, но и открывало возможность плодотворного применения социал-демократического учения к жизни.

Шелгунов когда-то писал о переломе в общественных настроениях начала 30-х годов: «Теперешний наш умственный момент—великий исторический момент. В нем как бы повторяются сороко-

вые годы, когда в окружающем затишьи работало наболевшее чувство и зрела широкая общественная мысль». Шелгунов имел в виду, говоря это, возрождение разночинной интеллигенции и ее идеологии, созревание ее мысли, претендующей, как раньше, на гегемонию. Но в действительности глубокий сдвиг общественной мысли в 90-х годах имел совсем другой смысл. Речь шла не о возрождении с новой силой господства идеологии разночинной интеллигенции, находившего свое оправдание в неразвитых общественных отношениях, но о своего рода идейно-общественном размежевании, о господстве идеологий, отражавших настроения созревших общественных классов—буржуазии и пролетариата. Если эволюция народничества в сторону либерализма и буржуазной демократии означала приближение оформляющейся буржуазной демократии, то расцвет марксистской мысли был отражением жизненных запросов оформляющегося пролетариата. При значительно более развитых отношениях, при глубоко зашедшем общественном расслоении, теперь уже невозможна была идейная гегемония какого-нибудь одного общественного слоя, но, напротив, была возможна лишь борьба идейных течений, отражавших классовую борьбу в самом обществе. Поэтому характерными для общественных настроений 90-х годов, как времени перелома в особенности, являются попытки не об'единения, а размежевания, не эклектическое примирение противоположных идеологий, а борьба их, по силе и напряжению не имевшая примера в прошлом.

Но в то время, как буржуазия еще только лениво поворачивалась и не собиралась активно выступать, пролетариат шумно и бурно врывался в жизнь. Капиталистическая революция с наибольшей силой всколыхнула «низы», выбивая крестьянство из состояния относительного равновесия и ставя перед рабочим классом впервые его классовые задачи. Пассивность рабочего класса подлежала теперь окончательной исторической ликвидации. В условиях быстрого и бурного капиталистического развития эта пассивность неизбежно должна была смениться активностью— сперва обороны от разгула капиталистической эксплоатации, а затем наступления для экономических и политических завоеваний. Эти радикально изменившиеся условия существования рабочего класса властно требовали сдвига эклектически-медлительной марксистской мысли русских социал-демократических кружков переходного времени 80-х годов и смены ее мыслью решительной и смелой, которая была бы способна побороть застойную идейную атмосферу, задерживавшую рост классового сознания пролетариата, и дала бы стихийному движению рабочих силу движения классового и социалистического.

Этот процесс созревания социал-демократической мысли протекал в таких же бурных формах, в каких протекало и оформление рабочего класса. Революции в области общественных отношений

здесь в точности соответствовала идейная революция. Внешним показателем ее уже с самого начала 90-х годов могло служить то, что, наряду с женевской группой «Освобождение Труда», в самой России народились новые силы, которые могли продолжать дело Плеханова и обеспечить ему победу. Скворцов, один из первых русских марксистов (еще с конца 80-х годов), талантливый, много обещавший и так рано умерший Федосеев, Ленин и Мартов, друзья и соратники, потом разошедшиеся—вся эта молодежь сочетала в себе яркую индивидуальность и ясность самостоятельной мысли, силу больших знаний и революционную преданность делу рабочего класса. А за ними—много других, меньшего калибра, воодушевленных тем же делом рабочего класса и составивших то первое поколение русских социал-демократов, которое вместе с последующим, более молодым поколением, притекавшим в их ряды, вынесло на своих плечах первые десятилетия работы среди пролетариата.

Революция идей, соответствовавшая революции в общественных отношениях, сказалась, прежде всего, в направлении работы марксистской мысли. Если раньше, как мы видели, внимание привлекала по преимуществу «политика», и эволюция совершалась в направлении более последовательного признания необходимости борьбы за политическую свободу, то теперь задача ставилась шире. Успехи и результаты капиталистического развития требовали и облегчали пересмотр самых основ народничества и ликвидации последних его пережитков, при том не только в «политике», но и в «экономике». Не случайность, поэтому, что в самом начале 90-х годов Скворцов печатает в «Юридическом Вестнике»—другого убежища не нашлось!—ряд статей, анализирующих крестьянское хозяйство с точки зрения марксизма, Ленин пишет не опубликованную в свое время статью о южно-русском крестьянском хозяйстве, Федосеев пишет работу об освобождении крестьян от крепостной зависимости, Струве, тогда еще молодой марксист, посвящает свои первые работы вопросам экономического развития России. Это не был отвлеченный интерес к «экономике». Это была проверка идейного наследства народничества на фактах экономической действительности, проверка, которая имела в виду пересмотр не отдельных сторон народнического мировоззрения, а самых его основ, его веры в «народные идеалы» и в особые пути развития России. Это было не столько продолжением работы робкой мысли социал-демократических кружков 80-х годов, сколько продолжением той работы, которой начало положил Плеханов в «Наших разногласиях».

Критический пересмотр народнических положений привел к подтверждению на новых данных и в новых условиях тех выводов, к которым пришел Плеханов. Но теперь эти выводы приобретали новую силу и предполагали новые последствия. Плеханов с гениальной проницательностью предусмотрел в начале 80-х годов

тенденцию экономического развития и связанной с ним классовой борьбы. Теперь молодые социал-демократы могли установить, что эта тенденция в значительной мере уже реализована в жизни, что капитализму не предстоит только торжество, но что он *уже* торжествует; в своей практической работе они чувствовали дыхание пробуждающегося рабочего класса. Между старыми и новыми социально-экономическими отношениями пролегала все большая пропасть, пропасть образовалась и между старыми и новыми настроениями. Если в 80-х годах еще царила «примиренческая» тенденция и социал-демократические кружки мирно сожительствовали с народническими, то теперь такое сожительство становилось все менее жизненным, и дух борьбы, которым сильно социал-демократическое учение, приобретал новую силу в пробуждавшейся активности рабочего класса. Не о примирении со старым могла быть речь, а о размежевании с ним, о борьбе с той идеологией, которая, будучи продуктом отсталых экономических отношений, ни в какой мере не соответствовала революции в этих отношениях и, поскольку она сохранялась, препятствовала росту классового сознания пролетариата.

Удары марксистской критики направились, прежде всего, на то легальное народничество, которое выродилось в реакционное учение торжества интересов мелкого собственника. Идеологи этого собственника, народники, не могли понять смысла происходившей на их глазах экономической революции, и еще меньше могли понять марксизм. В революционном учении, которое, будучи в корне враждебно капиталистическому порядку, в противоречиях последнего ищет силы для борьбы с ним, они видели учение, оправдывающее капитализм, и ему служащее. Если марксист говорит, что капитализм не может не развиваться и развивается в России и что к социализму она может притти путем дальнейшего капиталистического развития с его обостряющимися противоречиями и классовой борьбой, то,—заключали отсюда народники—марксисты должны содействовать развитию капитализма и служить капиталу. Кривенко писал в «Русском Богатстве», что при марксистских воззрениях «нечего уже стесняться ни скупкою крестьянской земли, ни открытием лавок и кабаков, ни иною нечистоплотною деятельностью, раз она соответствует цели», т. е. росту капиталистических отношений в деревне. «Некоторые, говорят,—писал Кривенко,—идут на заводы, (когда, впрочем, представляются хорошие технические и конторские места), мотивируя свое поступление исключительно идеею ускорения капиталистического развития». Такими же благоглупостями наполнял свои статьи и Михайловский, говоря вслед за В. В. о том, что марксисты прямо настаивают на необходимости разрушить «экономическую организацию, обеспечивающую трудящимся самостоятельное положение в производстве», что имеются «настоящие и не настоящие» марксисты, но все они готовы в той или иной

мере послужить капиталу. Совершенно очевидно, что народники выполняли этим реакционную миссию, усыпляя общественную мысль и задерживая ее движение вперед, в соответствии с изменяющимися запросами жизни. Борьба с народничеством становилась вопросом будущности рабочего движения, потому что в затхлой атмосфере застоя мысли грозил застой и пробуждающейся рабочей мысли, а привлечь к работе среди пролетариата свежие силы революционной интеллигенции нельзя было иначе, как предварительно освободив ее от влияния народнических идей. Русскому марксизму предстояло снова совершить первоначально ту работу, которую проделал Плеханов в начале своей социал-демократической деятельности. Но если Плеханов начал полемикой с народовольцами, как с родственным революционным направлением, то русские марксисты 90-х годов начали борьбу с народничеством, как с течением реакционным.

Борьба была жаркая, атака смелая и для неприятеля опустошительная. Сперва это были голоса из подполья—борьбе с народничеством в легальной литературе предшествовала борьба нелегальная. Началось с того, что марксисты начали бомбардировать «Русское Богатство», ставшее в борьбе с марксизмом крепостью народничества—письмами, протестующими и раз'ясняющими. Федосеев разразился письмом из Владимира, Ф. А. Липкин (Череванин)—из Харькова двумя обстоятельными письмами, одобренными харьковским социал-демократическим кружком и выпущенными отдельным изданием. Михайловский в одной из своих статей писал, что он получает много таких писем и даже статей в марксистском духе, которых он, конечно, в своем журнале не печатал. Вслед за легкой артиллерией писем была пущена и тяжелая артиллерия. Весной и летом 1894 г. Ленин пишет обстоятельную работу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов», причем работа печатается на гектографе и получает распространение. Очевидно, в различных концах России крепла марксистская мысль и чувствовала себя настолько сильной, что считала возможным перейти в наступление.

Впрочем, литература писем носит еще больше оборонительный характер: авторы их стараются снять с себя нелепые обвинения, которые бросал по их адресу Михайловский, властитель дум народнической интеллигенции. «Своей формулировкой,—писал в своем письме Череванин,—вы, вместе с В. В., приписываете нам какую-то активную деятельность в сторону разрушения существующей экономической организации, между тем, как основной нашей точкой исхода, на которой мы строим свою практическую программу, является, напротив, убеждение, что характер нашей экономической эволюции, как до сих пор не зависел, так не может зависеть и в более или менее близком будущем, от той или другой деятельности интеллигенции. С начала 70-х годов вы доказываете существова-

ние в России особых условий, благодаря которым она может миновать капиталистическую стадию развития. Мы отрицаем наличность таких условий. Мы находим, что ход экономической эволюции, как до сих пор состоял в разрушении экономической организации, унаследованной от крепостного права, так и впредь будет отличаться тем же характером». Федосеев, в свою очередь, изобличал Михайловского в непонимании идеи марксизма. «Вы утверждаете перед вашими читателями, — писал он, — что русские марксисты прямо настаивают на необходимости разрушить нашу экономическую организацию, обеспечивающую трудящимся самостоятельное положение в производстве. От каких это марксистов вы слышали, или где в их произведениях читали, что они прямо или даже косвенно настаивают на лишении хозяйственной самостоятельности работника-крестьянина и кустаря?.. В настоящий момент первоначального капиталистического накопления, когда индустриальный капитализм только что организуется, а капитал орудует, главным образом, на поприще обмена—экспроприируемому сельскому населению предстоит не в «фабричном котле вывариться» (выражение Зибера), а погибнуть от голода и болезней. Это хорошо известно русским марксистам. А вы предполагаете, что мы, русские марксисты, спокойно и даже радостно взираем на эти ужасы и даже «прямо настаиваем» на дальнейшем разорении деревни... Нас до глубины души возмущает подобное обвинение, основанное у вас на непонимании нашей идеи».

Ленин не оправдывался, а прямо переходил в наступление, причем меньше всего считал благоглупости Михайловского и других каким-то недоразумением, основанным на непонимании идеи марксизма. Подвергнув обстоятельной критике «суб'ективный метод» Михайловского, народнические воззрения Кривенко, Южакова и др., Ленин приходил к выводу, что народничество превратилось в реакционное учение. «Теория этих идеологов мещанства,—писал он,—когда они выступают в качестве представителей интересов трудящихся, прямо реакционны. Они замазывают антагонизм современных русских общественно-экономических отношений, рассуждая так, как будто бы делу можно помочь общими, на всех расчитанными мероприятиями по «под'ему», «улучшению» и т. д., как будто бы можно было примирить и об'единить. Они реакционны, изображая наше государство чем-то над классами стоящим и потому годным и способным оказать какую-нибудь серьезную и честную помощь эксплоатируемому населению. Они реакционны потому, наконец, что абсолютно не понимают борьбы, и борьбы отчаянной, самих трудящихся для их освобождения». «Социалисты должны решительно и окончательно разорвать со всеми мещанскими идеями и теориями»,—таков полезный урок, который, по мнению Ленина, должен быть извлечен из похода «друзей народа», т. е., народников, на социал-демократов. Но все эти мелко-буржуаз-

ные теории являются реакционными, поскольку они выступают в качестве социалистических теорий. А так как на самом деле в них нет ничего социалистического и отражают они интересы мелкой буржуазии, то естественно возникает вопрос, как следует отнестись рабочему классу к мелкой буржуазии. На этот вопрос Ленин отвечал: «Он (т. е. класс мелкой буржуазии) является прогрессивным, поскольку выставляет общедемократические требования, т. е. борется против каких-бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении... Эти две стороны мелко-буржуазной программы следует строго различать, и, отрицая какой-бы то ни было социалистический характер этих теорий, борясь против их реакционных сторон, не следует забывать об их демократической части». Иначе говоря: «Борьба рядом с радикальной демократией против абсолютизма и реакционных сословий и учреждений—прямая обязанность рабочего класса, которую и должны внушать ему социал-демократы, не упуская ни на минуту в то же время внушать ему, что борьба против всех этих учреждений необходима лишь, как средство для облегчения борьбы против буржуазии». Таким образом, уже первая атака народничества дала возможность сделать плодотворные выводы, выясняя, что борьба с народничеством—не борьба идей, а борьба классов, что перед пролетариатом стоит задача борьбы за политическую свободу и что, борясь рядом с другими, он не должен забывать о своей основной задаче—борьбе с капиталом за полное свое освобождение.

Ставя перед социал-демократами практически-политические задачи, Ленин в то же время подчеркивал необходимость, важность и громадность предстоящей ей теоретической работы. «Социалистическая интеллигенция только тогда может расчитывать на плодотворную работу,—писал он,—когда покончит с иллюзиями и станет искать опоры в действительном, а не желательном развитии России, в действительных, а не возможных общественно-экономических отношениях. Теоретическая работа ее должна будет при этом направиться на конкретное изучение всех форм экономического антагонизма в России, изучение их связи и последовательного развития; она должна вскрыть этот антагонизм везде, где он прикрыт политической историей, особенностями правовых порядков, установившимися теоретическими предрассудками. Она должна дать цельную картину нашей действительности, как определенной системы производственных отношений, показать необходимость эксплоатации и экспроприации трудящихся при этой системе, показать тот выход из этих порядков, на который указывает экономическое развитие». Ленин выдвигал эту теоретическую работу не в интересах отвлеченного знания. «Эта теория,—писал он,—основан-

ная на детальном и подробном изучении русской истории и действительности, должна дать ответ на запросы пролетариата,—и если она будет удовлетворять научным требованиям, то всякое пробуждение протестующей мысли пролетариата неизбежно будет приводить эту мысль в русло социал-демократизма». Обогащение и углубление теории должно послужить делу освободительной борьбы пролетариата.

Задача, как она формулирована была Лениным, для разрешения своего требовала большого простора развития марксистской мысли. Письмами в редакцию народнического журнала и брошюрами, отпечатанными на гектографе, не двинешь теоретической работы и, главное, не сделаешь результатов ее общим достоянием. А работу эту, начатую Плехановым, надо было продолжать, необходимо было разобраться в новой и все усложнявшейся обстановке, чтобы на основе изучения действительности расширить горизонты практической работы. И как бы под напором рвущейся вперед мысли, поддаются полицейские рогатки, и марксистское учение с шумом врывается в легальную литературу, чтобы с единственно тогда еще доступной трибуны сказать новое слово и посчитаться со словами старыми.

«Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление,—писал впоследствии об этом времени Ленин,—в самую возможность которого не мог бы поверить никто в 80-х или начале 90-х годов. В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста,—внезапно пробивает себе дорогу в *подцензурную* литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех «интересующихся» понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию (революционного) народничества, не замечая, как водится, ее внутренней эволюции, радуясь *всякой* направленной против нее критики. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная армия цензоров и жандармом разыскала нового врага и обрушилась на него,—до тех пор прошло не мало (на наш русский счет) времени. А в это время выходили одна за другой марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились буквально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг».

Картина была, действительно, необычная, как необычно, впрочем, было и время. В умеренную и аккуратную подцензурную литературу ворвалась, что называется, подлинная революция, та революционная проповедь, за которую садили в тюрьмы и ссылали в Сибирь. Марксисты, чтобы избежать цензорского карандаша, писали намеками, злоупотребляли кавычками и многоточиями, но все, кроме цензоров, понимали их. Вместо «марксисты» и «социал-

демократы» писали «ученики»—и все понимали, что речь идет об учениках Маркса; Маркса называли «известным немецким экономистом», самодержавие—«старым порядком» и т. д. Сила была не в том или ином слове, а в революционной мысли, которую понимали все чуткие читатели, в которых тогда недостатка не было. Не стало дела и за писателями. В 1894 г. вышла книга Плеханова (Бельтова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», блестящий памфлет, направленный против противников материалистического понимания истории. В 1896 г. появилась вторая книга Плеханова (Волгина) «Обоснование народничества в трудах г. В. В.», посвященная критике экономических воззрений народничества. С марта 1897 г. марксистам удалось завладеть журналом «Новое Слово», который раньше находился в руках народников. В этом журнале помещаются статьи Плеханова (псевдоним Каменский), Ленина (Тулин), Мартова (Егоров), Засулич (Иванов), Потресова, Струве, Туган-Барановского и других. С осени 1896 г. по март 1897 г. марксисты руководили газетой «Самарский Вестник», в которой печатались статьи Федосеева, Маслова, Циммермана (Гвоздева), Струве и др. После закрытия «Нового Слова» выходил марксистский журнал «Начало», закрытый на пятом номере.

Этот период «легальной» пропаганды марксизма продолжался недолго (собственно до 1899 г.), расцвет его приходится на 1896—1897 г.г. За это время задача, поставленная Лениным теоретической работе, была в основном закончена. Марксистскому анализу была подвергнута не только экономическая действительность России в ее разнообразных проявлениях, но и вопросы философии истории, искусства, литературной критики, истории общественной мысли и т. д. Критика народничества сопровождалась положительным обоснованием марксизма, и многие вопросы, до того трактовавшиеся в легальной литературе только в народническом понимании, получили новое освещение. Можно сказать, что уже к концу 90-х годов русский марксизм преодолел препятствия для своего дальнейшего роста и настолько окреп, что стал оказывать влияние на развитие русской общественной мысли вообще.

Новое учение пользовалось чрезвычайной популярностью, победа последователям его доставалась без особого труда. Часто молодой студент, приехавший домой на летний отдых, быстро завоевывал для марксизма местную молодежь, хотя и должен был итти на бой против убеленных сединами народников. Старые кумиры низвергались, создавались новые. К марксизму льнули и годные, и негодные. Это было время, когда русская разночинная интеллигенция, по словам Плеханова, «вообразила себя готовой целиком перейти на точку зрения пролетариата», когда «все мало-мальски передовые люди об'являли себя марксистами».

Но, разумеется, мало было быть «передовым» человеком, чтобы стать на точку зрения пролетариата, тем более, что далеко не все

шли к марксизму для того, чтобы принять эту точку зрения. Силы, выступавшие в период «легальной» пропаганды марксизма, вовсе не были однородны. Как писал Ленин, «кратковременное процветание марксизма на поверхности нашей литературы было вызвано союзом людей крайних с людьми весьма умеренными». Или, как формулировал другой ближайший участник движения, Потресов, «к марксизму тяготела и та интеллигенция, для которой главным моментом в ее обращении к этому учению явилось желание стать на почву идущего вперед капиталистического процесса развития», т. е. та, которая склонялась не столько к точке зрения пролетариата, сколько к точке зрения буржуазной демократии европейского типа. Это правое крыло временного союза составляли, собственно, «легальные марксисты», Струве, Туган-Барановский, Богучарский, Бердяев и другие. Они принимали не «всего» Маркса. Как еще многим раньше, наши буржуазные экономисты принимали учение Маркса о стоимости, отвергая Марксово учение во всем прочем, так и теперь «легальные марксисты» принимали марксистский анализ капиталистического развития России, марксистскую критику народничества, но не считали обязательным принятие прочих сторон марксизма. Струве находил, например, что философское учение Маркса подлежит исправлению, что Маркс предполагает переход к социализму путем постепенной эволюции, грубо представлял себе отношение марксистов к развивающемуся капитализму, утверждая, что государство должно итти навстречу капиталистическому развитию, смягчая в то же время его крайности и т. д. Хотя союз с крайними левыми и сдерживал «легальных марксистов» и даже отчасти толкал их влево, все же расхождение давало о себе знать и многими сознавалось. Против писаний Струве и др. в «Новом Слове» письменно протестовала самарская группа социал-демократов (Маслов и др.), а еще раньше, в 1895 г., против Струве выступил Ленин в марксистском сборнике, сожженном цензурой.

Таким образом, «союз» носил в себе элементы не только расхождения, но и грядущей борьбы. Конечно, «союз» этот сыграл чрезвычайно крупную роль и без него распространение и развитие марксистских идей было бы сильно замедлено и затруднено. Но, с другой стороны, со страниц легальной печати шла проповедь не только марксизма, но и псевдо-марксизма, а это вносило в умы новую путаницу. Социал-демократии пришлось возобновить теоретическую работу и начать борьбу с псевдо-марксизмом, который был в действительности и, как мы увидим, скоро сам об'явил себя буржуазным демократизмом.

4. Социал-демократические организации 90-х годов.

Предыдущее изложение показало нам, насколько радикально к 90-м годам изменились социально-экономические отношения в

России. Развитие капитализма подвинулось далеко вперед, пробуждалась рабочая масса, разлагалась старая народническая идеология и крепла новая марксистская, от революционной народническо-интеллигентской массы откалывались и обособлялись буржуазно-демократические элементы. Классовая борьба, протекавшая до того времени в более или менее скрытых формах, переходила в открытые формы, пульс политической жизни страны бился быстрее. Само собой разумеется, что все это не могло не создать новой обстановки для деятельности революционных социал-демократических организаций и не изменить характера их работы.

Изменения эти, впрочем, наступили не сразу. Некоторое время преобладающим типом организации остаются небольшие пропагандистские кружки, преемственно возникающие из кружков 80-х годов или заново образующиеся. Почти во всех крупных промышленных и университетских центрах такие кружки и группы существовали и в самом начале 90-х годов.

В Казани, а затем во Владимире, группы связаны с именем Федосеева, одного из первых русских социал-демократов, выдающегося талантом, знаниями и преданностью революционному делу. Невелики были связи Федосеева, но, по отзывам всех его знавших, влияние его в Поволжьи было громадно, и те, кто находились под его влиянием, разносили новое учение по другим городам. В Самаре велико было влияние Ленина, имевшего связи с федосеевским кружком в Казани еще в конце 80-х годов. В Петербурге, после разгрома брусневской группы, образовались новые: в одну вошли С. И. Радченко и его жена Л. Н. Радченко, Н. К. Крупская и др., вторую организовал Мартов (Юлий Цедербаум). В Киеве организатором явился Ювеналий Мельников, о котором мы упоминали выше, в Одессе выделялся Рязанов, под влиянием которого стали социал-демократами Стеклов и Цыперович, ставшие во главе местной группы, в Харькове руководил группой Липкин (Череванин) и т. д.

Кружки и группы начала 90-х годов в части своей были определенно социал-демократическими, в части—заканчивали свою эволюцию к социал-демократии, ликвидируя переходное состояние, характерное для кружков 80-х годов. По словам Мартова, в конце 1891 года марксизм, как политическая программа действия, в Петербурге не был известен, или, вернее, был известен лишь по некоторым брошюрам Плеханова. Осенью 1892 года Потресов привез из-за границы много изданий группы «Освобождение Труда», чтение которых содействовало быстрому политическому созреванию мартовского кружка. Стеклов рассказывает, что переходу его и товарищей от увлечения народовольчеством к марксизму содействовало, помимо личного влияния Рязанова, получение из-за границы транспорта нелегальных изданий, заключавшего в себе изрядное количество «марксистского противоядия», т. е., литературы группы

«Освобождение Труда». Вообще, к началу 90-х годов издания женевской группы не составляют редкости в библиотеке любого кружка, по крайней мере, крупных центров, и влияние Плеханова на выработку миросозерцания нового поколения революционеров сказывается вполне определенно.

По характеру своей деятельности кружки начала 90-х годов ничем не отличались от своих предшественников: она состояла в кружковых занятиях, в пропаганде. «Большинство моих слушателей искало образования,—рассказывает один из участников киевского движения.—Моя задача сводилась к тому, чтобы заставить их сделать революционные выводы из доступного для них материала. Одним из способов было ознакомление их по иностранным корреспонденциям русских газет (по «Русским Ведомостям») с западноевропейским рабочим движением. Мои знакомые были ремесленники: ювелиры, заготовщики (сапожники), кузнецы и друг.— большей частью евреи. Проходились начатки естествознания, читалась статья Шелгунова «Пролетариат во Франции и Англии». Давались избранные повести и рассказы русских писателей. Читался Эркман-Шатриан — «История одного крестьянина», и статья Писарева об этом романе. Давался «Спартак» Джиованниоли, «93-й год» В. Гюго, «Борьба за право» Француза, «Углекопы» Зола. Читались «Экономические беседы» Курышева, «Капитал и труд» Свидерского, «Программа работников» Лассаля и некоторые другие его сочинения. Но центр тяжести занятий лежал в беседах, которые по возможности переходили на практические вопросы о количестве часов работы, о заработной плате, о прибыли хозяина и пр.». Приблизительно так велась работа и в кружках других городов, разнясь только своим размахом. В одних местах связи с рабочими были больше, в других—меньше, соответственно менялся состав кружков: в крупных промышленных центрах, как Петербург, кружков было больше и связи с рабочими прочнее, так как почва здесь была подготовлена еще работой прошлых лет.

В общем, деятельность кружков и групп начала 90-х годов была прямым продолжением работы кружков 80-х годов и даже народников более раннего времени. Но она была значительно выше, так сказать, по качеству своему. Народнические кружки вырабатывали рабочую интеллигенцию и содействовали росту ее классового сознания вопреки своим предположениям; социал-демократические кружки переходного времени преисполнены были добрых намерений, но не всегда могли их выполнить, так как сами по своим воззрениям не стояли еще на высоте задач. Кружки и группы начала 90-х годов ничего другого, кроме света классового сознания, нести в рабочую массу не могли, так как именно это и составляло их главнейшую задачу.

Однако, уже сравнительно скоро обнаружилось, что одна про-

паганда всех запросов не удовлетворяет. Перелом этот обозначился, прежде всего, в еврейском рабочем движении западных губерний, где работа вообще велась более интенсивно и приняла социал-демократический характер раньше, чем в других местах России. Обнаружилось, что кружковская пропаганда, целесообразная на определенной стадии движения, при других условиях становится тормазом движения, оставляя рабочую массу без воздействия и отрывая от нее распропагандированных рабочих. «Для интеллигенции задача пока заключается в том, — говорилось об этом времени в докладе «Бунда» международному социалистическому конгрессу 1900 года, — чтобы ее пропаганда охватила возможно больший круг рабочих, чтобы найти, другими словами, тот минимум сил, помощью которого она бы впоследствии могла приступить к массовой агитации. И эту задачу она успешно выполняет; в короткое сравнительно время ей удается сконцентрировать в кружках порядочное количество рабочих. Масса же, со всеми ее повседневными нуждами, пока почти находится вне сферы воздействия интеллигенции. Понятно, что такое положение дела должно было фатально отозваться на самих распропагандированных рабочих. Получая в кружках чисто теоретическое образование, лишь слабо связанное с окружающей действительностью, и потеряв благодаря этому связь с этой действительностью, они естественно должны были все больше терять почву под ногами. Доверяя лишь умственно и нравственно развитой личности, они не могли не относиться скептически к массе, куда еще не проникал луч сознания, и естественно должны были ставить первой задачей—поднятие культурного и умственного уровня массы. Средство же для достижения этого они знали лишь одно—пропаганду. Ясно, что при таких воззрениях кружковые рабочие должны были враждебно относиться ко всякой попытке массовой агитации, считая ее преждевременной и даже вредной. Таким образом, система кружковщины, подняв отдельных избранных рабочих над окружающей рабочей массой, ставила их тем самым в противоречие с этой массой». С другой стороны обнаружилось, что масса, поскольку делались попытки воздействовать на нее, не поддавалась еще такому воздействию, так как раньше в ее среде не велось систематической работы. Между тем, сама рабочая масса пробуждалась и готова была вступить в борьбу с предпринимателями. Разрешить создавшееся противоречие между характером работы социал-демократических организаций и запросами движения рабочей массы можно было только радикальным изменением усвоенной тактики—переходом к агитации в массе и к приспособлению кружковой работы к выработке рабочих-пропагандистов и агитаторов, призванных нести пропаганду и агитацию в рабочую массу.

Необходимость перехода к массовой агитации была впервые формулирована виленскими работниками в вышедшей в 1894 г.

брошюре «Об агитации», написанной А. Кремером и редактированной, по поручению группы, Мартовым. «Как социал-демократы,— писали авторы брошюры,—мы ставим своей задачей привести пролетариат к сознанию необходимости политической свободы, как предварительного условия для возможности его широкого развития. Но как добиться этого? Как ни проста и как ни очевидна идея политической свободы, проникнуться ею, притом еще в стране политически отсталой, рабочий класс не может до тех пор, пока он не станет задыхаться в данной политической атмосфере, пока удовлетворение ставших для него необходимыми потребностей станет невозможным в пределах существующих политических условий». Для осознания массой политического бесправия недостаточно самого факта этого бесправия, но необходимо, чтобы оно столкнулось со стремлением массы к улучшению своего положения. «Поскольку рабочие выдвигают то или другое требование значительного изменения в существующих на данной фабрике или в целой отрасли производства порядках, поскольку они вступают в такую борьбу, при которой неизбежно станет выясняться к ним не только отношение одного или нескольких хозяев, но и всех высших классов и правительства». «Расширяясь по мере своего развития, захватывая целые производства вместо отдельных фабрик, движение с каждым шагом все чаще сталкивается с государственной властью... Подготовляется почва для политической агитации. Эта агитация застает теперь класс сорганизованный самой жизнью, с сильно развитым классовым эгоизмом, с сознанием общности интересов всех трудящихся и их противоположности интересам всех других. Тогда изменение политического строя есть вопрос времени». Отсюда общий вывод: «Стать действительно народной партией социал-демократия может лишь тогда, когда она программу своей деятельности построит на действительно ощущаемых рабочим классом нуждах, и для достижения своей цели—организации рабочего класса—она должна начать с агитации на почве самых насущных, наиболее ясных рабочему классу, и наилегче достижимых мелких требований. Вызванная такой агитацией борьба приучит рабочих отстаивать свои интересы, поднимет их мужество, даст им уверенность в своих силах, сознание необходимости единения и, в конце концов, поставит перед ними более важные вопросы, требующие разрешения. Подготовленный таким образом к более серьезной работе, рабочий класс приступит к решению этих насущных вопросов, и агитация на почве этих вопросов должна иметь целью выработку классового самосознания. Классовая борьба в этом, более сознательном виде, создает почву, для политической агитации, целью которой будет изменение существующих политических условий в пользу рабочего класса». В соответствии с этим авторы брошюры отвергают тактические крайности—только агитация или только пропаганда, настаивая на том, что лишь восполнение одного метода другим приведет к желательным результатам.

Таким образом, задача, как ее формулировали Кремер и Мартов, сводилась к тому, чтобы от кружковой пропаганды перейти к массовой агитации на почве непосредственных нужд рабочих, с постепенным расширением этой агитации до постановки общих классовых задач пролетариата и политической борьбы. Нужно иметь в виду, что авторы брошюры «Об агитации» ни в какой мере не отказывались от борьбы за политическую свободу и основную задачу социал-демократии формулировали именно как стремление выработать политическое самосознание в массе рабочих и заинтересовать ее в политической борьбе.

Мысли, высказаные в брошюре «Об агитации» отразили не только виленские настроения. Приблизительно в то же время Ленин писал в брошюре «Что такое друзья народа»: «Рабочий не может не видеть уже, что гнетет его капитал, что вести борьбу приходится с *классом* буржуазии. И эта борьба его, направленная на достижение ближайших экономических нужд, на улучшение своего материального положения,—неизбежно требует от рабочих организации, неизбежно становится войной не против личности, а против *класса*, того самого класса, который не на одних фабриках и заводах, а везде и повсюду гнетет и давит трудящихся». В частности, подчеркивая необходимость теоретической работы социал-демократов, Ленин в то же время указывал, что «на первое место непременно становится всегда практическая работа пропаганды и агитации». Конечно, к такому выводу не повсюду приводили те же ближайшие причины, какие указаны были в цитированном выше докладе «Бунда». Если в еврейском рабочем движении особенно остро давала о себе знать оторванность распропагандированных рабочих от массы, то в других местах, в особенности в центрах крупной промышленности, перехода от кружковой пропаганды к массовой агитации требовало разроставшееся массовое стихийное движение рабочих. Если ремесленных рабочих и рабочих мелких предприятий нужно было будить для экономической борьбы и в этом направлении вести агитацию, чтобы преодолеть оторванность массы от рабочих верхов, то рабочие крупных предприятий сами вступали в борьбу с предпринимателями и агитация здесь требовалась для того, чтобы организовать движение и поднять его на высшую ступень. Но несомненно, что кружковая пропаганда повсюду, с одной стороны, в той или иной мере приводила к отрыву интеллигенции и передовых рабочих от массы, а с другой—затрудняла сближение их с массой, и потому подчас переход к новой тактике вызывал противодействие. В еврейском рабочем движении сторонникам агитации пришлось выдержать продолжительную борьбу с оппозицией. По словам Мартова, не без противодействия перешли к агитации в Петербурге. то же самое было в Киеве. Один из выдающихся руководителей киевской группы, Эйдельман, рассказывает что после длительных споров в группе обсуждение вопроса об агитации было пе-

ренесено в рабочие кружки и, в конце концов, большинство высказалось за переход к агитации. Противники немедленного перехода к агитации боялись преждевременного провала организации, без предварительного укрепления связей и подготовки преемников. Мельников выступил в защиту агитации, не отвергая в то же время пропаганды. «Лучше,—говорил он,—поднять массу на один дюйм, чем одного человека на второй этаж».

Усвоение метода агитации изменило характер деятельности социал-демократических групп. Кружковая пропаганда не прекращалась, но выдвигалась в ней задача подготовки пропагандистов и агитаторов для работы в массе. Цели агитации заставляют искать связи с фабриками и заводами, независимо от того, имеются ли на них рабочие кружки,—связи эти нужны для того, чтобы ознакомиться с нуждами рабочих и на их почве вести агитацию. Учащается выпуск листков к рабочим отдельных предприятий с изложением тягостных условий работы и с призывом к борьбе за улучшение условий труда. «В своем тактическом подходе к рабочим массам,—рассказывает в своих воспоминаниях о киевской группе Тучапский,—мы руководились здравым педагогическим правилом—от известного к неизвестному, от более доступного к менее доступному. Вследствие этого в наших прокламациях, обращенных к незатронутым еще нашей пропагандой и агитацией рабочим слоям, мы касались прежде всего экономической стороны положения рабочих, а затем переходили к освещению стороны политической. Если в столкновения между хозяевами и рабочими вмешивалась полиция или более высшее начальство, что случалось нередко, это давало рабочим наглядный политический урок, который, мы, конечно, не упускали подробно раз'яснить и обобщить». Рядом с агитацией шла и пропаганда, о которой Тучапский пишет: «Здесь мы старались подготовить сознательных агитаторов и пропагандистов из самой рабочей среды. Тут, понятно, и речи не могло быть об игнорировании «политического момента». Существовали кружки высшего и низшего типа, и таким образом явилась возможность создавать не верхоглядов, а действительно серьезно подготовленных работников».

Расширявшаяся агитационная деятельность требовала об'единения наличных революционных сил, делались попытки слияния отдельных групп в одну организацию. В Петербурге такая организация составляется из группы «стариков» (Ленин, Радченко, Кржижановский и др.) и «молодых» (Мартовская группа). После ареста «стариков» остатки группы во главе с Мартовым, оформляют в конце декабря 1895 г. организацию, дав ей название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В Киеве в конце 1896 г. образовалась группа «Рабочее Дело», которая с начала 1897 г. была также переименована в «Киевский союз борьбы за освобождение рабочего класса». В Москве в апреле 1894 г. организуется «Московский

Рабочий Союз», а с конца 1897 г.—«Московский союз борьбы за освобождение рабочего класса». В Николаеве, во главе с молодым Троцким, организуется в 1897 г. местная организация под названием «Южно-русский Рабочий Союз». В течение 1896—1897 г. г. такие же организации возникают в Харькове, Екатеринославе, Иваново-Вознесенске, Ростове на Дону, Нижнем-Новгороде и во многих других городах.

Сильнейший толчек как к образованию «Союзов борьбы» и родственных им организаций, так и вообще к переходу к массовой агитации, дали петербургские стачки текстильных рабочих 1896—1897 г.г. Прежде всего испытал на себе влияние этих стачек петербургский «Союз», усилиям которого расширить агитацию шла навстречу сама рабочая масса, впервые выступившая с такою организованностью на борьбу. «Мы, «юные марксисты»,—пишет Горев в своих воспоминаниях о стачках 1896—1897 г. г.,—не только «задирали нос», мы были буквально пьяны от радости и гордости. Это, ведь, был наш экзамен на аттестат зрелости, на право существования рабочей социал-демократической партии в России. Это было торжество марксизма, ответ, данный десятками тысяч серых питерских рабочих на критические писания Плеханова во мраке 80-х годов, подтверждение его уверенности и бодрости, так сверкавших с каждой страницы Бельтова... Помню, раз в начале июня, придя на Выборгскую сторону в квартиру Радченка, я застал Любовь Николаевну Радченко и Аполлинарию Александровну Якубову, кружащихся от радости по комнате в дикой пляске. Этот инстинктивный непосредственный порыв лучше всего выражал те буйные чувства, которые нас всех переполняли». Петербургский «Союз» развил большую деятельность по организации и руководству движением. В течение двух недель забастовки было выпущено около 25 прокламаций, отпечатанных на гектографе, в том числе несколько общих ко всем петербургским рабочим; бывали дни, когда сразу печатались и распространялись по три листовки. Работа облегчалась тем, что сами рабочие искали «студентов» для того, чтобы получить совет для формулировки требований, и, в особенности, листовок, которые пользовались огромной популярностью. По окончании стачки «Союз» в сильной прочувствованной прокламации «К обществу» констатировал зарождение новой могучей политической силы в России. В прокламации, обращенной к рабочим, «Союз» писал, что «отныне русский рабочий в своей борьбе примкнул к международной рабочей семье, ко всему рабочему классу». «Смело и бодро по прямой и широкой дороге рука об руку с рабочими всего мира—к нашей великой цели—полному освобождению рабочего класса от гнета капитала!»—такими словами заканчивалась прокламация.

Петербургские стачки, по словам Горева, впервые связали «Союз борьбы» с рабочими массами и дали ему множество пря-

мых связей. Этим самым стачки подтвердили правильность новой тактики—путём массовой агитации и, в особенности, руководством массовой борьбой, социал-демократия не только связывалась с рабочими массами, но и приобретала на них влияние, которое давало возможность расширять агитацию. Весть о петербургских стачках быстро разнеслась по России и сильно подняла настроение всех местных групп. В Москве была выпущена прокламация с призывом поддержать петербургских рабочих, прокламация о стачке была выпущена и в Киеве, как, вероятно, и в других городах. Тогда, конечно, еще нельзя было думать о том, чтобы поднять рабочих на поддержку петербургских стачечников, но участие местных групп в руководстве стачечной борьбой с того времени становится заурядным явлением.

Переход к агитации, постепенно принимающий массовый характер, приводит также к попыткам издания местных нелегальных газет. В 1896 г. в Петербурге выходят «Рабочий Листок» и «Рабочая Мысль», в Киеве—«Вперед», в 1897 г. в Киеве возникает «Рабочая Газета» и в Николаеве «Наше Дело», в 1898 г. в Петербурге «Рабочее Знамя», в 1899 г. в Екатеринославе «Южный Рабочий», на еврейском языке еще в 1896 г. начал регулярно выходить «Голос Рабочего» (Arbeiterstimme). К изданию газеты в Петербурге было приступлено еще в 1895 г., когда при арестах был взят весь заготовленный материал для «Рабочего Дела».

В какой мере массовая агитация на почве экономических нужд рабочих сочеталась с политической агитацией? «Особенно важно установить,—писал об этом Ленин,—так часто забываемый и сравнительно мало известный факт, что первые социал-демократы этого периода усердно занимаясь экономической агитацией (и вполне считаясь в этом отношении с действительно полезными указаниями тогда еще рукописной брошюры «Об агитации»), не только не считали ее единственной своей задачей, а, напротив, с самого начала выдвигали и самые широкие исторические задачи русской социал-демократии вообще, и задачу ниспровержения самодержавия, в особенности». Замечание это верно, прежде всего, относительно «Петербургского Союза Борьбы», в особенности того времени, когда во главе был сперва Ленин, потом Мартов. Первые социал-демократы этого периода действительно твердо стояли на той точке зрения, что всякая классовая борьба есть борьба политическая, разделяя в этом отношении точку зрения Плеханова и Аксельрода, и потому не могли уклониться в сторону переоценки экономической борьбы. Политические требования ими не заглушались и политическая агитация не отодвигалась в неизвестное будущее. В прокламации, выпущенной, напр., Петербургским Союзом Борьбы к 1 мая 1897 г. и составленной Лениным, указывалось, что «первое требование рабочих—политическая свобода». «Рабочие, а вместе с ними весь народ,—говорилось в прокламации,—должны получить право

участия в законодательстве и управлении государством, права свободно собираться, устраивать союзы и стачки, свободно обсуждать свои дела и иметь свободные книги и газеты (свобода печати)». Прокламация указывала, что, конечно, сразу нельзя добиться политической свободы, но каждый год 1 мая рабочие должны непременно заявлять политические требования, и правительство вынуждено будет уступить, опасаясь народного взрыва. Во второй прокламации, выпущенной в тот же день и подводившей итоги петербургским стачкам, указывалось, что день победы петербургских ткачей над фабрикантами и правительством должен слиться с днем 1 мая, «праздником борьбы с этими фабрикантами и этим правительством».

Однако, не всеми политическая агитация понималась, как задача дня, не все стояли на той высоте, какая правильно отмечалась Лениным для «первых» социал-демократов того времени. Это, между прочим, видно было Плеханову из прекрасного далека, показывая, между прочим, что он вовсе не был так оторван от русской жизни, как это некоторым теперь кажется. «Если я не ошибаюсь,—писал Плеханов в 1897 г. в письме в редакцию киевской «Рабочей Газеты»—в настоящее время наши русские товарищи не всегда помнят ту чрезвычайно важную мысль Маркса, что всякая классовая борьба есть борьба политическая. Забыть об этом хотя только бы на минуту можно лишь тогда, когда местные групповые дела и практические задачи текущего дня сосредоточивают на себе все внимание деятелей». «Я уверен—продолжал Плеханов,—что, когда вы об'ясните вашим читателям, в чем состоят истинные, «настоящие»—а не случайные местные—политические взгляды русских социал-демократов, тогда под ваше знамя окончательно встанут все те, которые и теперь уже разделяют ваше стремление, но удерживаются от полного слияния с вами ошибочными представлениями о политических стремлениях русских социал-демократов. Это очень важный вопрос, дорогие товарищи. Его можно назвать вопросом из вопросов нашего революционного движения. Раз'ясняйте его, возвращайтесь к нему, спорьте о нем на страницах вашего органа».

Плеханов не ошибался. Мы увидим, что, несмотря на широкий размах деятельности в условиях роста массового рабочего движения, в русской социал-демократии не все обстояло благополучно и она снова находилась на перепутьи и болезненно переживала новый переходной период.

5. Основание РСДРП и первый с'езд.

Оформление на местах организаций по типу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и развернувшаяся революционно-агитационная деятельность ставили на очередь вопрос об об'единении всех местных организаций в одну общероссийскую организа-

цию, о создании партии. Мысль об образовании партии не была, конечно, новой: организация самостоятельной рабочей партии являлась основным требованием, вытекавшим из программных положений социал-демократии, и потому мысль об образовании такой партии высказывалась неоднократно, по разным поводам и в различное время. На необходимость образования самостоятельной рабочей партии указывает в первых же своих выступлениях группа «Освобождение Труда»: в 1884 г. в об'явлении об издании «Рабочей библиотеки» она призывает передовых рабочих «направить все усилия на образование одного самостоятельного рабочего союза или рабочей партии». Эту же мысль не перестает повторять при всяком подходящем случае и Плеханов. Но только теперь давнишняя мечта основоположников русской социал-демократии могла приблизиться к осуществлению, потому что были уже налицо необходимые для того условия: на местах действовали организации, которые можно было об'единить, рабочее движение впервые становилось массовым—для деятельности партии было достаточно широкое и плодотворное поприще. Несомненно, что и в этом отношении сказалось историческое значение петербургских стачек 1896—1897 г. г., которые послужили ближайшим толчком к первой попытке об'единить все действующие революционно-социал-демократические силы. Уже доклад русских социал-демократов международному социалистическому конгрессу 1896 г., составленный Плехановым и Потресовым, отмечая, что «первые, самые трудные шаги на поприще организации русского рабочего класса уже сделаны, по крайней мере, местами», писал: «Между рабочими социал-демократическими организациями, действующими в различных местностях России, пока еще нет достаточной связи, а в их действиях—иногда и надлежащего единства. Создание такой связи и такого единства,—основание в России единой и нераздельной социал-демократической организации,—должно составить главную цель наших усилий в ближайшем будущем». В 1896 г. Ленин, находясь в тюрьме, составляет проект программы партии и пишет к ней обстоятельную записку, а Н. К. Крупская выезжает на юг (в Полтаву и Киев) для переговоров о подготовке с'езда. Возникала мысль о с'езде и в других городах—в Москве и Киеве.

Особенно много сделала для созыва с'езда и образования партии киевская группа «Рабочее Дело». Уже после выхода первого номера газеты «Вперед» (январь 1897 г.) возникла мысль об издании группой общерусской газеты при содействии прочих организаций. Желание двинуть это дело вперед, а также недостаток литературы и осведомления о рабочем движении в России, были главными побудительными причинами, заставившими киевскую группу приступить к переговорам о созыве совещания социал-демократических организаций. Группа вступила в сношения с виленской организацией, с Московским Рабочим Союзом, с «Петер-

бургским Союзом Борьбы» и с иваново-вознесенской организацией. Однако, виленцы не получили извещения о времени совещания, московский делегат показался киевлянам слишком юным и от него под благовидным предлогом отделались, из Иваново-Вознесенска делегат не мог приехать. В Киев прибыл только делегат Петербурга (Гольдман—Б. И. Горев), к нему присоединился делегат от киевской группы «Рабочее Дело» (Н. А. Вигдорчик) и делегат от киевской группы польских социал-демократов (К. А. Петрусевич), и таким образом состоялась первая конференция, вернее совещание, киевских делегатов с петербургским. Разумеется, в таком составе совещание могло заняться только подготовительной работой по созыву нового с'езда. Совещание постановило созвать с'езд, а предварительно организовать обще-русскую газету, поручив издание ее киевской группе. Постановлено было также, что все группы должны переименоваться в «Союзы борьбы за освобождение рабочего класса».

После этого совещания киевская группа «Рабочее Дело» выделила особую группу «Рабочей Газеты», которая приступила к изданию общерусской газеты под тем же названием и занялась подготовкой с'езда. Киевляне предприняли об'езд ряда городов, и на этот раз дело увенчалось успехом. К 1 марта 1898 г. в Минск приехали делегаты: киевской группы «Рабочей Газеты» (Б. Л. Эйдельман и Н. А. Вигдорчик), киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (П. Л. Тучапский), «Петербургского Союза» (С. И. Радченко), «Московского Союза» (А. А. Ванновский), екатеринославского «Союза» (К. А. Петрусевич) и три делегата от «Бунда» (А. Кремер, Мутник и Кац). Всего, таким образом, на с'езде было представлено четыре «Союза», «Бунд» и группа «Рабочей Газеты».

С'езд продолжался с вечера 1 по вечер 3 марта (ст.ст.) 1898 г., посвятив свои занятия, главным образом, организационным вопросам. С'езд постановил слить местные «союзы» и «Бунд» в единую организацию, дав ей название: «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия». По словам Эйдельмана, деятельнейшего организатора и участника с'езда, местные организации опасались за свою самостоятельность при существовании центра с широкими полномочиями и это отразилось на организационном построении партии. Наибольшая самостоятельность была предоставлена «Бунду», который был признан автономной организацией, самостоятельной в вопросах, касающихся специально еврейского пролетариата. Такое выделение «Бунда» об'яснялось тем, что он представлял уже до с'езда самостоятельную организацию (учредительный с'езд «Бунда» состоялся в 1897 г.) с центральным комитетом, обслуживавшим ряд местных организаций, и общероссийский центр не мог взять на себя, по крайней мере, на первых порах, задачу обслуживать еврейское рабочее движе-

ние с изданием литературы на еврейском языке и т. п. При обсуждении вопроса об отношении к национальным партиям, в особенности, к польской социалистической партии (P. P. S.), с'езд принял общее положение—признать за каждой нацией право на самоопределение, допуская вступление партии через Ц. К. в сношение с другими революционными организациями. Однако значительная самостоятельность была признана и за всеми местными комитетами партии. С'езд предоставил им право: 1) выполнять постановления Ц. К. в той форме, какую они найдут более подходящей к местным условиям, 2) в исключительных случаях отказываться от выполнения постановлений Ц. К., известив его о причине отказа и 3) по всем остальным вопросам действовать самостоятельно, руководствуясь лишь программой партии. Таким образом, право Ц. К. по руководству деятельностью партии сильно ослаблялось, так как местные комитеты получили широкую возможность в той или иной мере уклоняться от такого руководства и действовать самостоятельно. Очевидно, при построении партии с'езд руководствовался практическими соображениями — необходимостью положить начало партии и для этого пойти на уступки боязни местных комитетов за свою самостоятельность. С'езд определил далее права и обязанности Ц. К., признав высшим органом партии с'езд представителей местных комитетов, об'явил «Союз русских социал-демократов» за границей частью партии и представительством ее за границей и признал «Рабочую Газету» официальным органом партии. В первый Ц. К. с'езд избрал: Б. Л. Эйдельмана, С. И. Радченко и А. Кремера, с правом пополнить свой состав новыми членами. Центральному Комитету было поручено выпустить манифест партии.

При обсуждении последнего вопроса Тучапский предложил поручить составление манифеста Плеханову, но С. И. Радченко заявил, что в Петербурге имеется лицо, которое составит манифест. Радченко разумел Струве, который тогда считался социал-демократом и незадолго до того был за границей, виделся с Плехановым и другими и сотрудничал в журнале «Работник», который редактировали Плеханов и Аксельрод. Струве составил манифест, который был отпечатан и широко распространен.

Манифест указывал, что «пробуждение классового самосознания русского пролетариата и рост стихийного рабочего движения совпали с окончательным развитием международной социал-демократии, как носительницы классовой борьбы и классового идеала сознательных рабочих всего мира. Все новейшие русские рабочие организации всегда в своей деятельности сознательно или бессознательно действовали в духе социал-демократических идей». Силу и значение рабочего движения ярко обнаружили стачки во всех концах России, в особенности, петербургские забастовки 1896—1897 г.г., на которые правительство ответило уступками.

«Напрасно только правительство мнит, что уступками оно может успокоить рабочих,—говорилось в «Манифесте».—Везде рабочий класс становится тем требовательнее, чем больше ему дают. То же будет и с русским пролетариатом. Ему давали до сих пор лишь тогда, когда он *требовал,* и впредь будут давать лишь то, что он *потребует*». Пролетариат, прежде всего, требует политической свободы, которая нужна ему, «как чистый воздух нужен для здорового дыхания», но эту свободу он может завоевать только сам. «Чем дальше на восток Европы,—читаем в «Манифесте»,—тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия, тем большие культурные, политические задачи выпадают на долю пролетариата. На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынесть и вынесет дело завоевания политической свободы. Это необходимый, но лишь первый шаг к осуществлению великой исторической миссии пролетариата: создание такого общественного строя, в котором не будет места эксплоатации человека человеком. Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма».

Об'являя об образовании «Российской Социал-Демократической Рабочей Партии», манифест заканчивался такими словами: «Местные группы, соединяясь в партию, сознают всю важность этого шага и все значение вытекающей из него ответственности. Им она окончательно закрепляет переход русского революционного движения в новую эпоху сознательной классовой борьбы. Как движение, так и направление социалистическое, Российская Социал-Демократическая Партия продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России, ставя главнейшей из ближайших задач партии в ее целом — завоевание политической свободы. Социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой «Народной Воли». Но средства и пути, которые избирает социал-демократия, иные. Выбор их определяется тем, что она сознательно хочет быть и остаться классовым движением организованных рабочих масс. Она твердо уверена, что «освобождение рабочего класса может быть только его собственным делом», и будет неуклонно сообразовать все свои действия с этим основным началом международной социал-демократии. Да здравствует русская, да здравствует международная социал-демократия!».

Манифест выполнил свое предназначение, поскольку он об'являл об основании партии, об'яснял причины, которые к этому привели и намечал общую ближайшую задачу партии. Но манифест не был программой партии и ни в какой мере заменить ее не мог. Между тем, как читатель, конечно, сам заметил, с'езд не обсуждал ни программных, ни тактических вопросов. Чем это об'ясняется и было ли это только случайностью?

Обстоятельные воспоминания о с'езде, принадлежащие перу Б. Л. Эйдельмана, показывают, что это не было случайностью. «Если с'езд не выработал программы, значит ли это, что организации, об'единившиеся в партию, не имели своей программы?—спрашивает Эйдельман и отвечает: «Нисколько. В самом деле, в чем заключается содержание всех социал-демократических программ? Формулируя признание конечной цели организованного рабочего движения, социализм (программа максимум),—она вслед за тем дает перечень ближайших задач партии пролетариата данной страны в данный момент (программа минимум). А что касается методов борьбы за формулируемые программой задачи, то эти методы борьбы, тактика партии, с одной стороны, определяются основными положениями научного социализма, в формулировке которых, как и в формулировке программы максимум, мало нужды и возможности быть оригинальными, а с другой стороны, она определяется конкретными обстоятельствами места и времени. Таким образом, чтобы сделать практический шаг, организованному рабочему движению необходимо было определить не программу максимум, это уже было сделано, и не общие основные положения методов пролетарской политики, они уже давно были провозглашены основателями научного социализма; то, что необходимо должна была сделать группа «Раб. Газ.», как и группа основателей партии—это формулировка ближайших задач партии в России, успешно применимых методов и приемов борьбы, видимо в 1896—7—8 г.г. приближающих партию к формулированным ею, под непосредственную диктовку развивающегося рабочего движения, целям в России того времени». Эйдельман находит, что эти задачи удовлетворительно были выполнены до с'езда. «Рабочая Газета» сформулировала ближайшую задачу рабочего движения, как задачу борьбы с самодержавным правительством за политическую свободу. Что же касается вопросов тактики, то на них давала ответ брошюра «Об агитации» с ее формулой агитации на почве местных нужд и требований. По мнению Эйдельмана, всякий практический работник того времени ничего другого не предложил бы. А «на заостренный кол фактических (?) теорий никто из участников и подготовителей первого с'езда садиться не думал», — заканчивал полемической стрелой свое об'яснение Эйдельман.

Основатели партии свершили весьма большое историческое дело, но и большое историческое дело может быть не лишено пробелов и таким пробелом, бесспорно, является та цепь рассуждений, какая приводила к возможности снять в каком бы то ни было смысле с обсуждения вопросы программного и тактического свойства. Как видно из об'яснений Эйдельмана, участники с'езда полагали, что программы максимум и минимум уже даны Марксом и Энгельсом, и к ним ничего прибавить нельзя. Но если бы такой

вывод был правилен, ни одна из социал-демократических партий не имела бы своей программы. Между тем, каждая партия такую программу имела и весьма ответственная задача состояла здесь в том, чтобы применить общие положения научного социализма к условиям и особенностям данной страны. С другой стороны, мы имеем убедительное доказательство того, что не все «практические работники» того времени смотрели на дело так, как группа «Рабочей Газеты». Мы уже упоминали, что Ленин, сидя в 1896 году в тюрьме, но сохраняя связь с движением, пишет проект программы партии и обширную к ней записку и делает это несомненно в связи с планом созыва с'езда (вспомним, что как раз в это время Н. К. Крупская поехала на юг для переговоров о с'езде, о чем Ленин, конечно, не мог не знать). Если бы группа «Рабочей Газеты» и с'езд имели перед собой эту программу, они, конечно, убедились бы в том, что заняться разработкой программных вопросов—дело вовсе не бесполезное, несмотря на то, что над этим много поработали Маркс и Энгельс. Ленинский проект программы обосновывал задачи пролетариата не общими только положениями научного социализма, но анализом социально-экономического развития России, ростом капитализма, пролетаризацией кустарей и крестьян, ростом рабочего класса и обострением классовой борьбы на почве общественных отношений России. Такая программа не только об'ясняла рабочим, почему они должны сплотиться в самостоятельную партию, но и оправдывала такое сплочение характером социальных отношений и давала рабочему классу основанную на знании веру в торжество его дела, т.-е. преследовала и вполне «практическую цель». Точно также и в формулировке ближайших задач программа не довольствовалась общими указаниями на свержение самодержавия, но выдвигала программу-минимум, приспособленную опять-таки к русским условиям. На ряду с общими политическими требованиями (созыв земского собора, всеобщее избирательное право, свобода и т. д.) она требовала для крестьян, между прочим, возвращения излишне уплаченных за выкуп денег и возвращения отрезанных от них в 1861 году земель. Все это имело, конечно, первостепенное значение, прежде всего, для политической борьбы рабочего класса.

Еще более ошибочным было мнение, что все тактические вопросы исчерпывающе разрешены в брошюре «Об агитации». Мы увидим ниже, что как раз в это время на очереди стоял переход от массовой экономической агитации к *массовой агитации политической*, и задачи эти опять-таки сознавались некоторыми «практическими работниками» того времени, которые, разумеется не думали садиться на «заостренный кол», но и не отклоняли от себя проверки революционного опыта при свете социал-демократической теории и не отказывались ставить перед рабочим движением все новые задачи, двигать его все дальше вперед и вперед.

Между тем перед участниками с'езда, поскольку можно судить по об'яснениям Эйдельмана, такой перспективы не было. Они были первоклассными практиками, но в практике этой теория не находила надлежащего места. Характерны в этом отношении мотивы, по которым на с'езд не были приглашены заграничные деятели русской социал-демократии. «Мы особенно не доверяли—пишет об этом Эйдельман,—не-практикам (в узком смысле слова), вообще, как не знающим местных условий (на этом основан первый пункт устава с'езда) и кроме того особенно мы не доверяли заграничным из предполагаемой неконспиративности их». Конечно, ни Плеханов, ни Аксельрод, ни Засулич не были практиками «в узком смысле слова» и совсем не знали киевских или московских условий работы, так что, если иметь их в виду в этом качестве, то, пожалуй, нецелесообразно было приглашать их на с'езд. Но, ведь, они могли дать кое-что из того, что лежит за пределами знания местных условий—ту освещенную социал-демократической теорией перспективу революционного движения, которая для практики составляет дух живой. Но тогда не все так смотрели на «теорию». «Руководящее правило нашей тогдашней тактики,—пишет Эйдельман,—агитация на почве мелких требований и нужд, было единственным, что было принято всеми группами. Манипулируя этим могучим рычагом в фундаменте общества, будущие члены первого с'езда и их группы не соблазнялись бесплодными вершинами голых скал словесных и пустых отвлеченных построений». Вот это-то несколько равнодушное отношение к «отвлеченным построениям», с которыми могли быть, однако, связаны самые животрепещущие вопросы практики движения, нужно думать, и помешало организаторам с'езда уделить должное внимание программным и тактическим вопросам. Не даром и Ленин, близко стоявший к движению, как и Плеханов и Аксельрод, наблюдавшие его издалека, так настойчиво выдвигали перед социал-демократами задачу «теоретической работы». Не даром, в частности, Плеханов, в письме в редакцию «Рабочей Газеты», рекомендовал раз'яснять «политические взгляды социал-демократов», возвращаться к ним, спорить о них на страницах газеты. Конечно, он разумел под этим не «отвлеченный» спор о том, нужно ли бороться за политическую свободу или нет,—в такой общей форме ставить вопросы не было уже нужды. Но, судя по тому, что в том же письме Плеханов рекомендовал вниманию товарищей послесловие Аксельрода к брошюре «Об агитации», которое, по его словам, «проливает много света» на поднятый им вопрос, видно, что Плеханов правильно видел опасность уклона в сторону «экономики» и все время о ней предупреждал. Но признание в качестве ближайшей задачи рабочего движения борьбы с самодержавием за политическую свободу выдвигало и другие вопросы, требовавшие своего ответа. Подлежало проверке положение, нашедшее свое выражение и в манифесте партии, о том, что пролетариат может «сам»

добыть свободу, следовало разрешить вопрос об отношении пролетариата в его борьбе за политическую свободу к мелкой буржуазии, к крестьянству, к либеральной буржуазии, и т. д. Все эти вопросы вовсе не были «отвлеченными построениями», на них, как на вопросы практической политики, указывали и Плеханов, и Аксельрод, и в особенности Ленин в составленной им проекте программы и в об'яснительной к нему записке.

Как видим, с вопросами программы и тактики дело обстояло вовсе не так просто. Практические задачи, которые ставили перед собой организаторы с'езда, захватили все их внимание, и вне поля зрения их остались вопросы практической политики первостепенной важности, от правильного разрешения которых зависела ближайшая деятельность партии и ближайшая судьба рабочего движения. А это служило одним из доказательств того, что в социал-демократическом движении не все обстояло благополучно, что в нем намечались ненормальные уклоны, которые подлежали преодолению.

Организаторы и участники первого с'езда совершили большое историческое дело. «Я с радостью и гордостью вспоминаю о том, что был его участником»,—такими словами закончил свои воспоминания о с'езде Тучапский, и повторить их с правом мог бы каждый из основателей партии. Идея, властно выдвинутая всем ходом рабочего движения, была, наконец, осуществлена. И хотя вскоре же после с'езда были разгромлены местные организации и арестован только что избранный Центральный Комитет, но исторический рубикон был перейден и корни будущего партийного строительства заложены. «Одно имя партии об'единяло разрозненные до тех пор организации, правильно писал Тучапский.—Они уже не чувствовали себя чем-то отдельным, маленьким, жалким—они сознавали, что они—часть великого целого, великого, если пока не в реальности, то в идее». Местные группы и «союзы» превратились в комитеты РСДРП, и, хотя не было центра и партийного аппарата, который об'единил бы их в одно целое, но тем сильнее, с течением времени, стала расти тяга к об'единению. Первый с'езд, положивший начало партии, указал путь, по которому нужно было итти.

6. „Экономизм“.

Мы видели уже некоторые намеки на то, что, несмотря на все успехи рабочего и революционно-социал-демократического движения, не все в нем обстояло благополучно. Присмотримся теперь к этому поближе.

Рабочее движение второй половины 90-х годов было стихийным экономическим движением. Пробудившаяся рабочая масса, вполне естественно, прежде всего вступила в борьбу с тем, что угнетало и давило ее непосредственно, с чем она сталкивалась каждый день

и каждый час, чем определялась вся ее повседневная жизнь,—против кабальных фабричных порядков, жестокой эксплоатации труда, низкой заработной платы, чрезмерного рабочего дня, и т. д., и т. д. Борьба началась с борьбы против отдельного фабриканта, и такой характер она носила и тогда, когда бастовала не одна, а несколько фабрик—в этих случаях борьба направлялась не против одного, а против нескольких фабрикантов. Конечно, постепенно сознание рабочей массы поднималось, и борьба с отдельными капиталистами становилась борьбой против класса капиталистов, как и на тяжелых уроках жизни рабочая масса получала и уроки политического воспитания. Но, господствующим, преобладающим оставалось стремление улучшить свое экономическое положение, добиться уступки от фабриканта. И таким оставалось настроение не только отсталых слоев пролетариата или хуже оплачиваемых рабочих, как текстильных, но и передового ядра рабочего класса, как, напр., металлисты, которые уже порывали всякую связь с деревней и превратились в постоянных рабочих. Свеже притекавшие рабочие силы встречали в кадрах постоянного пролетариата те же настроения, которыми они сами жили,—стремление осилить нужду и поднять уровень своей жизни, прежде всего, борьбой экономической. Различие было лишь в том, что самая борьба носила различный характер, и в то время, как в крупных промышленных городах с значительным контингентом постоянных рабочих, стачки носили организованный характер, в других местах, с преобладанием «пришлых» и «свежих» рабочих стачки часто сопровождались разгромом фабрик, фабричных лавок, насилиями над фабричной администрацией и т. п., свидетельствующими еще раз о стихийности движения. С течением времени «бунты» становятся более редкими и движение принимает более организованный характер, но и в организованном своем виде оно сохраняет экономическое содержание.

Мы знаем, что эта экономическая борьба рабочих нашла себе поддержку в тактике социал-демократов, перешедших, под влиянием ее, от кружковой пропаганды к агитации на почве непосредственных нужд рабочих. Хотя агитация эта на первых порах вовсе не имела в виду ограничиться исключительно экономическими нуждами рабочих и предусматривала переход к политической агитации и к борьбе за политическую свободу, но непосредственным результатом новой тактики было усиление экономической агитации и, стало быть, укрепление тех настроений, какие царили в рабочей массе: экономическая борьба переходила лишь из стихийно-неорганизованной в организованную форму. Между тем, об'ективно массовое рабочее движение ко второй половине 90-х годов уже переростало эту стадию. Если, как правильно подметил еще Желябов, в России каждая стачка является событием политическим, то тем более *массовое* стачечное движение было в действительности уже движением политическим. В массовой стачечной борьбе рабочие

фактически выступали не только против класса капиталистов, но и против полицейского государства, которое поддерживало капиталистов: классовая борьба здесь, как всегда и всюду, была борьбой политической. Она еще не была такой в сознании рабочих, почему и задача социал-демократии заключались именно в том, чтобы внести это сознание в рабочую массу, помочь ей перейти к организованной и массовой политической борьбе. Иначе рабочему движению угрожала опасность распылиться, застыть на экономических формах, подпадая политическому влиянию не-пролетарских партий.

Конечно, эти глубокие изменения, происходившие в характере рабочего движения, не ускользнули от внимания наиболее вдумчивых теоретиков и практиков социал-демократии. Аксельрод еще в 1896 г. выдвигал перед пролетариатом широкие политические задачи. «Чтобы приобрести влияние в народных массах и стать крупной силой,—писал он,—союзам этим (т.-е. рабочим союзам) нужно будет только не упускать ни одного из резких фактов экономического и политического угнетения масс для того, чтобы распространять в них сознание неотложной необходимости для них избавиться от царского правительства. Развивать свое собственное политическое сознание и будить его в окружающей народной среде, выступать повсюду, где только возможно, впереди угнетаемых масс против угнетателей, возбуждать и направлять их головы и сердца к одной только в настоящее время цели, к низвержению царско-чиновнического всевластия—вот в немногих словах путь, по которому должны итти наши передовые рабочие». Несколько позже, в конце 1897 г.,—Аксельрод с «замечательной прозорливостью», как писал Ленин, наметил две возможных перспективы рабочего движения. Он писал: «Рабочее движение не выходит из тесного русла чисто экономических столкновений рабочих с предпринимателями и само по себе в целом лишено политического характера. В борьбе же за политическую свободу передовые слои пролетариата идут за революционными кружками и фракциями из так называемой интеллигенции... Другая перспектива—социал-демократия организует русский пролетариат в самостоятельную политическую партию, борющуюся за свободу рядом и в союзе с буржуазными революционными фракциями (поскольку таковые будут в наличности), частью же привлекая прямо в ряды или увлекая за собой наиболее народолюбивые элементы из интеллигенции». Раз'ясняя в 1897 году задачи русских социал-демократов, Ленин писал, что «в неразрывной связи с пропагандой стоит агитация среди рабочих, выдвигаясь естественно на первый план при современных политических условиях России и при уровне развития рабочих масс». Ленин подчеркивал, что агитация экономическая должна быть связана с агитацией «на почве ближайших политических нужд, бедствий и требований рабочего класса». Приблизительно в то же время Мартов писал: «Социали-

стам остается избрать один из двух путей: либо, ведя по прежнему устно и печатно политическую пропаганду, ограничиваться затем практическим участием в экономической борьбе пролетариата, выжидая, пока в ходе все обостряющейся экономической борьбы рабочие массы сами перейдут к непосредственной борьбе с правительством в тех формах, которые им представятся подходящими; или же взять на себя задачу теперь же организовать политическую борьбу рабочего класса так же, как старались организовать в последние годы борьбу экономическую».

Таким образом, уже в 1896—97 г.г. созревала мысль о необходимости перехода к массовой политической агитации,—об этом говорят и Аксельрод, и Ленин, и Мартов, каждый выдвигая разные стороны одного и того же вопроса. Необходима агитация не только экономическая, но и на почве ближайших политических требований рабочего класса; пролетариат должен не только развивать свое политическое сознание, но и будить его в других, выступая всегда впереди всех угнетенных: социал-демократия должна организовать политическую борьбу рабочих, как она раньше организовала их экономическую борьбу—таковы выводы, которые не только можно было сделать на основании опыта движения, но которые и были сделаны людьми более вдумчивыми и наблюдательными.

Какова же была позиция в этом отношении действовавших в России социал-демократических организаций?

«Теоретики русской социал-демократии издавна говорили о том,—читаем у Мартова,—что первой политической задачей пролетариата в России должно быть завоевание политической свободы. Признавали это и члены действовавших в России социал-демократических организаций и об этом говорилось в рабочих кружках пропаганды. Говорилось об этом и в листках, обращенных к рабочей массе; пользуясь вмешательством правительства в стачечную борьбу, социал-демократия указывала рабочим массам на враждебность правительства и существующего государственного порядка интересам пролетариата, на то, что пролетариату нужны политические права, нужна свобода. Но, указывая на необходимость борьбы за завоевание свободы, социал-демократия отодвигала ее на будущее время, так как сознавала свои силы еще слабыми для руководства такой борьбой, а массы пролетариата еще недостаточно сознавшими всю важность политической свободы». С другой стороны, пролетариат, как предполагалось, должен был дать сигнал к всенародному движению, но стачечная борьба его, носившая экономический характер, не могла увлечь на борьбу непролетарские элементы, да и сам пролетариат был еще слишком слаб, чтобы собственными силами выступить на борьбу за свободу. «Благодаря такому противоречивому положению,—писал Мартов,—получилось то, что о политической борьбе говорилось, как о неиз-

бежном деле *будущего*, но ее выводили из нынешней экономической борьбы пролетариата с хозяевами, причем, однако, не могли указать, каким образом эта экономическая борьба перейдет в политическую, какими способами будет пролетариат, один при всеобщем безмолвии, вести политическую борьбу. Массам говорилось, что политический строй России надо изменить и что для этого нужна прямая борьба; тут же прибавлялось, что для этой борьбы время еще не настало. И выходило так, что социал-демократия *удерживала* массы от немедленной политической борьбы».

Характеристика эта в точности соответствует действительности. Вот один из примеров. В марте 1897 г. происходили в разных городах студенческие демонстрации по поводу трагической смерти курсистки Петровой, которая сожгла себя в Петропавловской крепости, как говорили, после оскорбления, нанесенного ей каким-то жандармским офицером. Выступление студентов лишено было на этот раз академического характера и происходило исключительно на политической почве. Но «Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса» воздержался от призыва рабочих к участию в демонстрации, так как считал такое выступление преждевременным, а киевская группа «Рабочее Дело» убеждала рабочих на демонстрацию не итти. В особой прокламации последняя группа сочла необходимым подробно остановиться на демонстрации, так как «некоторые товарищи думают участвовать в этих волнениях и привлечь к участию своих товарищей». Прокламация признает значение политического протеста вообще и тем более необходимости бороться за политическую свободу. «Рабочий класс никогда не дойдет до окончательной победы, не сокрушив предварительно силы царского правительства»,—говорит прокламация. Но как сокрушить? «Приблизимся ли мы хоть сколько-нибудь к победе над деспотизмом тем, что примем участие в предполагаемой демонстрации?—спрашивает прокламация и отвечает: «Мы убеждены, что не только не приблизимся, а, напротив, отдалимся». «Наши рабочие еще только начинают понимать противоположность интересов своих и интересов капиталистов,—поясняет прокламация,—только начинают усваивать мысль о необходимости борьбы за улучшение своего экономического положения. Где же им понять политическое движение? Побуждайте их к экономической борьбе, к борьбе за насущный хлеб,—такая борьба им понятна, и на ней вы их воспитывайте. Пусть они сами почувствуют и поймут, что правительство мешает им бороться—тогда они сделаются сознательными сторонниками политической свободы. Пусть они пройдут школу борьбы экономической и тогда зовите их на политическую борьбу. Но теперь, пока они не прошли этой школы, пока в них еще нет политического самосознания,—теперь политическая демонстрация пройдет для них совершенно бесследно». Демонстрация не напугает правительства—«одна крупная, дружно и стройно

проведенная стачка, внушает правительству гораздо больше опасений». И поэтому прокламация обращается к сознательным рабочим: «Во имя успехов русского движения, во имя скорейшего свержения ига самодержавия, мы убеждаем вас, сознательные товарищи, предотвратить участие рабочих в предстоящих волнениях». В данном случае мы имеем полное подтверждение характеристики общего положения дел, данной Мартовым. Возможно, что киевляне трезво смотрели на настроения киевских рабочих, как возможно, что на призыв к демонстрации вообще откликнулись бы только немногие сознательные рабочие. Но во всяком случае, дело ограничивалось политической *пропагандой*, а политическая *борьба* отодвигалась в неопределенное будущее. Ибо кто же и когда мог с уверенностью сказать, что «экономическая школа» уже пройдена и пора сдавать экзамен на переход в школу следующей ступени— политической? При таком противоречии не оставлось ничего другого, как удерживать рабочих от политической демонстрации. А через два года рабочие сами шли на студенческие демонстрации, не только опровергая этим теорию «школ», но и придавая студенческому движению ярко политический характер.

Это вынужденное воздержание от политической агитации словом и делом выросло на почве стихийно-экономической борьбы рабочих. Тактика, намеченная в брошюре «Об агитации» полностью оправдала себя только в одном отношении: экономическая агитация действительно способствовала росту массовой экономической борьбы рабочих и классового их сплочения. Но революционное учение, как это уже бывало, — не поспевало за ростом рабочего движения. Последнее было уже на грани перехода в массовую политическую борьбу, а мысль его руководителей оставалась на одном месте, чтобы затем сделать даже шаг назад. Продолжая прямолинейно тактику агитации на почве экономической борьбы, несмотря на изменившиеся условия, она задерживала рост рабочего движения, благодаря чему, в свою очередь, крепли старые тактические традиции. Благоприятная почва для таких настроений создалась также в разрыве преемственности революционной работы, благодаря частым провалам организаций, и в массовом увлечении интеллигенции марксизмом, давшем марксизму много новых сил, которые не обладали, однако, ни теоретической устойчивостью, ни практическим опытом. Это было время т. н. кустарничества, о котором Ленин писал: «Новые ратники шли в поход с удивительно первобытным снаряжением и подготовкой. В массе случаев не было даже почти никакого снаряжения и ровно никакой подготовки. Шли на войну, как мужики от сохи, захватив одну только дубину. Кружок студентов, без всякой связи с старыми деятелями движения, без всякой связи в других местностях или даже в других частях города (или в иных учебных заведениях), без всякой организации отдельных частей революционной работы, без всякого

систематического плана деятельности на сколько-нибудь значительный период—заводит связи с рабочими и берется за дело». Такие «необстрелянные» и снабженные легким багажом руководители движения, конечно, легче всего поддавались давлению стихии и, в конце концов, шли за нею, вместо того, чтобы ею руководить и ее направлять.

Так постепенно складывались новые настроения, на почве которых зрели болезненные уклоны движения. Если сперва агитация на почве мелких требований и нужд считалась «могучим рычагом», избавляющим от необходимости соблазняться «отвлеченными построениями», то затем для одних задачи политической борьбы отходили в неизвестные дали и все поле зрения заполняла экономическая борьба, а для других стал на очередь пересмотр самых основ марксизма и социал-демократической тактики. Началась полоса т. н. «экономизма».

Не следует, впрочем, думать, что «экономизм» представлял собой цельное течение. В нем были свои оттенки, которые, при общей их основе, все же отличались друг от друга.

Представителем одного течения и, так сказать, основоположником «экономизма» была газета «Рабочая Мысль», начавшая выходить в Петербурге в октябре 1897 года сперва в издании особой группы, а затем, как орган петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Неуклонный рост рабочего движения, обозначившийся со второй половины 90-х годов, «Рабочая Мысль» об'ясняла тем, что «рабочий сам берется за свою судьбу, вырвав ее из рук руководителей». Рабочее движение было чуждо рабочему «пока движение было лишь средством для успокоения больной совести кающегося интеллигента». У рабочего не было и не могло быть ответа, за что бороться, с кем и по какому поводу бороться, потому что «экономическая основа движения была затемнена стремлением постоянно не забывать политического идеала», идеала, который вносила в движение «кающаяся интеллигенция». Широкая экономическая борьба положила конец этой зависимости от интеллигенции, «экономики»—от «политики». «Раз вопрос, за что бороться, ясен, раз враг перед глазами, русский рабочий умеет бороться, он уже доказал это,—писала «Рабочая Мысль». «Борьба за экономические интересы—самая упорная борьба, самая сильная по количеству душ, которым она понятна, и по геройству, с которым самый обыкновенный человек отстаивает свое право на существование». Политика же «всегда послушно следует за экономикой и, в общем итоге, политические оковы разбиваются попутно». Отсюда вывод: «Борьба за экономическое положение, борьба с капиталом на почве ежедневных насущных интересов и стачки, как средство этой борьбы—вот девиз рабочего движения». Рабочие должны знать, что «борются они не для каких-то будущих поколений, а для себя и для своих детей», что «каждая

победа, каждая пядь, отнятая у врага, есть пройденная ступень лестницы, ведущей к их собственному благополучию». Ведя экономическую борьбу, рабочие должны устраивать кассы, которые должны давать в будущем средства прежде всего не для занятий, не для книг, а для насущного хлеба во время разгара боя, во время стачек». Конечно, «и дело самообразования должно итти своим чередом, воспитывая интеллигентные единицы», но все же каждая стачечная касса «дороже для движения, чем сотня других организаций».

Такова сущность воззрений «Рабочей Мысли», изложенная самой газетой с похвальной стройностью и последовательностью. Основное положение социал-демократии—освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса—здесь упрощается, вульгаризируется до уровня примитивного сознания отсталого слоя рабочих. Рабочие—одно, а интеллигент—совсем другое; революционная интеллигенция это—«кающаяся интелигенция», которая неспособна стать на точку зрения пролетариата и которую к рабочим гонит ее «больная совесть»; интеллигенция привносит в рабочее движение только политику, «политические идеалы», которые способны лишь затемнить экономическую основу движения. Это противопоставление рабочего интеллигенции приводило к тому, что «Рабочая Мысль» с осторожностью трактовала даже вопрос о поднятии культурного уровня рабочей массы, об ускорении процесса выработки рабочей интеллигенции. Газета признавала, что нужно, разумеется, воспитывать «интеллигентные единицы», но удерживала от того, чтобы средства рабочих касс расходовались также на занятия и на книги—«все для экономики», как будто знание не составляет в руках рабочих сильнейшего орудия в экономической борьбе и как будто в количественном и качественном росте рабочей интеллигенции не заключается один из залогов успешной борьбы за экономические нужды. С другой стороны, «Рабочая Мысль» ставила политику на службу экономике. «Политика всегда следует за экономикой»,—отсюда не трудно было сделать вывод, что политическая борьба должна подчиняться экономической борьбе. Если последняя требует отказа от политической борьбы, то такой отказ должен быть принят; если цели экономической борьбы требуют уступок политических, то такие уступки должны быть сделаны; если в стачечной борьбе возможен компромисс, соглашение с капиталом, то такое соглашение возможно и в политической борьбе, в особенности, если оно сулит экономические выгоды—такова линия оппортунизма, естественно вытекавшая из всей позиции «Рабочей Мысли» и, в конце концов, притуплявшая классовое сознание рабочих. Впрочем, к понижению уровня классового сознания и к извращению понятия классовой борьбы приводили все положения «экономизма». Рабочие должны помнить — поучала «Рабочая Мысль», что «борются они не для каких-то будущих поколений, а

для себя и для своих детей». Но если борьба ведется прежде всего для себя и для своих детей, то забыть можно не только о будущих поколениях, но и о рабочих других фабрик, так как, ведь, рабочие прежде всего борются, как рабочие данной фабрики, и, стало быть, должны помнить, что на первом плане стоят их интересы, а не интересы вообще всех рабочих. Вместо того, чтобы поднимать классовое сознание до сознания общности интересов всего рабочего класса и понимания исторических задач пролетариата, об'емлющих и будущие поколения рабочих, это сознание низводилось до примитивного уровня цеховых и временных интересов.

«Рабочая Мысль», сказали мы, отражала настроения отсталых слоев рабочего класса. И действительно, отсталый рабочий мог удовлетвориться проповедью, что борется он не для каких-то других поколений, а для себя и для своих детей; отсталому рабочему была только и понятна мысль, что девиз рабочего движения—борьба за экономические интересы, и что политика должна послушно следовать за экономикой; отсталому рабочему казалось вполне естественным, что собранные в кассу деньги должны итти не на какие-то занятия и книги, а на поддержание стачечников исключительно; отсталый рабочий мог видеть в интеллигенте-революционере—чуждого ему «студента», какого-то «кающегося интеллигента». Но отсталыми эти слои рабочих были потому, что они еще не прониклись интересами *своего класса*, не поднялись на уровень классового самосознания, не возвысились до понимания глубокой противоположности их социальных (а не только экономических в узком смысле слова) интересов—интересам других классов. В этих отсталых слоях рабочих был еще силен мелко-буржуазный уклон— все равно, шел ли он от крестьянства или от городского мещанства—ибо рост классового сознания рабочего класса и заключается в преодолении мелко-буржуазных настроений и влияний, которые либо приносятся рабочими из деревни, либо привносятся в рабочую среду окружающей обстановкой, общими условиями недостаточно еще обостренной классовой борьбы. Экономисты из «Рабочей Мысли» не боролись с этим мелко-буржуазным уклоном отсталых слоев рабочей массы, но укрепляли его и возводили в «закон природы».

Полное свое развитие этот уклон получил в другом течении «экономизма», представителями которого были люди, желавшие, по выражению Плеханова, «превратить самого Маркса в орудие умственного порабощения пролетариата буржуазией». Для них задача заключалась не только в том, чтобы следовать за стихией, но и в том, чтобы, используя стихийное рабочее движение, как еще не принявшее форм острой классовой борьбы, перенести на русскую почву германский «ревизионизм», «пересмотр» учения Маркса. Основной закон рабочего движения—направление его по линии наименьшего сопротивления, рассуждала Кускова в своем «Испове-

дании веры» («Credo», 1898 г.). На Западе такой линией явилась политическая деятельность, но когда в политической деятельности энергия оказалась исчерпанной и политическая борьба в тех формах, в каких она велась, достигла крайнего напряжения и дольше вести ее стало трудно,—наступил кризис рабочего движения и вместе с ним марксизма. Марксизм «нетерпимый» уступил место марксизму «демократическому», или, иначе, революционная социал-демократия—реформистской. Задача социал-демократов, которая раньше состояла в захвате власти и революционном преобразовании капиталистического общества, свелась «к реформированию современного общества в демократическом направлении, приспособительно к современному положению вещей, с целью наиболее удачной, наиболее полной защиты прав (всяческих) трудящихся классов». Таков «основной закон рабочего движения» для Запада. Какие же выводы из него можно сделать для России? «Линия наименьшего сопротивления у нас никогда не будет направлена в сторону политической деятельности,—пророчествовала Кускова.— ...Если на Западе слабые силы рабочих, будучи вовлечены в политическую деятельность, окрепли на ней и сформировались, у нас—слабые силы эти, наоборот, стоят перед стеной политического гнета и не только не имеют практических путей для борьбы с ними, а следовательно, и для своего развития, но даже систематически душатся им и не могут пускать даже слабых ростков». А в таких условиях рабочее движение в России может направиться только по другой линии—экономической борьбы. Правда, и эта линия—не линия наименьшего сопротивления, так как экономическая борьба в русских условиях «трудна, бесконечно трудна», но все же она «возможна» и даже «практикуется самими массами». И потому, если есть просвет для рабочего движения в России, то это—в экономической борьбе рабочих. «Приучаясь в этой борьбе к организации,—писала Кускова,—и поминутно наталкиваясь в ней на политический режим, русский рабочий создаст, наконец, то, что можно назвать формой рабочего движения, создаст ту или те организации, которые наиболее подходят к условиям русской действительности».

Что это будут за организации, Кускова отказывалась предсказывать, но в одном она твердо была убеждена: «разговоры о самостоятельной политической рабочей партии есть не что иное, как продукт переноса чужих задач, чужих результатов на нашу почву», и, стало быть, той формой организации, до которой дойдут рабочие путем экономической борьбы, не будет самостоятельная рабочая партия. Кускова скорбела о том, что русские марксисты «более, чем это нужно, относятся с презрением к радикально- или либерально оппозиционной деятельности всех других не-рабочих слоев общества». Если это неуместно на Западе, то тем менее уместно в России, где и марксизм должен быть свой, самобытный: «целый ряд

исторических условий,—писала Кускова,—мешает быть нам марксистами Запада и требует от нас иного марксизма, уместного и нужного в русских условиях». Каков же, в конце концов, должен быть этот «русский марксизм»? Что делать в России марксисту? Кускова отвечает на это в полном согласии с развитыми ею «ревизионистскими» положениями. Русский марксист не может, конечно, не стремиться к политической свободе, но русский рабочий класс для «политической деятельности» не предназначен. С другой стороны, русский марксист не может не быть с рабочими, а они ведут экономическую борьбу. Здесь требуется, таким образом, некоторое раздвоение, и его рекомендует Кускова: «Для русского марксиста исход один: участие, т. е. помощь, экономической борьбе пролетариата, и участие в либерально-оппозиционной деятельности». Экономическую борьбу ведут рабочие, политическую—либерально-оппозиционные элементы, марксисты помогают и тем и другим. А так как, участвуя сами в «либерально-оппозиционной деятельности», марксисты не могут не рекомендовать того же и рабочим, то определенный смысл получает и уверенность Кусковой в том, что в России не должно быть самостоятельной рабочей партии: рабочий класс должен итти за либеральной оппозицией. Как видим, Кускова избирала тот путь, который предсказывал Аксельрод в конце 1897 г.: «Рабочее движение не выходит из тесного русла чисто экономических столкновений рабочих с предпринимателями и само по себе в целом лишено политического характера. В борьбе же за политическую свободу передовые слои пролетариата идут за революционными кружками и фракциями из так называемой интеллигенции». Вышло даже как будто еще несколько хуже. Аксельрод предусматривал, что в случае торжества «экономического направления», рабочие в политической борьбе должны будут тащиться за революционными кружками—Кускова последним предпочитала либеральную оппозицию.

Впрочем, «экономизм» этого толка оставлял некоторый простор и для политической деятельности рабочих. Если западные «ревизионисты» говорили о «врастании» социализма в капитализм, то почему нельзя ожидать «врастания» рабочего движения в самодержавный порядок? И Кускова полагала, что рабочим следует «при существующей форме правления, теперь, немедленно, неустанно и шаг за шагом добиваться политических прав». Эту мысль более подробно развивал Прокопович в своем ответе Аксельроду. «Простой рост числа мирных организаций создаст для рабочих постепенно обычное право участвовать в них,—писал он.—Частые политические стачки лишают силы существующее в русском своде законов запрещение их. Политическая пропаганда, выражающаяся, главным образом, в распространении нелегальных изданий, делает бессильным запрещения свободы печати. Наконец, все виды самодеятельности рабочих подготовляют постепенно свободу собраний и

слова. В этом отношении особенно любопытны массовые собрания рабочих в подгородных рощах и лесах. Таким образом, практика современного рабочего движения выводит из употребления многие ограничения свободы, существующие в русском своде законов». Конечно, все эти рассуждения были ни чем иным, как пленной мысли раздраженьем. Частое повторение стачек не легализовало их, «любопытные» массовые собрания в рощах разгонялись казаками, мирные организации закрывались как раз тогда, когда рабочие принимали в них участие. Даже революция 1905 года не вырвала у царского правительства для рабочих ни свободы печати, ни свободы собраний, ни свободы организаций. Но нашим ревизионистам-экономистам казался соблазнительным пример иных ревизионистов Запада, действовавших «приспособительно» к капиталистическому порядку, и они строили планы такого же приспособления к самодержавному порядку, достижения отдельных свобод без борьбы за политическую свободу, без предварительного свержения самодержавия. Если бы рецепты эти кто-нибудь вздумал применять на практике, то дело свелось бы, конечно, к использованию «легальных» возможностей самодержавия, т. е. к простому приспособлению к полицейскому «своду законов».

Но и такого рода «политическую деятельность» рабочих «экономисты» обставляли ограничениями, отодвигавшими политическую борьбу в неизвестное будущее. Вульгарно толкуя положение, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса, они понимали его в том смысле, что рабочие сами должны дойти до решимости вступить в политическую борьбу. Просвещать рабочих, разумеется, можно, вести политическую пропаганду полезно, но политическая агитация, как призыв к борьбе, уместна только тогда, когда рабочие уже сами вступают в борьбу. «Подобно тому,—писал Прокопович,—как экономическая агитация началась лишь тогда, когда в рабочей массе *самопроизвольно* (без непосредственного участия интеллигентов) началось стачечное движение, так и политическая агитация может быть начата лишь тогда, когда сами рабочие самопроизвольно (без революционной бациллы—интеллигенции) начнут борьбу с самодержавием... Интересы самой русской революции заставляют нас пока ограничиться политической пропагандой, *избегая всеми силами* политической агитации». «Экономисты» думали, что они этим сохраняют «самостоятельность» и «самопроизвольность» политической борьбы рабочих и спасают рабочую массу от проникновения в нее бациллы, но на самом деле прививали рабочему движению бациллу самую вредную. Лозунг—избегать всеми силами политической агитации, данный на самом рубеже XX века, означал принижение политической активности рабочего класса, удержание его от политической борьбы. Теория о «самопроизвольности» была лишь прикрытием для оправдания политической пассивности пролетариата, которая могла при-

вести лишь к слиянию рабочего движения с движением либеральной или, в лучшем случае, радикальной буржуазии.

Как видим, в практических выводах своих «Рабочая Мысль» и авторы «Credo» сходились: рабочие должны вести экономическую борьбу, и только. Авторы «Credo» пошли дальше «Рабочей Мысли», не только подвели под «экономизм» ревизионистское обоснование, но и не остановились перед отрицанием самостоятельной рабочей партии и перед признанием руководящего значения либеральной буржуазии в политической борьбе. Естественно, что воззрения «Рабочей Мысли» и «Credo» не могли получить широкого распространения в среде партийных работников, даже поддававшихся неотразимому влиянию стихийности движения. «Рабочая Мысль» была слишком прямолинейна и «узка» в своем «экономизме», тактика ее трудно мирилась с русской действительностью, в условиях которой нельзя было забыть о политике. Воззрения авторов «Credo» были насквозь пропитаны ревизионизмом, против которого в Германии уже вели ожесточенную борьбу, лишая его привлекательности. На популярность и влияние мог рассчитывать «экономизм» не столь прямолинейный.

Представителем такого третьего течения в «экономизме» был женевский журнал «Рабочее Дело» (Кричевский, Мартынов, Иваньшин, Теплов), издававшийся «Союзом русских социал-демократов». Редакция «Рабочего Дела» сама не причисляла себя к сторонникам «экономизма». Наоборот, она позволяла себе полемизировать с «Рабочей Мыслью», заявляла, что программа «Credo» «личная фантазия политических младенцев», а по поводу брошюры Ленина «Задачи русских социал-демократов» писала, что «социал-демократия, выросшая и действующая на почве новейшего массового движения, в общем уже на деле принимает точку зрения автора». Но это было лишь, так сказать, «с одной стороны нельзя не признать», за которым следовало—«с другой стороны нельзя не согласиться». Нельзя не признать, что вопросы самостоятельного рабочего *политического* движения стоят на очереди, нельзя не согласиться, что политика должна следовать за экономикой,—таковы пределы «самостоятельности» воззрений «Рабочего Дела», которое, в общем и целом, слепо преклонялось перед стихийным движением. Все искусство редакции этого журнала было направлено к тому, чтобы признанием политической борьбы прикрыть наготу «экономизма», в существе же оставался простор «экономическому направлению».

«Политическая борьба рабочего класса есть лишь наиболее развитая, широкая и действительная форма экономической борьбы»,—заявляло «Рабочее Дело». Таким образом, выходило, что журнал не отрицает политической борьбы рабочих, но на самом деле это имеет лишь тот смысл, что политическая агитация должна следовать за экономической борьбой или, еще иначе, что политическая агитация должна приспособляться к экономической борьбе.

Ибо в действительности политическая борьба возникает не только из экономической борьбы, но может возникнуть также из всей обстановки политического гнета; если в последнем случае политическая борьба может принять широкий характер, так как перед нею встают все или разные стороны политического угнетения, то в первом случае она суживается только до тех политических требований, которые вытекают из экономической борьбы, и поскольку они этой борьбой оправдываются. Поэтому, «Рабочее Дело» выдвигало и другое требование: «придать самой экономической борьбе политический характер». Смысл этого требования также сводился не к чему другому, как к подчинению политической борьбы борьбе экономической. Придать экономической борьбе политический характер значит выставлять только те политические требования, которые связаны с экономической борьбой и которые непосредственно из нее вытекают; в лучшем случае, это значит добиваться свободы коалиций и социальных реформ. По существу своему да и по своей утопичности, эти планы мало чем отличались от планов Прокоповича о борьбе за частичные права в условиях самодержавного порядка. В конце концов, это была даже не трэд-юнионская политика, а каррикатура на нее, потому что, если английские рабочие могли вести успешно экономическую борьбу, то русские рабочие никакой другой борьбы, кроме революционной, направленной к ниспровержению самодержавия, вести не могли по всей совокупности всех социально-экономических особенностей российской действительности.

Но «экономисты» разного толка этого-то и не понимали. Наблюдая широко развертывавшуюся экономическую борьбу рабочих и рост на почве ее классового их сознания, «экономисты» возводили стихийное движение в «закон природы», никаких других путей в нарастающем движении не видели и покорно следовали за стихией. Все рассуждения «Рабочего Дела» о политической борьбе также сводились к тому, чтобы как-нибудь не испортить чертежей стихийного движения. Отсюда теория «стадий движения», «переходных ступеней», по которым должна постепенно подниматься деятельность социал-демократических организаций. Эти стадии и ступени редакция «Рабочего Дела» представляла себе в таком порядке: 1) чисто экономическая агитация, 2) политическая агитация в непосредственной связи с экономической борьбой, сначала за ближайшие требования, а затем и 3) за всю программу, 4) политическая агитация вне прямой связи с экономической борьбой пролетариата или его ближайшими интересами вплоть до 5) агитации по поводу общественно-политических злоб дня, интересующих пролетариат, как передовой отряд всего угнетенного народа в борьбе с самодержавием. Сначала первая ступень, затем вторая, потом третья и т. д.—в строгой постепенности и с соответствующими приемами агитации. Нужно ли пояснять, что такая «педагогика» совершенно затемняла политику и обещала заморозить движение на первой

или, в лучшем случае, на второй стадии? Впрочем, если этого не случилось с «Рабочим Делом», то исключительно потому, что оно покорно следовало за стихией и само неожиданно для себя попадало в ту «стадию», какую заготовляла для него стихия. Когда, как мы увидим ниже, рабочие сами и столь же стихийно вступали в массовую политическую борьбу, «Рабочее Дело» (в 1902 г.) настаивало на том, что нужно итти «впереди революционных настроений» рабочей массы, откликаясь на каждое событие бурного времени, резко критикуя каждый акт правительственного произвола и насилия, *связывая все события и правительственные меры с корнем зла, самодержавием,* всегда и везде выясняя массе историческое революционное значение настоящего момента, неустанно призывая ее к *политическим* действиям, к уличному протесту против всякого царского насилия», Заражаясь революционным настроением массы, «Рабочее Дело» ставило на очередь даже вопрос о красном терроре революционеров в ответ на белый террор правительства. Перескочив, под влиянием стихии, через все стадии сразу, «Рабочее Дело» выражало сожаление, что «нет у нас организованной силы, способной повести массу на *немедленную* аттаку против самодержавия». Но откуда же могла получиться такая сила, если движение старались уложить в прокрустово ложе стадий, если и рабочие массы, и революционные организации держались на пушечный выстрел от политической агитации?

Все три ветви «экономизма», нами отмеченные, выражали одну общую тенденцию: укрепить в рабочем движении мелко-буржуазный уклон, на деле лишить его самостоятельности и подчинить влиянию не-пролетарских партий. Отражая настроения отсталых слоев рабочего класса, «экономизм» возник в условиях отсталости рабочего движения, или вернее, недостаточно еще выявленной им классовой его определенности. Рабочая масса, пробуждаясь впервые к массовой борьбе, естественно, обратила прежде всего свои усилия на завоевание лучших условий материальной жизни, на экономическую борьбу. Такому характеру движения в этой стадии содействовало то, что рабочая масса до того времени была предоставлена самой себе, так как деятельность революционных организаций захватывала лишь отдельных рабочих или в лучшем случае тонкие слои рабочего класса; сплачиваясь в класс, рабочие были еще далеки от должной высоты классового сознания, классовые интересы свои отождествляли с экономическими интересами в узком значении этого слова, а смысл борьбы своей видели в борьбе с отдельными предпринимателями. Психологию рабочей массы на этой стадии ее развития правильно отражала «Рабочая Мысль», когда говорила, что рабочему нет дела до будущих поколений, что он должен думать о себе и своих детях, что интеллигенция, привнося в рабочее движение политику, только мешает экономическим завоеваниям и т. д. Такие настроения рабочей массы были отсталыми, потому что

они выражали еще не классовые интересы пролетариата, поскольку они определяются тенденциями общественного развития, а интересы «трудовой» массы вообще, себя еще не осознавшей в качестве рабочего *класса*, и, стало быть, еще не разделавшейся с мелко-буржуазными настроениями, ограниченными в целях и средствах борьбы. Естественно, что в таком уклоне рабочего движения некоторые слои мелко-буржуазной интеллигенции видели, как им казалось, счастливую возможность удержать рабочий класс в пределах мелко-буржуазного приспособления к капиталистическому строю. Если не оправдались надежды «экономистов», которые ожидали, что рабочий класс будет подвигаться «медленным шагом, робким зигзагом» по направлению к предуказанным «стадиям», старательно отгоняя от себя интеллигенцию с «кающейся совестью», которая утешения ищет в политической борьбе, если еще более горькое разочарование ожидало ревизионистов, которые извращением учения Маркса пытались увековечить мелко-буржуазные тенденции в рабочем движении, то произошло это потому, что всеми условиями российской действительности рабочие толкались на путь политической борьбы даже в том случае, когда речь для них шла об улучшении их экономического положения, а раз став на путь политической борьбы, они, в условиях той же российской действительности, должны были повести борьбу не только против самодержавия, но и против буржуазии, которая, не заблуждаясь в характере «красного призрака» революции, с своей стороны делала все для того, чтобы рабочее движение в России пошло по пути все обострявшейся борьбы классов, а не их примирения.

Разобщенность местных комитетов партии, постоянная смена их состава, благодаря арестам, пополнение их свежими силами, не имевшими за собой ни опыта, ни прочной традиции—все это открывало простор воздействию на них стихийного движения и вместе с ним—«экономизма», который на некоторое время получил широкое распространение. Отпор новое течение могло получить на первых порах только со стороны немногих.

Мы упоминали, что еще в письме в редакцию «Рабочей Газеты» Плеханов указывал, что не все помнят ту чрезвычайно верную мысль Маркса, что всякая классовая борьба есть борьба политическая. Приблизительно в то же время Аксельрод предусматривал возможность печальной перспективы, когда рабочее движение, не выходя из тесного круга экономической борьбы, будет лишено политического характера, а в борьбе за политическую свободу пойдет за интеллигенцией. Еще раньше, в 1896 году, в послесловии к брошюре «Об агитации» Аксельрод указывал, что возможность «экономического» уклона скрывается в самой тактике агитации на почве экономических нужд рабочих. Когда «Credo» Кусковой дошло до России, оно вызвало протест со стороны двух колоний ссыльных, из которых во главе одной стоял Ленин. Протест, напи-

санный Лениным, опровергал все основные положения, развитые в произведении Кусковой. Протест находил, что «русские социал-демократы должны об'явить решительную борьбу всему кругу идей, нашедших себе выражение в «Credo». В частности, Ленин указывал, что осуществление программы «Credo» «было бы равносильно политическому самоубийству русской социал-демократии, равносильно громадной задержке и принижению русского рабочего движения и русского революционного движения», что «авторы «Credo» делают колоссальный шаг назад против той ступени развития, которой русская социал-демократия уже достигла и которую она запечатлела в «Манифесте Российской Социал-Демократической Рабочей Партии».

Среди эмигрантов социал-демократов «экономизм» встретил резкий отпор со стороны группы «Освобождение Труда», влившейся в образованный в 1895 г. «Союз русских социал-демократов за границей». Борьба приняла столь острый характер, что в апреле 1900 г. «Союз» раскололся и члены группы «Освобождение Труда» с меньшинством эмигрантов (Д. Кольцов, Л. И. Аксельрод-Ортодокс и др.) образовали новую группу «Революционная организация «Социал-Демократ». «Credo» с протестом Ленина и с другими материалами было опубликовано под названием «Vademecum» для редакции «Рабочего Дела» с предисловием Плеханова, который подверг уничтожающей критике позицию авторов «Credo» и редакции «Рабочего Дела». Группа «Освобождение Труда» сочла также необходимым возобновить свою литературную деятельность и в особом извещении, подписанном Аксельродом и Плехановым, заявляла о своих задачах «выступить против воззрений, пропагандируемых русскими бернштейнианцами», борьба с которыми, «это—борьба за существование социал-демократии в современной России». Русская социал-демократия,—говорилось в об'явлении группы «Освобождение Труда» «произнесла бы смертный приговор и над своим кратковременным прошлым и над своим будущим, если бы она по совету мнимых друзей отказалась от преследования революционных задач революционными методами. Ради жалкой роли, которую предлагают ей эти «друзья», не стоило ей являться на свет божий, а усилия, потраченные на то, чтобы доставить ей преобладание над остатками старых революционных фракций, не только лишились бы всякого реального смысла, но и заслужили бы еще название преступления в историческом смысле».

В то же время, осенью 1900 г., Плеханов пишет статью «Еще раз социализм и политическая борьба», направленную против «экономистов» и снова выясняющую старый вопрос об отношении «политики» и «экономики». Плеханов доказывает, что опасность уклона в «экономизм» заключалась уже в брошюре «Об агитации», слабая сторона которой была в смешении понятия «класс» с понятием «партия». Мысль автора брошюры, что рабочий класс отзывается

только на вопросы, поставленные перед ним жизнью, по мнению Плеханова, неоспорима. Но какие вопросы ставит жизнь перед рабочим классом в каждый данный момент? Плеханов отвечает на это, что перед различными слоями этого класса жизнь ставит различные вопросы: промышленный рабочий развитее сельско-хозяйственного, да и в среде промышленных рабочих имеются слои, отличающиеся один от другого своим умственным развитием и, стало быть, не одинаково отвечающие на вопросы жизни. В каком же «фазисе» движения находится вся русская рабочая *масса?* «Она находится в *нескольких «фазисах»* сразу,—отвечает Плеханов.—А если это так, то не легко определить наступление того, искомого нашим автором, «момента», когда *экономическая* борьба должна будет перейти в *политическую.* Повидимому, он для разных слоев рабочего класса наступит в разные моменты». Как же быть в таком случае? Если, как думает автор брошюры «Об агитации», агитаторы всегда должны итти на один шаг впереди массы, то впереди какого слоя должна итти партия—передового или отсталого? Как определить «момент» перехода экономической борьбы в политическую,—руководствуясь настроениями отсталых или передовых слоев рабочего класса»? Точка зрения автора брошюры—и еще в большей мере точка зрения «экономистов»—ответа дать не может. С одной стороны, «момент» этот как будто наступил, потому что уже имеются силы, созревшие для политической борьбы, а с другой стороны, он еще не пришел, потому что имеются слои, для нее неготовые. «Все эти затруднения,—пишет Плеханов,—исчезают как только мы вспомним, что иное дело *весь рабочий класс,* а иное дело *социал-демократическая партия,* представляющая собою лишь передовой—и вначале очень малочисленный—отряд рабочего класса. Если рабочий класс данной страны, взятый в целом (то есть также в *большинстве своих членов),* еще не созрел для перехода к политической борьбе, то из этого вовсе не следует, что «момент» такой борьбы еще не настал *для партии,* задавшейся целью политического воспитания рабочего класса. Для партии момент *политической борьбы* наступает каждый раз, когда она встречает повод для *политической агитации.* А у нас в России поводы для такой агитации встречаются никак не реже, чем поводы для агитации на *экономической почве*».

В своем окончательном результате автор брошюры «Об агитации», по мнению Плеханова, очень далек от выводов авторов «Credo», но в своем начале он совпадает с ними и потому последовательный «экономист» неизбежно приходит к программе «Credo» и, стало быть, к отказу от классовой борьбы. Ибо авторы «Credo» считают излишним существование социал-демократии, как самостоятельной политической рабочей партии, но и не высказываются против политической борьбы; они хотят только, чтобы инициатива этой борьбы принадлежала не рабочим, а либеральной оппозиции, т.-е.,

чтобы социал-демократы на деле превратились в простых демократов. А это именно и означало бы забвение классовой борьбы, сближение пролетариата с буржуазией. Или иначе—формулирует Плеханов—торжество «экономического» направления привело бы к политической эксплоатации русского рабочего класса демократической и либеральной буржуазией».

Отдельные протесты и статьи Плеханова были только началом борьбы с «экономизмом». Закончила эту борьбу «Искра».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

НА ПУТИ К ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ [1]).

1. Промышленный кризис.—Стачечная борьба.—Демонстрации.—Обуховская оборона.—Ростовская стачка.

Быстрый промышленный рост России, глубокие изменения в социально-экономическом строе города и деревни резко изменили социальный облик страны и вместе с тем темп ее развития. Процесс, который в течение предшествовавших десятилетий протекал в глубине, как бы сразу вырвался наружу и в бурном порыве двинулся дальше. О застое общественной жизни не было больше речи, все пришло в движение, обострялись классовые отношения, колебался самодержавный порядок, с каждым годом крепче становилась буря—верным шагом приближалась революция. Девяностые годы были не только временем промышленной революции, но также истоком политической революции. К этому периоду относится тот сдвиг, который быстро, в течении нескольких лет, привел Россию к 1905 году.

Наиболее отчетливо это сказалось на росте рабочего движения. Мы видели, что промышленный под'ем непосредственно дал толчек массовой экономической борьбе рабочих. По началу эта борьба ведется за раскрепощение рабочего, за под'ем жизненного уровня рабочей массы, придавленной кабальными условиями фабричной работы. Это дало основание «экономистам» строить свою теорию «стадий», которая отодвигала политическую борьбу рабочих в будущее, во всяком случае, не близкое. Но они не приняли во внимание, что массовая экономическая борьба, в условиях российского полицей-

---

1) *Пособия: М. Покровский.* „Русская история в самом сжатом очерке", ч. III, в. I, М 1923 (гл. I—III); *Ленин* „Что делать"; *Плеханов,* Собр. сочинений, т. XII; *Мартов,* „История Рос. Соц.-Дем. Рабочей Партии"; *Ф. Дан,* „Из истории рабочего движения и социал-демократии в России" (доклад Амстердамскому междунар. социалистическ. конгрессу 1904 г.); *Лядов,* „Доклад большевиков Амстердамскому международному социалистическому конгрессу", М. 1924; *Ленин,* „Шаг вперед, два шага назад" (в сб. „За 12 лет"); „*Искра*" за два года, сборн., ч. II, Спб. 1906; *П. Маслов,* „Аграрный вопрос в России", т. II; *М. Балабинов,* „Очерки по истории рабочего класса в России", ч. III.

ского государства в особенности, сама по себе уже носит черты борьбы политической, что чем шире она становится и чем более стихийно протекает, тем чаще и сильнее рабочая масса приходит в столкновение не только с капиталистами, но и с правительством. Не приняли они во внимание и того, что промышленный под'ем должен смениться промышленным кризисом, а в условиях кризиса массовая экономическая борьба тем скорее должна будет стать борьбой политической.

Между тем, как отражение мирового кризиса, в России промышленный кризис наступил уже в середине 1899 года. Сначала стал ощущаться недостаток свободных капиталов на денежном рынке, без которых промышленность не может сохранять своей устойчивости, затем стали падать рыночные цены на фабрично-заводские изделия, как показатель перепроизводства товаров. За этим начало сокращаться и производство. Жестокий кризис, продолжавшийся до начала 1903 года, произвел опустошение промышленности, отразившись наиболее тяжело на положении рабочих. Одно за другим лопались предприятия, возникшие в годы под'ема; правительство щедро выдавало банкротам ссуды из государственного банка, но это помогало, разумеется, только «бедным» фабрикантам, но не могло приостановить кризиса. Сокращение производства коснулось всех отраслей промышленности. В Донецком Бассейне, напр., к началу 1900 г. действовало 35 доменных печей, к началу 1903 г.—23, выплавка чугуна в 1900 г. составляла в том же бассейне 92,5 мил. пуд., в 1902 г.—84,7 м. п.; в криворожском районе в 1900 г. было добыто 156,2 м. п. руды, в 1902 г.—111,2 м. п.; добыча угля в Донецком Бассейне с 691,4 м. п. в 1900 г. упала до 642,1 м. п. в 1902 г. В бакинском нефтяном районе добыча нефти сократилась с 672 м. п. в 1901 г. до 596 м. п. в 1903 г., а число бездействовавших скважин составляло в 1899 г. 18%, в 1903 г.—37%. На текстильных фабриках к концу 1902 г. оказались такие громадные запасы товаров, каких не наблюдалось уже около четверти века. По данным фабричной инспекции, в 1900 г. было закрыто 550 предприятий, в 1901 г.—350, в 1902 г.—840. Эти цифры могут дать приблизительное только представление о силе кризиса, так как в подсчет этот включены лишь предприятия, подчиненные надзору фабр. инспекции. Более выразительно о силе кризиса говорят данные о числе безработных. В 1901 г. в Екатеринославской губерн. насчитывалось 10 тыс. безработных, в Харькове не менее 16 тыс., из Баку до закрытия навигации было отправлено до 6 тыс. безработных, а затем по железной дороге еще 2 тыс. В 1902 г. в одной Юзовке скопилось до 12 тыс. безработных, в Баку и Астрахани их насчитывалось до 10 тыс., в Киеве скопилось много безработных, расчитанных с сахарных заводов, в Иваново-Вознесенске пришлые рабочие бродили по фабрикам в поисках работы, измученные, голодные, и т. д., и т. д. Все эти сведения, конечно, не отражают действительных размеров

безработицы, так как никакой статистики безработных не велось и газеты сообщали только о немногих очагах безработицы.

Как же отразился кризис на стачечном движении? В общем, в России, как и повсюду, стачечная волна в годы кризиса понизилась: в 1898 г. бастовало 57.498 рабочих, в 1900 г.—29.389, в 1901 г.—39.218, в 1902 г.—36.671, в 1903 г., с новым под'емом промышленности, число бастовавших поднялось до 86.822 чел. С другой стороны, если в 1896—1899 г. г. экономическая борьба рабочих носила наступательный характер, то в 1900—1902 г. г. в общем преобладает оборонительная тенденция. Однако, уже в самом характере забастовочного движения времени кризиса сказываются некоторые особенности русской действительности. Несмотря на то, что в общем в годы кризиса преобладает тенденция оборонительной борьбы, в 1901 г. усиливается наступательное движение за сокращение рабочего времени (в этом году 43,7% бастующих рабочих бастуют в связи с требованием сокращения рабочего дня). Оказывается, таким образом, что, вопреки общим правилам, русские рабочие использовали год кризиса для того, чтобы требовать сокращения рабочего времени, рискуя даже быть расчитанными и замененными другими рабочими, в которых в виду массовой безработицы недостатка не было. Противоречие это устраняется, если принять во внимание, что к этому времени рабочее движение приобретало политический характер, и требование сокращения рабочего дня (вернее, 8-мичасового) было одним из проявлений именно этой борьбы, наступлению которой содействовал кризис, обостряя классовые противоречия, а в русских условиях—и вскрывая всю гниль самодержавного строя.

Но к началу XX века характер забастовочного движения изменяется еще в одном отношении. Мы видели, что до 1899 года в движении преобладает участие текстильчых рабочих. С 1899 г. картина эта резко меняется: с 1899 г. усиливается участие металлистов, так что в 1899—1902 г. г. текстильщики составляют всего 28% всех забастовщиков, а металлисты—54%. Изменение это вполне понятно. С одной стороны, как раз во второй половине 90-х годов, в годы под'ема, особенно быстро развивалась металлическая промышленность и вместе с ней увеличивается общее число занятых в этом производстве рабочих, а с другой стороны—наступивший кризис сильнее всего отразился также на металлической промышленности; металлисты, раньше находившиеся в лучших условиях и по величине платы и по продолжительности рабочего времени, оказались в положении многим худшем. Это вступление металлистов в борьбу означало вступление в нее рабочей массы более квалифицированной, более прочно связанной с капиталистическими предприятиями, более сознательной. Металлисты могли внести в движение больше организованности, стойкости и политического содержания, чем текстильные рабочие, уровень жизни которых был ниже и связь с

деревней значительно больше. Вот что читаем мы, напр, в подтверждение этого, в отчете Харковского комитета РСДРП о рабочем движении в 1899—1900 г. г. о рабочих-металлистах: «Сравнительно более благоприятные условия труда, в какие поставлены рабочие крупных механических заведений, значительная дифференциация рабочих на них затрудняли экономическую борьбу, и она во все время почти не переходила за пределы мирно улаживаемых столкновений. Зато, с другой стороны, мы имеем здесь дело с рабочим населением, обладающим сравнительно высоким культурным уровнем. Это особенно относится к коренным городским рабочим. Выражением этой культурности может служить широкое распространение среди них чтения книг, газет и журналов, посещение воскресных школ и проч... Рабочий, являющийся на групповые занятия с номером журнала в одном кармане и столичной газетой в другом, сделался типичным для высшего, более развитого слоя здешних рабочих. На такой-то почве, раз начало пробуждаться в массе классовое самосознание, развитие его должно было пойти ускоренным темпом, получая себе питание в широко распространенном в этой среде чтении нелегальных книг... Совокупностью этих обстоятельств и об'ясняется то, что местное рабочее население вышло как будто готовым из головы Минервы и сразу удивило всю Россию своим развитым классовым сознанием».

Это замечание о том, что харьковские металлисты сразу вышли «готовыми» из головы Минервы, очень характерно и показывает, что глубокий процесс роста рабочего класса ускользнул от внимания некоторых социал-демократических организаций того времени, и они сами удивились, когда увидели, что рабочие выросли в своем политическом сознании и активности. Между тем, процесс развития рабочего класса во второй половине 90-х годов вел именно к этому. Широкая экономическая борьба, в которой принимали участие, по преимуществу, текстильные рабочие, всколыхнула, прежде всего, эти отсталые слои рабочей массы и не могла вместе с тем не воспитывать их политически, так как расширяла их кругозор и неизбежно сталкивала с самодержавно-полицейским порядком. В то же время более квалифицированные слои рабочих, положение которых в годы промышленного под'ема было относительно лучше, не принимают столь же активного участия в экономической борьбе, но тем не менее классовое сознание их, в частности под влиянием социал-демократической агитации, растет и они именно образуют тот активно-сознательный слой рабочих, который идет впереди рабочей массы и ведет ее за собою. Эти две стороны роста рабочего класса должны были слиться под влиянием кризиса и общего политического оживления в стране. Кризис толкнул передовой слой рабочих на экономическую борьбу, которая сразу же сплелась для них с борьбой политической, а этим они поднимали политическую активность и прочей массы. Общее оживление политической

жизни, столь характерное, как мы увидим ниже, для этого времени, также, естественно, прежде всего, захватывает более сознательные кадры рабочих. Теория «стадий» терпит окончательное посрамление, и, наоборот, вполне оправдывается анализ Плеханова, говорившего, что рабочий класс в различных слоях находится одновременно в разных «стадиях». Характер движения стал определяться не «стадией», на которой находились отсталые рабочие, а «стадией», в которой находились передовые, квалифицированные рабочие (металлисты и отчасти печатники).

В 1899 году, как показано будет ниже, прокатилась волна студенческих беспорядков, которые произвели сильное впечатление и в рабочей среде. «Рабочая масса,—читаем в упомянутом отчете харьковского комитета,—довольно верно понимала смысл и значение студенческого движения, как борьбу за свободу, борьбу против административного и полицейского произвола. Демонстрации студентов, взбудоражившие весь город и вызвавшие общее сочувствие харьковского населения, нашли особенно живой отклик в рабочей среде. Аресты сотен демонстрантов и направление их под конвоем в тюрьмы, проводы высланных студентов, дышавшие бодростью и призывом к борьбе, речи, произносимые студентами на вокзале,—захватывали рабочих и среди 2—3 тысячной толпы, всегда были многие сотни рабочих, открыто выражавших свое сочувствие студентам... Среди рабочих поговаривали о необходимости освободить арестованных (студентов), необходимости с своей стороны поддержать движение, поднятое студентами». В первые же дни волнений в петербургском университете в студенческую столовую рабочий Балтийского завода принес записку, в которой от рабочих завода посылался студентам упрек, почему студенты не выпускают листков с об'яснением причин волнений. «Мы,—гласила записка,—очень интересуемся, из-за чего вы бунтуете, а понять не можем». Такое же впечатление студенческие волнения произвели на рабочих Москвы, Костромы и многих городов Поволжья. Рабочие еще не вступали открыто в борьбу, но дух общего политического протеста захватывал также их и к этому именно времени нужно отнести перелом настроения в рабочей массе, особенно в передовых ее слоях.

Несомненно, в связи с общим политическим оживлением в стране принимает, прежде всего, новый характер празднование дня 1-го мая—из рабочих собраний оно переходит на фабрики и на улицу. Первомайские прокламации получают широкое распространение; рабочие приучаются не только в этот день бросать работу, но и выходить на улицу с демонстрацией. Почин положили рабочие Харькова, где 1-го мая 1900 года забастовали все механические заводы и частично бросили работу типографские рабочие, булочники, портные, столяры и т. д. Две тысячи заводских рабочих двинулись с красными знаменами и революционными песнями на

Конную площадь, в тот же день 3000 рабочих района жел.-дор. мастерских устроили собрание на Ващенковской леваде. В ответ на арест 150 товарищей, железнодорожные рабочие, при поддержке других рабочих, потребовали освобождения арестованных, об'явив о продолжении забастовки—в результате арестованные были освобождены. Вслед за тем, однако, последовали новые аресты, в ответ на которые жел.-дор. мастерские снова забастовали, требуя освобождения арестованных, но на этот раз безрезультатно. Одновременно с первомайской забастовкой рабочие отдельных заводов пред'явили ряд отдельных требований, в том числе требование 8-мичасового рабочего дня, учреждения особых комиссий с участием представителей рабочих для рассмотрения конфликтов с предпринимателями. Экономическая борьба носила неорганизованный характер и закончилась в общем неудачей.

Небывало внушительное первомайское выступление харьковских рабочих (до того демонстрации имели место только в Польше) показало, что рабочее движение явно переходит из экономической стадии в политическую и что активность массы быстро нарастает. И действительно, рабочие не замедлили дать этому новое доказательство. Когда в начале 1901 года произошли студенческие волнения, рабочие не удовольствовались одним сочувствием, но и принимали активное участие в студенческих демонстрациях. В Харькове в день студенческой демонстрации рабочие паровозостроительного завода бросили работу и двинулись на защиту избиваемых казаками студентов. «К восьми часам,—рассказывает очевидец,—все пространство между банком, домом Юзефовича и театральным сквером было заполнено многотысячной толпой. Рабочие преобладали до такой степени, что студенты между ними были едва заметны. Интеллигентной публики также было очень много. Рабочие запели «Дубинушку». Вдруг из двора Юзефовича вылетел отряд казаков и снова засвистали нагайки. Били всех: рабочих, студентов, женщин, но натиск храброго с безоружными людьми воинства встретил на этот раз жестокий отпор. Рабочие бросились к изгороди сквера, моментально ее разломали и, вооружившись дрекольями, двинулись против казаков». В Москве в день демонстрации со всех сторон по направлению к Тверской улице и Страстному бульвару стекались рабочие, примыкавшие к демонстрантам; рабочие пытались также освободить задержанных в манеже студентов и уже выломали двери, но были рассеяны казаками; в связи с демонстрацией начались забастовки на трех самых крупных фабриках: Цинделя, Прохоровской и Даниловской Мануфактурах. В Казани, в связи со студенческими волнениями, забастовали рабочие Алафузовской фабрики и одной из типографий. В Петербурге, в день, назначенный студентами для демонстрации (4 марта), правительство приняло все меры, чтобы не допустить рабочих в центр города. Некоторые заводы, как Путиловский, и целые фабричные

районы были оцеплены войсками. Однако, части рабочих удалось прорваться в город и примкнуть к демонстрантам. В Киеве 11-го марта—в третью годовщину разгрома первой социал-демократической организации (11 марта 1898 г.), как пояснял киевский комитет РСДРП,—последним совместно с союзной студенческой организацией была устроена на Крещатике демонстрация, прошедшая вполне удачно. Было поднято красное знамя с надписью: «За политическую свободу». Демонстрация имела целью протестовать против преступной политики царского правительства, а организация ее совместно со студентами показывает, что ближайшим поводом к ней послужили студенческие волнения. По сообщению комитета, «присутствие рабочих резко бросалось в глаза». В Екатеринославе в том же году произошла демонстрация, поводом к которой послужило избиение в Харькове студентов и рабочих. На Екатерининском проспекте собралось до 500 рабочих, к которым присоединились студенты, выброшены были знамена с надписями: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода! Да здравствует социал-демократия!» На следующий день в рабочем квартале, Чечелевке, демонстрация повторилась и в ней приняли участие до 2000 рабочих.

Демонстрации подавлялись правительством с неслыханной жестокостью и зверством. Особенно неистовствовали казаки и полиция при подавлении демонстрации в Петербурге 4 марта 1901 г. «Казаки били без разбору всех, кто подвертывался под руку, старых и малых, женщин и детей,—сообщал корреспондент «Рабочего Дела»,—били чем попало и как попало, били нагайками, рубили шашками, топтали ногами, сбрасывали с высокой паперти (Казанского собора)... Картина зверского избиения была так ужасна, что те, кто видел, не забудут никогда. Многие при виде ее теряли сознание, впадали в истерику, сходили с ума; многие, не помня себя, бросались с голыми руками на вооруженных солдат,—и были жестоко избиты сами... В соборе, на паперти, на площади у собора—лужи и пятна крови, везде валяются обрывки одежды, обломки палок, стульев, служивших орудием самозащиты». «Уж если ранено 24 солдата, то можете себе представить, сколько народу изувечено среди демонстрантов»,—добавляет корреспондент.

Рабочая масса получала хороший урок политграмоты... Зверства царских баши-бузуков поднимали протестующее настроение усиливали ненависть к нестерпимому гнету, звали на борьбу до победы. Раз начавшись, борьба должна была продолжаться; начатая передовыми слоями рабочего класса, она должна была захватить и захватывала массу.

Как бы в ответ на зверское избиение студентов 4-го марта петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» назначил на 22 апреля 1901 года политическую демонстрацию рабочих. Правительство, с своей стороны, приняло меры и произвело

массовые аресты среди интеллигенции и рабочих, а в день демонстрации заполнило Невский проспект солдатами и полицией. К назначенному часу на Невском собрались до 2-х тысяч рабочих, полиция, не дававшая никому останавливаться на улице, разгоняла собравшиеся кучки—и демонстрация не удалась. Но напряженное настроение рабочих дало о себе знать все-же скоро. Первого мая в Петербурге бастовал Невский завод и часть рабочих Путиловского и Обуховского заводов, забастовало несколько фабрик и на Выборгской стороне, выставив экономические требования. Самый день 1-го мая прошел спокойно, но последующие дни показали, что рабочие готовы возместить неудавшуюся демонстрацию 22-го апреля. Забастовавшие на Выборгской стороне рабочие двинулись 4-го мая в город для демонстрации, но у Сампсониевского моста были оттеснены полицией. Рабочие попытались забаррикадироваться в двух переулках и, выбитые отуда, продолжали защищаться в некоторых домах.

Еще более крупные размеры приняли тогда же события на Обуховском заводе. Здесь заводская администрация стала увольнять рабочих, не вышедших на работу 1-го мая. Рабочие и раньше готовились к забастовке, чтобы добиться освобождения от обязательных сверхурочных работ, а теперь решили больше не медлить. Громадный завод, на котором тогда работало до 7000 человек, стал. В числе требований забастовавших рабочих, помимо отмены сверхурочных работ и увеличения расценок, значились: внесения в табель праздников дня 1-го мая, введение 8-мичасового рабочего дня, прием обратно уволенных рабочих и освобождение арестованных. Начальник завода, к которому рабочие относились хорошо, приняв требование рабочих, заявил, что ему нужно доложить о них военному министру, и обещал, что полиция ничего не предпримет против рабочих. А спустя два часа после его от'езда на завод прискакали казаки и конные городовые. На приказ разойтись, рабочие ответили смехом, на аттаку конницы—градом камней. Полиция отступила, а затем, когда прибыли в подкрепление войска, снова перешла в наступление. Войска без предупреждения открыли стрельбу вдоль проспекта и в окна домов. Рабочие бросились в рассыпную и, заняв два громадных дома картонной фабрики, превратили их в баррикады, забаррикадирован был также двор, примыкавший к этим домам и весь заводской переулок. Солдаты бросились в двери домов, карабкаясь в темноте по лестницам, но сверху рабочие бросали в них камни, стулья, поленья, обломки мебели и т. п. «Поминутно скакали по направлению к участку выбитые из строя казаки и жандармы с окровавленными головами,—читаем в изданном вскоре описании «обуховской обороны»,—а по проспекту и другим улицам бегали ряды солдат форсированным маршем с барабанным боем, стараясь наводить страх на женщин, подростков и взрослых рабочих, не участвовавших в

свалке и сидевших по домам. А вдали у завода время от времени раздавались выстрелы и бившиеся под защитой баррикад бойцы и не думали сдаваться и беспрерывно сыпали на своих врагов кучи камней. Барабанный бой, выстрелы, груды песку и камней, кипучая деятельность за баррикадными окопами, убитые и раненые... В воздухе пахло революцией».

В этой борьбе обуховцам помогли забастовавшие рабочие Александровского завода и работницы картонной фабрики, но, вооруженные одними камнями, рабочие не были в силах наступать и должны были только обороняться. Это им и удалось. К ночи все затихло, а к утру войска были убраны. Очевидно, правительство решило не раздражать рабочих, отложив расправу до другого времени. Требования рабочих были также удовлетворены—в 8-часовом рабочем дне было отказано, но рабочее время было уменьшено на один час, а в день 1-го мая было предоставлено не работать всем желающим. Но спустя два месяца под благовидным предлогом все эти уступки были отменены, и 37 рабочих были преданы суду за участие в беспорядках, из них двое были приговорены к каторге, 8 оправданы, прочие были присуждены к тюремному заключению на срок от 1½ года до 5 лет. На суде 18-тилетняя работница Мария Яковлева произнесла пламенную речь, открыто заявив о своей готовности и впредь всеми силами служить рабочему делу.

«В воздухе пахло революцией»,—писал летописец «обуховской обороны». И это, действительно, было так. Если в рабочих кварталах возводятся примитивные баррикады—не далеко время, когда дело дойдет до решительной революционной схватки. Пройдет еще всего четыре года—и всеобщая забастовка потрясет царский трон, а в московской Пресне баррикады будут с боем браться царскими войсками.

А пока борьба захватывает все новые слои рабочих, все новые города. Майский праздник все чаще переходит в уличные демонстрации. 1 мая 1901 года происходит крупная демонстрация в Тифлисе, в которой участвует до 3 тысяч рабочих. В 1902 году крупные первомайские демонстрации организованы были в Ростове-на-Дону, Баку, Саратове, Сормове. В Баку на демонстрацию вышло до 5 тыс. человек, на знаменах были выставлены требования: «8-часовый рабочий день», «свобода» и др. В Саратове демонстрация с красными знаменами дошла до главной улицы города. В Сормове день 1 мая начался с разгрома заводской конторы, но подоспевшие организованные рабочие прекратили погром и увлекли рабочих на политическую демонстрацию. Все рабочие примкнули к демонстрации и выкинули красное знамя, с надписями: «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!» и т. д. На суде, которому было предано несколько участников демонстрации, рабочие открыто заявили о том, что сознательно идут на борьбу за освобождение рабочего класса. «Я видел, что существующий порядок выгоден лишь

для меньшинства, для господствующего правящего класса,—говорил рабочий Заломов.—Что пока самодержавие не будет заменено политической свободой, дальнейшее культурное развитие русского народа невозможно. Что рабочие в борьбе с предпринимателями на каждом шагу наталкиваются на их союзников в лице самодержавных порядков. И вот почему я написал на своем знамени: «Долой самодержавие и да здравствует политическая свобода!»

В эти же годы рабочие продолжают откликаться на студенческие волнения. В феврале 1902 года киевские рабочие участвуют в студенческой демонстрации, в Москве присоединению рабочих к студентам-демонстрантам помешали только предупредительные меры правительства: все заводы и фабрики были оцеплены войсками. Общий под'ем сказывается и на глухих местах и по таким поводам, которые свидетельствуют о значительной силе накопившегося в рабочей среде чувства протеста против самодержавного гнета. Так, на ст. Тихорецкая (Владикавк. ж. д.) судебный следователь изнасиловал молодую девушку Золотову и затем отдал ее на поругание казакам. Золотова, не выдержав мучений, покончила с собой. В станице зверство это не осталось тайной, и 2 тыс. рабочих жел.-дор. мастерских, явившись на похороны Золотовой, потребовали суда над насильниками, а затем разнесли станичное управление, избили казаков и полицию. Правительство покрыло виновников, а суду предало протестовавших рабочих. Но протест тихорецких рабочих, о котором само правительство вынуждено было оповестить особым сообщением, облетел страну и вселил рабочей массе новую веру в свое дело.

И участие в студенческих демонстрациях, и демонстрации в день первого мая не могли не всколыхнуть широкие рабочие массы. Политика врывалась в рабочую среду со всех сторон, и каждое выступление рабочих по любому поводу неизбежно сталкивало их со всей гнусной российской действительностью. Если раньше, всего несколько лет назад, еще можно было говорить о том, что из экономической борьбы рабочих вырастет борьба политическая, то теперь всякое сколько-нибудь серьезное экономическое столкновение могло незаметно для самой массы превратиться в борьбу политическую. Если раньше из фактъ экономической борьбы нужно было *для* рабочих делать политические выводы и ставить перед ними новые задачи, то теперь эти выводы сами возникали непосредственно в процессе борьбы, и новые задачи являлись естественным итогом всей сложившейся обстановки. Если в студенческих и первомайских демонстрациях активное участие принимали передовые слои рабочих, то теперь можно было уже ожидать выступления *массы*, которую на путь политической борьбы властно зовет весь уклад не только рабочей, но и всей русской жизни.

Эту новую стадию движения наглядно показала прогремевшая в свое время стачка в Ростове на Дону. 4 ноября 1902 года заба-

стовали здесь рабочие мастерских Владикавказской жел. дор., выставив ряд экономических требований, через несколько дней к стачке присоединились рабочие нескольких других фабрик и заводов (железоделательные заводы Пастухова, Дутикова и Токарева, завод «Аксай», цементный завод, табачная фабрика Асмолова и др). С самого начала донской комитет РСДРП стал выпускать ежедневно прокламации, в одной из которых он писал: «Первый снег—и вместе с ним первый отдаленный раскат надвигающейся революции. Рабочие владикавказских мастерских бросили работу и выставили свои требования. В них нет ничего политического, но самый факт такой крупной стачки своим могучим напором рвет старые заржавелые средневековые цепи самодержавия. И не дождемся мы, быть может, будущего «первого снега», как те же рабочие стройной тысячной толпой пройдут под красными знаменами социал-демократии с громким криком: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!» — пройдут по улицам Ростова, которые никогда не слышали вольных криков свободы». Донской комитет ошибся только в одном: рабочие пошли со знаменами по улицам Ростова не с новым «первым снегом», а первой же весной, в марте 1903 года.

С первых же дней забастовки рабочие мастерских собирались во дворе, где обсуждали положение дел. Когда на эти собрания стали стекаться рабочие других забастовавших предприятий, собрания были перенесены в громадную «балку» (овраг), расположенный вблизи рабочего предместья. Сюда донской комитет РСДРП направил своих ораторов, и день за днем продолжались невиданные еще в Россси чисто рабочие митинги, на которых, в присутствии 20—30 тысяч рабочих, произносились политические речи, раздавались политичские лозунги. Вот как описывал одно из этих собраний корреспондент «Искры»: «Торжественное, неслыханное еще в России зрелище представлял этот митинг. Стояла прекрасная погода, и солнце освещало многотысячную толпу, в которой, тесно прижавшись друг к другу, стояли представители буквально всех слоев общества. Даже крупные буржуа на собственных рысаках приезжали взглянуть на своего пробуждавшегося врага. Как и в предыдущие дни, речи носили ярко политический характер. В одной из них сопоставлялось развитие христианства с развитием социализма. Одна речь была посвящена армии, ее роли и значению в капиталистическом государстве вообще и в России, в частности. Комментировалось это примерами из китайской войны. В виду того, что значительная часть рабочих относится все еще крайне враждебно к политической агитации, а часть стачечников даже угрожала стать на дорогу, если их будут «запутывать в политику»—было произнесено несколько речей на тему: «Почему мы произносим политические речи». Речи эти произвели очень сильное впечатление на толпу. Дисциплина и порядок на митингах—образцовые, толпа повинуется каждому слову ораторов. Митинг сопровождался воз-

гласами массы: «Да здравствует политическая свобода, свобода стачек, сходок и собраний, слова и печати!» «Мы требуем справедливых законов и равенства всех перед законом!» «В течение целой недели,—читаем в одной из прокламаций донского комитета, — сперва в мастерских, а затем в громадной «балке», самой природой предназначенной для народных митингов, собиралась многотысячная толпа рабочих, чтобы впервые услышать свободное смелое слово о рабочей нужде, о полицейском гнете, давящем Россию, чтобы впервые открыто читать ежедневно появляющиеся прокламации. Несколько ораторов в ряде речей раз'ясняли рабочим значение выставленных стачечниками требований, подвергали резкой критике самодержавно-полицейский строй, выясняли сущность политической борьбы, ее необходимость для рабочих. Собрания эти, протекавшие в изумительном порядке и ничем не отличавшиеся от митингов на Западе, не могли не оставить глубокого следа в рабочих, не могли не вывести экономической борьбы на широкую дорогу политической демонстрации и протеста всего рабочего населения России». На вопросы ораторов, нужна ли политическая свобода, толпа отвечала единодушными криками: «Да!». «Боимся ли мы атамана?»—спросил один из ораторов собрание, окруженное казаками. «Нет, не боимся!»—дружно ответила толпа.—«Стало быть, мы будем продолжать наше собрание?».—«Да, будем продолжать!»—единодушно ответило собрание. Рабочие окружали плотной стеной ораторов, чтобы укрыть их от ареста, заботливо выводили их и давали уйти незаметно, чтобы на следующий день снова их приветствовать. Власти сперва растерялись, а казаки стояли вдали, как бы безучастными зрителями собраний. Затем, к концу недели, попытались пустить казаков в аттаку, но толпа, по команде ораторов, садилась на землю, и казаки отступали, не рискуя промчаться по сидящим людям; бывали случаи, когда аттаки отбивались камнями и косами. И только 11 ноября, когда собрания были распущены и в «балке» оставалось немного народу, казаки, в ответ на брошенный детьми камень, дали залп, которым шесть человек было убито и 12 ранено. Это подлило масла в огонь, митинги снова возобновились и продолжались еще некоторое время. Рабочие стали на работу 23 ноября, так что, стачка продолжалась, в общем, 19 дней.

Подводя итоги забастовке, донской комитет писал в своей прокламации: «Ростовская стачка, как частное дело ростовских рабочих, закончена; требования рабочих, по всей вероятности, будут удовлетворены, а политическое значение происшедших событий не замедлит сказаться в будущем. Но этого, конечно, мало. Для великого дела политического освобождения страны ростовская стачка только тогда сыграет свою роль, когда она встретит сочувствие всех протестующих элементов, когда в той или иной форме ее поддержат революционные организации русского пролетариата. Пусть же пожар, вспыхнувший на Дону, разгорится грозным пламенем, пусть

в ответ на ружейные залпы могучим эхом прогремят демонстрации, пусть стоны жертв покроет гром протеста, пусть повсюду так же единодушно, как в Ростове, вынесут смертный приговор самодержавию, гнетущему страну! Долой самодержавие! Да здравствует грядущая революция!» Ростовская стачка это свое предназначение выполнила. Правда, непосредственный отклик она вызвала только в Новороссийске и в Тихорецкой, где тоже происходили митинги; наиболее наглядно ее значение сказалось в самом же Ростове, где, спустя несколько месяцев, в марте 1903 года, донской комитет организовал в центре города многотысячную политическую демонстрацию рабочих, которая прошла вполне успешно. Но пример ростовской стачки наглядно показал, что рабочее движение делает громадный шаг вперед—к *массовой* демонстрации, к *массовому* выступлению, которое ставит на очередь вооруженный отпор, а затем и вооруженное наступление на твердыню самодержавия.

Плеханов, еще раньше правильно предугадывая развитие событий, писал по поводу частичного участия рабочих в студенческих демонстрациях, что теперь демонстрации должны приобретать «все более и более массовый характер». Вместе с тем, он доказывал, что этого мало, что необходимо на демонстрации «противопоставить полицейским бесчинствам организованное сопротивление». Плеханов указывал, что необходима «организация такого сопротивления предержавшим властям, которое, не будучи—пока еще преждевременным—открытым восстанием, вместе с тем облегчило бы участникам демонстрации возможность дать хорошую сдачу полицейско-казацкой орде». После ростовской стачки «Искра» могла, в статье Плеханова, констатировать, что «ростовские события открыли собою новую эпоху, эпоху массовых демонстраций», а в статье Ленина подчеркнуть, что, вооруженное восстание есть следующий шаг после массовой демонстрации. «Обыденность повода к стачке,—писал Ленин о ростовских событиях,—мелкий характер выставленных рабочими требований, особенно сильно оттеняет и могучую силу самодеятельности пролетариата, увидевшего сразу, что борьба железнодорожных рабочих есть его общее дело, и восприимчивость его к политическим идеям, к политической проповеди, и готовность отстаивать грудью в прямом сражении с войсками те права на свободную жизнь, свободное развитие, которые успели уже стать общим и элементарным достоянием всех мыслящих рабочих... На собраниях такого рода мы, действительно, наблюдаем воочию, как всенародное вооруженное восстание против самодержавного правительства созревает не только как идея в умах и программах революционеров, но также и как неизбежный, практически-естественный, следующий шаг самого движения, как результат растущего возмущения, растущего опыта, растущей смелости масс, получающих такие ценные уроки, такое великолепное воспитание от русской действительности».

2. Зубатовщина.

Не следует, впрочем, думать, что политической борьбой охвачена была вся рабочая масса. На самом деле этого еще не было. Различные слои рабочего класса, как говорил Плеханов, находятся одновременно на разных «стадиях». В «стадии», о которой мы только что говорили, в «стадии» все развертывающейся политической борьбы, находилась только часть рабочего класса, та, которая, по тем или иным условиям, могла успешно проходить школу политического воспитания. Другой части оставалось еще эту школу пройти, и движение ее продолжало носить черты совсем иного свойства.

Отсюда—пестрота, которой отмечено пока рабочее движение. В то время, как передовые слои рабочих переходят к политическим демонстрациям, отсталые слои дают еще исход своему протесту в примитивных формах розгрома фабрик, фабричных лавок и т. п. В июле 1899 г., рабочие Брянского рельсо-прокатного завода (Орловской губ.) разгромили заводскую контору, на площади разбивали лавки, кабаки и т. д. В июле того же года рабочие Сормовского завода разбили ренсковой погреб потребительского общества, повредили электрическую станцию, разгромили заводскую контору и контору полицейского пристава. Годом раньше аналогичные беспорядки произошли на Александровском заводе Брянского общества в Екатеринославе. Случаев таких было немного, но они показывали, что в рабочей среде осталось еще много темноты и бессознательности. Но еще в большей степени, чем эти случаи стихийно-разрушительных выступлений, о настроении отсталых слоев рабочих свидетельствовала т. н. зубатовщина.

Еще в апреле 1898 года московский обер-полицмейстер Трепов писал в докладе московскому генерал-губернатору вел. кн. Сергею Александровичу: «Опыт показал, что сил одной интеллигенции для борьбы с правительством недостаточно, даже в том случае, если она вооружается взрывчатыми веществами. Нужно приобрести на свою сторону массовую силу, но как ее приобрести? Агитаторы стали использывать реальные нужды рабочих и повели на почве мелких существенных нужд и требований агитацию... Успехи забастовки на этой почве имеют крайне опасное и вредное государственное значение, являясь первоначальной школой для политического воспитания рабочих... Пока революционер проповедует чистый социализм, с ним можно справиться одними репрессивными мерами, но когда он начинает эксплоатировать в свою пользу недочеты существующего законного порядка, репрессивных мер мало, а надо не медля вырвать из под ног его самую почву, а для этого, прежде всего, ввести принцип законности в сферу фабрично-заводских отношений, а затем из'ять революционеров из этой благоприятной для них среды...». «Где пристраивается революционер, там обязана быть и

государственная полиция,—продолжает Трепов свои рассуждения.— Последняя по самой трудности и сложности своей задачи нуждается в постоянном содействии, как то: фабрикантов, служащих и пр., и прежде всего, в содействии общей полиции. А потому в сферу фабрично-заводских отношений проникает одновременно не только революционер и агент государственной полиции, но и чин общей полиции. Чем занят революционер, тем обязана интересоваться и полиция».

Вот из такого рода «философии» и родилась зубатовщина. Пока революционеры не связаны с массой, они не так опасны—их можно изловить. Опасна поднимающаяся на почве экономической агитации масса рабочая. Изловить ее и посадить в тюрьму затруднительно— ее можно поймать на «обслуживании» ее интересов. Если революционеры завоевывают доверие рабочих защитой их экономических интересов, то этим должна заняться и полиция. Вслед за революционером в рабочую среду должны пойти и агенты государственной полиции (т. е. по-просту охранки) и чины общей полиции. Чем занят революционер, тем обязана интересоваться и жандармерия, и полиция. Рабочих нужно приручить, привязать к самодержавному порядку «защитой» их экономических интересов.

Выполнителем этой программы и творцом целой системы охранно-полицейского воздействия на рабочих явился начальник московского охранного отделения Зубатов. У него тоже была своя «философия», приобретенная долгим филерским опытом. «Рабочий класс,—писал Зубатов,—коллектив такой мощности, каковым в качестве боевого средства революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни в моменты массовых студенческих выступлений. Чисто количественная его сторона усугубляется в своем значении тем обстоятельством, что в руках его сосредоточилась вся техника страны, а он сам, все более об'единенный процессом производства, опирался внизу на крестьянство, к сынам которого принадлежал; вверху же соприкасался с интеллигентным слоем населения. Будучи раз'ярен социалистической пропагандой и революционной агитацией в направлении уничтожения существующего государственного и общественного строя, коллектив этот мог неминуемо оказаться естественной угрозой существующего порядка вещей». Характеристика эта, в общем правильна, и понятно, что Зубатов, как и покровитель его Трепов, искал способа предупредить рост революционной силы пролетариата. Как это сделать? Не отвергая репрессий, Зубатов отвечал: «Завоевание доверия рабочих, прежде всего; революционеры были сильны только доверием, а его надо было отвоевать у них во что бы то ни стало». Но как охранному отделению завоевать доверие рабочих? Для этого в распоряжении Зубатова могло быть только одно средство: надеть на себя маску «друга рабочих» и действовать с помощью тех подонков рабочей среды, которых можно было купить за деньги.

Зубатов прославился тем, что мог надевать на себя личину искренности и так забираться в душу арестованных, что на его удочку попадали очень многие, даже видавшие виды, а тем более серые рабочие. «Когда рабочий попадался с какой-либо прокламацией, содержавшей экономические требования,—рассказывает Зубатов,—в охранном отделении очень интересовались вопросом, от кого такой рабочий получил прокламацию, где достал ее, принадлежит ли он к издавшему ее преступному сообществу, а рабочий сворачивал все время разговор на содержание листка, на мастера, основу и пр. Когда ему замечали, что это к делу не относится, он раздражался, говорил, что в охране не хотят знать правды, что чины ее принадлежат к одной шайке с богатеями и прочее... Подобного рабочего, взятого на месте преступления, надлежало бы выслать, а он, в сущности, оказался политически невинен, как младенец». С такими младенцами, ожидавшими от охранки правды, Зубатову не трудно было разыграть свою роль «друга рабочих». Он доказывал им, что вопросы об основе, мастере и т. п. могут быть разрешены и при самодержавном порядке и даже при содействии полиции, что если фабриканты эксплоатируют рабочих, то их можно укротить и рабочих может взять под свою защиту правительство и т. д. Темные люди поддавались на эти лживые речи, а вдобавок Зубатов пускал в дело своих подручных, рабочих, которые действовали в рабочей среде, конечно, не в качестве Иуд, продававшихся за тридцать серебяников, а в качестве подлинных рабочих. Затяев игру, Зубатов поневоле должен был пойти дальше. Рабочая масса словам не верит, а потому Зубатов, через своих подручных, вынужден был поддерживать выставляемые рабочими требования, через них подает рабочим советы в случаях конфликтов с фабрикантами, оказывает давление на предпринимателей, организует рабочие общества, чтения для рабочих и т. д.

В мае 1901 года при участии Зубатова организуется в Москве «Общество взаимного вспоможения рабочих в механическом производстве», затем было организовано такое же общество ткачей и подано на утверждение еще несколько уставов (табачников, кондитеров и др.) Вместе с тем образован был «Совет рабочих», который пытался распространить свое влияние на всю московскую рабочую массу. «Совет» пытался регулировать конфликты, давал рабочим раз'яснения и т. п., вызвав, между прочим, жалобу в министерство финансов фабричного инспектора, который возмущался тем, что Трепов «счел уместным столь сложную и ответственную обязанность возложить на слесарей и ткачей, весьма, может быть, почтенных, но совершенно непригодных по своему цензу к исполнению порученного им труднейшего дела руководства массовым движением рабочих». Простаки, сидевшие в «Совете» думали, что это они какое-то дело делают, а всем руководило охранное отделение. «Благодаря такому бюро (т.-е. совету),—писал впоследствии Зубатов,—

жизнь рабочей массы направлялась по известному руслу, где обычно все страсти успокаивались, а недоразумения разрешались в большинстве случаев мирным путем, не выходя на улицу и не выливаясь в форму фабрично-заводских беспорядков». Зубатов добавляет, что, когда администрация стороною узнавала о забастовках, то поручала «Совету» проверить происшествие на месте.

Можно себе представить, какой разврат вносился этим в рабочую среду, тем более, что Зубатов не ограничивался одной экономикой. Он организовал также лекции, которые рабочим читали сперва профессора либеральные, а, когда последние, под давлением общественного мнения, отказались, лекторами стали священники. 19 февраля 1902 года, в годовщину освобождения крестьян, у памятника Александра II была устроена патриотическая манифестация, в которой участвовало несколько десятков тысяч рабочих, причем вел. кн. Сергей братался с депутацией от рабочих и просил их передать всему рабочему населению Москвы его благодарность за участие в «торжестве». Когда на пасху 1903 года в Москву приехал Николай II, ему представилась депутация от «фабрично-заводских рабочих г. Москвы», во главе которой находились «рабочие», состоявшие на содержании у охранного отделения. В Минске—Зубатов перенес свою деятельность также в среду еврейских рабочих—он образовал в противовес «Бунду» «Еврейскую независимую рабочую партию» которая, под прикрытием жандармов, вела агитацию среди еврейских рабочих с целью ослабить влияние «Бунда».

Темная масса поддалась на удочку, но предприятию этому все же не удалось послужить на пользу самодержавию. Зубатовщина, прежде всего, была захвачена сама стихийной экономической борьбой рабочих. «Результатом возникшего рабочего движения,—сообщала о настроении московских рабочих в связи с зубатовщиной фабричная инспекция,—был целый ряд забастовок, число которых в настоящем году (1902) в весьма значительной степени превышает обычную норму, огромное небывалое количество коллективных заявлений о неудовольствиях, число коих с течением времени увеличивается все более и более... В умах рабочих создалось непоколебимое убеждение, что эти организации созданы высшим правительством с исключительной целью защиты интересов рабочих против фабрикантов, вследствие чего все раз'яснения, исходящие от главных деятелей организации, принимаются рабочими с полной верой в их правильность и осуществимость, несмотря на явную иногда их нелепость». Все это не могло, конечно, не встревожить фабрикантов, которые привыкли, что полиция и власть поддерживает их, а не рабочих. «Если полицейские власти,—писали московские фабриканты министру финансов—и впредь будут рассылать по фабрикам вместо инспекторов разных лиц, вроде Красовского, таинственного «Михаила Афанасьевича» и им подобных, то добра от этого не будет, а фабриканты, в конце концов, окажутся выну-

жденными позакрывать фабрики и распустить рабочих на все четыре стороны, предоставив полиции самой о них заботиться и приискивать им работу». Угроза эта была вполне действительна и настолько внушительна, что министр финансов должен был внять ей и начать борьбу с министерством вн. дел за прекращение опасного опыта.

А с другой стороны, Зубатов не был в силах оградить рабочую массу от влияния развертывавшегося политического движения передовых слоев рабочих и от воздействия социал-демократической агитации. Темная масса, над которой Зубатов проделывал свои опыты, под влиянием общего оживления в рабочем движении, постепенно прозревала и примыкала к общему движению. Первый удар зубатовщине нанесла одесская забастовка 1903 года, о которой мы сейчас расскажем, окончательно ее добили январьские дни 1905 года.

3. Всеобщие забастовки 1903 года.

Ростовская стачка, предшествовавшие ей и за ней последовавшие политические демонстрации всколыхнули до глубины рабочую массу, усиливая в ней брожение и приводя в движение накоплявшиеся в ней силы. Было несомненно, что, если не сразу и не с одинаковой энергией, то постепенно начинает выступать *масса*, а не только передовые *слои* ее, и притом выступать на защиту не только экономических своих интересов, но и политических прав. 1903 год дал в этом отношении вполне реальные плоды, составив новый поворотный момент в ходе рабочего и революционного движения.

Первая ласточка показалась в мае этого года в Костроме. Волнение здесь началось из-за понижения расценок и вначале не носило политического характера. «Надо заметить,—писал о костромских рабочих сотрудник «Искры»,—что это были все люди, не тронутые никакой пропагандой, самый, так сказать, первобытный рабочий люд. Их толкала стихийная экономическая сила; им хотелось отбиться от неумолимо надвигавшегося вместе с новой таксой голода, и, полные еще наивной веры, что кто-то за них должен и может заступиться, они упрямо доискивались тех, кому о них ведать надлежит». После тщетных попыток найти защиту у губернатора, рабочие решают, что «надо собственными силами одолевать упорных фабрикантов». И рабочие сами устраивают демонстрацию, из куска кумача, купленного одним из рабочих «на последний двугривенный», делают красное знамя и с революционными песнями идут по улицам города.

Если революционная искра попала в Кострому, до того довольно мертвый город, и подвинула на борьбу «первобытный рабочий люд», то тем ярче она должна разгореться в тех местах, где раньше происходили демонстрации, где сильнее бился пульс эконо-

мической борьбы и политической жизни и где масса находилась под влиянием социал-демократических организаций. Благоприятным моментом для выступления рабочих было и состояние промышленности в 1903 году, когда кризис начал сменяться промышленным оживлением.

1 июня в Баку началась забастовка на двух нефтяных фирмах Биби-Эйбатского промышленного района, затем к ним присоединились рабочие других фирм и железнодорожных мастерских. Требования всеми забастовщиками были выставлены экономические. К 4 июня забастовка приняла всеобщий характер. Она распространилась на Черный городок. Стала конно-железная дорога, электрическая станция, прервалось телефонное сообщение с Балаханами, забастовали типографии, так что газеты перестали выходить, не пошли товарные поезда и железнодорожными рабочими была сделана даже попытка не пустить пассажирский поезд. «Стачка делает поразительные успехи:—писал Бакинский комитет РСДРП в своей прокламации.—Вся нефтяная промышленность Баку и Балаханов стала. Кочегарки не дымят, в вышках не бурят и не тартают. Товарные поезда стали и стачка распространилась по всей линии от Баку до Батума. Конка не идет. Команда прибывающих судов немедленно пристает к забастовке. Стачка все более и более распространяется на мелкие ремесленные заведения: бастуют маляры, сапожники и пр. Типографии стали, и газеты не выходят. Даже приказчики местами бросают работу. Мысль о солидарности интересов всех людей труда без различия профессии и национальности, великая идея борьбы за освобождение всех трудящихся, охватывает самые неразвитые, самые неподвижные слои пролетариев». Общие требования были так сформулированы в прокламации комитета: «Мы требуем освобождения арестованных во время стачки товарищей, мы требуем отмены произвольных обысков, производимых на улицах в Балаханах и при уходе с работ на фабриках и заводах; мы требуем 8-мичасового рабочего дня, по крайней мере, для сменных рабочих; мы требуем здоровых жилищ. От этих требований мы не отступим, и мы их добьемся».

Стихийно возникшая всеобщая стачка протекала организованно и сопровождалась многочисленными и многолюдными собраниями. «С 9 часов утра непрерывная черная лента тянулась к Волчьим воротам,—рассказывает очевидец об одном из таких собраний 6 июля.—К 12 часам безлюдная котловина, окруженная холмами, кишела людьми. В 1 час дня сходка была открыта. Говорили 8 ораторов на разные темы. После первых двух ораторов на холмах появились два-три казака. Раздался крик: «Казаки, казаки». Толпа на минуту встревожилась, но скоро опять успокоилась... Один за другим выступали ораторы, которые, воспользовавшись присутствием незванных гостей, прислужников позорной тирании, лежащей тяжким бременем на народе, указывали на необходимость по-

литической борьбы против существующего режима. Масса, под влиянием восторженной и бурной речи пылкого оратора успокаивалась и на угрожающий приказ уездного начальника «прекратить речи и разойтись»—единогласно требовала «продолжения»... Речь оратора, закончившаяся призывом к открытому выступлению на борьбу с гнусным правительством, была покрыта несмолкаемыми аплодисментами и революционными возгласами». Во время забастовки выходили прокламации на русском, грузинском, армянском и татарском языках. Попытка устроить демонстрацию не удалась, так как демонстранты были рассеяны казаками.

Отдельные предприниматели вступали в переговоры со своими рабочими, но рабочие отказывались от частных соглашений. Нефтепромышленники, рассмотрев требования рабочих, отказались их удовлетворить, так как они пред'явлены в «незаконной» форме. Министерство путей сообщения приказало не делать железнодорожным рабочим никаких уступок, пока они не станут на работу. Движение конки и товарных поездов было восстановлено с помощью солдат. Вместе с тем в город было стянуло много войск, начались репрессии. Все это сломило стойкость рабочих и забастовка пошла на убыль—14 июня (местами и раньше) работы были возобновлены. Движение потеряло свой организованный характер, начались поджоги промыслов, в течение недели сгорело около 100 вышек. Некоторые уступки рабочим сделала только фирма бр. Нобель, многие фирмы уплатили рабочим за дни забастовки.

Бакинская забастовка быстро распространилась по Кавказу. В ответ на репрессии в Баку центр. комитет Кавказского союза РСДРП об'явил всеобщую стачку протеста на всем Кавказе. Первым откликнулся Тифлис, где 14 июня началась всеобщая забастовка: стали все заводы, железнодорожные мастерские, конно-жел. дорога, типографии и пр. Через 2—3 дня начали приступать к работам и к 21 июня стачка прекратилась. Во все время забастовки происходили стычки рабочих с войсками. Наиболее кровавая стычка произошла на ст. Михайлово, где рабочие остановили поезд и отцепили паровоз. По рабочим был дан залп, которым было убито 10 человек и ранено 18.

В Батуме всеобщая забастовка была начата 17 июня, сопровождаясь митингами и уличной демонстрацией. Всего на Кавказе, включая Баку, в эти дни бастовало около 100 тыс. рабочих.

Одновременно с Баку начались забастовки в Одессе. Здесь действовала зубатовская «Еврейская независимая рабочая партия», которой, между прочим, в начале мая организована была стачка на механическом заводе Ресteля. Зубатовцы располагали средствами и выдавали стачечникам пособия, однако заводчик стал рассчитывать рабочих и набирать новых, а полиция охраняла штрейкбрехеров и даже стала арестовывать забастовщиков. Очевидно, здесь сказывались обычные трения между двумя «ведом-

ствами»—охранкой и общей полицией. Но все это колебало веру рабочих в независимцев и усиливало брожение в рабочей среде. Действовали в это время независимцы и в железнодорожных мастерских, где 1 июня началась забастовка с пред'явлением экономических требований. Независимцы препятствовали выступлению на сходках социал-демократов, а когда железнодорожное начальство обещало удовлетворить некоторые мелкие требования, рабочие, руководимые независимцами, прокричали начальству «ура» и стали на работу.

Независимцы ликовали, но несколько рано: они не видели близкого своего провала. Прошло несколько дней, и настроение рабочих жел.-дор. мастерских изменилось, они поняли, что их околпачивали. По рукам ходил писанный рабочим листок, с призывом: «Долой обман, долой мелкие требования, хотим большего!» Ораторы Одесского комитета РСДРП выступали на собрании, раз'ясняли цели борьбы, и теперь возгласы «Долой самодержавие!» дружно были поддержаны рабочими. А дальше стачка пошла такой же лавиной, как и в Баку.

4 июля забастовали портовые грузчики, выставив требование сокращения рабочего дня и увеличения платы. По мере прибытия пароходов стали бросать работу моряки-кочегары, угольщики, матросы, тоже выставив экономические требования. Так как часть моряков делала взносы в кассу независимцев, то последние, во главе с подручным Зубатова и главою независимцев Шаевичем, пришлось поневоле взять на себя руководство стачкой моряков. Это повело к окончательной гибели независимцев: по приказу из Петербурга Шаевич был арестован и послан в ссылку.

Далее постепенно к забастовке присоединились рабочие заводов Беллино-Фендрих, Жако, Вальтуха, Родокинаки и др., кондуктора и кучера конки. Забастовавшие рабочие ходили с завода на завод, из мастерской в мастерскую, всюду приостанавливая работы. «Раздался крик: «К Юлиусу!»—читаем в описании забастовки одесским комитетом об одном из таких дней.—Этот призыв был дружно подхвачен толпой, которая, сплотившись, двинулась... Казаки за нею. По дороге затягивали «Марсельезу» и др. песни, но из толпы кричали: «Не надо песен!». Началось величественное шествие 8—10 тысячной толпы с завода на завод, из мастерской в мастерскую. Рабочие, где с радостью, а где с угрюмыми лицами покидали душные мастерские и присоединялись к забастовщикам. Как катящийся ком снега, толпа все росла и росла. От завода Елли пошли на Пересыпь. Во главе шествия все время были организованные рабочие социал-демократы. До станции Хаджибейского лимана толпу конвоировали казаки; на Пересыпи их не было ни одного. На многочисленных остановках рабочие говорили речи на политические темы».

Ход одесской забастовки обострился благодаря борьбе, которую социал-демократы должны были вести с независимцами. Последние старались потушить забастовку, а в лучшем случае—удержать ее в экономическом русле и помешать ее превращению в политическую. На собраниях они не давали говорить социал-демократам, вырывали красные знамена и т. д. Особенно бурная схватка произошла на одном из собраний в Рубовом саду. Независимцы пришли в большом числе, вывели ораторов социал-демократов из сада, угрожая передать их в руки полиции. Из-за одного оратора, которого схватили независимцы, произошла настоящая свалка, закончившаяся тем, что оратора, еле живого, вырвали из рук зубатовцев. Социал-демократам удалось, однако, сгруппировать в собрание до 10 тыс. рабочих и произнести несколько речей. Но тут независимцы получили помощь с той стороны, с какой они ее, конечно, и ожидали. Прибывшие казаки и пехота бросились в толпу и началось кровавое избиение. Толпа, разбежавшись, собралась вновь и решила итти на демонстрацию в город. С развернутыми красными знаменами двинулись демонстранты, разделившись, по двум направлениям. Казакам удалось преградить доступ в город только одной части демонстрантов, другая же дошла до Екатерининской улицы, с криками: «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!», разбрасывая по пути прокламации.

А затем началась расправа с рабочими. Кондукторов и кучеров конки полиция заманила в ловушку и, собрав их, жестоко избила, заставив возобновить работу. На вокзале, на Пересыпи, всюду заставляли рабочих силой приступать к работе, арестовывали на улицах, в трактирах и т. п. Кое-где требования рабочих были удовлетворены. Железнодорожные рабочие, под угрозой новой забастовки потребовали освобождения арестованных товарищей и добились этого.

Если бакинская и одесская забастовки возникли самостоятельно, то в других городах, по преимуществу юга России, стачки начались в непосредственной связи с событиями в Баку и в Одессе: забастовочная волна начала катиться не только по фабрикам и заводам отдельного города, но и по городам.

В Киеве первыми, по связи с Одессой, забастовали рабочие железнодорожных мастерских, 21 июля, выставив экономические требования. Начальник дорог пошел на мелкие уступки, но они не удовлетворили рабочих и забастовка продолжалась. Затем к забастовке присоединился Южно-русский машиностроительный завод, а за ним—рабочие большинства заводов, фабрик и типографий. Забастовавшие рабочие ходили по фабрикам и снимали с работ, бросили работу строительные рабочие, хлебопеки, трамвайные рабочие, пароходные мастерские и т. д. Полиция с первых же дней разгоняла собиравшихся рабочих и не остановилась перед кровавым подавлением забастовок. 23 июля железнодорожные рабочие

собрались за городом, на Батыевой горе, но были оттуда отодвинуты казаками к городу. Рабочие спустились к вокзалу и, собравшись у жел.-дор. депо, преградили этим выход из него паровозов, причем многие рабочие легли на рельсы. Так как в это время должен был отойти поезд, а паровозов не было, то казаки бросились на толпу и разогнали ее, причем рабочие защищались камнями. Когда после этого толпа снова собралась, в нее, без предупреждения, раздались три залпа, которыми было убито три рабочих и ранено 20. 25 июля снова были даны залпы по толпе рабочих, собравшейся у пароходной пристани, причем и здесь были убитые и раненые. Кровавая расправа вызвала всеобщее возмущение и негодование в рабочей среде, а местный комитет назначил на 27 июля демонстрацию протеста, но осуществить ее не удалось, так как власти произвели массовые аресты и вообще приняли все меры, чтобы не допустить демонстрации. С 27 июля рабочие стали возобновлять работы. Во многих случаях экономические требования рабочих были удовлетворены (типографщики добились 8-часового рабочего дня, увеличения платы).

В Николаеве забастовка началась с судостроительного завода Балтийского общества (21 июля). Забастовавшие рабочие устроили демонстративное шествие по городу, в котором приняло участие до 10-ти тысяч человек. Столкновение с войсками произошло в один из дней забастовки у элеватора, где несколько человек было ранено.

В Екатеринославе, по решению местного комитета партии, забастовка была об'явлена на 7-е августа. В этот день забастовали рабочие железно-дорожных мастерских, которые, выбравшись со двора, окруженного войсками, направились к брянскому трубопрокатному и гвоздильному заводам, рабочие которых присоединились к забастовщикам. В тот же день, когда часть рабочих собралась на Брянской площади, войска стали разгонять их, рабочие защищались камнями. В толпу было дано два залпа, которыми было 8 убито и 15 ранено. С утра этого дня забастовали типографские рабочие, которые также стали снимать других с работы. 8-го августа на Чечелевской площадке состоялось собрание, на котором произносились речи; такие же собрания состоялись на Кайданах, на Амуре и Нижнеднепровске. Однако, настроение рабочих скоро стало падать, с 11-го августа работы стали возобновляться, а 12-го все заводы были в ходу. Екатеринославский комитет, в своем отчете, между прочим, отмечал, что забастовка не осталась без влияния и на крестьян. Рабочие по собственному почину отправились в близлежащие деревни и агитировали среди крестьян. В некоторых деревнях крестьяне обещали присоединиться к рабочим, как только закончится уборка хлебов.

В несомненной связи с забастовками, прокатившимися по югу России, 9-го сентября 1903 года в Москве забастовали рабочие всех

типографий. Стачке предшествовали собрания представителей типографий, на которых выработаны были общие требования. В забастовке принимало участие до 15 тыс. рабочих и закончилась она частичным успехом: принят был 10-часовый рабочий день (рабочие требовали 8 часов.), повышены расценки. Из стачки этой вырос профессиональный союз типографских рабочих.

Из южных городов, кроме перечисленных, забастовки произошли еще в некоторых местах (Елисаветград, Керчь, Феодосия, Конотоп). Всего на юге бастовало не менее 300 тыс. рабочих. Стачки повсюду отличались тем, что они носили всеобщий характер и тем, что экономическая и политическая стороны их тесно переплелись. В каждом городе забастовка охватывала все или почти все крупные предприятия, значительную часть предприятий мелких, включая такие, как хлебопекарни, булочные, трамвай, электрические станции и т. д. Рабочие в большинстве случаев выставляли по отдельным предприятиям или производствам экономические требования, но нередко бывали и случаи, когда бастовали, не пред'являя требований и поддерживая этим товарищей или присоединяясь к общим требованиям. Забастовки сразу же, без каких-либо промежуточных «стадий», принимали политический характер, что выражалось в многотысячных собраниях, стычках с войсками и полицией. В основе своей летнее движение 1903 года было наступательной экономической борьбой; выросшая активность массы в условиях оживления промышленности была направлена, прежде всего, к тому, чтобы добиться лучших условий работы, значительно ухудшившихся в годы промышленного кризиса. Но более обострившееся политическое положение в стране и рост политического сознания рабочего класса, ускоренный предшествующим периодом демонстраций, в связи с усилением работы социал-демократических организаций, привели к тому, что экономическая борьба стала и борьбой политической. Летние стачки в большем масштабе продолжали дело ростовской забастовки 1902 года.

Продолжали в том смысле, что, сочетав экономический и политический момент, они вовлекли в борьбу широкие массы, раньше еще не затронутые политической агитацией, впервые столкнули эти массы с самодержавно-полицейским порядком и на опыте всеобщей забастовки показали рабочему классу его силы, внушили ему веру в себя, в дело его борьбы. Летом 1903 года в России впервые послышались уверенные шаги приближающейся революции. Чтобы понять это, достаточно было всмотреться в картину развертывающихся событий, в картину, радостную для одних, мрачную для других. «Своеобразен был вид больших городов во время стачки—читаем в отчете, представленном русской делегацией Амстердамскому социалистическому конгрессу: все магазины, конторы, пекарни, мастерские закрыты, конка и трамвай не ходят; извозчиков почти не видно; газет нет; поезда стоят на станциях, горы товаров заваливают

платформы; пароходы и шкуны стоят на рейдах приморских городов без движения. Нет ни хлеба, ни мяса. Небольшое количество хлеба берут с бою. Нет ни электричества, ни газа, вечером на улицах темно, а в квартирах плохое освещение, свечами. Улицы не подметаются, нет ни разносчиков, ни носильщиков, ни даже чистильщиков сапог. Полный застой торговой и промышленной жизни в городе, но зато огромное оживление и возбуждение города в общественном отношении. Тысячные толпы рабочих ходят по улицам, устраивают сходки, митинги, на которых социал-демократические ораторы произносят речи, демонстрации с красными знаменами в руках. Раздаются революционные песни и крики. Масса патрулей, полиции, городовых и солдат».

Россия ничего подобного раньше не знала и не могла знать, потому что только теперь в революционную борьбу вступала единственная революционная сила—рабочий класс. На забастовках 1903 года русские рабочие впервые пробовали свои силы в революционной борьбе и впервые применили тот метод—всеобщую стачку—которым они нанесли самодержавию удар в октябре 1905 года. «Искра» правильно учла события, когда из июльских дней делала вывод о реальной возможности и даже неизбежности революции в близком будущем.

4. Крестьянские волнения.

Вывод о неизбежно приближавшейся революции тем более можно было сделать, что нарастало революционное настроение не только в рабочем классе. Происходил вообще глубокий сдвиг всех общественных классов и слоев, все приходили в движение. Появились грозные признаки крестьянского восстания, непрерывно волновалось студенчество, мелко-буржуазные слои группировались в партии, организовывалась и давала о себе знать либерально-помещичья буржуазия. Атмосфера становилась все более напряженной и разрядиться она могла только бурей.

К началу девятисотых годов положение деревни резко изменилось к худшему. На почве расслоения крестьянства выросло кулачество и усилилось обнищание большинства крестьян. Несколько голодных годов, хищническая податная политика правительства, невозможность арендовать помещичьи земли делали положение пролетаризированного и полу-пролетаризированного крестьянства нестерпимым. Оно попадало во все большую кабалу к помещикам и кулакам, беднело, хозяйство его падало; недоимочность росла. Положение становилось таким острым, что правительство вынуждено было создать особую комиссию по выяснению причин «оскудения центра», т. е. обнищания крестьян центральных губерний, и особое совещание о нуждах сельско-хозяйственной промышлен-

ности, которое придумало бы меры к поднятию сельского хозяйства вобще и крестьянского в особенности.

Если забеспокоилось правительство, значит, дело принимало серьезный оборот. И правительство, действительно, имело основания беспокоиться. Тревожили его, разумеется, не только развал крестьянского хозяйства и падение платежеспособности крестьян, но, главным образом, настроения в крестьянстве, говорившие о возможности вспышки крестьянских бунтов. Опасность эту правительство могло уже констатировать в 1898 году. «Из поступающих в министерство вн. дел сведений усматривается,—гласил один из циркуляров министра внутренних дел этого года—что в некоторых, преимущественно южных и юго-восточных губерниях, за последнее время возникает ряд крестьянских беспорядков, проявляющихся в виде систематических потрав помещичьих полей и лугов, с выгоном скота под караулом, вооруженным палками, кольями и вилами, людей, с нападением на помещичьих об'ездчиков и сторожей или значительных порубок в помещичьих лесах, при драках с полесовщиками. При захвате об'ездчиками крестьянского скота, крестьяне, с целью его освобождения, нередко целыми деревнями совершают вооруженные нападения на экономии и усадьбы землевладельцев и производят раздел хозяйственных и даже жилых построек, нанося побои и увечья служащим и караульщикам». Картина эта, в общем, верна, а в начале девятисотых годов положение стало еще более острым. Отдельные крестьянские волнения замечались и в губерниях правобережной Украины, и в центрально-земледельческих, и в восточном районе. Волнения происходили на почве земельного утеснения, из-за спорных лесов и земель. Крестьяне хорошо помнили, какие земли у них отрезаны были при освобождении, и, под влиянием острого земельного голода, пытались восстановить свое право на эти земли. К этому присоединялась и продовольственная нужда, в особенности после неурожайных лет.

Уже эти отдельные, то там, то здесь происходившие беспорядки свидетельствовали о нараставшем в крестьянстве недовольстве. Но с особенной силой сказалось оно тогда, когда стало принимать более или менее массовый характер, не ограничиваясь одной деревней, но захватывая целые районы. Такой характер носили волнения крестьян в части Харьковской и Полтавской губерний в марте 1902 года.

Как всюду, так и здесь, волнения возникли, прежде всего, на почве кабальной зависимости крестьян от крупных помещиков и общего обеднения крестьянства. По поводу слухов о том, что беспорядки вызваны «зловредной» агитацией, староста одной из деревень говорил в своих показаниях: «Страшны не книжки, а то, что есть нечего ни тебе, ни скоту. Земли нет и хлеба нет, сенокосов нет и выпаса для скота нет, а потому и рабочего скота за последнее время очень уменьшилось. Например, в прошлом году было

штук 300 голов, а теперь и 100 шт. не найдешь в нашем обществе, а овец совсем даже нет». По словам старосты, условия с'емки помещичьей земли с каждым годом становятся все стеснительнее: за 1 десятину земли нужно убрать 1½ десятины помещичьего хлеба, причем помещики дают худшую землю, а раньше позволяли выбирать. «В общем,—говорил староста,—у нас ежегодно не хватает на пропитание и всегда недоедание, хватает хлеба не дальше декабря месяца, так как при таких условиях обработки трудно заработать больше... Если зарабатывается какая копейка, то она нужна на уплату податей и на одежду». По другим данным, арендная плата за землю в течение нескольких лет поднялась в этих местах с 6—8 руб. до 12—19 р. «Как мне не грабить, у меня земли ступни нет», говорил один старик земскому начальнику. И даже видный чиновник, посланный для расследования беспорядков, должен был в секретном докладе министру признать, что нет ничего удивительного в том, если «народ, усталый до изнеможения от хронических и тяжких лишений», начинает «выветривать традиционный свой дух, бывший доселе благополучием всей совокупности нашей русской государственной жизни».

Беспорядки начались непосредственно на почве продовольственной нужды. Со времени половины марта крестьяне Константиноградского уезда (Полтавск. губ.) стали группами просить помещиков, ссылаясь на недостаток продовольствия, выдать им хлеб и корм для скота. Когда помещики в этом отказали, крестьяне сами принялись брать хлеб. 25-го марта несколько человек д. Лисичьей явились к арендатору ближайшего имения и заявили ему: «Убирайся, мы и наши отцы здесь работали, это все наше». Уходя, они грозили поджогами всем арендаторам, которые их разоряют. Действительно, в ту же ночь у арендатора совершен был поджог. Вслед за тем начались общие беспорядки. 27 марта толпа крестьян д. Максимовки приехала на подводах в имение герцога Мекленбург-Стрелицкого «Карловка» и насильно вывезла несколько тысяч пудов картофеля, не тронув ничего из остального имущества экономии. Вслед за тем крестьяне и других деревень стали отбирать у помещиков и богатых казаков хлеб, корм для скота, сельско-хозяйственный инвентарь. Некоторые усадьбы были подвергнуты полному разорению, и были сожжены. Из Константиноградского уезда движение перебросилось в Полтавский уезд, а затем и на соседние, Валкский и Богодуховский уезды Харьковской губернии. Движение носило вначале организованный характер: в д. Лисичьей, откуда пошло движение, и в Карловке крестьяне не брали ничего, кроме хлеба и корма для скота, но чем дальше распространялись беспорядки, тем более они принимали стихийный характер. Экономии часто разграблялись, в Валкском уезде был разгромлен свеклосахарный завод. Часть крестьян двинулась к г. Валки. Движение началось с борьбы за хлеб, но, разросшись, превратилось в борьбу с угнетателями-помещиками за землю.

Беспорядки эти были подавлены со всей жестокостью, на которую было способно царское правительство. На защиту помещиков были присланы войска и для расправы с крестьянами двинулись самолично губернаторы. Крестьяне верили, что солдаты в них стрелять не будут. В одной из деревень крестьяне держали к солдатам речи, в которых убеждали их не стрелять, так как и у них нет земли. Когда раздалась команда: «раз, два, три!»—из толпы стали кричать: «Кажи еще четыре! Не робей, ребята, стрелять не будут!». Но раздался залп, уложивший на месте несколько убитыми. Особенно свирепствовал харьковский губернатор Оболенский, поровший крестьян целыми деревнями. Уезжая из деревень, Оболенский предоставлял всем, кто считал себя начальством, продолжать порку. «Нужно сожалеть,—писал по этому поводу один из чиновников министру,—что все это дело даже не было как-нибудь организовано. Сек всякий, кто хотел и как хотел»—такая «организация» всеобщего сечения не удовлетворяла исправного бюрократа. Когда некий проходимец Иевелко взял на себя патриотическую миссию и стал ловить крестьян, представляя их для получения должного возмездия, Оболенский вызвал его и расцеловал, в поощрение прочим патриотам.

Одновременно с Харьковской и Полтавской губерниями волнения происходят и в других местах. В Воронежской губернии в некоторых уездах крестьяне требовали, чтобы помещики добровольно отдали им спорные земли, хлеб и скот, угрожая сжечь усадьбы и поделить всю землю по-своему. В Тамбовской губернии крестьяне требовали у помещиков хлеба, в некоторых местах хлеб, при отказе дать его, жгли. Из Полтавской губернии волнения перебросились в Херсонскую и Бессарабскую губернии—сюда уже доходили слухи, будто полтавские крестьяне поделили помещичьи земли.

Во всех местах волнения возникали стихийно, на почве острой нужды, и революционная агитация далеко не имела в них такого значения, какое старалось ей придать правительство. Кое-где прокламации, действительно, распространялись и оказали свое воздействие на крестьянские настроения, но распространялись они в деревнях по исключению, а не по правилу, да и не всегда призывали к действию. В Полтавской губернии распространялась, например, прокламация на украинском языке, которая приглашала крестьян собираться ежегодно в день 19 февраля и обсуждать, что им нужно, чтобы стать свободными людьми. «Не нужно нам ни земских, ни других начальников, — говорилось в упомянутой только что прокламации, а чтобы в земстве и всюду, где издаются законы, назначаются подати, были наши выборные люди, чтобы не одни помещики распоряжались казною, чтобы нас не секли розгами, чтобы детям нашим давали бесплатное образование во всех школах и не на чужом, а на родном языке, а главное, чтобы вся

земля была общественной». Найдена была и другая прокламация, подписанная «студентом», и составленная, повидимому, кем-то из крестьян. В ней говорилось, что всем православным крестьянам разрешается пахать и сеять, где они хотят, и суда за это не будет.

Несомненно, что не этого рода, крайне слабая, агитация имела значение, но агитация, идущая от самой жизни, доносившиеся и до деревни слухи, смутные, правда, о волнениях в городе, о том, что делается в рабочей и студенческой среде. Когда в д. Максимовке крестьянин Стороженко говорил колеблющимся крестьянам: «Не бойтесь, 1 мая начнется и скоро кончится, всем будет по 8 десятин на душу»—разве в этом не было своеобразное отражение в крестьянском сознании слухов о первомайских выступлениях рабочих? Именно 1 мая что-то начнется и крестьяне получат по 8 десятин на душу,—ведь, и рабочие получают «на душу» по 8 часов работы. Другой крестьянин, Марченко, облачившись в пиджак и белую фуражку, называл себя «студентом», а когда его арестовали, крестьяне говорили: «Надо и студента освободить». Вообще, по деревням ходили слухи о каких-то таинственных «студентах»—и не было ли это отражением студенческих волнений? Чиновник, о котором мы уже упоминали, в своем докладе министру подметил и еще одно любопытное явление: влияние на крестьян со стороны рабочих, вернувшихся в деревню в год промышленного кризиса. «Толпа рабочих обратилась, за недостатком занятий на заводах, в деревню,—пишет он.—Эти недовольные событиями люди, успевшие при том там, в этой специальной заводской обстановке набраться новых идей, часто весьма вредного направления, внесли в деревню много такого, что жадным ухом крестьянами слушалось и комментировалось на свой лад». «Воровские прелестники», которыми, по мнению Плеханова-народника, должны были быть рабочие в деревне, теперь, действительно, нашлись, но это были не отдельные распропагандированные рабочие, а «массовики», побывавшие в переделках, видавшие городские виды. Это они могли крестьянам рассказать о демонстрирующем «студенте» и о рабочем, который 1 мая добивается 8-мичасового рабочего дня, как и вообще могли многое поведать темной деревне. Это влияние города на деревню начинало сказываться и другими путями. Мы видели, что всеобщая забастовка 1903 года в Екатеринославе нашла свой отклик в деревне. Под влиянием весенней забастовки того же года в Киеве в ряде деревень Киевской губрнии произошла забастовка сельско-хозяйственных рабочих.

Наконец, нужно отметить и еще одно обстоятельство, о котором не умолчал наш чиновник, это—роль в движении отставных солдат. С сокрушением говорит чиновник в своем докладе, что часто руководителями выступают люди, «носившие воинское звание». В одной из деревень отставной солдат Шанда повел толпу, вооруженную кольями, на солдат, к которым обратился со словами: «Не

стреляйте в крестьян, им есть нечего, у них земли нет». «Я, унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка, знаю, что они не смеют стрелять!»—кричал он крестьянам. Этот Шанда только год назад вернулся со службы, о дисциплине он забыть не мог—стало быть, не так уж крепка была дисциплина в войске в тех случаях, когда нужно было стрелять в народ, и среди тех солдат, которые пригнаны были для усмирения полтавских крестьян, было, вероятно, не мало таких Шанд...

Конечно, все это было ещё только слабыми новыми штрихами в крестьянской жизни. Темноты, самой беспросветной, было хоть отбавляй. Среди крестьян ходили слухи, что «царь уехал к теще», а вместо себя оставил «управляющего», который и «разделывает панов», причем передавалась и такая подробность. «Царь спросил у синода: «Кто у вас хозяин, когда вы уезжаете?» Синод ответил: «Управляющий». «Можно мне назначить?»—«Можно». Тогда царь по примеру синода, назначил управляющего, а сам поехал к теще. В других местах крестьяне говорили, что идет вел. кн. Михаил и раздает земли, по другой молве оказывалось, что разрешение грабить исходит от сына Михаила и т. д. Крестьянская мысль, как и во времена стародавние, крепостные, не может еще отделаться от легенд о царской милости, о царе, возвещающем общий раздел земли. Но раньше эти настроения и эти легенды господствовали безраздельно, теперь в них оказалась уже брешь. Деревня стала подпадать влиянию города, она еще держалась за царя, но уже знала о «студенте» и городском рабочем. И потому, давая оценку политической стороне крестьянских волнений 1902 года, наш чиновник мог так формулировать свои выводы: «1) Прежде всего, крестьянские массы выказали свою готовность к организации и быстрому передвижению; 2) затем события указали, что в деревне уже нарождается тип умелых своих собственных агитаторов». Это значит, что в крестьянстве обозначался сдвиг, опасный как для поземельной буржуазии, так и для самодержавного порядка.

5. Студенческое движение.

Студенческие волнения, затихшие в 70-х годах и возобновившиеся с 80-х годов, особенно усилились с конца 90-х годов. До этого времени студенческое движение носило академический характер. Студенты протестовали против полицейского режима в университетах, требовали изменения университетского устава, добивались своего права сходок, своего товарищеского суда и организаций и т. п. С начала 90-х годов землячества, в которых группируются студенты, об'единяются в «союзные советы», и студенчество получает, таким образом, свой руководящий центр. Но и организованное студенчество в своих выступлениях продолжает оставаться на академической почве. Политика врывается в студен-

ческую среду случайно, захватывая при этом далеко не всю студенческую массу. Отдельные волнения происходят по поводу ходынской катастрофы в Москве (1894 г.), когда во время коронации, по преступной небрежности властей, погибли тысячи народа; в некоторых университетах студенты устраивают демонстрации по поводу трагической смерти Ветровой (1897 г.); волнения вызывает участие варшавских профессоров в открытии памятника Муравьеву-вешателю.

С 1899 года наступает перелом в студенческом движении. Оно начинает принимать политический характер и выливается в новые формы. В этом году волнения начались с петербургского университета,—8 февраля, в день обычного празднования годовщины основания университета. В этот день студенты обычно собирались в ресторанах, устраивали вечеринки на частных квартирах, ходили шумной толпой по улицам и т. п. Ничего демонстративного и тем более политического в этом праздновании не было. В 1899 г., за несколько дней до празднования, в университете было вывешено об'явление ректора Сергеевича, который предупреждал студентов, что всякое нарушение порядка воспрещается под угрозой разных наказаний, вплоть «до употребления силы для прекращения беспорядков». Об'явление это возмутило студентов, и когда Сергеевич появился, в день университетского акта на каферде, его встретили свистками и не дали ему сказать ни слова. По окончании акта, студенты предполагали в мирном порядке пойти по домам, но полиция, устроив ловушку и воспользовавшись случайными препирательствами, избила студентов. Начались сходки для выражения протеста против дикого насилия. Однако, теперь студенчество уже не довольствовалось одними сходками и в поисках формы протеста избрало тот путь, который на его глазах с таким успехом применяли рабочие,—забастовку. Сходка, состоявшаяся 10 февраля в присутствии 2500 студентов, постановила об'явить общую забастовку студентов с применением обструкции в тех случаях, когда профессора или меньшинство студентов не подчинятся такому решению. «Мы возмущены насилием, жертвами которого были 8-го февраля, — говорила резолюция, принятая сходкой, — насилием, унижающим человеческую личность, насилием, которое, к стыду нашему, еще имеет место в России для самого темного и безгласного слоя населения. Мы, вообще, для всех считаем такое насилие оскорбительным и протестуем против него. Поэтому мы об'являем с.-петербургский университет закрытым и всеми силами будем добиваться официального его закрытия. Мы не откроем университета до тех пор, пока нам не будут даны гарантии личной неприкосновенности». 12 февраля забастовали все высшие учебные заведения Петербурга, а через несколько дней забастовка распространилась на провинцию—всего по России бастовало до 25 тысяч студентов.

Движение, несомненно, становилось политическим, хотя еще и скромным по содержанию. Невиданная картина всеобщей студенческой забастовки сама по себе была таким «нарушением общественного порядка», которое никак не мирилось с представлением об академическом характере движения. Но студенчская масса последовательной «политики» еще не принимала. Обеспечение неприкосновенности личности, издание разных правил о полномочиях полиции при столкновениях с толпой, судебная ответственность полиции за нарушение этих правил и судебное преследование виновных в избиении студентов 8 февраля—дальше этих требований студенчество не шло. Когда в «организационном комитете», руководившем в Петербурге движением, был поставлен вопрос, насколько совмещается неприкосновенность личности с самодержавием, горячие споры не привели к результатам: нашлись и такие участники комитета, которые находили, что самодержавие не исключает законности. Самое движение комитет считал «общественным», а не революционным, желая сохранить этим какую-то тень легальности.

Но правительство позаботилось о том, чтобы просветить головы студентов. Сначала оно поручило генералу Ванновскому расследовать причину беспорядков. Старый генерал попытался примирить непримиримое—студенческие вольности с полицейским режимом,—вел переговоры с организационным комитетом, добился возвращения высланных студентов. Студенчество начинало уже поддаваться иллюзиям и верить Ванновскому. Под влиянием агитации либеральной части студенчества и профессоров, забастовка в петербургском университете прекратилась. Однако, скоро иллюзии эти были разбиты. Оказалось, что восторжествовала откровенно-полицейская политика министра нар. просвещения Боголепова и министра вн. дел Горемыкина. Возвращенные из ссылки студенты были подвергнуты трехдневному аресту в карцере, из провинциальных университетов стали исключать студентов, полицейские чины, избивавшие студентов 8 февраля, продолжали оставаться на службе, ни о каких университетских реформах ничего не было слышно. 1 марта студенческая сходка постановила возобновить забастовку. На этот раз движение приняло более определенный политический характер. В заявлении организационного комитета избиение студентов теперь рассматривалось, как «единичный факт господствующего в России строя, основанного на произволе, безгласности и полной необеспеченности или даже отсутствии самых необходимых, священных прав развитой человеческой личности». На сходках говорилось, что новая забастовка имеет целью политический протест против существующего порядка, который не желает поступаться даже мелочами, а оглашение приветственных писем русских студентов в Берне и Лозанне было встречено криками: «Долой самодержавие! Да здравствует социализм!»

На возобновление забастовки правительство ответило репрессиями. Организационный комитет был арестован, началось массовое увольнение студентов. Из Москвы было выслано свыше 2 тыс. студентов, из Киева—358, из Варшавы—115 и т. д. Правительство заявило, что «подобные смуты на будущее время не могут быть терпимы и должны быть без всякого послабления подавляемы строгими мерами», а затем и само указало те меры. 22 июля 1899 года были опубликованы правила, согласно которым студенты «за учинение скопом беспорядков» подлежали, помимо увольнения, отдаче в солдаты, причем зачисляться в войска для отбывания воинской повинности должны были не только те, кто такой повинности подлежал, но и вообще от нее освобожденные (имеющие льготы по семейному положению и т. д.) и даже не достигшие призывного возраста.

Эта угроза расправляться со студентами по примеру крепостного времени отдачей в рекруты подняла протестующее настроение среди студенчества, тем более, что это вообще не была пустая угроза. Осенью 1900 г. киевские студенты заволновались по поводу покровительства, оказанного университетским начальством двум студентам, изобличенным в изнасиловании девушки. За участие в этом протесте было исключено несколько студентов, а когда товарищи устроили им демонстративные проводы на вокзале, правительство решило применить свою угрозу на деле: 183 студента были отданы в солдаты. Студенчество ответило на это новыми протестами. Отправленным в воинские части студентам были на вокзале устроены шумные проводы, а вслед за тем студенты киевского университета забастовали.

Начались протесты и борьба против правил 22 июля 1899 г., причем с этого времени студенческие волнения приобретают исключительно политический характер и принимают форму уличных демонстраций. Политика впервые в России выносится на улицу и в целом ряде городов происходят внушительные демонстрации, о которых отчасти уже упоминалось выше. Эта новая волна студенческого движения встретила теперь поддержку в сочувствии широких общественных кругов, возмущенных настоящей опричиной царского правительства. Изменились к тому времени и настроения руководящих социал-демократических организаций. Только что начавшая выходить «Искра», призывала студентов к протесту, а рабочих к поддержке студенчества. По поводу правил об отдаче в солдаты Ленин рекомендовал в «Искре» студентам «устройство выдержанной и стойкой забастовки всех учащихся во всех высших учебных заведениях с требованием отмены временных правил 29-го июля 1899 г.». Вместе с тем Ленин доказывал, что не одни студенты, но «все сознательные элементы, во всех слоях народа, обязаны ответить на этот вызов, если они не хотят пасть до положения безгласных, молча переносящих оскорбления рабов», а во главе

этого движения должны стать передовые рабочие и социал-демократические организации. «Лучшие представители наших общественных классов,—писал Ленин,—доказали и запечатлели кровью тысяч замученных правительством революционеров свою способность и готовность отрясать от своих ног прах буржуазного общества и итти в ряды социалистов. И тот рабочий не достоин звания социалиста, который может равнодушно смотреть на то, как правительство посылает войско против учащейся молодежи. Студент шел на помощь рабочему,—рабочий должен прийти на помощь студенту».

Призывы эти не успели дойти до России, как студенчество вышло для протеста на улицу, а рабочие пошли ему на помощь. Первыми начали харьковские студенты, устроившие демонстрацию в день 19 февраля, в которой принимало участие свыше 6 тысяч человек и к которой, как мы уже рассказывали выше, примкнули рабочие. Подобные же демонстрации произошли и в Москве, Петербурге, Киеве, Казани и других городах. Движение, сосредоточенное вокруг требования отмены правил об отдаче в солдаты, носило ярко политический характер, который был еще поддержан произведенным в этот день убийством Карповичем министра нар. просвещения Боголепова и покушением Логовского на жизнь Победоносцева. Участие в демонстрациях рабочих придавало студенческому движению новую силу, толкало его дальше по пути политической борьбы. Правительство, подавляя демонстрации жестокими мерами, в то же время надеялось подкупить студенчество призрачными уступками.

Вместо Боголепова министром нар. просвещения был назначен Ванновский, который издал новые правила о студенческих организациях. Под видом легализации этих организаций проводилась отмена всех тех прав, которые студенчество само для себя установило в годы борьбы. Новые правила разрешали студентам устраивать сходки, но только под председательством и наблюдением лица, назначенного правлением университета; сходки могли обсуждать только вопросы, разрешенные правлением; курсовые старосты, которые до того выбирались студентами, должны были утверждаться правлением из кандидатов, избираемых студентами и т. д. Студенчество за последние два-три года значительно пошло вперед, чтобы удовольствоваться подобными «уступками». «Правительство думало, — говорилось в одной из прокламаций петербургского студенчества, — что тех, кого оно не могло устрашить всевозможными репрессиями, можно подкупить подачкой. Бросая ее нам, оно расчитывает, что студенчество займется, как дитя подаренной игрушкой, устройством своих мелких делишек и закроет глаза на все, что творится за стенами университета». Таково было настроение всего студенчества, и в начале 1902 года началась новая, не менее бурная полоса волнений.

5 февраля 1902 года общая сходка петербургского университета, отвергнув новые правила, об'являет забастовку с демонстрацией; к университету присоединяются прочие высшие учебные заведения. Правительство отвечает на это закрытием учебных заведений. 8 февраля, в день годовщины университета, студенты собрались в Народном доме, где шел спектакль и прокричали «ура» университету, после чего произошло избиение их полицией. Общее возбуждение росло и нашло себе выражение в демонстрации, устроенной 3 марта на Казанской площади. Несмотря на принятые полицией меры, студентам удалось развернуть красные знамена, направиться к католической церкви, находящейся вблизи Казанского собора. Казаки бросились врассыпную и разогнали демонстрантов, применяя по обыкновению нагайки.

Волна таких демонстраций прокатилась и по другим городам. В Киеве об'явили забастовку студенты университета и политехникума. 2 февраля здесь состоялась на Крещатике большая демонстрация при участии значительного числа рабочих. Было поднято красное знамя, которое развернулось на некоторое время, пока полиция не бросилась на толпу. Произошла жестокая схватка, демонстранты защищали знамя, но оно было, в конце концов, вырвано конным полицейским, а знаменоносец был тяжело ранен.

Особенно бурные формы приняло движение в Москве. 9 февраля в университете состоялась общая сходка, которая приняла следующую резолюцию: «Считая ненормальность существующего академического строя лишь отражением русского бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований.. Общеполитическая программа заставляет нас вынести наш протест на улицу, где мы вместе с кадрами рабочих и общества готовы силой поддержать наши требования». Пока шла сходка, все улицы, окружавшие университет, были оцеплены войсками. Часть студентов, вышедших из университета, была тут же арестована, оставшиеся решили, поэтому, ждать помощи со стороны рабочих, собрались в актовом зале и в нем забаррикадировались. «После сходки, решили демонстративно выйти на улицу,—читаем об этом в письме одной курсистки,—надеялись на поддержку общества, а главное на рабочих: была суббота. В университет мы вошли беспрепятственно, но затем все окружающие улицы были оцеплены войсками. Прорвать их собственными силами мы не могли и, поэтому, решили дождаться следующего дня, надеясь на то, что рабочие прорвут цепь войска (фабрики тоже были оцеплены) и придут к ним на помощь. Итак, мы решили остаться в университете. Мы пробыли там весь день и часть ночи». Глубокой ночью в университет были введены войска. Солдаты выломали дверь и с шашками наголо ворвались в актовый зал. Раздались крики раненых, студенты бросили оружие и сдались. «При осмотре очищенных от толпы университетских поме-

щений,—говорилось в правительственном сообщении об этом славном походе царских войск,—оказались поломанными: парты в аудитории, столы для практических занятий, стулья, конторки, причем находившиеся в них бумаги уничтожены. На полу найдены: обмотанная тряпкой гиря, финские ножи, длинные палки, выломанные из университетской решетки железные прутья, а при обыске у некоторых арестованных отобраны финские ножи, кастеты и револьверы; во многих местах были устроены баррикады». Трофеи эти были взяты победителями, а сдавшиеся студенты и курсистки отправлены в Бутырскую тюрьму. Из арестованных в Москве 95 человек были сосланы в Сибирь на срок от 2 до 5 лет, 567 человек были подвергнуты тюремному заключению на время от 3 до 6 месяцев. Такие же репрессии были применены и к студентам других университетов.

После подавления волнений весной 1902 г., осень этого года прошла спокойно, но с началом 1903 года снова забурлила студенческая масса. Новым в движении этого времени были студенческие сходки, посвященные обсуждению общих политических злоб дня. Правительство было право, когда в своих сообщениях говорило о студенческом движении, как о движении, «ярно имеющем противоправительственный характер». Мы видели, как движение постепенно и неуклонно наполнялось политическим содержанием. От сходки оно перешло к забастовке, от забастовки—к демонстрации, от чисто академических интересов—к политической борьбе, от борьбы собственными силами—к борьбе совместно с рабочими и другими общественными элементами, способными протестовать. Эту проделанную в короткое время эволюцию закрепил студенческий с'езд 1903 года, который отверг академическую борьбу, признал нецелесообразными, как средство этой борьбы забастовку и обструкцию и выдвинул следующие средства борьбы: 1) агитационные, систематически организуемые сходки; 2) устройство агитационных митингов на публичных лекциях, концертах и т. д.; 3) демонстративные забастовки в дни важнейших политических и общественных событий, обязательные в высших учебных заведениях (8 февраля, 19 февраля, 4 марта, 1 и 3 мая и 3 ноября, как день, к которому с'езд предлагал приурочить чествование всех товарищей, павших в борьбе с самодержавием); 4) уличные демонстрации, как чисто студенческие, так и с другими общественными слоями; вооруженные демонстрации с'езд находил возможным установить после предварительного соглашения с политическими партиями. С'езд отметил, что политическое сознание студенчества возросло, что такие академические организации, как союзные советы теряют свое влияние и передовое студенчество все более признает авторитет революционных партий. Поэтому с'езд рекомендовал на будущее время для руководства движением организовать «коалиционные советы» из представителей различных студенческих пар-

тийных фракций. Все это также с несомненностью свидетельствует о переходе студенчества на путь политической борьбы.

6. Возрождение народничества.—Социалисты-революционеры.

Студенческие волнения говорили о росте революционного напряжения не только в среде учащейся молодежи. Студенчество представляло собою передовой элемент тех общественных классов, из которых оно само вышло, а студенчество того времени в массе своей поставлялось буржуазными, главным образом, мелко-буржуазными элементами. Разночинец старого типа, каким мы его наблюдали раньше, теперь исчез. При неразвитых общественных отношениях, при только еще складывавшейся идеологии общественных классов, разночинцу-интеллигенту, в известном смысле, принадлежала идейная гегемония,—он господствовал не только в передовой литературе, но и в революционном движении, которое, как мы знаем, долгое время было движением разночинной интеллигенции. Теперь положение стало радикально изменяться. Классовое расчленение все глубже захватывало широкие общественные слои, классовая борьба оформлялась и каждый из общественных классов создавал свою идеологию, выдвигал свою интеллигенцию. В этом процессе общественно-классового расслоения растворился разночинец-интеллигент, этому же процессу подпало и студенчество. Расслоение студенчества совершалось тем быстрее, чем больше оживлялась политическая жизнь в стране, чем более обостренной становилась классовая борьба и чем сильнее в политическую борьбу втягивалось само студенчество. Мы видели, что сперва студенческая масса упорно отстраняет от себя «политику» и старается оставаться на почве академических вопросов. Вступив в политическую борьбу, оно на первых порах пытается сузить ее размах, предаваясь иллюзии, что «неприкосновенность» личности может быть охранена законом и в самодержавном государстве, и только когда иллюзия эта разбивается, а личность остается «прикосновенной» для любого городового, студенчество выходит на улицу с открытой политической демонстрацией. Но чем больше разгорается политическая борьба и чем определеннее делаются ее цели, тем тоньше становятся нити, связывающие студенчество в одно целое; за общей задачей свержения самодержавия начинают отчетливо виднеться те особые задачи, какие поставит себе каждый класс, и с ним каждая часть студенчества, на другой день после этого свержения. Отмеченное студенческим с'ездом 1903 года падение влияния «союзных советов» и повышение авторитета политических партий говорило уже определенно о значительно подвинувшемся вперед процессе расслоения студенчества. Полностью процесс этот развернулся позже, когда студенчество, наряду с организациями социал-демократов и социалистов-

революционеров, знало фракции академически-черносотенные, отражавшие настроения реакционного дворянства, и фракцию партии народной свободы (кадетов), представлявшую студенческую разновидность буржуазного либерализма. Но теперь такого резкого расчленения еще не было и, распределяя свои симпатии между революционными партиями, студенчество еще более или менее сплоченно выступало в борьбе с самодержавием. Студенческое движение в общем оставалось еще неоформленным движением мелкобуржуазной интеллигенции, по преимуществу.

Это движение, в связи с наростанием крестьянского движения, ближайшим образом и прежде всего привело к возрождению революционного крыла народничества, которое всегда и раньше связывало свои надежды с движением интеллигенции и крестьянства. Однако, это не было и не могло быть простым возвращением к народничеству 70-х годов. Экономическая эволюция России произвела столь глубокие изменения в строе ее социальных отношений, внесла в него столько нового и так много уничтожила старого, что для старых народнически-революционных утопий места не оставалось. Необходимость политической борьбы теперь уже не оспаривалась, трудно было оспаривать и значительные успехи, сделанные в России капитализмом. Народничеству, как это мы уже отчасти видели, приходилось поэтому ориентироваться в новой обстановке и к ней приспособляться. На рубеже XX века народническое учение находится в состоянии кризисного брожения, в нем борются два течения—одно, которое более последовательно идет на пересмотр своих старых позиций, и другое, которое старается сохранить основы старого. С начала второй половины 90-х годов в разных местах (Саратове, Киеве, Воронеже, Минске, Одессе и др.) образуются революционно-народнические организации, принимающие название групп и союзов «социалистов-революционеров». Группы эти остаются между собой слабо связанными и разными путями идут к разрешению програмных и тактических вопросов. В августе 1897 года некоторые группы (воронежская, киевская, полтавская, харьковская, петербургская) устраивают с'езд в Воронеже, наметивший основы программы, выработка которой была поручена воронежцам; на с'езде тех же групп в Полтаве программа эта была принята в ноябре 1897 г. Программа при печатании была захвачена жандармами, а в 1900 г. была издана в Харькове, с некоторыми изменениями, под названием «Манифест партии социалистов-революционеров».

Программа, как она была принята на полтавском с'езде, радикально отступала от народнических воззрений и во многом существенном принимала точку зрения социал-демократии. «Со времени освобождения крестьян,—говорилось в ней, между прочим—в экономической жизни России произошли глубокие изменения, с которыми по необходимости должна считаться всякая революционная партия. Теоретические основания, на которых строилась программа прежних

революционеров-народников и народовольцев, требуют коренного пересмотра; значительных изменений требуют и способы активной борьбы, практиковавшиеся до сих пор революционерами». Программа исходит из факта быстрого капиталистического развития России, под влиянием которого изменяются соотношения общественных классов, признает классовую борьбу «основой всяких общественных изменений», требует образования «большой и сильной организации рабочего класса», и т. д.—словом, в этой части почти полностью принимает точку зрения социал-демократии. Больше того, программа делает заметный шаг вперед и во взглядах своих на крестьянство. «Само крестьянство,—читаем в программе,—не представляет уже однообразной массы и распалось на три экономических разряда: сельской буржуазии, сельского пролетариата и крестьян в строгом смысле этого слова, причем последние, как ни стараются урезывать свои потребности, но, не будучи в силах справиться с лежащими на них платежами, в значительном числе переходят в ряды пролетариата, лишаясь возможности вести самостоятельное хозяйство за отсутствием скота и инвентаря, проданного за недоимки в голодные годы. Община разлагается и в ней, несмотря на существование переделов, происходит концентрация земли в руках богатых общинников, арендующих за бесценок землю прекративших самостоятельное ведение хозяйства крестьян; богатые общинники, постоянно пользуясь наемным трудом, скорее могут быть причислены к мелкой буржуазии, чем к крестьянству». Таким признанием отвергались самые основы старого народничества, которое в крестьянстве видело однородную трудовую массу, а с общиной связывало все свои социалистические надежды.

Однако, программа не развивала последовательно воспринятых ею новых положений и потому не разрывала с народническими предрассудками. Мы только что видели, что из всей массы крестьянства она выделяла «крестьян в строгом смысле этого слова», под которыми разумела мелких крестьян-собственников. В другом месте программа заявляла, что «наряду с промышленным и сельским пролетариатом могут быть причислены к рабочему классу и ремесленники, и кустари, и крестьяне, или скорее та часть их, которая не прибегает к эксплоатации наемного труда». Всех этих мелких собственников программа считала столь же пригодными к восприятию социалистической пропаганды, как и «промышленный пролетариат». «В России,—читаем в программе,—пропаганда социализма облегчается еще тем, что крестьянство в строгом смысле по своему экономическому положению почти не отличается от сельского пролетариата, так как подвергается такой же непосредственной эксплоатации со стороны класса крупных землевладельцев». То обстоятельство, что «крестьянин в строгом смысле», эксплоатируемый помещиком, как и кустарь, эксплоатируемый скупщиком или фабрикантом, мечтали не о ниспровержении капиталистического порядка, а об

укреплении своего частно-собственнического хозяйства, не останавливало на себе внимания авторов программы. Но приравнивая мелких производителей-собственников к промышленному пролетариату, программа покидала точку зрения полетариата и становилась на точку зрения мелкой буржуазии.

Таким же из'яном страдал взгляд программы на общину. Мы видели, что, по мнению программы, община разлагается и нисколько не препятствует расслоению крестьянства; программа признает также, что община, как фискально-политическая организация, «ложится тяжелым бременем на беднейшую часть населения» и что она «не в состоянии спасти крестьян от безземелья, а иногда даже способствует ему». «Но, несомненно,—продолжает вслед за тем программа,—что в некоторых местах общинное землевладение еще соответствует потребностям крестьян. Поэтому мы не предрешаем своего отношения к общине в каждом конкретном случае; кроме того, традиции крестьян-общинников представляют, по нашему мнению, благодарную почву для пропаганды национализации земли. К этому надо прибавить еще, что самая общинная организация представляет удобную почву для агитации, как экономической, так и политической». Здесь уже воскресли старые представления о крестьянских «идеалах», которые, вопреки всему сказанному программой раньше, оказываются не собственническими, а так или иначе приближающимися к социализму.

В тактической своей части программа говорила об агитации и пропаганде среди рабочих, крестьян и учащейся молодежи, но о терроре совсем не упоминала.

Вернее всего будет признать, что воронежская программа была построена на компромиссе между двумя боровшимися течениями. Сильный уклон в сторону признания некоторых положений социал-демократии указывает на то, что преобладали все же новые настроения, складывавшиеся под влиянием роста капиталистических отношений, разложения крестьянства и борьбы рабочего класса. Разногласия сказались на воронежском с'езде, где не все одинаково смотрели на крестьянство и где, хотя все принципиально и признавали террор, но расходились по вопросу, когда его применять, немедленно или в будущем. Такие же разногласия сказались и на киевском с'езде в августе 1898 г., когда, в частности, некоторые совершенно отрицали террор. Это новое течение в народничестве привело к тому, что на практике в некоторых местах народнические организации работали в согласии с социал-демократическими. Так было, напр., в Петербурге, в первое время после образования «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», причем некоторые члены народнической организации окончательно примкнули к социал-демократии. Так было и в Киеве, где некоторые социалисты-революционеры перешли в ряды социал-демократов.

Воронежская программа не была, однако, признана всеми со-

циалистами-революционерами и выражала настроения, главным образом, только южных групп. Приблизительно в то же время (в 1896 г.), образовавшийся в Поволжьи (Саратове) «Союз социалистов-революционеров» выработал свою программу, которая в противоположность воронежской, старалась сохранить старые позиции народничества. Конечно, саратовская программа не предается более утопии о возможности в России немедленной социалистической революции, а, наоборот, утверждает, что «экономический строй России не дает никаких оснований для того, чтобы надеяться на возможность непосредственного осуществления в ближайшем будущем идеала социализма». Но если воронежская программа исходила из признания быстрого капиталистического развития страны и классовой борьбы, то для саратовской программы многое в этом отношении еще остается открытым. Переживаемую Россией эпоху она характеризует как эпоху перехода патриархального строя в строй капиталистический. Если промышленный капитал и растет, то рост его далеко не одинаков для громадной территории России и даже в «центре капиталистического царства» развивается и упорно держится система домашнего производства, которая препятствует «механическому» об'единению рабочих и их культурному развитию. С другой стороны, ломка старого патриархального строя деревни, которого не отрицает программа, обещает лишь «привести в более или менее отдаленном будущем к распадению крестьянской массы на два лагеря: эксплоатируемых и эксплоататоров», а пока крестьянство представляется еще однородным. Поэтому программа оставляет открытым основной вопрос: «Ждет ли нас та же картина смены капиталистических фаз, какие пережил и переживает Запад, или же наше экономическое будущее не лишено некоторых особенностей, создаваемых своеобразными историческими условиями». Программа отказывается дать ответ на этот вопрос, подавая этим надежду, что «переходная эпоха» развития к капитализму может не закончиться торжеством последнего и откроет новые «самобытные» пути развития. При таком анализе экономической действительности России всякое классовое отличие промышленного пролетариата от крестьянства исчезает. «Перед нами,—пишет программа,—авангард рабочего класса — фабрично-заводской пролетариат; перед нами, далее, многомиллионная масса крестьянства, подавляющим большинством которого является земледельческий пролетариата». Однако, отсюда не следует, что программа расчитывает на революционную борьбу рабочих и крестьянских масс. Фабричный пролетариат, по мнению программы, в союзе с социалистической интеллигенцией, является «главной опорой партии». Что касается крестьянства, то программа отводит ему важную роль только в будущем, а в настоящем не считает его главной опорой «для достижения политической свободы». Но, в таком случае, на кого падает вся тяжесть борьбы с самодержавием? Саратовская

программа продолжает стоять в этом вопросе на точке зрения Народной Воли. Дело разрушения существующего политического строя должно вестись, отвечала программа, «лишь от имени социально-революционной партии, покоющейся на принципе заговора и связанной с окружающим населением органическими нитями массового сочувствия, а также деятельной поддержкой в форме открытого протеста и непрерывного появления отрядов новых борцов на смену уходящих». Таким образом, как и по представлению старых народовольцев, политический переворот совершает социально-революционная партия, как партия заговора, действующая лишь в атмосфере общественного сочувствия и открытого протеста сочувствующих общественных элементов Естественно, что саратовская программа выдвигает и политический террор, как средство дезорганизации правительства, пропаганды и агитации.

Саратовская программа, пытавшаяся возродить традиции народовольцев, выражала настроения некоторых народнических кругов. В первое время преобладали взгляды, близкие к воззрениям воронежской и киевской групп, т. е. сильно окрашенные в марксистский цвет. Поэтому, когда в 1900 г. был опубликован «Манифест партии социалистов-революционеров», представлявшей собой слегка исправленную воронежскую программу, Плеханов отнесся к нему в «Искре» весьма сочувственно, указывая, что социалисты-революционеры, по существу, принимают воззрения социал-демократии, за исключением только вопроса об общине, который трактуется «Манифестом» в полном противоречии с самим собой. «Социалисты-революционеры, — писал Плеханов, — представляют собою плоть от плоти и кость от кости русских социал-демократов». Для такого вывода не было, однако, оснований, хотя бы по одному тому, что на «Манифесте», как это признавал и Плеханов, заметно влияние народничества. В действительности, программные положения южных народнических групп были построены на компромиссе, который отражал борьбу двух течений—одного, готового воспринять некоторые воззрения социал-демократов, и другого, пытавшегося подновить народовольчество. Плеханов хотел подтолкнуть первое течение в сторону социал-демократии—победа, однако, предстояла как раз второму течению.

«Марксистские» настроения в народничестве возникли под влиянием массовых выступлений рабочего класса, в обстановке бурного промышленного развития середины 90-х годов и всеобщего увлечения марксизмом. В то время, как легальное народничество в лице Михайловского и других повело борьбу с социал-демократией, революционные народнические группы, в некоторой своей части, склонялись к марксизму, ибо, сталкиваясь на революционной работе с пролетариатом, они не могли не учитывать значения как роста капитализма, так и пробуждавшейся активности рабочего класса. Но с конца 90-х годов, как бы нагоняя рабочий класс, начи-

нает пробуждаться «демократическая общественность», выступают активно мелко-буржуазные группы — разрастаются студенческие волнения, все более приобретая политический характер, замечается движение в крестьянстве; на идеологическом фронте кончается марксистская «идиллия» и наряду с революционным марксизмом появляется «легальный марксизм» с его «критикой» Маркса и перенесением на русскую почву германского, главным образом, ревизионизма. В этой новой обстановке быстро бледнеют на народничестве марксистские цвета и укрепляются течения, которые желали продолжить традиции народовольчества. Движение учащейся молодежи позволяет снова говорить о великой миссии «социалистической интеллигенции», крестьянские движения снова и определенно склоняют симпатии в сторону общины, крестьянских «традиций» и т. п. Ревизионизм позволяет обновить народничество якобы авторитетом теории и практики западно-европейского движения. Социалисты-революционеры принимаются «критиковать» Маркса с не меньшим усердием, чем это делал Струве и К°, а во взглядах на аграрный вопрос ревизионистов (в особенности Давида и Гертца) находят подкрепление своего толкования значения и роли крестьянства в революционном движении.

В результате к началу девятисотых годов полное торжество получают тенденции, радикально расходящиеся со знакомой нам воронежской программой. Конечно, и теперь нет речи о простом возрождении старого народничества. Социалисты-революционеры принимают, хотя с оговорками, и рост капитализма в России, и преимущественное революционное значение промышленного пролетариата, но это новое эклектически уживается со старыми народническими предрассудками, которые, однако, теперь, в условиях развитых общественно-капиталистических отношений не имеют уже того невинно-утопического характера, какой они имели в годы расцвета старо-революционного народничества.

Программная статья «Вестника Русской Революции» (1902 г.) заграничного журнала партии с.-р., признает, что со времени Народной Воли многое изменилось в условиях русской жизни и самое основное в этих изменениях видит в развитии капитализма в его разрушающих и созидающих формах. Правда, это развитие капитализма ставится журналом исключительно в связь с могущественным воздействием политики самодержавия на экономическую жизнь страны, и сам капитализм получает, таким образом, «искусственный» характер. Но это не мешает «Вестнику» признать наличность капитализма и вместе с ним роста промышленного пролетариата. «Трезво вглядываясь в окружающую действительность», «Вестник» признает, что «рост пролетариата и стихийная выработка в нем классовых интересов сделала значительные шаги вперед«—это дает возможность придти к тому выводу, что «сторонники революционного социализма могут работать теперь среди пролетариата при неизме-

римо лучших условиях, чем то делала Народная Воля и, организуя рабочую армию в центрах во имя демократического переворота, удовлетворять нарастающей теперь потребности политической борьбы среди трудящихся, которые не могут же примириться на исключительно «экономической» борьбе и с радостью будут итти рука об руку с революционной интеллигенцией». На этом, собственно, и кончались уроки, извлеченные социалистами-революционерами из экономической эволюции России. В дальнейшем отношение к рабочему классу строится исключительно на том, что пролетариат более восприимчим к революционной пропаганде и агитации. Как у народовольцев, так и у с.-р. рабочий стоит рядом с интеллигенцией, крестьянством, солдатами, и революционная роль каждого из них оценивается не с точки зрения положения их в классовом обществе, а с точки зрения пригодности к революционному воздействию со стороны «социалистической интеллигенции». Так как рабочий класс представлял собой наиболее восприимчивую и внушительную силу, то и с.-р. являлись сторонниками самой «решительной» тактики в рабочем движении. После ростовской забастовки «Революционная Россия»—другой орган с.-р.—ставила задачей «воспользовавшись стачкой, овладеть городом», для чего необходимо было знать, где лежит оружие и где расположены войска. Летние стачки 1903 г. позволяют той же газете поставить вопрос, как долго будут еще революционеры искать «потерянную со времен Народной Воли отвагу». «Нас еще слишком часто страшит первый шаг,—писала «Рев. Россия».—Но кто же еще не понимает, что многие расстрелянные безоружными на мостовой предпочли бы умереть с оружием в руках—в уличной схватке или на баррикаде, в открытом нападении строй на строй или в героическом единоборстве?... Ведь надо же когда-нибудь начинать, и лучше умереть с оружием в руках, чем погибать, спасаясь бегством, от шальной пули озверевшего солдата»... Словом, рабочий класс должен быть готов всегда и на все, как только «социально-революционная» партия решит, что надо же когда-нибудь и начинать...

При столь решительной тактике, всегда и на все готовой, террору отводится, конечно, первенствующее место. «Террористическая деятельность «Народной Воли»,—писал «Вестник Русской Революции,—отвечала насущной необходимости революционной борьбы, отвечала исторической, до сих пор еще неразрешимой задаче низвержения самодержавия, отвечала, наконец, настроению всех живых сил общества». «Револ. Россия» видела в терроре оружие, поражающее врага, ободряющее друзей и потрясающее страну, признавала его и как акт самозащиты, и как средство агитации. А прокламация по поводу убийства мин. вн. дел Сипягина чуть ли не слово в слово вторила знакомой нам теории Морозова о «террористической революции»: «Против войны у самодержавия есть солдаты, против революционной организации—тайная и явная полиция, но что

же спасет его от отдельных личностей или небольших кружков, беспрерывно, неизвестно даже друг от друга готовящихся к нападению и нападающих? Никакая сила не поможет против неуловимости». Хотя социалисты-революционеры неоднократно заявляли, что террором они хотят не заменить, а только дополнить и усилить «массовую борьбу», но такому утверждению противоречило уже само обоснование и оправдание террора, преемственно воспринятое от народовольцев, которые на массовую борьбу не расчитывали. Массовая борьба, в особенности в такое время, когда революционная организация отставала перед быстрым ростом движения, требовала, прежде всего, чтобы все силы были отданы этой борьбе; дополнить и усилить массовую борьбу значило бросить в массу еще больше революционных сил. Проповедь же террора словом и делом могла только ослабить массовое движение, поскольку вселяла в массу веру в это чудодейственное средство, которое и врага разит, и друга радует, и обладает волшебным свойством шапки-невидимки.

Но наибольшую путаницу обнаружило возродившееся народничество в вопросе, в котором оно считало себя по традиции наиболее компетентным—в вопросе крестьянском. Мы видели, что воронежская программа говорила о расслоении крестьянства и о разложении общины, отдавая слабую дань народнической иллюзии о социалистической природе крестьянства. Позднейшие социалисты-революционеры как раз эту дань свыше всякой меры умножали. «Вестник Русской Революции» в цитированной нами статье не отрицал разложения общины, но приписывал его более царской политике, чем «самопроизвольному процессу распадения» общины, так что, если бы не эта политика, то и община сохранилась бы. Не отрицал «Вестник» и образования в крестьянстве группы мироедов и группы зажиточных хозяев, но утешал себя тем, что «процесс просвещения и рост сознания» вырабатывает сельскую интеллигенцию, которая, очевидно, может восполнить исчезнувший «общинный дух». Манифест «Крестьянского союза партии с.-р.» исходил из того положения, что крестьянин просвет к лучшей жизни видит в прирезке земли, что неутоленная жажда земли сплачивает крестьянство «в страстном чаянии общего коренного переворота в землевладении, общего перехода всей земли от землевладельцев к земледельцам». Признает «Манифест» и то, что крестьянство смутно представляет себе, должна ли земля перейти в руки всего народа, отдельных общин или отдельных домохозяев. Казалось бы, что от таких настроений до социализации земли еще дистанция значительного размера. «Манифест» видит и эти трудности социалистической пропаганды среди крестьян, но ими не смущается. Если, рассуждает «Манифест», социалистическую идею удается уложить в мозг рабочего, мечтающего лишь о повышении заработка, то почему идеи этой нельзя втолковать крестьянину? Для социалистической пропаганды крестьянство пригодно не менее, чем рабочие, ибо—и

здесь воскресает полностью старая народническая утопия— социалистический идеал в «зародышевой форме уже живет в голове крестьянина» и «подготовительные элементы» его «уже существуют в России». Крестьян нужно только убедить в том, что раз «большая доля территории» России принадлежит государству, то надо, чтобы «вся территория» принадлежала народу, и что раз крестьянство в большинстве случаев пользуется землей «в уравнительном распределении», то надо, чтобы такое распределение было доведено до конца. И, позабыв, что крестьянство жаждет только прирезки земли и что оно само не знает, кому принадлежать должна земля—народу, общине или частному собственнику,—«Манифест» требует в качестве программы-минимум в первую очередь социализации земли и затем... развития в крестьянстве кооперации «для постепенного высвобождения крестьянства из-под власти денежного капитала и для подготвления грядущего коллективного земледельческого производства». Эта программа-«минимум», ставящая рядом социализацию земли и кооперацию, замечательна, в особенности еще, тем, что она требовала социализации земли, т.-е. уничтожения частной собственности на землю, не требуя уничтожения частной собственности вообще и допуская этим, что «социализация» в деревне может мирно существовать с капитализмом в городе. «Если бы можно было серьезно отнестись к этой программе,—писал Ленин в «Искре»,—то нам бы пришлось сказать, что, обманывая себя звуком слов, соц.-рев. обманывают и крестьянина. Это обман, будто «всевозможные кооперации» играют революционную роль в современном обществе и подготовляют коллективизм, а не укрепление сельской буржуазии. Это—обман, будто, как минимум, как нечто столь же близкое, как кооперация, можно ставить в виду крестьянства социализацию земли. Всякий социалист пояснил бы нашим соц.-рев., что уничтожение частной собственности на землю может быть теперь лишь непосредственным преддверием уничтожения ее вообще, что одна передача земли в «пользование трудящихся», еще не удовлетворила бы пролетариат, ибо миллионы и десятки миллионов разоренного крестьянства не в состоянии уже вести хозяйство на земле, даже если бы она у них была. А снабжение этих разоренных миллионов орудиями, скотом и пр. было бы уже социализацией всех средств производства и требовало бы социалистической революции пролетариата, а не крестьянского движения против остатков крепостничества».

Обманывая себя звуком слов, социалисты-революционеры успокаивали совесть «социалистической интеллигенции», отражая на самом деле настроения мелкой буржуазии вообще и мелко-буржуазного крестьянства, в частности. Отсюда это путанное, столь характерное для мелкой буржуазии, как промежуточного класса, представление о том, какая в конце концов, революция ждала Россию в ближайшем будущем. «Револ. Россия» писала, что революция эта

не будет «чисто буржуазной», но не будет и социалистической: «Мы будем стремиться,—писала она,—чтобы переворот в России не ограничился областью чисто правовых и политических перемен, чтобы он имел последствием глубокие преобразования в социальном строе». Каких же глубоких перемен ожидала «Рев. Россия»? «Пролетариат—отвечала она,—должен вырвать из рук буржуазии то, что является основным условием человеческого существования: завоевать 8-мичасовый рабочий день, ставший лозунгом интернационального социализма, обеспечить себе минимум заработной платы, дающий ему возможность освободиться для социалистической работы от гнетущих забот о куске хлеба и т. д.». Таким образом, «глубокие перемены», поскольку они касаются рабочих, не выходят из рамок капиталистического строя и должны дать лишь «новые опорные пункты в борьбе за социальную революцию». Иначе обстоит дело с крестьянами. «Социализация земли—вот единственный лозунг, с которым могут явиться социалисты в сермяжный мир угнетенных и обездоленных крестьян». Для рабочих 8-мичасовый рабочий день и проч. должны послужить опорным пунктом для борьбы за социальную революцию, для деревни такой опоры не требуется и глубокие преобразования в ней начинаются с социализации земли, самой сложной из всех сложных проблем социальной революции. В этой путанице нельзя не видеть выражения стихийной тяги крестьянства к земле, приукрашиваемой звуком слов. Пусть называется «социализацией»—важен факт перехода всей землевладельческой земли к крестьянам. А там крестьяне, разумеется, поступили бы по своему...

Мелкая буржуазия стоит на точке зрения не борьбы классов, а примирения их. На такой же точке зрения стояли и с.-р. в крестьянском вопросе, говоря о крестьянстве вообще, имея в виду «трудовое крестьянство» и игнорируя тенденции классовой борьбы в деревне. Но и в среде крестьянства они опоры искали в «середняке», в том промежуточном и на деревенский масштаб преимущественно мелко-буржуазном слое, который стоял между кулацким элементом и крестьянской беднотой. «Как пропагандист на фабрике обращается только к основному среднему здоровому большинству, так и мы направляем свои усилия только на чисто трудовые слои крестьянства», писал в своем манифесте «Крестьянский союз партии с.-р.». Но «середняк» рабочий—подлинный представитель пролетарской массы, а «среднее, здоровое» крестьянство в большинстве—мелкобуржуазная крестьянская масса. Попытка привлечь эту массу «звуком слов» к социализации земли была не более, как мелко-буржуазная утопия, защита же интересов этой массы в таких условиях могла иметь лишь одно реальное значение: защиту ее интересов мелко-собственнических.

Мелко-буржуазным настроением об'ясняется и тот необычайно большой ассортимент революционных средств, которым всегда—также, впрочем, в звуке слов—обладали с.-р. Для деревни предпола-

гался, между прочим, аграрный террор, а после летних стачек 1903 г. «Рев. Россия» выдвигала идею всеобщей забастовки... в деревне. «Об'явление всеобщей стачки—писала газета,—всеобщего бойкотирования крестьянством как помещиков, так и властей, отказ от исполнения по отношению к ним всякого рода обязательств и повинностей может быть превосходным дополнением всеобщей стачки в городах». Что и говорить—дополнение превосходное! Но полная несуразность таких надежд, возлагаемых на все крестьянство в 1903 г., кажется, уже достаточно показана всем ходом русской революции, когда далеко не все крестьянство и далеко не всегда склонно было поддерживать революцию в городах и делало «аграрную» революцию «своими средствами». Но, эта готовность в любое время и в любую среду бросить любые революционные лозунги, именно и характерна для мелкой буржуазии, которая, не ощущая в себе силу массы и приобретая силу лишь в союзе с другими классами—буржуазией или пролетариатом,—готова была революционной фантастикой искупить свою слабость.

Классовая беспомощность мелкой буржуазии, которая, между прочим, выражалась в противоставлении «героев» «толпе», приводила и к увлечению террором. Бессильная сама по себе, как класс, мелкая буржуазия, в особенности из среды ее интеллигенции, могла выделить самоотверженных личностей, готовых отдать свою жизнь за дело свободы; отсюда вера, что дело этих личностей может, если не заменить всецело, то дополнить массовую борьбу и придать ей новую силу. Достойно внимания, в частности, что террористическая деятельность социалистов-революционеров расцветала на почве уже сказавшихся террористических настроений в среде, по преимуществу, учащейся молодежи. Покушения Карповича на жизнь Боголепова, Лаговского—на жизнь Победоносцева были единоличными актами, предпринятые по личному почину, а не по почину каких-либо партий. Только после этих актов социалисты-революционеры перешли от слов к делу. 2 июля 1902 г. Балмашевым был убит Сипягин, 26 июля того же года Качура стрелял в харьковского губернатора Оболенского, 6 мая 1903 года был убит уфимский губернатор Богданович. Все эти акты были подготовлены и приведены в исполнение боевой организацией партии с.-р.

7. Либерально-буржуазное движение.—„Союз Освобождения“.

После выступлений начала 80-х годов либерально-буржуазное движение замерло на полтора десятка лет и снова показало первые признаки жизни лишь в середине 90-х годов. Новые надежды либералов были связаны со смертью Александра III и со вступлением на престол Николая II. Наивные люди думали, что с переменой царя

изменится и политический режим. Впрочем, с наивностью либералов могла конкурировать и их робость. Адреса, с которыми земства обратились к новому царю, по своей умеренности и политической аккуратности уступали даже достаточно умеренным адресам начала 80-х годов. «Мы ждем, государь, писало, напр., наиболее либеральное тверское земство,—что в ваше царствование Россия двинется вперед по пути мира и правды со всем развитием живых общественных сил. Мы верим, что в общении с представителями всех сословий русского народа, равно преданных престолу и отечеству, власть вашего величества найдет новый источник сил и залог успеха в исполнении великодушных предначертаний вашего императорского величества». Черниговское земство умоляло царя «осчастливить» земство доверием и даровать земству право непосредственного обращения к царю. И т. д. Но и на эти робкие заявления царь ответил тем, что обозвал их «бессмысленными мечтаниями» и подтвердил, что будет охранять самодержавие так же твердо и неуклонно, как это делал его отец.

Открытые выступления земства после этого снова на некоторое время прекратились, но земско-либеральное движение как раз с конца 90-х годов начало усиливаться, принимая новые формы. Оппозиционное настроение, как и раньше, захватывало помещичьи круги, не затрагивая промышленной буржуазии. Последняя могла еще «дышать жабрами» и не имела оснований обострять свои отношения с самодержавием, которое покровительством промышленности давало промышленному капиталу пока все, что ему нужно. Иначе обстояло дело в сельском хозяйстве. Промышленный под'ем 90-х годов сопровождался рядом новых мер, направленных к покровительству промышленности, таможенная политика охраняла интересы промышленного капитала, создавая для него монопольное положение на внутреннем рынке. Политика эта вызывала неудовольствие в среде помещиков, которые должны были платить дороже и за железо, и за чугун, и за сельско-хозяйственные орудия и т. д. Неудовольствие это было тем сильнее, что наступивший в те годы сельско-хозяйственный кризис помещики ставили в связь с покровительством промышленности, с якобы исключительным вниманием, которое уделялось правительством промышленному капиталу в ущерб сельскому хозяйству. На самом деле такой связи не было, так как русский сельско-хозяйственный рынок был потрясен в связи с потрясением мирового рынка, а самодержавие осыпало поместное дворянство «милостями» не в меньшей степени, чем фабрикантов. Но помещики желали большего, требовали радикального изменения таможенной политики в сторону свободной торговли и тем становились в оппозицию не только к промышленному капиталу, но и к правительству. С другой стороны, мы видели, что к началу девятисотых годов развал крестьянского хозяйства принял столь острые формы, что забеспокоилось даже правительство, создав целый ряд

комиссий и совещаний для выяснения причин «оскудения» сельского хозяйства и мер содействия сельско-хозяйственной промышленности. Но еще больше должны были обеспокоиться помещики. Не говоря уже о крестьянских волнениях, которые часто ставили на карту не только помещичье хозяйство, но и жизнь помещика, последний имел основания не относиться безразлично к дальнейшему обнищанию крестьянской массы. Крестьянское малоземелье заставляет крестьян обращать свой взор на помещичьи земли; низкие цены, по которым крестьяне вынуждены продавать хлеб, чтобы покрыть все возраставшие платежи, понижают цены и на помещичьий хлеб; стихийное переселение крестьян в Сибирь лишает помещиков рабочей силы; примитивные приемы обработки крестьянской земли отражаются и на помещичьей земле, поскольку она отдается под обработку крестьянам и т. д. Этим об'ясняется то обстоятельство, что с конца 90-х годов земства уделяют столько внимания крестьянскому вопросу. Конечно, делали они это не потому, что им дороги были крестьянские интересы, но потому, что им дороги были интересы помещиков: налагая те или иные заплаты на разоряемое крестьянское хозяйство, земство заботилось о помещичьем хозяйстве. Само собою разумеется, что земская политика не выходила при этом за пределы тех мер, какие могли бы в каком бы то ни было смысле затронуть выгоды помещиков. Так, в местных комитетах о нуждах сельско-хозяйственной промышленности, образованных правительством при участии помещиков, последние для борьбы с крестьянским малоземельем предлагали такие меры, как переселение крестьян в Сибирь при содействии государства, расширение деятельности крестьянского банка по перепродаже крестьянам земли и т. п. Только ничтожная часть комитетов заговаривала о принудительном отчуждении—за плату, разумеется,—части помещичьих земель для наделения ими крестьян; самые радикальные из этих проектов не шли дальше допущения принудительного отчуждения в исключительных случаях, либо имели в виду только те земли, которые безусловно необходимы крестьянам и которые не имеют хозяйственного значения для помещиков (отрезки, прогоны, «клинья» и т. п.). Как бы ни были, однако, скромны все эти аграрные предположения, но и они резко расходились со всем строем правительственной политики, которая покоилась в такой же мере на бесправии и нищете крестьянства, как и на охране интересов крупного поместного дворянства.

В этих условиях укрепления буржуазно-помещичьего либерализма оживает земско-либеральное движение, которое новый и сильный толчек получает сперва от разраставшихся рабочего и студенческого движений, а затем и от крестьянских волнений. Либеральные земцы устанавливают между собой связи, устраивают частные совещания во время всякого рода с'ездов, намечают те вопросы, которые следует поднять на земских собраниях. Однако, движение это некоторое время носит еще скромный характер, осторожно обходя

основные политические вопросы русской жизни. Навстречу ему шло движение начинавшего оформляться буржуазно-демократического крыла русской интеллигенции. Неудавшаяся попытка «Народного права» вовлечь в сферу влияния демократической интеллигенции либеральные круги находит теперь более благоприятную обстановку как в росте земской оппозиции и общем политическом оживлении страны, так и в расслоении в среде самой интеллигенции, часть которой определенно склоняется в сторону буржуазной демократии. Во главе этого нового течения становится Струве, бывший марксист, начавший издавать в 1901 г. за границей журнал «Освобождение», вокруг которого летом 1903 г. организуется «Союз Освобождения», как первое политическое об'единение либеральной буржуазии и буржуазно-демократической интеллигенции.

На долю этой интеллигенции, по замечанию Плеханова, выпала идеологическая европеизация русской передовой буржуазии, приготовление духовного оружия ее, которое соответствовало бы ее оппозиционному настроению. На службу к буржуазии Струве и К° пришли через «критику» Маркса и «ревизионизм», которые в развитии русской общественной мысли сыграли своеобразную роль. «Критика эта—писал Плеханов,—представляла собою у нас попытку приспособить к умственным нуждам передовой русской буржуазии такую общественную теорию, которая выражала собой стремления сознательного западно-европейского пролетариата. Подобная попытка могла явиться только в такое время, когда буржуазные общественные теории Запада обнаружили свою несостоятельность. Задача, которую ставили себе люди, делавшие такую попытку, была теоретически нелепа, и потому неразрешима. А так как она была неразрешима, то очень скоро «критика Маркса» сделалась просто «критикой», а просто «критика»» свелась к разогреванию и переделке на новый лад старых буржуазных теорий». Приспособление марксизма к умственным нуждам буржуазии состояло, конечно, в том, что из него вытравлялось его революционное содержание и классовая непримиримость, и на первый план выдвигалось примирение буржуазии и пролетариата путем социальных реформ. Но так как буржуазия, даже передовая, вовсе не склонна была итти на такие реформы, то «критикам» Маркса пришлось перейти к защите социальных и политических домогательств буржуазии. Они это и сделали, когда в ходе русской революции выяснилась полная фантастичность примирения классовой борьбы, все больше обостряемой как внутреннероссийской, так и международной обстановкой.

Программа журнала «Освобождение» строилась на приспособлении к неоформившемуся еще земскому либерализму. В первом же номере «Освобождения» заявлялось, что оно желает выражать «исключительно бессословное общественное мнение» и об'единить «те группы русского общества, которые не имеют возможности найти исход своему возмущенному чувству ни в классовой, ни в революционной

борьбе». «Являясь наиболее связанным с земской группой,—писало «Освобождение»,—наш орган ставит своей задачей выработать такую программу совершенно определенных политических требований, на почве которой земство могло бы действовать совместно с другими общественными группами, не отказываясь в то же время от тех преимуществ своего фактического положения, которые могут сообщить его деятельности особенное значение в переходной период к новому политическому положению». «Наш орган,—заявляло далее «Освобождение»,—не будет революционным, но он будет всегда своим содержанием требовать великого переворота в русской жизни, замены произвола самодержавной бюрократии правами личности и свободы.. Не раз'единяться, а об'единять наша задача. Культурное и политическое освобождение России не может быть ни исключительным, ни преимущественным делом одного класса, одной партии, одного учения. Оно должно быть делом национальным или общенародным».

Таким образом, задача группы Струве состояла, прежде всего, в том, чтобы об'единить те общественные элементы, которые не имеют возможности вступить на путь классовой и революционной борьбы. Но эта задача была не менее утопична, чем попытка приспособить к нуждам буржуазии марксизм, так как не бывает таких общественных групп, которые не только не имели бы возможности, но и не вступили бы на путь классовой борьбы; исключения из такого общего правила не составляла и земская группа, от имени которой говорило «Освобождение». Поэтому и программа, которую выдвигало «Освобождение», была вовсе не «всесословной» программой, а программой умеренной либеральной буржуазии, считавшей свои интересы лучше всего защищенными лишь при осуществлении умеренно-политических требований. Программа эта строилась в том предположении, что «в более или менее близком будущем правительственная власть будет поставлена в необходимость приступить к серьезной политической реформе», т. е. допускала, что самодержавие пойдет на уступки и на этих уступках может быть построено соглашение между монархией и буржуазией. Программа выдвигала требование созыва «всесословного представительного собрания», причем роль учредительного собрания при выработке конституции должно было сыграть собрание представителей от земских учреждений и городских дум больших городов, т. е. выработать конституцию и определить характер будущего «всесословного представительного собрания» должна была исключительно буржуазия, так как в ее руках находились и земские собрания, и городские думы. Программа снимала при этом с очереди ближайшие вопросы как политического устройства страны, так и социальных реформ: предполагалось, что политические вопросы возникнут при выработке конституции, что же касается социальных вопросов, то постановка их будет уместна лишь после созыва

учредительного органа. Вполне конкретным в этой программе было, таким образом, лишь требование созыва представителей земских собраний и городских дум для выработки конституции, а этим в руки буржуазии отдавалось разрешение всех прочих вопросов политического и социального устройства России. Иначе говоря, речь шла вовсе не об отказе от классовой борьбы, но, наоборот, об осуществлении классовой политики, которая должна была привести, если не к диктатуре буржуазии, то к такому соглашению с монархией, которое обеспечивало бы господство буржуазии.

Само собой разумеется, что из «других общественных групп», привлечь которые к общей борьбе расчитывало «Освобождение», к такой программе могли примкнуть только группы, стоявшие вправо, а не влево от умеренно-либеральной буржуазии. И действительно, «Освобождение» в числе своих сторонников считало славянофильскую группу земцев (Шипов, Стахович и др.), которые выражали настроение земского «центра», склонного к «единению с царем» в форме какого-либо совещательного органа.

Этой идиллии, представлявшей себе дело таким образом, что все обойдется без революции и судьба политического преобразования России будет находиться в руках помещичье-буржуазного либерализма, положила конец обострившаяся в стране политическая борьба рабочего класса и крестьянские волнения 1902 года. Все более тускнела надежда на то, что правительство пойдет на уступки под давлением мирной оппозиции, и вместе с тем выяснялось, что либеральные земцы отнюдь не будут единственными вершителями судеб России. Крестьянские волнения говорили о близкой для помещиков опасности взрыва, аграрной революции, рабочие стачки и демонстрации свидетельствовали о вступлении в политическую борьбу пролетариата, в студенческом движении нельзя было не видеть вступления в политическую борьбу широкой массы мелкой буржуазии. В связи со всем этим начинают «леветь» и «освобожденцы», и земские «конституционалисты». Перед ними стала задача обеспечить за собою влияние в развертывающихся революционных событиях, а для этого, в изменившейся обстановке, они должны были выставить такую программу, которую приняли бы не вправо стоявшие, а стоявшие влево, т. е., прежде всего, мелко-буржуазные группы. «Освобождение» поэтому отказалось выражать мнение всего земского движения и выдвигало задачу организации земцев-конституционалистов, требуя выработки такой демократической программы, которая могла бы об'единить «передового дворянина с разночинцем и крестьянином». В это время «Освобождение» впервые принимает требование учредительного собрания (вместо земского собора), всеобщего избирательного права и социальных реформ, в частности, допуская в известных случаях принудительное отчуждение помещичьих земель. Летом 1903 г. кладется начало «Союзу Освобождения», в который входят

как земцы-конституционалисты, так и разные группы буржуазно-демократической интеллигенции (земские служащие, адвокаты, профессора и т. д.). Этим самым обозначался разрыв—не надолго, впрочем,—между поземельно-дворянской реакцией и земско-либеральной оппозицией, и начиналось политическое и социальное оформление либеральной буржуазии.

8. „Искра" и революционная социал-демократия.

На предыдущих страницах мы могли убедиться, насколько далеко подвинулось развитие общественных отношений в России за десятилетие с начала девяностых по начало девятисотых годов. В начале 90-х годов царила на Руси тишь да гладь твердой безграничной реакции, с успехом душившей все проявления общественной самодеятельности; рабочий класс делал попытки обороняться от капитала экономическими стачками, крестьянство безропотно сносило царско-дворянский гнет, студенчество изредка волновалось по мелким академическим поводам, земские собрания, после выступлений начала 80-х годов, зарылись в мелкие земские дела. В начале девятисотых годов от этой всеобщей спячки не осталось почти и следа, одна за другой стали выступать революционные и оппозиционные силы. Рабочий класс после периода массовой экономической борьбы развертывает свои силы в массовой политической борьбе, начинает пробуждаться крестьянство, в высшей школе не прекращаются студенческие волнения, принимающие определенно политический характер, растет революционное настроение в среде мелкой буржуазии, выступает на сцену либерально-буржуазная оппозиция. Если рабочее движение крепло и ширилось на почве промышленной революции и быстрого роста капиталистических отношений, если на этой же почве быстрее складывались общественные классы и созревала классовая борьба, то на общем политическом пробуждении сказывалось непосредственно, прежде всего, влияние рабочего движения. Только после массовых рабочих стачек середины 90-х годов принимают широкий характер студенческие волнения, черпая в рабочем движении и размах свой, и даже форму (забастовку); участие рабочих в студенческих демонстрациях усиливает их обще-политическое значение и тем содействует более скорому превращению студенческого движения в политическое; под влиянием роста рабочего движения и в связи со студенческими и крестьянскими волнениями приходит в движение мелко-буржуазная демократия, которая находит свое идеологическое выражение в возродившемся народничестве; на почве этого общего движения спешит занять свое место либеральная буржуазия, вдохновляемая буржуазно-демократической интеллигенцией и подгоняемая борьбой рабочих и растущим недовольством крестьян.

В такой богатой новым содержанием обстановке усложняется положение рабочего класса. Если выступление других общественных классов облегчало задачу борьбы пролетариата за политическую свободу, то оно же несло с собой опасность растворения рабочего движения в общем движении и подавление его чуждой ему классовой идеологией. В условиях самодержавно-полицейского государства, затруднявших политическую борьбу, и при сохранившихся еще во многих областях жизни крепостнических пережитках, в особенности, могло случиться, что рабочее движение могло потерять свою самостоятельность и рабочий класс мог подпасть под влияние других классов, тем более, что последние не только не отказывались привлечь пролетариат на свою сторону, но и весьма деятельно к этому стремились. Социалисты-революционеры своим учением о полном об'единении всего «трудового народа» пытались отвлечь рабочих с пути самостоятельной классовой борьбы и превратить его в сотрудника мелкой буржуазии, а проповедью террора понижали активность рабочих. К тому же клонили, только в сторону либеральной буржуазии, «критики» Маркса, попытки которых приспособить марксизм к нуждам буржуазии означали не что иное, как стремление притупить классовую борьбу и внушить рабочим мысль, что они многого могут добиться в союзе с буржуазией и в рамках капиталистического строя.

Все это выдвигало перед социал-демократией новые и сложные задачи. Становилось очевидным, что дело уже не может ограничиться одной социалистической пропагандой в среде рабочего класса или руководством его экономической борьбой. Всей окружающей обстановкой и обострявшимися противоречиями капиталистического общества рабочий класс толкался на путь политической борьбы и в этой борьбе он сталкивался не только с самодержавием, но и с другими общественными классами, которые также стремились к политическому раскрепощению. На очередь перед партией рабочего класса властно ставились задачи массовой политической борьбы и организации политического движения при сохранении его классовой самостоятельности, которая одна только обеспечивала победу пролетариата в борьбе его за ближайшую и конечную цель. Но мы уже знаем, что социал-демократия переживала в это время острый кризис. Во многих организациях господствовал «экономизм», который задерживал политическое пробуждение рабочего класса и укреплял в нем настроения отсталых его слоев. Когда, не взирая на проповедь экономической борьбы, рабочий класс стал сам проявлять политическую активность, «экономисты» попробовали плыть за этой новой стихией: после того, как рабочие стали выходить на студенческие демонстрации, «Рабочее Дело» готово было поставить в порядок дня даже террор.

В общем, на местах продолжает царить изрядный хаос, из ко-

торого можно было сделать только один вывод: революционное рабочее движение снова готово было перерасти революционное учение. Предстояло во что бы то ни стало положить конец этому хаосу, восстановить влияние в рабочем движении революционной социал-демократии, какою она сложилась в теоретической работе группы «Освобождение Труда» и в практической работе петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в середине 90-х годов. Как мы видели, борьба с идейным разбродом началась протестом Ленина против «Credo», выступлением Плеханова против «экономизма», приведя к расколу за границей с.-д. организаций. С начала 1900 года левое крыло социал-демократии начинает мобилизовать свои силы и в России. Во главе этого движения становятся возвратившиеся из ссылки деятели петербургского «Союза борьбы» Ленин, Мартов и Потресов. «Через приехавшую к тому времени в Россию В. И. Засулич,—рассказывает Мартов,—они завязали связь с группой «Освобождение Труда». Одобрив занятую ею принципиальную позицию, они, тем не менее, надеялись достигнуть цели революционизирования деятельности партии без углубления того организованного раскола, который начался за границей, в расчете на то, что местные организации, в среде которых уже остро чувствовалась неудовлетворенность застоем, наступившим в движении, не окажут противодействия реформационным планам новой группы. План последней сводился к тому, чтобы образовать ядро центральной партийной организации, которая могла бы об'единять деятельность местных комитетов, обслуживая их всесторонне, для чего она должна была обладать техническими и материальными средствами, равно как опытными пропагандистами, агитаторами и организаторами. На почве этого обслуживания должно было совершиться «завоевание» местных комитетов идеями централизма и революционно-политической борьбы».

План этот сразу же встретил довольно широкое сочувствие, так как разобщенность организаций и отсутствие руководящего центра остро чувствовались многими. Даже группа «Рабочей Мысли» выразила готовность работать вместе с новой организацией и столковаться с ней о дальнейшем направлении партийной работы. В это же время, весной 1900 г., заграничным «Союзом» подготовлялся второй с'езд партии, который должен был восстановить центральную партийную организацию. Левые круги социал-демократии решили поставить в этом с'езде вопрос об избрании Ленина, Мартова и Потресова в редакцию «Рабочей Газеты», выпуск которой предполагалось возобновить: Ленин должен был быть на с'езде делегатом от группы «Освобождение Труда». Однако, с'езд, в виду арестов, не состоялся, и плана этого осуществить не удалось. Тогда решено было создать социал-демократическую политическую газету и с помощью ее начать дело завоевания партии. В мае 1900 г. в Пскове, куда с'ехались Ленин, Мартов, Потресов, С. И. и Л. Н.

Радченко, выработана была программа новой газеты, которой дали название «Искра». После этого совещания Ленин и Потресов выехали за границу, где заключили с группой «Освобождение Труда» соглашение о совместном издании газеты «Искра» и теоретического журнала «Заря». Группа «Искра» сохранила при этом свою организационную самостоятельность. Сделано это было, по словам Мартова, потому, что «искровцы» не хотели чересчур связывать себя расколом, происшедшим среди эмигрантов, расчитывая, что таким образом они легко соберут вокруг себя и за границей, и в России многие элементы, не удовлетворенные положением партии.

В декабре 1900 г. вышел первый номер «Искры», программа которой была изложена в особом редакционном извещении. Редакция указывала, что в то время, как в рабочем движении с неудержимой силой сказывается потребность упрочиться, выработать определенную физиономию и организацию, в среде практически действующих социал-демократов необходимость такого перехода к высшей форме движения сознается далеко не везде. В довольно широких кругах наблюдается, наоборот, шатание мысли, увлечение модной «критикой марксизма» и «бернштейниадой», распространение взглядов так наз. экономического направления и в неразрывной связи с этим — стремление задержать движение на его низшей стадии, стремление отодвинуть на второй план задачу образования революционной партии, ведущей борьбу во главе всего народа. Практический вывод отсюда: русские социал-демократы должны сплотиться и направить все усилия на образование крепкой партии, борющейся под единым знаменем социал-демократии. Но создать и упрочить партию значит, прежде всего, выработать прочное об'единение, исключающее ту разноголосицу и путаницу, которая царит среди русских социал-демократов,—закрепить это об'единение партийной программой, и затем создать организацию, специально посвященную сношениям между всеми центрами движения. «Прежде, чем об'единяться,—писала далее редакция «Искры»,—и для того, чтобы об'единяться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше об'единение было бы лишь фикцией, прикрывающей разброд и мешающей его радикальному устранению. Понятно, поэтому, что мы не намерены сделать наш орган простым складом разнообразным воззрений. Мы будем вести его, наоборот, в духе строго определенного направления... Мы стоим за последовательное развитие идей Маркса и Энгельса и решительно отвергаем те половинчатые, расплывчатые и оппортунистические поправки, которые вошли теперь в такую моду с легкой руки Эд. Бернштейна, П. Струве и многих других». Редакция заявляла, что будет стремиться к тому, чтобы все русские социал-демократы смотрели на «Искру», как на свой орган, в который каждая группа сообщала бы все сведения

о движении, с которым она делилась бы своим опытом. «Только при таком условии,—писала редакция,—возможно будет создание действительно обще-русского социал-демократического органа. Только такой орган способен вывести движение на широкий путь политической борьбы», «раздвинуть рамки и расширить содержание нашей пропагандистско-агитационной и организаторской деятельности»,—эти слова П. Б. Аксельрода должны стать лозунгом, определяющем в ближайшем будущем деятельность русских социал-демократов, и мы принимаем этот лозунг в программу своего органа». Редакция заявляла, что обращает свой призыв ко всем, кого гнетет и давит самодержавный режим. «Кто понимает социал-демократию,—писала она,—как организацию, служащую исключительно стихийной борьбе пролетариата, тот может удовлетвориться только местной агитацией и «чисто-рабочей» литературой. Мы не так понимаем социал-демократию: мы понимаем ее, как направленную против абсолютизма революционную партию, неразрывно связанную с рабочим движением. Только организованный в такую партию пролетариат, этот наиболее революционный класс современной России, в состоянии будет выполнить лежащую на нем историческую задачу: об'единить под своим знаменем все демократические элементы страны и завершить упорную борьбу целого ряда поколений конечным торжеством над ненавистным режимом».

В первых номерах «Искры» напечатана была статья Ленина, в которой раз'яснялась организаторская роль газеты. «Газета—не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор,—писал Ленин.—В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оценивать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии. Одна уже техническая задача—обеспечить правильное снабжение газеты материалами и правильное распространение ее—заставляет создать сеть местных агентов единой партии, агентов, находящихся в живых сношениях друг с другом, знающих общее положение дел, привыкающих регулярно исполнять дробные функции обще-русской работы, пробующих свои силы на организации тех или иных революционных действий». Эта сеть агентов, по мнению Ленина, должна создать остов организации, которая сможет охватить всю страну, провести стро-

гое разделение труда, способную при всяких обстоятельствах, при всяких «поворотах» вести неуклонно свою работу. «Если мы соединим свои силы на ведении общей газеты,—писал Ленин,—то такая работа подготовит и выдвинет не только наиболее умелых пропагандистов, но и наиболее искусных организаторов, наиболее талантливых политических вождей партии, способных в каждую минуту дать лозунг к решительному бою и руководить им».

Такие задачи ставила себе группа «Искры». Очистить социал-демократию от плевел «экономизма» и ревизионизма, отмежеваться от всего ей чуждого, восстановить в его чистоте и последовательности учение революционной социал-демократии, собрать под ее знаменами все активно-действующие силы и на них построить партию, двинуть рабочее движение по широкому пути революционой борьбы,—вот что предстояло сделать. «Искра» выполнила эту задачу в короткое время.

Свои удары «Искра» направила, прежде всего, против «экономизма», с которым было покончено быстро, так как он изживался самым ходом рабочего движения и общественной атмосферой, все более насыщавшейся политикой и политической борьбой. Последним и наиболее сильным ударом по «экономизму» была брошюра Ленина «Что делать», которая окончательно добила и так наз. экономическое направление, и кустарничество в революционной работе. Быстрой ликвидации «экономизма» содействовали также «агенты» и друзья «Искры», начавшие на местах борьбу за оздоровление партийных организаций.

Свои полемические и политические удары «Искра» направляла и в другую сторону, прежде всего, в сторону русских «ревизионистов», «критиков Маркса». При этом «Искра» боролась с ревизионизмом не только как с попыткой извратить учение Маркса и направить борьбу рабочего класса по мелко-буржуазному руслу, но и как со стремлением поставить извращенный марксизм на службу буржуазии. Плеханов уже тогда установил точку зрения на этих «критиков», которую он разделял и много лет позже. «Они «критикуют» учение Маркса,—писал он в «Заре»,—для того, чтобы превратить его из орудия освобождения рабочего класса, каким оно везде и неизменно было до сих пор, в орудие политической эмансипации русского «среднего сословия». И как ни жалки сами по себе теоретические результаты подобной критики, все-таки надо признать, что в известном смысле они весьма полезны для дела буржуазии». «П. Струве,—писал Плеханов в другом месте,—стоит за «социальную реформу». Мы уже знаем, что эти пресловутые реформы не идут дальше штопания буржуазной общественной «ткани». В том виде, какой придается ей в теории г. П. Струве, она не только не угрожает господству буржуазии, но, напротив, обещает поддержать его, содействуя упрочению «социального мира». И если наша крупная буржуазия до сих пор и слушать не хочет

об этой «реформе», то это не мешает нашему «нео-марксизму» быть лучшим и самым передовым выражением общих социально-политических интересов буржуазного класса, как целого. Теоретики нашей мелкой буржуазии видят дальше и судят лучше, чем дельцы-вожаки крупной. Поэтому ясно, что именно теоретикам нашей мелкой буржуазии будет принадлежать руководящая роль в освободительном движении нашего «среднего класса». Мы нисколько не удивимся, если тот или другой из наших критиков дойдет в этом смысле до степеней весьма «известных» и станет, например, во главе наших либералов». Так в точности и случилось со Струве несколько лет спустя. Но и тогда руководимсе Струве «Освобождение» давало достаточно примеров попыток затушевать классовую борьбу и, прикрываясь социалистической фразой, подчинить рабочее движение интересам буржуазии. «Задача беспощадной критики мнимых друзей рабочего класса стоит перед нами и теперь, как она стояла перед основателями научного социализма более полувека тому назад»,—писал Плеханов, и «Искра» выполняла эту задачу, разоблачая попытки потянуть рабочий класс на буксире либеральной буржуазии, как и борясь против «теоретической» работы ревизионистов.

Исходя из положения «Манифеста Коммунистической Партии», что «коммунисты поддерживают повсюду всякое революционное движение против существующих общественных и политических отношений», «Искра» доказывала, что рабочий класс в борьбе за политическую свободу должен поддерживать другие общественные классы, если они также вступают на путь борьбы с самодержавием. Ленин указывал, напр., что поддержка земцев нужна, «прежде всего и более всего, для самого рабочего класса». «Этот единственный действительно революционный класс современного общества,—писал Ленин,—не был бы на деле революционным, если бы не пользовался всяким поводом для нанесения нового удара своему злейшему врагу». «Именно «классовая точка зрения» требует,—писал Ленин в другой статье,—чтобы пролетариат подталкивал вперед всякое демократическое движение. Рабочая демократия своими политическими требованиями не принципиально, а только по степени отличается от буржуазной демократии. В борьбе за экономическое освобождение, за социалистическую революцию пролетариат стоит на принципиально ином базисе и стоит одиноко... В борьбе же за политическое освобождение у нас много союзников, безучастно относиться к которым непозволительно. Но в то время, как наши союзники из буржуазной демократии, борясь за либеральные реформы, всегда будут оглядываться назад, стараясь устроить дело так, чтобы им можно было по-прежнему «есть сытно, спать спокойно и жить весело» на чужой счет, пролетариат пойдет вперед без оглядки до самого конца». Плеханов, с своей стороны писал: «Социал-демократы в своей непримиримой борьбе с абсолютизмом могут с полным

правом и ни мало не противореча себе, указывать всем, кому надлежить знать и понимать это, что их интересы в настоящее время совпадают с интересами свободомыслящей части нашего общества». Плеханов добавляет, однако, что эти интересы совпадают только частично, поскольку речь идет о низвержении самодержавия, полное же и всестороннее совпадение этих интересов было бы лишь тогда, когда социал-демократы отказались бы от диктатуры пролетариата и удовлетворились бы социальными реформами. Последнего Плеханов, конечно, не допускал и потому настаивал на том, что, оказывая поддержку другим классам, пролетариат не должен забывать, что он поддерживает своих классовых врагов, с которыми он вступит в борьбу за свои конечные цели. «Мы будем поддерживать всякое движение, направленное против существующего порядка вещей,—писал Плеханов.—Но мы ни на минуту не перестанем вырабатывать в умах рабочих ясное представление о нашей конечной цели. Мы хотим, чтобы борьба с царизмом служила для пролетариата школой, всесторонне развивающей его классовое самосознание». Эту последнюю сторону вопроса об отношении к либерально-буржуазному движению приходилось все чаще и сильнее подчеркивать, по мере того, как выяснялась и половинчатость этого движения, и анти-демократическая позиция «Освобождения», представлявшего наиболее деятельные элементы либеральной буржуазии. Поэтому, в резолюции об отношении к либералам, предложенной Плехановым второму с'езду и последним принятой, поддержка буржуазии в ее борьбе с царизмом ставится в связь с «разоблачением, ограниченности и недостаточности освободительного движения буржуазии» и, в частности, с выяснением рабочим «анти-революционного и противо-пролетарского характера того направления, которое выражалось в органе П. Струве».

К числу «мнимых друзей» рабочего класса относились и социалисты-революционеры, которым «Искра» уделяла подобающее внимание. Особенно резкий отпор встретила проповедь террора, который на деле противопоставлялся массовой борьбе. Плеханов, напр., как это ему приходилось делать и раньше, не отрицал террора принципиально, и даже допускал, что он может иметь значение вспомогательного приема. Но он доказывал, что террористическая деятельность и политическая агитация в массе могут идти рука об руку только при самых редких, совершенно исключительных условиях, и что ни одного из этих условий не было в наличности. «Мысль о «террористической» борьбе,—писал Плеханов,—возникает, можно сказать, сама собою всюду, где соотношение общественных сил еще не позволяет думать об открытом массовом восстании с оружием в руках. А где,—как у нас в настоящее время,—эта мысль уже выразилась в нескольких практических действиях, где, как в современной России,—такие действия встречают горячее сочувствие в широких слоях населения, там «терроризм» стремится

сделаться господствующим приемом революционной борьбы, отодвинув на задний план все другое». Но, в таком случае, террор становится орудием вредным, потому что революционное движение может восторжествовать только как движение массовое. Карая отдельных слуг царя, террор не разрушает царизма. «Мы очень ценим самоотвержение лиц, подобных Балмашеву и Карповичу,—писал Плеханов.—Но мы стремимся к ниспровержению целой системы. Мы стоим на классовой точке зрения. А с этой точки зрения самым верным и совершенно незаменимым средством борьбы с царизмом была и остается *агитация* в рабочем классе для развития его политического самосознания, и *организация* его сил для дальнейшей борьбы, все более и более упорной, все глубже и глубже проникающей, все более и более плодотворной и победоносной агитации. Только на фундаменте политического самосознания русского пролетариата может быть воздвигнуто здание русской политической свободы. Русское революционное движение восторжествует как движение рабочей массы, или совсем не восторжествует». Общая оценка партии социалистов-революционеров была дана в резолюции Аксельрода, принятой вторым с'ездом партии. Резолюция указывала, что с.-р. «теоретически противодействуют социал-демократам сплотить рабочих в самостоятельную рабочую партию, стараясь, наоборот, удержать их в состоянии политически-безформенной массы, способной лишь служить орудием либеральной буржуазии», что свои буржуазные тенденции они преследуют под флагом социализма и потому, как буржуазно-революционная фракция, оказываются совершенно несостоятельными. Признавая деятельность с.-р. «вредной не только для политического развития пролетариата, но и для общедемократической борьбы против абсолютизма», резолюция безусловно осуждала всякие попытки затушевать принципиальное и политическое значение разногласий между с.-р. и с.-д. и осуждала всякие попытки их об'единения, признавая возможным лишь частные соглашения в отдельных случаях борьбы с царизмом, причем условия таких соглашений подлежат контролю центр. комитета партии.

Наряду с этой критической работой, направленной к восстановлению теоретической и революционно-практической четкости учения революционной социал-демократии, шла работа «Искры» по выяснению очередных задач рабочего и революционного движения в России и связанных с ними тактических вопросов. Ближайшей задачей рабочего класса,—не переставала указывать «Искра»,—является свержение самодержавия и завоевание политической свободы, в условиях которой пролетариат сможет развернуть борьбу за торжество его конечной цели. «Социал-демократия, которая не хочет оставаться таковой только по имени, не может удовлетвориться чисто тред-юнионистской политикой,—писала «Искра».—Она должна привести рабочий класс к свободной демократии, как

единственно верному пути к диктатуре пролетариата, которая освободит его окончательно от всякой современной капиталистической эксплоатации». Добивая последние остатки народнических предрассудков, Плеханов писал: «С точки зрения современного научного социализма, всякие толки о социалистическом перевороте, как о ближайшей цели революционного движения в России, представляются вполне и безусловно неосновательными. Ближайшей целью революционного движения является низвержение абсолютизма, которое, обеспечив пролетариату политические права и политическую свободу, даст ему широкую возможность расти и зреть, развиваться и организовываться для социалистической революции». Но для того, чтобы получить действительную возможность бороться за социалистическую революцию, рабочий класс должен отвоевать себе и в буржуазной революции максимум политических и социальных прав, поставив своей задачей полное уничтожение старого порядка. «Пропагандируя республиканскую политическую программу,—писал Ленин,—мы тем самым боремся за возможность проведения тех социальных реформ, которых осуществление необходимо для прочного успеха политического переворота, долженствующего возродить нашу родину. Чем полнее и решительнее будут проведены эти реформы, тем менее возможна станет контр-революция... С другой стороны, наши социальные требования, пред'являемые нами к строю, должны быть формулированы так, чтобы требовать для своего осуществления, как неизбежного условия, решительного разрыва с нынешним политическим режимом».

Поставив перед собой ближайшей задачей радикальный политический переворот и не затушевывая в то же время своей конечной цели—низвержения капиталистического строя, пролетариат должен сохранить всю самостоятельность своей классовой организации и классовой политики, стремиться к тому, чтобы быть впереди всех борющихся за свободу, стоять во главе общего революционного движения и направлять его к наибольшей выгоде трудящихся масс. Отсюда отмеченное выше отношение ко всем не-пролетарским партиям и, в частности, к либеральной буржуазии. «Тот не социал-демократ,—писал Ленин,—кто забывает на деле, что «коммунисты поддерживают всякое революционное движение», что мы обязаны, поэтому, перед всем народом излагать и подчеркивать обще-демократические задачи, не скрывая ни на минуту своих социалистических убеждений. Тот не социал-демократ, кто забывает на день о своей обязанности быть впереди всех в постановке, обострении и разрешении всякого обще-демократического вопроса». «Мы должны,—добавлял Ленин,—взять на себя задачу организовать такую всестороннюю политическую борьбу под руководством нашей партии, чтобы посильную помощь этой борьбе и этой партии могли оказывать и действительно стали оказывать все и всякие оппозиционные силы». Аксельрод много раз возвращался к той мысли,

что пассивность либеральной буржуазии делает нереальными разговоры о ее поддержке и что поддержка эта должна определяться всецело содержанием социал-демократической работы в самом пролетариате, т. е. постановкой в центре борьбы рабочего класса задачи общенародного освобождения, а также систематическим использованием оппозиционного и революционного настроения других классов в интересах развития и политической самостоятельности рабочих масс. Такая самостоятельность послужит вместе с тем лучшим залогом скорейшего торжества борьбы за социализм. «Развивая политическое самосознание нашего пролетариата,—доказывал Аксельрод,—организуя его в самостоятельную политическую партию, стараясь завоевать ей роль авангарда в борьбе с абсолютизмом, мы тем самым предохраняем его от политической опеки буржуазии, обеспечиваем ему возможность оказать, в интересах эксплоатируемых масс, серьезное влияние на результат нашего собственного освободительного движения и ускорить торжество социализма над капитализмом. Только таким образом мы можем наполнить революционное движение, непосредственно направленное против абсолютизма, реальным социалистическим содержанием, только таким путем движение это становится непосредственно фазисом или прологом освободительного движения пролетариата во имя социализма против всей буржуазии».

Но восторжествовать вообще революционное движение может только как движение массовое. «Великая цель политического освобождения России, — писал Плеханов, — может быть достигнута только великим революционным движением массы. Помимо массового движения, она недостижима, и если бы нам пришлось по той или другой причине отказаться от мысли вызвать такое движение, то мы должны были бы оставить всякую надежду». «Искра» ставила, поэтому, перед социал-демократией задачу массовой политической агитации и превращения рабочего движения в массовое революционное движение. «Мы, сторонники революционной политической борьбы пролетариата, вправе торжествовать,—писала «Искра» по поводу участия рабочих в студенческих демонстрациях 1901 года.—Российский пролетариат доказал своим близоруким друзьям, что наша точка зрения, которую мы отстаиваем, совершенно верна. Не считаясь совершенно со своими вождями, пролетариат бросился в бой, как только увидел, что радикальная часть нашего общества серьезно решила померяться своими силами с силами правительства». Обсуждая в связи с теми же событиями ближайшие тактические задачи, Плеханов находил, что партия должна: «1) организоваться; 2) принять все зависящие меры для выяснения оппозиционным элементам общества истинного характера преследуемой нами ближайшей политической задачи; 3) продолжать политическую агитацию в трудящейся массе; 4) придать этой агитации более широкие размеры; 5) придать этой агитации еще более широкие раз-

меры, распространив ее по возможности и на сельское население; 6) то же в большей степени; 7) то же в еще большей степени; 8) то же в самой большой степени». Словом, политическая агитация должна стать массовой и массовым должно стать движение. «Искра» не тащилась, при этом в хвосте движения массы, но старалась быть всегда впереди его, улавливая те новые его поступательные шаги, которые позволяют двинуть его все дальше и дальше вперед. Когда в студенческих демонстрациях стали принимать участие передовые слои рабочих, Плеханов указывал, что надо превратить эти демонстрации в массовые; когда на улицу стала выходить рабочая масса, Плехановым был поднят вопрос о вооруженном отпоре казакам и полиции, а Ленин наметил выдвигавшуюся задачу вооруженного восстания. Этой цели все большего расширения массовой борьбы служила и самая идея основания политической газеты, реализованная в «Искре», которая должна была служить не только организационным центром движения, но и незаменимым орудием массовой, политической агитации, поднимающей самосознание рабочих, выдвигающей перед ними все новые задачи и указывающей путь и методы борьбы, как того требует изменяющаяся социально-политическая обстановка.

Свою теоретическую и программно-тактическую работу редакция «Искры» обобщала в проекте программы партии, который и был принят на втором с'езде партии. Проект представлял собой стройное и последовательное изложение программных положений революционной социал-демократии. Составленная в момент острой борьбы с ревизионизмом, программа, как это отмечал и Плеханов, заостряла все вопросы, на которых в особенности упражнялись «критики Маркса». Ревизионисты утверждали, что с развитием капитализма, положение рабочих улучшается, классовая борьба притупляется и открывается возможность «врастания» социализма в капиталистическое общество; они доказывали, что, благодаря развитию кредита и трестов, кризисы ослабляются и не потрясают больше, как раньше, капиталистического общества, а развитие техники, создавая много новых функций, образует новое «третье сословие», идущее на смену разоряемым мелким собственникам, так что в общем число собственников даже увеличивается. В противоположность этим взглядам ревизионистов, программа исходит из того положения, что положение труда с развитием капитализма не улучшается, что крупный и технически усовершенствованный капитал продолжает вытеснять мелких самостоятельных производителей, превращая часть их в пролетариев, и ставя других в зависимость от капитала; что технический прогресс ведет к усиленной эксплоатации женского и детского труда и, сокращая спрос на живой труд рабочего, увеличивает зависимость наемного труда от капитала и повышает уровень эксплоатации рабочих; что кризисы, неизбежные в капиталистическом производстве, еще более ве-

дут к увеличению зависимости труда от капитала и к ухудшению положения рабочих. Таким образом, общественное неравенство в буржуазном обществе растет, растет и недовольство трудящейся массы, обостряется классовая борьба. С другой стороны. усовершенствованная техника, концентрирует производство и обращение, а обобществлением процесса труда в капиталистических предприятиях создается материальная возможность замены капиталистического строя социалистическим, т. е. социальной революции.

Необходимым условием этой социальной революции программа признает диктатуру пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплоататоров. Этому положению программы Плеханов придавал большое значение. В комментарии к проекту программы Плеханов напоминал, что буржуазия, когда боролась за свое господство, понимала, что ее диктатура составляет необходимое политическое условие ее социального освобождения и господства, она окончательно разбила сопротивление аристократии и позаботилась о том, чтобы обезопасить свой порядок от посягательства со стороны пролетариата. «Что же,—спрашивает Плеханов,— изменилось с тех пор, как знамя общественного прогресса перешло из рук буржуазии в мозолистые руки пролетариата? Почему диктатура, бывшая полезной и необходимой в руках одного класса, стала бы ненужной и нецелесообразной в руках другого? Изменилось только отношение буржуазии к общественному прогрессу. Прежде она защищала его и была проникнута революционными стремлениями, теперь она противится ему и как огня боится всего, что носит на себе печать таких стремлений». Плеханов находил далее, что ссылки ревизионистов на то, что передовые капиталистические страны все более приближаются к демократическому строю, неубедительны, так как такой строй не уничтожает классовой борьбы. «Кто хотя отчасти разделяет то мнение, — писал Плеханов, — что современные демократические конституции делают излишней диктатуру рабочего класса, тот сознательно или бессознательно склоняется к той мысли, что «социальный вопрос» может быть «решен» без нарушения интересов эксплоататоров, т. е., что дело обойдется без социальной революции. Но такой мысли, разумеется, не может разделять никто из тех, которые причисляют себя к революционной социал-демократии. И вот почему все сторонники этой социал-демократии обязаны раз'яснять пролетариату, что ему надо стремиться к диктатуре, если он хочет устранить капиталистические производственные отношения и заменить их социалистическими. В программу политического воспитания рабочих непременно должно войти усвоение ими идеи будущего политического господства их класса, каким бы путем ни привела их к нему история: насильственным или мирным».

Программа заключала в себе перечисление ряда ближайших задач и требований, которые должны выставить социал-демократы.

ниспровержение самодержавия и замена его самодержавием народа, выборы законодательного собрания всеобщими, равными и прямыми выборами, гарантии политических свобод и т. д. Особая часть программы-минимум была посвящена требованиям охраны труда (8-час. рабочий день, воспрещение женского труда во вредных производствах, воспрещение труда малолетних и подростков до 16-ти лет и т. д.). Аграрная часть программы-минимум исходила из необходимого уничтожения крепостнических пережитков, которые препятствуют прогрессу и затрудняют развитие классовой борьбы. Разработкой аграрного вопроса в особенности занимался Ленин, взгляды которого нашли свое выражение в программе. Ленин доказывал, что крестьяне страдают как от гнета капитала, так и от гнета помещиков и от остатков крепостничества. От гнета мелкое крестьянство может избавиться, только примкнув к рабочему движению, помогая ему в его борьбе за социалистический строй. Борьба против остатков крепостничества необходима в интересах всего общественного развития страны, так как нищета, бессилие и темнота крестьян кладет на все порядки России отпечаток азиатчины. Таким образом, путь для достижения конечной цели борющегося пролетариата один и тот же в городе и деревне—классовая борьба против буржуазии. Но кроме этой классовой борьбы, в деревне происходит еще борьба всего крестьянства против остатков крепостничества. И в этой борьбе партия рабочих должна помочь крестьянству, стараясь направить его движение против его настоящего врага. В частности, Ленин еще в 1894 г., в брошюре «Что такое друзья народа», выделил, в видах борьбы с остатками крепостничества, требование возвращения крестьянам тех земель, которые отрезаны были у них при освобождении от крепостной зависимости (отрезки). Программа, в соответствии со взглядами, которые развивал Ленин, требовала отмены всех законов, стесняющих крестьян в распоряжении землей, возвращении крестьянам выкупных и оброчных платежей и конфискацию с этой целью монастырских, церковных, удельных и кабинетских земель, возвращения крестьянам «отрезков» и т. д.

Сказанного о деятельности «Искры» достаточно, чтобы увидеть, какую колоссальную работу проделала она в каких-нибудь три года для укрепления и распространения учения революционной социал-демократии. Опасный уклон в сторону «экономизма» и ревизионизма, внесения в рабочее движение трэд-юнионистских и мелкобуржуазных тенденций не только встретили сильный отпор, но им была противопоставлена широкая задача революционной борьбы рабочего класса в условиях предстоявшего радикального политического раскрепощения страны. Деятельность «Искры» была прямым продолжением и завершением дела, начатого группой «Освобождение Труда», восстановлением преемственности развития революционной мысли, нарушенного годами идейного кризиса. В истории нашего рабочего и революционного движения группа «Искры» должна быть, поэтому, поставлена рядом с группой «Освобождение Труда».

9. Второй с'езд РСДРП.—Итоги.

«Искра», как мы видели, должна была выполнить также организационную задачу — собрать активные силы революционной социал-демократии и затем на основе их восстановить или, вернее, создать партию. «Искра» выполнила и эту задачу, по крайней мере, сделала очень много для того, чтобы задача эта могла быть выполнена. Агитационно-организационное значение ее было громадно. Попадая на места, «Искра» будила революционную мысль, ставила перед нею новые задачи, разбивала старые предрассудки, разоблачала опасные уклоны, била врагов рабочего класса. Все чуткие элементы партии, и раньше находившиеся в состоянии брожения, быстро стали собираться вокруг своей газеты-центра и составили то ядро, вокруг которого могло быть начато создание партии. Литературную работу «Искры» дополнили ее «агенты», в большинстве наиболее персонально выдающиеся практики движения, которые начали борьбу за влияние в местных организациях, образуя ударные группы в качестве ячеек будущих партийных комитетов. Плодотворные результаты этой работы не замедлили сказаться, и один комитет за другим стали заявлять о своем присоединении к «Искре». Наиболее крупное значение имело присоединение в 1902 г. петербургского комитета, долгое время находившегося в руках «экономистов» разного толка, и группы «Южный Рабочий», пользовавшейся большим влиянием на юге России.

Параллельно этому собиранию сил «Искрой» шли попытки об'единения, исходившие, главным образом, от разных заграничных групп. Так, летом 1901 г., по инициативе группы «Борьба» (Рязанов, Стеклов, Смирнов-Гуревич), состоялось в Женеве совещание заграничных с.-д. организаций («Союза русских с.-д.», «Революционной организации Социал-Демократ», «Бунда» и «Борьбы»), для выработки условий соглашения. Искровцы требовали на этом совещании определенного отмежевания от оппортунистических течений. Представители правого крыла («Союз» и «Бунд») сперва согласились принять это условие, но затем повели наступление на «Искру», так что состоявшееся вскоре второе совещание в Цюрихе не только не привело к об'единению, но закончилось уходом левых. В следующем, 1902 г., по инициативе заграничного «Союза» и «Бунда», начата была подготовка к созыву партийного с'езда. «Искра» присоединилась к этому почину, но, делегировав в качестве своего представителя Дана, поставила условием, чтобы вместо с'езда состоялась конференция, которая приняла бы меры к созыву действительного с'езда. Конференция эта состоялась в марте 1902 г. в Белостоке в присутствии представителей заграничного «Союза», «Бунда», «Искры», «Южного Рабочего» и петербургского комитета, и образовала организационный комитет по созыву партийного с'езда. После-

довавшие затем провал и арест организационного комитета, прервали на короткое время дело созыва с'езда, но уже в ноябре 1902 г. организационный комитет был восстановлен соглашением группы «Искры» с «Южным Рабочим» и петербургским комитетом, который к тому времени стал «искровским». Было созвано совещание, на которое прибыли представители «Искры», «Южного Рабочего», петербургского комитета, киевского комитета и северного союза. Таким образом, инициатива и организация с'езда перешли к группе «Искра».

В извещении Организационного Комитета о его образовании указывалось, что главной задачей его является «подготовка условий для созыва партийного с'езда, и так как созыв с'езда потребует значительного времени, то Организационный Комитет до восстановления центральных органов партии берет на себя выполнение некоторых общих функций (выпуск обще-русских листков, общий транспорт и техника, установление связей между комитетами и проч.). Этим самым фактически до с'езда принимались меры к созданию партийного центра, которым временно должен был быть Организационный Комитет, а также ускорялось об'единение вокруг искровского течения и усиливалось влияние «Искры», как на местные комитеты, так и на состав будущего с'езда. Почва для такого влияния была уже подготовлена, и в первые же месяцы Организационный Комитет был признан во всех своих функциях целым рядом местных организаций.

Работа по подготовке «с'езда» шла успешно, и в августе 1903 г. состоялся (сначала в Брюсселе, потом в Лондоне) второй с'езд РСДРП. Из 27 организаций, за которыми было признано право на участие в с'езде, прислали своих представителей 26 организаций (группы «Освобождение Труда», «Искра», «Заграничный Союз русских с.-д.», «Лига революционной социал-демократии», группа «Южный Рабочий», заграничный комитет «Бунда», центральный комитет «Бунда», петербургский комитет, петербургская рабочая организация, комитеты—московский, харьковский, киевский, одесский, николаевский, крымский, донской, екатеринославский, саратовский, тифлисский, бакинский, батумский, уфимский, тульский; союзы—горнозаводских рабочих, северный и сибирский). Всего на с'езде присутствовало 43 делегата с решающим голосом, из них 30—от местных организаций.

Мы уже отчасти коснулись выше работ с'езда, поскольку говорили о принятых им программе и некоторых резолюциях. Так как в нашу задачу не входит специальное изложение прошлого партии, то мы остановимся здесь только на двух вопросах, отношение к которым с'езда имело крупное значение для будущего нашего революционного движения,—на организационном вопросе и на вопросе об отношении к либеральным партиям.

По последнему вопросу с'езду было предложено две резолю-

ции—Потресова и Плеханова. Резолюция Потресова, исходя из принятого программой положения, что партия поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка, допускала временные соглашения с либеральными и либерально-демократическими течениями, при том, однако, условии, что, во-первых, эти течения ясно и недвусмысленно заявят, что в своей борьбе с самодержавным правительством они становятся решительно на точку зрения российской социал-демократии, что, во-вторых, они не выставят в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и демократии, вообще, или затемняющих их сознание, и что, в третьих, своим лозунгом борьбы они сделают всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право. Резолюция Плеханова признавала, что партия должна поддерживать буржуазию, поскольку последняя является революционной или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом, и потому должна приветствовать пробуждение политического сознания русской буржуазии; вместе с тем резолюция ставила партии в обязанность разоблачать перед пролетариатом ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявилась эта ограниченность и недостаточность и, в частности, рекомендовала обращать внимание рабочих на антиреволюционный и противопролетарский характер «освобожденческого» направления (Струве). Несмотря на то, что обе резолюции исходили из необходимости поддержки движения либеральной буржуазии, позиции их принципиально различны: первая резолюция выдвигает на очередь временное соглашение, вторая о соглашениях ничего не говорит и подчеркивает необходимость разоблачения ограниченности освободительного движения буржуазии, в особенности оттеняя антиреволюционный и противопролетарский характер «Освобождения», т.-е. того именно из буржуазных течений, временные соглашения с которым и могла только иметь в виду первая резолюция. Тем не менее, с'езд принял обе резолюции.

Организационный вопрос, вопрос о том, как строить партию, в особенности остро стоял на с'езде. Царившее до того «кустарничество» в работе мало кого удовлетворяло. вместе с тем очень немногие даже из «экономистов» могли рекомендовать строить партию, по необходимости нелегальную, на началах демократизма, выборности, широкого приема в партию и т. д. Еще группа «Освобождение Труда» стояла на той точке зрения, что партия должна быть строго законспирирована, централизована и в основном своем ядре состоять из профессионалов-революционеров, т.-е. из людей, всецело отдавшихся революционной работе и находящихся всецело в распоряжении партии. Плеханов, уже во времена «Искры», требуя создания «крепкой боевой организации», имел в виду организации «того типа, который существовал в России во второй половине семидеся-

тых и в начале восьмидесятых годов (организации обществ «Земля и Воля» и «Партии Народной Воли») и которые оказали тогдашним русским революционерам такие огромные, неоцененные услуги»—т.-е. Плеханов также имел в виду централизованную организацию, главным образом, профессиональных революционеров, каковой была организация и «Земли и Воли», и «Народной Воли». Ленин в брошюре «Что делать», направлявшей свои удары против «кустарничества», стоял на такой же позиции. «Я утверждаю—писал он:—1) что ни одно революционное движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей; 2) что, чем шире масса, стихийно вовлекаемая в борьбу, составляющая базис движения и участвующая в нем, тем настоятельнее необходимость в такой организации (ибо тем легче всяким демагогам увлечь неразвитые слои массы); 3) что такая организация должна состоять, главным образом, из людей профессионально занимающихся революционной деятельностью; 4) что в самодержавной стране, чем более мы сузим состав членов такой организации до участия в ней таких только членов, которые профессионально занимаются революционной деятельностью и получили профессиональную подготовку в искусстве борьбы с политической полицией, тем труднее будет выловить такую организацию, и 5) тем шире будет состав лиц и из рабочего класса и из остальных классов общества, которые будут иметь возможность участвовать в движении и активно работать в нем».

Проект устава партии, внесенный на с'езд Лениным, был построен на таких же основных началах. Партия создавалась на основе строгого централизма, причем предусматривалось два центра—Центральный Комитет (ЦК) и редакция центрального органа (ЦО). ЦК об'единяет и направляет деятельность партии, утверждает местные комитеты и т. п.; ЦО руководит партией идейно. Совет партии, который должен был назначаться с'ездом из числа членов ЦК и ЦО в числе пяти лиц, имел задачей не только разрешение разногласий между ЦК и ЦО, но также возобновление состава ЦК в случае его провала, т.-е. ЦО получал в определенном случае возможность влиять на состав ЦК; далее местные организации должны были подчиняться постановлениям не только ЦК, но и ЦО, как и не только в ЦК, но и в ЦО они должны были доставлять все средства для ознакомления со всею их деятельностью и со всем их личным составом.

После обсуждения с'ездом, проект Ленина в этих частях подвергся следующим изменениям. В состав совета входят по два представителя от ЦК и ЦО, а пятый член избирается с'ездом—таким образом, исключена возможность преобладания в совете ЦК или ЦО, что допускалось проектом Ленина; исключена обязательность подчинения местных организаций постановлениям ЦО. Таким образом, роль ЦО была несколько сокращена, но в основном сохранено было построение Ленина.

За всем тем оставался еще один вопрос, которому суждено было сыграть роковую роль не только на с'езде. Это—вопрос о том, кого следует считать членом партии. Проект Ленина отвечал на это таким образом: «Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций». С'езд отверг эту редакцию и принял другую (Мартова), согласно которой членом партии считается «всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций». Различие этих редакций очевидно. Редакция Ленина приближалась к тому, чтобы считать членом партии только тех, кто в ней фактически работает. Окончательно принятая редакция включала в партию также лиц, которые фактически стоят вне организации и только регулярно оказывают ей ту или иную помощь. Вокруг этого вопроса разгорелись особенно страстные споры. Противники точки зрения Ленина (Мартов, Аксельрод, Троцкий и др.) доказали, что нужно разграничить понятие партии и организации. «Мы создаем, конечно,—говорил Аксельрод,—прежде всего организацию наиболее активных элементов партии, организацию революционеров, но мы должны, раз мы партия класса, подумать о том, чтобы не оставить вне партии людей, сознательно, хотя и, быть может, не совсем активно примыкающих к этой партии». Плеханов поддержал Ленина с той точки зрения, что формулировка Ленина облегчает борьбу с оппортунистическими течениями. «Рабочие, желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию,—говорил Плеханов.—Им не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты, насквозь пропитанные буржуазным индивидуализмом, но это-то и хорошо. Эти буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представителями всякого рода оппортунизма. Нам надо отдалять их от себя. Проект Ленина может служить оплотом против их вторжения в партию».

В этом вопросе точка зрения Ленина не восторжествовала и принята была редакция Мартова, но в остальном устав партии был принят на основании ленинского проекта со строгим централизмом. Сторонники Ленина получили также большинство при выборах руководящих органов партии—ЦК и ЦО. В частности, сторонниками Ленина было внесено предложение о переизбрании редакции «Искры», которая признана была центральным органом партии, с уменьшением состава ее с шести до трех лиц, причем персонально из состава старой редакции в новую были предложены Ленин, Мартов и Плеханов. Поддерживая это предложение, Ленин говорил, что речь идет об организационном закреплении того влияния на ЦК, борьба за которое до тех пор составляла всю деятельность «Искры». Мартов, отказавшийся войти в новую редакцию при таких условиях, указывал, что только в своем старом составе редакция может

ручаться, что права, предоставленные ей уставом, не послужат ко вреду для партии. С'езд большинством признал необходимым избрать редакцию в составе трех лиц и, когда Мартов отказался, в редакцию «Искры» были избраны Ленин и Плеханов.

Разделение с'езда на большинство и меньшинство превратилось впоследствии в деление на «большевиков» и «меньшевиков». Однако, на первых порах обе стороны не допускали, что разногласия приведут к расколу. «Раньше мы расходились,—писал Ленин,—из-за крупных вопросов, которые могли иногда даже оправдать и раскол, теперь мы сошлись уже на всем крупном и важном, теперь нас разделяют лишь о т т е н к и, из-за которых можно и д о л ж н о спорить, но нелепо и ребяческим было бы расходиться». Наличные разногласия Ленин сводил «не к программным и не к тактическим, а лишь к организационным вопросам». Мартов, подводя итоги с'езда, также утверждал, что «в рядах партии господствует единство по основным вопросам партийной программы и тактики», как и по вопросу об организации партии на началах централизма. По мнению Мартова, «нет еще единства ни по вопросам о методах проведения в жизнь новых организационных принципов, ни по вопросу о пределах и характере возможной и полезной для социал-демократического движения централизации». Но, думал Мартов, разногласия эти не такого свойства, что они могли затронуть организационное единство, т.-е. привести к расколу партии. Словом, обе стороны признавали, что, сходясь по основным программным и тактическим вопросам, они расходятся лишь в понимании организационных задач партии, или, говоря словами Ленина, что «это разногласие, хотя оно и вызывает принципиальные оттенки, никоим образом не могло вызвать того расхождения, которое создалось после с'езда».

Если расхождение все же последовало, то к этому привели не «оттенки», а те действительные разногласия, которые скрывались за «оттенками» и, которые придавали иной характер самому разногласию по организационному вопросу. Дело в том, что наряду с искровским большинством на с'езде было правое меньшинство, в которое входили рабочедельцы и право-настроенный «Бунд». Это правое крыло составляло оппозицию при обсуждении программы, но последнюю исправить в своем духе ему не удалось, так как по основным вопросам между искровцами царило единодушие и сплоченное большинство их не могло быть поколеблено Но правым удалось дать перевес тому «оттенку» в организационном вопросе, который выражала формулировка Мартовым первого параграфа партийного устава, причем они выступили против формулировки Ленина, потому что опасались усиления в центре партии и на местах искровского течения, которое было непримиримо настроено против всяких уклонов в сторону как оппортунизма, так и «кустарничества». Расхождение на с'езде делалось поэтому более серьезным, ибо показы-

вало, что влияние правых элементов еще не устранено окончательно и что, сказавшись на организационном вопросе, оно может дать о себе знать и по вопросам более важным. Ленин, поэтому, в своей полемике с бывшими товарищами по редакции «Искры» указывал именно на ту опасность, которая выявилась во влиянии правого крыла с'езда, и в разногласиях в «оттенках» видел признаки возможного усиления в партии оппортунистического течения.

Разногласия не в оттенках, а в принципах, обнаружились позже, в новых условиях самого движения, перед новыми задачами, которые ставились движению, когда испытанию должны были подвергнуться не только организационные, но и программно-тактические вопросы. Правильно понять и оценить значение этих разногласий можно в связи лишь с последующим ходом революционного движения, при свете заново складывавшихся условий социально-политической борьбы рабочего класса. Мы остановимся здесь поэтому лишь на одном моменте, выделить который необходимо для того, чтобы восстановить в исторической перспективе ту общую обстановку, в которой происходил второй с'езд и вскрыть некоторые его особенности, оказавшие свое влияние на последующую судьбу партии.

Эта особенность заключается в переоценке значения буржуазии в предстоявшей революционной борьбе и недооценке роли крестьянства. В самом деле. Принятая с'ездом резолюция об отношении к либеральным партиям ставила на очередь «временные соглашения» с этими партиями. Между тем, такое соглашение не стояло на очереди. «Принимая во внимание политическую пассивность нашей либеральной буржуазии,—говорил на с'езде Аксельрод,—о правильной поддержке ее РСДРП, в буквальном смысле пока что не может быть и речи». Плеханов также указывал на с'езде, что резолюция обращает, главным образом, внимание на возможное соглашение, «как будто такое соглашение стоит на очереди, чего еще нет». Таким образом, резолюция, заглядывая вперед, допускала возможность, что партия вступит во временное соглашение с либеральными партиями на перечисленных в резолюции условиях. Но такая постановка вопроса, казалось, представляла собой отступление от той тактической линии, которая, по крайней мере, в основных своих чертах складывалась раньше. Мы видели, что Плеханов в 90-х годов весьма скептически относился к возможностям освободительного движения русской буржуазии и советовал не расчитывать на людей, которые «сами на себя никогда не расчитывали». Отводя рабочему классу руководящую роль в борьбе с самодержавием, Плеханов, конечно, признавал, что пролетариат должен поддерживать всякое революционное и оппозиционное движение, но вместе с тем продолжал трезво смотреть на революционную роль буржуазии. Плеханов писал об этом времени (в 1910 г.): «Что касается буржуазии, то мы не питали преувеличенных надежд насчет ее будущей политиче-

ской самодеятельности, хотя, по правде сказать, мы не ожидали от нее такой дрянности и ограниченности, какие она обнаруживала впоследствии». В связи с таким взглядом на значение буржуазии в революционной борьбе находилась и точка зрения Аксельрода на методы «поддержки» либеральных партий, точка зрения, долгое время господствовавшая в русской социал-демократии. Уже в послесловии к брошюре «Об агитации» (1896 г.) Аксельрод доказывал, что «тактика в широком смысле имеет целью не только увеличение числа приверженцев партии внутри представляемого ими класса, не только организацию его для борьбы против угнетателей, но и эксплоатацию взаимных отношений и потребностей других классов в интересах об'единения и увеличения оборонительных и наступательных средств, необходимых ему для этой борьбы». Позже Аксельрод ту же мысль выразил иначе, когда писал в 1899 г., что воздействие на либеральное движение всецело определяется содержанием социал-демократической работы в самом пролетариате, т.-е. в постановке в центре борьбы рабочего класса задачи общенародного освобождения. Таким образом, не предполагалось, что социал-демократия должна сбросить со счетов движение не-пролетарских элементов или должна итти по пути, который привел бы к политическому изолированию пролетариата в его борьбе с самодержавием. Напротив, в своей борьбе рабочий класс должен иметь в виду освободительное движение других классов, но «поддержка», которую он должен был этим классам оказать, разумелась не путем сотрудничества или соглашения с ними, а путем расширения задач революционной борьбы самого пролетариата до задач общенародного освобождения, как и освободительное движение других классов должно было быть использовано не для того, чтобы сеять иллюзию о революционности этих классов, но для того, чтобы использовать это движение для развития революционной самодеятельности и политической самостоятельности рабочего класса.

Такова была господствовавшая точка зрения. Она складывалась в то время, когда движение либеральной буржуазии только намечалось и когда еще не легко было предвидеть ту «дрянность и ограниченность», о которой писал Плеханов. Характерно в этом отношении, что даже основатели «Искры» не сразу порвали со Струве, хотя вели с ним до того резкую полемику: Струве участвует в выработке плана «Искры», с ним ведутся переговоры об участии его в газете. Окончательный разрыв наступил, впрочем, очень скоро и мы видели, что «Искра» заняла по отношению к Струве и его органу непримиримую позицию, которая нашла свое отражение в резолюции Плеханова об отношении к либеральным партиям. С другой стороны, мы знаем, что к началу девятисотых годов оживилось и оформилось мелко-буржуазное движение (возрождавшееся народничество) и буржуазно-демократическое течение (Струве), а вместе с тем вполне реальной стала и опасность подчинения рабочего движения чуждой

ему идеологии. Оппортунистические элементы в партии, еще не изжившие «экономизма», получили новое подкрепление в том влиянии, которое шло от мелко-буржуазного движения. Если в пору расцвета «экономизма» задача политической борьбы подбрасывалась либеральной буржуазии, а на долю рабочих оставлялась экономическая борьба, то теперь, когда политика со всех сторон врывалась в рабочее движение, задачи политической борьбы рабочего класса принимались, но только при поддержке им либерально-конституционного движения. Общее оживление политической борьбы в стране, вовлечение в нее новых общественных элементов понималось не в смысле неизбежности классовой борьбы и необходимости выдвижения как общенародных, так и в особенности самостоятельно классовых задач рабочего класса, но в смысле притупления классовой борьбы. Создавалась вместе с тем иллюзия, что в грядущей революции русской буржуазии суждено играть революционную роль, а иллюзия эта приводила к вредному и наивному предположению, что либеральные и либерально-демократические течения в борьбе с самодержавием станут на точку зрения социал-демократии, а не наоборот, что социал-демократия, вступая в соглашение с этими течениями, должна будет сама, в конце концов, в той или иной мере принять их точку зрения. Резолюция с'езда, допускавшая временные соглашения с либералами, давала пути для выражения этого правого уклона.

С другой стороны, несмотря на то, что вопросу о крестьянстве «Искра» уделяла не мало внимания, постановка его не обещала поспеть за жизнью и не соответствовала ближайшим перспективам революционного движения. Мы видели, что аграрная часть программы, принятой на с'езде, как и позиция в этом вопросе «Искры», рассматривали крестьянские нужды и крестьянское движение с точки зрения уничтожения крепостнических пережитков, роста в связи с этим уничтожением капиталистических отношений и классовой борьбы в деревне; поэтому программа требовала возвращения крестьянам «отрезков», а также выкупных и оброчных платежей, и только для этой последней цели требовала конфискации монастырских, церковных и т. п. земель, не предусматривая перехода в руки крестьян помещичьей земли путем ее конфискации. Конечно, точка зрения уничтожения крепостнических остатков и развязывания процесса капиталистического развития была правильна, но и она допускала иные выводы. Плеханов понимал это, когда писал, что «в революционную эпоху экспроприация крупных землевладельцев может явиться у нас необходимым условием социально-политической победы революционной партии. Но—добавлял он—это вопрос совсем другой. Его постановка и его решение будет обусловливаться соотношением общественных сил в такую эпоху». Это верно. Но разве программа партии не должна была иметь в виду именно революционной эпохи? Разве возвращение крестьянам отрезков, кон-

фискация монастырских и т. п. земель, точно также как и политические требования программы, не предполагали для своего осуществления победы революции того или иного размаха? И если в революционную эпоху экспроприация крупных землевладельцев могла быть необходимым условием победы революционной партии, то почему в предвидении этого не указывалось на такую возможность? Плеханов отвечал на это: будет ли поставлен и как будет поставлен вопрос об экспроприации крупных землевладельцев,—будет зависеть от того, как сложится соотношение общественных сил в революционную эпоху. Значит ли это, что для Плеханова вопрос о том, как сложится соотношение общественных сил, оставался открытым? Конечно, не значит, и в этом вся суть дела. Очень многие исходили в то время из того, что в предстоявшей буржуазной революции соотношение общественных сил во всяком случае, не сложится в пользу крестьянства, и, стало быть, большой победой революции будет уже то, что покончено будет с крепостническими пережитками и в деревне получит простор классовая борьба. Крестьянство рассматривалось, как политически консервативная масса, которая может оказаться скорее на стороне контр-революции, отстаивающей самодержавие, чем на стороне новой демократически-республиканской государственности. При этом упускалось из виду, что именно политический консерватизм крестьянства скорее может позволить ему оставаться равнодушным к «политике», но не позволит ему быть в стороне от той «экономики», в которой оно видит весь смысл своего существования, что лозунг борьбы с крепостничеством в представлении крестьянства связан был не только с пережитками крепостнических отношений, но с господством крупного землевладения вообще, что вовлеченное в революцию оно, прежде всего, и главнее всего, направит свою борьбу против помещиков и что, наконец, эта аграрная революция, уничтожающая материальную силу класса крупных землевладельцев, является необходимым условием действительной и решительной победы над старым порядком. Все это предсказывало иное соотношение общественных сил, в котором крестьянству не суждено будет играть пассивную роль, как и предуказывало, что характер активности крестьянства будет зависеть от того воздействия, которое окажет на него революционная борьба рабочего класса в ее программных требованиях и тактических путях.

Уже очень скоро—через год-полтора—это было признано, но не всеми и не в одинаковой мере. Пойти дальше в сторону признания положительной роли, которую призвано сыграть крестьянство в революции, и принять тактические выводы, которые проистекают из такого признания для рабочего класса и его партии, могли те, которые раньше отделались от предрассудков, преувеличивавших значение и силу либеральной буржуазии в ходе революционной борьбы. Напротив, те, кто оставался при старых взглядах на либеральное движение, и не видел нужды в пересмотре своего отноше-

ния к крестьянству, могли сделать еще новый поворот вправо. Отсюда те разногласия по действительно принципиальным вопросам крупного значения, которые обнаружились между «большевиками» и «меньшевиками» в ближайшее время—в революционную пору 1905 года—разногласия, которые сосредоточивались вокруг вопроса о поддержке либерального движения и лозунга «диктатуры пролетариата и крестьянства». Этим самым, со вторым с'ездом заканчивалась недолговечна на русской почве идиллия единства партии—последняя снова, как это было в пору «экономизма», разделилась на два крыла. Не касаясь здесь характеристики расколовшихся частей партии в разных их течениях, заметим, что, если «экономизм» поддерживался отсталыми настроениями рабочих масс, то теперь оппортунизм в его новой форме питался влиянием оживившегося буржуазного движения и фикцией революционной силы буржуазных элементов, и потому должен был придти в противоречие как с ушедшими вперед настроениями рабочих масс, так и с действительным ходом развертывавшейся революционной борьбы.

Второй с'езд завершил «искровский» период в истории РСДРП. С'езд подвел итоги трехлетней работе «Искры», разработанные ею программные положения сделал программой партии и обобщил ее тактические взгляды. После пятилетнего со времени первого с'езда перерыва снова был поставлен на очередь вопрос об об'единении всех местных организаций, но только теперь он получил практическое разрешение—и этим также выполнена была задача, которую поставила себе «Искра» с первых дней своего существования.

Забастовочным движением 1903 года и вторым с'ездом заканчивается длительный период нашего революционного движения, который, по отношению к следующему периоду, можно назвать в известном смысле подготовительным, периодом созревания в условиях старого порядка тех общественных классов, которым предстояло нанести удар старому строю, стать активной силой революции. 1904 год начался русско-японской войной, ускорившей созревание социально-экономических противоречий старого порядка и открывшей собой новый период—собственно революции, когда за первой схваткой с самодержавием в 1905 году, после некоторого перерыва и как непосредственное ее продолжение, последовали февральская и октябрьская революции 1917 года.

Подведем теперь некоторые итоги рассмотренному нами периоду революционного движения.

Плеханов к одной из особенностей нашего исторического процесса относил то обстоятельство, что русская промышленная буржуазия не играла той революционной роли, которую сыграла западно-европейская буржуазия. «Наша буржуазия, — писал Плеханов,—долго не чувствовала нужды в печатном выражении своих

требований, ограничиваясь непосредственными сделками с правительством, у которого она не переставала выпрашивать «субсидий», «гарантий» и покровительства «отечественной промышленности».— Это, разумеется, верно, но столь же верно, что другая особенность нашего исторического процесса заключалась в том, что буржуазные тенденции созревали в либеральных помещичьих кругах и что ту роль, какую на Западе играла промышленная буржуазия, у нас до известной степени выпала на либерально-помещичьи элементы. Эта особенность, в свою очередь вызывалась еще одной особенностью исторического процесса, тем влиянием, которое оказывал рост капитализма в России, в стране по преимуществу земледельческой на соотношение общественных классов. В то время, как развитие промышленного капитализма содействовало росту и обогащению промышленной буржуазии, проникновение капиталистических отношений в сельское хозяйство несло с собой разложение дворянского порядка, разорение поместного дворянства, необходимость для него приспособляться к новым условиям хозяйства, и т. п. Уже освобождение крестьян от крепостной зависимости затронуло весьма существенным образом и с разных сторон интересы поместного дворянства, в то время как промышленному капиталу оно сулило только новые выгоды. В новой пореформенной России помещичье хозяйство не переставало падать, а правительство, как оно ни старалось придти на помощь дворянству, тем меньше могло остановить процесс «оскудения» помещиков. Поэтому никак нельзя сказать, что наши помещики не чувствовали нужды в печатном выражении своих требований. Напротив, никто не потратил так много бумаги на заявление своих требований, как помещичьи круги. Не удовлетворялись они и одним печатным выражением своих требований. Когда в начале XIX века назревает потребность перехода к буржуазным формам общественности, выразителями этой потребности выступают не купцы и фабриканты, оставшиеся тогда в непрезентабельном образе «чумазого», а более культурная часть дворянства, сама принимавшая буржуазный облик. Освобождение крестьян порождает требование конституционных реформ в тех же помещичье-дворянских кругах, они же выступают в начале 80-х, в середине 90-х, в начале девятисотых годов. Промышленная буржуазия молчит, ибо благоденствует под всяческой охраной,—ропщет, выступает на путь оппозиции буржуазно-помещичьий либерализм.

Крестьянство на всем почти протяжении рассмотренного периода остается в состоянии пассивности. Стихийные взрывы крестьянских волнений накануне освобождения от крепостной зависимости сменяются длительной полосой загнанного вглубь недовольства крестьянской массы, не находящей в себе силы сбросить тяжелое ярмо крепостнических пережитков. Но отдельные, разрозненные, большей частью мелкие вспышки крестьянского недовольства не прекращаются, свидетельствуя о том, что в деревне, не потухая, тлеет

искра, от которой может заняться пожар. Эти крестьянские настроения оказывали свое влияние на настроения либеральных помещичьих кругов. Если в городе классовая борьба постепенно переходила в открытые формы, то в деревне она все время носит скрытый характер, протекая в условиях неизжитых остатков крепостничества. Делая шаг вперед в борьбе с самодержавием, либеральные помещики неизменно оглядывались назад, в сторону крестьянства: опасность крестьянского восстания и черного передела помещичьей земли всегда стояла перед ними—и тогда, когда они не склонны были отказаться даже от пяди своей земли, и тогда, когда соглашались на частичное ее отчуждение. Отсюда—робость земско-либерального движения, готовность его вступить в соглашение с монархией против крестьянства, поддержать фабрикантов против рабочего движения. Поэтому либерально-помещичья буржуазия со времени декабристов не пыталась вступить на путь открытой революционной борьбы, позволяя себе лишь роскошь оппозиции, в меру той опасности, какую представляли рабочее и крестьянское движение, и не менее часто вступая на путь противодействия освободительной борьбе трудящихся масс.

В состоянии пассивности остается долгое время и рабочий класс. Процесс образования его замедляется, как недоразвитыми капиталистическими отношениями, так и, в особенности, продолжавшей тяготеть над рабочим властью земли. Если в крепостное время отношения фабрично-заводского рабочего к фабриканту заглушалось отношением крепостного к помещику, то в последующее время, с падением крепостного права, рабочему удавалось лишь постепенно освобождаться от старых настроений подневольного и бесправного крестьянина. Рабочие волнения носят, поэтому, еще долгое время характер то стихийных бунтов, то робких попыток добиться от власти прекращения «притеснений» со стороны фабрикантов. О массовом пробуждении рабочих, как класса, можно говорить не ранее второй половины 80-х годов, вполне же определённо оно обозначилось лишь в следующем десятилетии.

Такое соотношение общественных классов определялось недостаточно еще развитыми капиталистическими отношениями. Но и неразвитые, эти отношения оставались *капиталистическими*. Хотя и медленно, но капиталистическое развитие страны подвигалось, разрушалось старое, полунатуральное хозяйство, расслаивалась деревня, нарастал торговый и промышленный капитал и т. д. Назревали и противоречия капиталистического порядка и, в особенности, противоречия между ростом производительных сил и формами самодержавно-полицейского государства. В отмеченных условиях соотношения общественных классов эти противоречия должны были и могли наиболее сильно сказаться лишь на настроении тех тонких слоев «высших» классов, которые быстрее и полнее приобщались к культуре буржуазной общественности—на настроениях ин-

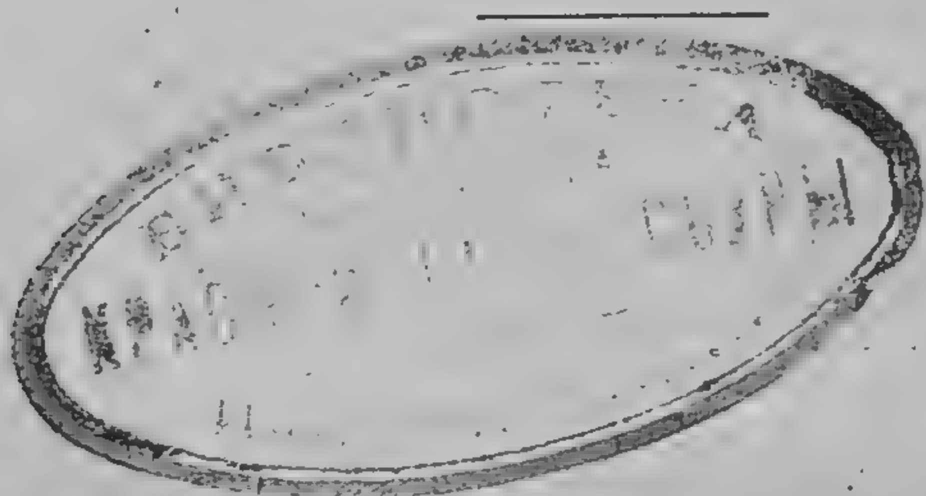
теллигенции дворянско-буржуазной и, в особенности, мелко-буржуазной. Движение декабристов было первым выступлением дворянско-буржуазного либерализма, включая в себе и некоторые элементы мелко-буржуазного демократизма. Но не из этой искры суждено было разгореться пламени. Либерально-буржуазное движение, по причинам, о которых только что было сказано, скоро вошло в русло оппозиции, по общему правилу умеренной, и носителем революционного начала на долгое время оставалась разночинная интеллигенция, мелко-буржуазная по своему классовому происхождению. Так как мелкая буржуазия, в особенности ее интеллигенция, не составляет самостоятельной классовой силы, то и революционное движение ее сказывается в искании ею опоры в народных массах, главным образом, в крестьянстве, социально-экономическая же отсталость страны создает благоприятную почву для расцвета разных течений утопического социализма, которые и завладевают умами передовой интеллигенции. Почти два десятилетия не прекращаются активные попытки найти рычаг, которым можно было бы перевернуть дворянско-самодержавную Россию и совершить социалистическую революцию: условия социально-отсталой страны делают эти попытки безнадежными и не дают ничего, кроме скитаний утопически-настроенной мысли. Этот период революционного движения не прошел бесплодно: в революционной борьбе, давшей множество примеров героического самоотвержения, крепли силы революционной интеллигенции, выростал—пока еще тонкий—слой рабочей интеллигенции, создавались те революционные кадры, которым суждено было работать и действовать в более благоприятной исторической обстановке.

Но уже на первых стадиях революционного движения, несмотря на продолжавшееся господство утопических настроений, стало сказываться влияние углубления процесса капиталистического преобразования страны и оформления рабочего класса. Мы видели, что движение 70-х годов начинается с пропаганды среди рабочих, а затем на протяжении всего последующего времени делаются неоднократные попытки связать революционное движение с рабочим классом. Попытки эти не приводят к положительным, с точки зрения роста рабочего движения, результатам, так как, с одной стороны, рабочее движение остается в зародышевом состоянии, а, с другой,—утопические настроения революционного народничества не дают ему возможности стать на точку зрения классовой борьбы и принять самостоятельные классовые задачи рабочего движения. Но в попытках этих нельзя все же видеть влияния на революционное движение, шедшего от рабочего класса уже в 70-х годах, как, с другой стороны, многолетняя пропаганда среди рабочих революционеров-народников закладывала свои пласты роста классового сознания рабочих и подготовляла первые передовые отряды борцов из среды самого рабочего класса. Слабые тенденции влияния роста рабочего класса на

революционное движение, сказавшиеся в движении 70-х годов, развертываются полностью позже, с дальнейшим ростом капиталистических отношений в России, когда каждое новое продвижение страны по пути капиталистического развития было вместе с тем продвижением рабочего класса в его освободительной борьбе.

Когда Плеханов указывал обозначающиеся пути социального развития России и ту роль, которую должен сыграть в освободительной борьбе рабочий класс, голос его звучал одиноко и учение его принималось, как безумие еретика. Но уже с середины 90-х годов рабочий класс не только фактически идет впереди всех прочих оппозиционных и революционных сил, но и своим движением оказывает на них решающее влияние. Движение студенческое, земско-либеральное, отчасти крестьянское получают новый размах именно в связи с борьбой рабочего класса и под ее давлением. С освободительной борьбой рабочего класса связывалось освобождение России, и помимо его не было силы, которая могла бы покончить со старым самодержавно-полицейским порядком. Оправдывалось предсказание Плеханова: революционное движение в России торжествовало, как революционное движение рабочего класса.

Вместе с тем, благодаря указанным особенностям социального развития России, под влиянием промышленной революции 90-х годов и в связи с под'емом рабочего движения на Западе, рабочий класс в своем росте обгоняет «запоздавшие» на исторической сцене буржуазные классы. Массовое выступление рабочего класса, приобретающее все большую организованность и руководимое рабочей партией, встречает буржуазию политически распыленной. Перед лицом расширяющегося рабочего движения буржуазия пытается то опереться на него в своих политических достижениях, то пойти против него; обостряющаяся классовая борьба, не предвещающая возможности буржуазного влияния на рабочий класс, не только делает оппозиционные выступления буржуазии робкими и скромными, но и толкает ее к союзу с реакционными силами того либо иного оттенка. В своей освободительной борьбе рабочий класс выступает как против самодержавия, так и против буржуазии. Если революционное движение торжествовало как революционное движение рабочего класса, то это означало вместе с тем, что и революция восторжествует в России, как революция пролетарская.



СОДЕРЖАНИЕ.